

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

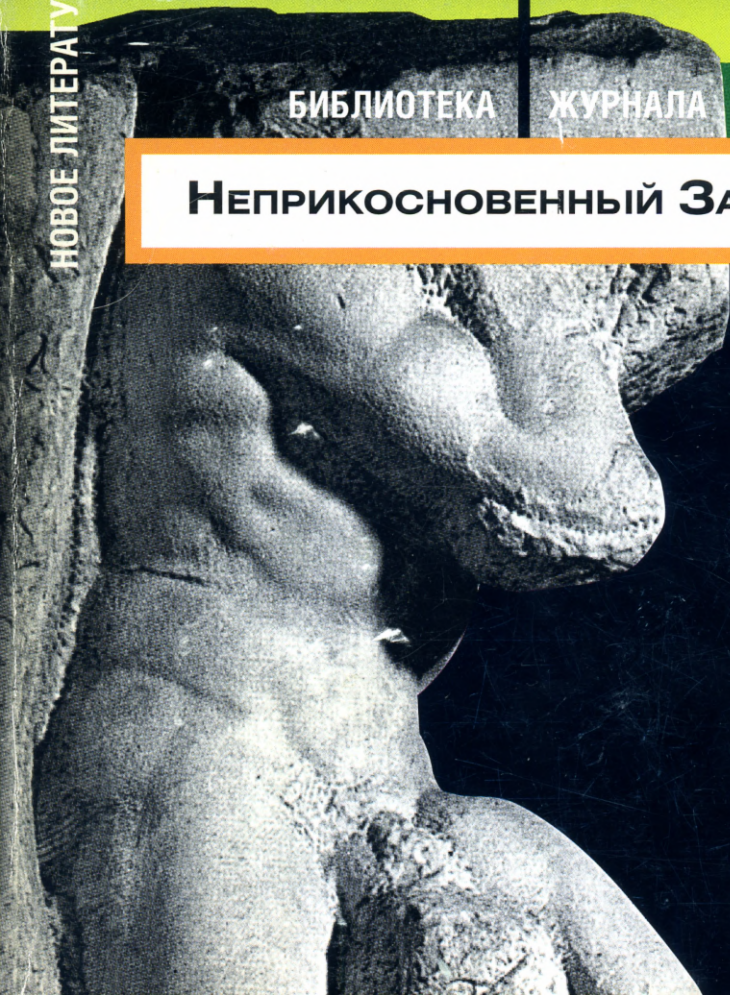
О МУЖЕ(Н)СТВЕННОСТИ

СБОРНИК СТАТЕЙ

БИБЛИОТЕКА

ЖУРНАЛА

НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС



БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА

НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС

О
МУЖЕ(N)СТВЕННОСТИ

Сборник статей
Составитель С.Ушакин

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
МОСКВА • 2002

Художник Д. Черногаев

Издание осуществлено
при поддержке Института «Открытое общество»

О муже(N)ственности: Сборник статей. Сост. С. Ушакин. — М.: Новое литературное обозрение, 2002 — 720 с.

Задача авторов работ, собранных в данной книге, — понять, каким образом достигается «самоочевидность» расхожих понятий «мужчина» и «мужественность», «пол» и «половая идентичность»; в силу чего и за счет чего они приобретают свою «устойчивость» и «незыблемость»; какую цену приходится платить тем, для кого они не являются столь самоочевидными. Анализ форм «мужественности», предпринятый в данном сборнике, во многом является как попыткой «адаптировать» к российским условиям западные теоретические концепции и схемы, так и коллективным усилием противопоставить зачастую абстрактным и безликим рассуждениям о наследии «отечественного патриархата» конкретный анализ специфических форм его проявления. В книге использован обширный историко-социологический и культурный материал.

Содержание

Сергей Ушакин. «Человек рода он»: знаки отсутствия 7

I. ТЕЛЕСНОСТЬ МУЖЕСТВЕННОСТИ

Игорь Кон. Мужское тело как эротический объект 43

Елена Трубина. «В форме себя держать!»: социальные симптомы
и экзистенциальные тупики мужской биографии 79

Елена Ярская-Смирнова. Мужество инвалидности 106

Елена Барабан. В меру упитанный и в полном расцвете сил 126

II. ВОИНСТВЕННОСТЬ МУЖЕСТВЕННОСТИ

Наталья Ходырева. Причины физического насилия:
сущность рода или дисбаланс власти? 161

Пол Робинсон. Невольники чести:
мужественность на поле боя в начале XX века 186

Ирина Савкина. Sui generis: мужественное и женственное
в автобиографических записках Надежды Дуровой 199

Сергей Жеребкин. Сексуальность в Украине:
гендерные «политики идентификации» в эпоху казачества 224

III. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ МУЖЕСТВЕННОСТИ

Алексей Юрчак. Мужская экономика:
«Не до глупостей, когда карьеру куешь» 245

Елена Мецкеркина. Бытие мужского сознания: опыт реконструкции
маскулинной идентичности среднего и рабочего класса 268

Ольга Шевченко. «Если ты такой умный, то почему такой бедный?»:
утверждая мужественность технической интеллигенции 288

Татьяна Суспицына. Об учителе, муже и чине: (ре)конструкция
маскулинностей мужчин — работников средней школы 303

IV. НАЦИОНАЛИЗМ МУЖЕСТВЕННОСТИ

<i>Ирина Новикова.</i> T/RUS не играет в хоккей, или Как сжечь флаг, когда кончились памятники?	327
<i>Грета Слобин.</i> Конец империи: «новый сладостный стиль» в романах Василия Аксенова	345
<i>Элиот Боренстейн.</i> Ах, «Андрюша», нам ли быть в печали... Национализм современных «мужских» журналов. <i>Перевод с английского М. Балиной</i>	360
<i>Оксана Забужко.</i> Гендерная структура украинского колониального сознания: к постановке вопроса. <i>Перевод с украинского В. Чернецкого</i>	378

V. ВРЕМЕННОСТЬ МУЖЕСТВЕННОСТИ

<i>Юрий Гончаров.</i> «Хозяин жизни»: купечество как тип мужественности	397
<i>Дэн Хили.</i> Исчезновение русской «тетки», или Как родилась советская гомофобия. <i>Перевод с английского Е. Барабан</i>	414
<i>Елена Здравомыслова, Анна Темкина.</i> Кризис маскулинности в позднесоветском дискурсе	432
<i>Жанна Чернова.</i> Романтик нашего времени: с песней по жизни	452

VI. (ПОСЛЕ) МУЖЕСТВЕННОСТИ

<i>Сергей Ушакин.</i> Видимость мужественности	479
<i>Елена Гоцило, Надежда Ажгихина.</i> Рождение «новых русских»: картинки с выставки. <i>Перевод с английского Е. Барабан</i>	504
<i>Ольга Шабурова.</i> Мужик не суетится, или Пиво с характером	532
<i>Брайан Джеймс Бэр.</i> Возвращение денди: гомосексуализм и борьба культур в постсоветской России. <i>Перевод с английского А. Навроцкой</i>	556
<i>Елена Омельченко.</i> «Не любим мы геев...»: гомофобия провинциальной молодежи	582
<i>Павел Романов.</i> По-братски: мужественность в постсоветском кино ..	609
<i>Сюзан Ларсен.</i> Мелодрама, мужественность и национальность: сталинское прошлое на постсоветском экране. <i>Перевод с английского Н. Кигай</i>	630
Избранная библиография	664
Использованная литература на иностранных языках	698
Сведения об авторах	715

Сергей Ушакин

«ЧЕЛОВЕК РОДА ОН»: ЗНАКИ ОТСУТСТВИЯ

Мужчина — человек рода он, не женщина, мужского пола...

Мужество — состояние мужа, мужчины, мужского рода, пола вообще; протвплж. *женство*.

*Владимир Даль
Толковый словарь живого великорусского
языка (1881)*

Мужественный — см. Смелый.

Словарь синонимов (1997)

Человеческие существа рождаются на свет наделенными самыми различными и непохожими друг на друга предрасположенностями и склонностями. Но каким бы основной, биологический жребий ни был, анализ открывает субъекту его значение. Значение это представляет собой функцию некой речи, которая речью самого субъекта и является, и в то же время не является вовсе, — ведь речь эту он получает уже готовой и служит ей всего лишь проводником.

Жак Лакан. Семинар II. (1955)

В конце 70-х годов прошлого века Синди Шерман (Cindy Sherman), американский фотограф и художница, начала работу над серией черно-белых фотографий, получивших известность как «*Кинокадры без названий*». Шестьдесят девять фотографий действительно напоминают кадры из хорошо знакомых фильмов, однако попытки вспомнить названия этих фильмов заведомо обречены на провал. «*Кинокадры без названий*» являются лишь стилизацией, в буквальном смысле инсценировкой лент, которые никогда не были сняты. В центре каждого «стоп-кадра» — сама Шерман в той или иной «типичной» женской роли и ситуации: будь то «секретарша», «роковая женщина», «по-

битая жена» или, например, «спортсменка». Несмотря на отсутствие названий, «кадры» довольно красноречивы — ощущение «знакомства» с *сюжетом фильма* достигается на основе активации ощущения знакомства с тем или иным *женским образом*, стереотипом, клише. Визуальный стереотип становится сюжетным приемом, способным обеспечить необходимый смысловой эффект — вернее, запустить в действие уже сложившуюся матрицу осмысления зрительного опыта¹.

Подобная каталогизация визуальных стереотипов, предпринятая Шерман, безусловно, во многом напоминает известные структуралистские попытки Вл. Проппа составить исчерпывающий перечень заведомо ограниченных возможностей сказочных сюжетов. В отличие от пропповской «морфологии волшебной сказки», принципиальной — и дестабилизирующей — чертой проекта Шерман, однако, является то, что сюжетные линии и стереотипы «*Кинокадров без названий*» не существуют изолированно друг от друга. Многообразие, структурная и сюжетная несовместимость «ролей», сыгранных Шерман в «*неназванных*» фильмах, лишь подчеркивает постоянное присутствие одного и того же телесного «экрана», который выступает физической основой и физической предпосылкой реализации этих многочисленных «ролей». Шестьдесят девять кадров в итоге становятся *серией*, самостоятельным фильмом Шерман, фильмом о невозможности свести историю (жизни) женщины к тексту ее «*главной*» роли, фильмом о самой невозможности этой «*главной роли*», способной определить и/или исчерпать (творческий) потенциал «актрисы». Говоря иначе, «*Кинокадры без названий*» становятся фильмом о принципиальном несоответствии между социально доступными и социально узнаваемыми *изображениями* «женственности», с одной стороны, и конкретным *телом*, с другой².

Основной целью данного сборника статей стала сходная двойственная попытка одновременно и начать каталогизацию уже клишированных (или пока еще только клишеобразных) конфигураций «*мужественности*», и понять, как именно осознается несоответствие этих клише и их «исходных» носителей, т.е. как именно, ис-

¹ Работа над проектом велась в 1977—1980 гг. В 1995 г. Шерман впервые полностью выставила «*Кинокадры без названий*» в одной из вашингтонских галерей. Музей современного искусства в Нью-Йорке, владеющий этой серией, объясняет окончание проекта тем, что Шерман исчерпала полностью словарь доступных ей «клишированных женщин».

² Подробнее см., например: Leuken V., 1997.



С. Шерман. Кинокадр без названия № 7, 1978



С. Шерман. Кинокадр без названия № 13, 1978

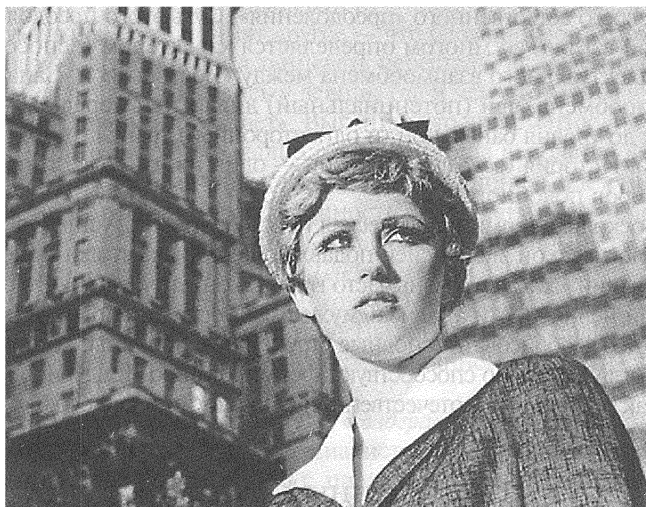
пользуя идею Жака Лакана, заявленную в эпитафии, проявляет себя та двусмысленная принадлежность речи («своя/чужая»), благодаря которой субъект познает значение (д)оставшегося ему жребия.

Сформулирую чуть иначе: помня выводы еще одного теоретика языка и речи — Фердинанда де Соссюра, — можно сказать, что задача данной книги в том, чтобы продемонстрировать хорошо известный — и давно подмеченный — факт несовпадения *языка*, т.е. коллективной «совокупности впечатков, имеющихся у каждого в голове», и *речи*, т.е. «суммы всего того, что говорят люди» (Соссюр, 1977, 57). Взяв в качестве исходной точки отсчета категорию «мужественности», авторы данного сборника постарались показать, как именно возникает и/или как именно маскируется разрыв между «отпечатками *в голове*» и «суммой» *сказанного и сделанного*.

Выбор «*мужественности*» в качестве основного объекта анализа обусловлен рядом причин. Разумеется, наиболее значимой из них является свойственное современному общественному сознанию стремление к тому, что Лев Шестов называл «преодолением самоочевидностей». В данном случае речь идет о попытке понять то, каким *образом* достигается «*самоочевидность*» таких понятий, как «мужчина» и «мужественность» в частности и «пол» и «половая идентичность» в целом, в силу чего и за счет чего они приобретают свою «устойчивость» и «незыблемость» и, наконец, какую цену приходится платить тем, для кого ни «очевидность», ни «истинность» этих понятий не являются ни устойчивыми, ни незыблемыми.

Попытка проблематизировать и — отчасти — дестабилизировать понятие «мужественность» имеет и еще один, вполне очевидный, источник. На мой взгляд, теория западного феминизма 1990-х годов в значительной степени смогла преодолеть свою «узкоцеховую» раздробленность и самопоглощающий «нарциссизм мелких различий» и в ряде работ, посвященных прежде всего вопросам субъектности и субъективности, сумела предложить методологические концепции, которые выходят за пределы исключительно «женской» тематики. Анализ форм «мужественности», предпринятый в данном сборнике, во многом является как попыткой «адаптировать» к местным условиям западные теоретические концепции и схемы, так и коллективным усилием противопоставить зачастую абстрактным и безликим рассуждениям о наследии «отечественного патриархата» конкретный анализ специфических форм его проявления.

(Само)очевидность роли теории *западного* феминизма в анализе *местной* «мужественности» — следуя призыву Шестова — тре-



С. Шерман. Кинокадр без названия № 21, 1978



С. Шерман. Кинокадр без названия № 35, 1979

бует своего естественного «преодоления». Суть этого преодоления, на мой взгляд, во многом определяется характером и способами интеллектуального взаимодействия между «Востоком» и «Западом», взаимодействия, чей (потенциальный) диалогизм нередко низводится до уровня банальной (и односторонней) транслитерации понятий. История «гендера» в России — один из наиболее типичных примеров подобного рода.

Поскольку терминологическая неразборчивость, усиленная терминологической экспансией подавляющего числа сторонников исследований «гендера», очень часто ведет к концептуальной и теоретической невнятности анализа «мужественности» и «пола», я кратко попытаюсь обрисовать основные структурные причины, которые, на мой взгляд, активно способствуют формированию «гендерного тупика» как особой ветви отечественной социологии и философии пола.

Подкованный «гендер»

По своей роли в постсоветских общественных науках «гендер» во многом напоминает мне «ваучер». В то время как единицы успели «сориентироваться» и вовремя вложили свой «гендер» (или ваучер) в доходный фонд, основная часть гуманитарно настроенной общественности, оказавшись не в состоянии перевести на язык «родных осин» эту полезную категорию, так и продолжает безучастно оставаться в стороне.

Как же так получилось, что категория, потенциально способная если не подорвать, то в значительной степени изменить сложившиеся/сложенные представления о механизмах воспроизводства полового неравенства, о механизмах производства субъектности и субъективности, о механизмах реализации власти и, наконец, о механизмах производства желания и форм его удовлетворения, при «переводе» на русский оказалась лишенной своего «революционизирующего» запала? Как же так произошло, что категория, затрагивающая *все основные* сферы жизни и деятельности человека, в отечественной интерпретации оказалась неспособной спровоцировать какой-либо *значительный* интерес со стороны специалистов-обществоведов, оставаясь во многом категорией академического меньшинства, особо и не пытающегося преодолеть (собственноручно воздвигнутую) полосу отчуждения?

Из известного лесковского рассказа про левшу обычно хорошо помнят то, что стальную танцующую блоху-«нимфозорию» — по-

дарок англичан русскому императору — подковали тульские мастера-умельцы. Реже помнят другое — что блоха после такого ювелирного облагораживания танцевать перестала. Изумленные англичане долго допытывались у левши, где и чему тот учился и «до каких пор арифметику знает». Выяснив, что арифметику не знает вовсе, посетовали: «Это жалко... а то вот хоша вы очень в руках искусны, а не сообразили, что такая малая машинка, как в нимфозории, на самую аккуратную точность рассчитана и ее подковок несть не может. Через это теперь нимфозория и не прыгает и дансе не танцует» (Лесков, 1973, 48). «Гендер», переведенный на русский, на мой взгляд, оказывается в сходной ситуации — он с трудом «прыгает» и уж точно «не танцует». Тяжесть местных подков оказалась непосильной для «аккуратно рассчитанной точности» англоязычной аналитической категории.

Отечественные исследователи «гендера» в своих работах любят ссылаться на Джоан Скотт, специалиста по французской истории из Принстона, которая в 1986 г. предложила расширить аналитический арсенал науки за счет использования термина «gender», этой «полезной категории исторического анализа», как ее охарактеризовала сама Скотт. В отечественном варианте, однако, в этой формулировке акцент обычно делается на прилагательном «полезный», в то время как *категориальная, аналитическая* природа «гендера» остается, как правило, в тени. Приведу типичный пример. В недавней статье, посвященной трансформации «истории женщин» в «гендерную историю», московский историк констатирует, что, «будучи фундаментальным организующим *принципом описания и анализа* различий в историческом опыте женщин и мужчин, их социальных позициях и поведенческих стереотипах и в чем бы то ни было еще, *категория* гендера должна быть методологически ориентирована на подключение к более общей *объяснительной схеме*» (Регина, 2000, 124. Курсив мой. — С.У.). Сразу за этим выводом следует неожиданный методологический поворот:

Поскольку *гендерные модели* «конструируются» обществом (т.е. предписываются институтами социального контроля и культурными традициями), воспроизводство *гендерного сознания* поддерживает сложившиеся системы отношений господства и подчинения, а также разделения труда по *гендерному признаку*. Понятно, что в этом отношении *гендерный статус* выступает как один из конституирующих элементов социальной иерархии и системы распределения власти, престижа и собственности, наряду с этнической и классовой принадлежностью. Именно таким образом в конечном счете смещение «не-

рвного центра» *гендерной асимметрии* от природных характеристик к социально-культурным включило отношения между полами во всеобъемлющий комплекс социально-исторических взаимосвязей. (Репина, 2000, 124. Курсив мой. — С.У.)

Логика «большого скачка» от «гендера» как «*фундаментального принципа* описания и анализа» (уже существующих?) различий к гендерным *моделям*, гендерному *сознанию*, гендерному *признаку*, гендерному *статусу* и гендерной *асимметрии* при этом остается непроясненной и неочевидной. Если «гендер», как и другие категории (например, «функция» или «структура»), есть не что иное, как плод аналитического воображения, облегчающий «ориентировку на местности», но не имеющий ничего общего с этой местностью, то как именно происходит трансформация этого «фундаментального принципа описания» в «один из конституирующих элементов социальной иерархии»? Кто именно выступает в данном процессе предписывающим «институтом социального контроля», и чьи именно «культурные традиции» навязываются в качестве нормативных? Не является ли эта «трансформация» элементарным следствием отождествления *метода* анализа с *объектом* анализа, т.е. следствием интеллектуальной проекции самой исследовательницы, в ходе которой аналитическая и описательная *категория* начинает определять параметры *объекта* исследования? Наконец, почему только «гендерная асимметрия» со смещенным (нервным) центром позволяет воспринимать «отношения между полами» как комплекс взаимосвязей? Вернее, почему без подобных (нервных) смещений и (гендерных) асимметрий комплексный анализ отношений между полами в отечественных условиях оказывается вдруг невозможным?

Напомню, что свою широко ныне цитируемую статью о полезной категории исторического анализа Скотт начала с примечательной фразы: «Те, чья задача состоит в кодификации смысла слов, терпят поражение потому, что слова — так же, как идеи и вещи, которые эти слова призваны обозначить — имеют свою историю» (Scott, 1988, 28). Далее, как известно, Скотт детально описывает *феминистский* пируэт в истории слова «*gender*»: слово, изначально использовавшееся для обозначения грамматического *рода*, стало сознательно употребляться феминистками для подчеркивания «социальной организации отношений *между полами*» (Scott, 1988, 28. Курсив мой. — С.У.).

Ключевым в процитированной фразе Скотт является, разумеется, слово «*история*». Кодификация смысла оказывается невозмож-

ной именно потому, что предыдущее, *исторически сложившееся*, значение слова вступает в противоречие с новой, *складывающейся* практикой его, слова, использования. Дестабилизирующий смысловой эффект (феминизма), таким образом, становится функцией исторического (патриархального) контекста, являясь возможным лишь при наличии определенного — в данном случае семантического — прошлого, при наличии определенных — в данном случае лексических — рамок. Говоря иначе, *изменение* традиций и нормативов требует в качестве своей естественной предпосылки *существования* этих самых традиций и нормативов. Или, в иной транскрипции, историзм *явления*, т.е. его трансформация во времени, может быть очевидным лишь на относительно стабильном *фоне*.

Данное соотношение динамики и статики неизбежно и при *анализе* трансформаций. О подобном методологическом законе писал еще в начале XX в. Фердинанд де Соссюр, специально подчеркивая логическую невозможность *совмещения* анализа диахронических, эволюционных, отношений *между* элементами внутри системы с анализом синхронических, т.е. существующих на данный момент, отношений между элементами *и* самой системой³. «Попытка объединить внутри одной дисциплины столь различные по характеру факты, — писал Соссюр, — представляется фантастическим предприятием» (Соссюр, 1977, 118).

Сформулирую ту же самую мысль проще: изменение *системы* (гносеологических, лингвистических, идентификационных) координат невозможно без устойчивой «точки» опоры *вне* этой системы, и, соответственно, можно сколько угодно заниматься «смещением центра» *в рамках* системы, не производя при этом каких бы то ни было существенных изменений ее общих параметров, будь то язык, теоретическая парадигма или, например, социальная структура. Анализ динамики «отношений *между* полами», таким образом, всякий раз с неизбежностью основывается на допущении относительной стабильности (существования) *самих* «полов». В свою очередь, акцент на нестабильности «пола», на неспособности данной категории и явления выступать в качестве самодостаточного и телеологического *основания* как идентичностей, так и связанных с ними практик дает возможность приступить к анали-

³ Как отмечал де Соссюр, «синхроническое явление не имеет ничего общего с диахроническим: первое есть отношение между одновременно существующими элементами, второе — замена во времени одного элемента другим, то есть событие» (Соссюр, 1977, 123).

тическому разбору (или демонтажу) того гносеологического, лингвистического и т.п. «фундамента», благодаря которому «пол», собственно, и производит впечатление изолированной, т.е. *самостоятельной*, категории.

Именно эту взаимосвязь элементов и системы и подчеркивала Джоан Скотт в своей статье «*Свидетельство опыта*» — не менее известной, но практически не цитируемой отечественными специалистами. Обращая внимание на то, что привилегированное аналитическое положение той или иной *категории* — в данном случае «непосредственного опыта», — превращение этой категории и в *объект* исследования (т.е. источник знания), и в *метод* исследования (т.е. способ получения знания) с неизбежностью ведет к методологической гиперинфляции, возводящей *категирию* в статус *системы*, Скотт в частности писала:

...Если непосредственный опыт начинает восприниматься в качестве источника знания, то в результате такого подхода точка зрения отдельного индивида (т.е. очевидца или историка, описывающего опыт этого очевидца) превращается в основу доказательств, на которых строится само объяснение. В итоге сконструированность самого опыта, способы формирования различий между субъектами, принципы структурирования их видения — т.е. вопросы о языке (или дискурсе) и истории — остаются за рамками дискуссии. Свидетельства опыта, вместо того чтобы стать основой для исследования истории возникновения различий, их функционирования и способов конституирования субъектов, действующих в реальном мире, становятся доказательствами факта уже существующего различия. (Scott, 1991, 777)

Как можно примирить с этим глубоко исторически ориентированным подходом, с этим последовательным стремлением обнаружить «археологический» фундамент и категорий исследования, и той системы, в пределах которой эти категории возникли и приобрели свое господствующее значение, настойчивые отечественные попытки убедить в аналитической полезности категории, которая не имеет ни исторического прошлого в рамках сложившейся *системы* общественнознания, ни устойчивых отношений с *другими категориями* данной системы?⁴ Если *аналитическая* цель западных «*gender studies*» состоит в попытке показать, что *смысл* тех или иных категорий, используемых при создании картины реальности, ис-

⁴ Проблема *практик*, которые данная категория призвана описать, представляет собой еще один, не менее противоречивый пример соотношения импортной категории и отечественной реальности.

торически обусловлен и потому изменяем; если *политическая* цель западных «*gender studies*» как раз и состоит в практической попытке изменить *реальность*, начав с изменения категорий, с помощью которых эта реальность конструируется и приобретает структуру, то что может дать — хотя бы гипотетически — подобный терминологический импорт, при котором изначальное стремление деконструировать устоявшийся смысл базовых идентификационных категорий оказалось сведенным к стремлению обустроить символическое поле, необходимое для существования поспешно импортированной категории? Насколько велика прибавочная стоимость этого неэквивалентного символического (термино)обмена?

Разумеется, речь не о том, что терминологический импорт в принципе вреден и/или излишен — категориальный, да и концептуальный аппарат отечественной социологии и философии во многом состоит именно из таких (случайно и/или осознанно) «завезенных» продуктов. Проблема, повторяю, не в импорте «продуктов», а в их усвояемости, т.е. в их способности не вызывать у организма реакцию отторжения на элементарном уровне. Виктор Шкловский, как всегда точно, сформулировал суть сходной методологической проблемы. «Трудность положения пролетарских писателей, — отмечал критик в середине 1920-х, — в том, что они хотят втащить в экран вещи, не изменив их измерения» (Шкловский, 1926, 99). Именно об этом элементарном, базовом соотношении «экрана» и «вещей» зачастую и забывают сторонники «гендерного измерения». Речь, иными словами, идет о вполне конкретном случае методологической неразборчивости, в котором нежелание определиться с собственными теоретическими установками и принципами, нежелание — воспользуюсь известным феминистским понятием — локализовать свою «местоположенность», т.е. нежелание очертить внешние пределы собственного поля зрения/исследования, «полезно» маскируются категорией, смысл которой остается непроясненным.

Несомненно, категориальная, концептуальная, методологическая или, например, стилевая, последовательность — личное дело каждого конкретного исследователя. Проблема в другом. На мой взгляд, подобный теоретико-терминологический импорт, как мне уже приходилось писать (Ушакин, 1997а, 1999а), фактически лишает отечественную философию и социологию пола возможности продемонстрировать, что самоочевидность пола — и категории, и явления — есть результат определенных дисциплинарных усилий по формированию его *границ*, что устойчивость так назы-

ваемых «половых признаков» определяется устойчивостью соответствующих классификационных схем и клише, что, наконец, степень *пол-ярности* «мужского» и «женского», как и их иерархическое соподчинение, крайне далеки от того, чтобы являться репрезентацией анатомических различий. Иными словами, отечественная генеалогия понятия «пол», история отношений этой категории с устоявшимися — политическими, экономическими, эстетическими и т.п. — категориями, как и структурная и структурирующая роль этого понятия в самой знаковой системе и символических практиках, оказались сведенными на нет попытками убедить, что наряду с «полом», «половыми отношениями» и отношениями «между полами» у нас есть еще и «гендер», полезная категория для анализа. Вполне в духе традиций вульгарного марксизма деконструкция «пола» — так сказать, дестабилизация «базиса» — путем транслитерации «gender» свелась к формированию очередной «идеологической надстройки».

«Гендер», разумеется, стал только началом «большого пути»: вслед за ним уже появились «*феминность*» (или «*фемининность*?»), «*маскулинность*» (или «*маскульность*?»), «*эссенциализм*» и тому подобные элементы оформляющегося параллельного «новояза». Сама по себе эта настойчивая *терминологическая мимикрия* вряд ли интересна. Важно другое. Мимикрия в данном случае — это не диагноз, а симптом. Симптом колониального сознания, с его глубоко укоренившимся кризисом собственной идентичности, с его неверием в творческие способности собственного языка, с его недоверием к собственной истории и собственным системам отсчета.

Показательно, что многочисленные рассуждения о полезности «*гендера*» и прочих атрибутов так называемых «исследований гендера», как правило, обходят молчанием один, казалось бы, очевидный вопрос. А именно — можно ли говорить о несоразмерности импортируемого концептуального аппарата и той ситуации, для описания которой этот аппарат используется? Можно ли говорить о точках несовпадения, о тех смысловых зазорах и интервалах между «западным» термином и «местным» смыслом, благодаря которым, собственно, возникает и сохраняется историческое своеобразие? Или речь идет об универсальном теоретическом лекале, способном «охватить» любую реальность, независимо от ее происхождения? Предваряя специальный выпуск журнала *Общественные науки и современность*, посвященный «гендерным исследованиям» в России, известный феминистский философ, например, отмечает:

В то время как на Западе уже сформировались идеи о необходимости различать понятия «пол» и «гендер» (70-е годы), в России слово «пол» употреблялось и тогда, когда речь шла о биологических его аспектах, и когда имелись в виду его социальные аспекты, и даже тогда, когда говорили лишь об элементах комнатного декора. (Воронина 2000, 19)

Философ забывает добавить, что на Западе речь шла о различении «sex» и «gender», т.е. о различении категорий, ни одна из которых не имеет однозначного эквивалента в русском языке; более того, подобное различие «sex» и «gender» происходило и происходит в рамках одного и того же языка — путем сознательной дестабилизации глубоко укоренившихся смыслов. Показательно и другое — вместо использования уже имеющейся полифонии смысла таких понятий, как «пол», «род», «мужественность», «женственность», вместо попыток проследить условия возникновения подобных семантических смещений и переплетений предлагается внедрить одномерный «западный» стандарт, провести своего рода теоретический евроремонт....

Пожалуй, единственным серьезным теоретическим тезисом в защиту «гендера» является попытка показать, что «пол» — в отличие от «гендера» — не является продуктом и объектом власти, ее дискурсивных и институциональных механизмов подчинения и господства. В историческом плане сомнительность подобного аргумента очевидна любому читателю *Домостроя* или *Морального кодекса строителя коммунизма*: род, родовые отношения, пол, половая идентичность, половые отношения и, наконец, отношения между полами на протяжении отечественной истории являлись объектом постоянного социального контроля и коррекции, объектом подавления и сопротивления. Что именно, кроме терминологической невнятности, к этой истории может добавить «гендер»? Теоретически же — помня выводы Фуко о капиллярном присутствии власти, о ее скрытом/скрываемом характере — тезис о «безвластном» поле лишь подтверждает успешность действия самой власти, ее способность репрезентировать в качестве «абсолютно невинных» именно те объекты и явления, концентрация властных отношений в которых является особенно критической.

В своем недавнем тексте, рассуждая об эволюции предложенной ею «полезной категории», Скотт — не без горечи — заметила, что деление «sex/gender» привело к неожиданному результату — «sex» стал восприниматься как неоспоримая данность, а, в свою очередь, «gender» приобрел «вкус обществоведческой нейтральности». Как пишет Скотт,

именно поэтому все реже и реже в своих работах я использую «*genders*», предпочитая вместо этого говорить о различиях между *sexes* и о биологическом *sex* как исторически изменчивой концепции. [Хотя] это... может быть воспринято (особенно в нынешнем дискурсивном контексте) как одобрение идеи о том, что *sex* является естественным фактом, мне все же кажется, что поиск терминов и теорий, способных поставить под сомнение самоочевидность истории вообще и истории женщин в частности, необходимо вести в другой плоскости. Я не предлагаю вычеркнуть *gender* и те полезные понятия, которые ассоциируются с этим термином, из нашего словаря. Речь не идет и о попытке полицейского контроля за использованием этого термина для того, чтобы обеспечить господство нашего смысла. Это не только невозможно, но и свело бы на нет гибкость и подвижность языка, его решающую роль в социальных изменениях. Скорее, мне думается, нам нужно двигаться вперед, провоцируя переосмысление допущений, ставших уже рутинными. Именно тогда, когда мы думаем, что знаем точный смысл слова, именно тогда, когда его употребление перестает вызывать споры и дебаты, нам особенно нужны новые слова и новые концепции или, может быть, новые конфигурации и интерпретации уже существующих идей. (Scott, 2000)

Вопрос в том, нужна ли *нам* эта ревизия уже существующих идей. Или мы так и останемся с «гендером»? Полезной категорией из чужого анализа...

Ревизия мужественности

Попытка переосмыслить содержание и конфигурации «мужественности», представленная в данном сборнике, на мой взгляд, является одним из примеров интеллектуальной ревизии аналитического аппарата, о необходимости которой говорит Скотт. Попыткой ревизии терминологических, концептуальных и методологических допущений, которые в силу своей «самоочевидности» обычно вопросов не вызывают.

Упрощая, подходы к «мужественности», использованные авторами сборника, можно свести к трем основным тезисам: к тезису о *плюралистичной мужественности*, к тезису об *относительной мужественности* и, наконец, к тезису о *показательной мужественности*. Не претендуя на исчерпывающий анализ этих тезисов, я лишь кратко попытаюсь очертить основной круг вопросов и те методологические предпосылки, с помощью которых появление данных тезисов стало возможным.

Плюралистичная мужественность. Разумеется, один из наиболее простых и привлекательных способов анализа базовых противоречий «мужественности» состоит в традиционном стремлении вскрыть внутреннюю структуру этого знака, продемонстрировать произвольность взаимосвязи между «означающим» и «означаемым», из которых, собственно, он и состоит⁵. При таком подходе знак «мужественности» обычно распадается на множество форм «мужского поведения» и соссюрская дихотомия *означающее/означаемое* трансформируется в дихотомию *категория/практика*, в которой «мужественность» (означающее) *проявляет себя* в неоднородной совокупности «мужских практик» (означаемые). Например, в культовом советском фильме «*Ирония судьбы, или С легким паром*» закадровый (авторский?) голос наполняет соссюрскую схему следующим содержанием:

...Раньше настоящие мужчины ходили в манеж гарцевать на выхоленных лошадях, отправлялись в тир стрелять в бубнового туза, в фехтовальные залы — сражаться на шпагах, в Английский клуб — сражаться за карточным столом, а в крайнем случае шли в балет. Сегодня настоящие мужчины ходят в баню. Тот, кто думает, что баня существует исключительно для мытья, глубоко заблуждается. В баню ходят главным образом для того, чтобы пообщаться друг с другом.... В предбаннике современные голые мужчины, завернутые в белые простыни, наконец-то становятся похожими на римских патрициев. Именно предбанник и есть тот самый клуб, где, никуда не торопясь, позабыв каждодневную гонку, можно излить душу хорошему человеку. (Брагинский и Рязанов, 2000, 223)

«Настоящность» мужчины, таким образом, определяется тем, куда этот мужчина *ходит*, т.е. смысл *термина* («настоящий мужчина») оказывается подмененным *объектом действия* (т.е. манеж, тир, зал, клуб, баня). Или — в иной транскрипции — позитивное значение («мужественности») в данном случае проявляется в виде *знаковых* («мужских») *действий*, призванных очертить семантические

⁵ У Соссюра, напомним, «языковой знак связывает не вещь и ее название, а понятие и акустический образ. Этот последний является не материальным звучанием, вещью чисто физической, а психическим отпечатком звучания, представлением, получаемым нами о нем посредством наших органов чувств... Языковой знак есть, таким образом, двусторонняя психическая сущность... Мы предлагаем сохранить слово *знак* для обозначения *целого* и заменить термины *понятие* и *акустический образ* соответственно терминами *означаемое* и *означающее*... (Соссюр, 1977, 99—100).

границы поля (мужского) пола. Именно на этом семантическом, вернее семиотическом, характере *ритуалов* индивидуального поведения, в конспективной форме содержащих необходимую и достаточную информацию о половой идентичности их исполнителя, и фокусируются исследователи, трактующие половую идентичность как совокупность усвоенных и публично демонстрируемых знаковых образов и действий. При этом обычно остается в тени то, что (якобы) метонимическая природа этих знаковых действий, т.е. их способность выступать *частичной* формой, *частичным* проявлением («репрезентацией») более *общего* явления, есть не что иное, как *стратегическая фантазия*, иллюзорная попытка скрыть фундаментальный факт отсутствия этого самого *общего* явления, этого никогда не существовавшего «безымянного фильма», «кинокадрами» которого и являются знаковые действия⁶. Как отмечал Жак Деррида, «когда мы оказываемся не в состоянии постичь или продемонстрировать явление, состояние наличия, наличия бытия, когда это наличие не в состоянии быть налицо, тогда мы означаем (signify), мы идем в обход при помощи знака» (Derrida, 1986, 9). Или, добавлю, при помощи *знаковых* действий.

На мой взгляд, это фундаментальное «отсутствие присутствия», лежащее — в данном случае — в основе «мужественности», и эта неустанная символическая работа по воспроизводству соответствующих *знаков* и *знаковых* действий, которые и призваны компенсировать «наличие отсутствия», остаются за скобками процесса аналитической «плюрализации мужественности». Несмотря на всю свою (временную) нужность и полезность, подобные попытки говорить о вариативности нормативов и изображений «мужественности», о многочисленности версий и форм практической реализации «мужественности», о характере иерархий этих форм и версий, наконец, о способах установления и поддержки гегемонии того или иного варианта «мужественности», в конечном итоге, как мне кажется, лишь воспроизводят ситуацию, о которой упоминал Деррида. Ситуацию, в которой попытки «живописать» знаковые

⁶ Сергей Эйзенштейн в своих мемуарах хорошо сформулировал, как именно скрывается это отсутствие целого в кино: «Нужна особая синтезирующая способность мышления, чтобы из этих данных анализирующего зрения суметь разглядеть решающую деталь, характерную деталь, деталь, способную в осколке целого воссоздавать представление о целом» (Эйзенштейн, 1997, 36). Показательно, что само фактическое *отсутствие целого*, его — целого — *осколочное*, раздробленное, частичное присутствие оказывается преодоленным посредством эффекта *аналитического зрения*.

«осколки мужественности» вольно или невольно становятся попыткой обхода (и ухода от) основного вопроса о *категориальной*, структурной, т.е. лишенной *собственного* смысла, природе «мужественности». Ситуацию, в которой забывается, что иерархическая лестница «гегемонной» («гегемониальной», «гегемонистской») мужественности в конечном итоге «ведет к нарисованным дверям» и существует, лишь пока идешь по ней (Шкловский, 1926, 46). Иными словами, вопрос о сути «мужского» (и «мужественного») трансформируется в данном случае в вопрос о «мужском» (или «мужественном») характере специфических функций, явлений и ситуаций; стремление (вос)создать исчерпывающую карту мест, в которые «ходит» мужчина (манеж, тир, зал, клуб, баня...), оставляет за скобками этой картографической деятельности вопрос о характере формирования самого феномена «мужчины».

Относительная мужественность. Один из способов преодоления аналитической тупиковости «мультикультурной мужественности» состоит в стремлении понять, что находится *за границей* понятия «мужественность», т.е. в определении тех комбинаций, в которых «мужественность» оказывается в состоянии продемонстрировать свою уникальность, в определении тех фоновых параметров, благодаря которым контуры «мужественности» просматриваются особенно отчетливо. Речь, таким образом, идет не столько об анализе отношений между *означающим* и *означаемым*, сколько об анализе отношений между разными *означающими*. пара «мужественность»/«практики мужественности» сменяется парами «мужественность»/«женственность», «мужественность»/«слабость», «мужественность»/«сентиментальность» и т.п. Смысл понятий в итоге перестает быть непосредственным производным, непосредственной функцией неких «глубинных», «данных» структур и становится ситуативным эффектом, ситуативным следствием *отношений между* понятиями.

Подобная замена вопроса «*Что означает этот знак?*» на вопрос «*В каком контексте находится этот знак?*» предполагает и определенную трансформацию аналитического подхода: *этнография* «мужских практик» уступает место анализу *риторических приемов*, с помощью которых эти практики приобретают статус «мужских». *Семантика* «пола» оказывается подчиненной *риторике* «пола»: т.е. не столь важно, *что* именно говорится, важно, *как* достигается необходимый риторический эффект. В определенной степени подобный подход можно сравнить с техникой Э. Уорхолла, который в своей серии «портретов» М. Монро добивался вариативности зрительных эффектов *исключительно* при помощи использования

различных красок для раскрашивания одного и того же лица-контура. В отличие, скажем, от кубизма или примитивизма, в данном случае новые зрительные эффекты достигались не за счет привычной *трансформации образа* — сама графическая форма образа у Уорхолла оставалась неизменной, — а за счет разнообразия *комбинаций цветowych поверхностей* этого образа.

Аналогичное внимание к *оформлению* — в прямом смысле этого слова — поверхностей «мужественности» позволяет установить те «цветовые» компоненты и комбинации, с помощью которых графический знак-контур оказывается в состоянии производить разнообразные смысловые эффекты. Приведу пару примеров. В романе Веры Кетлинской «*Мужество*» о строительстве Комсомольска-на-Амуре, написанном в конце 1930-х гг., приводится следующее авторское описание двух героев:

Геннадий Калюжный был прямодушен и упрям. Он принадлежал к породе людей, которые не дают себе труда много думать и охотно принимают готовыми результаты размышления других. Он был силен как бык и чувствовал в этой силе свою лучшую защиту и лучшее подспорье. Но, как большинство сильных мужчин, он был добр и нуждался в любимом и более слабом друге, чтобы расходовать свою силу на двоих. Этим другом был Сема. Они подружились много лет назад, еще мальчишками, когда Геннадий защитил Сему в неравной драке, в которой Сема ни за что не соглашался отступить. Сема был слишком горд, чтобы благодарить его, он ушел с окровавленной губой и синяками, но сохранил в глубине души признательность и восхищение. Они ходили еще некоторое время друг около друга, не сближаясь, пока Семе не удалось доказать Геннадию превосходство своего ума и своих знаний, чтобы таким образом уравнивать шансы. Геннадий отнюдь не был горд, он был молодым теленком, готовым одинаково и бодаться и тереться мордой о ласковую руку. Он ринулся навстречу дружбе, отдаваясь ей целиком и заранее признавая себя слабейшим во всем, кроме мощи своих великолепных мускулов.... На пути их дружбы еще ни разу не становилась женщина — это величайшее испытание мужской дружбы. (Кетлинская, 1960, 343—344)

Вот в какой форме выступает само «величайшее испытание»:

Епифанов был так силен и так мощно здоров, что девушки представлялись ему страшно слабенькими. Они так малы, так непрочны, у них такие нежные косточки, такие слабые мускулы, такие маленькие ноги. Их слабость умиляла его и притягивала. Он твердо верил, что обязанность мужчины — охранять их, брать на себя все их заботы, быть их защитником и помощником. И вот теперь эта Лиденька... Он так ясно представлял себе ее беспомощность среди нахлынувших житейских

дел... «Кто поможет ей? Кто снесет ей вещи на вокзал? Кто будет оберегать ее в поезде?» Он лег на койку, удрученный чужим горем... (Кетлинская, 1960, 369)

Понятия «сила» и «слабость» подаются здесь сначала в виде тезиса об «*одной силе на двоих*», который затем трансформируется в «*силу как отсутствие слабости*». Риторический эффект достигается, в общем-то, традиционным способом — через подмену тезиса, в данном случае — через описание того, кто этой «силы» лишен. Различимость двух означающих, таким образом, конституируется как их *различность*, т.е. отдельные означающие превращаются в пару. Так «слабость» становится мерилom и гарантом «силы»: мощь Геннадия рисуется при *помощи* «окровавленной губы и синяков» Семы, сила Епифанова — посредством «нежных косточек» и «маленьких ног» бесчисленных лиденек. Благодаря *принципу смещения*, центром описания становится не столько сам главный герой, и даже не столько его непосредственные заслуги и подвиги, сколько тот фон, на котором контур героя выглядит наиболее успешно. Важно и другое — в обоих случаях мотив «силы» возникает в контексте более широкой темы «внешней опасности», где «сила» выступает либо в качестве «лучшей защиты и лучшего подспорья» (у Геннадия), либо как условие реализации «обязанности мужчины» охранять женщину (у Епифанова). Показательно, что при этом в обоих случаях *источник* (возможной) угрозы — надо полагать, со стороны других «сильных мужчин» — остается непомянутым. Деконтекстуализация «внешней опасности» и постоянной «необходимости защиты» становится оправданной за счет тщательного «монтажа» кадров, за счет детального изображения (и постоянного присутствия) потенциальных жертв. Мерилom собственного героизма и легитимирующим принципом поддержки «боевой готовности» становится не сила противника и даже не количество затраченных усилий, а степень чужих страданий. Так сказать, чем ночь темней, тем ярче звезды...⁷

⁷ Приведу еще одну цитату из мемуаров Эйзенштейна — в данном случае о роли монтажа в достижении необходимого зрительного эффекта. Как пишет кинорежиссер, «из “пучка возможных” элементов монтаж смелой рукой отбрасывал все то, что в данном месте не было “необходимым”... Но мало этого, монтаж не только выбирал. Монтаж еще и интенсифицировал отобранное. Монтаж это делал магией размеров, заставляя выгаращенный глаз становиться размером с мчащийся на человека поезд, а пламя фитиля быть крупнее общего плана крепости, которая должна взорваться от его вспышки...» (Эйзенштейн, 1997, 182—183).

Таким образом, принципиальная зависимость от другого, вернее — само наличие *принципиально другого*, становится определяющим для данного способа формирования «относительной мужественности». Индивидуальность (от лат. *individualis*, «неделимый») оказывается в принципе невозможной, и *относительность* превращается в *постоянное* условие существования. Жак Лакан в одном из своих семинаров, на мой взгляд, отразил эту фундаментальную относительность и зависимость идентичности от другого особенно четко. Как пишет Лакан,

Другой в подлинной речи — это тот, перед кем ты хочешь предстать узанным. Но, чтобы предстать узанным перед Другим, нужно сначала признать его самого... Именно посредством признания Другого ты создаешь его — не в качестве незамутненного и простого элемента реальности, своего рода пешки или марионетки, но в качестве непреодолимого абсолюта, от существования которого — в качестве субъекта — зависит сама значимость той речи, благодаря которой ты и оказываешься узан. (Lacan, 1997, 511)

Как мне кажется, этот диалогизм идентичности, ее — идентичности — ориентированность вовне, ее стремление определить свои границы через определение границ Другого и — в силу этого — ее постоянная формообразующая зависимость от Другого, короче — именно эта исходная *разделенность*, эта изначальная, так сказать, *дивидуальность*, заставляет несколько настороженно относиться к попыткам ряда исследователей видеть в Другом лишь отражение *кризиса* (мужской) идентичности, своего рода параноидальные фантазии, призванные *компенсировать* собственные фобии и комплексы *неполноценности*, своего рода собственную несамодостаточность. Проблема, на мой взгляд, заключается в том, что вот эти не-достаточность и не-полноценность являются исходными принципами *любой* идентичности. Точнее — любая идентичность, понятая как та или иная социальная форма существования, при помощи которой субъект может рассчитывать на определенное признание со стороны общества, призвана не столько *восполнить* и *возместить* эту не-полноценность, сколько — помня Деррида — *скрыть* это наличие отсутствия. Речь, таким образом, о том, что *Другой*, с принципиальной недостижимостью и непостижимостью его позиции, занимает не столько *противоположный*, запредельный фланг спектра идентификационных возможностей, сколько находится *в основе* самого стремления к обретению идентичности. Иными словами, радикальная (или радикализованная?) оппозиционность «жен-

ственности», благодаря которой «мужественность» оказывается в состоянии поддерживать видимость своей категориальной самостоятельности, превращается в «муже(N)ственность», где неизвестность *N* одновременно является и источником постоянного беспокойства, и источником постоянной потребности к иллюзорной реставрации никогда не существовавшей «целостности», будь то целостность понятия или целостность идентичности.

Любопытно, что в своем анализе русских сказок Владимир Пропп замечает, что «осознание недостачи» или утраты («Одному из членов семьи чего-либо не хватает, ему хочется иметь что-либо») является *обязательной* и *единственной* формой завязки волшебной сказки (Пропп, 1998, 30—31). Как пишет исследователь,

в тех сказках, где нет нанесения вреда, ему соответствует... недостача... Начальная нехватка или недостача представляет собой ситуацию. Можно представить, что до начала действия она длилась годами. Но настает момент, когда отправитель или искатель вдруг понимает, что ему чего-то не хватает... Герой (или отправитель) теряет свое душевное равновесие, загорается тоской по раз увиденной красоте, и отсюда развивается все действие.... [Также] недостача осознается через персонажей-посредников, которые обращают внимание Ивана на то, что ему недостает чего-либо. Чаще всего это родители, которые находят, что сыну нужна невеста. Эту же роль играют рассказы о необычных красавицах. Эти и подобные рассказы... вызывают поиски. (Пропп, 1998, 58—59)

Вывод Проппа в полной мере приложим и к анализу «мужественности» — осознание и преодоление «начальной нехватки», «недостачи», иными словами, осознание и преодоление очередным «Иваном» исходного, изначального *отсутствия* целостности «мужественности» становится и источником развития, и основным содержанием сюжета его жизни.

Показательная мужественность. Как уже говорилось, следуя сосюрховской логике знака, смысловые эффекты «мужественности» могут быть образованы при помощи использования ряда структурных возможностей самого знака. Анализ отношений *внутри* знака (т.е. анализ отношений *связи* между означающим и означаемым) позволяет продемонстрировать многообразие *практик* (означаемых), которые оказываются «подверстаны» к одному и тому же означающему. В свою очередь, акцент на местоположении знака («мужественности») *в цепи других* знаков («женственность», «национальность», «профессия», «сексуальность» и т.п.) дает возможность определить те синтаксические и лексические

«комбинации», в которых «мужественность» достигает желаемого смыслового эффекта особенно четко. В обоих случаях, однако, этот эффект во многом строится на логике отражения, согласно которой в каждом из *осколков* «мужественности» находит проявление некий скрытый, глубинный, сущностный смысл *целостной* «мужественности». Вопрос, соответственно, в том, насколько оправдан данный тезис о «мужественности-как-таковой»? Не являются ли эти разрозненные, несовпадающие, нестыкующиеся «осколки», так сказать, собственно «зеркалами», никогда и не имевшими «целостной» формы? И насколько целесообразно в принципе говорить о *глубине* отражений этих «зеркал»? Иными словами, не является ли эта «осколочная мужественность», эта «мужественность-данная-нам-в-ощущениях», единственно доступной и возможной формой «мужественности»? Насколько реально ее, так сказать, «внесценическое», «закулисное» существование? Без *помощи* традиционных реквизитов, мизансцен и сценариев?..

На мой взгляд, Джудит Батлер, философ из Калифорнийского университета в Беркли, абсолютно права, когда — следуя Жаку Лакану — говорит о том, что (любая) идентичность немыслима и не существует вне своего основного принципа — принципа цитатности, т.е. вне воспроизводства сложившихся общепризнанных дискурсивных форм. Однако, в отличие от многочисленных вариантов теории социализации с ее «ролевыми играми» и «стратегическими саморепрезентациями», цитатная идентичность Батлер не предполагает наличия некоей мета-идентичности (например, в виде «мужчины»), некоей мета-структуры (например, в виде «пола») или некоей мета-функции (например, в виде «биологии»), логика которых способна связать воедино все исполняемые «роли». Условно говоря, именно благодаря *отсутствию* объединяющего названия «Кинокадры...» Шерман приобретают эффект *сериш*. Именно благодаря отсутствию *основной* темы разрозненные и несовпадающие «цитаты» превращаются из традиционного дополнения или иллюстрации к *авторскому* тексту в самостоятельный текст, не существующий и не возможный вне своей цитатности. «Никакой половой идентичности за проявлениями пола не скрывается, — пишет Батлер, — ...идентичность конституируется в процессе представления теми самими “проявлениями”, которые считаются ее результатами» (Butler, 1990, 25).

Поясню эту идею на примере. В пародийном романе Юрия Полякова «Козленок в молоке» главное действующее лицо на спор берется сделать знаменитого «писателя» из первого попавшегося встречного. Вернее — добиться для него «всенародной славы» ис-

ключительно нелитературными методами. Вот как описывает процесс *конструирования* «образа писателя» главный герой:

...писатель не может быть одет, как рядовой инженер или учитель, ибо тогда сразу возникает законный вопрос: почему в этом случае он работает писателем, а не инженером или учителем? Конечно, проще всего было взять пример с дедушки Хэма — ковбойка, грубый свитер, джинсы, ботинки на толстой каучуковой подошве. Но по этому пути уже не первое десятилетие идут графоманы всех рас и народов, и тут легко затеряться. В задумчивости я распахнул мой платяной шкаф. Первое, что бросилось мне в глаза, — торчавшая из кучи тряпья пятнистая штанина... Эти десантные брюки лет десять назад мне подарили в одной воинской части... Я... внимательно осмотрел пятнистые брюки и решил принять их за основу. Следующим был синий стеганный восточный халат, полученный в подарок от кумырского поэта Эчигельдеева... Поразмыслив, я отложил халат в сторону, ибо он придавал будущему имиджу Витька некоторую излишнюю ориенталистичность... Но вот следующую вещичку — черную майку с надписью «LOVE IS GOD» я решил пустить в дело.... В самой глубине шифоньера, точно хищник, затаилась лохматая доха закарпатского пастуха. ... получился довольно забавный силуэт... С головой дело обстояло сложнее. Широкополую шляпу я отверг с ходу, ибо в ней было что-то извращенно-эстетское, совершенно не подходящее лесному гению из заснеженной деревушки Щимьги. Но и кожаная кепка с пуговкой на макушке, а в просторечье — «цэдээловка», тоже не подходила Витьку, ибо каждый самонадеянный графоман, срифмовавший за всю свою жизнь четыре строчки, норвил завести себе такую же. ...теннисная повязка с надписью «Wimbledon»... достойно увенчала мои поиски... С одеждой вопрос был решен положительно. Как говорится, по одежке встречают... Но провожают, разумеется, не по уму, а по тому, что давно уже в нашем вывихнутом мире успешно заменяет ум, — по словам. Слова-то для Витька мне и предстояло придумать... (Поляков, 1997, 61—66)

При всей своей комичности, этот отрывок тем не менее хорошо иллюстрирует суть «*показательной мужественности*», основанной на принципе цитатности. Смысловый эффект, с одной стороны, достигается хорошо знакомым способом — т.е. путем *демонстрации* определенных, легко прочитываемых знаков, каждый из которых, в свою очередь, мог бы стать началом отдельной *знаковой цепочки*, раскрывающей глубинные смыслы идентичности. В то же время принципиальное отличие данного типа «мужественности» состоит в том, что традиционные внешние «показатели содержания» (пятнистые брюки, черная майка, пастушья доха, теннисная повязка) ни *показательной* функции, т.е. ориентирующей и отсы-

лающей к другим смысловым уровням, ни *содержательной* функции, т.е. разъясняющей суть происходящего, здесь не выполняют. Лишенные своего «внутреннего» и «внешнего» контекста, «показатели» приобретают смысл лишь благодаря своим *формальным, отличительным* признакам, лишь благодаря своей способности не совпадать друг с другом в пределах сложившейся/сложенной комбинации. Знаковые *действия* (походы в манеж, тир, зал, клуб, баню...) сменяются действиями знаков (брюки, майка, доха, повязка...), вернее, действиями между разными знаками.

Подобная *поверхностная*, не претендующая на глубину роль знаков в формировании *показательной мужественности*, на мой взгляд, не имеет ничего общего с идеей карнавального, маскарадного трагестивирования существующего символического порядка. В основе данного подхода лежит феномен *мимикрии*, сходный, но не совпадающий с идеей маскарада. Подобно маскараду, мимикрия также строится на игре с поверхностями. Однако если за маской участника маскарада скрывается лицо, если суть маскировки/маскарада и состоит в изначальном *существовании* расхождения между лицом и маской, то «поверхностная игра» мимикрии преследует иную цель — личиной мимикрирующей поверхности продемонстрировать принципиальную «нехватку», манифестировать «наличие отсутствия» какого бы то ни было исходного, «*основного лица*». *Показательная мужественность* становится тем невыразимым *Ъ*, благодаря которому очередной «коммерсантъ» молчаливо строит свою *знаковую* стратегию (языкового) отличия — отсутствующего в речи, видимого при письме.

«Футляр» наличной идентичности, выстроенный для внешнего — показательного и показного — потребления, таким образом, становится одновременно и броней, и тем «наружным скелетом», защитные свойства которого позволяют начать заполнение внутренних пустот. И символическая, дискурсивная, знаковая природа этого «футляра», его заимствованность, его двойная («своя/чужая») принадлежность не должны скрывать его принципиальной конституирующей функции.

Подобная цитатность, понятая как форма существования, в свою очередь, позволила Батлер говорить о *представляемом*⁸

⁸ «Представлять», по Далю, — «доставить, поставить человека налицо», «отрекомендовать, назвать наличного человека», «изобразить, изъяснить словами», наконец — «корчить, подражать, принимать вид, наружность чьюлибо» (Даль, 1999, т. 3, 389).

(performative) характере «пола» и «идентичности». То есть о характере, который одновременно подчеркивает *воспроизводимость, повторяемость, цитируемость*, т.е. в буквальном смысле *представляемость* того, что принято считать типичными половыми признаками, и в то же время самим фактом своего *представления* четко обозначает *сфабрикованную, замещающую, призрачную* природу этих при-знаков. Вопрос, естественно, в том, что лежит в основе риторической эффективности и эффектности этих призрачных при-знаков?

Говоря об эмоциональной убедительности определенных речевых практик, которые даже вне своего привычного контекста могут производить сильный эмоциональный эффект (например, оскорбления со стороны абсолютно незнакомых, чей статус и мнение неважны), Батлер отмечает:

Основа временного успеха представляемого (performative)... заключается не в том, что намерение [оскорбить] поглощает собой сам речевой акт, но только в том, что этот акт есть эхо предыдущих действий, в том, что он *аккумулирует силу власти посредством воспроизводства и цитирования ряда действий, которые пользуются влиянием*. Дело не только в том, что речевой акт в данном случае имеет место в *рамках* практики, но в том, что этот акт сам по себе уже есть ритуализованная практика. Таким образом, представляемое «работает» лишь тогда, когда оно и *основывается на* конституциональных конвенциях, благодаря которым стало возможным, и одновременно *перекрывает их*. В этом смысле ни термин, ни заявление не могут функционировать представительно без аккумуляции и симуляции историчности силы. (Butler, 1997, 51)

Залог смыслового эффекта *представляемого*, его убедительность, таким образом, заключается в степени прошлой авторитетности/авторитарности доступных для воспроизведения слов, жестов и действий (см. Butler, 1990, 136). Анализ биографий в итоге вытесняется анализом речевых и — шире — дискурсивных форм/цитат, из которых эта биография составлена. И «степень мужественности» говорящего субъекта отражает степень владения субъектом соответствующими формами речи. Иерархия «мужественностей», таким образом, воспроизводит существующую иерархию доступности дискурсивных форм, не связанных напрямую с половой идентичностью. Непротиворечивость этих форм в рамках той или иной жанровой разновидности «мужественности», их стилевая «целостность» есть лишь отражение корректирующей дискурсив-

ной практики, есть следствие своеобразного — посредством *поляризации* и *маргинализации* — дискурсивного «монтажа кадров», целью которого является воспроизводство очередного футляра половой идентичности. Очередного человека в футляре. Человека рода он....

* * *

Подбирая тексты для сборника «*О муже(N)ственности*», я прекрасно отдавал себе отчет в том, как действует правило, хорошо сформулированное Мишелем Фуко в «*Словах и вещах*»: «Любая система произвольна в самой своей сути, поскольку она целенаправленно игнорирует все те различия и все те тождества, которые не относятся к выбранной структуре» (Foucault, 1970, 140). Иными словами, *произвольность* структуры сборника стала естественной основой его формирования. И все же, несмотря на целенаправленность редакторского игнорирования, мне кажется, что в сборнике удалось достичь продуктивного равновесия между сочетаемостью и разрозненностью теоретических подходов, исторических контекстов, стилистических особенностей и терминологических предпочтений авторов. Представленные здесь «*осколки*» мужественности, безусловно, не создают иллюзию некой целостной «мужественности», но и — хочется надеяться — не рассыпаются как изолированные атомы. Каждый раздел книги представляет собой попытку задать определенный вектор чтения, определенный контекст восприятия, определенный режим конструирования «мужественности».

Проблемы *материальной* субстанции «мужественности», проблемы перевода «мужественности» с языка культурных стереотипов и стандартов на язык тела обсуждаются в разделе «*Телесность мужественности*». Прослеживая историю мужского тела в изобразительном искусстве, Игорь Кон демонстрирует, как посредством *осмысления*, *объективизации*, *овеществления* мужское тело из анатомо-физиологической «данности» становится объектом социокультурного воздействия, становится предметом в буквальном смысле этого слова — предметом изображения, *предметом* зрительного удовольствия, наконец, предметом подавления и цензуры.

Три разных аспекта *контроля над телом* как способом проявления мужской идентичности рассматривают Е. Трубина, Е. Ярская-Смирнова и Е. Барабан. Елена Трубина в своей статье, базирую-

щейся на интервью с учителем физкультуры средней школы из Екатеринбурга, показывает, как *ритуализация и институциализация форм* телесного контроля в рамках образовательной системы не только становятся средством *нормализации* и *поляризации* тел учеников, но и превращаются в основной источник мужской идентичности самого учителя.

Анализируя интервью с лидером физкультурно-спортивного движения саратовских инвалидов, Елена Ярская-Смирнова пытается ответить на закономерный вопрос о том, что происходит с теми, кто не может соответствовать господствующим «стандартам полноценности», с теми, для кого контроль над телом является не одним из доступных способов самореализации, а *формой жизнедеятельности*, в значительной степени структурирующей восприятие повседневности.

Елена Барабан помещает проблему телесных «стандартов полноценности» в несколько иную плоскость. Используя материалы советской и постсоветской массовой культуры, автор показывает, как идея контроля над телом трансформируется в технику контроля за его *весом*, физическая величина которого, в свою очередь, приобретает разное символическое значение в зависимости от половой принадлежности *обладателя* веса.

«Стойко состязаться, подвизаться в борьбе (телесной или духовной), стоять доблестно» — так объясняет Владимир Даль в своем словаре слово «*мужествовать*» (Даль В., 1999, т. 2, 256). Дестабилизации подобной глубоко укоренившейся интерпретации «*мужественности-как-борьбы*» и посвящен раздел «*Воинственность мужественности*».

Анализ психологической литературы по проблемам насилия, предпринятый в статье Наталии Ходыревой, демонстрирует беспочвенность попыток искать источники насилия в *природе* мужской идентичности и акцентирует социальную, *ситуативную суть* акта агрессии, зависящую не столько от анатомии насильника и жертвы, сколько от их местоположения в социальной иерархии. Пол Робинсон, в свою очередь, фокусирует свое исследование на армии как *институциализированной* форме насилия и прослеживает, как с помощью таких социальных регуляторов, как «честь» и «добрость», насилие превращается не только в допустимую, но и желаемую форму мужского поведения. Тема институциализированного насилия как особого поведенческого ритуала, т.е. как совокупности приемов, которые могут быть воспроизведены и которым можно обучить(ся), рассмотрены с неожиданной точки зрения в

статье Ирины Савкиной. На материалах биографии кавалерист-девицы Н. Дуровой исследовательница демонстрирует, как складывается процесс усвоения норм, правил и ритуалов поведения, считавшегося типично «мужским». Проблематика взаимосвязи пола и насилия находит дальнейшее развитие в тексте Сергея Жеребкина. Система сексуальных норм и запретов, сложившаяся у запорожских казаков, интерпретируется автором как пример особой формы коллективной организации кочевого типа, в котором сам сексуальный акт оказывается встроенным прежде всего в контекст стратегии ведения военных действий.

Одним из наиболее устойчивых «мирных» эквивалентов «мужской агрессии» традиционно является идея профессиональной компетенции, идея профессионального совершенства. Именно это стремление к переводу содержания «мужественности» на язык профессиональной деятельности и стало основным предметом анализа авторов раздела *«Профессионализм мужественности»*.

Алексей Юрчак в своей статье демонстрирует, при помощи каких дискурсивных технологий «деловой мир» оказывается устойчиво ассоциированным с «миром мужчин». Строя свое исследование на материалах собственных интервью с представителями и представительницами современного российского бизнеса, а также на материалах прессы, исследователь пытается выделить те «нормативные» и «маргинальные» модели, благодаря которым экономика в России приобретает «мужские» очертания. Используя в качестве отправной точки интервью с двумя фокус-группами, состоящими соответственно из мужчин — представителей рабочего и среднего класса, Елена Мещеркина показывает в своем исследовании, что, хотя нестабильность профессионального и — шире — классового положения мужчин и проявляет себя практически повсеместно в терминах половой идентичности, формы дискурсивной проблематизации статусной неуверенности могут значительно варьироваться. Прагматичная готовность мужчин-рабочих к вынужденному пересмотру традиционного распределения семейных ролей (добытчик/хозяйка) в данном исследовании резко контрастирует с фрустрацией представителей технической интеллигенции, неспособных соответствовать усвоенным нормативам «мужской ответственности». Тенденцию интерпретации профессионального успеха в терминах половой идентичности развивает в своей работе Ольга Шевченко. На примере интервью с малообеспеченными мужчинами из круга московской интеллигенции исследовательница прослеживает их устойчивое стремление риторически компенсировать собствен-

ную нисходящую социальную мобильность путем подчеркивания *не-мужественного* характера экономических успехов восходящих групп. Сходное противопоставление «мужского» и «женского» как способ дискурсивной институционализации профессионального неравенства стало объектом анализа Татьяны Суспицыной. В статье делается попытка ответить на вопрос, как и почему — несмотря на фактическое численное преобладание женщин в учительской профессии — тексты и фотографии «Учительской газеты» склонны отождествлять дискурс о школе с дискурсом о профессиональной жизни учителей-мужчин.

Согласно *Малому академическому словарю* 1981 года, нация — это «исторически складывающаяся на основе капиталистического или социалистического способов производства общность людей, связанных общностью языка, территории, экономического уклада, культуры» (МАС, т.2, 414). Хотя сам набор признаков с легкостью может стать объектом критики, основная суть определения, на мой взгляд, остается верной — нация есть исторически складывающаяся общность людей. Авторы раздела «Национализм мужественности» в своих текстах анализируют то, какую роль в процессе формирования этой общности играет *половая идентичность* составляющих ее людей, т.е. в какой степени «пол» вообще и «мужественность» в частности оказываются востребованными для формирования той или иной национальной общности.

В статье Ирины Новиковой в качестве одной из форм таких общностей выступают спортивные болельщики. В центре внимания автора находится освещение прессой Латвии и России матча между сборными двух стран на чемпионате мира по хоккею в 2000 году. Вернее — процесс формирования определенных дискурсивных линз в прессе обеих стран, позволивших увидеть в результатах *спортивных баталий*, призванных определить *сильнейшего*, не только иерархию мужских групп, но и иерархию государств. *Противопоставление* различных типов «мужественности» как основной способ формирования не только половой, но и национальной идентичности является предметом исследования в статье Греты Слобин. На примере двух романов Василия Аксенова — «*Остров Крым*» и «*Новый сладостный стиль*» — автор демонстрирует нерасторжимость национального и сексуального в биографиях его героев времен упадка советской империи. Сходную тематику диалогической природы национализма, основанной на неустанном противопоставлении «своих» и «чужих», анализирует в своей статье Элиот Боренштейн. В данном случае диалог между Россией и

Западом происходит на страницах «новой» российской порнографической и эротической прессы. Исследуя тексты глянцевого российского журналов («*Андрей*», «*Махаон*», «*Playboy*») середины 1990-х, автор демонстрирует убедительные примеры процесса политизации сексуальности, способного превратить неприглядную постсоветскую реальность в привлекательную эротическую фантазию. Тема взаимосвязи сексуальности и национальности, точнее — интерпретация национальной идентичности в терминах сексуальных ритуалов и практик, освещается в работе Оксаны Забужко. Политический тоталитаризм в данном случае интерпретируется как «тотальное изнасилование», а, соответственно, политическая колонизация Украины — как систематическое воспроизводство тоталитарным режимом особого типа колониальной сексуальной идентичности мужчины покоренного, «второсортного» народа.

Как справедливо заметила недавно Джудит Батлер, «чтобы стать женщиной или мужчиной, требуется время» (Butler, 1999, 19). Именно этот, одновременно и временный и временной, аспект половой идентичности и исследуется в разделе «*Временность мужественности*». В отличие от предыдущих разделов, помещающих «*мужественность*» в относительно стабильный контекст телесных, профессиональных или национальных означающих, авторы этого раздела фиксируют преходящие, исчезающие или давно исчезнувшие социальные ритуалы и институты, с помощью которых «*мужественность*» наполнялась конкретным содержанием.

Историю одного из таких исчезнувших институтов рассказывает в своем очерке Юрий Гончаров. Купечество как сословие становится у автора не столько показателем определенной социальной принадлежности, сколько формой *организации* жизнедеятельности, тем основным социальным центром гравитации, который определял направление и скорость вращения вокруг него всех остальных идентичностей и институтов. В еще одном историческом очерке Дэн Хили фиксирует саму динамику *процесса исчезновения* одной из форм «*мужественности*», а именно *русской «тетки»*, появившейся в гомосексуальной субкультуре Москвы и Петербурга в последней трети XIX — первой трети XX в. На основе архивных материалов автор показывает, как «женоподобие» мужчин (в отличие от «мужеподобности» женщин) стало восприниматься советской властью сначала как «чужеродный» элемент мужской идентичности, а затем превратилось в объект целенаправленной борьбы и скоординированных репрессий политики гомофобии. Елена Здравомыслова и Анна Темкина акцентируют внимание на *дискурсив-*

ных формах и механизмах, с помощью которых находила свое выражение в советской либеральной прессе 1960—1980-х гг. сама идея (грозящей) утраты мужественности. По мнению авторов, риторика «кризиса мужественности», с одной стороны, была отражением более глубокого социального кризиса советского общества, а с другой — стала возможной лишь благодаря параллельному формированию серии дискурсов об успешных, «благополучных» Других («отец-герой», «русский мужик», «дворяне-декабристы», «западный мужчина», «советская женщина»). Статья Жанны Черновой, завершающая этот раздел, анализирует конкретное воплощение тезиса о кризисе советской мужественности. Используя материалы интервью с участниками и организаторами фестиваля авторской песни им. Грушина, а также сами тексты «авторских песен», автор реконструирует образ «романтика» периода позднего социализма, противостоящий или по крайней мере дистанцирующийся от идеологически нормативной «мужественности» этого периода.

В определенном смысле раздел «(После) мужественности» логически завершает тему исчезновения, утраты, временности «мужественности», детально затронутую в предыдущих работах. Цель представленных здесь текстов во многом состоит не только в демонстрации принципиальной «фрагментированности», «несовпадаемости», «несовместимости» разнообразных «осколков» современной «мужественности», но и в попытке доказать, что говорить о существовании некоей нормативной постсоветской мужественности (да и некоей целостной и непротиворечивой «гендерной картины мира») безосновательно. Смена политического режима проявилась не только в необходимости реконструирования экономических и политических отношений. Резкое исчезновение идеологического футляра «советской мужественности», (без)успешно пытавшегося скрыть ту «начальную нехватку», то «исходное отсутствие», вокруг которого и конституируется половая идентичность, привело к разнообразным попыткам восполнить — т.е. скрыть — идентификационный вакуум. Анализу этих попыток и посвящены тексты данного раздела.

Одним из важнейших социальных институтов, участвующих в формировании постсоветской «мужественности», являются, безусловно, независимые и коммерческие средства массовой информации. На примере одного из них — глянцевого журнала «Медведь» — я попытался в своей статье развить концепцию «видимости мужественности», которая отражает, с одной стороны, зримость и демонстрируемость знаков «мужественности», а с другой —

акцентирует их *подозрительную*, иллюзорную, фантазматическую природу. Елена Гоцило и Надежда Ажгихина в своем исследовании форм и формирования публичного облика «новых русских», этой, пожалуй, наиболее успешной группы постсоветских мужчин, показывают его предельную *сконструированность* и внутреннюю противоречивость. Как свидетельствуют авторы, «новый русский» компонент этого образа зачастую оказывается укорененным в старых русских и старых советских, вернее, позднесоветских, стандартах «мужественности» и связанных с ними ритуалах. Массовая культура как средство формирования мужской идентичности стала объектом анализа Ольги Шабуровой. По мнению исследовательницы, несмотря на все калейдоскопическое многообразие «доступных» идентичностей, фигура Мужика является наиболее полным отражением тенденции, господствующей в современной массовой культуре. Несмотря на всю свою откровенно коммерческую природу, идентификационная привлекательность образа Мужика, активно эксплуатируемого *Русским радио*, группой «Любэ» и в рекламе российского пива, начинает постепенно проникать и в политический лексикон, становясь символической основой для избирательных кампаний таких движений, как «Единство». Работы Брайана Бэра и Елены Омельченко с разных позиций анализируют гомосексуальную традицию «мужественности», активно представленную в постсоветский период в средствах массовой информации и произведениях массовой культуры. Внимание Б. Бэра привлечено к возрождающейся фигуре российского денди, призванной отчасти заменить старые идеалы «мужественности», погребенные под руинами Советского Союза. По мнению автора, пограничная позиция денди, его амбивалентная половая идентичность, а также ирония, скептицизм, пародия и мистификация, на которых денди строит свой образ и поведение, одновременно и способствуют укоренению новой эстетической традиции «мужественности» в постсоветской России, и ставят под сомнение те из них, которые готовы претендовать на статус очередных эталонов «мужественности». Стремление понять, как именно воспринимается подобное дестабилизирующее воздействие гомосексуальных вариантов «мужественности», лежит в основе исследования Е. Омельченко, материалами для которого стали интервью с подростками школ Ульяновска. Как демонстрирует автор, отсутствие у школьников-респондентов дискурсивных возможностей для обсуждения сексуальности зачастую приводит к тому, что уже сам вопрос о

мужской сексуальности воспринимается как *выражение* сомнения в очевидности ее «традиционности», как вопрос о *гомосексуальности*. Подобные дискурсивная монотональность и монотонность с неизбежностью ведут к тому, что практически единственной формой *реакции* на *иную* форму сексуальности становится скрытая или явная гомофобия. Тексты Павла Романова и Сюзан Ларсен, завершающие сборник, представляют еще одну пару несхожих мнений на одну и ту же проблему — в данном случае на репрезентацию постсоветского мужчины в кино. Для Павла Романова фильм «*Брат*» (реж. А. Балабанов, 1977) стал своего рода квинтэссенцией постсоветской мужественности — раздробленной, подвижной, нефиксированной, не столько способной одновременно существовать в нескольких несовпадающих пространствах, сколько скользящей *между* этими пространствами. В этом неустойчивом, неуловимом характере постсоветской мужественности, по мнению автора, можно видеть итог приспособления к условиям нестабильности, где *нефиксированность* идентичности логически ведет и к аналогичной *нефиксированности* этических норм постсоветской жизни. Сходная идея об одновременном присутствии в постсоветском кино нескольких несовпадающих систем (смысловых и временных) координат лежит в основе исследования Сюзан Ларсен. Прослеживая развитие мужских образов в таких фильмах, как «*Анкор, еще анкор*» (реж. П. Тодоровский, 1992), «*Прорва*» (реж. И. Дыховичный, 1992), «*Серп и молот*» (реж. С. Ливнев, 1994), «*Утомленные солнцем*» (реж. Н. Михалков, 1994) и «*Вор*» (реж. П. Чухрай, 1997), автор приходит к выводу о формировании определенной сюжетной традиции. Главным компонентом этой традиции становится сюжетная поляризация, при которой героическая фигура мужчины становится жертвой сталинистского режима, персонифицированного в женщине.

Разумеется, попытка представить в рамках одного сборника многообразие тем и форм анализа «мужественности» далека от совершенства. Терминологический разнобой, определенная теоретическая недоговоренность и непроговоренность стали, пожалуй, одним из самых заметных — и неизбежных — результатов подобного «стремления к многообразию». Успокаивает одно — выработка новых понятий, концептуальных схем и аналитических категорий возможна только в процессе дискуссии, т.е. в процессе обмена несовпадающими мнениями. Хочется надеяться, что подобное несовпадение мнений в рамках сборника состоялось.



Сборник «*О муже(Н)ственности*» вряд ли бы появился на свет, если бы не несколько счастливых совпадений. Конференция «*От Истории к истории: женская и гендерная история в странах переходного периода*», организованная в октябре 1999 г. в Минске Центром гендерных исследований Белорусского гуманитарного университета, стала тем местом, где, собственно, и появилась впервые идея собрать воедино подобную коллекцию материалов. Я благодарен Елене Гаповой за ее приглашение принять участие в этой конференции и Елене Здравомысловой за ее настойчивый совет взяться за составление сборника, совет, который и перевел благие рассуждения в русло практических действий. Без оперативной и бескорыстной работы Елены Барабан и Виктора Чернецкого над переводами несколько текстов вряд ли вошли бы в состав сборника, и я хотел бы поблагодарить их за эту работу. Малый грант Международного Совета по научным обменам (IREX) в значительной степени облегчил и ускорил подготовку текстов к публикации. Наконец, без организационной и финансовой поддержки со стороны Сетевой женской программы *Института «Открытое общество»* и редакции «*Нового литературного обозрения*» этот сборник вряд ли увидел бы свет.

Февраль, 2001

I

ТЕЛЕСНОСТЬ МУЖЕСТВЕННОСТИ

Игорь Кон

МУЖСКОЕ ТЕЛО КАК ЭРОТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ*

Один из самых увлекательных новых сюжетов современного человековедения — человеческое тело. Сегодня никто не сомневается в том, что наше тело — не просто природная, анатомо-физиологическая данность, а сложный и изменчивый социальный конструкт. Но кто и как «конструирует» человеческое тело? В философии и культурологии на этот счет существует несколько концептуальных схем и бинарных оппозиций, которые, к сожалению, плохо согласованы и зачастую несовместимы друг с другом.

Нагое и голое

Начиная с классической работы английского искусствоведа сэра Кеннета Кларка (Clark, 1960), историки искусства, а за ними и другие ученые разграничивают понятия *голоого* и *нагоого*. Голое (naked) — это всего лишь раздетое тело, голый — человек без одежды, каким его мама родила. Напротив, нагота (nudity) — социальный и эстетический конструкт; нагое тело не просто не прикрыто, а сознательно выставлено напоказ с определенной целью, в соответствии с некими культурными условностями и ценностями. Быть голым — значит быть самим собой, натуральным, без прикрас. Быть нагим — значит быть выставленным напоказ. Что-

* Статья является частью исследовательского проекта «Меняющийся мужчина в изменяющемся обществе», выполняемого с помощью гранта Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров № 99 — 57255 и CEU / HESP Senior Fellowship Program (Центрально-Европейский университет, Будапешт). Автор выражает глубокую благодарность обоим учреждениям.

бы голое тело стало нагим, его нужно увидеть как объект, объективировать. «Голое открывает себя. Нагота выставлена напоказ... Голое обречено на то, чтобы никогда не быть нагим. Нагота — это форма одежды» (Berger, 1972, p. 54). Голым человек может быть как на людях, так и в одиночестве. Голый человек (например, в бане) просто является сам собой, не чувствует себя объектом чужого внимания, не замечает своей обнаженности и не испытывает по этому поводу особых эмоций. Но если голый чувствует, что на него смотрят, он смущается и начинает прикрываться или позировать.

Нагое тело необходимо предполагает зрителя, оценивающий взгляд которого формирует наше самовосприятие. Стриптизер или бодибилдер, демонстрирующий себя публике, сознательно делающий свое тело объектом чужого взгляда, интереса, зависти или вожделения, остается субъектом действия, он контролирует свою наготу, гордится своими мускулами, силой, элегантностью или соблазнительностью. Напротив, человек, которого насильно оголили или заставили раздеться, чувствует себя объектом чужих манипуляций и переживает стыд и унижение, независимо от того, красив он или безобразен. Иными словами, если голое представляется объективно данным, то нагота создается взглядом.

Взгляд и гендерное тело

Категории взгляда в контексте взаимоотношений Я и Другого посвящена огромная философская литература (Жан Поль Сартр, Морис Мерло-Понти, Жорж Батай, Жак Лакан, Ролан Барт и др.). Но и сам этот термин, и описываемые с его помощью отношения и социально-психологические функции взгляда неоднозначны. «Видеть», «смотреть», «глазеть», «рассматривать» и «подсматривать» — психологически и социально разные действия. Если же учесть также их субъектные, объектные, ситуативные и смысловые параметры — т.е. кто, на кого, в какой обстановке и с какой целью смотрит, — то очевидно, что единой, всеохватывающей схемы для интерпретации этих действий нет и быть не может.

Взгляд может быть а) силой, с помощью которой один человек контролирует и подавляет Другого, б) средством признания, проявлением заинтересованности в Другом, в) способом коммуникации, средством создания и передачи Другому некоего смысла.

Специфические эротические и этико-эстетические аспекты взгляда, тесно связанные с диалектикой нагого и голого, — важней-

шие оси как бытовой эротике, так и изобразительного искусства¹. Однако ни тела, ни наготы «вообще» не бывает. Идет ли речь о материальном физическом теле или о его представлении и изображении, тело всегда является гендерно-специфическим (*gendered bodies*), неодинаковым у мужчин и женщин, и с этим также связано много трудных философских и историко-антропологических проблем.

Индивидуальное восприятие обнаженного тела и способы его социальной репрезентации зависят от свойственного данной культуре телесного канона, включая характерные для нее запреты, табу, нормы стыдливости и многие другие предписания, которых может не быть у других культур и которые так или иначе связаны с гендерной стратификацией.

Важнейший источник для изучения эволюции телесного канона и стереотипов маскулинности и фемининности — история искусства. Но искусствоведческая литература по истории человеческого тела почти вся посвящена женщинам. За вычетом немногих старых работ (Bulle, 1912, Hausenstein, 1913), иконография мужского тела появилась только в конце 1970-х гг.² и остается крайне фрагментарной, причем она связана преимущественно с историей гомосексуального желая³.

Для этого есть веские основания. В европейском искусстве, за исключением античности, обнаженное женское тело изображалось значительно чаще мужского. Уже в эпоху палеолита женские знаки и образы решительно преобладают над мужскими (Абрамова, 1966). Но вопрос не столько в том, чья нагота — мужская или женская — изображается чаще⁴, сколько в том, как и зачем это делается и кому это изображение адресовано.

Почти на всем протяжении истории человечества как создателями, так и потребителями искусства были мужчины, которых женское тело сексуально интересовало и возбуждало больше, чем мужское. Но дело не столько в свойствах мужской сексуальности, сколько в соотношении маркированных и немаркированных социальных категорий и идентичностей. Взгляд — категория статус-

¹ См.: Brennan and Jay, 1996; Bryson, 1983; Mulvey, 1989.

² См.: Adler and Pointon, 1993; Boone, 1998; Brooks, 1993; Cohan and Hark, 1993; Perry and Rossington, 1994; Davis, 1991; Krondorfer, 1996; Lucie-Smith, 1998; Schehr, 1997; Walters, 1978; Weiermair, 1987.

³ См., например, Beurdeley, 1977; Cooper, 1994; Creekmur and Doty, 1995.

⁴ Кстати сказать, надо еще уточнить, идет ли речь об *изображении* тела или его части или только об *обозначении* мужского и женского начал, естественными знаками которых являются соответствующие гениталии.

ная, иерархическая. В древности ему нередко приписывалась магическая сила: тот, кто смотрит, может и «сглазить». Право смотреть на другого, как и первым прикасаться к нему, — социальная привилегия старшего по отношению к младшему, мужчины к женщине, но никак не наоборот.

Как бы ни варьировались религиозно-философские метафоры маскулинности и фемининности, оппозиция мужского и женского всегда строится по одним и тем же осям: субъект/объект, сила/слабость, активность/пассивность, жесткость/мягкость и т.п. Главный принцип маскулинности — мужчина не должен быть похож на женщину, он должен всегда и везде оставаться субъектом, хозяином положения — распространяется и на репрезентацию мужского тела. Мужское тело обычно изображалось а) как символ власти и силы или б) как символ красоты и удовольствия, которое может быть преимущественно эстетическим или эротическим или смесью того и другого (Dutton, 1995). Однако в любом случае мужское тело должно находиться в движении, пассивная, расслабленная поза объективизирует мужчину, делает его уязвимым и женственным. «Женской красоте и деликатности соответствуют мужские конструкции власти: мужчина создается своими деяниями, а женщина — своими свойствами» (Schehr, 1998, p.79).

В европейской живописи Нового времени женщина обычно более или менее пассивно позирует, открывая свою дразнящую наготу оценивающему взгляду потенциального зрителя и заказчика — мужчины. Женская нагота — знак социальной подчиненности. Даже в откровенно сексуальных, порнографических сценах женщина не столько реализует свои собственные желания, сколько возбуждает и обслуживает мужское воображение.

Женское тело является объектом мужского взгляда, привилегия мужчины — «смотрение». «Это можно упростить, сказав: *мужчины действуют, женщины являются*. Мужчины смотрят на женщин. Женщины наблюдают себя, в то время как на них смотрят. Это определяет не только большую часть отношений между мужчинами и женщинами, но также отношение женщин к самим себе» (Berger, 1972, 47).

Страх показаться женственным отражается и в повседневных критериях мужской привлекательности. «Настоящий мужчина» должен быть грубоватым и лишеным стремления нравиться. Красивый, изящный мужчина часто вызывает подозрения в женственности, изнеженности, дендизме и гомосексуальности. Соблазни-

тельность и изящество ассоциируются если не с прямой женственностью, то с недостатком маскулинности⁵.

Пенис и фаллос

Герой шутливого романа Альберто Моравия «*Я и он*» (Moravia, 1971) тридцатипятилетний Федерико ведет постоянный диалог с собственным членом. Хотя член, по словам Федерико, только часть его тела, он очень гордится им: «Двадцать пять сантиметров в длину, восемнадцать сантиметров в окружности и два с половиной килограмма весом», «могучий и сильный, как дуб, с выступающими венами», «"он" встает из моего живота почти вертикально, заметно поднимая простыню» и «взрывается у меня между пальцев, как только что откупоренная бутылка шампанского». Однако сплошь и рядом «он» не только существует сам по себе, но даже диктует хозяину собственную волю. Между Федерико и его членом идет соперничество и борьба за власть: «Когда ты, наконец, поймешь, поверхностный, легковесный человек, что я — желание, а желание не имеет пределов?»

Тема раздвоения и конфликта между мужчиной и его пенисом широко распространена в мировой литературе, начиная (в России) с гоголевского «*Носа*» (нос — всего лишь символ пениса). Автономия мужского члена — не просто метафора. Как известно, мужские члены значительно длиннее и толще, чем у самцов приматов. Гипотетическое палеоантропологическое объяснение (Sheets-Johnstone, 1990) связывает этот факт с прямохождением, в результате которого пенис стал более заметным и видимым, сделавшись из простого орудия сексуального производства также возбуждающим знаком для самок и, самое главное, символом маскулинности для

⁵ Это хорошо видно в творчестве Бальзака. В описании бывшего каторжника Вотрена/Колена Бальзак подчеркивает грубую силу и мужественность. Напротив, элегантный молодой красавец Люсьен де Рюампре, в которого безоглядно влюбляются и женщины и мужчины, отличается женственной внешностью: «Взглянув на его ноги, можно было счесть его за переодетую девушку, тем более, что строение бедер у него... было женское» (Бальзак, 1960а, 310). Вообще Люсьен «был неудавшейся женщиной» (Бальзак, 1960б, 493). Телесная женственность предопределяет и социальную слабость Люсьена: он слаболовен, берет деньги у проституток, протитутуирует собственный талант, уступает домогательствам Колена и в конечном итоге кончает с собой. Таких примеров в мировой литературе много.

других самцов (по аналогии с оленями, у которых знаком статуса служит размер рогов). Возможно, именно это обстоятельство является конечной причиной, побуждающей мужчин прикрывать свой половой орган.

Однако важен не столько сам член, сколько эрекция, имеющая, помимо физиологического, также социальный, коммуникативный смысл. Эрегированный член бросается в глаза, ему приписывается определенное социальное, межличностное значение. Не прикрытый, голый член может не только раскрыть важный секрет, но и подать неправильный сигнал, внушить ошибочное представление о том, чего мужчина на самом деле хочет. Согласно антропологическим данным, лишь очень немногие племена обходились без такого прикрытия, хотя бы чисто символического. Контроль за эрекцией — важнейший компонент и прообраз мужского самоконтроля. У ряда приматов взрослые самцы жестоко бьют показывающего свою эрекцию подростка, обучая его соответствующему этикету.

Символическое значение мужского члена выходит далеко за пределы репродуктивной функции. По выражению Камиллы Палья, эрекция и эякуляция — прообразы всякой культурной проекции и концептуализации, от искусства и философии до фантазий, галлюцинаций и маний:

Мужское мочеиспускание — своего рода художественное достижение, кривая трансцендентности. Женщина просто увлажняет почву, на которой она стоит, тогда как мужская уринация — своего рода комментарий... Кобель, помечающий каждый кустик на участке, — это уличный художник, оставляющий при каждом поднятии лапы свою грубую подпись. (Paglia, 1991, 20–21)

Конечно, это всего лишь метафора. Но недаром мальчишки часто соревнуются, сначала — чья струя сильнее, а затем — чья сперма брызнет дальше. Это хорошо описано в «Занавешенных картинках» Михаила Кузмина (Кузмин, 1996, с.356):

Вот команда: враз мочиться;
Все товарищи в кружок!
У кого сильнее струится
И упруге хоботок.

В этих мальчишеских соревнованиях, не имеющих аналога у женщин, явно присутствуют типично мужские мотивы соревновательности и достижения и их естественная производная — исполни-

тельская тревожность (самый распространенный мужской психосексуальный синдром).

Проблематичность взаимоотношений мужчины с его половым органом давно уже сформулирована как оппозиция пениса и фаллоса, тесно связанная с уже знакомой нам диалектикой голого и нагого. Хотя в обыденной речи и в сексологической литературе эти слова часто употребляются как синонимы, в культурологии и психоанализе (начиная с Лакана, 1958) они обозначают совершенно разные вещи.

Пенис — материальный анатомический орган, который шевелится у мужчины между ногами. Фаллос же не обладает материальным существованием, это обобщенный символ маскулинности, который всегда должен быть большим, жестким и неутомимым. Фаллические культы, существовавшие у всех народов мира и занимающие важное место в мужском обыденном сознании, подразумевают не плодородие, любовь или похоть, а могущество и власть. Недаром на древних наскальных рисунках мужчины более высокого ранга изображались с более длинными членами.

Слово *эрекция* также наводит на размышления. Латинский глагол *erigo*, от которого происходит прилагательное *erectus*, означает не только «ставить прямо» и «поднимать», но и «возводить», «воздвигать», «строить», а также «ободрять» и «воодушевлять». Еще Флобер иронически заметил, что это слово применимо только к монументам. Однако равноценный медицинский термин «возбужденный член», подчеркивающий, что речь идет о живом, динамичном, чувствующем органе, употребляется гораздо реже. Хотя возбужденный пенис — штука гораздо более интересная, чем фаллос, мы ценим монументальность выше чувствительности.

Поскольку все мифопоэтические описания мужской сексуальности и ее материального субстрата относятся не к пенису, а к фаллосу, наивно ожидать от них физиологического или психологического реализма. Так же как нагое не может быть голым, фаллос не может стать пенисом, и обратно. Чем выше наше почтение к фаллосу, тем меньше мы знаем о пенисе. В отличие от фаллоса, пенис застенчив, стеснителен, окутан тайной, спрятан от критического взгляда. Отождествление мужской власти с фаллосом обрачивается раздробленной субъективностью и хрупкой и ранимой мужской идентичностью.

Но хотя различие пениса и фаллоса имеет большую эвристическую ценность, эту оппозицию не следует «пережимать». Далеко не все художественные и культовые образы нагих мужчин мож-

но назвать фаллическими. Развитой фаллический культ не мешал древним грекам наделять статуи своих богов и героев небольшими, прямо-таки мальчиковыми членами. И хотя русский хуй, в отличие от детской «письки» или «петушка», имеет явные фаллические притязания⁶, он тем не менее подразумевает реальный, живой пенис.

Кто завидует пенису?

Коль скоро различие между пенисом и фаллосом не дано объективно, а создается взглядом, *кто* является субъектом этого взгляда, *чей* взгляд в первую очередь конструирует и эротизирует мужское тело?

Если предположить, что мужчине важна прежде всего его сексуальная привлекательность, то главной мужской референтной группой должны быть женщины, именно их взгляд должен конструировать гетеросексуальное мужское тело. Но до самого недавнего времени все обстояло иначе.

По отношению к мужчине женщина всегда или почти всегда была «младшей». Он мог смотреть на нее, любоваться ею, трогать, «трахать» и изображать ее, обратное же было невозможно. Даже в современном, достаточно эмансипированном мире женщина зачастую может откровенно любоваться наготой своего любимого, только когда тот спит. Слишком пристальное, даже любовное и ласковое, внимание к их гениталиям многих мужчин смущает. А уж сравнение их мужских достоинств с чужими и вовсе недопустимо. Фаллос существует не для того, чтобы его рассматривали, а чтобы ему поклонялись. Тем более не могли женщины обсуждать и изображать мужские достоинства публично (хотя и делали это в своей среде), даже в произведениях искусства.

Открытый и свободный женский взгляд на мужское тело практически был вне закона. Главной референтной группой для мужчин в этом, как и в большинстве других вопросов, всегда было и остается мужское сообщество. Но мужское сообщество является фаллоцентрическим и фаллократическим. Мужской взгляд, формирующий мужское групповое самосознание, является по опреде-

⁶ «Я никогда не назову мужские гениталии постыдным постным словом член. Хуй есть Хуй, и я буду писать это слово с заглавной буквы, как в слове Родина. Я вычеркиваю его из словаря нецензурных слов» (Ерофеев, 1999, 172—173).

лению соревновательным, отчужденным, завистливым, отталкивающим, неэротическим, даже кастрирующим. Этот взгляд не ласкает пенис, а превращает его в фаллос, культивируя, с одной стороны, зависть и чувство собственной неполноценности, а с другой — пренебрежение и высокомерие к другим. Фаллоцентризм, фаллический культ и фаллоκραтия — разные аспекты одного и того же явления.

«Зависть к пенису», которую Фрейд приписывал женщинам, на самом деле гораздо сильнее бушует самих мужчин. Как писал английский поэт Уистан Оден,

если бы мужчине был предоставлен выбор — стать самым могущественным человеком в мире или обладателем самого большого хуя... большинство выбрали бы второе. От зависти к пенису страдают не столько женщины, сколько мужчины». (Цит. по: Davenport-Hines, 1995, 32)

Восприятие и оценка собственного пениса по фаллическим критериям порождает у мужчин множество психосексуальных трудностей и коммуникативных проблем.

Если взгляд — это власть, то единственный способ избавиться от нее — не позволять другим мужчинам смотреть на себя (женщины не в счет — им «нечем» соперничать с мужчиной). Отсюда — особая мужская стеснительность и связанные с нею нормативные запреты. Существующие во многих религиях (например, в исламе и иудаизме) строгие запреты на демонстрацию собственной и на созерцание чужой мужской наготы мотивируются не столько страхом перед гомосексуальностью, сколько статусными соображениями. Чем так провинился библейский Хам, что его имя стало нарицательным? Он увидел наготу своего отца — а у пьяного Ноя был, конечно, не грозный фаллос, а обычный пенис — и посмеялся над ней. Помимо сексуальных запретов тут были нарушены статусные правила: младший не имеет права разглядывать старшего, это, как и взгляд в глаза, означает оскорбление и вызов⁷.

⁷ В средневековом Китае существовала легенда, что один маленький чиновник во время уличной процессии осмелился пристально посмотреть на прославленного своей красотой могущественного князя. Разгневанный феодал тут же велел его казнить, но чиновника спас даосский мудрец: «Сопротивление желанию не соответствует принципам Пути, нельзя ненавидеть любовь. За то, что он, помимо собственной воли, возжаждал тебя, по закону его нельзя казнить». Князь помиловал чиновника и доверил ему ответственную должность управляющего своей баней (Hinsch, 1990, 22).

Интересный бытовой пример мужской сексуальной стеснительности — так называемое «правило третьего писсуара»: при наличии в общественном туалете свободных мест мужчина избегает становиться рядом с другим, выбирая место через писсуар. Лет двадцать тому назад в *Journal of Personality and Social Psychology* было опубликовано об этом занятное исследование (к сожалению, я не помню фамилий авторов и вряд ли сумею найти эту статью). Исходя из известных урологических фактов — если мужчина испытывает тревогу, это вызывает у него трудности с мочеиспусканием, ему труднее начать мочиться и иногда он вынужден заканчивать, не сумев опорожнить мочевого пузыря, — авторы хотели экспериментально проверить, как действует в подобной ситуации появление соседа. Опыт состоял в том, что экспериментатор прятался в кабинке, а когда в туалет заходил очередной посетитель, рядом с ним пристраивался помощник исследователя. Реакцию (скорость начала и продолжительность мочеиспускания) «испытываемого» сначала пытались определить по звуку падающей мочи, но звукозаписывающая техника оказалась несовершенной, пришлось в «экспериментальной» кабине поставить специальный перископ, позволявший дополнить звуковые впечатления визуальными. Гипотеза, что вынужденное соседство действительно вызывает у мужчин тревогу и нарушает процесс мочеиспускания, подтвердилась, но статья подверглась критике по этическим соображениям, за нарушение приватности, — «испытываемых» не предупредили, что за ними наблюдают, и, насколько я знаю, больше таких опытов никто не ставил.

Другой пример повышенной чувствительности к взгляду — возражения американских военных против допуска в армию геев. Никто не опасался, что один или два гея изнасилуют или соблазнят всю роту. Однако их явное присутствие воспринимается некоторыми мужчинами как психологическая проблема. Вынужденная телесная близость, отсутствие приватности, включая коллективное, по команде, выполнение естественных потребностей, создает психологическую напряженность, но одновременно сплачивает мужчин. По признанию Сергея Мирного,

коллективное «мочение» как мало что еще способствует «боевому слаживанию подразделения» (это военный термин), сидение на очке в коллективе себе подобных воспитывает крепость характера, устойчивость психики и — это я без шуток! прочувствовал на собственном опыте — чувство слияния с массой — и я, так сказать, «этой силы частица». Командир, делающий «это» вместе с солдатами, не только

не теряет лица, но становится к ним психологически ближе. (Мирный, 1999, 29)

Молчаливое предположение, что «нормальные» мужчины в этой ситуации не смотрят друг на друга, а просто заняты общим важным делом, зачастую неверно. Однако гетеросексуальный взгляд «программирует» мужчину в привычном для него направлении, тогда как гомоэротический взгляд пробуждает в нем нечто новое, тревожное и неприятное. «Натуральные» мужчины боятся гомоэротического взгляда («*Сержант, рядовой Джонс опять на меня смотрит!*»), потому что он делает их объектом чужого сексуального желания, тогда как мужчине «положено» быть только его субъектом. Кроме того, мужчины опасаются непредсказуемости собственной реакции: а вдруг в ответ на его взгляд у меня «встанет», и тогда выяснится, что я сам «такой»?⁸

Сходную ситуацию представляет баня. В голом сообществе себе подобных, где все равны, нет явной гомоэротики (геи, боясь разоблачения, его избегают), зато присутствует очень важная для всех мужчин *гомосоциальность* — особое, основанное на исключении женщин, переживание мужской солидарности, в котором соперничество и ревность (в том числе из-за женщин) переплетаются с чувством органической общности, принадлежности к одной и той же группе («мы — мальчики», «мы — мужчины»). Если бы не гомосоциальность, то эмоциональные привязанности, товарищество и дружба между мужчинами были бы невозможны. Между тем им всегда приписывается высочайшая ценность.

Мужская нагота в классическом искусстве

Чтобы раскрепостить мужское тело и сделать его предметом рефлексии и художественного изображения, культура должна была ослабить целый ряд запретов: а) на наготу вообще, б) на мужскую наготу в частности, в) на сексуальность и г) на гомосексуальность.

⁸ Однако сказанное верно не для всех мужчин и не во всякой ситуации. Не говоря уже о мальчишеских соревнованиях по «писанью» и мастурбации, каждый, кто бывал в подростковых лагерях, знает, что некоторые мальчики насколько стадны, что и в уборную ходят исключительно группами, не испытывая при этом ни смущения, ни гомоэротических чувств. То ли у этих мальчиков просто нет подобных комплексов, то ли «свои ребята» — нечто совсем другое, чем посторонние люди.

Художественная репрезентация мужского тела имеет долгую историю. Основные этапы ее — античная Греция и Рим, где нагое мужское тело изображалось чаще женского и было предметом культа; средневековое христианство, табуировавшее любые проявления телесности; Возрождение, заново открывшее красоту и эротику обнаженного тела; классицизм, создавший образы героического мужского тела, и романтизм, сделавший это тело не только красивым, но также нежным и чувствительным; реализм и натурализм конца XIX — начала XX в., начавшие изображать обычных мужчин в реальных условиях их жизни, благодаря чему в живописи появилось не только нагое, но и голое тело; «мускулистая маскулинность» первой трети XX в., связанная с развитием атлетизма и физической культуры, и ее милитаризация тоталитарными режимами («фашистское тело»); деконструкция этих образов современным искусством, отказ от единого нормативного канона маскулинности, появление «гомосексуального тела» и т.д.

Однако этот процесс не был линейным. Бытовые телесные практики, ритуально-этикетные действия, визуальное изображение и театрализованное представление (перформанс) имеют свои собственные каноны, которые, как правило, не совпадают друг с другом и могут быть не совсем одинаковыми для мужчин и для женщин. Иконография мужской наготы требует учитывать взаимодействие по меньшей мере трех автономных факторов — *меры* обнажения, *типа* объекта и смысловой *нагрузки* изображения.

Сведение проблемы эротического тела к фронтальной наготы и изображению гениталий неправомерно. Критерии мужской и женской красоты и сексуальной привлекательности всегда включают множество внегенитальных компонентов — глаза, лицо, торс, грудные мышцы, форма ног и т.д. Полуодетое тело часто кажется более соблазнительным, чем совершенно обнаженное. Как писал Барт, эротическая фотография «не отводит сексу центральное место — она даже может вообще его не показывать»; напротив, «порнографическое тело зажато, оно себя показывает, а не отдает, в нем нет щедрости» (Барт, 1997, 89, 91).

Большее табуирование мужской фронтальной наготы коренится не только в фаллоцентризме, но и в особенностях мужской анатомии. Женские гениталии самой природой спрятаны в глубине тела, чтобы их можно было разглядеть, женщина должна широко раздвинуть ноги. Эта поза имеет откровенно сексуальный смысл, вызывает у мужчин разнообразные страхи (образ *vagina dentata*, ритуальные проклятия и оскорбления путем задиранья юбок, бранные выражения типа «пошел в...» и т.п.) и табуируется куль-

турой (культурами) не менее жестко, чем демонстрация эрегированного пениса. Такие изображения кажутся нарочитыми, порнографическими и в классическом искусстве практически отсутствуют; мне вспоминается только «Женский торс» или «Происхождение мира» Гюстава Курбе (1817—1877) (при жизни автора публично нигде не выставлялось).

Следует также иметь в виду, что эстетические нормы демонстрации и репрезентации гениталий сплошь и рядом не совпадают с этикетными и бытовыми.

Например, древние греки часто изображали нагих возничих и воинов, но в реальной жизни древнегреческие мужчины могли появляться обнаженными только на спортивных состязаниях или симпозиумах, куда женщины не допускались (Stewart, 1997). Отождествляя физическую, телесную красоту («калос») и нравственное благородство («агатос»), греки гордились тем, что только у них мужчины соревновались нагими. Но греческая скульптура непсихологична. «В античной скульптуре тело в его непосредственной выразительности и жизнеутверждающей силе является, как правило, более красноречивым, чем лицо» (Кузнецова, 1980, 12).

Хотя «нагой мужчина, одетый только в свою силу, красоту или божественность» (Hollander, 1978, 12), — излюбленный объект древнегреческого искусства, эти образы неоднозначны. Архаические мужские статуи — курсы — подчеркнуто маскулинны (широкие плечи, узкие бедра и т.д.) и воплощают прежде всего силу и выносливость. В начале V в. до н.э. эталон мужской красоты стал тоньше, подчеркивая уже не только силу, но и легкость, гармонию, мягкое изящество («Копьеносец» Поликлета). Воплощением юной мужественной красоты и изящества является статуя Аполлона Бельведерского. В статуях Праксителя (340 г. до н.э.) не только у мальчиков и юношей, но и у взрослых мужчин появляются не свойственные им прежде черты мягкости и женственности. Его отдыхающий Сатир, мечтательный Гермес, меланхоличный Аполлон Савроктон расслаблены, изящны, длинноноги, томны, крутой изгиб бедер подчеркивает тонкую талию, их тела как бы ищут опоры и грациозно опираются на стволы дерева. Они созданы не для войны, а для любви и отдыха. Греческая культура — культура самообладания, распушенность и эксгибиционизм ей глубоко чужды. Гениталии античных статуй не выглядят вызывающими, они скорее маленькие.

В христианском мире отношение к наготы вообще и к мужскому телу в частности принципиально другое. Для христианского

сознания тело несущественно, низменно и греховно, оно скрывается за складками обильных драпировок, утрачивает подвижность и выразительность. Ведущим искусством становится не скульптура, а живопись и мозаика, центром внимания оказывается лицо, особенно глаза как зеркало души. Более или менее обнаженное тело появляется лишь в библейских и мифологических сюжетах, превращаясь из активного начала в страдающее.

Для понимания смысла христианских запретов на наготу очень важна иконография Христа, а также Адама и Евы. Первоначальные христианские обряды не табуировали наготу. До начала VIII в. мужчин и женщин крестили нагими, по образу Адама и Евы. Их нагота не имела сексуального смысла. В каролингскую эпоху от этой практики отказались. Изменился и образ распятого Христа. Уже в VI в. распятия, на которых Христос, как то было положено приговоренным рабам, изображался нагим (нагота — дополнительное унижение), были уничтожены. Один священник из Нарбонны рассказал, что имел видение, в котором Христос просил прикрыть его наготу. В это же время Христа стали одевать и в Византии. Нагота Распятого теперь кажется соблазном для женщин, да и для мужчин тоже (Rouche, 1985, 439; см. также Brown, 1988).

Запреты распространяются и на изображения смертных людей. Даже в сценах пыток и Страшного суда гениталии обычно скрываются или вуалируются. Из этого правила были исключения. Например, на фреске Джотто «*Страшный суд*» (1303—1310) четверо грешников подвешены на крюках за те части тела, которыми они согрешили: один мужчина — за язык; женщина — за волосы, а двое, мужчина и женщина, — за половые органы. В другом месте той же фрески дьявол щипцами вырывает у грешника гениталии. Цветная иллюстрация одной французской книги детально изображает сцену одновременного ослепления и оскотления короля Сицилии и т.д. (Lucie—Smith, 1991). Однако эти изображения относятся к более позднему времени.

В быту нравы были гораздо более вольными. Карнавал и другие пережитки языческих оргиастических праздников допускали и даже требовали оголения. Весьма эротичным могло быть и одетое тело. В средневековой Европе одежда закрывала большую часть мужского тела, но с XII до XV в. верхняя часть мужской одежды постоянно укорачивалась, обтягивающие штаны подчеркивали формы ног, ягодиц и гениталий, специально вызывая сексуальный эффект. Некоторые мужские парадные портреты выглядят более откровенными, чем если бы их персонажи были раздеты.

Менялись и представления о мужской красоте. На ранних средневековых мужских портретах ноги выглядят прежде всего сильными и мощными. В позднем Средневековье и в эпоху Возрождения мужские ноги удлиняются и становятся тоньше, художники подчеркивают их изящество и элегантность. В мужских портретах XVII в. появляется открытая шея, тонкая шелковая рубашка приоткрывает очертания груди и т.д. Расслабленность и женоподобие аристократического тела подчеркиваются длинными волосами или париком (допустимая длина мужских волос не раз становилась в европейской культуре классово-идеологическим знаком). Знатный заказчик, желавший быть изображенным в роли мифологического персонажа, мог даже позировать художнику раздетым⁹.

Художественное представление мужского тела, как и вся поэтика маскулинности, тесно связано с гомоэротическим желанием и творчеством художников, которые это желание разделяли (Saslow, 1987; Steinweiler, 1989; Кон, 1999). Но стоит только поставить вопрос о том, для кого тот или иной образ является гомоэротическим — для самого художника, для его заказчика, для его современников или для современных геев-искусствоведов, — как многие атрибуты становятся проблематичными.

Нормы красоты и пристойности были неодинаковыми в разных видах искусства. Для *европейской скульптуры* Нового времени, ориентировавшейся на античные образцы, мужская фронтальная нагота приемлема, ее охотно изображали гении Возрождения (Микеланджело Буонаротти, Сандро Донателло, Бенвенуто Челлини и др.). Рассказывают, что мраморное распятие работы Бенвенуто Челлини настолько шокировало Филиппа II Испанского, что он прикрыл пенис Христа собственным носовым платком. «Давид» Микеланджело произвел в 1504 г. во Флоренции публичный скандал. В собрании Ватикана гениталии античных скульптур прикрываются фиговыми листками и т.п. Тем не менее эту традицию продолжили великие скульпторы XVIII — начала XIX в. Пьер Гудон, Антонио Канова, Бертель Торвальдсен¹⁰.

⁹ Аньоло Бронзино (1503—1572) изобразил Козимо Медичи (в образе Орфея) и Андреа Дориа (в образе Нептуна) нагими, прикрыв только их гениталии, да и то весьма двусмысленно.

¹⁰ Канова даже изваял громадную парадную статую обнаженного (гениталии прикрыты фиговым листком) Наполеона I (1811); на вопрос императора, почему он изображен нагим, Канова ответил, что обнаженное тело — это язык скульптора. По словам Торвальдсена, «наряд Господний не может одурочить, и он всегда самый красивый» (Таруашвили, 1991, 90).

В живописи нормы пристойности были строже, чем в скульптуре. Многие художники Возрождения охотно писали обнаженное мужское тело. Знаменитая гравюра Антонио Полайuolo «*Битва нагих богов*» (1480), как и «*Воскрешение мертвых*» Луки Синьорелли (1499—1502), изображают нагих мужчин в самых разных позах. Однако мужская нагота смущала зрителей гораздо больше, чем женская. Несколько сменявших друг друга римских пап пытались прикрыть или исправить «непристойную» наготу «*Страшного суда*» Микеланджело. В 1544 г. Пьетро Аретино говорил, что эта фреска больше подходит для украшения бани, нежели папской капеллы (типичный пример отождествления нагого и голого). В 1565 г. Даниэле да Вольтерра по приказу папы «прикрыл» чресла нескольких фигур, за что и получил прозвище «порточника» или «исподнишника». Караваджо был вынужден переделать своего святого Матфея, Веронезе допрашивала инквизиция. Еще более нетерпимыми были пуританские проповедники XVII в.

Художники вынуждены были приспособливаться к обстоятельствам. В отличие от женской наготы, которой можно было любоваться открыто, обнаженное мужское тело существует преимущественно в виде не предназначенных для публичной демонстрации набросков и этюдов. На больших парадных картинах обнаженные или полунагие мужчины изображались преимущественно с женщинами, чтобы художника нельзя было заподозрить в любовании мужской наготой. Удостоенная почетной премии картина Жана Огюста Энгра «*Ахилл, принимающий послов Агамемнона*» (1801), на которой полностью обнаженный Патрокл стоит лицом к зрителю, а полунагой Ахилл, держащий в руках золотую лиру (он только что улаждал своего друга игрой и пеньем), поднимается с ложа навстречу гостям, была одним из редких исключений. На другой известной картине Энгра «*Эдип и Сфинкс*» (1808) нагой Эдип изображен боком к зрителю, а его гениталии закрыты согнутой ногой.

Ограничения распространялись и на бытовые сюжеты. Образы нагих купальщиц художников XIX в. не смущали, но мужчины-купальщики на картинах Онорэ Домье (1852), Жана-Фредерика Базиля (1869) и Жоржа Сера (1884) изображены в трусах. Исключение из правила — беззаботно вытирающийся, стоя лицом к зрителю, «*Купальщик в Сен-Тропезе*» (1843) Анри-Эдмона Кросса. Поль Сезанн на картине «*Большие купальщицы*» (1900—1905) купающихся женщин изобразил нагими (правда, спиной к зрителю), а на картинах «*Купальщик*» (1885—1887) и «*Купальщицы*» (1892—

1894) мужчины изображены либо в трусах, либо со спины, либо с затененными гениталиями.

Иногда сдержанность объяснялась личными особенностями художников¹¹. Но чаще это была вынужденная уступка гомофобии. Известный американский художник Томас Икинс (1844—1916), который очень любил писать обнаженное мужское тело и даже считал его красивей женского, сделал к своей картине «*Место для купанья*» несколько фотографий позировавших ему голых студентов, однако на картине гениталии пришлось закрыть. Генри Скотт Тьюк (1858—1929) написал картину «*Полуденный зной*» (1903), изображавшую двух юношей на пляже, в двух вариантах — в штанах и без оных; первый, официальный, вариант находится в музее, а второй — в частной коллекции.

Разные типы мужского тела и каноны мужской красоты не столько сменяют друг друга, сколько сосуществуют как разные ипостаси маскулинности. Условно можно выделить несколько модальностей мужского тела: *активно-героическое, женственно-андрогинное, страдающее, мальчиково-юношеское, атлетическое, фашистское, голое и сексуальное* тело.

Героическое тело как классическая модель гегемонной маскулинности, персонификация мужской силы, власти и могущества появилось еще в античности. В эпоху Возрождения этот тип маскулинности, сочетавший силу с грацией, полнее всего воплощен в таких скульптурных шедеврах Микеланджело, как «*Давид*» и «*Победа*». В искусстве классицизма героическое начало и телесная гармония стали обязательной нормой мужской красоты, но одновременно из нее старались изъять чувствительность и сексуальность, которые казались проявлениями слабости. В отличие от женской наготы, которая могла и должна была вызывать у зрителя-мужчины эротические чувства, мужская нагота использовалась исключительно для «обозначения абстрактных истин и возвышенных стремлений» (Garb, 1998, 28). Героическое тело подчеркивало мужскую субъектность, целеустремленность и самодостаточность, но идеализация практически исключала психологизм и индивидуальность, присутствовавшие в портретной живописи и скульптуре. Ярчайшее воплощение этих принципов — многочисленные

¹¹ Например, Огюст Ренуар, обожавший писать обнаженных женщин, стеснялся изображать мужскую наготу (Bologne, 1986, 214); на единственной картине Ренуара, посвященной мужскому телу («*Мальчик с кошкой*»), нагой мальчик изображен со спины.

картины Жака Луи Давида. Обнаженное мужское тело занимает одно из центральных мест в творчестве Давида и его школы. Такие полотна, как «*Леонид в Фермопилах*» (1814) и «*Вмешательство сабинянок*» (1799), справедливо считаются шедеврами. Но хотя написанные Давидом мужские тела физически совершенны, психологически они невыразительны. По мнению Стендаля, «идеального в Ромуле, кроме великолепно очерченных мускулов, верно передающих античные образцы, нет ничего» (Стендаль, 1959, 450).

Героическое тело было эстетическим выражением социального канона доминантной маскулинности и в известном смысле нормативным. Но параллельно ему всегда существовали другие образы, представлявшие мужское тело пассивным, мягким и женственным. *Андрогинное, женственное тело* широко представлено и в античности (достаточно вспомнить бесчисленные скульптуры гермафродитов), и в искусстве эпохи Возрождения; такие тела особенно любил Леонардо да Винчи («*Иоанн Креститель*» и «*Бахус*»).

За пристрастием к андрогинным образам часто стоят особенности личных вкусов художников. Для Питера Пауля Рубенса нагота практически эквивалентна женственности (Walters, 1978, 182), его «*Святой Себастьян*» (1615) и Адонис («*Венера и Адонис*», 1615) почти такие же пухлые, как и любимые им пышные женские тела. Художников с гомоэротическими наклонностями, вроде Леонардо, этот тип не вдохновляет, их мужские тела не столько женственны, сколько юношески нежны. Помимо личных пристрастий, действовали свои социальные нормы. В дворянской культуре XVII—XVIII вв. мягкость и расслабленность считались признаками аристократизма и всячески культивировались. Безусловно гетеросексуальный красавец Антони Ван Дейк на знаменитом автопортрете изобразил себя томным юношей с расслабленной кистью (это считается одним из самых надежных внешних признаков гомосексуальности). Так же изысканно нежен на его портрете граф Леннокс, в туфлях на высоких каблуках и с длинными локонами. Еще раньше Пьеро ди Козимо изобразил нежным юношей с вьющимися волосами и расслабленной кистью спящего после утомительной ночи любви с Венерой Марса.

Хотя аристократический канон изящной и томной маскулинности подвергся резким нападкам со стороны пуританства, он продолжал играть важную роль в искусстве XVIII и XIX вв. Но теперь он уже почти открыто ассоциируется с гомоэротизмом. Характерно в этом смысле творчество Анна-Луи Жироде-Триосона

(1767—1824), который откровенно любит женственной расслабленностью своего «*Спящего Эндимиона*» (1791)¹².

Очень важный аспект маскулинности — *страдающее тело*. Появление этого образа исторически связано с христианством. В отличие от античности, воспевавшей спокойствие и гармонию, христианское искусство прославляет умерщвление плоти. Изображения связанного, беспомощного, распятого тела давали простор садомазохистскому воображению и одновременно открывали новые ипостаси маскулинности. Разумеется, здесь были свои проблемы. Римско-католическая церковь уже в 1054 г. официально осудила византийские образы страдающего Христа на том основании, что видимое страдание уменьшает его божественность, так что любой смертный может занять место на кресте и претендовать на такое же поклонение (Walters, 1978, 73). Однако в XIV—XV вв., по мере «очеловечения» Христа, тема страдания все-таки возобладала. А на «простых» мучеников нормативные ограничения и вовсе не распространялись: каждый может пострадать за веру и вынести боль!

В противоположность активно действующему героическому телу, страдающее тело пассивно и объективировано, мученик беспомощно ожидает, что с ним сделают. Но готовность перенести унижение и боль — это также проявление мужественности. Мученик зачастую наслаждается собственными страданиями. Любимейший образ христианской мужской иконографии — Святой Себастьян не случайно стал одной из главных «икон» гомосексуального мазохизма. Кроме библейских художники Возрождения использовали некоторые античные мифологические сюжеты, например наказание сатира Марсия (он проиграл Аполлону состязание в игре на флейте, и за это с него была живьем содрана кожа); этот сюжет писали Рафаэль, А. Бронзино, А. Карраччи, П. Веронезе, Г. Рени и многие другие художники¹³. Феминизированная, мягкая

¹² В том же ключе выдержаны «*Смерть Авеля*» (1791) и «*Святой Себастьян*» (1789) Франсуа-Ксавье Фабра (1766—1837), пухлые юноши-одалиски Элизара фон Купфера (Элизарион) (1872—1942) и многие другие картины. См. также «*Смерть Гиацинта*» (1801) Жана Брока (1780—1850), «*Аполлон и Китарис*» Клода-Мари Дюбюфа (1790-1864), «*Союз любви и дружбы*» (1793) Пьера-Поля Прюдома (1758—1823),

¹³ Страдающее и беспомощное мужское тело очень любили изображать многие романтики, особенно Теодор Жерико (1791—1824), в творчестве которого мужские образы абсолютно преобладают. Один из любимых сюжетов французских романтиков (его писали Эжен Делакруа, Теодор Жерико,

маскулинность — такой же неотъемлемый элемент мужского сексуального воображения, как героическое тело. Это оборотная сторона одной и той же медали.

Особое место в иконографии маскулинности занимает *мальчиково-юношеское тело*. Живописцы Нового времени писали обнаженных мальчиков и подростков значительно чаще, чем взрослых мужчин, не только потому, что воцелели к ним, но и потому, что детская нагота меньше табуировалась. Маленький ребенок — «дитя» — в Средние века считался существом бесполом, а образ мальчика-подростка символизировал невинность, чистоту и гармонию, пробуждая в мужчине элегические воспоминания и мечты о том, каким он когда-то был или мог бы стать.

Реабилитация тела в искусстве Возрождения коснулась и младенца Христа (см. Steinberg, 1983). На многих религиозных картинах этой эпохи пенис младенца открыт и тщательно выписан, а кое-где даже помещен в центр внимания¹⁴. В этом не было ничего эротического, художники подчеркивали не сексуальность младенца, а его пол.

В светском искусстве дело обстояло иначе. Голенькие путти, симбиоз ангелочков и обычных шаловливых детей (преимущественно мальчиков), беззаботно резвятся на бесчисленных ренессансных плафонах, фресках и даже надгробиях. Излюбленные персонажи мастеров Возрождения — Ганимед и Купидон¹⁵. Донателло сделал кокетливым подростком даже библейского Давида. Многие из мальчиковых образов¹⁶ откровенно эротичны, они не только демонстрируют зрителю свою наготу, но прямо-таки соблазняют его. Некоторые мальчики Караваджо (1573—1609/10) «расслабленно-элегантны, ясная красота их юности смешивается с их очевидным знакомством с менее невинными удовольствиями.

Шарль Буланже де Буафремон, Орас Вернэ и др.) — поэма Байрона «*Мазепа*» (1819), рассказывающая, как в наказание за любовные похождения будущего гетмана раздели догола, привязали к лошади и отпустили ее в лес; при нападении стаи волков молодой человек чудом выжил. Образ беспомощно распростертого на спине, привязанного к крупу лошади нагого юноши давал большой простор мазохистскому воображению, традиционно в такой позе изображали только женщин (например, в сюжете похищения Европы).

¹⁴ Ханс Бальдунг Грин «*Святое семейство*», 1511, Паоло Веронезе «*Святое семейство со святой Варварой и младенцем святым Иоанном*», 1560.

¹⁵ См.: Saslow, 1987; Steinweiler, 1989.

¹⁶ Например, у Джакомо Каруччи да Понтормо (1494—1557) и Аньоло Бронзино (1503—1572).

Эротическая притягательность сделана бесстыдно явной в “*Амуре-победителе*”» (Encyclopedia of Visual Art, 1983, Vol. 6, 102).

В XVII—XIX вв. запреты на изображение детской наготы, даже в сюжетах мифологического характера, стали более строгими. Однако зрители XVII—XIX вв., за исключением лично причастных, искренне не замечали гомоэротической окрашенности образов нагих и полунагих мальчиков и юношей в произведениях Генри Скотта Тьюка, Фредерика Лейтона, Саймона Соломона, Томаса Икенса и многих других. Лорд Лейтон (1830—1896) был самым уважаемым английским художником конца XIX в., а Тьюк (1858—1929), прозванный «Ренуаром мальчишеского тела», — академиком. Неприятности — и весьма серьезные — возникали, только если художник настаивал на фронтальной наготы или был замешан в бытовом сексуальном скандале.

Для героической маскулинности классического искусства мужское тело было просто идеальным воплощением мужского духа. Идея красоты была важнее реализма деталей. *Атлетическое, спортивное тело* также уходит своими истоками в античность, но выглядит значительно более приземленным. Своим рождением этот новый художественный канон обязан непосредственно развитию физической культуры и народного спорта. «*Боксеры*» (1818) Жерико или «*Борцы*» (1853) Курбе и Оноре Домье (1867—1868) не утверждают возвышенных идей и не позируют для зрителя, это просто апофеоз самозабвенно поглощенных борьбой сильных мужчин. Дальнейшее развитие этой системы образов тесно связано с появлением художественной фотографии, которая по самой своей природе реалистичнее живописи и точнее передает свойства натуры.

В отличие от героического тела, гармонические пропорции которого могут быть врожденными, атлетическое тело — всегда «сделанное», оно персонифицирует типично маскулинный мотив достижения. Но одни мастера считают главным достижением атлетизма элегантность, а другие — здоровье и силу.

Журналы *La Revue athletique* (выходил с 1890 г.) и *La Culture physique* (с 1904 г.) и их немецкие и англосаксонские аналоги поставили своей задачей вернуть телу современного мужчины античные пропорции. Многочисленные фотографии популярных атлетов и преподавателей физкультуры в позах классических статуй пропагандировали единство здоровья, силы и красоты. Эталонами мужской красоты становятся полунагие атлеты или *Тарзан* Джонни Вейсмюллера. Идеал открытого воздуху и солнцу «свободного тела» (нудизм), культ здоровья и близости к природе

широко распространились в немецком молодежном движении начала XX в., причем им приписывалась также моральная ценность. Как писал один немецкий молодежный журнал, «нагота равняется истине» (Mosse, 1985, 56).

Однако красота и сила далеко не всегда совпадают. «Мускулистая маскулинность» была в конце XIX в. одной из главных осей буржуазного национализма, считалась гарантией сохранения существующего общественного порядка против любых покушений на него. Ее изображают антитезой женственности и гомосексуальности, которые как правило приписывались вредным инородцам. Эта идеология, которая ставила «жесткое» мужское тело принципиально выше «мягкого» женского тела, имела сильный милитаристский и националистический привкус, достигший кульминации в неоклассицизме германского и итальянского фашизма (*фашистское тело*).

В нацистской Германии, где, по выражению Гимmlера, «мужской союз превратился в мужское государство», физические упражнения официально считались средством формирования нордического характера. Нагота фашистских статуй была строго нормативной. Мужчина должен быть высоким, стройным, широкоплечим и узкобедрым, а его тело — безволосым, гладким, загорелым, без выраженных индивидуальных черт. Тщательно вылепленные брутальные тела фашистских статуй, вроде монументальной скульптуры Арно Брекера (1900—1991) «*Партия*» (1933), символизировали только физическую силу, воинственность и дисциплину. Хотя все, включая гениталии, было у них на месте и без фиговых листков, им не было дозволено быть эротическими, чувствительными и ранимыми. Реальная, бытовая нагота (нудизм, купание нагишом и т.п.) в Третьем рейхе была строго запрещена и приравнена к гомосексуальности.

Демократизация мужского тела в изобразительном искусстве была тесно связана с развитием натурализма и реализма. «Натурализм представлял собой угрозу героической маскулинности, потому что разоблачал ее условности и эпическое значение» (Garb, 1938, 28). Такая художественная деконструкция иногда встречалась и в классической живописи, например в творчестве Диего Веласкеса (1599—1660). Его немолодого, с усами и в каске, «*Сидящего Марса*» (музей Прадо), вполне можно принять за современного отдыхающего пожарника или полицейского. Но до второй половины XIX в. подобные образы были редкими и маргинальными.

Поместив мужское тело в реальный бытовой контекст и сделав его из «мальчикового» взрослым, импрессионисты и натуралисты XIX в. впервые сделали объектом искусства не нагое, а *голое мужское тело*. Гюстав Кайеботт (1848—1894) на картине «*Мужчина в ванной*» (1884) изобразил стоящего спиной к зрителю обнаженно-го, энергично вытирающегося мужчину. В отличие от расслабленной и открытой взгляду «*Обнаженной на кушетке*» (1882) того же Кайеботта, этот сильный мужчина не позирует, он занят делом. Традиционное различие мужского и женского телесного канона — мужчина действует, женщина является — при этом полностью сохраняется, но это уже не декоративное, а живое и вполне прозаическое тело.

Важный шаг в деле реабилитации мужского тела сделали скандинавские художники, на родине которых отношение к наготы вообще и мужской наготы в частности было традиционно терпимее, чем в романских странах. Картина норвежца Эдварда Мунка (1863—1944) «*Купающиеся мужчины*» (1907) была написана на нудистском пляже в Варнемюнде, ее натурщиками были служащие пляжа. Демонстративная фронтальная нагота этих грубоватых, усатых и вполне обыкновенных мужчин, не будучи сама по себе эротической, была вызовом привычному вкусу и шокировала многих зрителей и критиков. Когда художественная выставка в Гамбурге в 1907 г. картину отклонила, известный коллекционер Густав Шифлер риторически спрашивал: «*Почему нагой мужчина кажется более шокирующим, чем нагая женщина?*» И сам же отвечал: «*Потому что нагие мужчины непривычны*». Но после того как в 1911 г. картину купил за 100 тыс. финских марок музей в Хельсинки, она стала классической (Vertman, 1993). На картинах шведских художников Акселя Акке и Е. Янсона обнаженное мужское тело, опять-таки в пляжном интерьере или в сценах приема солнечных ванн, выступает как органическая, не нуждающаяся в оправданиях часть природы, в противоположность «домашней» женственности.

Величайший вклад в эстетику мужского тела внес Огюст Роден (1840—1917). Вопреки идеализирующим установкам классицизма, для Родена всякое обнаженное тело — «чудо, сама жизнь, где не может быть ничего безобразного» (Роден, 1960, 122). Для Родена «человеческое тело есть, в сущности, воплощение всего многообразия жизни, которая в каждой его точке проявляется индивидуально и полно, сообщая каждой части поверхности тела самостоятельность и полноту целого» (Рильке, 1903, 87). Причем это в равной мере касается обоих полов. Каждое из созданных Роденом

обнаженных мужских тел неповторимо индивидуально. В одном случае скульптор фиксирует состояние внутренней самоуглубленности, в другом — всепоглощающую страсть, в третьем — ласковую нежность и т.д. Людям, воспитанным в духе викторианского гомоэротического эстетизма, роденовские тела казались некрасивыми и грубыми¹⁷. Некоторые критики Родена доказывали, что его «Мыслитель» не может обладать т а к о й телесной оболочкой; напряжение ума предполагает иную «упаковку».

Тем не менее новая эстетика, продолженная такими замечательными скульпторами, как Эмиль Бурдель¹⁸ и Аристид Майоль¹⁹, легко победила классицизм. Норвежский скульптор Густав Вигеланн (1869—1943) создал в Осло первый в мире парковый музей скульптуры, знаменитый Фрогнер-парк, с множеством обнаженных мужских, женских и детских тел.

Вслед за принятием мужской наготы как таковой, в искусстве XX в. появляется специфически *сексуальное мужское тело*, которое раньше существовало только в порнографии. В фокусе художественного изображения оказываются при этом непосредственно мужские гениталии, причем не в фаллической упаковке, а во всей их природной первозданности, как в знаменитом автопортрете Эгона Шиле (1918), изображающем акт мастурбации. В авангардном искусстве второй половины XX в. появляется открыто гомосексуальное и садомазохистское тело и т.д.

Короче говоря, хотя мужское тело как эротический объект действительно создается взглядом, это не взгляд, а взгляды нескольких разных субъектов, сосуществующих друг с другом в конкретных социокультурных контекстах. Интерес художника (как и человека с улицы) к мужской наготе может быть не только гомоэротическим, но и гомосоциальным в широком смысле этого слова. Однозначно судить о сексуальных предпочтениях художника только по его творчеству рискованно²⁰.

¹⁷ Когда знаменитому оксфордскому эстету Уолтеру Патеру показали бронзовую скульптуру Родена «Мужчина со сломанным носом», тот пожал плечами и сказал: «*Не думаю, что когда-нибудь смогу к этому привыкнуть*» (Monsman, 1977, 45).

¹⁸ Его самые известные мужские скульптуры — «Адам», «Памятник павшим в войне 1870—1871» и «Геракл».

¹⁹ Хотя Майоль предпочитал ваять женское тело, у него есть несколько замечательных обнаженных мужских скульптур — «Велосипедист», «Боксер» и «Молодой мужчина».

²⁰ Тициан, наряду с мягким и женственным Адонисом («Венера и Адонис», 1548—1549, музей Прадо), написал несколько весьма жестких маскулин-

Мужское тело в русском искусстве

Как обстоит дело с мужской наготой в русском искусстве? Для отечественного искусствоведения эта тема остается закрытой. Единственная статья о наготы в искусстве, которую мне удалось обнаружить (Лукиянов, 1995), о мужской наготы даже не упоминает.

Эта стыдливость имеет свои исторические корни. Традиционный русский телесный канон заметно отличается от западноевропейского (см. Кон, 1997). На бытовом уровне русская крестьянская сексуальная культура выглядит значительно более раскованной, чем в Европе, включая обсценную лексику и отношение к наготы — оргиастические праздники, семейные бани, смешанные купанья и т.д. Однако в изобразительном искусстве действовал строгий византийский канон, не допускавший никакого обнаженного тела, а мужского — тем более. В Европе аскетические нормы раннего христианства были сильно ослаблены и скорректированы под влиянием античности, на Руси этого не было. В православных иконах тело всегда закрыто, в нем нет ни кусочка живой плоти, причем это распространяется даже на образ младенца Христа.

Эти запреты распространяются и на народный лубок. Обнаженную мужскую плоть невозможно встретить не только в изображениях Христа, но и в изображениях Адама, или Дьявола, или неведомых страшилищ. Существует немало лубочных листов с изображением бани, но среди моющихся нет ни одного раздетого мужчины, только женщины и дети (Пушкарева, 1999в, 47). На первых русских порнооткрытках XVIII в. также представлено исключительно женское тело. В русской академической живописи есть богатая традиция мужского портрета, однако полуобнаженное мужское тело появляется в ней крайне редко, только в мифологических сюжетах, и никогда не является самоцелью.

На картине Карла Брюллова «*Последний день Помпеи*» (1833) задействовано много полуобнаженных мужских и женских тел, но их гениталии тщательно прикрыты и ничего эротического в этих образах нет. Так же холодно трактует Брюллов классический сю-

ных образов («*Титий*», «*Сизиф*», «*Иоанн Креститель*»). Резцу Антонио Кановы, который известен главным образом как создатель образов изящных, мягких юношей и которого многие биографы считают гомосексуалом, принадлежат также статуи сильных и мускулистых мужчин (например, «*Гектор*», не говоря уже об упомянутом выше «*Наполеоне*»), а «*Кулачные бойцы*» Кановы не имеют ничего общего с его многочисленными купидонами или «*Эндимионом*».

жет в картине «*Диана, Эндимион и Сатир*» — Эндимион спокойно спит, Диана его спокойно рассматривает, а единственной эротической, но отнюдь не соблазнительной фигурой является лапающий Диану Сатир.

Очень редко встречается обнаженное мужское тело и в скульптуре XIX в. В России были хорошо известны и популярны Канова и Торвальдсен, а в дворцовых парках в конце XVIII в. стояли многочисленные копии античных статуй, причем, в отличие от своих оригиналов в Ватиканском музее, бронзовые копии Аполлона Бельведерского и детей Ниобеи работы Александра Гордеева в Павловском парке обходятся без фиговых листков. Однако подражать им осмеливались лишь немногие русские скульпторы эпохи романтизма. Самые известные примеры — «*Начало музыки*» (1830—1835) С. И. Гальберга (1787—1839), где юный обнаженный фавн сосредоточенно вслушивается в звуки музыки, и «*Фавн и Вакханка*» (1837) Б. И. Орловского (1797—1837), где также представлена фронтальная мужская нагота. В обширном наследии М. М. Антокольского (1843—1902) есть только одна нагая мужская скульптура — «*Мефистофель*» (1883), но в ней нет ничего эротического, нагота лишь придает статуе обобщенность, без которой зрителю было бы трудно преодолеть стандартные «оперные» ассоциации.

Лучшие изображения нагих мальчиков в русском искусстве принадлежат кисти Александра Иванова (1806—1858) и связаны с его латентным гомозеротизмом. «Молчаливый, застенчивый и замкнутый» художник (Алпатов, 1956, т. 1, 14) несколько раз влюблялся в женщин и собирался жениться, но это не осуществилось, в то же время у него были тесные дружеские связи с мужчинами. Интерес к мужскому телу выражен в первых работах Иванова «*Беллерофонт отправляется в поход против Химерь*» (1829) и «*Аполлон, Гиацинт и Кипарис*» (1831), где изображен довольно женственный Аполлон с двумя нагими мальчиками, а также в его знаменитом «*Явлении Христа народу*».

Хотя Иванов писал как мужское, так и женское тело, зрителей особенно привлекали его многочисленные обнаженные мальчики, в которых много непосредственности и реализма, а не просто подражания античным образцам. Лучшие картины Иванова на эту тему — «*На берегу Неаполитанского залива*» (1850-е гг.), «*Обнаженный мальчик на белой драпировке*» (1850-е гг.) и здоровый и милый «*Нагой мальчик*» (1850, Русский музей).

В русском изобразительном искусстве начала XX в. образы нагих мальчиков стали также чрезвычайно популярными. В скульп-

туре эти образы были центральными для А. Ф. Матвеева (1878—1960) (см. Мурина, 1979), который между 1907 и 1915 гг. изваял целую галерею маленьких мальчиков²¹. Знаменитое матвеевское «Надгробие В. Э. Борисову-Мусатову» в Тарусе (1910—1912, гранит) также изображает спящего мальчика. Ничего «педофильского» в этих скульптурах, разумеется, не было, но после 1917 г. продолжать эту тему стало невозможно. Тем не менее мужское тело продолжало интересоваться Матвеева. Его скульптурная группа «Октябрьская революция» (1927), изображающая троих обнаженных мужчин, один из которых держит в руке опущенный вниз молоток, который вполне мог восприниматься как фаллический символ, — едва ли не единственная советская монументальная скульптура этого рода (Золотоносов, 1999б).

В русской живописи XX в. главным певцом обнаженного мальчикового и юношеского тела стал К. П. Петров-Водкин (1878—1939). Картина «Сон» (1910) (две нагие женщины смотрят на обнаженного спящего молодого мужчину) вызвала скандал в прессе и нападки со стороны Репина. Однако это не остановило талантливого художника. Не будучи явно эротическим (тем более — гомоэротическим), в целом ряде его работ центральной фигурой является нагой юноша²².

Не прошло бесследно для изобразительного искусства и зарождение в России высокой гомосексуальной субкультуры. Некоторые иллюстрации знаменитой «Книги маркизы» Константина Сомова (1869—1939) откровенно би- и гомосексуальны. Дафнис, целующий грудь Хлои, одновременно явно демонстрирует заинтересованному зрителю собственный эрегированный пенис (Kasinec and Davis, 1999, рис. 75) Еще более вызывающи, чтобы не сказать — порнографичны, иллюстрации В. А. Милашевского к «Занавешенным картинкам» Михаила Кузмина (1918) (Kasinec and Davis, 1999, рис. 111—113, 115).

Октябрьская революция прервала этот процесс развития. Большевицкая сексофобия сделала всякое эротическое искусство в России официально невозможным (Кон, 1997). Если даже женс-

²¹ «Пробуждающийся мальчик», «Спящие мальчики», «Засыпающий мальчик», «Заснувший мальчик», «Сидящий мальчик», «Идущий мальчик», «Лежащий мальчик», а также «Юноша» (1911).

²² «Играющие мальчики» (1911), «Купание красного коня» (1912), «Юность» (1913), «Мальчик, прыгающий в воду» (1913), «Ураган» (1914), «Жаждающий воин» (1915).



А. Дейнека. В обеденный перерыв в Донбассе (1935)

кая нагота была запретной, то мужская и подавно. Обойти запрет удалось очень немногим мастерам. Самый знаменитый из них — А. А. Дейнека (1899—1969). Художник охотно писал спортивное тело. На картине *«Игра в мяч»* (1932) изображены три обнаженные девушки. *«Вратарь»* (1934) Дейнеки буквально распластался в прыжке. Непостижимым образом художник умудрялся писать даже фронтальную мужскую наготу (*«В обеденный перерыв в Донбассе»*, 1935). На картине *«Будущие летчики»* (1937) нагие мальчики изображены сзади, а мозаичный триптих *«Хорошее утро»* (1959—1960) изображает целую группу обнаженных купальщиков. Впрочем, мои данные о советском искусстве неполны и фрагментарны. Если поискать в запасниках и частных собраниях, образы мужской наготы в русском и советском искусстве наверняка окажутся гораздо богаче.

Главными сферами самореализации мужского тела в СССР было не изобразительное искусство, а балет и спорт.

Разумеется, тоталитарное общество, которое по определению является воинствующе маскулинным, не могло обойтись без соответствующей «телесной» символики. Исследователи советской массовой культуры 1930-х гг. обращают внимание на «обилие обнаженной мужской плоти» (Синельников, 1999б) — парады с участием полуобнаженных гимнастов, многочисленные статуи спортсменов, расцвет спортивной фотографии; непостроенный культовый Дво-

рец Советов должны были украшать гигантские фигуры обнаженных мужчин, шагающих на марше с развевающимися флагами. Особенно интересна в этом плане советская уличная и парковая скульптура, детально изученная Михаилом Золотоносовым (Золотоносов, 1999а).

Подобно *фашистскому* телу, *советское* мужское тело обязано было быть героическим или атлетическим. Но воинствующая большевистская сексофобия накладывала на него ряд ограничений. Имманентный фаллоцентризм тоталитарного сознания вуалировался своеобразным маскулинизированным «унисексом». Советское «равенство полов», молчаливо предполагавшее подгонку женщин к традиционному мужскому стандарту (все одинаково работают, готовятся к труду и обороне, никаких особых женских проблем и т.д.), применительно к телесному канону оборачивалось желанием уменьшить, нивелировать вторичные половые признаки. Особенно строгим запретам подвергались мужские гениталии. При открытии в 1936 г. ЦПКиО имени Горького в Москве там установили 22 копии с античных скульптур. Однако их нагота вызывала противоречивое отношение зрителей. С одной стороны, мужские гениталии смущали стыдливых посетителей, которые их нередко обламывали. С другой стороны, они будили их собственное сексуальное воображение. Я помню, как в 1960—1970-х гг. курсанты одного из близлежащих военных училищ ночью забирались в Павловский парк и начищали бронзовый член гордеевского Аполлона Бельведерского на Двенадцати дорожках до зеркального блеска, после чего он невольно приковывал к себе всеобщее внимание. Что только не делала администрация парка — ставила дежурных, замазывала аполлоновский пенис краской, заменяла его копией из какого-то другого, более темного материала, — ничего не помогало. Похоже, что начистка божественного фаллоса была в этом училище своеобразным ритуалом мужской инициации²³.

²³ Впрочем, некоторые статуи оставались вполне фаллическими и в трусах. Наземный вестибюль станции метро «*Охотный ряд*» был украшен статуями двух мускулистых гигантов в крошечных плавках (1935) работы Е. Д. Степаньян. Знаменитый «*Дискобол*» (1927 и 1935) М. Г. Манизера (1891—1966) изваян в трусах, но это, «пожалуй, единственное советское скульптурное произведение, в котором акцентированы мужские гениталии» (Золотоносов, 1999а, 46). «*Дискобол*» (1934) Д.П. Шварца на выставке молодых художников был экспонирован нагим, но поставить его в парке не решились и надели на него трусы. Тем не менее у некоторых статуй спортсменов под трусами или плавками ощущаются крупные гениталии.

Дефицит обнаженного мужского тела в СССР восполнялся множеством «женско-детских ню» (Золотоносов, 1999а, 130). В 1930-х гг. некоторые из этих статуй и фотографий были нагими, но в дальнейшем это стало невозможно. Правда, дефицит плавок способствовал реальному купанию мальчиков голышом в пионерских лагерях военных и послевоенных лет.

Как изменился российский мужской канон в постсоветскую эпоху — тема специального исследования.

Утрата или приобретение?

Объективация мужского тела — один из признаков и проявлений общей деконструкции традиционного канона «крутой маскулинности», вытекающей из ломки привычной системы гендерной стратификации. Многие мужчины видят в этом угрозу феминизации общества и гомосексуализации культуры.

«Человек рода он», как определил мужчину Даль, встречает XXI век с белым флагом капитуляции. Это напоминает размахивание кальсонами. Ликуй, феминистка! (Ерофеев, 1999, 81)

Многие привычные грани и нормативные представления действительно размываются. Став доступным взгляду, мужское тело утрачивает свою фаллическую броню и становится уязвимым. Это проявляется и в изобразительном искусстве, и в танце, и в спорте, и в коммерческой рекламе.

Обнаженное или полураздетое мужское тело все чаще выставляется напоказ, в качестве эротического объекта. Знаменитый плакат Калвина Клайна, выполненный фотографом Брюсом Вебером (1983), представлявший идеально сложенного молодого мужчину в плотно облегающих белых трусах, по мнению американских критиков, был не только самой удачной рекламой мужского белья, но и величайшим изменением телесного облика мужчины со времен Адама: «Адам стал закрывать свои гениталии, а Брюс Вебер выставил их напоказ»; «Бог создал Адама, но только Брюс Вебер дал ему тело» (цит. по Doty, 1996, 288).

Рекламные проспекты мужского белья всячески подчеркивают форму ягодиц и размеры гениталий, так что «продается» не столько белье, сколько определенный тип мужского тела — стройного, крепкого, мускулистого и сексуального. Некоторые модные трусы выпускаются только для мужчин с узкой талией.

Ослабевают бытовые запреты на демонстрацию более или менее раздетого мужского тела (короткие рукава, расстегнутые или задранные рубашки, шорты и т.п.). Широко используются фаллические символы. В рекламе *Request jeans* молодой мужчина лежит на кровати в одном белье, а между ног у него стоит бутылка шампанского. В рекламе сигарет присутствует огурец и т.д. Идеал мужской красоты в кино и на телевидении, особенно в образах таких культовых актеров, как Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне и Клод Вандамм, практически отождествляет маскулинность с мускулистостью.

Любопытный момент «реабилитации» мужского тела — ослабление запретов на изображение волосяного покрова. В эротических изданиях и в рекламных роликах, как и в классической живописи прошлого, мужское тело обычно изображалось гладким и безволосым. Это помогало ему выглядеть одновременно более молодым и менее агрессивным, «животным». Но многим мужчинам и женщинам волосатое тело кажется более сексуальным. А клиент, как известно, всегда прав. В результате в телерекламе сигарет и некоторых других товаров взорам телезрителей предстала волосатая мужская грудь, а потом и ноги.

Это в полной мере проявляется и в России. Один из заголовков в журнале «*Men's Health*» (1999, № 5) — «Тело, которого ты достоин» — прямо перекликается с адресованной женщинам рекламой известной французской парфюмерной фирмы — «Ведь я этого достоин!». «Мужской» мотив достижения при этом органически переплетается с «фемининной», по старым российским стандартам, заботой о внешности, чтобы производить впечатление как на женщин, так и на потенциальных деловых партнеров. Забавно, что при этом модель и покупатель подчас отождествляются: в одном из номеров *Men's Health* молодые российские бизнесмены сами демонстрируют верхнюю одежду с ценниками (до нижнего белья пока не дошло).

Это влияет и на бытовое поведение. Современные мужчины заботятся о своей одежде и телесном облике почти столько же, сколько женщины. Они тратят все больше времени и денег на уход за телом, косметику и т.д. То есть происходит не столько оголение и демонстрация своего «природного» тела, сколько сознательное его конструирование, которое раньше считалось характерным для женщин. В принципе, в этом нет ничего сенсационного. Просто раньше о физических упражнениях и «о красе

ногтей» могли заботиться только привилегированные, а сейчас это делают многие²⁴.

Самые распространенные мужские операции — пересадка волос (в 1994 г. это сделали 200 000 американцев), изменение формы носа, отсасывание жира (в 1994 г. это сделали около 38 тысяч американцев), подтягивание век и мышц лица, прокалывание ушей, увеличение подбородка, химическое воздействие на кожу. Быстро растет популярность силиконовых имплантаций, изменяющих форму груди (подобно тому, как это давно уже делают женщины) и бедер, а также операций по удлинению и утолщению пениса; в США ежегодно делается свыше 1000 таких операций (Dotson, 1999). Делают их и в Москве. Многие из этих операций дороги, не очень эффективны²⁵ и небезопасны для здоровья, тем не менее спрос на них растет.

Забота о «правильной» внешности порождает среди мужчин тревоги и нервные расстройства, которые еще недавно считались исключительно женскими. Среди больных нервной анорексией (отсутствие аппетита и нежелание есть, чтобы избежать прибавки в весе), которая раньше была типична для девочек-подростков, теперь десять процентов составляют молодые мужчины; среди гарвардских аспирантов число таких случаев с 1982 по 1992 г. удвоилось. Особенно сильны такие тревоги и страхи у геев (по некоторым данным, среди мужчин с «пищевыми» проблемами они составляют до одной трети), а также у моделей и спортсменов (Dotson, 1999). Чтобы быть красивым, мужчине, как и женщине, надо страдать.

Откровенной демонстрацией не столько физических возможностей, сколько красоты мужского тела является бодибилдинг (буквально — телостроительство) (Moore, 1997). В традиционном атлетическом теле, как прежде — теле воина или охотника, мускулатура функциональна, ее наращивали для решения какой-то конкретной «действенной» задачи — поднять, пробежать, метнуть, прыгнуть. В бодибилдинге она стала самоцелью: мускулы нужны для того, чтобы их показывать. Бодибилдер «использует свои мускулы не для строительства мостов, а для поднятия бровей. Они одновременно

²⁴ Какими-то формами бодибилдинга регулярно занимаются 25 миллионов американцев, имеющих в своем распоряжении 25 000 клубов здоровья (Dotson, 1999). Речь идет не столько о здоровье, сколько о красоте. Пластическая хирургия в США стала большим — 300 миллионов долларов в год — бизнесом, причем в 1994 г. каждая четвертая операция делалась на мужчинах. Среди клиентов Лондонской клиники эстетической пластической хирургии 40 процентов — мужчины (MacKinnon, 1997, 114).

²⁵ Жир, введенный для увеличения объема пениса, в дальнейшем на 35—50% рассасывается, так что операцию приходится повторять.

нефункциональны и вместе с тем чрезвычайно функциональны» (Fussell, 1994, 45). Это делает его «ходячим фаллосом».

Новая эстетика мужского тела тесно связана с гомоэротизмом. В XX в. гомоэротический взгляд стал более открытым и явным, подрывая привычный канон мужского тела как имманентно закрытого и невыразительного. Вообще говоря, мужское гомосексуальное сознание и его образный мир сами крайне фаллоцентричны. Культ «размеров», потенции и прочих мужских атрибутов у геев даже сильнее, чем у гетеросексуалов (см. Кон, 1988). Это имеет выходы также в политическую психологию и эстетику. Многие немецкие гомосексуалы увлекались фашистской маскулинной символикой. Теодор Адорно даже считал гомосексуальный садомазохизм и связанный с ним авторитаризм одним из свойств потенциально «фашистской личности». Гитлеровская униформа повлияла на садомазохистское воображение и образный строй самого популярного геевского эротически-порнографического художника Тома Финляндского (Тоуко Ласканен, 1921—1991).

Однако для гомосексуала член — свой или чужой — не столько символ власти и могущества (фаллос), сколько средство наслаждения (пенис), причем как в активной, так и в пассивной, рецептивной форме. Как во всех мужских отношениях, здесь присутствует мотив власти одного человека над другим, но эта власть заключается прежде всего в том, чтобы иметь возможность доставить — или не доставить — другому мужчине удовольствие (Mohr, 1992). Гей — одновременно и носитель пениса, и его реципиент, он хочет не только «брать» как мужчина, но и «отдаваться» как женщина. На мужское тело, свое или чужое, он смотрит одновременно (или попеременно) снаружи и изнутри, сверху и снизу. Геевская голубая мечта — не фаллос, а пенис фаллических размеров.

Анальная интросмиссия подчеркивает ценность самораскрытия, самоотдачи, переживается как добровольная передача Другому власти над собой, позволение ему войти в самые интимные, священные, закрытые глубины твоего тела и твоего Я. Но момент рецептивности, пассивности, которая строго табуируется гетеросексуальной маскулинностью, присутствует и в других гомосексуальных техниках, например фелляции. «Оживляя» фаллос, гомоэротическое воображение создает модель мужского тела как чувствительного и ранимого, причем эти «немужские» переживания оказываются эротически приятными. «Субъектные» и «объектные» свойства взгляда, которые гетеронормативность разводит, при этом как бы сливаются.

Отсюда вытекает ряд психологических и эстетических последствий (Кон, 1999).

1. Мужское тело может быть эротическим объектом, на него можно смотреть и даже разглядывать его, и этот взгляд не унижает ни того, кто смотрит, ни того, кем любуются.

2. Реабилитированный пенис освобождается от тягостной обязанности постоянно притворяться фаллосом.

3. Снятие с мужского тела фаллической брони повышает его чувствительность и облегчает эмоциональное самораскрытие, что очень важно в отношениях как с мужчинами, так и с женщинами. Даже самые традиционные мужские качества, вроде развитой мускулатуры, становятся средствами эмоциональной и сексуальной выразительности.

4. Понимание своего тела не как крепости, а как «представления», перформанса расширяет возможности индивидуального творчества, изменения, инновации, нарушения привычных границ и рамок. Раньше потребность демонстрировать себя другим и кокетство считались исключительно женскими чертами; у мужчин это выглядело проявлением болезненного эксгибиционизма, а напряженное внимание к собственному Я подпадало под категорию нарциссизма. На самом деле «субъектности» здесь ничуть не меньше, чем в традиционной маскулинности, просто это другая, более тонкая и подвижная субъективность.

5. Это предполагает и другой тип межличностных отношений: спор о том, кто, на кого и как именно может или не должен смотреть, уступает место обмену взглядами, субъектно-объектное отношение становится субъектно-субъектным. Говоря словами Сьюзен Бордо, «эротика взгляда теперь вращается не вокруг динамики “смотреть на” или “быть рассматриваемым” (т.е. проникать в другого или самому подвергаться проникновению, активности и пассивности), а вокруг взаимности, когда субъект одновременно видит и является видимым, так что происходит встреча субъективностей, переживаемая как признание того, что ты знаешь другого, а он познает тебя» (Bordo, 1997, 68— 69).

Однако подрыв фаллоцентрической модели маскулинности и образа «неэкспрессивного мужчины» не является ни виной, ни исключительной заслугой геев.

Прежде всего они сами не обладают ни монополией, ни привилегией на телесную открытость и эмоциональную раскованность. Гомосексуальный взгляд часто бывает столь же агрессивным или высокомерно оценивающим, как и гетеросексуальный. При всех различиях мужского и женского, а также гетеро- и гомосексуального взгляда, «ни одна группа не обладает ни монополией на, ни иммунитетом от... нарциссизма, групповой идентифика-

ции, отталкивания, фетишизации, садизма и критического фаллоцентризма» (Davis, 1991, 21).

Некоторые художественные открытия, приписываемые геям, параллельно с ними делали «натураль». Общий дух времени зачастую важнее индивидуальных особенностей художника. Чтобы восхищаться мужским телом и чувствовать его поэтику, вовсе не обязательно испытывать к нему сексуальные чувства. Например, одним из элементов «открытия» мужского тела в дягилевских балетах были новаторские костюмы. Но эскизы самых «скандальных» из них нарисовал не Дягилев и не Жан Кокто, а вполне «натуральный» и брезгливо относившийся к однополю любви Александр Бенуа (см. Кон, 1997).

Многие элементы молодежного мужского канона 1960—1970-х гг. (одежда унисекс, длинные волосы, серьги, татуировка, любовь к ярким цветам, некоторая расслабленность позы и т.п.) изобрели не геи, а хиппи, среди которых определенно преобладали «натуралы». Проводимое ими противопоставление «любви» и «войны» («занимайся любовью, а не войной») было по самой сути своей антифаллическим. Для мачо эти активности практически совпадают: насилие и убийство возбуждают его и дают ему сексуальную разрядку, а в постели он опять-таки «воюет».

Если до недавнего времени монолит «фаллического тела» подрывали преимущественно сексуальные меньшинства — гомосексуалы, трансгендерники и трансвеститы, то теперь это энергично и гораздо более массово делают женщины.

Женское видение мужского тела постепенно занимает свое место в фотографии и живописи. Американская художница Сильвия Слей (Sleigh) в картине «*Турецкая баня*» (1973), пародируя одноименную вещь Энгра, вместо нагих женщин изобразила обнаженными нескольких своих знакомых, достаточно известных в мире искусства, мужчин (Cooper, 1994). Мелоди Дэвис (1991) фотографирует обнаженных мужчин без головы, с упором на гениталии. Ее камера фиксирует не парадный фаллос, а реальный, живой пенис, который может быть большим или небольшим, эрегированным или расслабленным, но всегда остается объектом, достойным внимания и восхищения. При этом женский взгляд, в отличие от гомосексуального, не «себастьянизирует» мужчину, а только помогает ему расслабиться.

Эти тенденции отчетливо проявляются и в России. Московская художница Анна Альчук в 1994 г. для проекта «*Фигуры закона*» уговорила сфотографироваться нагими с кинжалами в руках семерых известных московских деятелей искусства (восьмой, который как раз часто позировал голышом, предпочел, из чувства протеста, сняться в трусах). Видимо, этим мужчинам публичная нагота не кажется зазор-

ной, хотя ни их телосложение, ни «размеры» не выглядят особенно впечатляющими. Как замечает Михаил Рыклин, Альчук вряд ли удалось бы собрать аналогичную группу женщин (Рыклин, 1997, 121).

Интересен в этом плане проект «Музей женщины» московской художницы Татьяны Антошиной в Галерее Гельмана (1999), представленный в Интернете²⁶. В противовес традиционному «музею мужчины», где мужчина-художник выступает в роли творца и духовного начала, тогда как женщина пассивно представляет взгляду собственное материальное тело, Антошина берет классические сюжеты, но меняет гендерную идентичность персонажей. Вместо «*Девочки на шаре*» Пикассо появляется изящный «*Юноша на шаре*», на которого смотрит сильная зрелая женщина. Рубенсовский «*Суд Париса*» превратился в «*Яблоко раздора*», где трое обнаженных мужчин позируют перед двумя одетыми женщинами, решающими, кому из них отдать яблоко. Вместо «*Олимпии*» Мане перед зрителем кокетливо возлежит нагой «*Олимпус*», а в «*Завтраке на траве*» раздетый мужчина сидит рядом с одетыми женщинами... Никакого скандала проект не вызвал.

Многие теоретические работы по «чтению» мужского тела и его представлению и изображению в литературе и искусстве также написаны женщинами. Без феминистской литературы рассматривать эту тему, как и другие аспекты меняющейся маскулинности, сегодня просто невозможно. Женский взгляд все больше конструирует гетеросексуальное мужское тело, подобно тому как мужской взгляд издавна формировал ипостаси фемининности.

Изменение мужского телесного канона — не следствие злоеющей «гомосексуализации» культуры и общества, а один из аспектов долгосрочного глобального процесса перестройки гендерных стереотипов. Вопреки распространенным опасениям, ослабление поляризации мужского и женского начал и допущение множественности индивидуальных телесных практик и стилей жизни не устраняет половых и гендерных различий, не феминизирует и не умаляет мужчину, а эмоционально раскрепощает и обогащает его.

Единой поэтики мужского тела, как и единого типа маскулинности, никогда не было, нет и не будет, каждый тип индивидуальности несет в себе свои собственные проблемы и трудности. Сложный и длительный процесс трансформации гендерных стереотипов болезненно переживается многими мужчинами и порождает много социокультурных и сексологических проблем. Изучение их — одна из комплексных задач обществоведения и человековедения.

²⁶ См.: <http://www.guelman.ru/antoshina/museum.html>.

Елена Трубина

«В ФОРМЕ СЕБЯ ДЕРЖАТЬ!»: СОЦИАЛЬНЫЕ СИМПТОМЫ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ ТУПИКИ МУЖСКОЙ БИОГРАФИИ*

В телевизионных роликах, рекламирующих кофе «*Nestle*» и кофе «*Пеле*», этот напиток надежно служит складыванию и подкреплению благополучных отношений между мужчинами и женщинами. Высоким притязаниям рекламных потребителей «*Nestle*» (они едят, снимаются в кино, их пастельные одежды говорят о вкусах «среднего класса») соответствует и цена напитка. «*Пеле*» же — один из самых дешевых кофе, поэтому предполагаемый адресат второй рекламы попроще. Ее сюжет: гнев молоденькой учительницы в адрес юных футболистов мгновенно стихает при виде обаятельного школьного физкультурника, протягивающего ей в знак примирения чашку дымящегося напитка. Не беда, что кофе — дрянь: причина назревавшего конфликта — половинки расколотого глобуса отставлены в сторону и забыты. В конце клипа мы видим героев оживленно беседующими: *ее* агрессивный импульс растворен в *его* шарме и миролюбии. Остроумно использованная здесь инверсия привычного ролевого расклада (*он* нападает, *она* утихомиривает), кодируя и представляя доминирующие представления о маскулинности и фемининности, стандартах поведения и источниках успеха, способствуют усилению потребительских активностей, которые группы делают более однородными, а индивидов — нормализованными.

По мнению Роберта Коннелла, спорт — это важнейший профессиональный институт для выражения маскулинности (Connell, 1987, 85). Действительно, здесь мужское превосходство кажется обусловленным природой. В культурном контексте, где тело

* Я благодарна Сергею Ушакину за серьезную помощь в подготовке финальной версии текста.

фигурирует как нередуцируемый знак естественного, данного, безусловного, мужское тело, означая сексуальное различие, очевидностью своего физического совершенства способствует закреплению представления о неравенстве полов. В этой связи, разбираясь в причинах некоторой неловкости, которую вызывает у многих зрелище соревнования женщин-культуристок, А. Кун замечает: внутри культурного дискурса «мускулы конституированы как “в сущности” мужские» (Kuhn, 1988, 13). Однако не только природное мускульное превосходство мужчин делает спорт значимым для становления и закрепления маскулинности. Он играет роль мощного социализующего фактора. Немало мужских компаний либо изначально сложились на почве спорта, либо продолжают основываться на спорте как главном интересе. Для наших целей особенно интересны исследования К. Фарра, рассмотревшего роль спорта как объединяющего начала, с которым вряд ли может соперничать что-либо другое в смысле акцентирования и активизации мужественности, в привилегированных социальных слоях. Спорт

помогает сохранить связи даже спустя годы после отказа от спортивной карьеры... неформальные отношения внутри их мужских групп способствуют конструированию их гендерного и классового статуса посредством создания четкой границы между ними, женщинами и мужчинами из более низких слоев... Доминирующее положение этих мужчин, основывающееся на ритуальных формах мужского общения (дружба, соперничество), было изначально predeterminedено еще в юношестве, при занятиях привилегированными видами деятельности в своих компаниях. (Farr, 1988, 265)

В исследовании маскулинности, проведенном Майклом Месснером, проанализированы свидетельства американских мужчин, профессионально занимавшихся спортом, с точки зрения того, как маскулинность изменяется в социальном пространстве профессионального спорта. Особое внимание уделено тому моменту, когда в старших классах школы «многие молодые люди решают: выбрать спортивную карьеру или отказаться от нее» (Месснер, 1998, 224). Если представители средних социальных слоев предпочитают иные варианты карьеры и их устремления направляются, по выражению Месснера, в более «разумную» область образования и карьеры, то для представителей бедных слоев, и в особенности афроамериканцев, профессиональный спорт оказывается подчас единственным способом завоевать социальное уважение. «Уважение», по словам Месснера, часто выступает в свидетельствах мужчин как «кристаллизация потребности мужчины в самореализации

через достижение определенного положения в обществе, существующем в условиях классового и расового неравенства и пред-
рассудков» (Месснер, 1998, 229).

В этой статье пойдет речь о школьном учителе физкультуры, его учениках, детях и друзьях. Подтянутый, коротко стриженный, «веселый, но строгий» (по характеристике одного его ученика), Игорь¹ шестнадцать лет работает в центральной школе крупного города, ему за тридцать, он женат, у него двое детей. Глубинное интервью с ним было записано в мае 1999 г. в ходе выполнения проекта, связанного с устными историями. Моей целью были сбор и анализ жизненных историй школьных учительниц, а несколько мужских историй, рассчитывала я, могли добавить исследованию необходимые (и модные) «гендерные» обертоны. В то же время опыт проведения феминистски ориентированных качественных исследований позволил мне понять, что возможность *нерефлексируемого* вынесения авторитетных суждений о мужчинах — в том ключе, в каком они выносятся самими мужчинами — для меня как исследователя-женщины исключена.

Пример такой рефлексии можно найти в книге профессора факультета риторики университета Беркли Кажи Сильверман. Предваряя свою монументальную работу «*Мужская субъективность на краю*», она замечает:

Может показаться неожиданным, что я предпочла реализовать свой проект на основе мужской, а не женской субъективности, но значительная часть моей мотивации — в той силе, с которой маскулинность покусается на фемининность. Способствование значительной реконфигурации мужской идентификации и желания по крайней мере позволит женской субъективности проживаться иным, чем сегодня, образом. По-моему, это также покажет, что практически все, на чем основаны общие убеждения, равняется нулю и пустоте. Теоретическая артикуляция некоторых не-фаллических маскулинностей может, соответственно, считаться насущным феминистским проектом. (Silverman, 1992, 2 — 3)

Исследовательница различает *конвенциональную* и *маргинальную* маскулинности. Отправляясь от идей Мишеля Фуко, выделившего в «*Истории сексуальности*» истеричную женщину, извращенного взрослого и мальтузианскую пару как образцовые продукты «великой поверхностной сети, в которой связаны друг с другом стимуляция тел, приобщение к дискурсу, формирование специальных знаний, усиление контроля и сопротивления — в соответствии с

¹ Имя изменено.

несколькими основными стратегиями знания и власти» (Foucault, 1978, 12), она приходит к выводу о необходимости теоретизировать сексуальность в связи с социальным порядком. «Образцовую» мужскую субъективность невозможно поэтому мыслить в отрыве от идеологии, не только потому, что идеология представляет собой зеркало, способствующее конструированию субъективности, но и потому, что эта субъективность зависит от коллективной убежденности в «единстве семьи и адекватности мужского субъекта» (Silverman, 1992, 16). Нормативные представления о маскулинности, или конвенциональная маскулинность, формируются на основе «*преобладающей установки*» (dominant fiction) — ключевого конструкта идеологической реальности, основанного на Эдиповом комплексе. Эта установка выступает посредником между субъектом, с одной стороны, и способом производства, с другой, конструируя и поддерживая сексуальные различия.

Мне было особенно интересно понять, каким образом транслируются установки конвенциональной маскулинности в рамках школьного образования, каковы, в частности, тенденции изменения телесности в ходе социальных перемен, и профессионал, «окультуривающий» тела каждый день, здесь был неоценим. Индивидуальные воспоминания Игоря в ходе интервью дополнялись его наблюдениями над школьной жизнью. Я называю ниже эти его наблюдения социальным анализом, ибо он демонстрирует недюжинную проницательность в оценке мотивов и причин поступков других людей. В то же время, далеко не полностью (как и любой из нас) осознавая значимые обстоятельства своего собственного существования и лавируя в поле последствий не им принятых решений, Игорь направляет свою деятельность на смягчение воздействия на его биографию социально-политических детерминант. Главная его стратегия — включение собственного тела в сложную игру экономического, социального и культурного капиталов.

«Даже отношение к нам идет вот такое:
“О, крутые!”»

Так Игорь описывает типичную реакцию на появление команды его школы на городских спортивных соревнованиях. На мое уточнение, «спортивная» это «крутизна» или «социальная», он, не колеблясь, отвечает: «Социальная!» Он имеет в виду, что среди учеников его школы преобладают дети обеспеченных, обладающих

высоким социальным статусом родителей. Сам Игорь происходит из простой семьи, мать его тяжело болела, отец, понятно, работал допоздна, и Игорю *«приходилось приходить домой и делать все то, что должны были делать, скажем, ну, может быть, сказать так: что должны делать родители»*. Эта необходимость рано взять на себя несвойственную мальчику роль компенсировалась в школе. Он называет себя «тяжелым», «буйным», «подвижным» ребенком, причинявшим немало хлопот учителям и таким образом самоутверждавшимся (*«Надо было мне какой-то урок сорвать — я сорву!»*). В итоге из школы его выгнали, затем он служил в армии, где блестяще освоил специальность связиста, потом окончил техникум связи, но открывавшейся перед ним возможностью контрактной службы был вынужден пренебречь по семейным обстоятельствам: ему вновь предстояло принять от отца груз семейных забот. Поиски работы были типичными для его поколения, колебавшегося между денежной, но скучной работой и интересной, но зарплата не сулящей:

Где только я не работал! В ресторане я работал, я же в спорте-то достаточно тесно тяжелой атлетикой занимался. Здоровье было — дай бог, вагон. Ну вот я и в ресторане работал, и коммерцией занимался — что сейчас называется коммерция, раньше это нечто другое — лет шесть-семь назад. Ну, там радости-то ведь это не приносило, только деньги. А здесь, я считаю, ну, поблизости... опять же с деньгами напряженка. А так — я говорю — с радостью теперь уже встаю, с радостью иду на работу, с радостью возвращаюсь снова сюда.

Главная причина этой радости — то, что Игорь нашел здесь значимую для него мужскую общность. Могут спросить: «Как же так? Ведь коллектив-то женский?» Свое самочувствие в женском коллективе Игорь описал лаконично: *«Как цветочек в клумбе!»* Чувствовалось, что этим клише он не раз отделялся от любопытных расспросов. Куда важнее для него — созданный им на основе волейбольной секции «клуб», в котором старшие члены опекают младших, в котором царят ценности коллективной игры, соревнования, задора, достижения победы любой ценой (М. Месснер называет их «культурно релевантными компонентами мужественности» — Месснер, 1998, 222):

У меня вот осталось из восьмого класса сейчас шесть человек. А двое уйдут из одиннадцатого. Я почему и говорю — у меня клуб. Волейбол — это у меня не секция «Волейбол», а клуб. У меня вот двое выходят — я говорю: «Вы чтоб ушли — вы после себя чтоб два тапочка оставили. Имеется в виду два следа. Вот вам два молодых — вот вы с

ними работайте. Я в вас, — говорю, — все что мог, влил, теперь вы вливайте из своего кувшинчика в них. Чтобы у них тоже заполнялось. Вот они уходят, они себе оставляют замену. Вот. И у нас, я говорю, у меня клуб волейбола.

Статус людей, с которыми Игоря объединяет спорт, для него весьма и весьма значим. Его связи с учениками закрепляются всевозможными акциями вне школьного расписания, в итоге чего его подопечные, даже покинув школу, не теряют с ним контакта:

Ну дело в том, что мы с ними как связаны? Я же не только здесь вот физкультуру веду. В летний период, вот зимой, допустим, — в поход систематически ходим, в пещеры. Много ли надо, да? На три ночи взял и ушел. С группой. Человек десять беру из школы и человек пять выпускников. Они уже который год идут. И все их куда-то что-то тянет. Значит, что-то оставило?.. Где-то там, раз тянет. Вот и те, кто, скажем так, привязался надолго — потому еще — летом сплавляемся по рекам Урала на различных сплавах, будь то катамаран или байдарки. Вот. И поэтому... Причем категорийности различные. Вот мы в прошлом году ходили в троечку, в такую — хорошую троечку. Что даже катамаран обломали...

Эти «клубные» связи составляют главный социальный капитал Игоря, источник его самоуважения. Немал и их воспитательный потенциал. Описывая стратегию воспитания своего старшего сына, Игорь делает акцент на том, чего (и за счет чего) достигли люди, в обществе которых он проводит свободное время:

Ко мне вот приходят... Допустим: вот у меня завтра день рождения. Ну я вот... уверен, не уверен — знаю, что выпускники все равно заедут, хотя бы так здесь поздравят. Может — останутся, не знаю. Вот. Потом что? Не знаю. Я вот у них бываю на дне рождения. Они у меня бывают. Летом вот мы... Куда-то едем, или на рыбалку... Ну, поехали? Поехали. Раз, собрались, все. Смотались. Вот он видит по ним, кто что из себя представляет. Видит: один — директор фирмы, другой в банке работает. За счет чего работает? За счет головы, наверное, да? Вот. Смотришь, приедут, раз две машины подъехало. За счет чего? Не за счет того, что их папы-мамы... Папы-мамы такие же были, как и они. Вот как все — звезд с неба не хватало. Я говорю: «Вот, они учились». Они потом, когда сами с ним общаются, говорят: «Учись, учись, кому ты потом нужен будешь со своими троечными знаниями?» Вот на этих примерах он осознает и видит.

В итоге Игорь за себя спокоен: пусть его работу не назовешь престижной, пусть заработка она не приносит, важно «кто за ним сто-

ит». Он замечает даже, что разница в статусе очень заметна в поведении большинства учеников: *«Вот это — картиночка, а сзади — большой плакат, кто за ним стоит. Это видно сразу же. Видно — от того, как человек ведет... Или — из среды общения с этим человеком».*

«Он приходит — у него все хотят»: тяготы телесной дисциплины и ценности спорта

«Наиболее годных к этому ремеслу можно узнать по многим признакам: это люди бодрые и живые, с высоко поднятой головой, втянутым животом, широкоплечие, длиннорукие, с сильными пальцами, не толстые, с подтянутыми бедрами, стройными ногами и непотеющими ступнями, — человек такого телосложения не может не быть стройным и сильным» (Фуко, 1975, 198), — Мишель Фуко приводит описание солдат французским полководцем XVII в. Если искать в средней школе самых «бодрых и живых» людей, то надо держать путь к спортивному залу. Пусть школьный фольклор впитал в себя сомнения в том, насколько учитель физкультуры интеллектуально состоятелен, его телесная и физическая состоятельность, как правило, — вне подозрений. Фуко говорит об изобретении в XVII — XVIII вв. дисциплины как «новой политической анатомии», «муштры», действующей, среди прочих институтов, в «колледжах» и «начальных школах», направленной на «обтесывание камней» — детализованной школьной педагогики, предназначенной для производства «подчиненных и упражняемых, послушных тел» (Фуко, 1975, 200—203).

Школьный учитель физкультуры участвует в этом процессе «нормализации» тел. Школа как институт является значимой частью более широкой социальной сети, в которую «захвачены» человеческие тела, и взаимодействует прежде всего с семьей, но также и с массмедиа, медициной, модой и т.д. — иными словами, с дискурсами, практиками и институтами, влияющими на функционирование телесности. Описывая «дисциплину» как технологию власти, М. Фуко различает «восходящий» и «нисходящий» типы индивидуализации. Если первая свойственна до-модерным обществам, в которых у индивида тем больше шансов выделиться, чем он более влиятелен, чем безупречнее его наследственность, то вторая начинается тогда, когда «историко-ритуальные механизмы» формирования индивидуальности уступают место «научно-дисциплинарным», когда «нормальное взяло верх над наследственным»:

В системе дисциплины ребенок индивидуализируется больше, чем взрослый. Больной — больше, чем здоровый, сумасшедший и преступник — больше, чем нормальный и законопослушный. В каждом упомянутом случае все индивидуализирующие механизмы нашей цивилизации направлены именно на первого; если же надо индивидуализировать здорового, нормального и законопослушного ребенка, всегда спрашивают: много ли осталось в нем от ребенка, какое тайное безумие он несет в себе, какое серьезное преступление мечтал совершить. (Фуко, 1975, 282 — 283)

Рассуждения М. Фуко у каждого из нас, пропущенных через мясорубку социализации «детский сад — школа — вуз», вызовут, уверена, множество живых воспоминаний. Кроме этого, советская образовательная система в ее «физическом» компоненте осуществляла с максимальной эффективностью идеи Томаса Гоббса, понимавшего социальный порядок как проблемы регулирования по преимуществу *тел*. Государство восполняло скудость ресурсов в соответствии с убеждением Гоббса в том, что обязательной задачей общества должно быть приручение природных влечений и желаний, составляющих общество индивидов. Решая в отношении тел задачи воспроизводства населения и введения ограничений, касающихся внутренней жизни тела, государство использует тела как медиум, через который поддерживаются социальный порядок и институты. В литературе идет речь как минимум о четырех измерениях человеческого тела, которые вовлечены в социокультурное формирование: первое — физические характеристики, второе — телесная активность, а также то, что связано с публичным проявлением разных сторон индивидуальности (ума, пола, характера), третье — переживаемое или проживаемое тело, наконец, четвертое — телесная поверхность, на которую наносятся культурные метки (Schatzki and Natter, 1996, 3—4).

В рассуждениях Игоря забота о «физическом» теле неотрывна от тела, понимаемого как источник активности: человека, обладающего волей и характером для «занятий», не остановят новые травмы:

Кто занимается, кто заинтересован в своем здоровье, тот все равно будет заниматься. И с травмой, и без травмы, до травмы и после травмы. Не знаю. Говорю: и мениск вырезали — все равно в футбол играет. И так далее. В форме себя держит. Он — человек в своей фирме, свою фирму держит и так далее.

«Свою фирму держит» и себя держит в форме — эта комбинация, похоже, для Игоря близка к идеалу. Шансов открыть свою

фирму у него нет, остается одно: держать в форме себя. Его отличная физическая форма и есть, собственно, его «фирма» — залог успешности его социальных связей, источник его приработка, единственное его достояние, которое он способен контролировать. В условиях дезинтеграции большинства социальных форм, резко сокративших карьерные возможности людей, подобных Игорю, его собственное прежде всего, но и других людей «физическое» тело выступает, далее, как значимый жизненный ресурс, увеличить который под силу каждому.

Этим пренебрегают лишь те, у кого в достатке прочих ресурсов: «Кто знает, что за него все это сделают, имеется в виду и хирургические операции, и там еще что-то, знают, что родители имеют деньги, сделают, заплатят, вот. А кто занимался, тот так и занимается».

Представляя себе свою миссию как увеличение этого ресурса, он недоумевает по поводу слабой заинтересованности детей и родителей в том, чтобы от школьных уроков физкультуры взять максимум:

Вот не знаю я. Все от заинтересованности самих детей... Вот родителей я, честно сказать, понять не могу. Особенно вот у нас же много детей, родители которых врачи, и когда врач пишет... ну, справкой ее назвать нельзя, отмазку для ребенка от физкультуры, который нагулял определенное количество часов: ну просто нагулял! Они не понимают, что они себе... вот этот бюллетень потихонечку подпиливает веревочку. Потом она — ай! И все, мышеловка захлопнулась. Для них же для самих, потому что дети-то, что они взамен могут дать? Ну, сказал: «Ладно, все, спасибо». Нет, отмазку с таким гордым видом: «Вот у меня справка». Говорю: «Ради бога, живите, — говорю, — больные, живите больные!»

Если для учителей по другим предметам «верх» профессиональной карьеры в педагогике — работа в вузе, то для Игоря естественно сравнивать себя с профессиональным тренером. Главное, что порождает его зависть:

Тренер работает с отдельными людьми, которые пришли достигнуть каких-то результатов... Он ведь работает не с общей массой, где от «я хочу» до «я хочу больше», вот. Или «я не хочу» или «я хочу больше». Там такого нет. Он приходит — у него все хотят. У него все хотят повысить свои результаты, они все хотят на чемпионаты России, мира, олимпийских игр и так далее. Ему работать в этом плане проще. Вот. Там заинтересованность. Не хочешь — уходи.

Отличие своей ситуации Игорь видит в том, что, работая с массой учеников, он вынужден подстраиваться под их индивидуаль-

ные особенности, стремясь довести каждого до некоторой нормы и поощряя в детях дисциплинированность: те, кто слабо подготовлен или физически неспособен сдать *нормативы*, имеют шанс на высокую оценку, демонстрируя прилежание и, главное, не пропуская занятия.

А мы ведь не можем сказать: «Не хочешь — уходи». Не хочешь — можешь заниматься чем-то другим. Но чтобы уйти... Почему я вот говорю — столько дохленьких, а оценку «пять» по физкультуре имеют. Некоторые возмущаются: «Как так?» Я говорю: «Смотри — за сколько вот уроков... Шестнадцать было. Ни разу не пропустил человек...»

С другой стороны, Игорю удается совмещать и учительские, и тренерские функции:

Так вот я, допустим, как тренер, вот здесь я и тренер, и учитель. Вот я веду секцию волейбола. Я же не каждого возьму. Хотя я возьму каждого. Просто не каждый останется. Когда проходит у меня два с половиной часа тренировка, они — ну, не в прямом, а в переносном смысле — выползают из зала. Выползают. Полностью загруженные. Не каждый это выдержит, во-первых. Потом — не каждому это дано. Он в конце концов понимает. Но те, что остаются, я знаю, уже будут дальше работать по полной программе.

Игорю нравится возлагать максимальную нагрузку на тех, кто ее способен выдержать. Слишком много среди его подопечных тех, кому под силу лишь слабые нагрузки. Терпение и понимание, которых требует эта ситуация, компенсируются его жесткостью и видимой беспощадностью в качестве тренера.

«Я, пока они в штанах,
урок у них вести не буду!»

Дисциплинирующая роль униформы известна издавна. Игорь гордится тем, что это он настоял на единой форме «для физкультуры», состоящей из шортов и футболки. Он, хотя и понимает, что не для всех детей эта комбинация оптимальна («*телосложение-то у всех разное...*»), не без удовольствия вспоминает, как «*толпы ходили девочек к директору*», как они нашли было своего защитника в другом преподавателе-мужчине:

Пришел ко мне, девочки за его спиной стоят. «Я разрешаю заниматься девочкам в штанах». Я говорю: «По какой причине? По какой причине

вы разрешаете?» Молчит. Я говорю, зал открываю: «Проходите, ведите урок. Я, пока они в штанах, урок у них вести не буду». Столкнулся. Он меня — лицом к лицу, и я его разворачиваю лицом к лицу. Поворачивается — уходя, говорит: «Девочки, у вас есть преподаватель, вы с ним и решайте все вопросы». Все, ушел. Больше проблемы не возникало.

М. Фуко толкует о «нескромности» дисциплинарной власти, которая «повсюду и всегда начеку, поскольку в силу самого своего принципа она не оставляет ни малейшей теневой зоны» (Фуко, 1975, 259). Физиологические особенности учениц находятся в поле зрения Игоря в силу того, что «критические дни» остаются уважительной причиной для непосещения ими занятий, чем некоторые, понятно, злоупотребляют:

Приходят — нагло врут. Я сразу с девчонками тут вот начинаю... ну, класса с седьмого, я им сразу говорю: «У вас возникают сейчас проблемы». Ну, вот только с девчонками, естественно. «Поэтому, будьте добры, я об этих проблемах должен знать первым, чтобы я вас не терял. Придите и скажите: “Я сегодня не могу”». Ну, кто-то там: «по физиологическим причинам». Или как-то еще. У меня крестики стоят. Дата и крестик. И когда, извините меня, она пришла ко мне второго числа и пришла пятнадцатого числа, я спрашиваю: «Почему, моя хорошая, несостыковочка получается? Ты ведь так будешь у меня весь год по два раза подходить...»

Игорю, явно довольному тем, что его нельзя провести в таком, как ему кажется, простом вопросе, вряд ли приходят в голову другие возможные объяснения того, что «*пришла второго числа и пришла пятнадцатого числа*», к примеру сбой менструального цикла или недомогания родственной природы. Девушке на его пронизательность возразить нечего, ведь он исходит из известной всем *нормы*, и он, наверное, последний человек, с кем она решится обсуждать отклонения от нее. Он же уверен в своей правоте, и стыд девушки его вполне устраивает: «*Красная, синяя, бледная! Чтоб я еще раз ее увидел, чтоб она вообще пришла с этими физиологическими причинами ко мне — да божье упаси! Уже не придет. А уж лишний раз сходит и отзанимается. Вот*».

«Идет подтягивание.

Мальчик не подтягивается»

Для сегодняшних, прирученных компьютером и телевизором детей и подростков, соревнование в силе и проворстве, вообще персе-

пектива предстать перед сверстниками в своей телесной очевидности — серьезное испытание. Оно проходит «на публике», и вот это, если воспользоваться известным термином английского феминистского теоретика Лоры Малви, «бытие под взглядами» (to-be-looked-at-ness) многими из них переносится с трудом. Игорь поэтому считает, что выходом было бы раздельное обучение, по крайней мере в средних и старших классах.

...Потому что не все на уроке [пауза]. Девочки, допустим... И парни, в общем-то... Вот парень не подтягивается. А на уроке идет подтягивание. Мы в одном зале. Идет подтягивание. Мальчик не подтягивается. Ну, он, видно, очень рыхлый: либо здоровья в нем не хватило, либо он ходил так часто, что...

Мне кажется очень интересным, что в описании Игорем самых незадачливых своих учеников и описании знаменитым французским философом Роланом Бартом различных амплуа участников кетча есть дословное терминологическое совпадение: они оба используют слово «рыхлый». У Р. Барта читаем:

Не успели противники подняться на ринг, как публика сразу же прониклась очевидностью их ролей. Как и в театре, в каждом физическом типе с чрезмерной четкостью выражается амплуа данного борца. Товен, тучный и рыхлый пятидесятилетний мужчина, из-за своей уродливой бесполости вечно получающий женские клички, своим телом демонстрирует все характерные черты изменности, ибо роль его — воплощать ту органическую омерзительность, что содержится в классическом понятии «мерзавца»... То есть намеренно внушаемое им тошнотворное чувство очень глубоко коренится в сфере знаков: уродство не просто служит для обозначения низости, но еще и сосредоточено в самом состоянии материи... и толпа, произвольно осуждая его, исходит не из рассудка, но из самых своих глубинных гуморальных переживаний. (Барт, 1957, 61)

В выразительном пассаже Барта особенно значимо последнее замечание о том, что «произвольное осуждение», адресуемое «рыхлому» персонажу, происходит из «глубинных гуморальных переживаний». В своем повседневном опыте сталкиваясь с жесткой, одномерной подростковой психикой, как своего рода апофеозом «гуморальности», что обусловлено тем, что каждый подросток представляет собой гормональную бомбу, Игорь знает, какими переживаниями может обернуться для подростка этот конфуз, и размышляет над тем, как — через реорганизацию преподавания — можно его от этого хотя бы частично оградить. Он, однако, умалчи-

вает о том, что именно юноши, не девушки, как правило, более жестоки в реализации своих «гуморальных» импульсов, говоря лишь:

Вот он сидит на скамеечке. Он не пойдет подтягиваться. Почему не пойдет подтягиваться? Потому что здесь девчонки сидят. Что он будет себя показывать — в глазах-то вот? А если бы не было никаких девчонок, пошел бы он, отвисел свои два-три раза, я бы ему остальные пять раз помог. Ну, пока, на начало.

У Барта читаем: «В каждой новой ситуации тело борца дает публике увлекательное зрелище» (Барт, 1957, 62). Перспектива стать зрелищем неизбежна для каждого на уроке физкультуры. Публика — одноклассники — готова и восхититься, и освистать: *«Кто-то ведь... У кого-то ноги красивые, у кого-то — нет. Вот. У кого-то... Различное телосложение. Вот они по этому поводу, конечно, комплексуют».*

К комплексам по поводу внешности и слабых спортивных способностей прибавляются проблемы, вызванные неудобной формой:

Они могут раскрыться, но они не хотят, их это давит. Вот ей нужно что-то — упражнение на пресс сделать — она начинает делать, раз — и футболочка задралась. Она два раза сделала — и ей еще нужно двенадцать раз сделать. Она — раз-раз и ушла. Она не может, не может. Она... стесняется дальше продолжить. А так бы она дальше продолжала, все нормально.

«Гендерные» же различия здесь состоят в том, что

ну, в общем-то, девчонки без парней чувствуют себя намного комфортнее, они раскрываются. Их вот хотя бы раз увидишь — уже другие. Ну, так вот — парней отправишь, допустим, в футбол, девчонки остались. Они совсем по-другому. И делать могут больше, и лучше, и качественней.

В то время как *«парней-то всегда стимулирует, когда девчонки в зале!»*

«Рыхлых» и «маленьких» юношей Игорь стремится реабилитировать, понимая, что иначе им даже в школьной среде не выжить. Характерно, как он формулирует цель своих занятий с ними: *«Хотя бы простой отпор дать своим же»:*

Вот у меня есть тоже волейболисты маленькие, очень маленькие, десятиый класс. Меня спрашивают: «Он у тебя в седьмом?», я говорю: «Нет, в десятом». Их выпнуть — он бы сейчас в бокс пошел. Не, ну в волейбол тоже ко мне ходит. Вот. Но надо ведь себя как-то вот еще реабилитировать, потому что... Хотя бы простой отпор дать своим же. Не в том плане, что подраться, а оттолкнуться вдруг от брани. Вот. А в десятом классе они соображают, что им это уже надо.

Рост понимания важности «фитнеса» приводит юношей в основном к занятиям тяжелой атлетикой и бодибилдингом: *«Ну, вот к десятому-то парни в качалку ходят. Они осознают это, что им надо. Вот. Парни смотрят друг на друга-то. Кто тянет, кто — нет. И они приходят в качалку».*

Французский социолог Пьер Бурдьё настаивает:

...нельзя изучать спортивное потребление... независимо от продуктового потребления или досугового потребления в целом. Спортивные практики... могут быть описаны как результирующие отношения между спросом и предложением, точнее, между пространством предлагаемых в данный момент продуктов и пространством склонностей (ассоциирующихся с занимаемой позицией в социальном пространстве и способных отображаться в других потреблении в связи с другим пространством предложения. (Бурдьё, 1987, 262)

От социального анализа Игоря не укрывается то, что, конечно, он не одинок на рынке спортивно-образовательных услуг и что последние составляют лишь один из секторов рынка услуг в целом, подчиняющегося сложной динамике спроса и предложения. Подчеркнутая Бурдьё зависимость спроса на услуги от «занимаемой позиции в социальном пространстве» в опыте Игоря отражается в том, что те виды спорта, дополнительные занятия по которым он в состоянии предложить ученикам, в число самых престижных не входят. Игорю очевидна неразрывность спорта и социального класса, то, в частности, обстоятельство, что платные занятия рядом видов спорта (горными лыжами, гольфом, большим теннисом) входят в число престижных видов потребления. Однако деформации в следовании подростков из обеспеченных семей модным стратегиям потребления состоят в том, что *платность* этих занятий порождает у них иллюзию, что особых физических усилий прилагать не требуется.

У меня вот ходят в восьмом классе две — ну плюшки плюшками. Ну вот натуральные плюшки! Уж я и так и этак, а плюшки плюшками: «Я в теннис хожу, нас там бегать не заставляют», е-мое. Разговаривал с мамой... Мы как-то в прошлом году с ней столкнулись тоже: «Все. Будем. Света будет ходить. Все». А Света, смотрю, все шире и шире. Что, говорю ей, с ракеткой-то там делаешь? Я с ракеткой могу дома постоять. Теннис — это такая штука подвижная, это умотаться! Чтоб провести тренировку хотя бы вот сорок минут, похудеешь на килограмм. С тебя столько сойдет — не одну футболку поменяешь! Я говорю — не верю, что вас там не гоняют. «Ну мы же деньги платим». Все. «Ты где-то уже участвуешь в соревнованиях?» — «Зачем? Нет». Все. Правильно, тогда... тогда понятно.

Если раньше, размышляет он, ученики ходили заниматься теннисом или шейпингом, чтобы *«набрать дополнительно»* (нагрузку, которой не хватало на уроках), если *«они ходили с умыслом»*, то

сейчас вот приходишь и с такими вот фразами встречаешься: «Ха! Физкультура. Да я на теннис хожу. Там же платно». Вот выражение такое: «Там же платно». То есть престижно заниматься... «Я хожу на платное». Там родители платят деньги. Вот. Я говорю: «Там же ходишь, не пропускаешь». — «Ха. Там же деньги у меня родители платят!»

Общая расслабленность и недостаток физической формы, которые делаются все более характерными для детей из обеспеченных семей, преобладающих в школе, где работает Игорь, создает для него проблемы, когда дело доходит до соревнования с другими школами.

Допустим, почему тяжело равняться с другими общеобразовательными школами? Потому что те дети — вечно на улице. Они вечно бегают, им проще. Вон другая школа рядом: пришел, смотрю, встал на лыжи. У нас же как? Я сто пар лыж ставлю — уж куда обеспеченнее?! Вот у нас остались «Тиссен», уже остается «Фишер» и так далее. Ну, не нужны. Катались год — не нужны. А там бог весть на каких лыжах, но — ходят.

Понимая, что в глазах его учеников «простые» лыжи недостаточно престижны, Игорь опять прибегает к аргументам, так сказать, «от тела», вновь используя понимание особенностей женской анатомии и физиологии в своих педагогических, «нормализующих» целях:

Девчонки тоже... «На кой нам нужны ваши эти лыжи?» Я говорю: «Здравствуйте! — я говорю. — Вам как никому другому нужны, говорю. Вы — будущие матери, вам, говорю, да чтобы ребенок вышел-то...» Стоят, смотрят, господа! Мышцы брюшного пресса. Я говорю: «Моя хорошая, если ты ни разу из положения лежа подняться не можешь, о каком деторождении вообще речь-то идет?»

Игорь следует здесь стратегии «демистификации» женственности, в общении с девушками он не хочет принимать во внимание те смыслы физической активности, которые значимы для них самих, ему важно повернуть их лицом к их главному, как он считает, предназначению — рожать детей. Девушки *«стоят, смотрят»*, скорее всего не очень-то принимая в расчет резоны педагога, потому что *«деторождение»* вряд ли входит в число их ближайших забот. Педагог находит доводы поубедительнее, проистекающие из социальных наблюдений, состоящих в том, что в стратегиях, ис-

пользуемых девочками для привлечения внимания одноклассников, все значимее делается материальный момент:

У вас сейчас уже начинается: тот мальчик нравится — не нравится... Так ведь это вам нравится. А вы спросили — нравитесь ли вы? Нет, вы не спросите. Вам нравится — вы начинаете его покупать с других сторон чем-либо. Сейчас это называется... покупка называется. Чем-либо. Что-то подарила, на тепер диск. Да, можешь не возвращать. И так далее.

Логика Игора проста: зачем тратиться на подарки, если можно значительно увеличить свою привлекательность или, если угодно, покупательную способность тем, что, посещая его уроки, станешь как минимум подтянутой. Он считает, что обеспеченная публика, «новые русские», убежденные, вопреки поговорке «здоровье не купишь», что купить можно все, имеют весьма странные представления о здоровье. Ему, кстати, горько оттого, что родители многих его учеников заботятся о своем и их здоровье по принципу «чем дороже, тем эффективнее», предпочитая покупать дорогое, а значит, престижное лекарство профилактическому приему чеснока, контрастному душу по утрам и т.д. Горько оттого, что он верит в простейшие приемы борьбы с болезнями, какие жизненный опыт, здравый смысл и «культура бедности» отложили в памяти поколений.

Ребенок говорит: «Я на улицу не пойду заниматься, мне родители не разрешают». Я говорю: «Почему не разрешают?» — «Не знаю». Ладно, вызываю папу. Там, значит, у нас медик какой-то там заслуженный. Начинает рассказывать: «У нас слабая иммунная система». Я говорю: «Господи, бога ради, у вас иммунная система ребенка слабая, — я говорю, — и что вы для этого делаете?» Все препараты, начинает... Господи, что вы хотите из него сделать? — про себя говорю. Я говорю: «Да вы начните с простого: ножки ребенку мыть». — «Что вы, он сразу простынет». Я говорю: «Пусть просто теплой водой их обольет. Пока он их протирать будет, у них уже... эффект закаливания получится». Смотришь на родителей, некоторые даже будто не слышали.

«Причуды» обеспеченных детей нередко принимают, по его наблюдениям, и более серьезный оборот.

А есть вот эти вот, которые обеспеченные. Он дает ему газовый баллончик, говорит: «По всей школе пробеги, нажми — пробеги. Двести рублей». Пробежит, а что ему делать-то? Что он, за столыничек пять минут не потратит? Потратит. Пробежал, потом ищи их... не найти. Этих хвостов.

А что ему делать-то? Куда ему с этими деньгами деваться? Они у него все равно остаются. Папа, кроме денег, ему дать ничего не может. Вот тебе пятьсот рублей на карманные расходы на день. Второй ребенок

в шестом классе — вот тебе столик на карманные расходы. Больше, кроме этого, он ничего предложить не может. Ребенку захотелось купить свою квартиру — купили они гараж, оборудовали его под квартиру. Ну и что там хорошего? Ну что там может быть хорошего с его вот этим вот?

Реплика Игоря «*Папа, кроме денег, ему дать ничего не может*» подтверждает разделяемое им убеждение о «рыхлости» части «новых русских» пап. Он противопоставляет их «никчемности» как отцов многообразия и насыщенности своих собственных занятий с детьми.

«Ну, всей семьей, естественно,
в походы ходим летом...»

Это утверждение Игорь в деталях развил и дополнил таким заявлением:

Компенсируюсь чем? Вот меня увидите на кухне — я виртуоз. У меня хобби такое — на кухне летать и все что-то творить. Я раньше — из школы пришел — вообще... В походе я торты стряпаю, всяко. Кулинария. Вот он меня видит. Я знаю, что вот... я за него спокоен: будет готовить и все делать. Что он видит и делает все вместе со мной.

Настороженная настойчивостью, с какой, описывая свой отдых, Игорь упоминал лишь одного сына, я думала: «А что же жена и второй сын, они у них ведь, кажется, погодки...», но вопросов, которые могли быть Игорем истолкованы как невольный укор, не задавала. Лишь попросила рассказать, как он жену искал и как женился. Его ответ раскрыл весьма драматические обстоятельства:

Ну, я, видимо, просто однолюб, так сказать, по натуре-то. До армии, мы когда провожали... своего друга вот я провожал в армию. Подруга, видимо, того, кого провожали, пришла с его женой.... Ну, как-то... Увиделись, встретились и начали встречаться дополнительно. Вот. И все. А после этого, буквально месяца через два... В армию ушел. Сам. Через два года пришел — она ждала. Я пришел, и сразу поженились. Поэтому у нас как-то не было такого, чтобы как-то искали или как... Внешне у нас все нормально. Вот. Нам не повезло со вторым ребенком. Вот. А так...

Выяснилось, что рядом с родильным домом, где находилась жена Игоря, произошел взрыв: в здании выпали стекла, испуг был всеобщий, некоторые сильно пострадали. Жену Игоря «*так сильно не порезало, но это сказалось*». Игорь допускает, что на исходе родов

могло сказаться и кесарево сечение, которому его жена была подвергнута при рождении первого ребенка, и то, что второй ребенок появился вслед за первым: *«погодок, по идее, нельзя было...»*. Мальчик находится дома, с мамой. Единственный диагноз его заболевания, которым Игорь располагает, это *«необучаемый»*. От этого ярлыка Игорю не по себе, и весь его рассказ об этом семейном несчастье пронизан духом недовольства врачами и стремлением доказать им, насколько они ошибаются. Выясняется, что не столько слепой случай (взрыв), сколько врачебную ошибку Игорь считает главной причиной случившегося: *«Выписали абсолютно здоровым, разворачиваешь ребенка — ножки висят! Парез нижних конечностей. А это, говорит, по дороге что-то случилось!»*

С каким торжеством он рассказывает о том, как им с женой удалось посрамить врача, предсказавшую, что ни разговаривать, ни обслуживать себя мальчик не сможет:

Она говорит: «Здравствуй, Саша»². — «Здравствуйте». С нее чуть халат не слетел. Ха! Она говорит: «Как твои дела?» Уже она заика. «К-как т-твои дела?» Он говорит: «Нормально». — «Не может быть!» Я говорю: «Вот. Как видите, может». Так что я вот в него верю. Мы с ним будем общаться. Ну, а вот люди-то ведь видят ребенка. Он совершенно другой.

Надо сказать, что Игорь в годы своего детства тоже испытал, что это значит, когда раз наклеенный ярлык, репутация трудного ребенка надолго остается с тобой в силу инерции отношения педагогов:

В школе я был достаточно... активн... тяжелым ребенком. Надо было мне какой-то урок сорвать — я сорву. Надо было мне что-то сделать — я... Надо было собраться уйти — я уйду. Вот. Опять же, стереотип такой — он и сейчас остался: передача ребенка из класса в класс по штампу. Он троечник — он троечник. Этот — двоечник, его вообще не трогай. Этот может тебе все уроки сорвать. Вот так вот из класса в класс переходит — это чтобы вот кто-то взял, попытался переломить.

Образцом способности взглядеться в ученика, увидеть за «стигмой» человека для него осталась лишь одна учительница, по предмету которой у него — на удивление всем — была пятерка.

С ней можно было и пошутить, и посмеяться, повеселиться. И, опять же, строго держала. Вот кому урок не сорвать, так это ей. Тяжело

² Имя изменено.

очень. А другие просто относятся к тебе к такому, каким ты был. И не хотят ничего поменять. Поэтому, наверно, так человек и остается: «Ну, не хотят менять — не надо. И я таким же буду».

Похоже, что именно строгость Игорь заимствовал у своей любимой учительницы и считает ее ключевым своим достоинством, главной причиной спокойного поведения сына:

Но на сегодняшний день он разговаривает, полноценно разговаривает. Ну, может, где-то что-то будет непонятно... Но с ним общаться можно. Он, правда, воюет, когда не со мной бывает. Я... моя, видимо, аура такая — строгость.

Мы вот на занятия ходили. На последнее вот. Ой, как там преподаватели удивились! Они спрашивали жену: «Слушай, он сегодня болеет, что ли?» «Сегодня, — говорит, — у нас папа на занятиях». Он сидел спокойно, занимался, слушал, никуда не бегал. А мы что? (Игорь имеет в виду мягкость своей жены. — *Е. Т.*) Ходит, может выйти из аудитории, может прийти. И так далее. Вот то есть хаотично может передвигаться. Раз — что-то ему понравилось — хоп! Остановился, начал делать. Хоп! — уже не нравится, опять пошел. Вот — быстро отвлекается на все.

Маме (жене Игоря. — *Е. Т.*) очень тяжело с ним. Потому что... Я изначально говорил: «Ты напрасно себя так ведешь. Это не тот ребенок, с которым можно сюсюкаться». С ним нужно строже. От и до. Потому что в дальнейшем нам с ним быть, больше некому. Взял — принеси, положи. Не положил — снова... Вот, в приказном порядке. А сейчас она вот, как говорится, позволяет это...

«Нам с ним быть, больше некому» — Игорь говорит это не без оснований. Опыт поиска институциональной помощи закончился для него и его жены неудачей. Помещать его вместе с детьми, больными ДЦП или болезнью Дауна, Игорь сам не хочет, справедливо сомневаясь в том, насколько мальчик будет прогрессировать. Из платного Центра проблем детства их *«попросили»* по причине беспокойного поведения сына. Итог: *«Нас нигде... практически никуда не берут, чтобы прийти заниматься...»* Отчаяние Игоря и его жены бывает настолько сильным, что его, Игоря, представления о том, как социум должен решать эту проблему, весьма радикальны (и типичны для России):

Хотя наше общество настолько гуманное! Я вот его не разделяю. Если видят, что ребенок родился... Я вот, может быть, по-зверски скажу — ну если видно... Ведь видно, что родился даун. А родители всю жизнь мучаются. Ну, скажите, что он... Что-то случилось. Ну, пережила она один раз

эту проблему, и все. Ну, как бывает? Три ребенка, один из них даун. И все. И родители кончаются, как правило, после пятидесяти лет. Они заканчивают свою жизнь, они не могут дальше жить. А куда его деть?

Я возразила в том ключе, что для каждого здесь своя граница допустимого и недопустимого, что для кого-то, возможно, шанс что-то сделать для такого ребенка перевешивает многочисленные сопряженные с заботой о нем проблемы, что выбор все равно должен оставаться за родителями, а не за врачами, хотя они, родители, конечно, должны понимать, на что себя обрекают, что возлагать эту ответственность на врачей вряд ли возможно. На вопрос: «Вот вы бы взяли на себя такую ответственность?» — Игорь ответил:

Ну, пройдя вот это, я бы взял. Снова получается. Мы родились тоже не... скажем так — нехорошо. Три дня на кормление не приносили ребенка. Три дня! Где был? Да в барокамере был, где. Выхаживали его, боролись за последний глоток жизни. Это вот сейчас я говорю — за чем боролись? Ну зачем боролись?

Честно говоря, услышав это, я была в шоке. Конечно, когда слышишь истории, подобные той, в которой *продолжают* жить Игорь и его жена, стараешься не забывать пословицу «чужую беду руками разведу». Конечно, когда слышишь суждения, подобные этому, понимаешь, что западный накал страстей вокруг врачебной этики, эвтаназии, политической корректности в отношении детей и взрослых с проблемами психического развития еще долго не будет насущным здесь, в бедном деньгами и смыслами социальном пространстве. Но главной причиной моего шока был контраст между *гордостью*, с какой этот человек рассказывал об успехах своего младшего сына, о своем с женой хождении по мукам в попытках его пристроить, чтобы жена смогла работать, и его, по-видимому, постоянным, навязчивым возвращением к первым дням жизни мальчика, когда «*что-то не так получилось*», что-то *не то* случилось, и к тому, что с последствиями этого *не то* они с женой оставлены один на один. Игорь не раз упоминает, что кому-то его убеждение может показаться «зверством», он озабочен этим («*Вы не думайте, что это вот — насколько звери!*»). Он уверен, что жена его считает точно так же. Два момента угнетают его в наибольшей степени: во-первых, прерванная история его благополучного родительства («*Но у нас вот, может быть, и третий, и четвертый был бы, но не будет. Не будет, потому что второго захватило*»). Во-вторых, будущее их сына.

Потому что, когда нас не будет, он не будет нужен никому. Не будет. В тыщу раз хуже. Ведь он скоро начнет созревать в половом-то плане!

И чего-то надо будет. Их же стерилизовать никто не будет. И вот проблемы-то начнутся еще одни. Вот. Он нам еще попьет кровушку, скажем так, если мы (тьфу-тьфу — постучу по дереву), может быть, и упустим его.

Будущее старшего сына кажется Игорю гарантированным: тот время, свободное от школы и занятий в балетном коллективе, проводит в компании отца. Младший — тоже отцу с охотой подражает, но чаще это лишь добавляет хлопот:

Вот простейшие элементы: газ включить, чайник согреть, и все. Как-то раз пожарил кукурузу. Ничего. Без масла он когда ее начал жарить. Вот все сгорело. Он же смотрит — и пытается делать то же самое. Он думает то, что он делает хорошо, а бывает, что это — наоборот. Как правило. Он копирует. Не делает с точностью, а копирует. И получается вот так.

Игорь говорит не без иронии *«внешне все у нас нормально»*, хорошо понимая, что младший сын навсегда и безоговорочно выводит его семью из порядка «нормальности». К его чести, он его не прячет от других. Его уверенности в себе хватает на то, чтобы брать сына в поездки с учениками:

Вот ездили с детьми на фрукты, я его с собой брал. Как гроза, это же страшно, он залазит под кровать, заматывается в одеяло и кричит. Страшным криком кричит. Дома все время... В сад приедешь — машина проезжает — он под диван лезет. Вот этих шумов боится.

Игорь и здесь видит прогресс: *«И вот... Вот сейчас вот дождь идет, он прислушивается к нему — что есть такое, но не боится. То есть он в грозу работал, он спокойно сидел, хоть бы что! Сидит на плотике с удочкой. Своеобразно очень — с гвоздиком»*.

Движимый верой в чудеса, которые может творить физкультура, Игорь и младшего сына не лишает ее радостей: *«Вот мы сейчас вечерами бегаем, так он старается. Километров восемь пробегаем. Вот. И нормально, он бежит, ему даже нравится. Ну, есть когда дети наглые...»* (имея в виду несколько неудачных встреч).

Но, кажется, главное, что удручает его, это неминуемое иждивенчество сына. Старший — «в порядке», если его занятия балетом уже сейчас дают ему, по выражению Игоря, *«твое “я”, на которое ты можешь уповать. Ну, скажем, твой кусочек хлеба, который ты можешь сам откусить, самостоятельно»*, потому что уже сейчас он участвует в спектаклях и на него *«смотрит тысяча зрителей, которые заплатили деньги и пришли на него посмотреть. Ну, не на*

него, пришли вообще смотреть». И еще: старший сын способен оценить отца, он *видит* его усилия, он подражает ему со смыслом: «Но он при мне... Вот он меня видит, что я кручусь, — он видит, насколько это тяжело. Бывают, конечно, свои проблемы. Но где без этого? Вот. Видит — и чувствует».

Идентичность отца и сына потому, вероятно, составляет столь значимый мотив как мужской психологии, так и мировой культуры, что сын — это единственный шанс для отца *увидеть* себя, свое отцовство. У французского философа Эмманюэля Левинаса на этот счет сказано: «Отец не просто порождает сына. Быть своим сыном означает быть “я” в собственном сыне, субстанциально находиться в нем и в то же время не быть идентичным образом» (Левинас, 1961, 266). Левинас, описывая детство, которому свойственна несамостоятельность, использует выражение «сын перекладывает ношу своего бытия на другого». В ситуации Игоря этой «ноше» суждено быть пожизненной.

Французский мыслитель Луи Альтюссер, точно следуя в этом Жаку Лакану, акцентирует нешуточность того, что сын, еще не рожденный, уже значим тем, что будет носить имя своего отца:

Каждый знает, как и насколько сильно ожидаем нерожденный ребенок, что равносильно утверждению, очень прозаичному, если мы согласны оставить «сантименты», например, формы идеологии семьи... в которой ожидается нерожденный ребенок: заранее известно, что он будет носить Имя своего Отца, поэтому будет иметь идентичность и будет незаменим. Поэтому до рождения ребенок — всегда уже субъект, взятый как субъект в специфическую семейную идеологическую конфигурацию, в которой он “ожидается”, с тех пор как был зачат... (Althusser, 1971, 176)

Стремясь к норме, норму навязывая и нормой руководствуясь, у себя в семье Игорь обречен иметь дело с человеком, под норму не подпадающим. Озабоченный формой и на ее поддержание нацеленный, он каждый день сталкивается с родным ему человеком, который устраивающей Игоря (и окружающих) формы, возможно, не обретет никогда. Преобладающая установка, усвоенная Игорем, оформляет его действия в жизненный нарратив, центрированный вокруг отцовства. Маргинальность ситуации его младшего сына ставит под угрозу представление Игоря о себе как о действующем субъекте, разрушает его уверенность в непрерывности и целостности его жизненной истории. Жизнь его младшего сына размещается внутри сферы «ненормального», и эту экзистенциальную и дискурсивную границу нам — субъектам «нормальной»

повседневности — не перейти: она — за гранью того, что можно знать, и за гранью того, что можно обсуждать. Трудности, которые испытывает сын Игоря — проблемы с устной речью, повторяющиеся варианты поведения, эмоциональное и физическое беспокойство, которое причиняет ему неожиданная смена обстановки (гроза), сложности с установлением эмоциональных связей, фрустрации, которые он изживает повышенной агрессивностью, — все это симптомы, которые легко наблюдать и которые врач легко читает как знаки отставания в развитии, то есть ненормального развития. Игорь колеблется между этим «клиническим», объективирующим взглядом на сына и стремлением включить его в свою, а значит, в семейную историю. У Игоря нет денег платить экспертам за то хотя бы, чтобы узнать, как именно называется заболевание его сына, и отчасти этим, возможно, объясняется его стремление доказать «доступным» врачам, что ярлык «безнадежный» был наклеен на его сына преждевременно, тем самым он борется с этим ярлыком на самом себе. Борясь с тем, что он считает некомпетентностью, он борется с тем, как «читают» его самого — как отца «ненормального» сына. Он строит автобиографию, включает в нее сына и тем самым противостоит тому варианту биографии мальчика, который кажется наиболее вероятным экспертам.

В то же время настойчивость, с какой Игорь возвращается к моменту *заменяемости* сына, можно, мне кажется, объяснить тем, что факт существования такого сына все время нарушает стабильность границы между отцом и сыном, в том числе и в самом Игоре. Стигматизированный в детстве и доказавший окружению, что он достоин уважения, фактом существования младшего сына он словно выталкивается из сплоченного мира нормальных мужчин, к созданию которого вокруг себя прилагает столько усилий. Не поэтому ли, уязвленный, обиженный, недоумевающий, отчаявшийся, Игорь простирает свое отцовство до пределов школы, формируя и корректируя тела подопечных? Игорь и мыслит свою профессию в терминах отцовства. На мой вопрос о том, как он относится к тому, что учительство — это женская профессия, он ответил так:

Ну, понимаете, как вот я подразумеваю? Школа — это дом. Дом — это моя квартира. В квартире должна быть мама. Вот эта мама — она и должна быть здесь. Знаете, говорят, без отца плохо расти, да? А без мамы-то вообще не расти. Поэтому... Я почему и говорю, что мамато и должна быть женщина. Поэтому в этом доме нужно найти маму.

Ну, и должны быть, наверно, те папы, которые должны помогать им? Хоть чуть-чуть.

Легкость, с какой Игорь проводит аналогию между «квартирой» и «школой», может быть объяснена в его же терминах: помогающие «хоть чуть-чуть» папы и время от времени вспоминаящие о своем отцовстве мужчины — характерная черта обычного расклада ролей в семье. Но мы бы редуцировали сложность его ситуации к стандартной линии феминистской критики патриархальности, если бы ограничились этим суждением. Дело обстоит сложнее: не будем забывать, что представления о нормальной маскулинности складываются на основе «преобладающей установки» (термин и концепция К. Сильверман рассмотрены нами выше), базирующейся, в свою очередь, на эдиповом комплексе. Тем самым с помощью «позитивного», как его называет Сильверман (Silverman, 1992, 42—43), эдипова комплекса субъекту конвенциональной маскулинности не только дана «реальность» семьи и фаллоса, но и реальность дана как «семья».

Преобладающая установка не только предлагает систему репрезентации, посредством которой субъект, как правило, получает сексуальную идентичность и имеет желания, сопоставимые с этой идентичностью, но формирует стабильное ядро, вокруг которого удерживаются «реальности» нации и периода. Преобладающая установка представляет социальную формацию самым фундаментальным образом ее единства — семьей. Коллективности общности, города, нации традиционно определяли себя отсылкой к этому образу.

Вспомним многозначительную метафору, опираясь на которую Игорь требует от своих подопечных, чтобы они следовали принципам его спортивного наставничества: *«Я в вас, — говорю, — все, что мог, влил, теперь вы вливайте из своего кувшинчика в них. Чтобы у них тоже заполнялось. Вот они уходят, они себе оставляют замену...»* В своем «отцовстве» в пределах школы Игорь не сомневается:

Когда и на аттестацию заявление писал, я говорю: «Я на своем месте». Потому что я в общем беспокойный ребенок был. Есть дети такие — беспокойные, трудные дети. Я — из них, скажем так. Вот. Поэтому мне у этих детей значительно проще, чем кому-то. Вот. У меня здесь ребенок старший учится тоже, вот, в седьмой класс перешел. Вот я чувствую, что без меня не будет здесь крутиться то, что должно крутиться.

Предварительные итоги

Анализ свидетельств Игоря позволил прийти к выводам о том, что школьное физическое воспитание как деятельность представляет собой значимый институт нормализации индивидов, в рамках которого проявляются и закрепляются различия между мужчинами и женщинами (юношами и девушками), и что учитель — главный агент этой деятельности. Учет концепций М. Фуко и К. Сильверман позволил осмыслить его биографию как конструкт, созданный в результате сложного взаимодействия институционального и психического. Крепкое, развитое, тренированное тело, которым Игорь обладает сам и на формирование которого у своих подопечных нацелен, составляет не только конвенциональный *знак* маскулинности, но и главный *культурный капитал* тех, у кого недостает иных, прежде всего финансовых и статусных, ресурсов.

Опыт чтения частной мужской истории женщиной может оказаться весьма и весьма поучительным. Он, как мне кажется, создает небесполезную ситуацию исследовательской «подвешенности» между двумя конкурирующими сегодня ориентациями. Согласно одной, переход к теоретизированию мужчин как пола в известном смысле *уравнивает* мужчин и женщин. Смещение исследовательского внимания в сторону мужских исследований рождает у многих неправомерную иллюзию, что перед гендерными отношениями мужчины и женщины в равной мере незащитны. Это, конечно же, не так. Вторая ориентация состоит поэтому в стремлении не забывать о том, что среди множества противоречий современности ключевым остается неравенство полов. Чтобы ей следовать, необходимо оставаться критичными к тому, как те или иные компоненты «преобладающей установки» артикулируются, находят выход в конкретных биографических обстоятельствах, взглядах и оценках отдельных мужчин. С другой стороны, мы здесь сталкиваемся с труднейшей (и в методологическом, и в этическом отношении) проблемой критики персональных повествований. Расспрашивая мужчин и интерпретируя мужские истории, стоит не только руководствоваться идеалами «сестринства», но и пытаться находить некоторые общие основания, исходя из которых возможны рефлексивные суждения о конкретных ситуациях.

В чтении истории Игоря я пыталась соблюсти равновесие между критичностью и уважением к нему: о нем как об учителе я рассуждала, сознательно солидаризируясь с его ученицами-девушками, а думая о нем как об отце (в буквальном смысле слова), исхо-

дила из того, что его жена, как он в этом убежден, стоит на той же позиции. Меня, повторю, покорила жесткость, с какой Игорь допускает, что, будь врачи наделены большими полномочиями в решении вопроса о том, жить или не жить младенцам с проблемами, ему от этого было бы только лучше. Но твердость, с какой он говорит, что это убеждение у него сложилось после десяти (теперь уже одиннадцати) лет воспитания младшего сына, драматизм его собственного опыта и опыта его жены исключает для меня возможность судить об этой ситуации, исходя из стандартных феминистских представлений.

Игорь следует значимым тенденциям современности, согласно которым тело, внешность, вообще «биология» (включая и рождение ребенка) не есть нечто данное, с чем нужно лишь смириться и непреложность чего — принять, но нечто, что не только можно, но и нужно модифицировать, с тем чтобы соответствовать доминирующим стандартам. Проблема формы и ее поддержания становится поэтому центральной для жизни Игоря, помещается в центр его идентичности. Все, что попадает в поле его зрения — от тел до униформы, от предельно формализованного, «строгого» общения с ребенком (тот *«не поймет иначе»*) до *«систематически»* организуемых им походов, — все подчинено идее о том, как держать и держаться в форме.

Мы знаем о людях с проблемами развития, что они имитируют жизнь нормальных людей на основе механического повторения их движений и слов. Они наблюдают за другими и составляют какое-то подобие видеотеки вариантов поведения в тех или других ситуациях, научаясь программировать себя, чтобы «вести себя» как «нормальные» люди, то есть люди, выполняющие требования, которые предъявляет культура. Мы не знаем, насколько преуспеет в такого рода «перформансах» Саша, младший сын Игоря, но его жизнь каким-то странным образом проявляет действие ключевых социальных механизмов нормализации, на стороне которых выступает его отец. Полагаясь на строго определенные, рутинизированные и рационализированные способы взаимодействия между «собой» и «внешним» миром, Игорь использует свою форму/тело как попытку слиться с тем социально доступным означающим, которое позволяет реализоваться ему как субъекту. Его собственный «нормализованный» образ фигурирует как нечто, с чем надлежит сравнивать, дисциплинировать и «исправлять» других. Лишь считанные единицы чувствуют себя в отношении собственного тела абсолютно уверенно, и среди девушек и женщин этих

счастливиц гораздо меньше, чем среди мужчин. Игорь не стесняется намекать девушкам на дефекты их тел, уверенный, что он прав. Его правота проистекает от смутного понимания невозможности ускользнуть от нормализующего воздействия социальной дисциплины.

Подобно тому как в культуре в целом нормализация мистифицируется, а ее действие усиливается на основе риторики «выбора», играющего такую большую роль в коммерческих репрезентациях диет, упражнений, ухода за волосами, Игорь также акцентирует в общении с подопечными мысль, что выбор — за ними, хотя для него самого проблема выбора решена. Если его ученики, находясь на попечении родителей, еще могут (скорее всего, лишь на время обучения в школе) позволить себе быть слишком расслабленными, ощутимо ленивыми, не озабоченными будущим, для него (и для его старшего сына) такая возможность с детства была исключена (у Игоря тяжело болела мать, у его старшего сына — болен брат). Его тело и связанные с ним физические и социальные практики — единственный капитал, которым Игорь располагает, противостоя как серьезным социальным ограничениям, так и драматическим биографическим обстоятельствам.

Елена Ярская-Смирнова

МУЖЕСТВО ИНВАЛИДНОСТИ

Значительная часть отечественной литературы по социальным и гуманитарным наукам страдает культурной мистификацией: в ней освещаются вопросы человека абстрактного — бесполого, бесплотного, бестелесного. Такие исследования подчиняются медицинскому представлению об универсальности человеческих тел — их форм, опыта и отношений — и не учитывают того, что каждое тело представляет собой дискурсивный конструкт в современных системах власти. Именно эта идея Фуко находится в основе феминистской деконструкции, критического анализа научных и культурных практик, посредством которых мужское тело конструируется как норма, стандарт для измерения и оценивания других тел. Экономические отношения, социальная политика, система массового потребления и биомедицинское, профессиональное знание — это дискурсивные технологии власти, ответственные за «натурализацию» женского и расового тела, «патологизацию» тела гомосексуалов, пожилых и инвалидов в их «естественном» отличии от канона маскулинности (Peterson, 1998, 41), воплощенного для западного общества в белом гетеросексуальном мужчине из среднего класса.

Необходимо уточнить, что не всякое мужское тело принимается как норма: среди огромного разнообразия мужских тел, различающихся цветом, формой, размерами, демонстрирующих различные возможности, есть и те, которые считаются патологическими или неестественными. При этом, указывает А. Паркер, все эти разнообразные мужские идентичности и «культы» мужественности организованы иерархическим способом в соответствии с гегемоническими идеалами маскулинной культуры (Parker, 136). И, несмотря на то что большинство мужчин признают мужское до-

минирование естественным, многие из них вовсе не ощущают себя властными и сильными (Edley and Wetherell, 1996, 108), а смиряются, приспособляются или сопротивляются существующему порядку вещей, дискриминации и социальному угнетению.

В связи с этим представляет интерес определение мужественности в контексте инвалидности как жизненного опыта и дискурсивной конструкции. Отметим, что для современного, в том числе российского, общества характерно медикалистское понимание инвалидности как патологии, противоположной «здоровью», «нормальности» (Oliver, 1990; Barton, 1996; Ярская-Смирнова, 1999). Здесь главное — диагнозы и классификации заболевания, а сам человек становится невидимым за своей инвалидностью под воздействием медицинского пристального взгляда (Hughes, 1998, 82). В результате такого *о-предел*-ения индивид превращается в вещный объект как медицинский «случай», вся история субъекта сводится к истории болезни, диагнозу и его дискурсивному оформлению в толстых больничных формулярах. Новая концептуальная схема предлагается так называемой социальной моделью инвалидности, которая признает инвалидов не индивидуальными жертвами обстоятельств, а социальной группой в обществе, полном дискриминирующих предрассудков. Де-конструкция научного, политического и популярного объяснения инвалидности как патологии и персональной трагедии при этом осуществляется с привлечением в поле социальной критики жизненного опыта людей, способствующего формированию более «глубоких и разнообразных взглядов на мир» (Mottis, 1991).

Гендер, инвалидность и власть наименования

В данной статье термины «маскулинность» и «мужественность» употребляются в одном ряду. И. С. Кон предпочитает

латинизированной термин русскому слову «мужественность», потому что оно обозначает не только «мужчинность», то, что относится к мужчинам и отличает их от женщин, но и положительное нравственное качество, не связанное ни с полом, ни с гендером. «Мужественная женщина» звучит отлично, «маскулинная» же означает не столько мужественность, сколько мужеподобность, мужиковатость. Выражение «женственный мужчина» вообще звучит плохо. Так что лучше пользоваться международным термином. (Кон, 2001)

В самом деле, в рассуждении о теоретических подходах важно достичь соответствия лексике, принятой международным сообществом: ведь иначе могут возникнуть разночтения, поскольку «мужественность», или «мужество», переводится на английский язык как *couage* — смелость. Однако поскольку «мужественность» в русском языке означает стойкость, силу и смелость как прескриптивные положительные атрибуты в первую очередь мужского идеала, то, если о женщине говорят, что она мужественно переносит трудности, это лишь пример относительной независимости означаемого от означающего. Иными словами, в этом случае женщину положительно оценивают за те качества, которые приписывают именно мужскому стандарту, хотя и полагают их гендерно нейтральными. Давая оценки, называя, мы воспроизводим в своих словах, идентичности и действиях некий социальный порядок, который кажется нам естественным, неизменным, универсальным (Douglas, 1987). Этот порядок, построенный на бинарных противопоставлениях и социальных аналогиях, предоставляет, по словам М. Дуглас, мощный ресурс политической иерархии. А такие социальные классификации, как мужественная женщина (позитив) и женственный мужчина (негатив), «организуют восприятие социального мира и при определенных условиях реально могут организовать сам этот мир» (Douglas, 1987, 46—48). На мой взгляд, в отечественном контексте исследований мужской идентичности русское слово «мужественность» обогащает интерпретацию эмпирической реальности, и его можно считать не только синонимичным маскулинности, но и более важным в символическом аспекте. И это богатство смысла следует не избегать, а деконструировать.

В России проблема гендерной идентичности в связи с инвалидностью практически не затрагивалась в социальных исследованиях, а на Западе эта тема попадает в поле академической дискуссии в 1980-е гг.¹ под влиянием новейших социальных движений². Признавая тот факт, что гендерная идентичность и инвалидность по-разному взаимодействуют у женщин и мужчин, большинство исследователей посвящали свои работы проблемам инвалидов-женщин; мужской опыт интересовал академическую среду в меньшей мере (Shakespeare, 1996, 193).

Дело в том, что мужчины, сопротивляясь стигме инвалидности, все же могут приобрести ожидаемый статус, которому будут

¹ См.: Fine and Asch, 1985; Murphy, 1987; Morris, 1991, 1993.

² См.: Campling, 1981; Campbell and Oliver, 1996.

соответствовать властные социальные роли, тогда как женщины во многих случаях лишены такой возможности. Стереотипные образы женственности и инвалидности как пассивности (Oliver, 1990, 72), сочетаясь друг с другом, лишь усиливают патриархатный облик конвенциональной фемининности, предлагая ассоциации с жалостью, бессмысленной трагедией, болью, святостью и бесплотностью. И, несмотря на то что демографическая реальность характеризуется преобладанием среди инвалидов пожилых женщин, подобные репрезентации очень редки и в основном негативны: женщины-инвалиды считаются неадекватными как для экономического производства (традиционно более подходящего для мужчин, чем для женщин), так и для традиционно женских репродуктивных ролей (Fine and Asch, 1985, 6).

В свою очередь, на пересечении смысловых полей популярных образов маскулинности и инвалидности образуются ролевые несоответствия и формируются конфликтующие идентичности. Именно этот конфликт попадает в центр внимания массовой культуры, апеллирующей к имиджу инвалидности в поисках метафоры слабости, зависимости, уязвимости, потери мужественности. Персонаж Тома Круза в фильме *«Рожденный 4 июля»* (*«The Men, Born on the Fourth of July»*) — это «классический» американский инвалид: молодой белый (европеоидный) парализованный ветеран войны, с трудом привыкающий к своей инвалидности, которая здесь характеризуется в контексте импотенции или сексуальной неспособности (Shakespeare, 1996, 194), но впоследствии достигая высокого социального статуса и признания, возвращает себе мужские качества активности, инициативы и контроля, участвуя в пацифистском движении.

И все-таки жизненная реальность мужчин-инвалидов порой сильно отличается от стереотипных репрезентаций. Т. Шекспир приводит пример респондента-рабочего, которому инвалидность в детстве не препятствовала вести себя, как подобает обычному подростку, давать отпор обидчику, участвуя в драках, хотя он передвигался только с помощью инвалидного кресла. Когда он появлялся в школе с синяками, учителя думали, что его бьет отец: никто не верил, что инвалид может драться. Другой респондент чувствовал, что по причине инвалидности его маскулинная идентичность отличалась от стереотипного мужчины, потому что он испытывал социальное угнетение — ощущение, не соответствующее стандарту мужественности. Этот человек испытывал солидарность не с белыми гетеросексуальными мужчинами, а с женщинами, геями или чернокожими, поскольку разделял с этими группа-

ми опыт маргинальности и сопротивления (Shakespeare 1996, 194—195). Речь здесь идет не только о различии интеллектуальных и физических характеристик мужчин, но и о том, что эти характеристики часто связаны с дополнительными потребностями, например ресурсами независимой жизни. М. Оливер интерпретирует *отличие*, испытываемое инвалидами, как следствие маргинализации и социального исключения. Инвалиды подвергаются особой форме угнетения, которое исходит от социальных институтов и «здоровых» в сочетании с ростом зависимости от специалистов социальной сферы (Oliver, 1989; Iarskaia-Smirnova, 1999). Сами инвалиды подтверждают, что у общества, включая обывателей и ученых, медиков и службы социального обеспечения, есть власть называть и определять идентичности инвалидов, формулировать и утверждать определения нормальности:

Когда мы, инвалиды, ходим в собес, мы должны надеть все самое плохое, не краситься, не наряжаться, иначе нам скажут: «Вы инвалиды? Нет, вы не инвалиды!» Или скажут: «Знаем мы ваше предприятие инвалидов, у вас там один инвалид в ларьке торгует, так он сигареты *с фильтром* курит! Тоже мне, инвалиды». У нас если человек инвалид, то он должен жить всю жизнь в нищете, не работать, жить на милостьню государства. *(Из интервью с Анной Васильевной, Саратов, 1999)*

Этот пример показывает, что институциональное и структурное угнетение инвалидов проявляется прежде всего как угнетение символическое, оперирующее устоявшимися в культуре символами и кодами. Институты реализуют свою власть, поскольку, имея монополию на символические средства, способны нормализовать понятия и ценности культуры, и именно эта монополизация становится объектом сопротивления и борьбы. Речь идет о политике интерпретации, политике символического (само)определения.

По сути дела, инвалиды — женщины и мужчины — сегодня требуют не только равных возможностей в сфере образования и занятости, но и права на самоопределение, (пере)формулирование понятия нормальности, власти называть само различие. Как указывает М. Пристли, язык — это социальный феномен, «вмонтированный в более широкие социальные процессы и отношения власти. То, как мы осваиваем и используем язык, не только отражает, но и воспроизводит наши отношения с социальным миром. Когда мы говорим о гендере, расе, классе, возрасте, сексуальности или инвалидности, мы также вносим вклад в производство этих самых социальных различий и категорий. Более того, когда мы называ-

ем себя или когда другие называют нас в рамках таких категорий, это ведь также производит нас» (Priestley, 1998, 92).

В мире растет сопротивление негативному культурному образу инвалидности в медиа и искусстве, репрезентациям инвалидности как мишени милосердия и благотворительности. Социальные движения инвалидов на Западе стремятся заполнить позитивными репрезентациями культурные пространства, ранее полные негативных стереотипов. В исследованиях, средствах массовой информации и художественной литературе делается акцент на жизненной силе и энергии инвалидов, их индивидуальных, гендерных и «расовых» отличиях, культуре и солидарности, достижениях и биографических ресурсах.

«Живой материал»: знание посредством коммуникации

Биография — это продукт социального мира, в котором исторические события влияют на «нормальный» ход индивидуальной биографии. В социологических исследованиях биографий существует немало школ и направлений, однако все теоретические представления о жизненном курсе можно рассмотреть на двух уровнях: макросоциологическая перспектива, фокусирующаяся на воздействии общества и социальных институтов на индивидуальный жизненный путь; микросоциологическая перспектива, рассматривающая те правила, которым следует индивид в течение его или ее жизни, соотнося с ними собственное «ощущение того, кто я (или кем не являюсь)» (Thomas 1999, 48). Здесь изучается так называемая биографическая социализация, рассматривается, как и почему человеку удается реализовать те или иные социальные возможности. При этом воспоминания, помогая нам осмыслить нашу жизнь, оказываются одновременно социальными конструктами и феноменами субъективного опыта.

В этой статье я буду придерживаться второй традиции и проанализирую одну биографию, отобранную из моих интервью с инвалидами в г.Саратове в течение 1999—2000 гг. Мужчины и женщины в возрасте 45—50 лет, работающие сегодня в частном бизнесе или общественных организациях, лишь изредка направлялись моими вопросами из путеводителя по биографическому интервью. В основном они рассказывали свои жизненные истории так, как обычно поступают рассказчики: руководствуясь собственными ценнос-

тями и интересами, особенно в моменты «повествования о сложных и волнующих событиях» (Riessman, 1993, 64).

Мое первое знакомство с Юрием Николаевичем Казаковым — лидером физкультурно-спортивного движения саратовских инвалидов — состоялось в спортивном обществе «Спартак». Войдя в двухэтажное здание, я услышала и увидела спортивный зал справа от входа, где команда физически здоровых людей играла в волейбол. Я нашла Казакова этажом выше, и светловолосый мужчина лет сорока, с моложавым лицом и светлым взглядом голубых глаз немедленно взял инициативу в нашем диалоге. Предоставив свое разрешение на магнитофонную запись интервью, Юрий Николаевич неожиданно попросил меня не включать аппаратуру. Он хотел беседовать и задавать вопросы, интересовавшие его. Это напомнило мне ситуацию из романа Флоринды Доннер «Шабано» (Donner, 1982): когда дети племени Янамами уничтожили полевые записи исследовательницы, ведущей включенное антропологическое наблюдение, та после пережитого шока поняла, что ее пригласили не просто изучать, но именно участвовать в другой культуре. Итак, на первой нашей встрече был проинтервьюирован не кто иной, как я. Осуществилась «мечта этнографа» (Pratt, 1986, 31), и у меня как исследователя появилась уникальная возможность понять субъекта через коммуникацию: «область интереса в социальном исследовании — это знания представителей общества, и такое знание может быть пережито только посредством коммуникации» (Lamneck, 1988, 200; цит. по Hoerning, 1996, 25).

Его вопросы касались моей научной работы: «Почему я и мои коллеги интересуемся инвалидностью? Каковы практические результаты наших исследований и насколько они эффективны?» Когда мы провели более часа, разговаривая об этом, порой споря о понятиях и не соглашаясь в подходах, я спросила, можно ли начать запись. Стараясь вести заметки на бумаге, я все же чувствовала, что теряю массу важных деталей, фактов и метафор, которые эфемерно улетучивались, не будучи зафиксированными на пленку. Юрий Николаевич отказал мне, поскольку мы еще не закончили разговаривать. На мое предположение, что он даже еще не знает о причине моего визита, Казаков ответил: «Знаю. Вы пришли за материалом, причем за живым». Мне показалось, что Ю.Н. Казаков сопротивлялся определению себя только в качестве моего информанта; скорее, он хотел, чтобы я была на его стороне, помогая в реальных проектах. С этого момента мы решили сотрудничать.

Воплощенная биография: жизненный опыт сквозь призму телесности

Несколько дней спустя мы встретились снова, и я записала историю его жизни. Юрий Николаевич был одним из тех, кто ребенком заболел полиомиелитом в начале 1950-х гг. «Время полиомиелита» в нескольких собранных мною интервью и автобиографиях, написанных самими респондентами, звучит как идентификационный маркер: *«Теперь инвалиды другие»*. Анализируя дискурс телесности биографического интервью, можно получить большие возможности для интерпретации. Придавая или не придавая значения телу, наделяя телесные изменения культурными смыслами, мы воплощаем себя в своей истории, делая это по-разному в зависимости от нашего пола, возраста, физических способностей и стиля. Хронологический порядок интервью с респондентом показывает, как важные жизненные события, становясь биографическими ресурсами, оформляли его идентичность. По этой причине и ввиду важных контекстуальных деталей я приведу здесь первый полный нарратив из расшифрованного интервью.

Казаков Юрий Николаевич, родился 15 июня 1951 года. Это как раз был год, время полиомиелита. И вот здесь нужно сказать, что родился я нормальным ребенком, но в 9 месяцев я заболел, и у меня было осложнение на ноги. Как со слов представителей старшего поколения родственников, мне прописали 60 уколов в том возрасте, был я в то время в деревне, в Сластухе Екатеринбургского района. И то ли это от того, что уколы делали, то ли это было заболевание такое, одним словом, у меня ножки, как мне рассказали, повисли как плети. Я не мог ходить абсолютно. До пяти лет был прикован к постели. В 5 лет я начал ползать и немножко вставать на цыпочки. Ходить я не мог.

Дальше, в 56 году мне была сделана операция. Делали растяжку сухожилий. Но после этого я смог вставать на стопу и передвигаться на полусогнутых ногах. Тем не менее начиная с 56 года мне пришлось постоянно носить протезы, на ночь ложился в лангетах. И это эффекта не дало.

В 62 году попал в санаторий; единственный ребенок был в этом санатории — это санаторий Министерства обороны Советского Союза, и там были только дети генералов, один ребенок был полковника — и я вот был из семьи рабочих. У меня мать была корректором в военной части, а отец был токарем на заводе «Сардизель». И вот, благодаря помощи директора завода «Сардизель», который оплатил эту путевку. Путевка стоила 3000 рублей за курс два месяца. Что такое 3000 рублей в 62 году, если автомобиль «Москвич» стоил 860 рублей, — это ясно.

Вот в этом санатории я попал под личный контроль главного врача этого санатория. К сожалению, я вот не помню фамилию ее, вот, очень симпатичная такая, евреечка, умница, и вот она... если я буду в Крыму, то я обязательно разыщу этот санаторий и узнаю ее фамилию, имя-отчество, если ее нет в живых — а ее нет, наверное, — я схожу на могилку [со слезами в голосе]... Вы меня извините, конечно, это поминание...

И вот она все-таки что сделала — она ввела особый курс реабилитации для меня. То есть перед завтраком физзарядка, после завтрака физзарядка и грязевое лечение. Но там не только со мной, там другие так же. После грязевых — опять физзарядка, после физзарядки массаж и растяжка. После обеда тихий час, меня снимали с тихого часа, опять физзарядка, потом горячее укутывание верблюжьей шерстью. То есть одеяло из верблюжьей шерсти замачивали в специальных котлах с какими-то травами и укутывали, потом физзарядка, растяжка и лежал с грузом на коленях. Вот после этого, когда я приехал из санатория, я мог прямо стоять, то есть, встав к стенке, я мог полностью выпнуть колени. Мне сказали, нужно еще 3—4 приезда, и будет почти выздоровление, и ни в коем случае нельзя останавливаться в занятиях физической культурой.

Когда я оттуда приехал в Саратов, мы пошли в Областной лечебно-физкультурный диспансер на Мичуринской. Но там не было никакого тренажерного зала. Ну что говорить — Министерство обороны, там дети высокопоставленных начальников. И конечно, здесь не было никакого тренажера, ничего, и я занимался упражнениями физической культуры. Причем занятия как проходили: вот пришел, они говорят, а какие упражнения ты... Ну а какие у вас?.. Вот: руки вверх, в стороны, и все эти упражнения. То есть специалисты этого учреждения не были готовы к... для работы с инвалидами. Далее, я принес им список упражнений, которые я делал в Евпатории. Вот после этого я стал заниматься. Опять мне нужно делать растяжку — сам-то я не буду себе делать растяжку. Мне нужно ходить по наклонной доске. Крепилась на шведскую стенку, и по мере того, как проходит тренировка, эта доска поднималась вверх, и стопа шла... То есть шла разработка стопы и шла выпяжка сухожилий. Вот здесь они [показывает] — сухожилия стопы на протяжении... вот, до тазобедренных суставов. И вот это сухожилие я чувствовал, почему я так заявляю, у меня нет медицинского образования, но по тем болям, которые я ощущал, я понимал, что оно идет от ягодицы и до стопы. Это боли, которые ощущались, они были очень сильные. Тем не менее после этого, ну что такое вот я занимаюсь, меня за руку надо было водить, я еще ребенок, с меня надо было требовать правильного выполнения этих упражнений, меня оставляли в комнате этой — и занимайся, а мы пошли, ну пойдешь, «я эти упражнения сделал», а они сидят, чай пьют. Ну, ребенку неинтересно. Я перестал ходить, все, стал дома заниматься.

И вот где-то в 87 году — я тогда уже работал инженером по ТБ в горплодоовощторге — я зашел в облсовпроф, и — друг у меня там был Нена-

шев Иван Константинович — он говорит, «там есть, пришел документ о том, что будет организовываться физкультурно-спортивный клуб Саратовской области, ты проконсультируйся». Это было в ноябре 87 года. Я зашел в облспорткомитет, ну там что-то не получилось... решил подождать. Ну, все-таки в феврале 1988 года собрание состоялось... Так я оказался на Радищева, 14, и здесь мы увидели, что нас 56 инвалидов пришло с поражениями опорно-двигательного аппарата.

Эти работники стали заниматься организацией, это Заварыкин Александр Владимирович...

Е. Я.-С.: Они были инвалиды?

Ю. К.: Нет, они работали, им дали поручение создать такой клуб.

Е. Я.-С.: Работники облсовпрофа?

Ю. К.: Они работники добровольного физкультурно-спортивного общества. Ну, финансировались все работы через облсовпроф. В 88 году первоначально мы избрали Макарова Игоря Александровича, майора в отставке. Такой солидный мужчина, ну он походил-походил, финансирования нет — бросил. Потом, значит, получилось так, что избрали меня председателем физкультурно-оздоровительного клуба инвалидов. Тогда названия не было. Ну, стали определять, с чего начнем. Навели порядок по учету инвалидов. Второе, составили план мероприятий на год, на месяц, на день, конкретно. И в конце концов начали решать основной вопрос — о финансировании клуба. Кто-то должен с нами заниматься, значит, нужна оплата инструктора. Этот вопрос нам удалось решить в 89 году. Оформились как самостоятельный клуб, получили свой расчетный счет. И придумали себе название «Волга». Потому что вот, когда называется физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов, и вот это «инвалидов» — оно режет. А когда какое-то название, уже отвлекающий такой момент. В разговоре: «Ты из какого клуба?» — «Из Волги», — и уже не говорят, «из клуба инвалидов».

Смысловое поле этого фрагмента биографии располагается вдоль нескольких осей интерпретации. Метафорические и структурные ходы противопоставляют горизонталь неподвижности, бессилия («ходить не мог», «прикован к постели», «ползать начал», «ложился в лангетах») вертикали как принципу идентификации (зарядки, растяжки, «меня снимали с тихого часа», «я мог прямо стоять»). Другое измерение не имеет связи с физическим состоянием — это роль Обобщенных и Значимых Других в конструировании образа Я респондента: от их дискурсивной слитности с рассказчиком («мне рассказали», «мы пошли») до влиятельного присутствия, производящего экзистенциальное и структурное различие в период реабилитации («дети генералов и я», «благодаря директору», «личный контроль главврача — симпатичная, умни-

ца»); от недооценки и невнимания («оставляли в комнате», «сидят, чай пьют») до социального посредничества («друг у меня там был») и признания («избрали меня председателем»).

В этой истории непосредственно за реабилитационными практиками детства, описание которых телесно насыщено (респондент показывает на свои ноги, дотрагиваясь до тех мест, о которых идет речь; рассказ наполнен переживаниями), следуют мобилизующие события в возрасте 36 лет, и в повествование вплетаются знаки коллективной идентичности, контроля и достижения. В мужских автобиографиях, говорит М. Джерджен, «дискурсивная воронка действует так, что более поздние события оказываются непременными и необходимыми. Успех в карьере служит в качестве епифании, позволяя мужчине достичь в своем повествовании статуса идеала» (Gergen, 1993, 209). Центральный акцент популярной мужской автобиографии — на том, как достичь успехов и избежать поражений, следуя идеалу культурных героев (Gergen, 1993, 194), причем идеализированная модель жизненного курса сводится к основному сценарию периода зрелости — успешной карьере, признанию в публичной сфере, что обычно представляется независимо и отдельно от телесности. Тело даже если и упоминается, то характеризуется обычно как слуга, отчужденный механизм, который нужен для эффективного выполнения планов хозяина; описание событий лишено эмоций, а редкие упоминания о теле бедны деталями, что свидетельствует о слабой «воплощенности» автора в повествовании.

С детства не обращать внимания на ушибы и ссадины, стремиться управлять своим телом и соревноваться с другими мальчишками в подростковом возрасте, заниматься атлетизмом, но затем пренебрегать своим телом ради карьеры и публичного успеха, «обесценивая потенциально важные аспекты человеческой жизни» (Gergen, 1993, 215), — все это характерно для доминантной маскулинности. Жизненный опыт «вне тела» можно объяснить в психоаналитической традиции той отдаленностью, которую мальчики чувствуют по отношению к собственной матери, интернализацией традиционной маскулинной идентичности в теории ролей, отчуждающими социальными структурами капиталистического способа производства в марксистской традиции или властью дискурсивных формаций в культурном анализе³. Однако для инвалида восприятие собственного тела и идентичность переплетены гораз-

³ См.: Edley and Wetherell, 1996.

до сильнее. Возникнув в раннем детстве (или с приобретением инвалидности), эта связь постоянно напоминает о себе, и, когда в биографии мужчины или женщины начинается период социальных достижений, отношение между «я» и телом постоянно отражается на меняющемся самоопределении, межличностных отношениях и траектории карьеры. Возможно, для мужчины-инвалида эта связь все же чуть менее значима, однако в нашем случае жизненный успех прямо связан с физическим статусом, поскольку Юрий Казаков работает в сфере спорта.

Позднее, отвечая на мои вопросы, он рассказывает о своей юности, и я узнаю некоторые подробности этого 25-летнего «перерыва» в его биографии — учеба в экономическом институте, работа и женитьба. Эпизод из его молодости — яркий штрих к описанию процесса конструирования мужской идентичности. Светловолосый и невысокий юноша выглядел моложе своих лет, и ему приходилось показывать комсомольский билет, чтобы пропустили на индийский фильм «Преданность», на который не пускали детей. В конце концов он обратился за советом к *знакомой парикмахерше*, которая подсказала отрастить бороду: «Борода оказалась пышной, черной и кудрявой. Тут, конечно, я солидно стал выглядеть. И знакомство с представителями слабого пола — тут проблем не стало» (из интервью). Примерка «маски маскулинности» здесь происходила в рамках одной из «идеологий» мужественности, которая в молодости казалась ему наиболее актуальной, а к моменту нашего знакомства Казаков уже давно не носил бороды. Каждая культура, каждый жизненный стиль общества или группы содержит свой набор идей или тем, относящихся к мужчине и маскулинности. Это настоящее «поле борьбы за то, каким же должен быть мужчина» (Edley and Wetherell, 1996, 108) — горой мускулов или романтическим кавалером, остроумным интеллектуалом или надежным экономическим ресурсом, борьбы за определение мужской и женской работы, власти и сферы ответственности.

Гибкость и сопротивление:

«Важно уметь падать, чтобы потом вставать
и двигаться дальше»

Любое другое событие в жизни моего респондента, повлиявшее на формирование его идентичности, бледнеет по сравнению с ролью

физической активности и спорта. И если в другом случае фиксироваться на теле было бы «не по-мужски», здесь, как и у всякого спортсмена, телесность занимает центральное место в биографическом нарративе. Организация публичной жизни Казакова строится на упражнениях, выработывании навыков управления, гибкости и упругости, причем эти физические навыки перетекают в социальные:

Инвалид должен уметь падать. Мы не можем падать так же, как это делает физически здоровый; инвалид должен группироваться и прикрывать голову, стараться не удариться об острые углы. Важно уметь падать, чтобы потом встать и двигаться дальше.

Здесь вновь возникает ось интерпретации — лежать—стоять, та же идея вертикали как идентификационного принципа, что и в первом нарративном фрагменте.

Опыт управления спортивным клубом и организации спортивных мероприятий играет не менее существенную роль. Казаков говорит о своих организаторских способностях, как если бы они были важнее любых других навыков выживания: «Если я сам не могу что-то сделать, это не проблема, так как я всегда могу найти и попросить человека сделать это для меня, и человек поможет, ведь и я помогал ему в чем-то другом». И хотя индивидуальная власть здесь реализуется благодаря работе социальных сетей, немаловажную роль играют качества лидера, фасилитирующие реципрокный обмен с чужими и лояльность своих.

Справиться с проблемой для него значит учить и учиться, как преодолевать трудности; Юрий Николаевич отлично понимает, что в жизни инвалидов существует множество физических, психологических и социальных препятствий, и спорт выступает для него той системой норм, посредством которой возможно восстановить справедливость:

Я знал, что в любой школе у ребенка-инвалида могут быть два или три обидчика, поэтому, работая в Саратовской детско-юношеской спортивно-оздоровительной школе инвалидов. (ДЮСОШИ) «Спартак», стремился контролировать как успеваемость своих воспитанников, так и их взаимоотношения со здоровыми детьми в общеобразовательной школе. Если из бесед с родителями либо ребенком-инвалидом выяснялось, что ему *систематически* наносятся обиды, я обязательно принимал меры. С одной стороны, давал советы ребенку-инвалиду, как избежать конфликтных ситуаций; с другой, находил тренеров из хоккейной школы, борьбы или какой-другой секции, у которых занимался ученик-

старшеклассник из школы, где обучается ребенок-инвалид, объяснял ситуацию и просил взять шефство над учеником нашей спортивной школы. Помогало.

Порой приходилось решать ситуации, когда ребенок более легкой формы инвалидности обижал ребенка с более тяжелой формой инвалидности. Самое главное было разобраться в причине конфликта, постараться примирить конфликтующие стороны. Во-первых, время тренировок: постараться их изменить. Во-вторых, применял санкции: обидчику могло грозить исключение из состава сборной области. В-третьих, более жесткая санкция — исключение из ДЮСОШИ «Спартак». *(Из автобиографии)*

Дисциплина духа и тела, нормирование социального пространства и регуляция социальных отношений соответствуют стандартной мужской роли, а связь со спортом усиливает акцент на маскулинной социализации. Современный феномен спорта возник как следствие того, что традиционные народные потехи были трансформированы в английских школах XIX в. соответственно культурным кодам высшего класса в более упорядоченные и стандартизированные «игры» (см. Parker, 1996, 127). Спортивные состязания, дисциплинирование и формирование тела считались центральными элементами мужского этоса высшего класса, причем маскулинные имиджи спорта передавали смысл упорядоченности, соревнования и доминирования (см. Parker, 1996, 128). Занятия спортом стали средством культивирования мужественности, способствуя наращиванию физической силы, воспитывая дух соперничества и превосходства. Позднее спорт, став частью консьюмеристской западной культуры, превратился в массовую практику и многомиллионную индустрию, а государственная и частная поддержка специальных спортивно-оздоровительных программ сделала его средством самоактуализации и важнейшим ресурсом идентичности многих инвалидов. Занятие спортом как процесс потребления оказалось одновременно и производством — развитием субъекта в соответствии со сложившимися стилями, социальными нормативами спортивной деятельности, а также индивидуализацией и адаптацией форм потребления, социальным самоутверждением личности (см. Ушакин, 1999б). Отметим, что в спорте инвалидов, как и в большом спорте, воспроизводятся властные иерархии и структура гендерных отношений; спорт и физическая активность инвалидов во всем мире также являются объектом консьюмеризации и ареной идеологической борьбы, но этим исследованиям еще только предстоит состояться.

Советский спорт был скорее не потребительским, а пропагандистским институтом («Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена!..»), и спортивное движение инвалидов получило поддержку в первую очередь благодаря международному общественному мнению уже на закате социализма. Вне рыночная идеологическая система советского спорта, включенная в широкую матрицу символического потребления и производства, при всех своих отличиях имела подобный логике рынка эффект в конструировании индивидуальной, коллективной и национальной идентичности в аспектах достижения, соревновательности и доминирования, а также в производстве социальной классификации и дифференциации (правда, не в экономическом аспекте, а при отборе в секции и ДЮСШ на подающих надежды vs. бесперспективных детей).

Казакову спорт кажется фасилитатором физического благополучия и разностороннего личностного развития, позитивным ресурсом для воспроизводства аттитюдов, норм и ценностей, выгодных с точки зрения нормального функционирования социума. Однако в ходе интервью всплывают детали, которые не вписываются в это функционалистское восприятие. Рассказывая об институционализации отечественного спортивного движения инвалидов, стимулированной международным общественным мнением (перед Россией было выдвинуто условие допуска к Олимпийским играм только при включении команды инвалидов в состав сборной), Казаков упоминает об эпизоде в его спортивной карьере: на соревнованиях по плаванию среди инвалидов он никак не мог успеть дойти до стартовой позиции к началу очередного заплыва, поскольку времени, отводимого на это, было явно недостаточно при его скорости передвижения на ногах. К тому же жюри решило снять инвалида со старта, опасаясь несчастного случая на воде: соревнования среди людей с нарушениями моторики тогда были еще редкостью. Критическое отношение к правилам игры, установленным неинвалидами, свидетельствует о попытках сопротивления политическим играм и коммерциализации, которые господствуют в большом спорте, но, безусловно, касаются и спорта инвалидов. В современную эпоху спорт организован как сфера массового потребления, а занятия физкультурой и фитнесом оказываются формой самовыражения через потребление услуг и товаров. И если для основной массы населения быть спортивным почти автоматически означает быть «в форме» — желаемым, молодым и здоровым, то в биографии Казакова спорт присутствует в первую очередь как средство выживания, формирования важных качеств упругости и сопротивляемости, возможнос-

ти ему самому и другим инвалидам — детям и взрослым — выйти из тени предубеждений на территорию, освещенную игрой, соревнованием, умениями и энергией.

Личное есть политическое:

«Мы все должны восстать против нашей боли»

Инвалиду, принимающему доминантные социальные определения маскулинности, трудно реализовать их на практике из-за физических и социальных запретов, ограничивающих доступ к образованию, занятости и институтам власти. Публичная деятельность, чувство принадлежности к команде, коллективу позволяет человеку пересмотреть свою идентичность: быть менее инвалидом и более мужественным, однако мужество инвалидности в рассматриваемом случае не тождественно доминантным канонам маскулинности. Здесь, скорее, артикулировано не доминирование неуязвимой силы, а *отличие*: «Я — неудобный человек». Акцент на спорте не просто влечет особую живость, драматизм, эстетическое и эмоциональное удовольствие от навыков, достижений и победы (см. Hargreaves, 1987, 134); здесь личное становится политическим.

Представляя его историю, я не хочу создать впечатление, что лишь спорт и инвалидность присутствуют в конструкции мужественности Юрия Николаевича Казакова, который с нежностью говорит о своей возлюбленной жене и дочери, с напором рассказывает о защите диплома в институте; но именно мобилизация угнетенных — центральный лейтмотив всей биографии. Он, хотя и был инвалидом с самого детства и рос в тоталитарном обществе, смог стать лидером организации, помогающей детям с инвалидностью повысить самооценку и развить возможности посредством физкультуры и спорта. С помощью этого человека спорт становился для детей и их родителей культурным и политическим актом «с целью построения идентичностей, но в то же время с целью трансформации социетальных аттитюдов и представлений, которые всегда заглушали культурные определения инвалидов» (Peters, 1999, 105). Казаков в 1993 г. сформировал в Саратове детско-юношескую спортивно-оздоровительную школу инвалидов как неправительственную организацию. Через год школа была принята на областной бюджет, а спустя пять лет руководства он — выпускник экономического института — был вынужден оставить свое творе-

ние ввиду отсутствия диплома о педагогическом образовании. Казакова заменили физически здоровой женщиной-педагогом, которая и возглавляет школу сегодня. Пережив боль от несправедливости и утраты, Юрий Николаевич, однако, не фрустрировал слишком долго, ибо для него не было сомнений, что делать дальше. Вскоре он создает физкультурно-спортивный клуб инвалидов для детей и взрослых как общественную организацию под эгидой Всероссийского спортивного общества «Спартак». Он стремится к преемственности в занятиях физкультурой у детей и взрослых, чтобы выпускники ДЮСОШИ могли прийти к нему в клуб. Казакову нравится название общества, потому что

мы все должны восстать против нашей боли и наших комплексов, против тех несчастий, которые окружают семьи детей-инвалидов, — точно так же, как Спартак, который повел рабов против угнетения. (*Из интервью*).

Маскулинная героическая символика привлекательна для конструирования идентичности лидера, хотя супермужественность и революционная поэтика популярного образа коммунистического движения относятся здесь не к классовому протесту, а, скорее, к преодолению индивидуальных и межличностных трудностей. Вместе с тем эта стратегия сопротивления носит характер коллективного действия, и ее объект — инвалидность — все в большей степени начинает осознаваться как продукт социальных противоречий, а не только как индивидуальная трагедия.

Возможность такого отношения к реальности заложена, по словам Фуко, самой властью: «Если только существуют отношения власти, значит, есть и возможность сопротивления. Мы никогда не можем быть опутаны властью: мы всегда можем модифицировать ее охват» (Foucault, 1998, 123). Сопротивление власти обстоятельств и институтов, избавление от зависимости лежит в основе социальной идентичности Ю.Н. Казакова. Идеология зависимости инвалидов от государства и общества настолько глубоко укоренена в массовом сознании, что ни у кого не вызывают сомнения модусы законодательства в отношении инвалидности. В идеологии зависимости, в частности, как указывает М. Оливер, немалую роль играют экономика, социальная политика и профессиональные аттитюды специалистов, медикалистская философия специальных школ и такая реклама благотворительности, которая с целью сбора пожертвований конструирует бесстыдно жалкие образы больных детей и инвалидов (Oliver, 1989, 9—14). В совре-

менном государстве не существует абсолютно независимых людей, и каждый из нас в той или иной мере обязан государству за доступ к образованию, медицинским услугам и пенсионному обеспечению. И хотя некоторые люди вследствие функциональных нарушений или заболеваний гораздо чаще нуждаются в посторонней помощи, большинство из них желают и могут быть автономными в принятии решений и инициативными в собственной судьбе. Эта мысль звучит в каждом фрагменте повседневного опыта Юрия Казакова. Так, будучи подростком, осваивал он двухколесный велосипед, и единственным препятствием для него было начать и окончить маршрут без опоры — забора, дерева или столба, нужных, чтобы оттолкнуться на старте и опереться в конце поездки. А все путешествие, его протяженность, траекторию и характер местности планировал и осваивал он сам.

Заключение

Метафора «мужество инвалидности» в заглавии статьи включает несколько значений. Во-первых, это социально одобряемые качества стойкости, смелости и силы, соответствующие идеалу мужчины, попавшему в весьма жесткие условия (*invalid* — лат. недействительный, не имеющий силы). Во-вторых, это реальность повседневной жизни мужчины-инвалида и те вариации ожидаемых качеств мужественности, которые оформляются в контексте уникального жизненного опыта. В-третьих, это модель социальной идентичности инвалидов — мужчин и женщин, — формирующейся в коллективном действии по преодолению индивидуальных и социальных преград.

Среди инвалидов есть люди различного пола, возраста, этнической принадлежности и гражданства, вероисповедания и интересов, представители разных профессиональных и социально-классовых страт. Все они настолько отличаются между собой, что порой имеют больше общего с теми, кто считается физически здоровыми, чем друг с другом. И все же реальность российской жизни зачастую приводит всех инвалидов «к общему знаменателю», потому что особые потребности инвалидов не учитываются в архитектурных разработках, при строительстве жилья и общественных учреждений, на транспорте, в сфере занятости, образования и рекреации (досуга, спорта, туризма). Осознание этого отличия инвалидами ведет к требованиям их права на самоопределение и

власть определения самой нормальности. Называя, давая характеристики событиям, люди с инвалидностью оформляют свою идентичность и определяют реальность своей жизни через гибкость и сопротивление.

Технологические достижения на Западе «позволяют инвалидам путешествовать, учиться и работать, и поскольку СМИ инкорпорируют их портреты и истории в статьи, рекламу, телепрограммы и фильмы, присутствие инвалидов становится более привычным и менее пугающим» (Mairs, 1996, 127). Сегодня в России возможности заниматься физкультурой и спортом для детей и взрослых с инвалидностью растут. Юрий Казаков был первым в Саратове, хотя, возможно, и не первым в стране (см. Штраус, 1999), кто доказал, что спорт может быть первым и важнейшим шагом в развитии позитивной идентичности инвалидов, поскольку трансформирует социальный, политический, культурный и экономический контексты их жизни.

Для инвалида восприятие собственного тела и идентичность переплетены сильнее, чем для стандартного мужчины. Телесность занимает центральное место в биографическом нарративе, отражаясь на меняющемся самоопределении, межличностных отношениях и траектории карьеры. Организация публичной жизни Казакова построена на качествах управления, гибкости и упругости, причем эти физические навыки перетекают в социальные. Реабилитационные практики и мобилизующие события — главные биографические ресурсы его индивидуальной власти, которая реализуется благодаря качествам лидера и работе социальных сетей. Спорт выступает для него той системой норм, посредством которой возможно восстановить социальную справедливость. Дисциплина духа и тела, нормирование социального пространства и регуляция социальных отношений соответствуют стандартной мужской роли, а связь со спортом усиливает акцент на маскулинной социализации. В биографии Казакова спорт присутствует в первую очередь как средство выживания, формирования важных качеств упругости и сопротивляемости. Спорт предоставляет возможность ему самому и другим инвалидам — детям и взрослым — выйти из тени предубеждений на территорию, освещенную игрой, соревнованием, умениями и энергией. Публичная деятельность, чувство принадлежности к команде, коллективу позволяют человеку пересмотреть свою идентичность: быть менее инвалидом и более мужественным, однако мужество инвалидности в рассматриваемом случае нетождественно доминантным канонам маскулинности. Здесь, скорее,

артикулировано *отличие*, а не доминирование неуязвимой силы, здесь личное становится политическим. «*Мы должны восстать против нашей боли*» — это стратегия непримиримости с инвалидностью, которая все в большей степени начинает осознаваться как продукт социальных противоречий, а не только как индивидуальная трагедия. Сопроотивление власти обстоятельств и институтов, избавление от зависимости формируют мужество инвалидности Ю. Н. Казакова.

Социальное определение маскулинности воспеваает силу и неуязвимость, идеальное тело и молодость, причем телесные функции воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Инвалиду трудно реализовать нормы и ценности, соответствующие этому определению, из-за физических и социальных запретов, ограничивающих доступ к образованию, занятости и институтам власти. Мужчина, сопротивляясь стигме инвалидности, все же может приобрести ожидаемый статус, которому будут соответствовать властные социальные роли, достичь признания в публичной сфере, и все же его маскулинная идентичность отличается от стереотипной. Конструкция мужественности в контексте инвалидности выходит за медикалистские рамки и распознает социальные ограничения как основу отличия, испытываемого в повседневной жизни вследствие маргинализации и социального исключения. Гендерная идентичность инвалидов в России, с одной стороны, во многом принимает форму тех ограничивающих социальных институтов, в которых оказывается мужчина или женщина, но, с другой стороны, через личностное освобождение и коллективное участие происходит трансформация негативного общественного мнения об инвалидности. Социальные изменения и самоутверждение придают форму биографиям и идентичностям инвалидов в социальных контекстах времени и пространства, пола и класса, служб и социальных сетей поддержки.

Елена Барабан

В МЕРУ УПИТАННЫЙ И В ПОЛНОМ РАСЦВЕТЕ СИЛ

В одном из мартовских выпусков *Огонька* известный кинодраматург Виктор Мережко представил своего рода интригу, разворачивающуюся вокруг внешности мужчины:

Вообще, живот для мужчины — это самое большое испытание. И самая большая проверка для женщины. Если женщина говорит: «Ой. У моего мужичка такая “подушечка”, так удобно полежать»... Я вас умоляю, это такое кокетство. Женщины на самом деле любят, чтобы живота не было, чтобы никаких жировых складок, тем более таких, когда непонятно, как «туда» заглянуть. Но женщина предпочитает оправдывать мужчину — то ли его физический недостаток, то ли страсть к употреблению пищи. (Мережко, 2000, 42)

Некая недосказанность присутствует в этом описании. Почему живот — испытание для мужчины? Да еще и самое большое? Испытание чего? Почему мужской живот — это одновременно и проверка для женщины? Что, собственно, проверяется? Почему, наконец, женщины — если они на самом деле не любят, когда мужчина полнеет — притворяются, будто им мужская полнота нравится, или, во всяком случае, оправдывают этот физический недостаток? Все эти вопросы подразумевают трактовку мужской полноты как феномена, влияющего на взаимоотношение полов и на самоидентификацию мужчин, то есть на формирование целого ряда социальных смыслов. В рамках этой статьи я хочу рассмотреть некоторые социально-культурные аспекты преломления идеала стройности среди мужчин и проблемы интериоризации стандарта мужской красоты в российском обществе. Опираясь на популярные произведения литературы, кино, изобразительного искусства, а также на материал

повседневной культуры, я хочу проследить, каким образом избыточный вес является испытанием мужественности и какую проверку он несет женщинам.

Тело и власть

Начиная с античности и до наших дней тело служит культурным текстом, в котором зашифрована информация об общественной и политической жизни. Наша диета, мода, все ритуалы, в которых наше тело участвует ежедневно, являются способом выражения культуры. По замечанию известного антрополога Мэри Дуглас, тело — это поверхность, на которой записываются основные культурные нормы, социальная иерархия и даже метафизические представления общества (Douglas, 1966, 162). Говоря иначе, форма, объем, вес и внешний вид тела не равны сами себе, но характеризуются переносным значением, прочитываясь социальным субъектом символически и метонимически, в качестве конкретных означающих социальных, исторических, политических и культурных смыслов. Историческая неустойчивость, смещение и даже взаимообратимость этих смыслов обеспечивается тем, что Жак Деррида называет *различием* (differance), разрывом между означающим и означаемым. Другой французский философ Жиль Делез охарактеризовал аналогичное явление как *скольжение* дискурса по своему референту (Делез, 1998, 15). Благодаря такому разрыву-скольжению одна и та же форма/означающее может репрезентировать совершенно разные смыслы/означаемые. Используя лексику Делеза, можно сказать, что телесные параметры в качестве социально-культурных означающих лишены «естественной глубины» и наделяются ею лишь в процессе *означивания*, то есть в процессе социализации тела: красота или уродство Тарзана заметны лишь в человеческом сообществе. Точнее, эти качества — подобно нулевой фонеме — имеют нулевое присутствие, то есть *потенциальный* смысл. Антропоцентризм, таким образом, — необходимое условие формирования индивидуального и общественного отношения к избытку веса. Как настаивает известный американский исследователь Хиллел Шварц, весы не делают вес ни более, ни менее реальным, чем он есть. Идеальной диеты не бывает, потому что акт похудения, как и желание быть стройным есть явления культуры. Их следует интерпретировать с точки зрения изменений в науке, медицине, политэкономии, религии, домоводстве и других видах

культурной практики. Наша мебель, архитектура, этикет, развлечения рассчитаны на определенный внешний облик, требуют соответствия этому облику и соответствующего отношения к весу (см. Schwartz, 1986, 4).

В общественной практике «глубина» телесных означающих задается нормативным дискурсом, установлением некоего идеала, заполняющего потенциальную «пустоту» означающих и превращающего их в данность, в само собой разумеющийся факт. Поэтому в определенный момент жизни каждого общества социально-культурное «прочтение» тела имеет тенденцию восприниматься как естественное, стабильное и даже единственно верное, основанное на объективных причинно-следственных связях. В современном обществе, например, ненависть к полному телу и следование идеалам стройности считаются естественными, обусловленными соображениями как эстетики, так и здоровья. Фетишизация стройности и патологизация полного тела реализуются с помощью медиализированной риторики популярной диетологии и фитнес-индустрии, описывающей лишний вес как «эпидемию» XX, а теперь уже и XXI в.¹

Безусловно, тот факт, что идеал красоты изменился даже по сравнению с недавним прошлым, не остается незамеченным. Повсеместно отмечается, что в предшествующие XX в. столетия (по крайней мере, в предшествующие четыреста лет) плотное крупное тело — как мужское, так и женское — считалось более привлекательным, нежели худое, и свидетельствовало о здоровье и благополучии человека². И все же сравнение идеалов прошлого с идеалами современности, как правило, не выходит за рамки констатации, а следовательно, и за рамки нормативного дискурса. Преимущество современных стандартов преподносится как модернизация жизни, как прогресс и свидетельство прогресса, и вопроса о том, чем вызвана такая модернизация и каковы ее социально-культурные последствия, не возникает.

Неуместность критики установленного идеала обеспечивается природой самого нормативного дискурса, который разворачива-

¹ Гинзбург (1999, 2—3); см. также: Гинзбург, Козупица, Котельников (1997).

² Полотна Тициана, Рубенса, Рембрандта, Ренуара, Кустодиева и многих других живописцев прошлого изображают обнаженных представителей обоих полов без стеснения выставляющими напоказ складки розовой плоти. Еще в конце XIX в. европейские и американские журналы регулярно публиковали диеты с популярным заглавием «Как стать полной» (Klein, 1996, 9), а худоба имела глубоко негативные коннотации, ассоциируясь с бедностью, лишениями, болезнями, несчастьем, безволием и старостью.

ется вокруг фиксированного способа прочтения ограниченного набора телесных означающих. Нормативный дискурс, утверждающий определенный идеал, стремится закрепить за каждой телесной формой одно значение, редуцируя отношение между ними до непосредственной каузальной связи. Именно такая редукция отношений между формой и содержанием, между означающим и означаемым, между идеалом и следованием ему позволяет установить новую форму власти, превратить тело в практический, непосредственный локус общественного контроля. Как отмечает французский антрополог и социолог Пьер Бурдьё, через повседневную практику, включающую в себя поведение за столом и утренний туалет, культура становится телом, превращается в привычное действие и сам собой разумеющийся факт, образуя сферу, плохо поддающуюся сознательным изменениям (см. Bourdieu, 1977, 94).

В данном случае контроль и власть понимаются не в терминах подавления и ограничения свободы, но в смысле выработки *естественного*, то есть *общепринятого*, отношения к телу. Согласно теории власти, разработанной французским философом Мишелем Фуко, власть не принадлежит той или иной группе людей, подавляющей другую группу, но представляет собой сеть разных видов общественной практики, обеспечивающих сохранение господства и подчинения в той или иной области человеческой деятельности. В работах «Дисциплина и наказание» и «История сексуальности» Фуко показывает, как наше тело приучается к определенным действиям и как на нем откладывается отпечаток доминирующих в данный период форм желания, методов самоидентификации, идеалов мужественности и женственности. Такая власть проявляется не посредством применения оружия, физического насилия или материального давления, но посредством взгляда, который интериоризируется до такой степени, что каждый из нас начинает следить за самим собой, контролируя собственные действия и желания (см. Foucault, 1977, 155). Коррекция этого взгляда и, соответственно, смена идеалов красоты и нормативного дискурса обеспечиваются непрерывностью и многообразием дискурсивной практики, критикой одних дискурсов и появлением других, непрерывностью исторического, экономического, культурного и политического развития общества. Таким образом, каждый нормативный дискурс о теле подвергается деконструкции в дискурсивном поле социума.

С точки зрения семиотики смену идеалов можно объяснить регрессом между означающим и означаемым, опосредованностью их связи, в результате которой происходит смещение значений и

смыслов, закрепленных за той или иной формой. При этом восприятие полного тела опосредуется половой, языковой, классовой, расовой, возрастной принадлежностью индивида, а также культурой той или иной народности, ее классовой и экономической структурой. Призыв заботиться о собственном теле становится образом действия, манерой поведения, стилем жизни, но оформляется в виде различных практик и предписаний по отношению к мужчинам и женщинам, по отношению к богатым и бедным, молодым и старым. Из этого следует, что отношение к полному телу не может быть однозначным. Оно всегда опирается на разнообразную, непоследовательную и противоречивую дискурсивную практику общества, регулируя межличностные связи и связи между полами и порождая определенный способ познания мира.

В последующих разделах я хочу проследить, во-первых, как меняется отношение к полному телу, если речь идет о принадлежности к мужскому и женскому полу, и, во-вторых, каким образом идеал стройного мужского тела регрессирует в России в зависимости от классовой принадлежности мужчины.

Женский вес — мужская невесомость, или При чем тут мужчины?

Понятно, что полные люди существовали во все времена. Однако избыточный вес стал рассматриваться как болезнь относительно недавно, а «эпидемией» полнота стала лишь в последние десятилетия. Помимо ее преходящего характера у недавно замеченной «патологии» под названием «лишний вес» есть еще одна особенность: эпидемия охватывает, как правило, женщин, а не мужчин. Именно женщинам адресованы многочисленные рекламные кампании средств похудения, именно женщин приглашают фитнес-клубы, экстрасенсы и врачи-косметологи, объединившиеся в борьбе за «идеальный» вес. Именно женщины обмениваются друг с другом «диетками» и секретами красоты, понимаемой в современную эпоху прежде всего как стройная фигура.

Обращает на себя внимание тот факт, что подобное распространение «болезни» по половому признаку считается в современном обществе *естественным*. Даже если рекомендации по коррекции веса формально адресованы смешанной аудитории, примеры в большинстве своем черпаются из жизни женщин, а не мужчин. Даже в специальной литературе, рассматривающей проблемы

лишнего веса с точки зрения культуры, а не медицины, можно встретить следующий тезис: «Как мужчина, я *не должен* быть так озабочен проблемами веса, как женщины. Женщины *обязаны* относиться к стройности как к залогоу успеха. Мужчина, *естественно*, не ощущает такого же давления, и тем не менее оно присутствует и интериоризуется» (Klein, 1996, 36. Курсив мой. — Е. Б.). Закономерен вопрос: почему мужчины не должны быть озабочены своим весом, а озабоченность женским весом естественна? Впервые этот вопрос заинтересовал меня несколько лет назад, когда, заглянув к своим знакомым молодоженам, я застала такую картину. Молодой супруг, фигура которого была далеко не идеальной, наставительно вычитывал из популярной брошюрки мерки и вес, которым должна была соответствовать его миниатюрная супруга, оказавшаяся, к несчастью, на три килограмма тяжелее своего/*его* «идеала» и, соответственно, чувствовавшая себя виноватой. В данном случае, как и в подавляющем большинстве других случаев, «лишний вес» не являлся медицинской проблемой³. Это была проблема эстетическая и социальная, тесно вплетенная в привычную сетку взаимоотношений полов.

Сомнение в естественности традиционных половых ролей было впервые подробно артикулировано теоретиками и практиками феминистического движения. До появления феминизма считалось, что взаимоотношения полов, их общественные функции регулируются исключительно различиями в природе мужчин и женщин. Томас Лакер пишет в этой связи:

Доминирующим, хотя и не универсальным, взглядом начиная с XVIII века было то, что имеются два стабильных, несопоставимых, противоположных пола и что политическая, экономическая и культурная жизнь мужчины и женщины, их половые роли каким-то образом основываются на этих «фактах». Биология — стабильное, внеисторичное, отмеченное полом тело — понимается как эпистемологическое основание для прескриптивных требований об общественном устройстве. (Laqueur, 1990, 6)

Нормативность этого взгляда выражается в современной культуре в том, что, независимо от нашей воли, «наши поступки закодированы как мужские и женские и будут функционировать как таковые в согласии с установленной системой половых и властных

³ В данной работе речь идет не об ожирении, а об избытке веса, даже если этот избыток составляет всего 5—10 кг.

отношений» (Bordo, 1993, 242). Продолжая мысль Сюзан Бордо, можно добавить, что наше отношение к телу также дифференцировано в соответствии с полом, но совсем необязательно на основе анатомических особенностей мужчин и женщин.

Отношение к телу, дифференцированное в соответствии с полом, было подвергнуто критике в рамках феминизма третьей волны. Такие представители этого направления, как Джудит Батлер (Butler, 1990), Дороти Диннерстайн (Dinnerstein, 1976), Эдриан Рич (Rich, 1977) и Нэнси Чодоров (Chodorow, 1978), рассматривают пол в меньшей степени как факт биологический, нежели как результат общественного развития, институт, порожденный и поддерживаемый культурой. Требование признать сексуально-половые различия и факт маргинализации женщин и женского в западноевропейской культуре стали ключевой теоретической посылкой для обсуждения проблем похудения и избыточного веса с учетом половых ролей в работах Ким Чернин (Chernin, 1985), Марсии Миллман (Millman, 1980), Сюзи Орбач (Orbach, 1978), которые заявили о том, что вес — проблема феминистская. Речь, конечно, идет не о нехватке полных мужчин. В Финляндии и Шотландии, например, среди людей с избыточным весом больше мужчин, чем женщин. Однако и в этих культурах мужчины не особенно тревожатся по поводу собственной полноты. Действительно, 90% всех анорексиков составляют женщины, а остальные 10% составляют мужчины, представляющие профессии, которые требуют особого ухода за своей внешностью и соблюдения строгой диеты: фотомодели, танцоры, борцы (Bordo, 1993, 53). Такое распространение анорексии подтверждает социально-культурный, а не биологический характер полноты.

Как утверждают феминистки, общество относится с гораздо большим терпением к избыточному весу у мужчин, чем у женщин. Поэтому мужчина и женщина с одинаковым количеством лишних килограммов воспринимаются по-разному. Если для женщины десять лишних килограммов представляются катастрофой, то десять лишних килограммов у мужчины становятся невидимыми, не замечаются или же воспринимаются как небольшой недостаток. В то время как женщины думают о своей фигуре ежедневно и ежечасно, и общество поощряет их озабоченность бесконечными рекламами диет, сжигателей жира, аэробики, бодибилдинга и конкурсов красоты, мужчины, обнаружив прибавку в весе, скорее отправятся в магазин за одеждой большего размера, нежели попытаются вернуться на «исходные позиции», регулярно примеряя одежду времен былой стройности.

Согласно Орбач, полнота изолирует женщину, воспринимается как нежелание нравиться мужчинам (Orbach, 1978, 5—6), делает ее ущербной. С одной стороны, женщина чувствует себя отвергнутой, а с другой — винит сама себя за общественное презрение (Orbach, 1978, 4). Действительно, выражение «прекрасная половина» раскрывает требование к женщине быть декоративной деталью, украшением, аксессуаром мужчины. Превращение внешности в главный вопрос жизни женщины требует от нее постоянной заботы о том, чтобы быть привлекательной и нравиться другим. Феминистки настаивают на том, что в современном обществе женщине приходится научиться воспринимать себя в качестве сексуального объекта и соответствовать тому образцу женственности, который предлагается в обществе с поверхности плакатов, со страниц газет и журналов и с экранов телевизоров. Прежде всего это делается для того, чтобы преуспеть на рынке брака (Orbach, 1978, 6—8). Как утверждает Джон Бергер, «мужчины действуют, а женщины воспринимаются. В то время как мужчины смотрят на женщин, женщины следят за тем, как на них смотрят. Это является определяющим фактором не только отношений между мужчинами и женщинами, но и отношения женщин к самим себе» (Berger, 1972, 47)⁴. Приученные к тому, чтобы смотреть на себя со стороны, женщины становятся легкой добычей индустрии моды и похудения, которые сначала устанавливают пропорции и внешний вид идеала и затем заставляют женщин следовать этому идеалу. По мнению известной американской феминистки Андреи Дворкин, стандарты красоты жестко определяют границы физической свободы женщины и предписывают ее отношение к собственному телу, а также виды деятельности, подобающие этому телу. В результате ни одна часть женского тела не остается нетронутой, неизменной. Это тело красится, одевается, затягивается корсетом, умащивается благовониями, подвергается депиляции и т.д. (см. Dworkin, 1974, 113—114), порождая ощущение того, что женщина никогда не бывает вполне хороша, а ее тело не принадлежит ей самой (см. Bordo, 1993, 166). Корректировка женского тела выступает как долговечный и гибкий способ общественного контроля, «универсальный для всех рас, возрастов, классов и сексуальных ориентаций» (см. Bordo, 1993, 166).

⁴ Однако, как замечает Бордо, в современном американском обществе эта оппозиция не проявляется с былой четкостью. Мужчины в обществе, управляемом образами, тоже объективируются (см. Bordo, 1993, 118).

Такое положение вещей легитимируется взглядом, который суммирует известная поговорка: «мужчина любит глазами». Основывая свою любовь на зрении, мужчина строго следит за тем, чтобы его глаза не остались без предмета обожания, то есть следит за женской фигурой. Женщинам, напротив, народная мудрость рекомендует «любить ушами». Усвоив обе рекомендации и желая быть любимыми, женщины вырабатывают весьма оригинальное отношение к еде. В известной формуле «путь к сердцу мужчины лежит через его желудок», например, еда является выражением женской любви к мужчине и в то же время удовлетворяет желание женщины любить. Если мужчины могут есть и быть любимыми (см. Bordo, 1993, 125—126), то питание женщины совсем не идеализируется. По мнению знаменитого Байрона, например, женщину никогда не должны видеть жующей или пьющей. Исключением являются салат из омаров и шампанское, единственные подобающие женщине яства (см. Schwartz, 1986, 38). В этой связи нельзя не вспомнить также идеи, настойчиво проводимые рассказчиком в некогда популярном советском романе Виля Липатова «*И это все о нем*». Евгений Столетов, главный герой романа, сравнивая жизнь с лугом, «на котором пасутся женщины и кони» (Липатов, 1984, 202), «страдал, когда видел, как ест любимая девушка» (там же, 90). В восприятии Столетова, «еда и девушка составляли одно целое», а общее описание манер Людмилы Гасиловой питаться/пасться завершается приговором: «Корова!» (там же, 90). В контексте идеологически-корректного романа глагол «пасться» становится метафорой пассивного наслаждения жизнью, бездумного и бесполезного существования. Но смысл этот снова и снова передается героем через изображение трапезы Людмилы Гасиловой, которая, по мнению рассказчика, через пять лет после замужества должна принадлежать к классу «женщин-обманщиц» (там же, 184—185), превращавшихся в «бесформенных», девяностокилограммовых мещанок, которых уже невозможно было взять на руки.

В то время как канон изображения трапезы женщины сводится к стереотипу, согласно которому удовольствие женщины состоит не в том, чтобы насытиться самой, но в том, чтобы накормить мужчину и детей, трапеза мужчины не вызывает такого же порицания. Поэтому положительные героини почти никогда не изображаются принимающими пищу из рук другого и редко изображаются за едой. Такая иконография характерна, например, для литературных произведений Гоголя, Тургенева, Достоевского, Шолохова, Иванова, Шукшина и многих других русских и совет-

ских писателей. Показательна в этом отношении и сцена трапезы Тараса Бульбы со своими сыновьями в повести Гоголя «*Тарас Бульба*». Тарас, который был «чрезвычайно тяжел и толст» (Гоголь, 1959, 42), велит своей жене, «бедной старушке» (там же, 1959, 41), чьего имени читатель так и не узнал, подать на стол. Во время мужского пира высохшей от работы жене Тараса отводится роль прислуги⁵.

Судя по фильмам, как отечественным, так и зарубежным, мужчинам предоставляется право занять самое почетное место за столом и взять «жирный кусок», а женщине (особенно замужней) — ухаживать за членами своей семьи и гостями дома. Например, мать Юрия Деточкина в комедии Эльдара Рязанова «*Берегись автомобиля*» (1966) готовит ужин своему сыну, но сама лишь смотрит, как он ест. В фильме Владимира Меньшова «*Москва слезам не верит*» (1979) Тося (подруга Кати Тихомировой) и ее свекровь постоянно накрывают на стол, но практически никогда не сидят за трапезой вместе со всеми.

Не оспаривая факта разного отношения общества к полному телу у мужчин и женщин, я, тем не менее, хочу расширить анализ, предлагаемый в рамках феминизма. Феминизм настаивает на том, что те виды деятельности, которые предписываются обществом мужчинам, являются более престижными, нежели те, которые навязываются женщинам⁶. По сути, описание разного отношения общества к избытку веса у мужчин и женщин в терминах неравноправия опирается на сравнение внешности и социальной деятельности. При этом предпочтение отдается общественной, а не частной сфере деятельности. Сомнения в том, насколько вообще правомерно сравнивать внешность и карьеру, не возникает. В следующем разделе я бы хотела рассмотреть вопрос о том, являются ли социальное *Я* мужчины, его культурное тело более свободными, чем женское *Я* и женское тело.

⁵ Парадоксальным образом такое распределение ролей за столом сопровождается представлением, что именно мужчина является «кормильцем» в семье, в то время как дети и женщины (несмотря на то что советские женщины, например, не только «держали на себе дом», но и работали наравне с мужчинами) называются «иждивенцами».

⁶ Например, в книге «*Второй пол*» Симон де Бовуар утверждает, что биологические особенности мужского и женского организма обрастают в культуре множеством стереотипов. Эти стереотипы оправдывают комплементарность женщины в обществе, которая институализируется в том, например, что женщинам отводится роль воспитательницы ребенка и хранительницы домашнего очага (см. Beauvoir, 1952).

«Чуть красивее обезьяны»

Российский психолог А. Ш. Тхостов отмечает, что поступки социального Я «определяются не рациональностью (подразумевающей свободный выбор), а более или менее четким, предписанным (а следовательно, не вполне рациональным) канонам сохранения той или иной формы самоидентификации. Эти идентификации ограничены в волеизъявлении и именно этими ограничениями и созданы» (Тхостов, 1994, 7). Применительно к теме нашего исследования, данный тезис можно продолжить, отметив, что при смене форм самоидентификации и их закреплении за мужским и женским полом само ограничение свободы индивида не исчезает. В частности, утверждение, что полнота — женская проблема и что полные мужчины не испытывают психологического давления общества, некорректно. И мужчины и женщины в современном обществе поставлены в условия жесткой конкуренции, но если женщины вынуждены соперничать друг с другом в красоте, то мужская конкуренция принимает форму успешной карьеры, ума, остроумия.

Внешний вид, и в частности стройность, мужчины в современном обществе действительно отступает на второй план. Это, однако, не означает более выгодного положения мужчины в обществе. Насколько просто добиться того, чтобы вопросы стройности действительно «отступили на второй план» в идентификации мужчины и полнота перестала быть для него психической травмой? Ведь это не случается автоматически. Судя по романам, женщины предпочитают стройных красавцев типа Андрея Болконского и Анатоля Курагина, и им требуется время, чтобы «разглядеть» полных неуклюжих великанов типа Пьера Безухова. А если быть точнее, Пьер Безухов стал «видимым» только после элиминации Болконского и Курагина. Получается, что при прочих равных толстяки проигрывают в любовной игре. Только став лучше, интереснее, известнее, богаче, чем их соперники, полные мужчины добиваются женской благосклонности. При этом эта благосклонность совсем необязательно является любовью. Например, в анекдотах о поручике Ржевском, сексуальной «партнершей» которого является Наташа Ростова, мужественность поручика подчеркивается «интеллигентным женственным» Пьером Безуховым (Тимофеев, 1999, 97). Иначе говоря, в популярной интерпретации полные мужчины *используются* женщинами, но настоящей взаимности не добиваются. Именно поэтому невозможно представить себе толстого Ромео, Дон Жуана или Казанову, и именно поэтому толстяки, че-

ресчур активно добивающиеся сексуального удовлетворения (например, князь в фильме С. Дружининой «*Принцесса цирка*», 1982, или товарищ Саахов в комедии Леонида Гайдая «*Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика*», 1971), представляются в комическом виде, а их сексуальные запросы интерпретируются как похоть, а не любовь. Общество словно надеется на сексуальную неприязнательность, душевное благородство, доброту и трудолюбие толстяков. Сами они как будто лишены права требовать, чтобы их любили такими, каковы они есть. Любовь, внимание, признание им нужно завоевать своими душевными и деловыми качествами, то есть компенсировать свой физический недостаток.

Для того чтобы обзавестись женщиной, которая его полюбит, мужчина должен научиться воспринимать себя в качестве субъекта общественной деятельности, став производителем тех благ, которые обеспечат не только его самого, но и его семью. Вполне вероятно, что мужчины тоже не прочь «восприниматься», стать эстетическим объектом и оставить деятельность в общественной сфере. Общество, однако, не поощряет такой путь. Мужчина-альфонс подвергается резкому осуждению именно потому, что он пользуется собственной привлекательностью для экономического и социального паразитирования на женщине. Наоборот, в процессе социализации мужчине приходится учиться *не* воспринимать собственную внешность как главный вопрос своего существования. Как и женщина, мужчина тоже должен следовать тому образу, который навязывается ему обществом. Если эстетические нормы ограничивают свободу женщины, то социальные, интеллектуальные, этические, а также экономические стандарты ограничивают свободу мужчины как в вопросах одежды и заботы о своей внешности, так и в выборе деятельности. Такая корректировка мужского взгляда и жизненного пути тоже является способом общественного контроля, с одной стороны, требуя, чтобы мужчина меньше обращал внимания на свою внешность, то есть провоцируя его физические недостатки, а с другой — чтобы он компенсировал недостатки своей внешности социальным положением.

Ярким примером различного социально-культурного механизма коррекции мужественности и женственности являются, на мой взгляд, герои фильма Сергея Микаэляна «*Влюблен по собственному желанию*» (1982). У бывшего спортсмена Игоря Брагина (героя Олега Янковского) с фигурой и с внешностью все было в полном порядке. Тем не менее в силу социальных требований, предъявляемых к мужскому полу, его внешних данных было явно недоста-

точно, чтобы быть полноценным мужчиной⁷. Это стало очевидно, как только красавчик Игорь, уйдя из большого спорта, стал пить и скатился по социальной лестнице до грузчика, с которым рас-плачивались «пузырьками», и затем стал заточником низкой квали-фикации. Размышляя о том, что в социальном плане он не со-стоялся и женщины в лучшем случае согласны быть его любовни-цами, Брагин говорит: «Вот и Наташка так думала, что я кандидат. И она, как все... Я это с детства слышу — стать кандидатом, сти-пендиатом, лауреатом, дипломатом... А если не получилось? Зна-чит, все? Не люди?» Точнее было бы сказать «не мужчины», по-скольку от женщин не требовалось покорения таких же «высот». Красота же заслугой мужчины не считалась. Как говорит Игорю героиня фильма Вера Силкова (актриса Евгения Глушенко), «но и ты герой не моего романа. Мне никогда не нравились красивые мужчины, тем более пьющие». Стараясь отыскать в «своем гегеме-не» положительные качества, которые помогли бы ей влюбиться в него, Вера внешность не упоминает вообще. Влюбиться в «прими-тива» и «неудачника», у которого с умом «в высшей степени про-блематично», душа — «потемки», а характер «зигзагами», стоило героине немалых усилий и потребовало от героя Янковского пере-воспитания. По контрасту с «мужской игрой», самой Vere при-шлось совершенствоваться не духовный, а физический облик. Пы-таясь влюбиться в полненькую некрасивую и совершенно несек-сапильную библиотекаршу, герой Янковского рассуждает: «Что же в ней все-таки хорошего? Ну то, что дурдом по ней плачет, это яс-

⁷ Совсем иначе обстоит дело с отношением к внешности у современных американских мужчин. Если раньше, как пишет американская исследо-вательница Сюзан Бордо, от американского мужчины требовалось, что-бы он обеспечивал женщину материально, а мышцы и мускулы ассоции-ровались с нечувствительностью, с толстокожестью, с недостатком ума и животным началом, то теперь от него также требуется, чтобы он был кра-сивым (см. Bordo, 1999, 220). С 1980-х гг., благодаря таким модельерам, как Кальвин Кляйн, Версаче, Гуччи, Аберсромби и Фитч, мужское тело эротизируется, становится объектом красоты и эстетического наслаждения (см. Bordo, 1999, 188). В настоящее время более четверти пациентов хирур-гов-косметологов составляют мужчины (см. Bordo, 1999, 217), 90% муж-чин считают, что они недостаточно мускулисты (см. Bordo, 1999, 221), а мужские журналы печатают диеты и комплексы физических упражнений, направленных прежде всего на поддержание и коррекцию веса. При срав-нении брачных объявлений американских и русских мужчин бросается в глаза акцентирование американцами своих внешних данных. Еще двад-цать лет назад (а в России и сегодня) такое внимание к своей внешности говорило не в пользу мужчины.

но. Но для начала надо все-таки за что-то зацепиться. Ножки... Как у козы рожки. Фигура... Спроси че-нибудь полегче. Мордашка... Мордашка — промокашка...» В другой момент он сочувственно отмечает: «За что же умненьких природа обижает?» Только когда Вера стала пользоваться косметикой, изменила прическу, стала лучше одеваться и похудела, герой увидел в ней «женщину», а не чокнутую отзывчивую и умную, но некрасивую общественницу. Если бы режиссер поменял пол героев, сделав героиней смазливую, но безалаберную рабочую завода, а героем — полнеющего начитанного и отзывчивого библиотекаря, корректировка половой идентичности, возможно, и не потребовалась бы⁸. В целом тот факт, что героине фильма «*Влюблен по собственному желанию*» пришлось качать пресс и делать «ножницы», чтобы понравиться герою, не свидетельствует о неравноправии полов, потому что герою Янковского, чтобы понравиться героине, пришлось поверить в себя, бросить пить, перестать ощущать себя неудачником — одним словом, найти свое место в обществе и, таким образом, стать мужчиной.

Возникает вопрос, обоснованна ли дискуссия о неравноправии полов в отношении к внешности, понимаемой как компонент половой идентичности? Ведь мужчины сталкиваются с тем, что их внешность сама по себе ценится мало. В частности, вторичность мужской внешности выражалась (и до некоторой степени выражается до сих пор) в социологии советской моды. Часто менять одежду было, с одной стороны, неприлично, а с другой стороны, недоступно. Идеологической подоплекой подхода к одежде являлось то, что забота о себе в советское время больше предполагала заботу о пресловутом «моральном облике», нежели о своей внешности. Как показывает исследование Ольги Вайнштайн, даже советская женская мода характеризовалась эстетическим парадоксом: советские модельеры главным в женской красоте считали голову и ноги, а не тело — середину фигуры и центр приложения усилий модельера (см. Vainstein, 1996, 75). Однако если женская мода все же существовала, то мужчина и мода были понятиями практически несовместными.

От мужской красоты требовалось немного. И сегодня нередко услышишь популярную в советские времена сентенцию, что «мужчина должен быть чуть красивее обезьяны». Именно таких внешних данных ему достаточно, чтобы быть любимым, желанным и

⁸ В этом случае ситуация бы напоминала начало мелодрамы «*Москва слезам не верит*», в которой две подружки-работницы ищут себе женихов прежде всего среди людей с положением, сводившимся в контексте фильма к обладанию московской пропиской.

соответствовать идеалу мужественности. Другая популярная поговорка — «лишь бы человек был хороший» — дополняет этот взгляд. Естественным следствием такого подхода к мужской внешности было почти полное отсутствие мужской моды и культивирование представления, будто «настоящие мужчины» боятся дать малейший повод для того, чтобы их заподозрили в «женском» отношении к одежде. Не случайно контрабандист-неудачник в комедии Гайдая «*Бриллиантовая рука*» (1969) Гена Козодоев (актер Андрей Миронов) представлен как отрицательный герой, как «ненастоящий мужчина», гоняющийся за элементами «красивой жизни». Он работает в доме моды и очень беспокоится о своей внешности. «Настоящий мужчина» не может придавать такое большое значение внешности, как герой Миронова, он считает некомпетентность в одежде совершенно нормальным явлением и даже гордится ею. Как выражает популярное мнение Сюзан Бордо, «настоящим мужчинам» есть чем заняться; им некогда думать о том, что надеть и как они будут выглядеть, а слишком большая забота о своей внешности «больше подходит нюням, читающим стишки, увлекающимся самоанализом и самокопанием» (Bordo, 1999, 195). Действительно, «настоящий мужчина» надевает что-нибудь, ему удобно в любой одежде, даже в вытянутых спереди и сзади спортивных штанах⁹.

Понятно, что следование установке не обращать слишком большого внимания на свою внешность приводит в обществе к

⁹ Использование спортивной одежды советскими мужчинами не по назначению весьма показательно для понимания роли внешности в половой идентификации мужчин. Спортивные штаны, как известно, приобретались большинством советских мужчин вовсе не для коррекции фигуры во время утренней пробежки и тренировок, но для поездок в поезде, командировок, прогулок во дворе и, наконец, «для дома». Не случайно они упоминаются в описании «типичного советского мужчины»: «Ничем не выделяющийся из серой массы толпы... После работы — на диван, читать газету и смотреть телевизор, пессимист, загружен мыслями, как обеспечить семью, дома ходит в вытянутых спереди и сзади спортивных трико, да и весь гардероб далеко не от Пьера Кардена, да это его и не волнует» (Цит. по: Ушакин, 1999). Для полноты картины следует отметить, что советские и постсоветские мужчины, которые могли или могут позволить себе одеваться у лучших кутюрье и даже в какой-то степени обязаны это делать по долгу службы, все же обнаруживают типичное (советское) отношение к «мужской» одежде и мужскому стилю одеваться. Например, Александр Коржаков, бывший глава Службы безопасности президента Ельцина, вспоминая перелеты с президентом, пишет: «...обычно до взлета мы все, словно по команде, переодевались в спортивные костюмы» (Коржаков, 1997, 207).

тому, что мужской пол становится «непрекрасным». Если выражение «слабый пол» образует пару с выражением «сильный пол», то у выражения «прекрасный пол» пары нет. Образуется своеобразная эстетическая лакуна, которую нужно заполнить. Заполняется она, однако, не на уровне эстетики, а на социальном уровне. Можно говорить о формировании у мужчин определенного компенсаторного механизма, который они учатся использовать с детства, привыкая меньше заботиться о своей внешности и больше думать о социальном престиже своих действий. Именно в этом заключается «испытание» мужчин. Они должны сохранить/сформировать свою идентичность вопреки недостаткам собственной внешности. В свою очередь, женщины учатся воспринимать социальное положение мужчины и его духовные качества в виде достаточной компенсации за изъяны внешности. Они учатся любить мужчин не за внешность, а за их деловые качества, и в этом состоит их «проверка», о которой говорил Виктор Мережко. Как правило, женщины, размышляя о кандидатах в мужья, прежде всего задумываются о социальном статусе мужчины, но не о его внешности. В фильме Андрея Разенкова «Тесты для настоящих мужчин» (1999) есть эпизод, в котором главный герой приводит данные социологического опроса, проведенного в России. Оказалось, что 90% молодых женщин хотят выйти замуж за богатых, уже преуспевающих или хотя бы перспективных, но таких мужчин оказалось только два процента. Однако даже в подобной ситуации женщины (так, например, поступает героиня фильма) склонны продолжить поиски спутника жизни среди имеющихся в наличии двух процентов «настоящих» мужчин, чем согласиться снизить свои требования. «Снижением» в данном случае было бы (в том числе) переключение на внешность мужчины.

Поясню на примере, как действует компенсаторный механизм, опосредующий отношение мужчины к собственному избытку веса, и почему мужчинам в русской культуре совсем необязательно бороться с лишним весом напрямую.

В популярном романе Александры Марининой «Стечение обстоятельств» (1999) описывается брак Виктора Алексеевича Гордеева, начальника Анастасии Каменской. За глаза, а иногда и в глаза, Гордеева называют Колобком из-за маленького роста и совсем немаленького веса. Колобок был толстым с детства и, соответственно, терпел насмешки одноклассников и друзей. Тем не менее, вместо того чтобы морить себя голодом, Гордеев борется с лишним весом по-мужски:

Закомплексованный, злой на весь мир, толстый, но, несмотря на это, ловкий и сильный, Витюша Гордеев после службы в армии пошел работать в милицию только потому, что это было в те времена престижно и почетно и могло хоть как-то компенсировать чувство собственной ущербности... Работая в милиции и став студентом юрфака, Витя избавился от насмешек, но продолжал страдать. (Маринина, 1999, 22)

Страдал он потому, что даже достигнутый социальный статус не позволял ему рассчитывать на взаимность стройных высоких красавиц. Эта взаимность могла быть завоевана более высоким социальным положением, которого не было, по крайней мере в тот момент, когда Колобку захотелось жениться. Поэтому он решил жениться на толстушке-дурнушке, которая «до конца своих дней» должна была быть ему благодарна за то, что он на ней женится (Маринина, 1999, 23). Второй раз мужское «я» Гордеева пострадало, когда беременность восстановила правильный обмен веществ в организме его жены, она похудела и стала привлекательной женщиной. «Гордеев, который женился на толстушке-дурнушке, имея в виду, что и она сама, и ее родители будут ему за это по гроб жизни благодарны, этот самый Гордеев... оказался мужем чуть ли не красавицы» (Маринина, 1999, 24). Еще один «сокрушительный удар» нанес Виктору Алексеевичу его тесть, став всемирно известным кардиологом и депутатом российского парламента. И Гордееву пришлось «соответствовать». Это вовсе не означает, что Виктор Алексеевич принялся изнурять себя диетами и посещать спортзалы. Колобок вновь запустил «компенсаторный» механизм, форсировав свое продвижение по служебной лестнице. Заняв кресло начальника отдела уголовного розыска в МУРе, он снова словно уменьшился в размерах. Его должность удачно «скрыла» его шарообразность, по крайней мере настолько, насколько это требовалось для сохранения его мужского достоинства. И так, одна и та же проблема — избыточный вес — разрешилась для супругов Гордеевых в соответствии с принятой в обществе практикой: женщина похудела, а мужчина скрыл свою полноту своим положением.

Подведу предварительный итог. «Неравенство» полов, о котором говорят феминистки, в отношении избыточного веса заключается в том, что женская полнота практически не компенсируется социальным положением женщины и лишь в малой степени — ее душевными качествами, тогда как мужчины вполне могут обойтись без диеты и тренировок, если сумеют продвинуться по общественной лестнице. В этом смысле полнота действительно являет-

ся женской проблемой. Тем не менее мужчинам тоже приходится бороться с лишним весом, но другими средствами — компенсируя его своими деловыми и душевными качествами. Определить, какой из способов коррекции внешности/половой идентификации справедливее, не так просто. И здесь, мне кажется, важно понимать, что, добиваясь «справедливости», то есть изменения механизма формирования женской половой идентичности, феминистки упускают из виду сложность формирования «мужского» отношения к внешности и социальному престижу.

Выше я попыталась продемонстрировать, что для формирования половой идентичности мужчин внешность играет роль препятствия, которое необходимо преодолеть. Кроме того, если значение лишнего веса у женщин (в силу закрепления жизнедеятельности женщины за частной сферой) более-менее стабильно, то значение лишних килограммов на теле мужчины варьируется. Поэтому зачастую для «прочтения» женской полноты достаточно *микро*-контекста, а для интерпретации мужской полноты нужен *макро*-контекст, то есть необходимо рассматривать жизненный стиль мужчины как систему. Другими словами, полнота служит интенсификатором *социальных* качеств мужчины. Например, когда в комедии Александра Серого «*Джентльмены удачи*» (1972) Евгений Леонов предстает в облике воспитателя детсада, его полнота усиливает впечатление его доброты и человечности. Когда же он играет бандита, кажется, что полнота лишь подчеркивает преступность этого персонажа. Точно так же, избыточный вес у мужчины может восприниматься как знак его могущества или пассивности, становиться «видимым» или «невидимым», положительным или отрицательным в зависимости от положения мужчины в обществе. В этом смысле лишний вес у мужчин является социальной и даже классовой проблемой, которая по-разному проявляется в различных культурах в силу их разной социальной организации. В следующих разделах я остановлюсь на проблеме статусной дифференциации мужчин с избыточным весом в Советском Союзе¹⁰.

Советский человек

Любая революция приводит к болезненному столкновению идеалов, в результате чего эти идеалы могут трансформироваться, порождая

¹⁰ Во многом советские модели продолжают действовать и в постсоветское время.

результат, весьма отличный от ожидаемого. Как уже отмечалось, на теле «записываются» отношения, которые складываются между субъектами идентификации и теми идеалами/объектами, с которыми эти субъекты пытаются идентифицировать себя. Однако эти отношения далеко не всегда являются бесконфликтными и однолинейными. В советском обществе они, например, демонстрировали регресс-разрыв, различие. Мужчина, возникший в итоге послереволюционного процесса формирования советского человека, вовсе не был живой копией своего идеала, а представлял собой результат его регресса. Прежде чем описать регресс идеала советского человека и отношение к толстякам, которое в результате сложилось в советском (и в большой мере в постсоветском) обществе, необходимо кратко обрисовать сам идеал.

Мужское тело советской эпохи было призвано символизировать физическое и моральное превосходство человека «новой исторической формации». В работе «*Литература и революция*», например, Троцкий описывает человека коммунистического общества необыкновенно сильным, мудрым и гибким. Его тело должно было быть более гармоничным, его движения — более ритмичными, его голос — более музыкальным (см. Trotsky, 1960). Именно таким человек будущего изображался на советских плакатах, в скульптуре, литературе и фильмах. Это был также человек-воин, внешний вид которого должен был свидетельствовать о стойкости, силе, храбрости и чья физическая пригодность измерялась нормами ГТО, то есть готовностью к *труду и обороне*. Само становление нового человека и нового общества преподносилось как крупномасштабная военная операция. А поскольку «в жизни всегда есть место подвигу», от советского мужчины требовалось сочетание «стального тела» и «стальных нервов», которого можно было достичь занятиями спортом и физкультурой, дополненными идеологическим воспитанием в духе марксизма. Для советского времени характерна следующая программа физического развития человека:

В условиях развитого социализма физическая культура должна всемерно способствовать росту экономического и оборонного потенциала страны, удовлетворению духовных потребностей советских людей, быть действенным средством всестороннего гармоничного развития личности, формирования активной жизненной позиции. (Из Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем подъеме массовости физической культуры и спорта» от 11 сентября 1981 г.)

Стремление не только к физическому, но и к моральному совершенству в советском идеале сродни заботе о себе в Древней

Греции и Рима. Как известно, Олимпийское движение — движение к идеальной красоте, ловкости и духу, к реализации на практике древнеримского лозунга «В здоровом теле — здоровый дух» — вдохновлялось античными образцами, которые также стали ключевыми в развитии советского физкультурного движения и спорта. В третьем томе «*Истории сексуальности*» Фуко описывает заботу древних о себе следующим образом:

Мораль пола... понуждает индивидуума подчиниться некоему искусству жить, устанавливающему эстетические и этические критерии существования... Благодаря упражнению воздержания и господства, составившим норму *askesis*, роль самопознания возрастает: потребность испытать себя, проверить, проконтролировать с помощью целого ряда конкретных упражнений превращает вопрос об истинности — истинности того, что ты есть, что делаешь и что способен сделать — в центральный момент становления морального субъекта. (Фуко, 1999, 76—77)

Стремление древних дисциплинировать дух посредством физических упражнений, а также приверженность идеалам аскетизма своеобразным образом преломлялось в официальных программах советского общества¹¹.

Идеал советского человека — стройного и сильного представителя победившего пролетариата — предопределял и образ его классового врага. Идя от противного, советские художники-карикатуристы, советские писатели и режиссеры стали изображать классовых врагов пролетариата толстыми уродами. Таковы, например, три *толстяка* в одноименной повести Ю. Олеши и Мистер Твистер, персонаж стихотворения С. Маршака. В советской политической карикатуре капиталисты тоже всегда изображались толстыми. Большой живот, короткие ножки, двойной или тройной подбородок, обжорство и злоба стали постоянными атрибутами этих персонажей¹². Кроме того, иконография «зажравшихся буржуев» послужила

¹¹ Часто говорится, что сейчас западное общество характеризуется отношением к телу, типичным в классический период (см., например, Bordo, 1999, 221). С моей точки зрения, это сравнение спорно, поскольку из классических канонov красоты американское общество берет только внешнюю красоту, пустую телесность, лишенную внутренней перспективы, в то время как дисциплина тела в Древней Греции прежде всего была направлена на гармоничное развитие: «Для того, чтобы душа не поддалась плоти и сохранила безраздельную власть над собой, требовалось и ее самое исправлять, и тело совершенствовать» (Фуко, 1999, 65).

¹² Избыточный вес был основой маргинализации и в немецких карикатурах времен фашизма, на которых евреи часто изображались толстыми уродами, карликами, женоподобными существами, импотентами (см. Mosse, 1996).

ла основой критики советских граждан, зараженных бациллой *вещизма*, болезни, привнесенной, как считалось, с Запада. В карикатурах 1960—1980-х годов они изображались полными и жадными¹³. Одним словом, советский идеал человека предполагал классовую трактовку избыточного веса. Официальная советская культура закрепляла полноту за внешними и внутренними врагами социализма, за капиталистическими акулами, их приспешниками «дома», а также за подверженными западному влиянию «заблудшими» потребителями.

Парадокс в том, что (по крайней мере в последние десятилетия XX в.) как раз правящий класс ведущих капиталистических стран отличается стройностью, мускулистостью и подтянутостью. Как показывают современные исследования, власть буржуазии в Америке ассоциируется также с властью над собственным телом, в умении его дисциплинировать, а лишний вес характерен для бедных слоев населения¹⁴. В действительности как раз руководители Советской державы гораздо больше походили на буржуев с карикатур советской эпохи, но их полнота подвергалась ретушированию и умолчанию в официальном искусстве.

Причина такого умолчания очевидна: советская действительность не соответствовала тем социалистическим идеалам, которым должно было следовать общество. В идеале пролетарий, наделенный властью, должен был быть красивым и стройным. Так же как в античности, политическая и экономическая власть должна была сочетаться с властью над собственным телом. На практике же пролетарий властью не обладал, а реальные хозяева страны были далеки от установленных для советского человека стандартов красоты. Взяв любую книгу мемуаров о представителях советской и постсоветской власти (как правило, все они содержат фотографии), мож-

¹³ Если верить карикатурам *Крокодила*, например, в основном вещизмом были поражены женщины, а не мужчины. Именно толстухи средних лет, увешанные безвкусными драгоценностями и хвастливо демонстрирующие ковры, хрусталь, импортную аппаратуру и мебель, стали лейтмотивным образом в критике вещизма.

¹⁴ Полнота в Америке носит четко выраженный классовый и расовый характер. Буржуазия ассоциируется с властью, в том числе и с властью над собственным телом, желаниями и апетитом, а полнота не просто символизирует неспособность управлять собой, но также угрожает переходом из более престижного в менее престижный класс (см. Kirpnis, 1998, 208). Полное тело не просто непривлекательно, оно говорит о профессиональной непригодности и гражданской безответственности человека, о его лени, глупости, безволии и даже о наличии у него психических отклонений (см. Klein, 1996, 46; Bordo, 1993, 207).

но определить образ, типичный для власть имущих в России. В этой связи уместно процитировать описание сна в президентском самолете Ельцина. Коржаков, бывший глава СБ президента, пишет:

С моим ростом и комплекцией почти невозможно отдохнуть в кресле. Сергей Медведев, пресс-секретарь президента, хоть и длинный, а виртуозно складывался на сиденье. Остальные тоже за считанные минуты засыпали в смешных позах, только животы двигались да щеки, словно жабры, раздувались. (Коржаков, 1997, 209)

Каким образом и почему большевистский эскиз нового человека пригодился лишь для официального искусства, но не сработал в действительности? Почему полнота, которая должна была иметь сугубо отрицательное значение и закрепляться за врагами рабочего класса, на деле стала знаком власти в стране победившего пролетариата? Для того чтобы ответить на этот вопрос, я хочу более детально рассмотреть само содержание социалистического идеала человека и его отношение к дискурсивной практике российского общества.

Кризис идеала

Как было отмечено в предыдущем разделе, существует сходство между античной и советской трактовкой заботы о теле. Однако более подробное сопоставление античного идеала мужественности с советским идеалом обнаруживает и кардинальную разницу между ними. Суть различий сводится к проблеме классовой закреплённости идеала.

Как известно, гармоничное развитие личности, о котором говорится в античных источниках, по своей сути ограничивалось формированием элиты. Именно господствующим классам, в руках которых сосредотачивались материальные средства и власть, было доступно сбалансированное духовное и физическое развитие. Напротив, советский идеал был рассчитан на становление альтернативного отношения между властью и большинством. В отличие от индивидуализма античных программ, советские программы были пронизаны коллективизмом¹⁵. Как говорил Л. Брежнев, «являясь

¹⁵ Такой же коллективизм был присущ и нацистскому идеалу мужчины, который, так же как и советский идеал, опирался на античные образцы. В книге *«Образ мужчины»* Георг Мосс упоминает факт использования скульптур, созданных любимым скульптором Гитлера Арно Брекером, изображающих «истинных арийцев», для украшения стадиона в ГДР (Mosse, 1996, 130—131).

неотъемлемой составной частью всего социального процесса, физическая культура оказывает огромное влияние на гармоничное развитие людей, способствует расцвету культуры всех наций и народностей» (Брежнев, 1982, 517). В том же духе написаны и остальные партийные выступления по вопросу развития физической культуры в СССР. В уже цитировавшемся мной постановлении, например, интересы большинства определяют суть индивидуальной заботы о себе:

Регулярные занятия физкультурой и спортом оказывают эффективное влияние на производственные показатели трудовых коллективов, способствуют уменьшению потерь рабочего времени, укреплению трудовой дисциплины и сохранению текучести кадров. (Постановление, 1981, 343)

В своей основе такая ориентация опирается на декларируемую власть большинства в обществе. Пролетариат, традиционно неимущий класс, в идеале должен был стать большинством и объявлялся господствующим. Таким образом, в отличие от элитарной практики несоциалистического общества, в СССР должно было сочетаться сразу несколько условий: *власть, красота, большинство*.

По своей сути советская революционная эстетика эпохи зарождения государства представляла собой политически и идеологически радикальный модернизм. Существенной особенностью «активной» модернизации общества было установление новых отношений между современным (передовым) идеалом и действительностью, отказ от пассивного отражения мира и ориентация на его изменение¹⁶. Парадокс советского модернизма заключался в том, что, в то время как марксистско-ленинская эстетика требовала от нового искусства создания художественных произведений, *отражающих* (идеальный и идеологически корректный) мир, сам марксистско-ленинский проект был нацелен на *преобразование* мира, на *разрыв* связи между существующими дискурсами. В эпистемологическом плане этот проект представлял собой отказ от существующих дискурсивных режимов, что вело к разнообразным практическим трудностям.

Не будучи в состоянии ограничить спектр запросов советских людей и служить в качестве работающей поведенческой модели, идеал советского человека рассыпался, по-разному интегрируясь в сферу официальной и популярной культуры. Спустя несколько

¹⁶ Подробнее об этом см. в книге Бориса Гройса (Groys, 1992).

десятилетий существования советской власти советский человек коммунистического идеала остался лишь мифической реальностью, человеком советского плаката, скульптуры, фильмов. На практике же незнакомый идеал был переведен на язык знакомых образов и метафор, вписываясь в привычную сетку социальных смыслов.

Проанализируем две основные причины регресса классового идеала стройности в Советском Союзе. Во-первых, предлагаемый идеал не соответствовал традиционному в русской культуре значению избыточного веса в том виде, в котором оно закрепилось в русском языке и литературе, а во-вторых, он не соответствовал тем экономическим, политическим и социальным условиям, которые сложились в ходе революционного преобразования общества.

Ненависть к полному телу, заложенная идеалом советского человека, не соответствовала традиционно положительному взгляду на полное тело в русской культуре. Если эвфемизмы для термина «ожирение» в Америке истощились и слово «жир» стало в XX в. ругательным (Schwartz, 1986, 89), то в русской культуре эвфемизмы изобилуют до сих пор, свидетельствуя о сложной системе социальной корректировки отношения к лишнему весу. Слово «живот», например, обозначающее, пожалуй, самую проблемную часть тела каждого, кто стремится к стройности, изначально означало «жизнь», и именно это значение сохранилось в выражении «не на живот, а на смерть». Семантический анализ слов «вес», «полный», «жирный», «раздобреть», «прохудиться» и ряда других слов подтверждает положительную трактовку полноты в русском языке¹⁷. В

¹⁷ Существительное «вес» в таких выражениях, как «человек с большим весом» или «придать чему-то вес», имеет положительное значение авторитета и влияния. Прилагательное «жирный», несущее крайне негативную семантику при описании человека, имеет позитивное значение «насыщенности полезными веществами» в описании вещества. Таким, по Ожегову, является «жирный чернозем» или «жирный уголь». В повседневной жизни описание молочных продуктов как жирных синонимично их описанию как качественных, хороших продуктов. Позитивное значение имеет также слово «жирно» в таком выражении, как «жирно будет». Прилагательное «полный» характеризуется семантикой завершенности, цельности, достатка, предела, например, в таких словосочетаниях, как «театр полон», «полон любви», «полное собрание сочинений». Кроме того, русскому языку присуща нерасчлененность телесного и экономического смысла ряда слов. Так, «добро» означает богатство, имущество. Глагол «раздобреть» опирается на семантику слов «добро» и «добрый». Этимология глагола «поправиться» также обнаруживает положительную семантику, а слова «прохудиться», «худой» в значении «глухой», напротив, вскрывают негативное отношение к худобе.

выражении «в полном расцвете сил» слово «полный» означает «достигающий предела, наивысший» (см. Ожегов). Если Мальшу, герою мультфильма Бориса Степанцева «*Мальчи и Карлсон*» (1968), не удалось узнать, в каком именно «возрасте бывает этот расцвет сил», то, во всяком случае, он увидел, как расцвет сил отражается на теле мужчины. В литературной классике XIX в. полнота также имела позитивное значение¹⁸. Так, при сопоставлении распределения полноты в гоголевских «*Вечерах на хуторе близ Диканьки*» и в «*Петербургских повестях*» обнаруживается, что полные дюжие казаки изображались как «настоящие мужчины», в то время как худые персонажи ассоциировались со слабостью, колдовством, болезнями и злом. Таким образом, социалистический идеал человека инверсировал социально-культурные смыслы дореволюционного периода, поскольку власть и сила традиционно ассоциировались с достатком, потреблением и полнотой.

Кроме лингвокультурного разрыва дискурсивного поля идеал, сочетавший в себе власть большинства и стройность, не соответствовал практике социального строительства в постреволюционной России. Поскольку формирование физического облика предполагает и одновременное формирование условий власти, которые должны придать смысл этому облику, перед социалистическим обществом стояла задача обеспечить доступ к власти и потреблению для большинства и обеспечить классовую однородность этого большинства.

Красивый рабочий, наделенный властью (в том числе и властью потреблять), должен был демонстрировать свою духовную зрелость, придерживаясь идеалов аскетизма. Однако повседневная коррекция идеала мужчины (включая его внешний облик) находится в тесной связи с экономическим устройством общества. Экономические предпосылки закрепления полноты за властью имущими создаются дефицитом, нехваткой продуктов питания. Именно такие предпосылки характеризовали общество, где, по остроумному выражению Андрея Белого, победа материалистической философии ознаменовалась исчезновением всей материи. Ставшая крылатой строка Маяковского из поэмы «*Владимир Ильич Ленин*» «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний прихо-

¹⁸ При этом немаловажным является тот факт, что классика XIX в. была более популярна в Советском Союзе, чем произведения советских писателей и, следовательно, взгляд на полное тело, как мужское, так и женское, типичный для XIX в., сыграл большую роль в русской культуре XX столетия.



Виктор Дени. Или смерть капиталу, или смерть под пятой капитала! 1919

дит, буржуй» по прошествии нескольких десятков лет со времени первой публикации потеряла свою победоносность: несоответствие между аскетической картофельно-кильковой диетой представителя самого передового в мире общества и сказочными яствами буржуа никак не уменьшалось. Привлекательными оставались продукты невиданные и недоступные для большинства жителей страны. Н. С. Хрущев, описывая заседания Политбюро в 30-е гг., вспоминал, например, что во время перерывов все бежали в «обжорку», то есть в буфет, где подавались кушанья, которые даже руководителям страны не всегда были доступны дома (Хрущев, 1999).

И тем не менее большинству населения, отоваривавшему карточки, не снились даже «перерывы в обжорке». Ограничение доступа к потреблению продуктов порождало иерархию, выделение на практике тех, кто обладал реальной властью. Как пишет американский исследователь советской элиты Фармер, «элиту составляют те, кто обладает максимумом того, чем можно обладать (в данном обществе)» (Farmer, 1992, 1). Постулат равенства и равного распределения ресурсов, принятый в советском обществе, вступал в противоречие с процессом выделения номенклатурной элиты, которая нарушала принцип «справедливого» социалистического распределения. Характеризуя номенклатуру как класс эксплуататоров, Татьяна Заславская, например, отмечала, что номенклатура обладала почти неограниченной властью пользоваться средствами производства, управлять общественным трудом и оказывалась отделенной от остального населения стеной пайков и источников

богатства (см. Заславская, 1988, 3). Таким образом, тезис марксистско-ленинской теории о гегемонии пролетариата стал неадекватен в силу отчуждения власти от рабочих и крестьян и формирования класса номенклатурной элиты.

Полнота власти

К началу 1970-х гг. несоответствие официально пропагандируемых образов мужественности и популярных представлений о том, что значит «преуспеть», то есть состояться как мужчина, привело к семантической трансформации и внешнего облика «советского человека». В условиях дефицита умение «достать» потребительские товары и продукты свидетельствовало о положении человека, его связях и предприимчивости, а само потребление подтверждалось в том числе и полнотой. В то время как мужественность и стройность закрепляются за официальной иконографией государства рабочих и крестьян (см., например, работы Дейнеки или Шадра), «раздобревшие» тела партократов и бюрократов становятся знаком удачливости и власти.

В советском обществе связь лишнего веса у мужчин и занимаемой ими должностью была гораздо более тесной, чем может показаться на первый взгляд. Это объяснялось своеобразной советской политэкономией тела. Привычное к бесчисленным уплотнениям



Александр Дейнека. Колхозник, будь физкультурником! 1930



«Производственное совещание на пляже» (фото А.Коржакова)

и необходимости делить домашнее пространство со многими другими, делить кабинет с коллегами, каждое утро сражаться за площадь, занимаемую своим телом в советском общественном транспорте, тело советского человека приходилось «держат в рамках», не столько навязанными соображениями красоты и здоровья, сколько суровой жизненной необходимостью. Напротив, продвигаясь по служебной лестнице, человек получал возможность укрупняться. Личная машина, а также служебная «Волга» спасала тело руководителя от необходимости пользоваться общественным транспортом, а вместе с этим от общественного порицания, которое, как правило, принимало форму нелестных выражений, таких как «разожрался и теперь весь проход занимает», «ну что ты прешь, как трактор», «толстый, как кабан» и т.д. Руководители также освобождались от необходимости стоять в очередях. Более того, им не приходилось больше подробно рассчитывать дневной или недельный рацион потребления пищи в соответствии с зарплатой. Чем выше была ступенька, которую занимал советский мужчина на служебной лестнице, тем просторнее становились его кабинет и квартира. Незначительное лицо, превращаясь в «значительное лицо», приглашалось к росту габаритами своего кабинета

та, машины и жилища. Тело, привыкшее к тесноте, вдруг начинало распрямляться, расширяться — одним словом, расти. Понятно, что к классу руководителей причислялись в первую очередь мужчины, и именно им, а не их женам, прощалась полнота.

Кроме того, мужчины «растущие» были более привлекательными. Можно сказать, что мужественность советского мужчины в какой-то мере определялась его должностью. Пример классовой коррекции стандартов мужской красоты представлен, на мой взгляд, в известном фильме Эльдара Рязанова «Служебный роман» (1977). Показательно противопоставление сугубого очкарика Анатолия Ефремовича Новосельцева (Андрея Мягкова) в коротковатых брюках, обнажающих носки не по цвету, и самоуверенного, уже начавшего «расти» Юрия Григорьевича Самохвалова (Олега Басилашвили). Бывшие однокурсники и, по всей видимости, одноклассники выглядят и ведут себя совершенно по-разному, но в соответствии с достигнутым социальным положением. Например, пока заикающийся Новосельцев восхищенно рассматривает «Волгу» бывшего однокурсника и справляется о невиданной им ранее импортной аппаратуре, заместитель начальника статистического управления Юра Самохвалов покровительственно приглашает: «Садись-садись, мальчишка». Действительно, хрупкий Новосельцев, живущий «на одну зарплату», словно не достиг мужской зрелости. Дополняет картину то, что от Новосельцева ушла жена. Другое дело — в меру упитанный герой Басилашвили, «красивый» и сотканный «из одних достоинств»; он, по описанию Оли Ръжовой, явно пользуется успехом у женщин.

Более яркий пример того, что полнота советских номенклатурных работников и бюрократов не мешала им чувствовать себя завидными женихами, — товарищ Саахов (актер Владимир Этуш) из комедии Гайдая «Кавказская пленница». Саахов, конечно, не смог поведи прекрасную Нину в ЗАГС и отправился к прокурору, но сам факт его матримониальных запросов весьма показателен¹⁹. Если Шурику удалось дискредитировать «лучшего жениха района», то другому герою — пылкому любовнику из повести Фазиля Искандера «О, Марат» — оказалось не под силу соперничать с полным, уродливым, но очень могущественным Лаврентием Бе-

¹⁹ Отчасти непритязательность советских женщин к внешнему облику мужчин объяснялась демографическими особенностями советского общества. Как говорила директор клуба знакомств в фильме «Москва слезам не верит» (актриса Лия Ахеджакова), на пять незамужних сорокалетних женщин приходится один холостой мужчина.

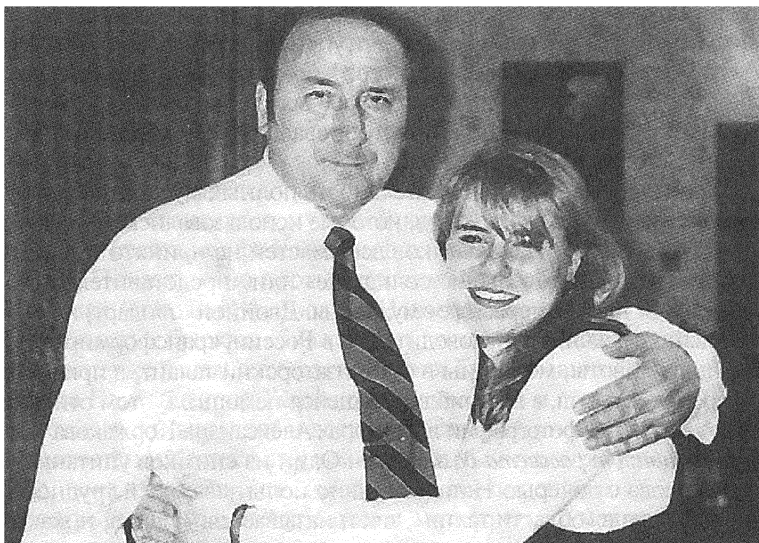
рией, покровителем красавицы, в которую влюбился Марат. Комизм ситуации построен на том, что при виде Берии и при мысли о его могуществе скромный фотограф Марат лишается своей мужской силы и становится на некоторое время импотентом: полнота власти таким образом демонстрировала свое поражающее воздействие на мужчин *без положения*.

Лингвистически привлекательность полных мужчин находила выражение в ряде эфемизмов, которые использовались в описаниях таких мужчин. Начальников всех мастей не принято называть толстяками. Все это были «солидные» или «представительные», «крупные» или «интересные» мужчины. Двойной стандарт, применяемый к мужчинам-руководителям в России, трансформирует их седины, животы, морщины в организаторский талант, в признаки мудрости и опыта, а не приближающейся немощи. В этом отношении интересны фотографии в мемуарах Александра Коржакова «*Борис Ельцин: от рассвета до заката*». Один из снимков упитанного Коржакова с дочерью Натальей, явно испытывающей трудности обнять отца в «области талии», так и называется: «Папка, никакой ты не толстый».

Современная поп-культура России изобилует примерами того, что полноватые или попросту тучные мужчины «с положением» все так же чувствуют себя «завидными женихами». С этой точки зрения в современных конкурсах красоты интересно не мнимое сексуальное раскрепощение женщин в виде скелетоподобных нагих красавиц, а расширенная композиция, включающая также жюри, в котором, как правило, сидят полнеющие мужчины средних лет. Такая же композиция типична и для многих появлений лидера ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского, часто предстającego неглиже в окружении фотомоделей.

Материал советской (и постсоветской) культуры опровергает, таким образом, тезис американского исследователя В. Одена о том, что «ни в одной культуре... полный мужчина не считался более привлекательным, чем худой» (Auden, 1968, 195—196). Лишний вес перестает быть проблемой для мужчин, когда они добиваются успехов в общественной сфере.

Неправ Оден и в том, что сходство полного мужчины одновременно с малышом и беременной женщиной неизменно вызывает отрицательную оценку (см. Auden, 1968, 85). Советское общество (так же, как теперь российское общество) в своем отношении к избыточному весу всегда делало поправку на возраст и социальное положение. Как гласит расхожая советская поговорка, «человек с



«Папка, никакой ты не толстый» (фото И. Коржаковой)

положением — человек с отложением». Своеобразным продолжением этой ассоциации является сравнение мужчины «с положением» с женщиной «в положении». Интересно в этом смысле распределение ролей между мужчинами и женщинами. Если женская беременность описывается эвфемизмом «в положении», то выражение «с положением» почти исключительно употребляется по отношению к мужчинам, которые составляли подавляющее большинство советских руководителей. По словам Фармера, «путь к вершинам политической власти в Советском Союзе начинался с того, что человек появлялся на свет мальчиком» (Farmer, 1992, 87). Мужская «беременность» не только не подвергалась дискриминации, но даже приветствовалась. Мужчины-руководители становились «отцами» тех общественных институтов, которыми они руководили, — заводов, фабрик, наций и т.д. Такая риторика как нельзя лучше подходила к полным руководителям периода геронтократии, тучность которых ассоциировалась с возрастом и мудростью, со стабильностью и освобождением от личных желаний, с переключением интересов с дел личных на дела общественные.

В то время как избыток веса у мужчин «с положением» говорит об альтруизме, умении жить и состоятельности, полнота мужчин

без должности и без положения бросается в глаза и теряет привлекательность. То же самое происходит, если оценку выносит женщина, занимающая высокое общественное положение. Приведу пример. Героиня Ирины Муравьевой в мелодраме Меньшова «*Москва слезам не верит*» (1979), приезжая на дачу к своей подруге Тосе, критично рассматривает живот Тосиного мужа. В другой сцене, однако, она не замечает избытка веса у генерала, забирающего свой костюм из химчистки. В то же время ее подруга Катерина Тихомирова (актриса Вера Алентова), заняв должность директора большого комбината и став депутатом Моссовета, стала более критично относиться ко всем мужчинам. Тося рекомендует Кате выйти замуж, тем не менее понимая, что подходящего для ее подруги мужчину найти трудно, поскольку «мужики ведь не любят, когда баба выше их стоит». На это Катя отвечает: «Да где они, мужики-то? Повыродились все к черту. Ты посмотри, кто сейчас в театр ходит, на выставки? Одни же бабы. А эти лежат на тахте и в телевизор глаза пялят или по пивнушкам сидят. Сорока еще нет, а животы отрастили...» Живот в данном случае является знаком пассивности, безынициативности, бескультурия, а также отсутствия мужественности. При этом в оценке мужчин, равных или стоящих ниже на социальной лестнице, полнота не «регушируется» эвфемизмами. Если следовать языку Мережко, то женщины, которые сами добиваются всего в жизни, не проходят «проверку» мужской полнотой. Особенно если мужчины с избыточным весом не заняли достаточно высокого социального положения.

Заключение

Вышеизложенный анализ показал, что в современном обществе как женщинам, так и мужчинам приходится бороться с лишним весом. Сложность формирования «мужского» отношения к внешности — испытания мужчины — состоит в том, что от мужчины требуется научиться не обращать внимания на свою внешность и компенсировать ее недостатки своими деловыми и душевными качествами, а также своим социальным положением.

В отличие от женского, избыточный вес у мужчин обладает большей смысловой амбивалентностью. Невозможно определить жизненный стиль, опираясь только на внешние данные мужского тела. Полнота наделяется смыслом, попадая в ряд других символов, которые в данной культуре определяются структурой обще-

ства. Большая контекстная обусловленность избыточного веса у мужчин является причиной разнообразия качеств, проецируемых полным мужским телом. Избыточный вес у мужчины может восприниматься как знак его могущества или пассивности, становиться «видимым» или «невидимым», положительным или отрицательным в зависимости от положения мужчины в обществе.

Можно сказать, что лишний вес у мужчин является не личной, а социальной и даже классовой проблемой. Статусная дифференциация мужчин с избыточным весом в Советском Союзе, например, отличалась тем, что по сути являлась инверсией коммунистического идеала человека. Советский мужчина в идеале должен был быть стройным и красивым, а полнота, которая должна была иметь сугубо отрицательное значение и закрепляться за врагами рабочего класса, на деле стала знаком власти в стране победившего пролетариата. Однако идеал советского человека регрессировал потому, что, во-первых, он был внутренне противоречив, во-вторых, не сочетался с практикой советского социального строительства, не соответствовал сложившимся экономическим, политическим и культурным смыслам. В результате регрессии идеала избыточный вес у мужчин в Советском Союзе стал типичной характеристикой людей, облеченных властью. Такому переосмыслению полноты в Советском Союзе больше соответствовало традиционное русское понимание веса, нежели коммунистический идеал человека, идеологически корректный, но практически неосуществимый в условиях дефицита.

II

ВОИНСТВЕННОСТЬ
МУЖЕСТВЕННОСТИ

Наталия Ходырева

ПРИЧИНЫ ФИЗИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ: СУЩНОСТЬ РОДА ИЛИ ДИСБАЛАНС ВЛАСТИ?

Многочисленные исследования преступности неоднократно обращали внимание на факт превалирования мужчин среди лиц, совершивших преступления. В России, например, мужчины совершают 80—90 % умышленных убийств. Мужчины лидируют не только по числу преступников, мужчины также превалируют и среди потерпевших от физической агрессии: среди молодых мужчин убийства значительно чаще являются причиной смерти, чем среди женщин (см. Бэрн и Ричардсон, 1997, 222). Однако, в отличие от мужчин, женщины чаще становятся жертвами *супружеского* насилия и *сексуальной агрессии*¹.

Несмотря на тот факт, что гендерные различия влияют на становление, протекание и демонстрацию агрессии, первопричины этих различий до сих пор остаются предметом активных споров. Во всяком случае, биологические и генетические интерпретации насилия и агрессии все еще продолжают находить своих сторонников (см. Бэрн и Ричардсон, 1997, 224).

¹ Российская криминальная статистика, впервые опубликовавшая данные о поле потерпевших в 1993 г., весьма несовершенна и не содержит полного гендерного анализа. Так, отсутствует статистика по смертности женщин в результате побоев. По данным одного российского семейного криминолога, среди членов семьи, ставших жертвой внутрисемейных преступлений, чаще всего встречаются жены преступников, затем дети, родители, мужья (в случае мужеубийц) и, наконец, иные родственники (см. Шестаков, 1996, 7). Если совместить данные Шестакова и Боголюбовой за 1993 г., то среди 29 213 убийств и покушений на убийство женщины составили 14 521 убитую. В свете этих данных, женщины явно составляют никак не менее половины. Если считать всех потерпевших в 1993 г., то женщины составляют 36,3% (см. Боголюбова, 1996, 59—64).

Количественное превалирование мужчин в качестве преступников и агрессивных личностей привело к более выраженному развитию теорий мужского насилия. Отметим лишь некоторые из этих теорий.

Гендерные теории *мужского* насилия можно условно разделить на *внутренне* и *внешне* обусловленные. Среди *внутренне* мотивированных причин насилия одной из наиболее популярных является интерпретация мужского насилия как результата процесса интеграции (интериоризации) *насилия* в маскулинную идентичность. В свою очередь, к *внешне* или *ситуационно* обусловленным причинам можно отнести попытки увязывать происхождение насилия 1) с внешними обстоятельствами, способствующими формированию среди мужчин положительного отношения к насилию, 2) с факторами риска, способствующими агрессивному поведению, 3) с дезинтеграцией социальных институтов, способствующей превращению насилия в ключевую черту маскулинной идентичности, и, наконец, 4) с ролью отдельных сообществ и их субкультурами (см. Klein, 1999, 3—6).

В данной статье мне бы хотелось обратить внимание на некоторые противоречия, возникшие при попытке использования данных теорий в отечественном культурном контексте, а также на ту модификацию, которой подверглись эти теоретические конструкции в процессе их соотнесения с конкретным опытом женщин, пострадавших от насилия. Наконец, мне бы хотелось обозначить основные перспективы профилактических программ, направленных на ликвидацию дискриминации и насилия в отношении женщин.

Насилие как результат внутренней мотивации

Одним из основных вопросов о природе насилия является вопрос о его источнике. Ряд теорий формирования личности склонны видеть причины агрессивного поведения в том социальном окружении, в котором формируется индивид. К группе таких концепций, уделяющих особое внимание взаимосвязи насилия и гендерной идентичности, можно отнести психоаналитические направления, теорию социализации и — с некоторыми оговорками — теорию научения.

Несмотря на то внимание, которое уделяют все эти теории *социальным* аспектам и *социальному* окружению в процессе формиро-

вания идентичности, локализация институтов, влияющих на формирование *агрессивных* поведенческих реакций и у мужчин, и у женщин, остается крайне сложной задачей. Невозможность выделения четкого «временного промежутка» в развитии личности, в течение которого происходит формирование агрессивной маскулинности, ведет с неизбежностью к пониманию того факта, что данный процесс *продолжается в течение всей жизни*, он интегрирован *во все социальные институты*. Таким образом, чрезвычайно трудно отделить «нормальные» институты и социальные организации повседневной жизни от тех, где формируется маскулинная идентичность, корневым элементом которой является насилие. Итак, в течение *всей жизни* индивида существуют как серьезная возможность формирования маскулинности, идентифицированной с насилием, так, соответственно, и возможность существенно пересмотра этой модели идентичности.

Действительно ли мужчины реализуют свою маскулинность в насилии? Какова связь между маскулинностью и агрессивностью? Каково то культурное наполнение конструкта *маскулинности*, которое связано с насилием против других личностей?

Напомню, что в так называемой научной психологии еще со времен Фрейда развивались идеи андрогинности личности. Современная модель андрогинности разрабатывалась Сандрой Бем (см. Bem, 1974, 155—162) для измерения соотношения маскулинности и фемининности в рамках одной личности. Более того, с психическим здоровьем — как мужчин, так и женщин — связывали именно *андрогинную* личность. Гипермаскулинность увязывалась с агрессивностью, непрявлением эмоций в сексе и подчеркнутой защитой своей чести в случае действительной или мнимой угрозы². С точки зрения андрогинии, в личности большинства мужчин есть фемининная часть (например, в виде «Анимы», по Юнгу). Тем не менее в обыденной психологии продолжает доминировать идея о *подавляющей* маскулинности мужчин, что, видимо, и стало существенным фактором при формировании рассматриваемых мною концепций.

В исследованиях самосознания советских подростков, проведенных в 1980-х гг., меня прежде всего интересовали черты, характеризующие ориентацию на насилие. Знаменательно, что в самооценках мальчиков 14—17 лет *отсутствуют* упоминания о враж-

² См. работу Пола Робинса, опубликованную в данном сборнике.

дебности. Наряду с «молчаливостью», «черствостью» и «напряженностью» отмечены «доброта», «дружелюбность», «спокойствие», «слабость», «уступчивость». Оказалось, однако, что «враждебность» как черту своего «Я» отметили *девочки* аналогичного возраста. Мальчиками же «враждебность» как личностное качество была упомянута только при описании «большинства мужчин» (Исаев и Каган, 1988, 93).

В исследованиях, проведенных в 1980 г. Юферевой, также упоминается, что у мальчиков портрет маскулинности более однопланов и реалистичен (см. Исаев и Каган, 1988, 97). Исследовательница сетует на слабо выраженную дифференциацию половых ролей, мужских и женских характеристик, знаний о маскулинности и фемининности у подростков и объясняет это дефектом тогдашней «бесполой» педагогики. Сходный вывод делает в своем исследовании и Каган. По мнению этого автора,

четкие различия полоролевой атрибуции черт поведения появляются лишь в старших группах. Стереотипы маскулинности — фемининности размыты и амбивалентны по полу, отец в восприятии девочек — феминен. Агрессивность вообще отсутствовала в корреляциях между образом «Я сам» и «Большинство мужчин». (Исаев и Каган, 1988, 121)

Более того, исследователей тревожит феминизация мужчин и «преобладание маскулинной атрибуции у женщин», с чем и предлагается бороться в «свете решения проблемы оптимизации полоролевого воспитания» (Исаев и Каган, 1988, 121).

Весьма показательны в этом отношении и опросы молодых мужчин, проведенные в 1995 г. в Петербурге Д.Д. Исаевым. Опрошенным предлагалось выбрать из 95 человеческих качеств описания четырех понятий: «*большинство мужчин*», «Я», «*большинство женщин*», «*желательная партнерша*». По результатам исследования было обнаружено, что для описания «*большинства мужчин*» опрошенные выбрали такие качества, как «спокойные», «внимательные», «тактичные», «неагрессивные», «сопереживают», «помогают другим». С образом собственного «Я» опрошенные ассоциировали те же самые общечеловеческие ценности, которые они приписали «*большинству мужчин*», дополненные теми качествами, которые представлены, на их взгляд, в образе большинства женщин. А именно — «нежный», «эмоциональный», «домашний», «мягкосердечный», «безмятежный». Исследование показало, что *идеальная* модель мужчины состоит из андрогинных качеств (см. Исаев, 1995). Таким образом, вопреки широко распространенным стереотипам, насильст-

венность и агрессивность не были обнаружены в самооценке и репрезентации подростков и молодых мужчин.

Но если агрессивность не является ни «социально одобряемой», ни «социально желаемой» чертой личности, то, может быть, есть смысл искать предрасположенность к агрессивности в структуре *отдельной личности*? В многочисленных экспериментах были исследованы целые наборы *личностных черт*, способствующих агрессивному поведению, то есть боязнь общественного неодобрения, общая и ситуационная тревожность, раздражительность и эмоциональная чувствительность, тенденция усматривать враждебность в чужих действиях, убежденность индивидуума в том, что он в любой ситуации остается хозяином своей судьбы, склонность испытывать чувство стыда, сниженный/повышенный самоконтроль. Показательно, что все перечисленные выше личностные черты довольно затруднительно отнести к *собственно* «маскулинным». Как отмечает ряд исследователей, мужчины, совершившие насилие по отношению к своим женам, *не обладают* единой, *типичной*, структурой личностных черт. Более того, сходное насильственное поведение может быть отмечено у лиц, структуры личности которых *совершенно противоположны* (см. Бэрон и Ричардсон, 1997, 190—215).

Таким образом, можно заключить, что агрессивное поведение довольно сложно прочно ассоциировать с теми или иными *индивидуальными* чертами. Это, в свою очередь, позволяет поставить под сомнение увязывание конкретной («маскулинной») гендерной идентичности с конкретным социальным («агрессивным») поведением. Как уже отмечалось, в основе такого увязывания лежит механизм поляризации мужских и женских качеств, находящий свое конечное выражение в конструктах «маскулинности» и «фемининности»³. Дестабилизация этой поляризации позволяет сформулировать проблему следующим образом: «То ли маскулинность, с которой мы имеем дело, не является насильственной, то ли агрессия перестала быть маскулинной?» Аналогичным образом можно было бы поставить вопрос и о фемининной составляющей личности мужчины: «Почему эта составляющая

³ Другая проблема данных концептуальных подходов связана с общими методологическими проблемами диспозиционного направления (личностных черт), которое показывает слабую предсказательность поведения на основе личностных характеристик (см. Росс и Нисбетт, 1999, 205—242).

оказалась подавленной и/или не нашла своего развития у мужчин-насильников?»⁴

На мой взгляд, главная проблема рассмотренных подходов проявляется в их (не)возможности объяснить причины насилия со стороны женщин. О насилии женщин над женщинами не только в родственных, но и партнерских отношениях стали говорить сравнительно недавно. Несмотря на то что уровень преступности среди женщин невысок и женщины менее склонны к совершению преступных действий, необходимо выяснить природу этих причин и не исключать женщин из анализа насильственных преступлений.

Как в таком случае будет выглядеть интерпретационная модель *субъекта насилия*? С кем мы имеем дело? С «маскулинными женщинами»? С «фемининным типом маскулинности»? С «неразвитой фемининностью»? Как происходит интеграция насилия с фемининной идентичностью женщины? Или насилие женщины фемининно по определению? Что реализуют женщины в своей идентичности, осуществляя насилие? Список вопросов можно было бы продолжить...

Социобиологические теории по понятным причинам игнорируют агрессивность женщин. При исследовании женщин-преступниц их нередко патологизируют — в традиционном психоанализе, например, подчеркивается нереализованный мазохизм женщин.

Феминистки по политическим причинам также стараются обходить эту тему. Ряд исследовательниц считает насилие мужчин и формы их доминирования *принципиально отличными* от женских и предлагает разработать особую *теорию насилия женщин*, которая бы качественно отличалась от теории насилия мужчин (Hird, 1995, 28). Оставаясь на позициях ситуационизма, можно предположить, что, во-первых, условия, при которых *женщины* совершают насилие, могут отличаться от условий, в которых насилие совершают

⁴ Задавая вопросы в русле нейролингвистического программирования, можно изучать то, как современная маскулинность наполняется конкретным содержанием: «А почему вы решили, что это свойство непременно относится к мужчинам?», «Вы говорите, что мужчина должен защищать? Что вы под этим понимаете?», «Что значит мужественный?», «Почему же сила к женщинам не относится?» и т.д. Все это дестабилизирует, разрушает гендерные стереотипы во время терапевтических бесед на личностном уровне.

мужчины, и во-вторых, что такие женщины могут иметь иную мотивацию⁵.

По нашим исследованиям травмпунктов, 10% всех регистрируемых физических травм приходится на насилие среди женщин (Архив КЦЖ, 1993). Мифы о миролюбивости женщин и об имманентно *не присущей* им агрессивности очень опасны. Например, лесбиянки также подвергаются унижениям, сексуальному и физическому насилию со стороны своих партнерш. Первоначально жертвы находятся в шоке, так как не ожидают, что их отношения могут строиться по той же модели, что и гетеросексуальные отношения. Исследователи подобных отношений, однако, замечают, что, в отличие от гетеросексуальных пар, лесбиянкам удается более быстро и эффективно выйти из насильственных отношений — как потому, что партнерши более уравнины друг с другом в физических параметрах (рост, вес, физическая сила), так и потому, что они менее отягощены исполнением традиционных «супружеских» ролей (см. Burstow, 1992, 167—171).

Еще одна форма насилия женщин — насилие над детьми — заставляет строить концепцию насилия как *универсальную*, в которой важнейшим фактом является *дисбаланс власти* между сторонами. Дети подвергаются насилию именно как наименее защищенный и зависимый класс. Как только они обретают власть в виде физической силы, экономической независимости, их ослабленные, постаревшие и потерявшие былую авторитарную власть матери звонят нам. Чтобы понять, почему мужчина осуществляет насилие над женщинами, надо осознать, почему мы, женщины, осуществляем насилие над своими детьми. К сожалению, в настоящее время господствующая репрезентация насилия женщин в отечественных СМИ представляет таких женщин как рациональных, жестоких, хладнокровных, потерявших свою женственность людей (см. Khodyreva, 1998).

Я не могу ни виртуально, ни аудиально, ни визуально выразить одновременно свою мысль о том, что агрессия мужчин и агрессия женщин и похожи, и отличаются друг от друга. В той мере как

⁵ Например, есть гипотеза, что женщины в основном убивают после долгих лет издевательства и насилия со стороны мужей, не находя защиты со стороны общества. Интервью с российскими женщинами, отбывавшими наказание за убийство своих мужей, показали, что они годами страдали от насилия со стороны своих мужей и отцов, не находя защиты со стороны милиции (см.: Огонек, 1996, № 9).

похожи и отличны друг от друга мужчины и женщины, как похожи и отличны друг от друга разные мужчины, как похожи и отличны друг от друга разные женщины. Как не похожа на себя одна и та же личность в различных социальных контекстах. Подвижную, летучую идентичность невозможно зафиксировать, и поэтому невозможно надежно определить состояние и структуру личности в определенном месте и времени.

Насилие как реакция на внешние факторы

Многие эксперты — имплицитно или эксплицитно — связывают насилие мужчин с быстрыми социальными изменениями и нестабильностью, такими как война и ее социальные последствия. При этом важно исследовать разное воздействие социальных перемен и войны на людей, прошедших войну, и на то гражданское население, которое осталось дома⁶.

Наименее исследуемая область касается изменений от периода относительной стабильности к относительной нестабильности и вновь к стабильности. Например, как миролюбивый в довоенное время мужчина становится насильником женщин в период военных действий? Эксперты спорят о том, является ли насилие против женщин во время войны следствием социальной санкции на насилие, усугубленной «легким» доступом к незащищенным жертвам, или же мы имеем дело с идентификационными процессами, связанными с гендерными отношениями в целом, с конструкцией *Я/другие*, друг/враг и т.п.

Эти объяснения не являются взаимно исключаемыми. Брутализация мужчин в контексте военных конфликтов может быть мультифакторным процессом, в который способны входить и санкция на насилие, и тренинг насилия, и практики унижения и объективизации тех, кто в результате официальной пропаганды (или культивируемой памяти о прежних унижениях) становится маркированным врагом⁷.

⁶ В беседе со мной один Санкт-Петербургский адвокат заметил: «Что вы занимаетесь какой-то ерундой?! Угрозы, психологическое насилие... Вот будет война, тогда все станет на свои места. Тогда у мужчин будет настоящая жизнь, и тогда вы узнаете про настоящие проблемы» (из интервью с адвокатом Р. в ноябре 1998, Санкт-Петербург).

⁷ Эксперты обсуждают роль стыда и умолчания, которое продолжается и в период мирной жизни многих поколений. Память женщин о массовых изна-

Концепция *факторов риска*, способствующих агрессивному поведению, выделена отдельно и возникла в ходе изучения общественного здоровья. Сторонники этой концепции подчеркивают, что при исследовании насилия мужчин против женщин важно различать риск *стать насильником* (например, мнение о том, что женщина подчинена мужчине) и риск *стать пострадавшей*. Прочитанные исследования о стрессе как факторе риска показывают, что взаимосвязь между ситуацией стресса, переживаемого мужчиной, и его насилием против женщины противоречива. Противоречия связаны с вариативностью форм стресса, которым могут быть подвержены мужчины в разнообразных ситуациях в семье, на работе, в армии или на войне. Кроме того, по свидетельствам социальных работников, мужчины-насильники не ищут программ поддержки до тех пор, пока не перенесут значительный стресс.

Учитывая все факторы риска, мы должны обращать внимание не только на корреляции между факторами риска и насилием мужчин, но и на моделирование самого насилия и — таким образом — на механизм «выбора» объектов потенциального насилия, вызванного стрессом. Последнее особенно важно, так как под влиянием стресса отдельные мужчины в состоянии осуществлять насилие против индивидов, которые, не имея каких-либо личностных отношений с насильниками, могут принадлежать к группе, идентифицируемой агрессором как подходящую для насилия или убийства⁸.

силованиях во время прошлых и современных войн может вести к формированию чувства глубокой депрессии и замкнутости. Так, женщины, чьи мужья или партнеры участвовали в афганской или чеченских войнах, неоднократно обращались к нам по телефону доверия. Однако остается неясным, стало ли агрессивное поведение супругов в отношении своих жен следствием их собственного участия в боевых действиях против гражданского населения, или они уже уходили на войну сформированными насильниками. Как отмечает Андрей Новиков, из-за безработицы и невозможности уехать «многие молодые люди желают служить в армии... потому что видят в военной службе единственную возможность устроиться в жизни. Многие мечтали поехать в Чечню контрактниками и заработать “кучу бабок”». «Многие не случайно оказались на войне. Есть среди них и мародеры, и просто убийцы: злобные, циничные». — «В тренажерные залы страшно заглядывать: они работают как инкубаторы по отращиванию телес. Приходит пацан — выходит динозавр с маленькой бритой головой» (Новиков, 2000).

⁸ Например, избиениям и изнасилованию подверглась клиентка нашего центра со стороны молодого человека, затаскившего ее на чердак жилого дома (1998 г.). Он был недоволен и разгневан тем, что «все молодые женщины — стервы, ведут себя как зазнайки, высокомерны, не обращают на него внимания и с ними трудно пообщаться и познакомиться».

Показательно, что разрядка стресса и фрустрации почему-то происходит в присутствии жен или партнерш, детей и матерей и почти никогда — в присутствии начальства и вышестоящих коллег (не говоря уже о насилии над ними).

Следующая концепция источников насилия акцентирует роль *социальных институтов*. Армия — показательный пример института, *систематически* формирующего маскулинную идентичность, в которой насилие играет решающую роль. Гендерный анализ армии, например армии Израиля, наглядно демонстрирует, что успешное участие в армии и, таким образом, адаптация к насильственной маскулинности вознаграждаются в гражданской жизни в виде доступа к престижной работе и политическому влиянию (см. Klein, 1999, 5—6). Можно привести и более близкий пример. Коммерческий директор одной фирмы в интервью журналу *Коммерсант-власть* заметил: «Можно, конечно, отмахнуться от армии, но юноша, не державший в руках автомат АКМ, мужиком никогда не станет» (*Коммерсант-власть*, 2000, №20). Подобные мнения преобладают, но мне бы хотелось сослаться на одного действительно мужественного ученого, который считает идею о том, что «армия делает тебя мужчиной», верной только отчасти. По его мнению,

в психическом отношении армия делает нечто противоположное — консервирует в солдате детскую психику, задерживает его психическое развитие. Она требует от солдата быть послушным, верить авторитетам, предоставляет ему мало выбора, не приучает к самостоятельности — за него думают старшие, они должны обо всем позаботиться. Когда солдаты стали попадать в трудные положения (дедовщина, плен, голод), они не проявили ни инициативы, ни организованности, реагируя только отдельными отчаянными выпадами... а заботу о них и ответственность за решения взяли их матери, объединившиеся в Комитеты солдатских матерей». (Клейн, 2000, 613)

Среди других институтов, играющих важную роль в преодолении насилия, можно выделить органы правоохранения (милицию), судебную систему и законодательные структуры. В отличие от армии эти институты ориентированы не столько на воспроизводство и поощрение маскулинной идентичности, связанной с насилием, сколько — хотя бы в теории — на *наказание* насильников (см. Klein, 1999, 3—6). На практике же для российских правоохранительных органов характерно бездействие, при котором сбор доказательств рутинно превращается в *провал* сбора доказательств — как проверенная тактика правоохранительных органов по развалу дел. Только два-три случая из 100 доходят до приговора суда с

осуждением насильника. Незащищенность пострадавшей стороны и свидетелей, экономический прессинг со стороны следователя, судьи и адвоката подозреваемого; проблемы с родственниками, которые также выискивают личностные огрехи у потерпевшей, — это все структуры патриархата, постоянное воспроизводство которых формирует и утверждает определенное представление о социальном порядке (см. Бурдые, 1993, 145).

Среди социальных институтов важную роль в конструировании гендерной идентичности, гендерных иерархий и, таким образом, общественного мнения в отношении насилия против женщин играет и религия. Наши попытки установить контакты с представителями православной церкви для взаимодействия в борьбе с насилием против женщин выявили серьезные разногласия. Как сформулировал один из представителей Русской православной церкви, для борьбы с насилием мужчин против женщин

необходимо обучать женщин молитвам, так как Дьявол действует только через женщин, и поэтому женщины должны молитвами строить над собой Покрова и защитить тем самым себя от Дьявола, чтобы Дьявол не мог через них воздействовать на мужчин и мужчины бы не творили зло.

На мой вопрос о профилактической работе во время проповедей с мужчинами данный представитель церкви ответил, что это не нужно⁹.

Таким образом, сегодня вряд ли можно говорить о наличии развитой системы *социальных институтов*, способствующих конструированию ненасильственной маскулинности.

Существенным фактором в развитии/преодолении насилия против женщин могут выступать и отдельные *сообщества, заинтересованные группы*. Сообщества могут способствовать насилию против женщин путем, например, распространения и тиражирования определенных взглядов на насилие над женщинами. В частности, популярные и научные российские издания вносят лепту в сексизм и восприятие насилия в обществе. Автор одной из книг, например, доказывает, что, освободившись от излишнего уважения к женщине, мужчина способен дать счастье и себе, и женщине:

Это так же справедливо, как и то, что мужчина, чрезмерно уважающий женщину, не способен полностью оправдать ее сексуальные надежды, а значит, и сделать ее счастливой. Во всех мыслимых смыслах

⁹ Из интервью 1995 г., Санкт-Петербург, ПЦГП.

женщины — это существа *pati natae* (рожденные для подчинения). (Зарубинский, 1999, 288)

Старейший советский криминолог в своем исследовании женоубийц отмечает, что процесс раскрепощения женщин, в результате которого женщины получают равные с мужчинами права и теряют некоторые привилегии, вытекающие из традиционного отношения к ним как к «слабому, прекрасному» полу, способствует осложнению внутрисемейных отношений. Согласно этому автору, мужчины и женщины вообще по-разному видят идеальное распределение ролей в семье. Так, больше половины женоубийц считали, что главой семьи должен быть муж; во время взаимоотношений с женами в течение совместной жизни у них изменилась позиция в пользу авторитарного положения мужчины. На момент преступления 60% преступников-мужей не были удовлетворены своей ролью в супружеских отношениях. В вопросе о женском поведении мужчины ориентированы вполне определенно, среди них не оказалось таких, для которых добрачный образ жизни супруги был бы безразличен. Так, 22% осужденных женоубийц, рассчитывавших получить в жены девственницу, испытали разочарование. Почти треть мужчин, осужденных за убийство жены, рассчитывавших на верность партнерши по браку, пострадали от супружеской измены. Кроме того, 15% женоубийц имели основания для сомнения в поведении жены. Для женоубийц типична известная неудовлетворенность своим финансовым положением в семье. По их мнению, их жены часто не справлялись с покупкой продуктов, со стиркой и глаженьем, с уборкой помещения. На их взгляд, у жен хуже всего обстояло дело с покупкой продуктов и приготовлением пищи (см. Шестаков, 1996, 11—33). Как отмечает автор,

ущемление мужского авторитета способствует совершению преступления... Итак, в плане конкуренции за лидерство, в различных формах ее проявления, обострению взаимоотношений способствовала недостаточно сильная позиция мужчины в семье. (Шестаков, 1996, 17)¹⁰

Позволю себе не комментировать интерпретации автора, основанные на представлении о природно-биологическом базисе поведения мужчины и женщины. Вывод его исследований заключался в том, что осужденные мужья в 30% случаев испытывали любовь и чувство симпатии к своим жертвам, в отличие от мужеубийц, ко-

¹⁰ Лекции на основе этой монографии читаются на юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета.

которые не испытывали любви к мужу во время совершения преступлений и после него. «Суетно-мелкие обстоятельства», к которым автор причисляет «низкую культуру убийц и их жертв, пьянство, хамство, материальные затруднения, жилищную неустроенность или недостатки в работе милиции, своевременно не вмешавшейся в развитие семейного конфликта», интересовали его постольку, поскольку «все это касалось темы любовной страсти, терзавшей душу преступника» (Шестаков, 1996, 5).

Таким образом, сообщества обеспечивают (или оказываются не в состоянии обеспечивать) функционирование структур, способствующих ненасильственному поведению мужчин, они могут контролировать или/и воздействовать на эти структуры во время социальных изменений. В свою очередь, сами сообщества сталкиваются с социальными последствиями насилия над женщинами.

Методологические проблемы исследования поведения насильников

Феминистские исследовательницы давно и активно обсуждают как саму возможность проведения исследований поведения мужчин-насильников, так и те методы, с помощью которых эти исследования могут быть осуществлены. Среди важнейших проблем выделяются проблемы взаимоотношения насильника и исследовательницы, установление взаимопонимания, осложненного, с одной стороны, предубеждением к насильнику, а с другой — трудностями в преодолении эмоций при описании насильником своего агрессивного поведения (что, в свою очередь, может вести к поверхностным, оправдывающим и неправдивым ответам). Такая критическая позиция исследовательниц и их вызов насильникам во время интервью может входить в противоречие с главной целью — то есть раскрытием мотивов насилия путем получения достоверной информации от насильника (см. Lewis&Cavanagh, 1996, 31). Не менее важными представляются и проблемы интерпретаций показаний мужчин, а также связь этих интерпретаций с общественными представлениями о насилии. Кроме того, помимо научных задач феминистские исследования ставят своей целью и *изменение поведения* насильников, что предполагает конструктивную конфронтацию с ними (чаще в конце интервью). Цель такой конфронтации — продемонстрировать, что насилие само по себе

может восприниматься как серьезная проблема на профессиональном, а не на бытовом уровне (см. Ptacek, 1996). Само существование центров, считающих насилие социально неприемлемым, осуждающих агрессию мужчин, вызывает неприятие у насильников, даже если там работают другие мужчины. И интервью в таких условиях скорее всего будут походять на объяснения. Интересно, что с такой реакцией на деятельность нашего центра помощи жертвам сексуального насилия мы столкнулись еще в 1991 г. не только со стороны наиболее темпераментных насильников, но и со стороны академической среды — коллег-психологов, как мужчин, так и женщин.

Имеющие власть, в том числе физическую и экономическую, имеют и власть интерпретировать и объяснять подчиненным свою непререкаемую правоту. Символическая власть со стороны доминирующей группы распространяется и на то, как оценивается и интерпретируется насилие. Ряд исследователей, например, считает, что объяснения мужчин, совершивших насилие, нельзя считать достоверными (см. Ptacek, 1996). Тем не менее если их объяснения поместить в контекст феминистского анализа, то полученные данные внесут определенный вклад в разработку проблемы. Объяснения представляют собой сложное сочетание желания предвосхитить осуждение, сохранить свое лицо с помощью употребления «социально одобряемого словаря». Среди объяснений по поводу нейтрализации своего социально неодобряемого насильственного поведения насильники часто применяют отговорки и оправдания. С точки зрения традиционной маскулинности, попытки избежать ответственности за свои действия, потеря контроля, ослабление воли, эмоциональная аффектация¹¹, потеря контроля над собой под влиянием наркотических веществ¹² не являются признаком

¹¹ «Я как творческий человек должен разряжаться, иначе я не смогу творить» (Из интервью с насильником, 2000, Санкт-Петербург).

¹² Поведение в состоянии алкогольного опьянения скорее является социально приобретенным поведением, а не химически детерминированным. Поведение человека в состоянии алкогольного опьянения широко варьируется в зависимости от культуры. Если существует представление, что алкоголь приводит к насильственным действиям при потере контроля, то люди будут думать, что алкоголь действительно имеет такие свойства. А аргумент «потери контроля под влиянием алкоголя» будет использоваться для оправдания насилия. Не надо упускать из вида, что насильники совершают насилие и в трезвом виде. «Ваш муж пьет? — Нет, он спортсмен. Совсем не пьет, придерживается здорового образа жизни, бегаёт по утрам. Он кладет стальной прут в палец шириной к изголовью моей кровати» (Архив КЦЖ, СПб., 1996).

поведения настоящего мужчины. Получается, чтобы оправдать себя, можно отказаться и от своей маскулинной идентичности. В итоге — вместо «самообладания», «сдержанности», «силы воли», «рациональности», «логичности», «неэмоциональности» и т.д. и т.п. — «потеря головы», «вспышка гнева», «неуравновешенность», «неуправляемая жестокость», «провал в памяти», «временное умопомрачение». В то же время многие насильники считают, что вели себя *как мужчины*.

Второй составляющей оценки собственного насилия является интерпретация роли жертвы. Здесь присутствует та же тактика снятия ответственности и переноса ее на жертву. Обвинения в адрес жертвы и ее роль в совершении насилия против нее варьируются от «полной власти над мужчиной», где он выступает «безвластной марионеткой в ее руках», до «провоцирования», которое преобладает в нашей криминологической и психологической литературе и в интервью специалистов. Большинство насильников считает, что физическое насилие было применено ими правомерно — как ответ на словесные оскорбления и вызывающее поведение со стороны женщин. В их оценках эти два вида поведения (т.е. физическое насилие и словесное оскорбление) оказываются уравненными. Парадокс состоит в том, что *свою* физическую агрессию они считают приемлемой, в то время как вербальные нападки со стороны жен — *недопустимыми* и достойными физической расправы.

Взаимосвязь между потерей контроля и намеренностью угроз, между реализацией физического насилия и нанесением боли с целью осуществления контроля также не лишена противоречий. С одной стороны, действия насильников находятся *за пределами* контроля и осознаваемости, с другой стороны — насилие имеет хотя бы минимальное *рациональное основание* и контролирующе-воспитательную *целенаправленность* (например, сохранения отношений с женщиной). Часто эти объяснения нелогичны и противоречивы, но доминирующая группа не особенно заботится о непротиворечивости и логичности своих объяснений.

Среди *оправданий* превалирует отрицание своей вины за совершаемые действия в виде отрицания или минимизации причиненного вреда, такие как отрицание страха жертв, тяжести повреждений, непонимание последствий влияния насилия на дальнейшие отношения. Среди превалирующих *причин* насилия насильники (так же, как и наши криминологи) называют недостатки женщин — «неумение хорошо готовить», «сексуальная непривлекательность», «недостаточная почтительность», «незнание того, когда ей надо мол-

чать» и «неверность». По мнению феминистских криминологов, подобный социально одобренный словарь устанавливается внутри культуры (см. Ptacek, 1996). Те же слова и аргументы в случаях обращения в милицию и суд мы слышим от специалистов — психологов, психотерапевтов, психиатров, педагогов, судей, адвокатов, прокуроров, как мужчин, так и женщин. Слово «насилие» заменяется словами «физическая реакция», «употребление физической силы», а «сексуальное насилие» и даже «покушение на убийство» превращаются в проявления «любви» (Шестаков, 1996, 11—22).

Сексистские оценки и интерпретации активно навязываются потерпевшим. Влияние этой доминирующей идеологии в отношении насилия жестоко калечит судьбы женщин, трагически ухудшает качество их жизни. Женщины воспринимают эту идеологию и интерпретируют свое поведение и поведение насильников с патриархатных позиций. В качестве примера подавляющего влияния такой идеологии приведу случай из практики нашего центра. Молодая замужняя женщина, мать малолетнего ребенка, утром добиралась до поликлиники. Не рассчитала время до приема и, боясь опоздать, попросила «частника» подвезти ее. Вместо этого водитель и его спутник отвезли ее на квартиру и там насильовали целый день. Обращение поступило к нам в день преступления. Мы готовы были сопровождать ее вместе с ее матерью (которая оказала ей безусловную поддержку) для возбуждения уголовного дела. Тем более что внешность, место жительства и машина преступников могли быть легко идентифицированы. Проблема оказалась в том, что пострадавшая более всего была обеспокоена неизвестной для нее реакцией мужа. Как он воспримет случившееся? Не перестанет ли он ее любить, не начнет ли обвинять?

Опасения пострадавшей оправданны, так как уровень консерватизма и сексизма наших молодых мужчин достаточно высок. В нашей практике немало случаев, когда *попытки помочь* замужним *жертвам* изнасилований сопровождались многочасовыми *переговорами с их мужьями*, переполненными гневом и обвинениями по отношению к своим пострадавшим женам (см. Архив КЦЖ, 2000, СПб). При этом редко кто из клиенток понимает всю несправедливость традиционного уклада, мало кто ставит под сомнение экономическое, финансовое и сексуальное превосходство своих мужей, приоритет их потребностей и желаний.

Выгоды от насилия существуют: это безопасное изнасилование сексуально доступных объектов (одних — бесплатно, других — за деньги), бесплатное бытовое обслуживание, социальный статус

женатого и детного мужчины в глазах «делового» общества. Поэтому доминирующая группа современных мужчин с большим недоумением и негодованием воспринимает происходящие социальные изменения. Часть из них теряет бесплатную прислугу и удобства, неограниченный доступ к сексуальным удовольствиям, психологический комфорт. Мужчины не успевают за подобными изменениями и относятся к ним весьма консервативно. Но не из-за того, что их руки физиологически не приспособлены к зашиванию, мытью и чистке, а психологически: они не испытывают материнской нежности при бесконечной смене пеленок-подгузников и общении с подростком. Самое главное, что время, потраченное на все вышеперечисленное, никак не оплачивается, не входит в трудовой стаж, не учитывается при начислении отпуска и больничного, да и Нобелевскую премию за это никто еще не получил.

Ситуационная маскулинность

Идея *ситуационной* маскулинности может быть рассмотрена как некий паллиатив для сохранения понятия, столь любимого многими. Проявление насилия ситуационно и зависит от динамики властных отношений между людьми на личностном уровне. Это значит, что в определенных ситуациях каждый из нас может проявить жестокость, что было, кстати, доказано классическими экспериментами Милгрэма по использованию электрического шока по отношению к испытуемым, когда тонкие ситуационные силы пересилили благие диспозиции людей (см. Росс и Нисбетт, 1999, 109—118). Есть и менее «лабораторные» свидетельства подобных тенденций. Достаточно напомнить о массовых изнасилованиях заключенных женщин в сталинских лагерях, о «дедовщине» в армии, о массовых изнасилованиях во время войны в бывшей Югославии, о высокой степени распространенности физического и сексуального насилия над детьми в семьях.

Обычно женщины не замечают общего ситуационного фактора экономического и физического превосходства мужчин. Такая возможность поддержки и самопомощи предоставляется им в нашем центре. Клиентки понимают типичность ситуаций, в которых они оказываются: отсутствие работы или возможности устроиться на работу; отсутствие денег на получение образования; многодетность или наличие больного ребенка; заработок, недостаточный для самостоятельного существования и нормального уровня жиз-

ни. О том, чтобы запросто уйти в другую квартиру или в социальное жилье, не идет и речи. На вопрос о том, стали бы потерпевшие женщины обращаться за психологической помощью, если бы у них была экономическая возможность купить отдельное жилье и удалиться без всяких проблем от насильника, одна женщина выразила свою мысль весьма убедительно: «Спрашиваете! Я вообще не стала бы расстраиваться и обращаться к вам».

Клиенткам часто внушается их партнерами, что в свои 20, 30, 40 и т.д. лет они никому не нужны, что, кроме него, больше на свете других мужчин нет (про других *женщин* речи, как правило, вообще нет). Традиционным аргументом против ухода является «пагубное отсутствие» у ребенка (особенно — мальчика) «мужского» образца для подражания. Кроме того, физически женские тела более доступны для насилия (особенно его сексуальных форм), они менее натренированы наносить удары по другим телам, имеют меньше навыков в обращении с оружием¹³.

И все-таки сложившийся расклад физической и психологической власти, баланс зависимостей проявляется в конце концов в насилии одного человека над другим. На уровне межличностных отношений этот дисбаланс более мобилен, чем общий социально-экономический дисбаланс. В нашей практике сейчас много случаев, когда экстремальные ситуации беспомощности жертвы создаются насильниками обдуманно. Среди наиболее типичных методов можно отметить использование психотропных и снотворных препаратов для захмелевшей жертвы в случаях изнасилований и сексуального использования, а также нанесение болевого шока при киднепинге женщин для перевоза в безопасное для насильников место. Чрезвычайно редки случаи совершения насилия мужчин над женщинами при свидетелях. Реализация маскулинности ищет для себя безопасного и непубличного контекста — беспомощности жертвы из-за темноты, потери очков, денег, страха, неожиданности, отсутствия свидетелей¹⁴.

¹³ Студентки чаще, чем студенты, говорят об отсутствии безопасности в обычной жизни — о невозможности ходить и гулять одной, возвращаться поздно домой, о невозможности поездок на природу или путешествиях в одиночку. Студентки также отмечают напряженность работы в частном бизнесе, обусловленную притязаниями хозяина или преподавателя-мужчины (Группы соконсультирования на факультете психологии СПбГУ, 1992—2000).

¹⁴ «Я мыла посуду в бараке. И за дверями нашей ярко освещенной кухни была темная тайга, где ходили мужчины. Ни фонаря, ни света. Проходя мимо

Что можно противопоставить этому? На мой взгляд, необходима реализация проекта, в котором отказ от понятий «фемининности» и «маскулинности» как идентификационных конструкторов сопровождался бы радикальным пересмотром отношения к человеческим качествам и свойствам, без традиционного деления на «мужское» и «женское». *Теория гендерной схемы* Сандры Бем представляет радикальную альтернативу конструктору «маскулинности/фемининности». Если мужчина в своей личности реализует то маскулинность, то фемининность в зависимости от ситуации (что можно сказать и о женщине), не проще ли избавиться от этих терминов и использовать термин «человеческие качества» у каждого индивида. Таким образом мы сместим акцент с выяснения конкретных личностных качеств насильников и виктимных черт жертв и будем больше уделять внимания созданию широкого социально-политического контекста, который бы предоставлял равные условия всем людям, независимо от их половой принадлежности.

Сандра Бем представляет гендер как *процесс* и познавательный *механизм*. При помощи гендера происходит маркирование всех характеристик и явлений как «мужских» или «женских». Следствием этого *процесса* становится отслеживание и оценка индивидуального поведения и характеристик других людей с точки зрения его/ее «мужественности»/«женственности». *Самооценка* таких схематиков является постоянной заложницей этих сверок. Чувство их самоуважения подвергается большому испытанию, если поведение оценивается как не соответствующее схеме (Bem, 1981).

При объяснении насилия с помощью данной теоретической перспективы можно избежать уже упомянутых противоречий конструктора маскулинности. Насилие перестает маркироваться исключительно как атрибут маскулинности. Вместо этого в центре внимания находится анализ *властного дисбаланса* и тех разнообразных ситуативных условий, в которых могут оказаться пострадавшие. Таким образом, может быть сформулирована гипотеза о том, что более схематично ориентированные личности будут более агрессивны и насильственны, чем асхематичные.

Подобная перспектива будет сталкиваться с серьезным сопротивлением. В данный исторический момент маскулинность рас-

открытой двери, я увидела мужчину, который протянул ко мне руку. Я пошатнулась. Но наша повариха оттолкнула меня и захлопнула дверь, а то бы еще немного, и я туда упала» (Интервью в КЦЖ при подготовке консультантов, 1995).

смачивается как нечто очень важное, как неотъемлемый атрибут. И в качестве этого атрибута при желании может выступать все то, что есть под рукой. В том числе и насилие. Только тогда, когда культура, тиражируемая СМИ, не будет выделять маскулинность как атрибут *определенного* пола, подобную схематично-агрессивную идентичность будет крайне трудно сохранить, воспроизводить и реализовывать.

Профилактические программы

Норвежские мужчины, наиболее продвинутые в осознании проблем мужского насилия, задаются вопросом: каковы причины, благодаря которым мужчины могут быть заинтересованы в достижении равенства и преодолении насилия? Нельзя сказать, что им удалось обнаружить большой энтузиазм и заинтересованность в отношении к этой проблеме. Интерес чаще всего возникает в трех ситуациях: 1) когда женщины из ближайшего окружения страдают от неравенства со стороны других мужчин; 2) когда сам мужчина испытывает критические моменты в своей жизни (развода или потери работы); 3) когда у них есть дети, которых они любят и хотят стать хорошими отцами (см. Де Сэнгли, 1999, 28). На основании этих перспектив и строятся программы для мужчин. На первую перспективу в основном опираются программы *реформулирования содержания* маскулинности и поиска новой маскулинности. Психоаналитические перспективы предлагают уменьшить напряжение между «Я» и «другими» и тем самым дать возможность мальчику идентифицировать себя с матерью и фемининной моделью без опасения вызвать град насмешек. С этим направлением связаны попытки представить

мужественность как эротическую категорию, которая не поддается объяснению и брызжет жизнью, весельем, теплотой и энергией в противовес жестокости, грубости и нечувствительности. (Моберг, 1999, 1—5)

На мой взгляд, устойчивый принцип полярности «маскулинного/фемининного» является серьезной преградой в реформулировании содержания маскулинности. Маскулинность невольно превращается в фемининность. Поэтому попытки построить *ненастоящую маскулинность* весьма сомнительны. Как мы видели, насилие реализуется в *поведении*, на уровне самооценки и личностных характеристик оно неуловимо.

Именно поэтому программы, построенные на деконструкции самой дихотомии понятий «мужского/женского» в группах повышения сознания для мужчин, вызывают особый интерес. Примером может служить феминистская педагогика супругов Бем на основе принципов де-генерализации гендерных стереотипов, обучения индивидуальным различиям, схемам сексизма и культурно-релятивизма (см. Bem, 1981).

Наш опыт проведения программы «*Мужчина может остановить насилие*»¹⁵ показал, что даже миролюбивые с виду мужчины — работники педагогической сферы привержены идее физического наказания детей. Идеология насилия очень устойчива. Поэтому должны быть и внутренний, и внешний регуляторы реализации. Такие, как, например, полная доступность и возможность для любого ребенка сообщить немедленно о совершенном над ним/ней насилии и безусловная помощь ему/ей в этих случаях с принятием мер против насильника. Опыт проведения программы убедил нас в необходимости привлечения мужчин-феминистов к этим проблемам. К сожалению, у нас до сих пор все ограничивается теоретическими публикациями. Я больше уважаю тех американских, немецких, финских парней, которые учат женщин на курсах самообороны преодолеть отношение к своим телам как беспомощным и не умеющим постоять за себя¹⁶.

История случая

Из года в год в нашем центре 70% всех консультаций составляют разнообразные случаи насилия по отношению к женщинам. Среди субъектов насилия лидируют знакомые мужчины (около 80% случаев), 10% — это насилие женщин над женщинами, 10% — насилие над женщинами со стороны незнакомых мужчин. Среди «знакомых мужчин» преобладают мужья, бывшие мужья и партнеры.

Единичные случаи обращения насильников-мужчин в наш центр с целью воспитания жен или угроз сотрудницам не меняют общей тенденции — за помощью в центр обращаются в основном

¹⁵ В рамках проекта «*Культурная и гендерная ситуация в городе Мирный*» под руководством М. И. Либоракиной (1991—1992).

¹⁶ Программы *Martial Hearts* в Атланте, полиции г. Гамбурга, финская программа самообороны для женщин С. Дрейк (авторская программа).

пострадавшие женщины. Поэтому о том, что из себя представляет насильник, мы узнаем именно от них. Эти, казалось бы, неупорядоченные и противоречивые описания пострадавших женщин представляют собой двоякую картину — картину «непричесанного» социального контекста противоречивой реальности и такую же картину поведения партнеров этих женщин в данном «непричесанном» контексте. Это — не показания на суде против насильника, это — переживания и попытка изменить поведение любимого человека, сделать его ненасильственным¹⁷. Метод описания насильника пострадавшей женой может показаться чрезмерно искажающим, тем не менее мы решили использовать его здесь, так как описания давались любящими и сверхтерпеливыми женами, не желающими развода.

— Мы расходимся с мужем после 25 лет совместной жизни, и я уезжаю в коммуналку. Знаете, у нас была очень дружная семья, мы были вынуждены уехать из Латвии. Я понимаю его претензии — я не всегда удовлетворяла его интимные потребности, и я сейчас понимаю свои ошибки.

— Какие ошибки?

— Ну, это можно назвать фригидностью.

— Это что такое?

— Это муж мне так говорил. Но я не могла после грубости поддерживать отношения. Он грубо ко мне относился, достаточно грубо, кричал... Он был груб, накануне оскорблял, я не могла отвечать взаимностью.... Вы не думайте, у него много хороших черт, а это издержки. Он по натуре лидер — пришел, увидел, победил. Так что его поведение естественное. Сейчас я понимаю, что это была моя ошибка.

— Какая ошибка?

— Понимаете, выяснилось, что мы разные люди.

— Когда это выяснилось ?

— С самого начала. Вот он хочет, и все...

— Довольно сложно вступать в интимные отношения, когда перед этим с вами грубо обходились.

— Вообще я в последние годы обратила внимание, что он никогда не интересовался моим мнением. Скажет свое слово и уйдет. Я ему вдогонку пытаюсь что-то сказать. А он только рукой махнет — неважно, что ты думаешь. Он все сам покупает. Когда я пытаюсь что-то сказать о цвете обивки, он говорит, что я ничего не понимаю. Так что у меня теперь апатия развилась к покупкам. Я в жизни не пропаду, у меня есть

¹⁷ Это у нас, консультанток, возникало чувство гнева по поводу терпения, жертвенности и беспомощности наших клиенток, и это мы отправлялись на консультацию к супервизору в связи с профессиональным стрессом.

хорошая работа, я была активисткой, даже депутатом... Я все время боялась, что он меня бросит. Он — человек сильной воли, а я слабой. Если бы была сильной, то ушла бы давно. А у меня животный страх его потерять. Вот люблю его, все черты его мне нравятся. Человек он семейный, устои его стабильные. А сейчас говорит, что психолога ему не надо. Он пойдет в страшный разгул, чтобы компенсировать годы, проведенные со мной.

— Вы так послушно уходите в коммунальную комнату, а ему оставляете дом?

— Да, мы с двумя сыновьями прописаны в комнате. Но этот дом он выстрадал.

— Но вы же тоже вложили в него огромный труд.

— Да, в этот дом я вложила все. Дом, огород, сад. Там, в городе у меня этого ничего не будет. Я работала и бухгалтером, и начальником отдела кадров в его фирме, и еще подрабатывала в магазине, когда денег было мало.

— Это была семейная фирма?

— Да. Фирма теперь поднялась. Мой муж понял, что он многое может в районе, многое от него зависит. Мы тут ехали в машине, и я посетовала на одного нашего сотрудника, как он недобросовестно поступил с нашими деньгами. На что мой муж меня поправил — не наши, а мои деньги. Он меня даже назвал иждивенкой. Обидно как-то. Для меня главное — сохранить наши отношения. Если он меня позовет на огород, то я приду, а сама не поеду. Когда пойму, что отношения будут разрушены безвозвратно, тогда займусь собственностью.

— Как сыновья относятся к вашему разводу?

— Они в шоке. Одному 22, другому 25. Я никогда не выносила проблему на детей, и они думали, что у нас все хорошо. Я никогда не скандалила. Все протекало скрытно. Я приходила с работы и сразу готовила на всех. Тут дети, приходили друзья, сотрудники. Сплошной круговорот. Я никогда не была в одиночестве. Я привыкла быть нужной. Мне нравится заботиться. Семья для меня всегда была на первом месте, важнее, чем работа. А теперь кому я нужна? Сейчас у меня бывает такое состояние, что мне кажется, что я захлебываюсь, задыхаюсь. Все кончено. Катастрофа. Страх. Он мне в нашем окончательном разговоре сказал, что я не была ему женой — не поддерживала в его начинаниях.

— Что для вас семья?

— Семья — это когда вместе. Обязательно семья и дети. Это я понимала с 15 лет.

(Архив КЦЖ, 2000, СПб.)

Я привела отрывок из типичной консультации при психологическом насилии, когда физической агрессии еще не произошло. Женщина обращается не по поводу *насилия*, а в связи с ее стрем-

лением сохранить семью. Типичны сообщения о том, что мужчина отказывается от разговоров и не заинтересован в улучшении семейных отношений — «к семейному психологу не пойдет». В данном случае представлена семья, где женщина не претендовала на лидерство, несла двойную нагрузку, скрывала конфликты. Центром здесь является пренебрежительное отношение *мужчины* к женщине как человеку, жене, любовнице, коллеге по работе и домработнице в одном лице. Можно сказать, что психологическое насилие — это начальная фаза в процессе насилия. Как мы видим, в данном случае присутствует и дискриминация в отношении собственности, в виде экономического насилия: «Он мне сказал, что я его устраиваю как работник. Но это пока... Не знаю, что будет потом». Мужчина, обладающий властью и деньгами, приватизировал себе и власть решать, кому принадлежат собственность и материальные ценности, он властен давать оценку семейным отношениям и ставить диагноз («фригидность»). Он монологичен, не нуждается в выяснении мнения психологически зависимого от него человека. Он самодостаточен: не он боится потерять семью и жену, а она «задыхается от страха» его потерять.

Пример символической власти налицо. Здесь — не только иерархия в распределении физической и экономической власти, но и иерархия интерпретаций насилия и его последствий, позволяющая блокировать доступ к внешней помощи¹⁸.

Заключение

Конструкт маскулинности, мифический и пустой сам по себе, наполняется содержанием в зависимости от времени, места и целей господствующих (групп) индивидов. Конструкт маскулинности не в состоянии продуктивно объяснить причины насилия мужчин в обществе и семье и содержит много противоречий. Если мы зададим вопрос о том, почему люди с более высоким статусом применяют насилие по отношению к слабым, то ответ окажется прост — они могут это себе позволить. Пользоваться современными рабами и рабынями — весьма распространенная практика в нашем

¹⁸ «Куда это ты ходишь? В какую такую группу поддержки? Ну, и что вы там, бабы, сплетничаете?» Большинство женщин, ходящих в наши группы поддержки (а по сути, реинтерпретации событий и понятий), скрывают это от своих мужей и партнеров.

мире: будь то селения Чечни или фермы и фабрики США. Феномен «контрабанды *живого товара*» — людей — глобален. Пока властные позиции детей и взрослых, мужчин и женщин, Севера и Юга, Востока и Запада не выравниваются, в определенных ситуациях у большинства людей будет искушение и возможности злоупотреблять властью. А мы тем временем будем строить свои громоздкие теории и концепции и гадать, что лежит в основе этих злоупотреблений — то ли импульсивность, то ли история насилия в семье, то ли реализованная маскулинность.

На мой взгляд, необходим акцент на *ситуативности*, на анализе *совокупности* таких факторов, как безнаказанность или сложность доказательства вины насильника, удобные обстоятельства для насилия (т.е. отсутствие свидетелей, попустительство со стороны правоохранительных органов, нейтральность или поощрение общественного мнения, слабость наказания), статус сторон, незащищенность пострадавшего (бедность, отсутствие социальных связей, экономическая и психологическая зависимость) и т.д.

Преодоление дисбаланса власти — процесс длительный и психологически мучительный для подчиненных групп. Комплекс экономической, политической, символической и психологической власти должен постепенно изменять свою концентрацию и создавать условия равных возможностей. Взаимосвязи между теоретическими перспективами проектов качественных гендерных идентичностей и общечеловеческих качеств неразделимы и могут быть апробированы только на уровне социальной практики.

Пол Робинсон

НЕВОЛЬНИКИ ЧЕСТИ: МУЖЕСТВЕННОСТЬ НА ПОЛЕ БОЯ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Во всех странах и практически во все времена бой являлся мужской прерогативой (или, может быть, бременем), определяя многие характеристики мужественности. Постоянно меняющиеся условия войны, однако, с неизбежностью предполагают возникновение воинов «нового типа» и, как следствие, возникновение новых идеалов и нормативов мужественности. Подобную ситуацию особенно отчетливо можно наблюдать в течение последних двух веков, в ходе которых технологические достижения до неузнаваемости изменили природу войны. Бой лицом к лицу практически исчез; воюющие стороны, разделенные значительным пространством, зачастую даже не видят друг друга. Чтобы ответить на эти технологические трансформации в конце XIX и в начале XX в., русское офицерство попыталось сформировать новый идеал воина, способного одержать победу на современном поле боя. Однако в своих поисках современного им варианта мужественности, русские офицеры сделали ставку не на технический прогресс, а на средневековые понятия рыцарства, чести, храбрости и воинственности. Средневековые идеи рыцарской чести, заимствованные из военных традиций Западной Европы, получили свое наибольшее развитие в некоторых частях Белой армии в годы Гражданской войны: борьба против большевиков воспринималась ими как дуэль в защиту своей мужской чести. Однако на практике реализация средневековых понятий мужественности на поле боя начала XX в. оказалась катастрофической и привела к сокрушительным поражениям — как в войне белых против большевиков, так и ранее — в войне имперской русской армии против Германии. В данной статье делается попытка проанализировать исторические предпосылки идеи *ры-*

царской чести, которая приобрела особую популярность в рядах Белой армии в годы Гражданской войны.

С середины XIX в. и до начала Первой мировой войны имперская экспансия России сопровождалась немалым числом войн. Но только три из этих войн были по-настоящему крупными: Крымская война 1854—1855 гг., Русско-турецкая война 1877—1878 гг. и, наконец, гибельная для России война с Японией 1904—1905 гг. За время, прошедшее с начала Крымской войны и до конца Русско-японской войны, поле боя значительно изменилось. Радиус действия и смертоносность оружия стремительно возрастали: заряжающиеся с дула мушкеты сменились заряженными с казенной части винтовками, которые стреляли дальше, быстрее и точнее; мощная стальная артиллерия сменила бронзовые пушки, был изобретен пулемет. Но, несмотря на значительно возросшую военную опасность, *тактика* ведения боя осталась практически без изменений: наполеоновская методика массированных пехотных и кавалерийских строев и фронтальных приступов все еще была на вооружении тактиков, приводя к громадному количеству жертв.

Одной из важнейших проблем ведения боя, стоявших перед армиями в начале века, являлось преодоление *пояса огня*, разделяющего воюющие стороны. В ходе Первой мировой войны проблема преодоления огневой полосы была частично решена, с одной стороны, благодаря техническим достижениям, а с другой — благодаря тому, что формы ведения боя во многом стали зависеть от инициативы самого низшего — рядового — уровня. Это решение стало возможным также во многом благодаря наличию соответствующего рядового состава, сочетающего хорошую физическую подготовку с высоким уровнем осведомленности в военном деле и способностью к самостоятельным решениям.

Однако до Первой мировой войны военные тактики как в России, так и в других странах преодоление огневого пояса связывали с характеристиками совсем иного плана. Упрощая, можно сказать, что суть войны заключается во взаимодействии мужчин и оружия. При решении тактических задач российские военачальники отдавали полное предпочтение мужчинам. Они верили, что при наличии достаточной воли бойцы окажутся в состоянии преодолеть любую огневую преграду для того, чтобы истребить врага штыком. Ключ к победе, таким образом, состоял в воспитании боевого духа и силы воли, а само наличие сильной воли, в свою очередь, стало восприниматься как отличительная черта настоящего мужчины.

Александр Павлович Кутепов являлся ярким примером подобного отношения: еще в школе и в военном училище будущий генерал Белой армии для тренировки силы воли вставал каждую ночь в предрассветные часы, принимал холодный душ и прогуливался в темных и страшных местах. Позднее он приобрел известность своим отказом признать Советскую власть даже после конца Гражданской войны. Как объяснял сам Кутепов, «отчаяние — удел малодушных» (Кутепов, 1934, 150).

Идея о том, что сила воли является ключевой характеристикой бойца, была широко распространена в Европе и оказала значительное влияние на европейскую военную теорию. Например, известный французский тактик Чарл Арден ду Пик (1831—1870) доказывал, что война — это духовная деятельность, в которой победа достигается не превосходством оружия, а превосходством духа. Лучшим олицетворением этого духовного превосходства над врагом являлись сплоченные коллективной волей солдаты, идущие тесными рядами в штыковую атаку (см. Howard, 1986, 515).

В России идеям ду Пика вторило учение генерала М.Д. Драгомирова, возглавившего в конце XIX в. Академию Генерального штаба в целом и разработку русской военной тактики в частности. По мнению Драгомирова, военное дело одновременно основывалось на двух противоречивых требованиях: задача физического самосохранения и самозащиты («физическая сфера») вступала в конфликт с требованием самопожертвования, пронизанного духовными установками и принципами («духовная сфера»). Конфликт разрешался Драгомировым просто — приоритет отдавался штыковой атаке, этому решающему поступку на поле боя. Инстинктивное стремление к физическому самосохранению, таким образом, преодолевалось посредством боевого духа: «физическая» сфера оказывалась в подчинении у «духовной» (Menning, 1992, 39).

Другими словами, в центр военного обучения ставилось воспитание готовых к *рукопашному бою* солдат. Подобный подход отражал давнюю русскую традицию, сформулированную еще Суворовым: «Пуля — дура, а штык — молодец». Удачным примером использования подобного принципа в XIX в. стала энергичная штыковая атака под Шейновом, в которой русские войска под командованием генерала М. Д. Скобелева одержали победу над турками (1877 г.). Но гораздо чаще перед лицом современных пулеметов и артиллерии такая тактика вела к поражению, сопровождавшемуся огромным количеством убитых, как это произошло, например, во время второго и третьего боев под Плевной в 1877 г., в которых



Генерал Александр Кутепов

русская армия потеряла 20 000 солдат, так и не сумев чего-либо достичь.

Среди причин, благодаря которым практика штыковой атаки и концепция боевого духа оказались в центре внимания военных руководителей, возможно, стали опасения по поводу кризиса традиционной мужественности, широко распространенные в Европе и Северной Америке на рубеже XIX и XX столетий. В это время в прессе неоднократно высказывались мнения о том, что длительный период мира и процветания развил дух декадентства и дегенеративности. Частичным ответом на эти опасения и стал рост милитаризма и империализма, продемонстрировавший подсознательное желание восстановить былое господство «подлинной» мужественности. По мнению историка Кристин Хогансон, именно эти опасения и желания подтолкнули в 1898 г. Америку к участию в войне против Испании (см. Hogganson, 1998, 12). Следуя сходной логике, военный историк Майкл Ховард заметил в своей лекции в Окс-

фордском университете, что штык выступал в качестве символа мужественности — фаллического суррогата, призванного компенсировать «комплекс кастрации». При всей своей необычности, подобная интерпретация кажется недалекой от истины при виде многочисленных фрейдистских изображений колющих штыков, которые использовались во время Первой мировой войны в военной пропаганде многих стран-участниц. Россия в этом отношении не являлась исключением — генерал Драгомиров, например, хотя и в несколько иной форме, зафиксировал тесную связь между способностью владеть штыком и чувством мужской полноценности. По словам генерала, отказ от боя штыком был поступком «недостойным мужчины» (Howard, 1986, 513).

Возможный «компенсаторный» характер штыковой атаки был, разумеется, далеко не единственной причиной ее популярности. Сама военная история XIX и начала XX в. в какой-то степени подтверждала тезис Драгомирова. Так, во время бурской войны в Южной Африке (1899—1902) английские военачальники столкнулись с закономерностью: пехоту, залегшую под вражеским огнем, оказывалось практически невозможно вновь поднять в бой. Это привело к выводу о том, что атака может быть успешной лишь при сохранении *мобильности* боевых частей. Соответственно, и обучение военному делу фокусировалось на рукопашном атакующем бое, а не на умении пользоваться прицельным оружием (винтовкой) в относительно неподвижной — окопной — ситуации. В пользу пехотных атак свидетельствовал и успешный опыт японской армии в ходе Русско-японской войны. Многие наблюдатели тогда склонялись к выводу о том, что Русско-японская война подтвердила, что «самым важным элементом боя была не техника, а моральное состояние» (Howard, 1986, 518).

Именно на улучшение морального духа в войсках и было направлено внимание русского военного командования после Русско-японской войны. Согласно общему подходу генерала Драгомирова, военное обучение призвано было объединить два параллельных процесса. *Воспитание* было нацелено на развитие таких чувств, как патриотизм, лояльность и храбрость, которые в итоге должны были превратить новобранцев в полноценных воинов. В свою очередь, второй компонент военного обучения, т.е. собственно *образование*, сводился к овладению практической стороной военного дела. При соотношении воспитания и образования российская армия начала XX в. основное свое внимание сосредоточила именно на воспитании. По существу, воин определялся не своим умени-

ем и/или своим умом, а своим боевым духом. По генералу Драгомирову, «надежный, но неумелый солдат лучше, чем совершенный, но ненадежный» (Menning, 1992, 39).

В чем состояло это воспитание «надежного» солдата? Начиналось оно задолго до того, как новобранец поступал в армию. В начале XX в. в России начали быстро приобретать популярность — не без активной поддержки правительства — такие молодежные организации, как бойскауты и «Соколы», призванные привить подрастающему поколению «правильные» идеалы мужественности.

Бойскауты были частью организации, основанной в 1907 г. британским ветераном, полковником Робертом Баден-Поэлом, целью которого являлось воспитание молодых патриотов, способных стать солдатами будущего. «Соколы» первоначально возникли в Богемии в 1862 г. И «Соколы», и бойскауты появились в России по окончании революции 1905—1907 гг. и представляли собой своеобразное сочетание гимнастики с национализмом. Обе организации проявляли большой интерес к патриотизму и физическому здоровью. Однако, взятые сами по себе, ни патриотизм, ни физическое здоровье исключительно мужскими качествами не считались — наряду с мужчинами в «соколы» принимались патриотически настроенные и физически развитые девушки. Отличие состояло в ином: воспитание идеального бойца преследовало одну цель — формирование безусловного чувства самопожертвования, способности воевать до последнего и, при необходимости, готовности умереть за Родину. Сердцевиной этих качеств являлось понятие *чести*, которое, по общему мнению русского офицерства, являлось определяющим для мужчины.

В принципе можно говорить о двух основных — и взаимоисключающих — традициях толкования «чести»: честь, понятая как *добродетель*, и честь, понятая как *старшинство* (Pitt-Rivers, 1968, 503—511). В основе *чести-как-добродетели* лежит религиозное отождествление чести с добропорядочным и моральным поведением. В свою очередь, *честь-как-старшинство* полностью сводится к демонстрации претензий на статус и подтверждению обладания этим статусом (см. Peristiany, 1968, 43). Честь в данном случае — исключительно вопрос социального положения, престижа, имени и лица (не случайно в некоторых языках «лицо» и «честь» обозначаются одним и тем же словом). Честь здесь — это вопрос общественного признания и общественной ценности индивида, выражающихся в том числе и в виде общественных *почестей* (звания, медали и т.п.). В свою очередь, и бесчестие принимает форму пуб-

личного позора. Публичность чести данного типа, ее тесная связь с концепцией стыда позволили ряду исследователей считать ее типичной характеристикой так называемых «стыдливых сообществ» («shame societies») (см. Peristiany & Ritt-Rivers, 1992, 7). В сообществах, отличающихся тесными межличностными связями между ограниченным числом людей, угроза публичного позора может иметь катастрофические социальные последствия. Одним из типичных примеров такого сообщества можно считать армию с ее тесными внутриармейскими отношениями, ограниченным числом лиц и ограниченным числом контактов за пределами собственно армейского коллектива. Для членов таких групп смерть может выступать более приемлемым исходом, чем публичный позор.

Два типа чести отличаются не только своими характеристиками, но и своими типичными «представителями». По мнению ряда антропологов, *честь-как-добродетель* традиционно ассоциировалась с женщинами, в свою очередь, *честь-как-старшинство* рассматривалась как мужская характеристика. «Мужская честь должна быть заслужена, приумножена и защищена в поединке с соперником; женскую честь необходимо уберечь от злого языка завистливых» (Peristiany & Pitt-Rivers, 1992, 226).

«Мужская» честь связана с соперничеством и торжеством над другими, «женская» честь — с миром и чистотой. Особенность успеха «мужской» чести состоит в ее тесной зависимости от способности индивида навязать свои правила игры, заставить поверить в свое превосходство. В данной системе координат сила равнозначна праву, и для достижения цели хороши все средства. Бесчестие ассоциируется не столько с использованием грязных средств, сколько с их неумелым использованием: важно не столько быть правым при выборе средств, сколько не оказаться пойманным.

Принцип соперничества, столь характерный для «мужской» чести, на практике часто ассоциируется с *насилием*; *смелость* является одной из центральных категорий данной концепции чести. Фактически честь становится синонимом храбрости. Одной победы в *открытом* бою недостаточно — важно то, как именно она одержана. Соответственно, и бесчестие может быть искуплено только кровью. Важным следствием этих установок и традиций являлось общее положение о том, что честь нуждается в постоянной защите (см. Peristiany & Pitt-Rivers, 1992, 7). Оскорбление чьей-либо чести не проходило бесследно — в противном случае это означало бы молчаливое признание старшинства «обидчика» и следующее за этим изменение иерархии отношений. Более того, отказ

от вызова обидчика на дуэль мог повлечь за собой обвинения в собственной трусости и бесчестии, а за ними — и потерю репутации. Честь, таким образом, становилась основной пружиной, двигающей «мужскими» поступками.

Честь выступала не только в форме индивидуального чувства отдельно взятого мужчины: честь личности была связана с честью ее коллектива — с честью полка, армии, страны. Идея защиты чести боевого полка традиционно использовалась в качестве одного из основных побуждений к демонстрации храбрости и мужества на поле боя. А защита чести страны нередко выступала источником вдохновения героических подвигов. Более того, корпоративный характер чести — например, «честь офицера» — нередко выступал и в качестве идентификационного признака, позволяя провести грань — подобно кастовой — между офицерами и рядовыми. После военных реформ Милютина, облегчивших в середине XIX в. доступ к офицерским чинам лицам недворянского происхождения, именно благодаря институту офицерской чести русскому офицерству удалось сохранить свой авторитет среди рядовых солдат — именно в этот период вводятся офицерские суды чести, призванные дать оценку поступкам хотя и не преступным, но очевидно порочащим звание офицера.

Таким образом, честь становилась центральной чертой системы военного воспитания. Офицерская честь обеспечивала авторитет среди рядовых, корпоративная честь побуждала к героическим поступкам, сплачивала ряды и позволяла поднимать солдат в атаку, вдохновляя их на подвиги. Не случайно военные руководители рассматривали честь в качестве одного из самых важных аспектов мужественности, одного из самых главных свойств, которое они хотели бы воспитать в своих воинах.

Воспитательными функциями роль «чести» не ограничивалась. Популярность этой концепции среди офицерского состава России в конце XIX — начале XX в. имела и определенную социальную подоплеку. Увеличение числа офицеров за счет лиц недворянского происхождения с особой остротой поставило вопрос о социальном статусе новой военной элиты. Будучи не в состоянии апеллировать к своему «благородному» происхождению или богатству, «новое» офицерство стало искать необходимую социальную и идеологическую поддержку в качествах, подчеркивающих *моральные* достоинства личности. Романтическая фигура средневекового рыцаря и связанные с ним понятия доблести и чести стали в итоге стержневой чертой офицерства. Легализация дуэлей, поставившая в 1894 г.

точку в безуспешной борьбе российских императоров с проникновением этой модели решения споров в среду российского офицерства — и Петр Первый, и Екатерина Вторая, и Николай Первый поочередно объявляли дуэли вне закона (см. Reufman, 1999, 92), — стала логическим завершением процесса формирования российской версии рыцарства.

Рыцарство стало играть роль нормативного идеала, удачно сочетая дисциплину, аскетизм и сдержанность с санкционированным — если не поощряемым — использованием силы (см. Stacey, 1994, 89). Как писал белый генерал П.Н. Врангель, «русский офицер всегда был рыцарем» (Врангель, Приказ 3776, 1920). Соответственно воспринималась и политическая борьба — и для Врангеля, и для Деникина цели Белого движения тесно увязывались с идеей защиты чести и достоинства России. Вильям Розенберг, например, отмечал, что для Деникина «материальный мир существовал лишь постольку, поскольку он оказывал влияние на духовную судьбу России» (Rosenberg, 1961, 40).

Гипертрофированное внимание российского офицерства к идее *защиты* чести не могло не превратить само понятие «честь» в концепцию, носящую ярко выраженный «оборонительный» характер. Как отмечал историк Вильям Фуллер,

в теории для русских офицеров честь была синонимична рыцарству, т.е. образу жизни, вдохновляемому возвышенными идеалами рыцарского поведения и самопожертвования ... На самом же деле офицеры прежде всего считали честь чем-то, что может быть потеряно... честным офицером был тот, кто мог отстоять свою честь. (Fuller, 1985, 23)

«Честь» в частности и «рыцарство» в целом превращались в систему самоценных ритуалов, посредством которых и формировалась определенная модель мужественности. Вряд ли случайными в этом отношении были многочисленные случаи «парадомании» и предшествующая им строевая подготовка на плац-параде, типичные для российской армии. Хотя к концу XIX в. парады уже не исполняли никакой боевой функции, они продолжали играть важную воспитательную роль, ибо на параде все движения солдата должны быть в полном согласии с движениями его товарищей, что, в свою очередь, приводило к неизбежному осознанию принадлежности к большой группе.

Подобное чувство единства и лояльности по отношению к коллективу усиливалось строгими мерами по ограничению социальных контактов офицерства, прежде всего в форме запрета женитьбы до

28 лет. Целью этого запрета являлось не столько стремление ограничить возможности женского влияния, сколько попытка обеспечить отсутствие у офицерского корпуса каких бы то ни было уз вне своей военной части. В итоге почти две трети всех офицеров в армии Российской империи были холостяками (см. Bushnell, 1981, 758). Для русских офицеров семьей становилась сама Армия...

Одним из примеров, наглядно демонстрирующих практическую реализацию концепции рыцарства и сопутствующих ей ритуалов и практик, может служить поведение частей Белой армии в Галлиполи в 1920 г.

В ноябре 1920 г. Красная Армия выгнала из Крыма последнюю крупную группировку врангелевской армии. Часть армии осела под Константинополем и на острове Лемнос, еще одна группировка под командованием генерала Кутепова оказалась в Галлиполи, городке на берегу Дарданельского пролива в Турции. С помощью французской армии, оккупировавшей Константинополь в конце Первой мировой войны, русские войска построили в Галлиполи военный лагерь. Французы хотели расформировать врангелевскую армию, но Кутепов видел свою задачу в продолжении войны с большевиками и активно сопротивлялся усилиям французов. Возрождение боевого духа своих солдат и офицеров, их готовность к борьбе стали главной целью Кутепова в Галлиполи. «Непримиримость» стала отличительной чертой галлиполийцев, а успех Кутепова в возрождении армии заслужил ему репутацию «исключительного воспитателя войск» (Кутепов, 1934, 7).

Поднятие духа своих войск в Галлиполи Кутепов начал с введения железной дисциплины. «Будет дисциплина — будет и Армия; будет Армия — будет и Россия», — сказал он (Давац и Львов, 1923, 84). По требованию Кутепова офицеров могли подвергнуть аресту даже за самые мелкие нарушения дисциплины. Офицерам, нарушившим форму одежды или не отдавшим честь старшему по званию, грозило провести три дня на гауптвахте. Другим испытанным средством воспитания стало проведение парадов. В день проведения одного из парадов произошло примечательное событие. Во время подготовки к параду, вплоть до самого приезда Врангеля, в Галлиполи лил дождь. В тот самый момент, когда Врангель стал выходить из машины, чтобы поприветствовать войска, вдруг засияло солнце. В итоге погодный эффект придал репутации Врангеля богоподобную тональность и еще больше укрепил уверенность в моральной ценности парадов (см. Кравченко, 1975, 311; Левитов, 1974, 576).

Задачей парадов и железной дисциплины было воспитание бойцов, которых отличали верность, послушание, боевой дух. Такие черты характера, как интеллектуальное развитие или технические способности, в перечень актуальных качеств не входили. Дух и воля были отличительными чертами галлиполийцев, считавших себя «рыцарским орденом монахов» (Кутепов, 1934, 137).

Философия дисциплины дополнялась философией действия, поступка — «активизма», по определению галлиполийцев. Исключением галлиполийцы в этом отношении не были — приоритет «дела» над «словом» был давней традицией российского офицерства. Например, Иван Ильин отмечал: «Белый — человек воли и поступка, не слова» (*Вестник Галлиполийцев*, 1924, 11). Ильину вторил белый генерал Антон Туркул: «Армия — это действие, движение и борьба, а не замкнутая стоянка» (Лукаш, 1922, 47). Это отношение хорошо отражают следующие стихи, восхваляющие белых офицеров:

Не гордитесь своей ученостью,
 Хмурью ваших библиотек:
 Только подвигом, боем, твердостью
 К высшим целям идет человек.
 Только воин спасает Родину,
 Лишь герой воплощает мечту,
 Только рыцарь с забралом поднятым
 И с разящим копьём на лету!
 Белых армий пути терпеливые
 Выше мудрости всех мудрецов ...
 Не гордитесь словами красивыми —
 Обветшалой одеждой слепцов.

(*Снесарева-Казаква, 73*)

Еще одной мерой/формой поддержания боевого духа в Галлиполи стали дуэли. В декабре 1920 г., через месяц после того как части Белой армии покинули Крым, генерал Врангель издал приказ, в котором говорилось:

Учитывая воспитательное значение поединков, укрепляющих в офицерах сознание о высоком достоинстве носимого ими звания и требований рыцарства и воинской чести, я отменяю ранее установленное ограничение и приказываю всем судам чести прибегать к выше упомянутой мере во всех случаях, когда, по их мнению, это представляется необходимым для восстановления поруганной чести и поправленного достоинства. (Бортневский, 1996, 96)

Офицеры Врангеля последовали приказу, и в Галлиполи состоялось несколько дуэлей. Одна из дуэлей является хорошим примером различного понимания «мужской» («активной») и «женской» («пассивной») чести. В августе 1921 г., жена русского офицера, полковника Малевинского, попыталась пробраться на корабль, который собирался отплыть от Галлиполи в Болгарию. Французы, которым подчинялся русский лагерь в Галлиполи, издали приказ, согласно которому на корабле могли находиться только солдаты. Чтобы помешать госпоже Малевинской сесть на корабль, французский офицер, лейтенант Буше, собственноручно оттащил ее в сторону. Малевинский вызвал Буше на дуэль, заявив, что Буше оскорбил честь его жены. Дуэль предотвратило вмешательство французского командира, полковника Томассена, запретившего Буше драться (см. Русские в Галлиполи, 1923, 169).

Белое движение в целом можно воспринимать как своего рода гипертрофированную версию попытки Малевинского защитить честь своей жены. Русская армия и сама Россия — Родина — выступали в качестве женщин, честь которых была осквернена большевиками. Белые офицеры верили, что, заключив сепаратный мир с немцами, большевики попрали историю, культуру и традиции России и нарушили слово, данное Россией ее союзникам. Подобно Малевинскому, белые офицеры видели свой долг в том, чтобы ценой своей крови восстановить поруганную честь России. Как писал генерал Врангель,

Белая борьба — это честное возмущение русского человека против наглого насилия над всем для него святым — Верой, Родиной, вековыми устоями государства, семьи. Белая борьба — это доказательство, что для сотен тысяч русских честь дороже жизни, смерть лучше рабства. (Врангель, 1928)

К несчастью для Врангеля и его войск — как и раньше для солдат русской армии, — их борьба подтвердила безнадежную устарелость основных принципов военных экспериментов по человеческому строительству. Попытки опираться на идеи боевого духа и воинской доблести, на обостренное чувство чести, на культивируемую страсть к дуэлям, в конце концов — на «активизм», — все это выдавало приверженность прошлому. Приверженность, которая подтвердила свою полную неэффективность в новых условиях и в новое время. Верность штыкам и штыковой атаке — независимо от степени «мужественности» — становилась скорее гарантией поражения, чем победы. Сходные результаты демонстрировали и

попытки решить проблему преодоления огневого пояса исключительно за счет повышения духовно-нравственных качеств воинов. Храбрость, лояльность, фанатичное стремление и готовность отстаивать свою честь даже ценой собственной крови были положены в основу «боевой» мужественности, на которой строилась армейская тактика. Проблема, однако, заключалась в том, что одержать победу на поле боя в начале XX в. лишь посредством силы воли и боевого духа становилось все труднее. Поле боя делалось слишком опасным. Бой — и война в целом — превращались в часть политической борьбы, для ведения которой одного боевого духа было недостаточно. Победа требовала размышления, ловкости и технической компетентности. Иными словами, победа требовала иного типа мужчин и совсем другого понимания мужественности.

Ирина Савкина

SUI GENERIS¹: МУЖЕСТВЕННОЕ И ЖЕНСТВЕННОЕ В АВТОБИО- ГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСКАХ НАДЕЖДЫ ДУРОВОЙ

Легендарная личность своего времени, Надежда Дурова, уйдя в двадцатитрехлетнем возрасте из родительского дома, десять лет провела на армейской службе, выдавая себя за мужчину. Она участвовала во многих военных кампаниях, в том числе и в знаменитом Бородинском сражении 1812 г., получив в этом бою тяжелую контузию. Знаменитая «кавалерист-девица» до конца своих дней носила мужской костюм и называла себя в мужском роде, что вызывало недоумение не только у обывателей.

В 1836 г. Дурова решила опубликовать записки о своей необычной судьбе и обратилась за помощью к А. Пушкину. В своих заметках *«Год жизни в Петербурге, или Невыгоды третьего посещения»* она описывает дискомфортную для Пушкина ситуацию их личной встречи:

Впрочем, любезный гость мой приходил в заметное замешательство всякий раз, когда я, рассказывая что-нибудь, относящееся ко мне, говорила: «был, пришел, пошел, увидел». Долговременная привычка употреблять «ъ» вместо «а» делала для меня эту перемену очень обыкновенною, и я продолжала разговаривать, нисколько не затрудняясь своею ролею, обратившеюся мне уже в природу. Наконец Пушкин поспешил кончить и посещение, и разговор, начинавший делаться для него до крайности трудным. <...> Оканчивая обязательную речь свою, <он> поцеловал мою руку. Я поспешно выхватила ее, покраснела и уж вовсе не знаю для чего сказала: «Ах, боже мой! Я так давно отвык от этого». (Дурова, 1988, 547)

Как можно видеть из этой цитаты, смешение гендерных ролей в собственном поведении и в восприятии ее окружающими было

¹ В своем роде, своеобразный (*лат.*).

для Дуровой большой проблемой, которая сильно актуализировалась в процессе издания записок, в отношениях с издателями и читателями. Текст, увидевший свет в 1836 г., назывался «*Кавалерист-девица. Происшествие в России*» и «рекомендовал себя» как автодокументальный: нарратор именовал(а) себя Надеждой Дуровой, рассказ начинался с описания детских лет в родительском доме, назывались подлинные имена родителей и родственников, а затем командиров и сослуживцев, но на самом деле повествование (как это, впрочем, бывает в любом nonfiction-произведении) балансировало между «поэзией и правдой», и автор выстраивал определенную, до некоторой степени беллетризованную версию своей биографии.

Наиболее заметными моментами жизни, подвергшимися «автоцензуре» в изложении собственной истории, были два: Дурова последовательно на шесть лет уменьшает свой возраст (в тексте «*Записок*» героиня убегает из дома в армию в неполных семнадцать лет, на самом деле ей было двадцать три года) и нигде даже намеком не касается того факта, что в реальности до своего бегства в армию она побывала в браке (вероятно, неудачном) и родила сына Ивана.

Автобиографическая версия, изложенная в «*Записках*», делится на две части: рассказ о детстве — как мотивировка необычного решения «перестать быть женщиной» — и история адаптации молодого солдата к военной жизни, которая в конце концов переходит к собранию новелл из военного быта.

На всем протяжении текста, за исключением первой главы «*Из детских лет*», между нарратором и героем существует некоторый «зазор», эксплицитно выраженный в различии пола и имени: женский нарратор (Дурова), обозначающая себя *грамматически в женском роде*, рассказывает о себе-персонаже, который носит имя сначала Дуров, а потом Александров и именуется в *мужском грамматическом роде*. То есть половые характеристики буквально пронизывают у Дуровой процесс сотворения/разыгрывания автобиографического *Я (self)*.

Как утверждает Сидония Смит, это автобиографическое *Я*, соединяющее автобиографа, нарратора и протагониста, не существует как нечто готовое и целостное до момента написания текста, оно возникает как «эффект автобиографического рассказывания» (см. Smith, 1998, 109). Смит в этом случае, по ее выражению, «переоформляет» в терминах теории автобиографичности идеи Джу-



Н. Дурова в 30-е гг. Оттиск с гравюры А. Брюллова

дит Батлер о гендерной перформативности², В процессе «разыгрывания» автобиографического *Я* большое значение имеет не только субъективное намерение и желание автора, но и воздействие существующих в данном социуме и культуре дискурсов идентичности. Огромную роль при этом играет адресат текста, публика, «сообщество людей, для которых главные дискурсы идентичности и правды имеют смысл. Публика становится экспертом определенного сорта перформативности, который подчиняется относительно удобным критериям понятности (вразумительности)» (Smith, 1998, 110).

Дурова в своем тексте создает и обсуждает автобиографическое *Я* прежде всего на пересечении существующих дискурсов *половой* идентичности, оказывающих давление на нее как человека и автора. Интрига ее записок именно в гендерной двойственности, неопределенности автора/нарратора/героя. В этом — главный интерес для читателей, и в этом основная проблема повествования, амбивалентность которого можно видеть уже в выборе адресата.

² «...Нет гендерной идентичности помимо выражения гендера, идентичность перформативно конструируется в различных выражениях, можно сказать, что она является их результатом...» (Batler, 1990, 24—25).

К кому обращен текст; кого сама Дурова предполагает в качестве публики, «референтной группы»? С одной стороны, она не раз (например, в заметках «*Год жизни в Петербурге...*») подчеркивает, что ее текст адресован в первую очередь женщинам. Предлагая «*Записки*» для издания Пушкину, Дурова пишет: «Купите, Александр Сергеевич! Прекрасное перо ваше может сделать из них что-нибудь весьма занимательное для наших соотечественниц» (Дурова, 1988, 550. Курсив мой. — И. С.). В то же время ее текст ясно соотносится с традицией такого сугубо «мужского» жанра, как военные мемуары, хотя нельзя не согласиться с Мэри Зириной в том, что «отношение *Кавалерист-девицы* к этому жанру скорее может быть обозначено как отталкивание, чем как следование канону: дневник женщины — кавалеристского офицера по определению был *sui generis*» (Zyryn, 1988, XIII).

Двойственная адресация текста, на мой взгляд, может пониматься как показатель сложности, неопределенности для самой Дуровой ее собственного авторского статуса прежде всего в гендерном аспекте. Половая идентичность авторского Я в интересующем меня тексте предстает как *проблема*, которая обсуждается в процессе письма. Автобиография/самоописание становится своего рода *само-писанием*, конструированием (и деконструированием) авторской половой идентичности.

Какие именно модели женственности и мужественности «работают» в тексте Дуровой при создании/разыгрывании автобиографического Я; как эти модели соотносятся с существующими социокультурными половыми стереотипами; как на их пересечении происходит в ходе автобиографического письма процесс самоидентификации автора — эти вопросы будут предметом рассмотрения в данной статье.

«Флора» и «фауна»: современники Дуровой о женском и мужском предназначении.

Представления о мужественности/женственности в русской культуре начала XIX в. мы можем (так, речь здесь идет о литературе) рассмотреть на таком репрезентативном материале, как критические статьи и иные тексты, обсуждающие женское творчество и женщину-писательницу. Названная тема, еще несколько экзотическая для того времени, заставляет авторов акцентировать ген-

дерную проблематику и обсуждать природу женственности на фоне и по отношению к представлениям о мужественности.

По мнению автора скандально известной повести-памфлета «Женщина-писательница» (1837) Рахманного (Н. Веревкина), природное назначение женщины, галантно названной «перлом создания» и царицей, состоит в том, чтобы сидеть в своем «дворце» на отведенном ей месте, рожать детей, украшать и услаждать жизнь мужчины, который представлен как «слуга, защитник, охранитель и кормилец этого сокровища нашего рода, этого источника воспроизводимости и обновления совершеннейшей органической жизни» (Рахманный, 1837, 31). Много говорится о естественной слабости, природной, физиологической дефектности женщин. Последние описываются всегда только через телесность: у них «крошечные ножки», «белые прозрачные тела», «хрустальные пятки», «молочные плечи», «вздернутые носики», «пуховые ручки», «маленькие, огненные, шаловливые головки» (там же, 34). Сила, действие и интеллект — прерогатива исключительно мужская: «сколько усилия умственные и физические идут к могучему самцу, мужчине, столько же не к лицу они нашей миленькой самке и царице» (там же, 33).

Повесть Веревкина современные исследователи любят цитировать как образчик женофобии, однако если сравнить его с другими, более серьезными и «авторитетными» текстами, то можно увидеть, что Веревкина отличает от них разве что некоторая игривость и развязность тона. Например, молодой Белинский в рецензии 1835 г. на перевод с французского романа г-жи Монборн «Жертва» развивает те же мысли о вечном природном назначении мужчины и женщины. Если первый имеет «безграничное поприще деятельности», «углубляется в природу, допытывается ее тайн и сообщает их людям в живом знании, или властвует ими для их же блага, мечом, волею, делом и словом» (Белинский, 1953, 223), то женщина — «ангел-хранитель мужчины на всех ступенях его жизни» (там же, 224):

Утешительница в бедствиях и горестях жизни, радость и гордость мужчины, она — гибкая лоза, зеленый плющ, обвивающий гордый дуб, благоуханная роза, растущая под кровом его могучих ветвей и украшающая его уединенную и суровую жизнь, обреченную на деятельность и борьбу. Предмет благоговеющей страсти, нежная мать, преданная супруга — вот святой и великий подвиг ее жизни, вот святое и великое ее назначение. (Там же, 225)

В обширной статье М. Каткова в *Отечественных записках* 1840 г. анализ произведений Сарры Толстой предваряется пространными общими рассуждениями о природном, вечном, с точки зрения и этого критика, предназначении мужчины и женщины. Первому опять приписываются и предписываются такие качества, как деятельность, активность, сознание и развитие; он обладает властью и завоевывает, осваивает пространство. Мужчина сравнивается с животным, а женщина с растением, цветком:

В самом деле так же спокойно, так же грациозно развивается она изнутри, как и цветок; он не покидает своей долины, места, где животворное солнце вызвало его из семени, он не трудится, он не ищет, свет и пища ему даром, и он платит за все лишь своим благоуханием. (Катков, 1840, 21)

Ботаническое сравнение маркирует прежде всего такие свойства женственности, как красота (украшение), хрупкость, слабость, пассивность и привязанность, прикрепленность к отведенному ей месту. Последняя идея особенно многократно варьируется в статье: «назначение женщины — оставаться во внутренней сфере жизни, в том кругу именно, которым природа обвела ее» (там же, 23); «любовь есть стихия ее, <...> она должна определяться *привязанностью* и преданностью. *Не выходя никогда из себя, не отрываясь* от природы, женщина находит *вокруг себя* предметы для своей *привязанности* там, где они сами встречаются ей *в тихом кругу* семейства» (там же, 26. Курсив мой. — И. С.):

Все человеческое должно быть доступно ей, <...> во всем <...> может участвовать она, во всем, кроме битв с враждебными силами, за пределами ее тихой обители, кроме внешних трудов и напряженной борьбы, завоевывающей шаг за шагом пространство и власть и в котором может находить наслаждение только дерзкая отвага мужчины, рожденного для борьбы и трудов. (Там же, 28)

Из приведенных цитат, как мне кажется, можно вполне ясно видеть, что в современной Дуровой России (как и в любом другом патриархатном социуме) с мужественностью связываются представления о свободе, возможности выбора, активности, сознательном труде и власти, а женственность, определяемая как нечто дефектное, получающее статус только по отношению к мужской полноценности, обозначается через метафоры пассивности, прикрепленности к своему месту, слабости и безответственности, подчеркивающие отсутствие как само-определения, так и права на выбор. Подобные

фундаменталистские представления о мужском и женском оказывали огромное влияние на современную литературу, в нашем случае — на то, как излагает Дурова в «*Записках*» свою историю, как создает в процессе повествования свое автобиографическое Я.

Мать и дочь-богатырь

Гендерная проблематика Дуровой — автора и персонажа — особенно сильно акцентирована в первой части ее произведения — «*Детские лета мои*»³, где рассказывается история девочки, которая пришла к решению «перестать быть женщиной» и уйти в мужской военный мир.

Главная задача повествовательницы, как и в любом ретроспективном описании собственного детства, — найти ответ на вопрос, каким образом я стал/а таким/такой, каков/какова я есть теперь. Для специфического случая Дуровой это значило понять и мотивировать для себя и объяснить другим свою гендерную особенность. Пытаясь разрешить такого рода задачу, Дурова выстраивает несколько сюжетных парадигм.

Одна из них — это рассказ своей истории как истории изначально *другого*, необычного, ненормативного существа. Вместо ожидаемого матерью прекрасного, как Амур, сына родилась «дочь, и дочь-богатырь!! Я была необыкновенной величины, имела густые черные волосы и громко кричала» (Дурова, 1988, 26⁴). Эпизод, когда она младенцем укусила грудь матери, комментируется следующим образом: «В это время я, как видно, управляемая судьбой, назначившей мне солдатский мундир, схватила вдруг грудь матери и изо всей силы стиснула ее деснами» (там же, 27).

После того как раздраженная громким криком младенца мать выбросила девочку из окна кареты, ее нянькой и воспитателем стал фланговый гусар Астахов, а игрушками — пистолеты и сабли. Это тоже интерпретируется как перст судьбы, ведущей по предназначенному пути.

³ В 1839 г. Дурова еще раз обратилась к рассказу о своем детстве, опубликовав среди нескольких текстов под общим названием «*Добавление к Кавалерист-девице*» главу «*Некоторые черты из детских лет*». В двух версиях о детстве автогероини есть много общего, но есть и некоторые, довольно существенные различия, о которых ниже.

⁴ В дальнейшем все цитаты из «*Кавалерист-девицы...*» по этому изданию с указанием в тексте только страницы.

Фаллические игрушки, солидарность и симпатия (братство) мужчин, бунтарство, свободолюбие, любовь к физическим упражнениям и верховой езде, ненависть к женскому рукоделию и тому подобные акцентированные в описании себя в детском и подростковом возрасте черты подаются как аргументы из этого же ряда. Я — «от природы *другая*», «существо необыкновенное, неугомонное, неукротимое» (266), не похожее на своих «нормальных» подруг. Со своим обветренным и загорелым лицом она среди бледнолицых девочек — «словно жук в молоке» (263). Собственная «инакость» и ненормальность подаются как позитивные качества, как знак избранности: героиня полноценное существо, мужчина, по иронии судьбы родившийся в женском теле.

Но этот тип автогероя/автогероини — бунтаря/бунтарки и воина «от рождения» с женским именем является только одним лицом автоперсонажа, и названная выше сюжетная парадигма «следования зову судьбы» накладывается на другие, порождая ту нецелостность и явную противоречивость Я повествовательницы и Я героини, которые вообще, по наблюдениям многих феминистских исследователей, отличают женские автобиографии (см., напр., Brodzki & Schenk, 1988; Benstok, 1988).

Внутри автобиографии как истории исполнения предназначения («быть солдатом»), или, точнее сказать, перебивая ее, смешиваясь с ней, развивается иной, отчасти даже противоположный сюжет: рассказ о том, как в общем вполне нормальную, хоть и несколько эксцентричную девочку взрослые (и в первую очередь мать) буквально вытолкали из мира женского в мир мужской.

Дискурс вынужденного (прежде всего под давлением отношения и поступков матери) выбора особенно ясно заявлен во втором тексте, посвященном рассказу о детстве, «*Добавление к Кавалерист-девице. Некоторые черты из детских лет*». Автогероиня здесь изображается гораздо более традиционно: она любит красивую одежду, играет с подругами, участвует в девичьих святочных гаданиях, с нежностью и любовью относится к животным. Но мать (а отчасти и отец, все время сожалеющий, что Надежда — не сын, а только дочка) не дает этим «нормальным» девичьим чертам развиться и уравновесить эксцессы ее характера.

Феминистские психоаналитики утверждают, что на ранней (преэдипальной) стадии развития ребенка идентификация с матерью является основанием для гендерного самоопределения обоих полов. Но если мужское Я потом структурирует себя на путях автономии и отделения, то женская самость (*selfhood*) в большей сте-

пени создается через парадигмы присоединения и сотрудничества (см., напр., Chodorow, 1978; Benjamin, 1988). В этом контексте можно сказать, что Дурова изображает процесс собственного самоформирования по мужской модели, но интересно, что в ее автобиографической версии главной «виновницей» этого изображения на мать, предпринимая специальные активные усилия, чтобы разрушить связь между собой и дочерью.

Единственная попытка матери самой кормить новорожденную дочь⁵ оканчивается тем, что, когда девочка-младенец больно стиснула грудь деснами, «мать моя закричала пронзительно, *отдернула* меня от груди и, *бросив* в руки женщины, упала лицом в подушки» (27). Когда ребенок слишком громко плакал, мешая спать,

это переполнило меру досады матери моей; она *вышла из себя* и, *выхватив* меня из рук девки, *выбросила* в окно! Гусары вскрикнули от ужаса, соскочили с лошадей, подняли меня всю окровавленную и не подающую никакого признака жизни; они понесли меня опять в карету, но батюшка подскочил к ним, взял меня из рук их и, проливая слезы, положил к себе на седло. Он дрожал, плакал. Был бледен, как мертвый, ехал, не говоря ни слова и не поворачивая головы в ту сторону, где ехала мать моя. (27—28)

Все выделенные мною курсивом глаголы, описывающие поведение матери, несут семантику насилия и разрыва, в то время как мужчины (гусары) и отец — это те, кто жалеет, сочувствует и защищает. В изложении взаимоотношений подрастающего ребенка с матерью постоянно подчеркивается агрессивная материнская ненависть. «С каждым днем воинственные наклонности мои усиливались, и с каждым днем более мать не любила меня» (29). Обратим внимание, что здесь употреблен союз «и», который позволяет интерпретировать эту фразу двояко — в том числе и таким образом, что возрастающая «воинственность» дочери была производной от материнской нелюбви, следствием последней. Чуть ниже встречаем пассаж, где подобное соображение выражено уже практически прямо:

...мать моя, от всей души меня не любившая, кажется, как нарочно делала все, что могло усилить и утвердить и без того необоримую страсть мою к свободе и военной жизни: она не позволяла мне гулять в саду, не позволяла отлучаться от нее ни на полчаса; я должна была

⁵ Приятельницы сказали ей, «что мать, которая кормит грудью свое дитя, через это самое начинает любить его» (27).

цельный день сидеть в ее горнице и плесть кружева; она сама учила меня шить, вязать, и, видя, что я не имею ни охоты, ни способности к этим упражнениям, что все в руках моих рвется и ломается, она сердилась, выходила из себя и била меня очень больно по рукам. (29)

Мать делает любое общение с собой и женским миром родом наказания. Ее поведение последовательно и целенаправленно соединяет в сознании дочери понятие о материнском и женском начале с представлением о принуждении, контроле, немотивированном, почти садистском насилии. «Она продолжала держать меня взаперти и не позволяла мне ни одной юношеской радости» (30); «неусыпное око матери моей следило каждый шаг, каждое движение мое» (31); «матушка от самой залы до своей спальни вела и драла меня за ухо; приведши к подушке с кружевом, приказала мне работать, не разгибаясь и не поворачивая никуда головы. “Вот я тебя, негодную, привяжу на веревке и буду кормить одним хлебом!”» (32); «сколько я могу помнить, то она мне никогда ничего не позволяла любить!.. Всякая привязанность моя к чему бы то ни было находила препятствие!.. Довольно было увидеть, что я ласкала какое-нибудь животное, чтоб тотчас его отнять у меня» (273—274).

Не только мать, но и почти все другие женщины детства являются носительницами идеи надзора, контроля и принуждения. Уже первая нянька «пеленала так туго, что лицо у меня синело и глаза наливались кровью» (27). Тетка, у которой Надежда проводит лето, «была строгая женщина, наблюдавшая неослабный порядок и приличие во всем» (35). Бабка и другая родня «свободы моей не стесняли <...> но если б я осмелилась намекнуть только о верховой езде, то, думаю, меня осудили бы на церковное покаяние. Так нелicenseмерен был ужас родных моих при одной мысли об этих противозаконных и противоестественных, по их мнению, упражнениях женщин, а особливо девиц!» (34—35).

Именно женщины в текстах Дуровой воплощают патриархатную власть. В такой расстановке акцентов, с одной стороны, нет ничего особенно исключительного, так как в патриархатном обществе матери — это те, кто обучает правилам «правильного патриархатного поведения» (Engel, 1986, 6—19), но, с другой стороны, ситуация, изображенная в интересующем нас тексте, сложнее.

Мать настойчиво и насильно «одомашнивает» Надежду, прибавляет ее палкой к рукоделию и другим атрибутам нормальной женственности, в то же время ясно демонстрируя собственное отвращение к этой же нормальной женственности. Она приучает к женским занятиям, как обучают приговоренного к пожизненному

заключению правилам тюремного распорядка. Не случайно женское пространство в произведении — это всегда пространство замкнутое, ограниченное, тесное (дом, тесная горница, угол) — род тюремной камеры, место принудительной работы. Такие образы-метафоры, как пеленание, шнурование, заплетание волос в тугую косу, выражают мысль о несвободе как специально женском качестве.

Не только *несвобода*, но и *зависимость*, *стереотипность*, *отсутствие возможности выбора*, *исконная неполноценность*, *подверженность неусыпному наблюдению и контролю* и т. п. подчеркнута маркируются другими (и особенно матерью) и воспринимаются Дуровой как неотъемлемые атрибуты женственности:

Может быть, я забыла бы наконец все свои гусарские замашки и сделалась обыкновенною девицею, как и все, если б мать моя не представляла в самом безотрадном виде участь женщины. Она говорила при мне в самых обидных выражениях о судьбе этого пола: женщина, по ее мнению, должна родиться, жить и умереть в рабстве; что вечная неволя, тягостная зависимость и всякого рода угнетение есть ее доля от колыбели до могилы; что она исполнена слабостей, лишена всех совершенств и не способна ни к чему; что, одним словом, женщина самое несчастное, самое ничтожное и самое презренное творение на свете! (34)

Мать в тексте Дуровой одновременно и занимается патриархатной дрессурой, и (сознательно) провоцирует чувство отвращения к женской судьбе. Безусловно, давление матери, становящееся невыносимым, порождает стремление вырваться из мира принуждения и надзора, персонифицированного в ней. Уход из дому изображается как своего рода побег из тюрьмы, с которой ассоциируется женская участь. «Итак я на воле! свободна! независима! я взяла мне принадлежащее, мою свободу: свободу! драгоценный дар неба, неотъемлемо принадлежащий каждому человеку!» (43) — так она описывает свои первые мысли после ухода из родительского дома. Мотив обретения свободы (а не перемены пола) акцентируется здесь как главный. Цель этой свободы не в том, чтобы «стать мужчиной», а в том, чтоб избежать женской участи, которая в существующей своей форме предлагает ей быть рабой или изгоем. В этом смысле нельзя не согласиться с Мирьям Голлер, когда она говорит, что текст Дуровой не дает оснований говорить о ней как о транссексуале (см. Goller, 1995, 85, см. также: Zirin, 1988, XVI; Rancour-Laferriere, 1998, 457).

Как уже неоднократно подчеркивалось выше, в этой парадигме «перемены участи» мать — главный негативный образец, но в то же время и позитивная модель для Надежды и даже своего рода двойник. Важным аргументом в пользу такого утверждения является композиция первого текста о детстве, которую можно назвать кольцевой, так как текст начинается и заканчивается эпизодом женского бунта и побега из родительского дома. Автобиография Надежды открывается рассказом о случае из жизни ее матери (кстати, ее звали тоже Надеждой, Надеждой Ивановной), которая юной девушкой нарушила патриархатный запрет, выбрав избранника вопреки воле отца, «гордого властолюбивого пана малороссийского» (25), и ночью тайком бежала из родительского дома.

Мать в интерпретации дочери ведет себя как бунтарка, которая пытается в жизни быть активной и делать собственный выбор. Это относится не только к сцене побега, но и к эпизоду, в котором Надежда Ивановна узнает об измене мужа. Она «хотела было говорить ему кротко и покойно, но в ее ли воле было сделать это! <..> она била себя в грудь, ломала руки, кляла день рождения и ту минуту, в которую узнала любовь...» (38). После того как муж, на какое-то время «образумившийся», снова завел любовницу, «мать моя в отчаянии решила навсегда расстаться с неверным мужем и поехала к своей матери в Малороссию» (38), однако на полдороге остановилась и передумала.

Неудача бунта первой Надежды — урок для Надежды второй: оставаясь внутри женского мира, женской роли невозможно быть свободной и независимой, нельзя владеть и распоряжаться собственной жизнью. Женщина, проклятая отцом или оставленная/разлюбленная мужем, теряет все, вплоть до собственной жизни: «Батюшка переходил от одной привязанности к другой и никогда уже не возвращался к матери моей!.. Она томилась, увядала, сделалась больна, поехала лечиться в Пермь к славному Гралю и умерла на тридцать пятом году от рождения» (39). В рассказе об изменах отца (она возвращается к этой теме и во втором повествовании о детских годах) можно увидеть сочувствие матери; по утверждению М. Голлер, Дурова в этом случае «чувствует сильную идентификацию с матерью...» (Goller, 1995, 87)⁶.

⁶ Об этом же свидетельствует и описание Дуровой ее собственного побега из родительского дома. Эпизод, завершающий главу «*Детские лета мои*», содержит прямые параллели. Надежде № 2 (по версии автобиографии!) было во время этого поступка практически столько же лет, сколько было

Отношения автогероини с отцом декларируются как идиллические и беспроблемные. В отличие от матери, он, как и все мужчины детства, не стесняет свободы, не осуществляет надзора и разрешает делать то, что ей хочется. Но одновременно и в описании этих взаимоотношений можно увидеть все же некоторые серьезные проблемы, связанные прежде всего с вопросом половой идентичности автогероини. Отец постоянно высказывает сожаление, что она — не сын, а дочь. «Отец тоже говорил часто: “Если бы вместо Надежды был у меня сын, я не думал бы, что будет со мной под старость; он был бы мне опорой под вечер дней моих”. Я едва не плакала при этих словах отца, которого чрезвычайно любила» (34).

Но, с другой стороны, отец, как и мать, требует от Надежды нормального девичьего поведения. Как замечает Голлер, оба родителя как бы говорят ей: «лучше бы ты была мужественной, но так как то, что ты не мужчина, — уже свершившийся факт, то лучше будь женственной»⁷. Но так как давление отца не такое агрессивное и жесткое, как материнское, то, по мнению Д. Ранкур-Лаферье, Дурова переходит от самоидентификации с матерью к самоидентификации с отцом (что является распространенной причиной женского трансвестизма) (Rancour-Lafetiere, 1998, 464–465).

Таким образом, можно сказать, что представления о мужественности как свободе, выборе, действии, силе и власти и о женственности как синониме пассивности, подчинения, надзора и деперсонификации, выраженные прежде всего в словах и поведении родителей, изображаются в первой части записок Дуровой как главная причина ее перехода из женского мира в мужской.

Но при этом стоит еще раз подчеркнуть, что Дурова все время рассуждает о себе как о принадлежащей к женскому полу. В этом смысле ей безусловно свойственно то, что называют коллективной (групповой) идентичностью, и этим ее автобиография похожа на другие женские автобиографические тексты, где, как замечает Сюзанна Фридман, «Я конструируется (хотя и не ограничивается

в свое время юной матери: мать бежала «в конце пятнадцатого года ее от рождения» (25), дочери-персонажу «минуло шестнадцать лет» (39; в реальности, как уже отмечалось, ей было двадцать три года). И в том, и в другом случае действие происходило темной и ветреной осенней ночью. В рассказах можно встретить даже буквальные словесные совпадения.

⁷ «Sei lieber manlich, aber wenn du schon nicht manlich bist, sei lieber weiblich» (Goller, 1995, 85).

этим) на базе группового сознания — на осознании значения для собственной судьбы такой культурной категории, как ЖЕНЩИНА» (Friedman, 1988, 40).

Уникальность и жизни и текста Дуровой в том, что она остро ощущает названную культурную категорию и увязываемые с ней патриархатные стереотипы женственности как препятствующие осуществлению собственной судьбы, хотя в принципе не исключает, что при определенных условиях могла бы стать «обычной» женщиной. Несколько раз в тексте как бы завязывается сюжет обыкновенной женской истории: на Украине, гостя у бабушки,

я увидела себя в другой сфере. Не слыша никогда брани и укоризн женскому полу, я мирилась несколько с его участию, особенно видя вежливое внимание и угождение мужчин. Тетка одевала меня очень хорошо и старалась свести загар с лица моего; воинские мечты мои начинали понемногу изглаживаться в уме моем; назначение женщин не казалось уж мне таким страшным, и мне наконец понравился новый род жизни моей. (36)

У Надежды появляется девушка-подруга и даже своего рода возлюбленный — молодой красавец Киряков, с которым они разговаривают, встречаясь у заутрени. Но «старая Кирякова (еще один образ репрессировавшей матери! — И. С.) <...> запретила сыну своему думать обо мне» (36), а возвращение к собственной матери и к ее проклятиям женской доле окончательно оборвало намечавшийся сюжет «нормальной женской жизни».

Интересно, что, вспоминая этот украинский эпизод как возможную завязку несостоявшегося романа и брака, Дурова в то же время ни словом, ни намеком не проговаривается о своем замужестве и материнстве, состоявшемся позже в реальности. Как мне кажется, здесь дело не только в пуританской строгости современной ей цензуры или боязни реакции читателей/читательниц, которые были бы шокированы, если б узнали, что из дома сбежала жена и мать, о чем говорит Мэри Зирин (см. Zirin, 1988, XX). Факт замужества разрушал автоконцепцию, выстраиваемую в «*Кавалерист-девице*», автоконцепцию юной женской души, самостоятельно и безбоязненно выбирающей собственную судьбу. Главное условие самореализации для нее — свобода. Так как свобода женщине противопоказана, она отсутствует в самом определении женственности, то, значит, чтобы быть собой, надо перестать быть женщиной, перейти в другой мир, присвоить себе статус свободного существа — мужчины, военного.

«Курс молодого бойца»

Описывая во второй части «*Записок*» первые месяцы своего нового существования, Дурова говорит не о смене пола, а об изменении гендерного статуса и — как следствие — изменении возможностей самореализации и самооценки.

Свобода, драгоценный дар неба, сделалась наконец уделом моим навсегда! Я ею дышу, наслаждаюсь, ее чувствую в душе, в сердце! Ею проникнуто мое существование, ею оживлено оно! Вам, молодые мои сверстницы, вам одним понятно мое восхищение! Одни только вы можете знать цену моего счастья! Вы, которых всякий шаг на счету, которым нельзя пройти двух сажен без надзора и охранения! которые от колыбели и до могилы в вечной зависимости и под вечной защитой, бог знает от кого и от чего! Вы, повторяю, одни только можете понять, каким радостным ощущением полно сердце мое при виде обширных лесов, необозримых полей, гор, долин, ручьев и при мысли, что по всем этим местам я могу ходить, не давая никому отчета и не опасаясь ни от кого запрещения, я прыгаю от радости, воображая, что во всю жизнь мою не услышу более слов: ты девка, сиди. Тебе неприлично ходить одной прогуливаться! (56)

В этой принципиально важной цитате как бы сконденсированы все те представления о женственности и мужественности, которые и заставили Дурову сделать свой эксцентрический выбор. Сфера женственного здесь — не только мир запретов и принуждений, но и мир, так сказать, «без времени и пространства», повторение одного и того же, то есть отсутствие изменений и развития, мертвая неподвижность — от колыбели до могилы. Поля, горы, долины (и даже ручьи) — все это — за границей женского мира, а женщине предписано жить в «горнице», в «углу». Даже такие изначально кажущиеся позитивными свойства этого мира, как защищенность, оказываются в реальности негативными: защищенность — это контроль, надзор и — в конечном счете — «публичность» (постоянная подотчетность). Но страстное неприятие женского мира в этой цитате соединяется и с чувством солидарности с угнетенными сестрами. Адресатами текста, переполненного ненавистью к патриархатным стереотипам женственного, оказываются прежде всего «молодые сверстницы».

Во второй части «*Записок*» Дурова описывает свою жизнь в военном мире, который для нее, как уже говорилось, — мир свободы и самореализации. Она, как кажется, старательно следует за традиционными концептами мужественности, изображая мир во-

енных как сверхположительный, а своих однополчан почти исключительно как храбрых, доблестных, честных, ценящих мужское братство людей («надежные защитники, brave молодцы», 217).

Все возникающие у автогероя/автогероини проблемы интерпретируются не как гендерные, а как «возрастные», так как она описывает себя как мальчика, практически ребенка (все вокруг считают, что ей 14-16 лет). Развивая сюжетную парадигму адаптации новичка к военной жизни (так сказать, «курс молодого бойца»), она довольно подробно описывает тяжесть учения (не метафорическую, а буквальную):

Надобно, однако ж, признаться, что я устаю смертельно, размахивая тяжелою пикою — особливо при этом вовсе ни на что не пригодном маневре вертеть ее над головою, и я уже несколько раз ударила себя по голове; также я не совсем покойно действую саблею; мне все кажется, что я порежусь ею; впрочем, я скорее готова поранить себя, нежели показать малейшую робость» (55); ...мне дали мундир, саблю, пику, так тяжелую, что мне кажется она бревном; дали шерстяные эполеты, каску с султаном, белую перевязь с подсумком, наполненную патронами; все это очень чисто, очень красиво и очень тяжело! Надеюсь, однако ж, привыкнуть; но вот к чему нельзя никак привыкнуть — так это к тиранским казенным сапогам! они как железные! (57). Я привыкла к своим кандалам, то есть к казенным сапогам, и теперь бегаю так же легко и неутомимо, как прежде, только на ученье тяжелая дубовая пика едва не отламывает мне руку. (58)

Она много говорит о постоянном чувстве голода, о смертельной усталости и непреодолимом желании спать, которое заставляет ее иногда засыпать в самых неожиданных местах и при обстоятельствах, чреватых опасностью:

Усталость, холод от мокрого платья, голод и боль всех членов от продолжительного сидения на лошади, юность, не способная к перенесению стольких соединенных трудов, все это вместе, лишая меня сил, предало беззащитно во власть сну, как безвременному, так и опасному. (67)

Описывая себя внутри вождельного мужского мира, Дурова все же не изображает автогероя/автогероиню в качестве образцового или даже обычного, нормального члена этого сообщества, в большой степени сохраняя за собой позицию другого, не поддающегося четкой классификации существа. Хотя в ее рассказе о мужском военном (!) мире эксплицитно отсутствует идея принуждения и надзора (это все осталось в материнско-женском простран-

стве), но имплицитно названные концепты все же находят свое выражение — например, в том, что автогерой/автогероиня постоянно оказывается в незавидной роли нарушителя дисциплины и правил солдатского поведения. Он/она во время военных действий часто ведет себя неправильно, не как полагается, за что получает выговор от вахмистра (70), а потом и от высшего начальника:

Я приехала в полк, и теперь уже не ротмистр, но сам Каховский, генерал наш, сказал мне, что храбрость моя сумасбродная, сожаление безумно, что я бросаюсь в пыл атаки, когда не должно, хожу в атаку с чужими эскадронами, среди сражения спасаю встречного и поперечного и отдаю лошадь свою кому вздумается ее попросить, а сам остаюсь пешком среди сильнейшей сшибки; что он выведен из терпения моими шалостями и приказывает мне ехать сейчас в вагенбург. (76—77)

Порывы сострадания, о которых генерал упоминает как о неуместных, довольно подробно изображены в «Записках». Рядом с обычными формулами военного дискурса «высокое чувство чести, героизм, приверженность государю, священный долг» и т. п. присутствует ощущение ужаса насилия и смерти. Описаны два убитых во время привала солдата с вырванными внутренностями. «Содрогаясь, ушла я от страшного вида двух этих тел!» (64). «Ах, как ужасен человек в своем исступлении! Все свойства дикого зверя соединяются в нем! Нет, это не храбрость!» (66). Но наиболее подробно изображены не сцены сражений — прекрасные или ужасные, — а повседневные трудности военной жизни, точнее даже, военного быта. Можно сказать, что подобный, довольно редкий в военных мемуарах тех лет аспект в описании войны — концентрация в основном на буднях и мелочах солдатской и офицерской жизни — обусловлен именно той позицией «новичка», «естественного человека», «ребенка», «инога/иной», которая выбрана повествовательницей. Однако стоит отметить, что и в последующих главах, рассказывающих о жизни уже опытного воина, угол зрения меняется несильно. Как замечает современный исследователь, «о Бородинской битве, например, из “Записок” Дуровой мы узнаем главным образом то, что в этот день из-за ледяного ветра у атакующих мерзли руки» (Рогачевский, 1993, 25). Действительно, Дурова подробно описывает свои страдания от холода в день знаменитого сражения:

Эскадрон наш ходил несколько раз в атаку, чем я была очень недовольна: у меня нет перчаток, и руки мои так ооченели от холодного ветра, что пальцы едва сгибаются; когда мы стоим на месте, я кладу саблю в ножны и прячу руки в рукава шинели; но когда велют идти в

атаку, надобно вынуть саблю и держать ее голой рукой на ветру и холоде. Я всегда была очень чувствительна к холоду и вообще ко всякой телесной боли; теперь, перенося днем и ночью жестокость северного ветра, которому подвержена беззащитно, чувствую, что мужество мое уже не то, что было с начала кампании. Хотя нет робости в душе моей и цвет лица моего ни разу не изменялся, я покойна, но обрадовалась бы, однако ж, если б перестали сражаться. (171—172)

В этом бою Дурова получила контузию и снова откровенно описывает свои физические страдания и свою слабость перед ними:

Я не в силах выдерживать долее мучений, претерпеваемых мною от лома в ноге, от холода, оледенявшего кровь мою, и от жесткой боли всех членов (думаю, оттого, что во весь день ни на минуту не сходила с лошади). Я сказала Подъямпольскому, что я не могу более держаться на седле и что если он позволит, то я поеду в вагенбург. <...> Наконец пришло то время, что я сама охотно поехала в вагенбург! В вагенбург, столько прежде презираемый! Поехала, не быв жестоко раненною!.. Что может храбрость против холода!! (172)

Подобного рода примеры можно было бы умножить. Думаю, что, хотя, на первый взгляд, гендерная проблематика во второй, военной части текста Дуровой «зарегуширована», замаскирована под возрастную и практически никогда не выходит на первый план, можно с большой долей уверенности предположить, что в подобном описании «мелочей» военного быта, а главное — в откровенном изображении собственной слабости, иногда даже страданий под их бременем, важную роль играет именно пол повествовательницы.

Хотя автор и не обсуждает собственные трудности существования в мужском обществе, во время боевых действий, как специально гендерные, повествование от женского лица не дает читателю ни на минуту забыть, что храбрый юный солдат — это на самом деле женщина. И для самой Дуровой важно все время помнить и изредка даже подчеркнуто напоминать о своей изначальной половой принадлежности. Без этого сравнительного фона некоторые важнейшие «завоевания» героя/героини теряют ценность (например, возможность одиноких, никем не контролируемых прогулок на природе в свободное от службы время — экая невидаль для молодого мужчины!). В то же время этот фон позволяет понять, как непросто ей было добиться того, чего она добилась. Имея ввиду своих сослуживцев, Дурова замечала, что «им ведь не приходило в голову, что все обыкновенное для них очень необыкновенно для меня» (209). С другой стороны, именно статус

«своего среди чужих и чужого среди своих» в гендерном смысле, табуируя одни темы, создает ей большую степень свободы в других. То, что она на самом деле не мужчина и читатель об этом знает и помнит, освобождает ее от необходимости полностью соответствовать представлению об идеале истинной мужественности.

Модель настоящего мужчины, храброго воина, очень активно развиваемая в романтической прозе, поэзии и военных записках тех лет, накладывала ограничения на проявления чувств (исключая, конечно, такие, как любовь к Отчизне, ненависть к врагу и прочие выражения воинских добродетелей).

Справедливости ради надо сказать, что некая чувствительность в сентиментально-романтическом духе все же допускалась (особенно в поэзии), но говорить о своей слабости, усталости, неловкости, открыто и подробно описывать чувство ужаса при виде трупов убитых или свои многодневные слезы и страдания по поводу гибели любимого коня — такая «женская сентиментальность» табуирована в дискурсе воина и мужчины и практически не встречается, например, в современных Дуровой мужских военных воспоминаниях.

Таким образом, *получив свободу жить вне принуждений стереотипов женственности*, Дурова в то же время *сохраняет свободу писать вне стереотипов мужественности* или, по крайней мере, дистанцируясь от них. Это проявляется не только в том, что она более свободно выражает свои несанкционированные каноном военных мемуаров чувства, но и в том, что она удивительным образом разделяет концепты «война» и «насилие». Ее автогерой/автогероиня никогда не мог/могла бы разделить упоение лирического героя Дениса Давыдова, восклицавшего: «Я люблю кровавый бой!»

Дурова неоднократно пишет о красоте боя, о храбрости и бесстрашии как безусловных добродетелях воина и человека, но редко упоминает и практически не изображает подробно «рубку», сам «кровавый бой» — процесс уничтожения врага (как смысл и результат всех красивых проявлений воинской доблести). Немногочисленные упоминания о жертвах всегда соединяются с чувством ужаса и сострадания: «тогда я увидела страшное и плачевное зрелище: несчетное число мертвых тел покрывало поле; их можно было видеть: они были или совсем раздеты, или в одних рубахах и лежали, как белые тени на черной земле!» (69); «Великий Боже! Какой ужас! Местечко все почти сожжено! Сколько тут зажарившихся людей! о, несчастные!» (73) и т.п. Рассказывая о своих солдатских доблестях, она излагает эпизоды, в которых спасает сво-

их, а не те, где она убивает врагов (свой георгиевский крест она получила за то, что, подвергая себя опасности, спасла раненого офицера).

Неприятие насилия особенно ясно проявляется там, где повествовательница обсуждает такой близкий к хронотопу войны — и так же маркированный как специфически и специально мужской — хронотоп охоты:

Я продолжаю брать уроки верховой езды; к досаде моей, Вихман страстный охотник, и я волею или неволею, но должна ездить вместе с ним на охоту. Кроме всех неудобств и неприятностей, соединенных с этою варварскою забавою, жалостный писк терзаемого зайца наводит мне грусть на целый день. Иногда я решительно отказываюсь участвовать в этих смертоубийствах; тогда Вихман страшит меня, что если не буду ездить на охоту, то не буду уметь крепко держаться в седле. (101)

В отличие от мужчин-военных, которые представлены всегда (уже в главе о детстве) как идеальные «свои», мужчины-охотники — это совершенно непонятные «чужие», они описываются как какая-то каста чудаков, ненормальных:

Эти охотники какие-то очарованные люди; им все кажется иначе, нежели другим: адскую ветчину эту, которой я не могу взять в рот, находят они лакомым кушаньем; суровую осень — благоприятным временем года; неистовую скачку, кувыркание через голову вместе с лошадыю — полезным времяпровождением, и места низкие, болотистые, поросшие чахлым кустарником, — прекрасным местоположением! По окончании охоты начинается у охотников разговор об ней, суждения, рассказы — термины, из которых я ни одного слова не разумею. (102)

Однако главные претензии к охотникам названы выше: их увлечение, «забава» — смертоубийство.

Парадоксальность такого двойного стандарта, применяемого к охотникам и военным, для которых смертоубийство является, можно сказать, профессией, объясняется, с одной стороны, тем, что, как я пыталась показать выше, мотивы насилия и убийства не включены в военный дискурс дуровского текста, она исключает их из концептов мужественности, которые приспособливает для выражения *персональной* половой идентичности. С другой стороны, для Дуровой чрезвычайно важно, что объект варварской охотничьей забавы — животные, которые вообще в «*Записках*» Дуровой занимают особое, привилегированное место.

Интересно, что единственный эпизод «*Записок*», где Дурова связывает своего/свою автогероя/автогероиню с насилием и убийством, — это сцена убийства гуся. Во время сражения под Смоленском ее с отрядом солдат отправляют в разоренную деревню за сеном для лошадей. К этому поручению ротмистр Подьямпольский добавляет просьбу «достать чего-нибудь съесть: гуся, курицу; сколько уже дней все один хлеб: до смерти наскучило» (169). Далее следует подробное описание этой фуражировки:

Приказав уланам идти с лошадьми на луг, я осталась одна в покинутой деревне и, привязав лошадь, пошла осматривать опустевшие жилища. Что-то было страшно видеть все двери отворенными; везде царствовал мрак, тишина и запустение; ничто не было заперто: конюшни, сараи, анбары, кладовые и дома, все было растворено! На дворе, однако ж, ходили, лежали, стояли коровы, овцы и сидели гуси стадами: бедные гуси! Вид их припомнил мне просьбу Подьямпольского! Припомнил, что одному из них непременно надобно будет умереть! Ах, как мне стыдно писать это! Как стыдно признаться в таком бесчеловечии! Благородною саблей своей я срубила голову неповинной птицы!! Это была первая кровь, которую пролила я во всю мою жизнь. Хотя это кровь птицы, но поверьте, вы, которые будете когда-нибудь читать мои «*Записки*», что воспоминание о ней терзает мою совесть!.. (170)

Эпизод этот так и хочется назвать «по Бабелю» «*Мой первый гусь*». Исследователи Бабеля замечают, что убийство гуся в новелле из «*Конармии*» описывается «как своего рода инициация — ритуал подтверждения мужского достоинства автора в глазах казаков» (Жолковский & Ямпольский, 1994, 311). Однако в «*Записках*» Дуровой названный эпизод находится в середине текста и рассказывает о событиях 1812 г. — пятого года службы героя/героини в ведущей боевые действия армии! Эпизод не может рассматриваться как ритуальное убийство ради принятия в мужское братство, так как боевое крещение автогероя/автогероини давно уже состоялось, он/она не отвергается коллективом сослуживцев (хотя последние иногда относятся к нему/ней снисходительно-покровительственно — как к мальчику, «щенку» (72). Кроме того, у Дуровой в этом эпизоде нет наблюдателей-мужчин, взгляд и оценка которых придавали бы акту насилия символический смысл. Дело просходит без свидетелей, в каком-то почти мистически пустом месте. Но тем важнее оказывается тот факт, что именно этот эпизод содержит единственное в тексте «*Записок*» прямое обращение к читателям — повествовательница призывает, создает вирту-

альных свидетелей, чтобы сказать о чувстве вины и стыда за бесчеловечный поступок, за совершенное насилие!

Акт насилия — не знак мужественности, а только постыдный грех, не достойный человека (бесчеловечный). Этот акт символизирован и осужден и в то же время частично отделен от «воинского» (благородно-романтического) дискурса, выведен за рамки хронотопа сражения, битвы⁸. Но, с другой стороны, насилие осуществляется над «невинным» существом — следовательно, это грех больший, чем убийство врага.

Для Дуровой, как мне кажется, существенным является в этом эпизоде и то, что протагонист/протагонистка, как презируемые ею «очарованные люди» — охотники, убивает животное, между тем как в ее жизни животные занимают особое место, и в тексте, как уже говорилось, у них особый статус. В главе «*Некоторые черты из детских лет*» специальное место отведено подробным воспоминаниям о животных — друзья детства автогероини: крошечной, разноглазой собачке Манильке, прирученной тетерке, которых мать, увидев страстную привязанность к ним дочери, отняла и выбросила. «В двенадцать лет, — замечает повествовательница, — все эти малолетние привязанности ребенка заменились сильным пристрастием к Алкиду» (277) — коню, который стал лучшим другом отрочества и первых армейских лет и которому посвящено немало страниц в «*Записках*».

Алкид — единственный друг⁹, вместе с ним она совершает побег из дома, он разделяет все перипетии военной судьбы, у них схожий нрав и схожее предназначение — про Алкида не раз говорится, что он не создан для упряжки. Самое эмоционально напряженное место «*Записок*» — это, пожалуй, эпитафия погибшему коню:

Алкид! Мой неоцененный Алкид! Некогда столь сильный, неукротимый, никому не доступный и только младенческой руке моей позволявший управлять собою! Ты, который так послушно носил меня на хребте своем в детские лета мои! Который протекал со мною кровавые поля чести, славы и смерти; делил со мною труды, опасности, голод, холод, радость, довольство! Ты, единственное из всех живот-

⁸ Хотя, даже понимая всю меру влияния книжно-романтических шаблонов, в высшей мере странно в контексте записок человека, пятый год участвующего в военных кампаниях, читать такие слова: «то была первая кровь, которую пролила я во всю мою жизнь»!

⁹ Как пишет Дурова, «к концу тринадцатого года моего от рождения <...> я не любила никого, исключая Алкида» (278).



Н. Дурова в 60-е гг.

ных существ меня любившее! Тебя уже нет! Ты не существуешь более!» (81)... Дежурный офицер, увидя, что я обнимаю и покрываю поцелуями и слезами бездыханный труп моей лошади, сказал, что я глупо ребячусь. (82)

Немецкая исследовательница Зигрид Вайгель, говоря о способах, с помощью которых пишущая женщина старается преодолеть ощущаемую ею женскую неполноценность, дефектность, называет одним из первых выход в нейтральное детское «es» (Weigel, 1988, 96). Это актуально и для Дуровой. В мужском сообществе, как уже не раз отмечалось, она маскируется не столько в мужчину, сколько в мальчика, ребенка, страхуя таким образом себя во многих провокативных ситуациях, таких как, например, попойки, скабрёзные разговоры, сексуальные авантюры и т. п. Но в некотором смысле, по-моему, можно сказать, что функцию (гендерно) нейтрального *es* выполняют животные, которые изображаются как идеально естественные существа, авторское самоотождествление

с которыми позволяет Дуровой в какой-то степени пережить или разрешить идентификационный кризис.

В той версии о себе, какую Дурова предлагает читателю в своих автобиографических записках, она подчеркивает, как много она приобрела, сделав эксцентричный выбор. В то же время, читая текст, можно ясно видеть, как промежуточность ее положения, ее ситуация на границе, на «нейтральной полосе» между женственностью и мужественностью, давая ей свободу, своим постоянным воспроизводством кризиса идентичности создает большие сложности. Не соглашаясь со стереотипами женственности, она не во всем принимает и современные ей стереотипы мужественности. Для женщин — она слишком смелая и дерзкая, но те же самые качества оцениваются мужчинами как «девичья скромность». В прежнем своем качестве она была плохой женщиной, в новом качестве — она неполноценный гусар.

Снова и снова Дурова должна «разыгрывать» свой пол, мотивировать его для себя и других. Это яснее ощущается, когда окружающее общество гендерно неоднородно: например, когда среди военных появляются женщины или — тем более — когда она в своем новом облике возвращается в мир, где ее знали девушкой. Небольшая глава «Отпуск», рассказывающая о том, как через три с половиной года службы автогерой/автогероиня приезжает в отпуск в родительский дом, в этом смысле особенно характерна:

Оставшись одна перед запертыми воротами дома, в котором прошло мое младенчество, угнетенное, безрадостное, я не испытывала тех ощущений, о которых так много пишут! Напротив, с чувством печали пошла я вдоль палисада к тому месту, где знала, что вынимались четыре тычины; этим отверстием я часто уходила ночью, бывши ребенком, чтоб побегать на площадке перед церковью. Теперь я вошла через него! Думала ли я, когда вылезала из этой лазейки в беленьком канифасном платице, робко оглядываясь и прислушиваясь, дрожа от страха и холодной ночи, что войду некогда в это же отверстие и тоже ночью гусаром!! (105)

Ей отворяет горничная покойной матери Наталья, которая называет вошедшего с саблей под рукой гусара «матушка барышня». «Сейчас, сейчас! Матушка... — Потом прибавила, говоря сама с собою: — Может быть, теперь нельзя уже называть барышнею! Ну да не скоро привыкнешь...<...> да как же вас теперь зовут, барышня? вы вот, я слышу, говорите не так уж, как прежде». — «Зови так, как будут звать другие». — «А как будут звать другие, матушка?.. батюшка! Извините». <...> Болтунья пошла <...>, а я осталась раз-

мышлять о том, что подобные сцены повторяются не только со всеми дворовыми людьми, но и со всеми знакомыми отца» (106).

Подобная ситуация, в которой половая двойственность автогероя/автогероини становится маркированной и требует мотивировки и разъяснения, повторяется не раз в ее жизни и делается особенно острой, когда она принимает решение опубликовать свои «Записки». Но сам текст «Кавалерист-девица. Происшествие в России» в большой мере и выполняет такую мотивирующую функцию. Написание автобиографического текста стало для Дуровой еще одним, возможно самым главным, способом через создание «графической» самости обрести эту самость — не женскую и не мужскую (или и женскую, и мужскую) — *персональную*.

При этом Дурова, подчеркивая исключительность своей истории, не изображала собственную судьбу как рецепт или модель поведения. Права Екатерина Некрасова, когда, сравнивая текст «Кавалерист-девицы» с профеминистскими декларациями «шестидесятников и шестидесятниц», писала, что «в ее (Дуровой. — И. С.) поступке не было ничего теоретического, тенденциозного, из чего исходили стремления современной женщины, доведенной до тех или иных теорий экономическим положением жизни» (Некрасова, 1890, 594). Посредством полемического обсуждения и деконструкции существовавших представлений о поле, о мужественности и о женственности в тексте «Записок» Дурова отразила свою «подвижную» персональную половую идентичность, представляя свою/своего автогероиню/автогероя как личность, демонстрирующую условность и относительность любой «нормы».

Сергей Жеребкин

СЕКСУАЛЬНОСТЬ В УКРАИНЕ: ГЕНДЕРНЫЕ «ПОЛИТИКИ ИДЕНТИФИКАЦИИ» В ЭПОХУ КАЗАЧЕСТВА

Украинский казацкий нomaдизм и политики сексуальности

Вплоть до конца XVIII столетия обширные степные территории на юго-востоке России, составляющие большую часть территории современной Украины (от слова «украина», «у края»), практически не были заселены оседлым населением и представляли район перемещений различных кочевых племен: крымских и ногайских татар, калмыков и др. Во второй половине XIV в. сюда начал возрастать поток беженцев из соседних славянских государств, которые создавали небольшие поселения (хутора) первоначально в основном на правом берегу Днепра. Из среды этих беженцев впоследствии возникли знаменитые украинские казаки, прославившиеся своим стремлением к независимости, воинственностью и общественным устройством, сочетавшим элементы анархии и строгой военной дисциплины.

Важное значение для придания украинскому казачеству официального статуса имела попытка польских королей, начиная со Стефана Батория, организовать казаков как военную силу для защиты южных польских границ от татарских и турецких нападений. При этом часть казаков стала числиться на королевской службе, была внесена в особый список (реестр) и получала жалованье по существу за сам факт проживания на опасной пограничной территории. Польское, а затем российское правительства хотели видеть в казаках своего рода передовой форпост оседлости и христианского сознания, служащий защитой против кочевников. Однако на практике это выглядело иначе. Казацкие атаманы и

правители (гетманы) постоянно братались с «татарскими цариками» и вместе с ними совершали набеги на польско-украинские города, села и монастыри. Из «инострannого» состава казачества наибольший процент составляли татары, а у татар, в свою очередь, существовали свои казаки — белгородские, перекопские, азовские, нередко имевшие славянское имя и происхождение. Поэтому идентичность казаков была близка идентичности кочевников, номадов, издревле населявших причерноморские степи.

Образ жизни, наиболее приближенный к кочевому, вело запорожское казачество, центром которого было военное поселение Сечь на островах в районе днепровских порогов. Важную роль в жизни запорожцев играла река, с которой были связаны основные способы добывания пищи — охота и рыболовство, а также основной способ ведения войны — морской набег. Для набега они использовали особые, грубо сооруженные 50—60-местные весельные лодки *чайки*, которые казаки изготавливали из стволов липы и ивы за короткий отрезок времени. Успех набега на лодках достигался за счет быстроты и малозаметности казацких судов, которые крадучись проскальзывали ночью мимо турецких сторожевых галер и внезапно появлялись у прибрежных городов. Особенно славились запорожцы своим умением прятаться в степных травах и камышах, из-за чего их прозвали «камышатниками». Вынужденные в ходе военных действий постоянно затаиваться, маскироваться, а также искусно убежать и прятаться, казаки мастерски овладевали степным и речным ландшафтом, подражая степным зверям, птицам, змеям и рыбам, «как это делали, — по словам историка, — лихие предместники Запорожья, печенег и половцы, — их Змей Тугарин, их Боняк Шелудивый, с которыми, бывало, переговаривались криком и зыком, как братья родные, дикие звери степные» (Надхин, 1876, 133). Поэтому военная стратегия запорожцев мало чем напоминала стратегию западных военизированных сообществ сходного типа, с которыми обычно сравнивали казаков: литовских и мальтийских рыцарей, вольных стрелков Чарльза Седьмого, военных колоний Спарты, ранних греческих государств, республик флибустьеров и т.д. (см. Cresson, 1919, 28; March, 1990, 44—45).

Хотя украинские казаки периодически вступали в официальные отношения с властями соседних государств — заключали договоры, военные союзы, посылали и принимали посольства, — их внешнеполитические связи были крайне нестабильны и носили непостоянный характер. Даже на фоне общей непрочности взаимных обязательств и договоров между государствами региона в этот

период казаки выделялись особой ненадежностью и неисполнительностью в отношении взятых на себя обязательств. Заключив союзнический договор, казаки тут же начинали его нарушать, утвердив о себе у соседних государств славу ненадежных союзников, предателей. «Они хороши для нечаянного нападения, набега и действия врассыпную, но люди они дикие, необузданные, не имеющие страха божьего, на верность их нельзя рассчитывать» (Древние путешествия иностранцев по России, 1863, 209), — характеризовали казаков в 1594 г. австрийскому послу российские бояре.

Ненадежность военного договора с казаками пришлось на своем опыте испытать шведскому королю Карлу XII, который в 1708 г. предпринял попытку наступления на Россию через Украину в расчете на поддержку запорожского войска, обещанную ему втайне от русского царя Петра I казацким гетманом Мазепой. Однако, когда шведская армия, проделав огромный окольный путь по непроходимым лесам и болотам, наконец вышла к условленному месту, где она должна была соединиться с казаками, вместо обещанного войска Карла встретил лишь небольшой отряд Мазепы и его сторонников. Расчет на украинских союзников привел шведского короля к потере большей части армии и в итоге к поражению во всей военной кампании.

Невозможность прочного военного союза между регулярной армией феодального государства и войском казаков была вызвана в первую очередь принципиальными различиями их политической организации. Институты, составлявшие основу политической системы феодального государства, были практически неразвиты у казаков, не признававших писаного законодательства, государственных повинностей и распоряжений. Запорожское войско вело себя в отношении государства как настоящая «кочевая машина войны»¹, решительно противясь любым попыткам навязать ему армейские порядки. Из основных элементов феодальной политической структуры фактически только церковь играла существенную роль в социальной организации казаков. Однако, хотя принадлежность к православной церкви и являлась одним из немногих формальных условий приема в казаки, на практике черты христианского сознания в запорожском войске, включавшем представителей самых различных народов и вероисповеданий, проявлялись слабо и носили формальный характер. Священники, которых присыла-

¹ Термин Жюль Делеза и Феликса Гваттари, см. их работу «Трактат о Номадологии» (Deleuze, 1988, 352).

ли в Запорожье из Межгирского монастыря, не пользовались у казаков авторитетом и полностью зависели от сечевого старшины. Простые казаки нередко поносили и били дьяконов, от которых в Запорожье требовалось только одно: чтобы те хорошо пели. Если священник не имел необходимого голоса или терял способность к пению, его прогоняли из Сечи (см. Шерер, 1994, 178).

Об особенностях казачьего права серб Юрий Крижанич, посетивший Украину в 1659 г., писал: «хотя козаки и исповедуют православную веру, но нравы и обычаи у них зверские» (Малорусские козаки между Россией и Польшей в 1659 году по взгляду на них серба Юрия Крижанича, 1863, 115). В условиях отсутствия писаного законодательства и неразвитости политических институций основную роль в правовой организации казаков играли запреты, действовавшие по принципу табу и объединявшиеся в две основные группы: а) запреты, относящиеся к убийству, и б) сексуальные запреты. Мера наказания за убийство определялась в каждом конкретном случае степенью, в которой оно противоречило системе ценностей казачьего коллективного права. Поэтому в одних случаях наказание было суровым: виселица, битье палками («киями») у столба до смерти, сажание на кол и др., а в других случаях убийца мог быть помилован или подвергнут незначительному наказанию. За ранение товарища наказывали лишением конечности, а за убийство своего закапывали заживо, укладывая убийцу на тело убитого. При этом могли помиловать за убийство, совершенное в ответ на оскорбление. Например, за обзывание «жидом» или за убийство женщины. Приводить женщин в Сечь запрещалось, а сексуальные отношения с женщинами в период нахождения в Сечи наказывались смертной казнью. В безженном казачьем сообществе нередко были случаи гомосексуализма и скотоложства, наказание за которые было также суровым: битье палками у столба (см. Скальковский, 1994 (1841), 131—140; Шерер, 1994, 180).

Строгость запорожских наказаний за нарушение правил сексуального поведения резко контрастировала с положением в России, где в это время контроль за соблюдением норм сексуальности был достаточно слабым и существовала поражавшая иностранцев обстановка терпимости по отношению к гомосексуализму и скотоложству (см. Герберштейн, 1988, 118). Иначе обстояло дело в архаических культурах, где сексуальное удовлетворение не являлось частным делом индивида, а принимало форму *трансгрессивной сексуальности*, т.е. рассматривалось в широком культурно-космологическом контексте. Функция сексуальных запретов здесь была

направлена не на то, чтобы нейтрализовать и ослабить сексуальную энергию, а чтобы переориентировать ее и организовать эффективнее для использования в интересах коллектива. Так, например, в древних земледельческих культурах (у индейцев Перу, в Древнем Египте и др.) сексуальный акт понимался как важный связующий элемент структуры космоса, обеспечивающий поддержку природной функции плодородия. У кочевников, в отличие от древних оседлых народов, сексуальный акт рассматривался прежде всего в контексте стратегии ведения военных действий, которая у казаков, так же как и у татар, имела исключительное значение для выживания коллектива и поэтому еще не была отделена от сферы культовых практик и ритуалов.

В ходе непрекращающихся набегов, грабежей и захватов пленников, ареной которых в этот период являлась Украина, женщины рассматривались воинами не просто в качестве объектов сексуального удовлетворения, а выступали в первую очередь в роли абстрактных знаков, маркировавших успех и область вооруженного захвата. Военно-стратегическая оценка полового акта была характерна в это время для всех участников вооруженных конфликтов в регионе, рассматривавших изнасилование как обязательную форму продолжения военных действий. Однако характерно, что женщины не выступали в роли привилегированных объектов сексуального насилия, которому захватчики стремились подвергнуть максимальное число населения. Так было, в частности, в 1674 г., когда гетман Дорошенко привел войска турок и татар в Чигирин (тогдашнюю казацкую столицу) и было изнасиловано как женское, так и мужское население, а также несколько тысяч мальчиков, захваченных казаками в заднепряньских городах и переданных в дар турецкому султану (см. Кониский, 1846, 175—176). Поэтому в представлении западноевропейских путешественников по Восточной Европе Украина выступала как арена необычайного сексуального насилия, и прежде всего — анальных изнасилований как выражения сексуальных политик номадов (см. Wolff, 1994, 102).

В военной стратегии турок, татар и персов сексуальная политика была направлена на то, чтобы подтвердить объективность результатов военной кампании, маркировав телесно область вооруженного захвата. Так, например, когда в 1795 г. персидский шах Ага-Мохамед захватил и разрушил Тифлис, его солдаты старались не только изнасиловать максимальное число женщин противника, но и пометить каждую жертву характерным знаком, надрезая изнасилованным женщинам сухожилие на правой ноге. Таким

образом память о нападении сохранилась надолго, и даже по прошествии многих лет в Тифлисе еще можно было встретить старух, хромавших на правую ногу (см. Тынянов, 1963, 161—162). В идеале изнасилованию как символической замене убийства в ходе номадического набега должно было подвергнуться все население захваченной территории. Такой тип сексуальных политик Делез и Гваттари называют «зоосексуальным эросом», поскольку в этом случае воины использовали свое собственное тело подобно тому, как животное использует свою сперму, маркируя ею границы освоенной территории.

В отличие от татар и турок, номадические сексуальные политики у украинских казаков были задействованы в первую очередь в укреплении института политической власти. В условиях неразвитости политических институций обеспечивать исполнение политической власти в казацком сообществе могла только угроза безотлагательного прямого насилия, функцию символического замещения которого выполняло сексуальное насилие. Такое функционирование сексуальности характерно для дискурсивных практик, в которых фаллос, по выражению Жака Лакана, выступает как «привилегированное означающее».

Согласно логике номадического мышления, объединяющей насилие и сексуальность, индивид, по отношению к которому осуществляется половой акт, подвергается дискредитации, «опускается», а тот, кто его совершает или способен совершить, удостоивается уважения, почета и репутации «человека чести». Этот тип сексуальных политик идеально моделируется в условиях тоталитарного тюремного заключения, в сталинской «зоне», где человеческая жизнь рассматривается как ничто, тогда как мужская честь («слава казацкая» — в терминах запорожцев) — как всё. На базе этой ценностной иерархии сообществом внутри себя решается политическая проблема: как организовать порядок и дисциплину в группе преступников-рецидивистов, потенциально ориентированных на состояние анархии. Благодаря использованию коллективных сексуальных политик неформальным лидером («паханом») в «зоне» становится не просто самый физически сильный заключенный, а самый «достойный» — самый отчаянный, не боящийся смерти, не знающий пощады и не ценящий жизнь другого. Стандартная модель социальной стратификации «зоны» — «блатные», «приблатненные», «мужики» и «петухи» («опущенные») — использует семиотические коды, в которых секс тождествен изнасилованию и служит знаком «опущения». В сообществе данного типа

сексуально «опущенный» индивид юридически мертв, а право на убийство подтверждается правом на сексуальное насилие. Эта же логика лежит в основе риторики гоголевского Тараса Бульбы, аргументирующего свое право на убийство сына. В представлении казацкого сообщества сексуальность служит подтверждением отношений субординации, заключенных в отношениях родства. Поскольку власть начальника, отца распространяется на жизнь подчиненных, право на сексуальные отношения рассматривается как право на жизнь индивида. В форме императива это означает: «Я имел сексуальные отношения с твоей матерью, значит, я могу тебя убить». Поэтому когда старый казак говорит Андрию: «Я тебя породил, я тебя и убью», взрослый сын ему безропотно подчиняется и позволяет себя убить.

Данный тип коллективного эроса — это мужской *гомосексуальный эрос*, так как он регулирует социальные отношения в группе мужчин посредством особого механизма сексуальной дискредитации. Функционирование этого механизма исключает интимные сексуальные отношения с женщинами, как исключается им всякий половой акт, который не служит знаком «опущения» индивида. Прецедент политически нейтрального секса рассматривается группой как грубое нарушение коллективного права, позор для сообщества в целом. Описывая процедуру наказания у запорожцев за любовные отношения с женщиной, Пантелеймон Кулиш рассказывает, что запорожцы, проведав о проступке своего товарища, пошли к кошевому атаману со словами: «Какой нам стыд делает Ногаец (прозвище казака. — С. Ж.), пане батько! повадилсЯ ходить к пономарихе, словно пес какой!» (Кулиш, 1856, т. 1, 160). В ответ кошевой тут же распорядился выследить казака, занимавшегося любовью, а затем подвергнуть обычному в таком случае наказанию — битью палками у столба до смерти.

Иначе оценивались у казаков гетеросексуальные отношения, завершавшиеся убийством женщины. Такие случаи рассматривались как образцы мужественного поведения и воспевались в казацком фольклоре. В одной из казацких песен, пересказанной Шевченко («У тієї Катерини...»), казаки-соперники вместе убивают свою возлюбленную Катерину, а после этого братаются и уезжают в Сечь. Примером подлинно казацкого отношения к женщине может также служить воспетый в известной народной песне жест атамана донских казаков Степана Разина, бросающего за борт ладьи свою возлюбленную — персидскую княжну. Ритуал убийства женщин был и у яицких казаков, у которых существовал

обычай убивать своих жен и детей от них перед тем, как выходить в опасный военный поход. Легенда рассказывает, что этот обычай прекратился лишь тогда, когда красота одной из женщин — жены атамана Гугни — не побудила его отказаться от такого варварства, так что долго после этого поколения уральцев, происшедшие от яицких казаков, пили в память прекрасной Гугнихи, говоря: «Не была бы так хороша бабушка Гугниха, не было бы и нас» (Надхин, 1876, 131—132).

Убивая женщин, с которыми они вступали в сексуальные отношения, казаки восстанавливали таким способом изначальное и приоритетное для их сообщества значение сексуальности как формы символической замены реального насилия. В этом их сексуальные политики принципиально отличались от сексуального поведения русских солдат, у которых политики трансгрессивной сексуальности уже утратили свое значение. Если мы проанализируем различия сексуального поведения запорожского войска и российского царского войска в период их совместного похода в Белоруссию в 1655—1656 гг., то мы увидим принципиальные отличия в обращении с женщинами, свидетельствующие о различии коллективного эроса, лежащего в основе их военных организаций. Так, «государевы ратные люди» при выборе сексуального объекта и устройстве своей сексуальной жизни на захваченной территории обычно вели себя следующим образом: они конфисковывали женщин у местного населения, забирали их с собой и коллективно использовали до поступления особого распоряжения царя — отдавать женщин их мужьям и семьям обратно. Среди собрания государственных актов Российской археографической комиссии, относящихся к этому периоду, сохранилось большое число соответствующих крестьянских челобитных царю типа: «о разграблении их государевыми ратными людьми и о дозволении им разыскивать захваченных своих жен и детей по государевым таборам и боярским полкам» (*Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России*, т. 14, 239, 331—334). Как правило, царь, находившийся в это время при войсках, давал положительную резолюцию на такого рода ходатайства, повелевал «полон сыскивая отдавать» и даже иногда приказывал наказывать виновных в захвате женщин.

Иначе строили свои отношения с женщинами в период похода запорожские казаки. Кроме грабежей, в которых они значительно превосходили русские войска, они также забирали подходящее им мужское население деревень в казаки, а женщин убивали. В архивных материалах сохранились многочисленные государевы грамо-

ты к казацким гетманам и полковникам с требованием строго запретить своим людям «жечь деревни, побивать и сечь до смерти женский пол, девиц и малых ребят» (*Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России*, т. 14, 453, 753—754, 901—902). Почему этого делать нельзя, казаки не могли понять, а царь не мог им объяснить и не находил никакого другого рационального аргумента, кроме того, что «нам, великому государю, со всеми нашего величества ратами в здешних местах зимовать» (*Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России*, т. 14, 902). В результате между московскими и казацкими войсками росла стена недоверия и неприязни, которая впоследствии стала приобретать этнический характер.

Подчеркивая эротический характер отношений, связывавших членов запорожского товарищества, Гоголь в «*Тарасе Бульбе*» верно схватывает гомосексуальную природу Сечи, которую он в то же время идеализирует, изображает как особую форму воплощения платонического идеала мужской солидарности. При этом Гоголь в духе традиций литературы романтизма не отмечает у казаков связь политик сексуальности с практиками насилия внутри их сообщества и поэтому неверно интерпретирует социальную функцию украинской женской жертвы. В действительности же казаки убивали женщин не потому, что те не интересовали их в качестве сексуальных объектов, а потому, что именно женщины репрезентировали в их представлении отношения сексуальности, которые были другого типа, другой природы, чем коллективный эрос казацкого сообщества. В основе политического механизма у казаков, как и во всякой другой утопии коллективности, лежали практики крайнего физического насилия, манифестирующего себя на символическом уровне как сексуальное насилие. Гармония мужского казацкого сообщества предполагала наличие социального слоя «опущенных», роль которых в первую очередь играли, как это и показано у Гоголя, инородцы: еврей-лавочники, поляки, казаки неукраинского происхождения и др., которых периодически начинали массово истреблять в Сечи, предваряя знаменитые еврейские погромы на Украине конца XIX — начала XX вв. В этом типе коллективного эроса только гомосексуальные отношения признавались нормальными, однако не в смысле отношений однополый мужской любви, а, наоборот, в смысле предельного насилия, жестокости, символом которой в номадическом сообществе выступал сексуальный акт.

Женщины и политики женской идентификации в «кочевой машине войны»

Могла ли женщина стать казаком, быть включена в общественную структуру запорожцев? Традиционно считалось, что не могла и что запорожское войско было полностью безженным. Однако исторические документы свидетельствуют о том, что женщины все-таки были и в Сечи, и в казацком войске. Из российских и польских официальных актов и правительственных документов мы можем заключить, что среди казаков постоянно находилось достаточно большое число женщин и что они сопровождали казацкое войско в походах. Среди официальных российских бумаг, относящихся к совместному походу в Белоруссию русских войск и украинских казаков в 1654—1655 гг., сохранились указы царя Алексея Михайловича Романова с требованием очистить казацкие полки от «женщин и девок». Так, в подтвердительной грамоте казацкому полковнику Ивану Поповичу 30 июля 1655 г. царь писал: «А что у вас в полках женок и девок, и ты б однолично велел их из обозу выбить для того, что мы великий государь идем, за милостию Божию, на недруга своего со всеми вами нашего царского величества ратми, и за блудные дела, кто, забыв страх Божий, такое скверное дело творит, Бог не помогает»². Сохранились также и польские свидетельства, отмечавшие, что при занятии козацких позиций поляки всегда находили много женщин.

Кто были эти женщины? Чем они занимались? Каковы были их функции в отношении с казаками? Как сообщает польский историк Антони Ролле в своем исследовании о роли женщин при дворе Богдана Хмельницкого, женщины в казацких полках относились к трем категориям: а) наложницы («девки-бранки»), в) куховарки и с) «ворожки», или «чаровницы» (Ролле, 1896, 293). Женщины, использовавшиеся в сексуальных целях и в качестве подсобной рабочей силы, ценились у казаков невысоко. Такую женщину в Сечи можно было продать татарам, обменять. О торговле женщинами в Запорожье рассказывает Кулиш: «Тогда так было, что вот уговорит девку, завезет на Запорожье, продаст, а сам вернется» (Кулиш, 1856, т. 1, 102).

² «Подтвердительная государева грамота черниговскому полковнику Ивану Поповичу, чтоб сел и деревень не жечь и из обозу девок и женок выгнать, чтобы разврату не было» (*Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России*, 1889, т. 14, 902).

Когда запорожцы участвовали в набегах вместе с татарами, то при дележе добычи женщины обычно отдавались татарам, которые перепродавали их на невольничьих рынках в Крыму. При захвате польско-украинских городов вместе с татарами задача казаков обычно заключалась в том, чтобы усыпить бдительность горожан: они уговаривали их открыть ворота и пустить их в город на ярмарку, купить хлеба и др., а затем, когда ворота открывались, то вместе с казаками в город врываются и татары, и начиналась резня. В свою очередь татары после захвата города часто уводили с собой в плен украинских крестьян и бедноту, помогавших им перед этим грабить город и убивать польское и еврейское население (см. Костомаров, 1888, т. 2, 68—69). В этой ситуации казаки нередко отдавали татарам и часть украинских женщин из своего табора в обмен на долю захваченной добычи. Как пишет Ролле, «женщины и дети доставались после победы в основном татарам; когда же пленниц было мало, или их стоимость не отвечала добычи, которую получали после победы козаки, то татары, кроме пленниц, получали и известное число украинок; этот обычай до того укоренился, что украинский люд стал подозревать, что и Хмельницкий в этом участвует» (Ролле, 1896, 293).

Гораздо выше, чем обычные женщины, котировались у казаков «ворожки», которые происходили, как правило, из знатных казачьих родов и составляли своеобразную свиту казацких атаманов. В отсутствие у казаков института полковых священников эти женщины выполняли функцию жриц-вещуний, часто управлявших волей и настроениями харизматических казацких атаманов и гетманов. У Богдана Хмельницкого был целый штат ворожек, в обществе которых он часто проводил время и которые имели на него настолько сильное влияние, что его вторая жена Олена часто прибегала к их помощи для того, чтобы повлиять на решения мужа. Так, в историческом свидетельстве, относящемся к февралю 1649 г., сообщается: «Долго спал Хмельницкий после того, как подпил с ворожками, которые его забавляют и обещают ему удачу на войне в этом году» (Ролле, 1896, ч. 6, 116). Казаки часто, выступая в поход, консультировались с ворожками и корректировали свои военные действия в зависимости от их предсказаний. Одну из таких женщин — сестру атамана Донца — описывает Костомаров в своей истории войн Хмельницкого: «это была чаровница, которая умела вещать будущее и чародейскими заговорами помогала козакам; когда козакам было опасно, она советовала уклониться от боя; когда ж им было суждено победить, она живо гарцевала верхом впереди войска. Вражеское оружие долго не брало ее» (Костомаров, 1888, т. 2, 4).

В то же время судьба «ворожек» в казацком лагере была непрочна и переменчива, так как они репрезентировали для войска магическую составляющую атаманской власти. Как только их пророчества переставали сбываться, казаки, а иногда их противники, к которым они попадали в плен, жестоко расправлялись с ними: сажали на кол, топили в реке, забивали палками. Так погибли сестра атамана Донца, известные казацкие чаровницы Солоха и Маруша. Костомаров пишет, что во времена похода к Берестечку немало «ворожек» шло с казацкой старшиной, и после поражения обозная голода вылила на них свой гнев за неудачу и страшно мучила их за их неправдивые пророчества.

Впоследствии у казаков сохранился обычай топить ведьм в случае засухи³, хотя считалось, что в этом случае ведьма может сотворить перед смертью вещее проклятие. У запорожцев существовало поверье, что Сечь пропала от бабы (Екатерины II), так как таково было пророчество ведьмы: «Как-то не было в Запорожье целое лето дождя, все в поле почернело, выгорело до последней былинки. Настал голод. Знающие люди догадались, что дождь крадут ведьмы, и нашли двух, трех таких старых ведьм, и как их прищпарили сечевики, сами они и повинились, а как стали их топить в речке, одна, утопаючи, и закричала: — Вот вы, запороженьки, губите нас, баб: сгубит и вас самих баба!» (Надхин, 1876, 146).

Важное значение для понимания отношения к ведьме в культуре украинских казаков имеет интерпретация этой темы у Гоголя. Положительные украинские женские типы у Гоголя изображаются пассивными, неменяющимися. К ним относятся две категории женщин — простые и сердечные молодые сельские девушки и самоотверженные старые казацкие матери, в разряд которых девушки переходят практически сразу после замужества. Активные женщины изображаются у Гоголя как ведьмы, которые, благодаря своей способности к магии и оборотничеству, нарушают традиционный для украинской культуры бинаризм женских образов и ускользают от контроля мужчин — отцов и мужей. Поэтому важным магическим свойством, которым у Гоголя наделены ведьмы, является их способность превращаться из старухи в юную девушку и обратно, которая исчезает, как только секрет ведьмы раскрывается.

³ Кулиш в своих этнографических записках рассказывает, как это обычно происходило: «Раз в каком-то селе за Днепром недели с три не было дождя. Вот и начали топить баб, про которых говорено, что ведьмы. Так трое не потонуло, хоть и руки и ноги были связаны». На следующем этапе, после того как ведьм идентифицировали, их допрашивали, и они признавались в совершенных преступлениях (Кулиш, 1857, т. 2, 37).

Поскольку в патриархатной культуре казачества женщина всегда подозревалась в скрытой интенции к изменению социальных кодов, то каждая женщина рассматривалась казаками как потенциальная ведьма — «бисова баба», несущая угрозу традиционной гендерной стратификации общества. Для того чтобы предохранить себя от ведьминых чар, мужчина, по народному украинскому преданию, должен был прежде всего лишить ведьму ее способности к превращению и быстрому передвижению. Так, например, в известной галицийской легенде о «дикой бабе», или *литавице*, для того, чтобы приручить дикую красавицу и сделать ее покорной женой, у нее нужно выкрасть сапоги-скороходы, без которых она становится неспособной к превращениям и полетам (см. Яворский, 1898, 439—441). У Гоголя мотив стремления преодолеть магию женского начала посредством замужества выражен в повести «*Иван Федорович Шпонька и его тетушка*», где в сексуальных фантазиях Шпоньки жена ускользает от него посредством серии превращений. Страх Шпоньки перед женитьбой выражается в сновидении, где его будущая жена превращается в отрез материи, из которого Шпонька безуспешно пытается пошить себе сюртук.

Трактовка образа ведьмы в украинской культуре существенно отличается от западной традиции. В Западной Европе образ ведьмы в том виде, как он сформировался в Средние века, а затем был переосмыслен в эпоху Просвещения, предполагал закрепление за женщиной определенного социального статуса (отношение к согражданам, к церкви, к дьяволу и др.), который был подтвержден документально⁴. В украинской традиции этого нет. В ней «ведьма» — это прежде всего характеристика женской природы, какой ее воспринимает мужчина, казак. Поэтому если у Мишле проблематизирована ситуация ведьмы как проблема женской субъективности (она «одержима духом», страстью, которая причиняет ей тяжелые душевные мучения и побуждает причинять зло, мстить), то в украинской традиции ведьма занята только тем, что соблазняет и пугает мужчину. Экзистенциальный опыт аффектированной чувственности, в частности мести, является здесь уделом мужчины, а женщина (ведьма) играет роль только символа скрытой угрозы единству казацкого братства.

⁴ См. работу «*Ведьма*» Мишле, в которой он рассматривает основные социокультурные характеристики и социальный статус ведьмы во Франции в XV—XVIII вв. (Мишле, 1997).

Украина как образ «иного» типа сексуальности и российские политики колонизации

Номадические политики в отношении женщин были возможны в Украине до тех пор, пока казацкое войско существовало как кочевая машина войны. Как только государственный аппарат присваивает машину войны, субординирует, подчиняет ее своим политическим целям и вменяет ей войну как ее непосредственный объект, происходит замена коллективного духа или коллективного эроса войны: на смену гомосексуальному эросу номадов приходит рациональная машинерия регулярной российской армии (см. Deleuze and Guattari, 1988, 399). В отличие от телесных практик, лежавших в основе мужской солидарности у казаков, царская армия базировалась на физиологии нового коллективного армейского тела, признающего принципы воинской иерархии, дисциплины, военного закона. С точки зрения царского правительства гендерные политики украинского казачества являлись неправомерными, так как определялись не идеей рациональной военной стратегии, а принципами номадического насилия, регулировавшими общественные отношения в регионе. Поэтому для того, чтобы поменять тип военной организации украинских казаков, царское правительство считало необходимым изменить сложившуюся у них гендерную ситуацию и, в первую очередь, ликвидировать «безженный статус» казачества.

В ходе развернувшейся со второй половины XVII в. российской колонизации Украины отношение Российского государства к казакам и, в особенности, к запорожцам становилось все более негативным. «Безженность» и «бессемейность» стала одним из основных упреков казачеству, поскольку, по мнению государственных чиновников, они мешали рациональной организации войска и приросту населения. Так, в специальной докладной записке Ф. И. Миллера «*О неудобствах запорожских козаков*», представленной по поручению членов правительства в 1775 г., запорожцы в первую очередь обвинялись в том, что они «жен не держат», «землю не пашут» и «увозят мужеского пола детей малолетних — те у них и дети» (Миллер, 1775, 74).

Царское правительство считало важным условием успешной колонизации Украины ее заселение, ликвидацию «малолюдности», для осуществления которых казацкое войско казалось русским слишком малочисленным и неэффективным. Запорожская

Сечь обычно производила на российских посланников удручающее впечатление и представлялась ненадежным, незащищенным местом, неспособным выполнять функции бастиона, крепости, обращенной против татарских орд и турецких армий. Так, например, российский посланник Григорий Косов, посланный в 1665 г. в Запорожье для координации действий запорожских и донских казаков против крымских и ногайских татар, пришел к выводу о полной небоеспособности запорожского войска и незащищенности Сечи и рапортовал царю Алексею Михайловичу о том, что «запорожские козаки из Сечи все разбежались в города, осталось человек с 200 и меньше, и в приход, государь, воинских людей удержать Запорожской Сечи и Русского городка не с кем, а козаки запорожские, увидя немеру, пойдут в днепровские займищи или сдадутся, а мне за малолюдностью противиться с ними будет нельзя»⁵. Примечательно, что в это время кошевым атаманом запорожцев был Иван Серко — один из самых знаменитых и удачливых атаманов за всю историю Запорожья, практически не знавший поражений при набегах.

Еще более серьезным препятствием российским политикам колонизации являлась сама возможность перехода в казаки больших масс украинского населения, существовавшая в условиях социальной нестабильности и традиций номадизма. Поскольку украинское казачество делилось на две основные категории — городское, оседлое, «реестровое» казачество и запорожское, степное казачество, то у казаков сформировались как бы две формы номадической субъективности: а) абсолютная и б) относительная, между которыми в то же время не существовало строгой границы. Хотя между этими двумя сословиями существовали противоречия и конфликты, переход между ними был полностью свободным, беспрепятственным, и периодически огромные массы оседлого украинского населения внезапно переходили в состояние абсолютного номадизма, многократно увеличивая энергию кочевой машины войны. В первую очередь сторону запорожцев принимала беднота, «наймиты» и уголовные элементы. Однако кроме обедневшего сельского населения в Сечь бежали и мещане, и опальные московские дворяне, и польские шляхтичи. Стать казаком мог всякий

⁵ «Отписки Григория Косова окольному воеводе князю Григорию Ромодановскому и царю Алексею Михайловичу об опасном положении Запорожья по случаю ожидаемого прихода крымских татар и поляков» (*Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России*, 1867, т. 5, 140–141).

желающий, независимо от возраста, национальности, расы и вероисповедания, и поэтому среди запорожцев были представлены народности практически всех европейских государств, включая острова Британской империи. Временами переход украинцев в казаки становился всеобщим, и тогда, по словам Кулиша, «даже в городах, пользовавшихся магдебургским правом, присяжные бургомистры и райцы оставляли свои должности, брили бороды и шли в казаки» (Кулиш, 1856, т. 1, 245). Таким был переход в казаки Богдана Хмельницкого, человека, уже прожившего большую часть жизни и сделавшего карьеру, занимавшего солидную государственную должность, зажиточного, имевшего большую семью.

Важным средством успешной колонизации Украины царское правительство считало проведение у казаков военной реформы, направленной на преодоление традиций казацкого номадизма, и развитие у них социально-политических институций, в том числе института семьи. В начале XVIII в. Петр I прямо поставил перед гетманом Мазепой вопрос об изменении военной организации казаков: завести на Украине постоянное войско, переписать население, ввести налогообложение, пошлыны и тем самым ликвидировать безженный статус казачества. Легенда, повторяемая Вольтером, гласит, что Мазепа, изображавшийся в западной литературе как романтический герой-любовник, посчитал такую радикальную реформу в Украине невозможной и возразил русскому царю, за что получил на пиру пощечину и навсегда затаил на Петра обиду (см. Кониский, 1846, 199—200).

В действительности же императорской России оказалась сильна эта задача, хотя на ее окончательное решение и ушло почти три четверти столетия. Запорожская Сечь была разрушена, и запорожское казачество официально ликвидировано по указу Екатерины II в 1775 г. Если польское правительство на протяжении XVI и первой половины XVII в. стремилось решить вопрос о том, как эффективнее и безопаснее использовать казаков для охраны своих юго-восточных территорий от татар и турок, то Россия, посчитав нерациональным дальнейшее использование запорожцев как военной силы, сочла необходимым просто уничтожить эту форму как таковую, отказавшись от услуг тех членов запорожского братства, которые не смогли или не пожелали ассимилироваться в рейтарские полки императорской армии.

В российской армейской реформе, начатой Петром I, была выражена просветительская идея абсолютно рациональной военной организации, предполагавшей тотальный контроль всех сфер

жизнедеятельности солдат, включая сферу сексуальности. Поэтому сексуальные запреты, которые специально оговаривались в новом армейском кодексе, должны были способствовать укреплению авторитета имперской нормы как верховного критерия оценки поведения индивидов. В 1706 г. немецкие военные советники царя разработали новый военный кодекс законов для России (Московский военный регламент), который стал первым в истории России законодательством, предусматривавшим наказание (сжигание на костре) за мужской гомосексуализм (см. Karlinsky, 1992, 348—349). Таким образом, гетеросексуальность была официально признана в армии нормой, а гомосексуализм стал рассматриваться как тяжкое уголовное преступление. На практике это означало отказ от политик трансгрессивной сексуальности в армии и установку на исключение опыта аффектированной чувственности из стратегии ведения военных действий.

По мнению российских военных, участвовавших в совместном походе русских и украинских войск в Белоруссию в 1655—1656 гг., эмоциональная непредсказуемость и буйные нравы казаков делали их отряды практически неуправляемыми. Русские постоянно жаловались царю на буйства украинских казаков, которые не только грабили, но и совершали бессмысленные, с их точки зрения, убийства женщин, разорения, поджоги. Мотивы, двигавшие действиями казаков, не были ясны солдатам царской армии, для которых политики трансгрессивной сексуальности уже утратили свое значение и событие символического изнасилования фаллическим опцом («царем-батюшкой») уже состоялось. В итоге между представителями двух различно организованных армий зародилась враждебность, часто приводившая к конфликтам. Казаки жаловались на неоправданный снобизм и пренебрежительное отношение к ним царских солдат, а русские воеводы доносили царю о том, что казаки не хотят им подчиняться и бьют стрельцов (см. *Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России*, 1889, т. 14, 425, 433). Впоследствии этническая неприязнь к русским формировалась у украинцев прежде всего как враждебность по отношению к российским военным, которых украинское общество идентифицировало как *москалей*. Собственно «москаль» в украинском народном сознании — это не просто русский, а российский военный, солдат или офицер, принадлежащий к иному, отличному от казацкого типу военной организации, несущему постоянную угрозу украинским женщинам, которые в дискурсе солдата выступают просто в качестве сексуальных объектов.

В ходе дальнейшей российской колонизации Украины оппозиция двух различных типов военной организации переросла в национальную конфронтацию. Против российской имперской военной организации, заменившей казацкую машину войны, был направлен бунтарский пафос национального поэта Тараса Шевченко, который обвинял русскую армию в политике безжалостной эксплуатации тел украинских женщин. Идея смертельной опасности любовной связи с русским военным для украинских женщин является одним из лейтмотивов творчества Шевченко. Один из наиболее характерных женских образов его поэзии — это образ «матери-покрытки», имеющей незаконнорожденную дочь от российского военного. Поэтический эффект образа усиливается тем, что внебрачной дочери в будущем уготована та же участь, что и ее несчастной матери. Таким образом, национализм Шевченко выражался в форме антиимперского протеста против юридических, нравственных и сексуальных принципов царской армии, воплощавшихся в фигуре москаля, которым мог в конечном итоге стать каждый украинец, призванный в армию.

В XIX в. Шевченко и другим представителям зарождавшейся украинской национальной литературы позиция военных по отношению к женщинам казалась предельно циничной, тривиальной и оценивалась в контексте общей критики империалистических самодержавных политик и развивавшегося в России капитализма. В отличие от нее, сексуальные политики казацкого номадизма оценивались в революционно-демократических кругах как альтернативные, направленные против самодержавной власти. К ним апеллировали как к опыту иного типа сексуальности, иного отношения к женщине. Особенно сильно это проявилось в западноевропейской литературе эпохи Просвещения и романтизма, в которой сексуальные отношения в Украине рассматривались как формы проявления особой, романтической любви. При этом особым вниманием пользовался гетман Мазепа, представленный как романтический изгнанник и роковой любовник у Байрона, Вольтера, Гюго, Пушкина и др.

Апеллируя к сексуальному опыту Украины, романтики и просветители искали в нем «иной», по сравнению с традиционным европейским, тип отношений мужчины и женщины, которых романтизм рассматривал как суверенные индивидуальности. Однако подлинная специфика украинской сексуальности в этот период проявлялась на уровне коллективных, а не индивидуальных взаимоотношений. Казацкий номадический субъект, в отличие от

номадических субъектов, описанных, например, у Розы Брайдотти (см. Braidotti, 1994, 33), это не индивид, а группа, отвергающая индивидуальные формы проявления субъективности западного типа. Образы, имитирующие индивидуальность, присутствуют в ней только на уровне мифологической истории, строящейся исходя из таких архетипов национального сознания, как «героическое прошлое», «великий человек», «совместное страдание» и др. Соответственно, исторические персонажи заменены в мифологической истории символами, лишенными реальных человеческих качеств. Вместо реальных общественных отношений мужчин и женщин в ней изображаются эталонные типы идеального «мужчины» (казака) и идеальной «женщины» (невесты/матери), гармонически дополняющие друг друга в патриархально-семейных отношениях.

В нежелании анализировать коллективную природу казацкой сексуальности отечественный и западный просветительский подходы парадоксальным образом совпадают. Однако различается мотивировка этих подходов. Если просветители хотели видеть в Украине идеальное место для «иного», чем на Западе, типа сексуальности, то в украинской мифологической истории традиционно на первый план выдвигались задачи формирования коллективной национальной идентичности. В отличие от структур индивидуальной идентичности, основывающихся на процедуре саморефлексии, самосознания, структура коллективной идентичности нуждается в том, чтобы ее основа частично оставалась непроясненной, функционировала на уровне коллективного бессознательного. Основа коллективной идентичности в архаических сообществах в значительной степени регулировалась посредством механизмов сексуальности и гендерной стратификации, которые приобретали в этих условиях важное политическое значение. Поэтому анализ мифологической истории с точки зрения политик сексуальности и должен быть направлен в первую очередь не на сексуальность как таковую, а на ее связь с определенным типом политического действия, которое на практике проявляет себя как более нерепрезентативное и более непристойное, чем сексуальное действие.

III

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
МУЖЕСТВЕННОСТИ

Алексей Юрчак

МУЖСКАЯ ЭКОНОМИКА: «НЕ ДО ГЛУПОСТЕЙ, КОГДА КАРЬЕРУ КУЕШЬ»

Мир бизнеса и нормы успеха

Одним из самых значительных результатов первого постсоветского десятилетия стало возникновение мира частного бизнеса, еще недавно неммыслимого и до сих пор скрытого от глаз большинства. Мир этот населен удивительными персонажами — бизнесменами, банкирами, брокерами, менеджерами, — о которых многие знают лишь из массовых изданий и мимолетных уличных наблюдений. Среди моря массмедиа, пишущих о мире бизнеса, особую роль играют издания, в которых рассказывается, как в этом мире преуспеть. Эти издания описывают стиль жизни, манеру поведения и черты характера успешных бизнесменов, и адресованы они не тем, кто уже преуспел, а тем, кто еще собирается. Жанр таких изданий не нов — подобные «учебники успеха» (*success manuals*) появились в Соединенных Штатах еще в 1870-х гг., в начале бурного развития капитализма (Nilkey, 1997, 1). Примерами этого дискурса в сегодняшней России являются журналы *Карьера* и *Профиль*. *Карьера* так определяет объект своих наблюдений: «Буквально за несколько лет на наших глазах сформировалось новое поколение бизнесменов — молодых, энергичных, жестких. Как правило, им еще нет сорока» (*Карьера*, 2000, № 2, 1). В предлагаемом *Карьерой* списке «топ-менеджеров» частных фирм насчитывается 40 человек, 36 мужчин и 4 женщины, средний возраст которых составляет 35,5 лет (*Карьера*, 1999, № 12, 1), то есть большинство из них родилось и выросло до перестройки. Действительно, согласно социологическим исследованиям, во второй половине 1990-х гг., среди руководителей частных фирм в российском малом бизнесе было 82%

мужчин (*Женщины и мужчины России*, 1997, 67), а средний возраст предпринимателя, по данным сектора элит Института социологии РАН, составлял 36 лет (АиФ, 1996, № 44, 5).

Социальная роль средств массовой информации в формировании общественного дискурса становится особенно очевидна в периоды, когда общество созревает для крупных социальных перемен. В такие периоды новые способы описания реальности могут довольно быстро поменять то, как люди говорят, думают и действуют (вспомним перестроечный дискурс *гласности*, который смог перевернуть страну с ног на голову за какие-нибудь пять-шесть лет). Для анализа того, как описание реальности изменяется и нормализуется в дискурсе, обратимся к методу Мишеля Фуко. В своей работе *«Археология знания»* Фуко предложил метод для исследования взаимоотношений между различными высказываниями в дискурсе. Для этого он ввел понятие «дискурсивной формации» — набора высказываний, речевых актов, тем и жанров, которые описывают разные объекты и идеи, но между которыми, тем не менее, можно установить некий общий порядок, корреляцию, системную регулярность (см. Foucault, 1974, 38). Дискурсивная формация отличается, например, от идеологического дискурса тем, что она составлена из независимых высказываний и формулировок, связь между которыми не устанавливается сознательно, при их производстве, а обнаруживается позже, при их анализе. Мы воспользуемся понятием «дискурсивной формации» для анализа того, как в разрозненных высказываниях, циркулирующих в дискурсах российского бизнеса, формируется и нормализуется систематическое описание того, что должен из себя представлять преуспевающий мужчина. Особенно нас будут интересовать новые нормы мужской идентичности и мужских желаний этого субъекта — то, что можно назвать новой нормой «успешной маскулинности»¹. Для анализа этих норм воспользуемся не только высказываниями в средствах массовой информации, но и высказываниями различных участников мира бизнеса.

Последние взяты из интервью с предпринимателями и работниками частных фирм, которые мы провели в Петербурге, и из бесед с предпринимателями, их коллегами и супругами, которые приведены в журналах *Карьера* и *Профиль*. Все эти статьи, комментарии и интервью могут быть рассмотрены в совокупности как

¹ Аналогичные нормы формулируются, например, в дискурсе рекламы (см. Юрчак, 1998 и 2000).



различные элементы одной дискурсивной формации, описывающей молодой мир бизнеса: что люди *знают* о том, как им следует действовать в этом мире, как они *говорят* о своих действиях и как они на самом деле *действуют*². Именно при взаимодействии этих уровней формулируются и нормализуются новые идеи и социальные объекты.

Изучая формирование и изменение социальных норм, Фуко исследовал, не *что* они из себя представляют, а *как* конкретные «дискурсивные технологии» проводят границы между «нормаль

² Совокупность дискурсивного анализа текстов со слабо структурированными интервью и «антропологическим» включенным наблюдением дает возможность рассмотреть малозаметные, но важные нюансы смысла, которые подчас остаются незамеченными в исследованиях, основанных исключительно на структурированных опросах и анализе текстов.

ным» и «ненормальным»³. В нашем случае, следуя этому методу, зададим следующий вопрос: не что такое норма успеха или успешной карьеры мужчины в мире бизнеса (например, чем следует заниматься или сколько надо зарабатывать, чтобы считаться успешным мужчиной), а как различные дискурсивные технологии, используемые в вышеупомянутых описаниях мира бизнеса, проводят границы между *нормальными* и *ненормальными* целями, чертами характера, манерами поведения и карьерными, семейными, романтическими и сексуальными отношениями и желаниями.

Например, журналы *Карьера* и *Профиль* очерчивают границы нормального, выражая некоторые идеи при помощи дискурсивных технологий «научности» и «естественности». К этим технологиям относится использование следующих элементов:

- таблиц, статистических данных, ссылок на исследования, мнений экспертов. Например: «по мнению психолога...», «сексологи делят мужчин на два типа...» — и т.д.;
- особых оборотов речи и фраз, констатирующих «истину». Например: «доказано, что...», «существуют два метода...», «начальники делятся на две категории...» — и т.д.;
- ссылок на «престижные» западные источники. Например: «Стивен Шарк, автор бестселлера “*Евангелие карьериста*”...»;
- допущений или «пресуппозиций» — идей, которые формулируются как естественные и общеизвестные, не являясь таковыми на самом деле (см. Fairclough, 1992, 120). Пресуппозиции формулируются не напрямую, а между строк, как фон для других идей. Например, в следующих фразах в качестве пресуппозиции выступает идея о том, что человек, делающий карьеру в бизнесе, это именно мужчина, а не женщина: «Либо ты карьерист, либо бабник — третьего не дано» (*Карьера*, 2000, № 1) «Для любого карьериста семья — это тыл ... Нормальная жена — это прежде всего твой партнер» (*Карьера*, 1998, № 8).

³ В статье «*Вопросы метода*» Фуко пишет: «...причиной моего желания изучать тюрьму была идея вернуться к проекту “генеалогии морали”, в котором отслеживались линии трансформации того, что можно было бы назвать “моральными технологиями”. Для того чтобы лучше понять, за что наказывают и почему, я хотел задать вопрос: *как* наказывают? Это была та же процедура, которую я использовал при изучении безумия: вместо того чтобы задавать вопрос, *что* в конкретный период считается здравым или сумасшедшим, болезнью ненормального или нормальным поведением, я хотел задаться вопросом: *как* проводятся разделения между этими понятиями?» (Foucault, 1991, 74. Перевод мой. — А. Ю.).

Гендерный режим социализма и его трансформация

Говоря о сегодняшнем российском мире бизнеса, многие предприниматели, и мужчины и женщины, называют его «мужской экономикой». Этот термин они объясняют тем, что «принятие решений в бизнесе идет мужскими методами». Отталкиваясь от этого высказывания, подойдем к анализу мира бизнеса как определенного «гендерного режима». В нашем анализе успешной маскулинности попытаемся ответить на следующие три вопроса: какие принципы и методы мира бизнеса дают возможность воспринимать его как «мужскую экономику»? как наличие этих принципов и методов объясняется идеологией самого мира бизнеса? каковы истинные причины наличия этих принципов и методов в бизнесе? Ответы на эти вопросы уходят корнями, с одной стороны, в гендерный режим социализма и, с другой стороны, в идеологию рынка. Тот факт, что большинство сегодняшних участников мира бизнеса родилось и выросло именно при социализме, оказывает значительное влияние на формирование гендерного режима постсоциалистического общества вообще и особенно тех его секторов, которые наиболее тесно связаны с частными рыночными отношениями.

Рассмотрим некоторые черты гендерного режима социализма, важные для нашего анализа. Разделение труда в социализме происходило по половому признаку, что определялось не только рынком труда, как при капитализме, но и государственным планированием. Дав большинству женщин работу, социалистическое государство предложило им набор противоречивых образов женственности — общественных образов рабочей, служащей, директора, члена партии и традиционных домашних образов хранительницы семейного очага, матери, жены, домработницы. За годы социализма совокупность этих образов стала ассоциироваться не с освобождением женщины, а с государственным контролем над личной жизнью.

Поэтому идея западного феминизма о том, что равная занятость женщин в профессиональной сфере ведет к равенству и освобождению, напоминает многим российским женщинам и мужчинам идеологические лозунги социалистического государства (см. Kligman and Gal, 2000, 100—101). Напротив, женщины в большинстве социалистических стран воспринимали семью как единственное пространство, в котором они были относительно свободны от государственного вмешательства. Перестроечная идея освобождения женщины, сформулированная еще Горбачевым, — «освобо-

дить женщину от непосильной занятости на работе» (Ажгихина, 2000, 161) — понималась именно как освобождение от государственного контроля и возврат в естественную среду дома и семьи. Эта динамика послужила усилению патриархальных стереотипов и мужского шовинизма в социалистическом обществе. При этом разделение сфер деятельности в социалистическом государстве на «мужские» (техника, точные науки и т.д.) и «женские» (сфера обслуживания, гуманитарные науки и т.д.) только усиливало эти стереотипы.

В постсоветском обществе произошел не просто возврат к традиционному образу женственности, а обозначилось усиление этого образа. У многих российских женщин появилось желание «вернуться» в семейное пространство, оставить работу, заняться устройством домашнего быта. На практике это желание реализовалось особенно широко среди зажиточных семей, которые могут с легкостью существовать на заработок мужа. В результате мужчина получил еще больше преимуществ в сфере публичной деятельности, особенно в высокооплачиваемых ее областях, что послужило одним из условий формирования «мужской экономики».

Другим условием стала важность *неформальных* методов в практике частного бизнеса после распада социалистического государства и его формальных институтов и правил. Частное предпринимательство начало строиться во многом через неформальные сети знакомств, дающих особый доступ к ресурсам, контактам и информации. Переориентация значительного числа женщин на частное пространство гарантировала то, что неформальные сети были преимущественно мужскими (см. Yurchak, 2001). Обсуждение бизнес-схем и достижение договоренностей в этих неформальных сетях строилось по «мужским принципам» — часто они проходили в «мужских пространствах» (мужская компания, выпивка, поход с друзьями в баню) и с использованием «мужских дискурсивных практик» (мужской разговор, мужской юмор, ненормативная лексика). Мужские принципы применялись и в методах контроля и защиты бизнеса. Большинство частных фирм в начале 1990-х гг. попадало в зависимость от криминальных «крыш», состоявших исключительно из мужчин (см. Волков, 1999; Humphrey, 1999; Yurchak, 2001). Необходимость общения с этими структурами, жесткость этого общения и возможность потенциального насилия ставили женщин, занятых предпринимательством, в невыгодное положение. Аналогичная динамика наблюдалась и при общении с государственными и правоохранительными органами, где мужчины всегда

составляли большинство, особенно среди начальников. Это лишь некоторые из причин, благодаря которым в 1990-е гг. бизнес развивался именно по принципам «мужской экономики».

Перформативность и ритуальность гендера

Журнал *Карьера* именуется людей, стремящихся к успеху в бизнесе, «карьеристами». Термин этот приобретает в журнале положительный смысл, тогда как в советские времена он имел смысл сугубо отрицательный. Такой семантический переворот произошел со многими бывшими советскими терминами (например, слово «большевик» превратилось в большинстве средств массовой информации из святого в ругательное). Использование старых терминов с новым смыслом усугубляет идею о том, что речь здесь идет о новом мире, новых людях и новых ценностях, часто диаметрально противоположных советским. Таким образом проводится историческая грань между старыми советскими руководителями и новыми «настоящими карьеристами», между наследием социалистического управления и новым «истинным предпринимательством»:

В российском бизнесе... сосуществуют две категории предпринимателей. Одни... *управляют* переданной им государственной собственностью. Другие *создают* новое предприятие или принципиально новый имидж/бренд существующего бизнеса. Это и есть предпринимательство в *истинном* смысле. Например, Ходорковский создал свой «Роспром-ЮКОС». Каха Бендукидзе создал АО «Уралмашзаводы», которое имеет совсем другой имидж, нежели существовавший до него и известный всем Уралмаш. (*Карьера*, 2000, № 2)

Карьеристы предстают новыми во всем — в желании личного успеха, в типе успеха, в способах его достижения, в отношении к себе и другим и в понимании смысла жизни. Их главным внутренним качеством является не желание денег, а желание созидать что-то *новое*:

...настоящий карьерист обязательно живет сверхидеей. В этом смысле он, скорее, идеалист, чем материалист. ...Созидать, создавать что-то из ничего — вот какие цели должен ставить человек, нацеленный на успех в жизни (Александр Хлопонин, генеральный директор РАО Норильский никель). (*Карьера*, 1998, № 8)

Но одного желания созидать новое мало. Для достижения успеха надо культивировать в себе определенные черты характера и

стиль поведения. Такие черты и стили, согласно этому дискурсу, присущи в основном мужчинам. Женщинам больше подходит работа вспомогательная, не требующая творческого созидания, не нацеленная на успешную карьеру. Таким образом проводится вторая, гендерная грань между карьеристами истинными и теми, чей удел — подсобные роли:

Многие деловые обсуждения и переговоры в нашем бизнес-мире проходят порой предельно жестко — не в бальных платьях и торжественных залах. Здесь необходимы железный характер, сила духа и несокрушимость бойца. Немногие женщины смогут подобное выдержать. (*Карьера*, 1998, № 8)

Дилеры — одни из самых элитных и высокооплачиваемых банковских специалистов. Их ценят, потому что именно они приносят основные доходы банкам. Это профессия для настоящих мужчин. Девушки работают только на депозитах (то есть пополняют собственные средства банков). Там работа более спокойная. Требует не скорости принятия решения, а тщательности, аккуратности, внимательности. Женщинам в дилинговом зале приходится затыкать уши. Дилеры общаются между собой на профессиональном жаргоне — смеси английских словечек и матерных выражений. Крепкие слова — хорошая эмоциональная разрядка. Напряжение снимают также крепкими напитками. Виски — любимый напиток дилеров. (*Карьера*, 2000, № 2)

Профессия аудитора «хорошо оплачивается», «не связана с риском» и «идеальна для женщин, которые без раздражения относятся к кропотливым расчетам и кипам документов» (*Карьера*, 1998, № 3).

Как писал французский социолог Эмиль Дюркгейм (см. Durkheim, 1995), отношения в любом обществе кодируются *символически* и *ритуалистически* через «тотемы», роль которых могут выполнять любые объекты. Будучи функционалистом, Дюркгейм подчеркивал роль этих символических и ритуалистических объектов в поддержании неизменными культурных моделей и смыслов. Однако, как показывают постструктурализм, постколониальные исследования, гендерные исследования и т.д., ни сами символы и ритуалы общества, ни культурные модели и смыслы не бывают статичны. Они воспроизводятся с изменениями и трансформациями под воздействием экономических, политических, гендерных и других отношений. Такой *деконструирующий* подход к символам и ритуалам дает возможность исследовать не только то, что они из себя представляют, но и то, кто их контролирует, кто имеет возможность ими пользоваться, какие типы социальных отношений и идентичностей эти символы и ритуалы воспроизводят и в чьих это интересах.

Философ Джудит Батлер (Butler, 1990) подходит к анализу гендерных отношений и гендерной идентичности именно с позиции их конструирования через символы и ритуалы. Она рассматривает гендер как «телесный стиль» или «акт», «одновременно намеренный и перформативный (*performative*)». Батлер заимствовала концепцию «перформативности» из теории речевых актов Джона Остина (Austin, 1975). Остин разделяет речевые акты на констатирующие (*constative*) и перформативные (*performative*). Последние, в отличие от первых, нельзя оценивать как «истинные» или «ложные» высказывания, поскольку при их произнесении совершается новое социальное действие. Батлер показывает, что не только речевые, но и другие дискурсивные акты могут рассматриваться с позиции перформативности — например, акты, выражающие те или иные аспекты человеческой идентичности.

Под *перформативностью* рода, или гендера (*gender*), в отличие от пола (*sex*), Батлер как раз и подразумевает то, что его форма и смысл не заданы заранее, а сформулированы, сконструированы по игровым, перформативным принципам. Как в любых «ритуальных драмах», этот «гендерный перформанс должен постоянно повторяться», что ведет к постоянному «проигрыванию и переживанию социально принятых смыслов» и, соответственно, к легитимации этих смыслов, повышению их кажущейся естественности.

Сама идея о том, что гендерная идентичность именно конструируется, а не является заранее заданной, не нова. Маргарет Мид писала об этом еще в 20-е гг. (Mead 1928). Однако новым в подходе Батлер является переориентация анализа с процесса усвоения общественных моделей и символов идентичности (процесс социализации) на процесс производства идентичности в непосредственном дискурсивном акте самовыражения субъекта (процесс субъективации). То, что этот повторяющийся дискурсивный акт рассматривается с позиции его перформативности, подчеркивает, что гендерная идентичность именно формулируется в этом акте, а не просто раскрывается, как принято считать в функционалистическом и обыденном понимании идентичности (см. Butler, 1990). Иными словами, Батлер считает, что гендерная идентичность не просто *отражается* в неких символах и ритуалах культуры, но *формулируется* непосредственно в момент «цитирования» этих символов и ритуалов, то есть в момент, когда символы и ритуалы существуют как *дискурсивные акты*. Такой подход дает возможность отойти от функционалистической интерпретации гендерных норм и проанализировать конкретную концепцию гендера как материализацию

«телесных стилей» конкретного культурно-исторического контекста. Этот подход также позволяет рассмотреть гендер не только с позиции воспроизводства гендерных норм, но и с позиции изменения норм, конфликта норм, личного экспериментирования с нормами, сопротивления им, то есть рассмотреть нормы гендерной идентичности как продукты активности конкретных агентов, помещенных в конкретную социальную систему властных отношений, интересов и дискурсивных моделей.

Символы и ритуалы успешной маскулинности

Процесс формирования нового успешного мужчины-карьериста можно рассматривать как перформативное преобразование его гендерной идентичности посредством дискурсивных технологий, к которым относятся, например, различные телесные акты и знаки (внешний вид, одежда, жесты, движения, походка, манеры, голос, взгляд), языковые стили и жанры, ритуалы общения, контроль над личными эмоциями и чувствами, жесткое планирование своего времени, стилизация своего пространства и т.д. Посредством этих дискурсивных технологий мужчина-карьерист ежедневно и ежедневно культивирует в себе и цитирует на публике определенные «формулировки» успешной маскулинности.

Одной из дискурсивных технологий маскулинности является проекция видимости⁴: «Карьеристы не привыкли экономить на галстуках, часах и автомобилях. Ведь все, что на виду, должно работать на ваш успех» (*Карьера*, 2000, № 2); «карьерист должен пахнуть свежестью и здоровыми амбициями» (*Карьера*, 2000, № 6); «карьерист — понятие внепогодное. Костюм с иголки, начищенные ботинки и приветливая улыбка не зависят от метеоусловий» (*Карьера*, 2000, № 5).

Более сложными дискурсивными технологиями маскулинности являются технологии, которые мы будем называть *профессионализацией* личной сферы и *персонализацией* сферы бизнеса.

Первая технология включает ежедневные действия, ритуалы и стили поведения, ведущие к полному отсутствию времени на то, что раньше называлось «личной жизнью»: «Карьеристу не до люб-

⁴ См. также анализ «видимости мужественности» в статье Сергея Ушакина в данном сборнике.

ви. На нее время надо тратить... Не до глупостей, когда карьеру куешь» (*Карьера*, 2000, № 1).

Вторая технология является обратной стороной первой и ведет к «одомашниванию» сферы бизнеса, возникновению ощущения того, что ты работаешь не на фирму, а на себя. Личные желания, интересы, эмоции, любовь, секс сублимируются в деятельность по достижению карьерного успеха: «С любимой еще неизвестно как повернется. А работа, если ты стараешься, тебя отблагодарит. Ты горбатишься — тебе платят — тебя повышают — ты получаешь удовольствие. И только от тебя это удовольствие зависит» (*Карьера*, 2000, № 1). Старший менеджер Николай К. так описывает этот повторяющийся процесс:

Недавно поймал себя на том, что уже полгода, как у меня не случался роман. Представляете, я даже об этом не вспоминал! Если честно, на девушек времени нет. Приползаешь с работы часов в десять, что-нибудь пожуешь — и на диван, боевик смотреть. Если мне в этот момент скажут: «Вставай и отправляйся к девушке», даже бровью не поведу. На самом деле мне хватает работы — там все на высоком градусе, там ставишь перед собой задачи и их решаешь, там «пахнет» успехом. Я не знаю, какой должна быть девушка, чтобы она не показалась мне скучной. (*Карьера*, 2000, № 1)

Такие трансформации сфер личной и профессиональной жизни представляются в журнальном дискурсе именно технологиями новой успешной маскулинности, которая противопоставляется старой проблематичной маскулинности с ее традиционными ритуалами ухаживания, основанными на «ненормальном» наличии свободного времени. Это противопоставление еще раз подчеркивается точкой зрения женщины:

На устройство нормального романа у меня нет времени. Но и у *нормального* мужчины его тоже нет. Поэтому и ухаживают за мной мужчины с кучей свободного времени и такой же кучей проблем (Марина В., начальница отдела). (*Карьера*, 2000, № 1. Курсив мой. — А. Ю.)

Новая норма успешной маскулинности формулируется и при конструировании семьи посредством пространственных и временных технологий. Как это ни парадоксально, маскулинность семейного карьериста определена через все ту же способность не иметь личной жизни — только теперь не из-за отсутствия жены, а благодаря ей. Сфера семьи превращается во временный отдых, психологический «перекур» во время напряженной работы над карье-

рой. Этим она напоминает диван и боевик в жизни холостого карьериста. По словам Александра Хлопонина, генерального директора РАО «Норильский никель», «для любого карьериста семья — это тыл, где его не только накормят и приласкают, но и поддержат в случае неудачи. Это бастион, где тебя понимают и сопереживают тебе. *Нормальная* жена — это прежде всего твой партнер. Ну и, может быть, чуточку психоаналитик» (*Карьера*, 1998, № 8. Курсив мой. — А. Ю.). *Карьера* объясняет:

От многих известных бизнесменов на вопрос о семье и детях я слышала одну и ту же фразу: «У меня это направление закрыто женой». Понятно, да? Направление закрыто, и теперь эти люди с упоением занимаются своими делами. (*Карьера*, 1998, № 8)

Превращение семьи из личной жизни в способ освободиться от личной жизни вновь ведет к параллельной персонализации сферы бизнеса. В этой сфере карьерист использует целый набор дискурсивных технологий маскулинности, построенных на любовных и сексуальных ритуалах и создающих контекст новых властных отношений и гендерных иерархий. *Карьера* так объясняет эту модель:

Бизнесмен делит свое время между совещаниями, деловыми встречами и поездками. А что это за длинноногое, шуршащее шелками и пахнущее туманами существо рядом с ним? Ясно, что не секьюрити и уж точно не жена. Это секретарь-референт... Приемная и кабинет хозяйна для секретаря маленький мирок, в котором протекает большая часть *рабочего* и *личного* времени. Здесь открываются хозяйские тайны. Здесь на кожаных диванах и полированных столах начальник и подчиненная узнают друг друга. Это для супруги у босса не будет времени до конца квартала. Помощница знает, когда можно войти к шефу. И сколько у них времени (*Карьера*, 1998, № 6. Курсив мой. — А. Ю.).

Перечисленные дискурсивные технологии маскулинности формулируют деловые и неделовые роли, интересы, желания, внешний вид, взаимоотношения, функции, распределение активности во времени и пространстве успешного мужчины и его жены, семьи, секретарши, сотрудниц и т.д. Результатом этих дискурсивных технологий является не просто персонализация сферы бизнеса, но и ее *маскулинизация* — выдавливание из нее женщин, лишение их власти, воспроизводство иерархий и стереотипов, основанных на мужском шовинизме.

Если семья карьериста построена по старым «социалистическим» принципам партнерства супругов, она не снимает с него за-

бот о личной жизни, не освобождает его для занятий своей карьерой. Для построения успешной карьеры эту ситуацию нужно изменить, применяя такие технологии формирования своей личной идентичности, как развод со старой женой, временные отношения с любовницами, создание новой семьи по принципам полного мужского доминирования и т.д. *Карьера* рисует групповой портрет самых успешных холостяков российского бизнеса:

Все они талантливы, богаты, независимы и... одиноки. Не потому, что такие уж монстры — нет, большинство — вполне симпатичные умные люди. «Времени нет искать подругу жизни», — говорят они. ...Большинство из них уже были женаты... И большинство из них скорее всего будет своим женам изменять. (*Карьера*, 1998, № 11)

Женщины, связанные с миром бизнеса, описывают эти технологии следующим образом:

Сейчас среди «новых русских» модно повторно (в третий, четвертый раз) жениться и с каждым разом выбирать все более молодых спутниц. Эти девочки приходят на все готовое, им все достается легко. Но ведь их и бросают легко (Елена Семунина, супруга генерального директора компании «Русское золото» Александра Семунина, *Профиль*, 2000, № 28)

Один мой знакомый, который зарабатывает очень много денег, со своей старой женой развелся. Она моя ровесница [37 лет]. Он часто повторяет: «Мне нужна одна молоденькая в год. Дольше я их не держу. Детей мне уже хватает от двух предыдущих жен. С молодой год весело, а потом надоедает» (Ирина, владеет рекламным агентством. Интервью автора).

Иными словами, успешная маскулинность здесь выражена через дискурсивные технологии, ограничивающие женские права, упрощающие женские образы, контролирующие женские желания. На языковом уровне эти дискурсивные технологии работают через конкретные выражения и формулировки. Мужчины — это *талантливые, богатые, независимые, симпатичные и умные люди, бизнесмены, хозяева, шефы, боссы*. Они разведены, они изменяют женам, у них нет времени. Женщины — это *молоденькие подчиненные девочки, секретари-референты, длинноногие существа*. Их у мужчины много, они *быстро надоедают, их с легкостью бросают и дольше года не держат*. По этой норме женские желания и интересы определяются не деловой деятельностью, а сексуальной или семейной зависимостью от мужчины-карьериста. Те женщины, которые

заняты в сфере семьи, должны «снимать» с мужчин-карьеристов проблемы личной жизни. А другие женщины, которые заняты в сфере бизнеса, должны способствовать персонализации, сексуализации и маскулинизации этой сферы. Вот примеры:

Чем грезят школьницы и пенсионерки, продавщицы овощных магазинов и попсовые дивы, замужние дамы и старые девы? Как бы выскочить замуж за бизнесмена. Для женщины брак с бизнесменом — высшая ступенька семейной карьеры. (*Карьера*, 1998, № 6)

К роману с начальником надо хорошо подготовиться. Носите костюмы, которые подчеркивают достоинства вашей фигуры. Если у вас красивые ноги, укорачивайте юбку настолько, насколько это позволяет корпоративный этикет. Не забывайте о высоких каблуках... (*Карьера*, 1999, № 6)

Любыми средствами привлечите к себе внимание босса. Даже не зная вашего имени, он должен выделить вас из толпы белоблузочных сотрудниц... Так что начинаем эффектно одеваться, со вкусом краситься, делаем новую модную стрижку. Пытаемся выглядеть покрасивее и подороже. (*Карьера*, 2000, № 3)

Сексологи условно делят мужчин на самцов двух этажей: нижнего и верхнего. Представители «нижнего этажа» в первую очередь обращают внимание на бедра, попку и ноги женщины. Для такого начальника мы надеваем короткую юбку. Мужчины «верхнего этажа» заглядываются на шею и бюст. Для таких запаситесь декольтированными кофточками. Многие женщины пытаются убить сразу двух зайцев и открываются по максимуму. Это неправильно. Обнажать можно только один «этаж», иначе вы используете запрещенный прием и станете доступной. Вами завладеют еще по пути в кабинет начальника (шутка). (*Карьера*, 2000, № 3)

При этом, объясняет *Карьера*, «особо удачливые гражданки ухитряются даже женить на себе шефа» (*Карьера*, 2000, № 3), и, «по данным социологических опросов, сегодня секретарю-референту значительно проще не только сделать карьеру, но и удачно выскочить замуж» (*Карьера*, 1998, № 6. Курсив мой. — А.Ю.). Ясно, что формирование такой нормы женственности является одной из технологий по формированию все той же успешной маскулинности.

Поскольку для мужчин успешная карьера и отсутствие личной жизни описываются именно как норма успешной маскулинности («Не до глупостей, когда карьеру куешь» — *Карьера*, 2000, № 1), аналогичная ситуация среди женщин, естественно, расценивается как угроза такой маскулинности. Эта ситуация описывается не

просто как отступление от женской нормы, но как психологическая и даже биологическая патология. *Профиль* цитирует мужчину-специалиста:

Огромное число женщин, делающих карьеру, имеют проблемы в личной жизни. Они не умеют строить долгосрочные отношения с мужчинами. Для них карьера — своего рода компенсация: человек должен компенсировать неудачи в одной сфере успехами в другой. (*Карьера*, 2000, № 25)

Доказано, что у женщин с повышенным IQ — коэффициентом интеллекта — выше содержание мужского гормона гонадотропина, что, в свою очередь, обуславливает чисто мужские реакции на многие вещи. А самыми востребованными у мужчин оказываются те женщины, чьи профессии связаны с воспитанием детей. Не случайно принц Чарльз женился на Диане Спенсер — воспитательнице детского сада. (*Карьера*, 2000, № 25)

Единственной моделью, по которой женщина может заниматься собственной деловой карьерой, не угрожая, а способствуя процессу создания успешной маскулинности, является так называемый «женский бизнес». *Карьера* объясняет, что женский бизнес — это полученный от мужчины подарок «в виде модного бутика, косметического салона, клиники пластической хирургии...» (*Карьера*, 2000, № 3). И, более того, «вполне вероятно», что для карьериста преподнесение такого подарка — это «единственно разумный выход, ведь женщина, изнывающая дома от безделья, — серьезная угроза душевному здоровью занятого мужчины» (*Карьера*, 2000, № 3). Важным в понятии женского бизнеса является его несерьезность, непрофессиональность, зависимость от мужской поддержки. Предпринимательницы, занятые «женским бизнесом», так описывают смысл и динамику этой сферы деловой активности:

Мужчинам обычно женский бизнес кажется несерьезным. Они смотрят на него как на хобби. Пусть себе развлекается. Чтоб красивенько было. (Вера, совладелица магазина модной одежды. Интервью автора)

Если честно, я не верю, что женщина сама, без поддержки мужчины, может с нуля раскрутить бизнес. Тот факт, что за моей спиной стоит муж и, значит, в любой момент я могу сделать шаг назад, обдумать решение несколько дольше, чем принято, дает мне ощущение свободы (Ирина Кононова, глава фирмы «Фестиваль», производящей модную одежду, жена Владимира Кононова, руководителя международной строительной компанией «Конкор»). (*Профиль*, 2000, № 14)

В малом бизнесе, в отличие от более крупного бизнеса, довольно много женщин. ...Большинство из них денег не зарабатывает. Это не бизнес, а скорее хобби. В лучшем случае их фирмы самокупаемые. Первоначальный взнос на этот бизнес был сделан либо мужьями, либо любовниками, либо очень расположенными к ним людьми. Но всегда мужчинами. И часто кредит не требует отдачи, а мужчина продолжает дотировать этот бизнес либо в виде платы за аренду, либо в виде предоставления помещения. Обычно это делается для того, чтобы женщина была чем-то занята и не приставала к нему. (Надежда, владеет фирмой измерительной аппаратуры. Интервью автора)

...В 1990 году я открыла первую в России школу секретарей-референтов. Главным моим инвестором выступил, конечно, муж. Он выделил мне 15 тысяч рублей — на эти деньги тогда можно было купить две машины «Жигули».

...Почему именно школу секретарей? ...Во-первых, это женское дело, во-вторых, я его более-менее себе представляла. Ну не брокером же было на биржу идти! Девушек мы отбирали достаточно жестко: требовалось высшее образование, знание иностранных языков, привлекательная внешность. Мы их учили международному делопроизводству, английскому языку, компьютерным программам, деловому этикету, даже вождению автомобиля (Ирина Кононова, глава фирмы «Фестиваль»). (*Профиль*, 2000, № 14).

Одна из моих знакомых владеет фитнес-центром, с женским клубом и салоном красоты. Муж купил ей помещение, дал ей первоначальные деньги на оплату персонала, на покупку оборудования. С тех пор она работает. Немножко зарабатывает, прекрасно одевается. Заработанные деньги обратно в бизнес не вкладываются — все изымается на кофточки, на юбочки. ...Есть другой пример — женщина, которая имеет магазин и продает платочки, галстучки, кошечки. Опять же — муж имеет здесь крупную фармацевтическую компанию... Чтобы она от него отвязалась, он купил ей помещение, дал каких-то первоначальных денег. ...В основном женщины занимаются сферой обслуживания, магазинами — «фэшн» и «фитнес». У мужчин обычно большие бизнесы, а у женщин маленькие. Если женщина «бизнес-вуман», обязательно посмотри, кто ее мужчина. Он наверняка имеет более крупный бизнес и имел его раньше, чем она. Очень мало женщин увидишь в большом бизнесе, в промышленности. (Светлана, владеет салоном красоты. Интервью автора)

Описанный здесь женский бизнес является очередной технологией, формулирующей успешную маскулинность, — через него мужчина вновь освобождается от проблем личной жизни, при этом «нейтрализуя» женщину, не давая ей доступа в серьезный, настоящий бизнес, где куется успешная карьера. На языковом уровне эта

дискурсивная технология работает через конкретные формулировки и выражения, очерчивающие мужские и женские нормы деловой активности: мужчина занят *крупным, серьезным, успешным бизнесом*; женщина занята женским бизнесом, который больше походит на *хобби* и делается не с целью дохода, а чтобы *красивенько было*, чтобы *не изнывать дома от безделья*, чтобы *не приставать к мужчине*, *не угрожать его душевному здоровью и карьере*. В основном женский бизнес связан не просто со сферой обслуживания, а с обслуживанием именно женщин — это фитнес-центры, салоны красоты, косметические салоны, клиники пластической хирургии, фирмы и магазины модной одежды, школы секретарей. Этими фирмами владеют в основном женщины, в них работают в основном женщины, они предлагают «женский продукт» (привлекательную внешность, навыки секретаря-референта и т.д.).

Аналогичными технологиями успешной маскулинности служат различные ритуалы коллективного отдыха карьеристов — поход в баню, поездка за город, выпивка, зарубежная поездка и т.д. Смыслом таких ритуалов часто является не столько отдых или бизнес, сколько непосредственный и повторяющийся процесс их смешивания, дальнейшее выдавливание личной сферы, персонализация и маскулинизация бизнеса:

В чем нельзя отказать бане — это отличное место для завязывания контактов... в тепленькой компании могут оказаться очень полезные люди. И лучшего шанса наладить с ними неформальные отношения у вас не будет... Я знаю, что во всех крупных российских финансовых структурах существуют специальные отделы, которые такого рода развлечения организуют (Сергей Петров, бизнесмен). (*Карьера*, 2000, № 7, 8).

Если все нормально, то есть партнеры упиваются, но не сильно, но до сердечного приступа, и девочки были симпатичные, подобные акции очень даже бизнесу способствуют. (*Карьера*, 2000, № 7, 8)

...Если ты выезжаешь в компании друзей куда-то за город, расслабиться не всегда возможно. В компании каждый должен выглядеть крутым. Ты должен тиражировать тот образ, который ты тиражируешь всю неделю. Потому что ты связан со всеми по бизнесу. Ты просто не можешь лечь на пляже, скажем, поиграть с ребенком. Потому что тебе с этими людьми в понедельник общаться по бизнесу. (Игорь, менеджер компьютерной компании. Интервью автора)

Мужчины «расслабляются» в компании мужчин, говорят на «мужские темы», рассказывают «мужские анекдоты», обсуждают бизнес. Женщины в таких ситуациях — это любовницы, «девочки»,

молодые жены, играющие роль визуальных символов мужского успеха в глазах других мужчин. Часто они сидят отдельно и общаются с другими женщинами на неделовые темы. Вполне естественно, что те женщины, которые сами серьезно занимаются бизнесом или владеют фирмами, то есть, как мы уже видели, отступают от нормы и впадают в патологию, в таких ситуациях оказываются «не на месте»:

Мы недавно ездили на Ладугу. Семь семей, все бизнесмены. Было очень интересно — все с женами, с детьми. У всех крупный бизнес... Мужчины в этой компании не знали, о чем со мной говорить категорически. Жены сидели, как бы отдельной стайкой, сюсюкали с детишками, расслаблялись по-своему. Это вторые и третьи жены. Все они меня намного младше — им по двадцать лет. А мужики все мои ровесники, всем по 35—40. Все они были раньше женаты на ровесницах, а потом эти ровесницы куда-то исчезли. Мне с молоденькими женами было нечего обсуждать. У нас слишком большая разница в возрасте и в интересах. Я могла только улыбаться молча... Мужчины дела со мной обсуждать тоже не будут. Ну что с ней обсуждать? Она же жена, и вот сидит ее муж-бизнесмен. Какого хрена обсуждать с ней? Ну самое большое, что можно, это рассказать мне пошлый анекдот, чтобы я похихикала. Я абсолютно вывалилась из компании. (Надежда. Интервью автора)

Очень часто решения принимаются в компании друзей, куда женщина не впишется никогда. Мои знакомые бизнесмены часто ходят в баню. Бывает, с «девочками». Меня тоже приглашают, но я туда не пойду. И я не пойду с ними выпивать водку. Я не поеду с ними за город развлекаться. Потому что часто подразумевается, что я для них в первую очередь женщина. И на загородном сборище они могут перепутать, что они делают со мной бизнес, а не любовь. Это может для меня плохо кончиться. Если я не хочу, а они будут настаивать. А если они к тому же пьяные. Я готова с ними обсуждать бизнес в неформальной обстановке — в кафе посидеть или где-то прогуляться. Но желательно один на один, либо втроем, без компании. Это существенно снижает мои возможности в бизнесе. (Светлана. Интервью автора)

А каким образом работают технологии маскулинности в случае, когда мужчины все же не могут избежать делового общения с женщиной, владеющей успешной фирмой? Вера (см. выше) объясняет:

Я часто слышу: «Ой, мы с тобой все работали, работали. Жалко, что у меня не было времени заняться тобой как женщиной. Ну ничего, на следующей неделе я свободен — я подъеду». Моего согласия на это не спрашивается. (Интервью автора)

Надежда (см. выше):

Моя фирма делает заказ для большой компании, которая производит пищевые продукты. Их начальник отдела, от которого зависит, будут ли у меня с ними контракты, пытается от меня получить «дополнительные бонусы». Как от женщины. ...То есть в бизнесе со мной позволяется откровенно личное давление, чего категорически не позволяется в бизнесе с мужчинами. (Интервью автора)

В этом контексте женщина вынуждена воспроизводить особые игровые ритуалы, позволяющие ей заниматься бизнесом так, чтобы не ставить под вопрос новую норму маскулинности бизнес-мира. Президент холдинга охранных предприятий «Бастион» Елена Андреева советует: «Мудрая женщина может использовать свою слабость как силу. Это дает ей определенное преимущество» (*Карьера*, 2000, № 3). Светлана (см. выше): «Для меня местный бизнес — это игра в полной мере. Иначе просто никак». Ирина, владелица рекламной фирмы:

Женский бизнес и хорошие контракты базируются на *возможности* близких отношений. На постоянном поддержании игры — как будто всегда что-то еще между вами возможно... Я вынуждена в это играть. У меня есть свое личное *ноу-хау* для общения с мужчинами-бизнесменами. (Интервью автора)

Это личное «ноу-хау» состоит из особых дискурсивных технологий общения с мужчиной, смешивающих роль слабой женщины с ролью независимой предпринимательницы. Таким образом, женщина может заниматься бизнесом и одновременно способствовать воспроизводству элементов успешной маскулинности коллег-бизнесменов. Ирина, владеющая рекламной фирмой (см. выше), так описывает свои технологии:

Во-первых, когда я иду на встречу к клиенту, которым обычно является мужчина, я всегда стараюсь сходить в парикмахерскую, получше одеться, побольше надуться приличными духами, сделать маникюр. Во-вторых, я никогда не приступаю сама к обсуждению вопроса. Я всегда даю мужчинам возможность высказаться. Тогда они считают, что они мне диктуют, что и как я должна сделать. Я должна с ними согласиться. Здесь я выступаю как бы в роли подчиненной, которой мужчина может диктовать. Будто это не я предлагаю взять у них заказ, а они отдают мне распоряжение. В таком случае мужчины спокойно относятся к тому, что им выставляется счет за работу... В-третьих, если происходит какой-то конфликт... моя задача дать им по-

нять, с одной стороны, что я бедная девушка, а с другой стороны, что я не позволю себя обижать. Это дает им возможность отступить от своих наездов, не потеряв лицо. Они могут сказать: «Ладно, не будем обижать бедную девушку». Я это делаю абсолютно сознательно. У меня нет другого выхода... Недавно у меня была такая ситуация с одной фирмой, очень российским производителем продуктов. Я для них сделала рекламный проект, а они мне отказались платить. Совершенно бандитским способом. Просто вызвали меня и говорят: «Мы за этот проект платить не будем. Потому что мы перерасходовали средства на другое». У них были какие-то проблемы, и они на мне решили отыграться. С мужчинами они бы такого себе не позволили... Тогда мне пришлось включить свое ноу-хау. Я им говорю: «Очень мило. Нашли самого сильного здесь в городе, кому можно не заплатить денег. Вы на себя посмотрите — сидите, здоровые, красивые мужики, обижаете бедную девушку. Я для вас сделала и то, и это. Совершенно непонятно. Я работаю одна. У меня есть сотрудники — секретарь и бухгалтер, которых мне надо кормить. У меня бизнес, по сравнению с вами, копеечный. Посмотрите, какая вы фирма. Я ведь не пойду подавать на вас в арбитраж, еще куда-то. Пожалуйста! Я пойду плакать». Все это сопровождается хрюканьем, шмыганьем носа, выпиранием слез. Настоящая актерская мистификация. Из той же оперы, что мои прически и маникюры. В результате они заплатили мне эти деньги и даже дали мне новый заказ. Они чувствовали себя виноватыми, что и было моей главной задачей. Чтобы они не чувствовали радости от того, что могут меня надинамить. С одной стороны, мужчина хочет быть сильным, с другой стороны, ему неудобно обижать женщину, особенно перед другими мужчинами. (Интервью автора)

В данном случае, проигрывая образы подчиненной, соглашающейся, *привлекательной женщины* или *зависимой бедной девушки*, предпринимательница участвует в персонализации сферы бизнеса по определенным принципам, согласно которым она на каждом шагу, перформативно, воспроизводит динамику успешной маскулинности и зависимой женственности. Такие ритуалы дают мужчине возможность перейти с жестких деловых отношений на отношения более личные, романтические, сексуальные, рыцарские, при этом не потеряв мужской власти в сфере бизнеса. Построение женской карьеры в бизнесе возможно только по такой модели ограниченной, зависимой деятельности. Недаром, объясняя женщине, как следует себя вести в контексте мужской экономики, *Карьера* пишет:

Чтобы извлекать из мужчины пользу, нужно стараться не выглядеть слишком сильной и самостоятельной типа Ирины Хакамады. Она

производит впечатление состоявшегося человека, который сам кому хочешь поможет. Поэтому от мужчин никогда ничего и не получала. (*Карьера*, 2000, № 3)

«Извлечение пользы» в данном случае является стратегией более слабого по получению некоторых ресурсов и возможностей от более сильного, с барского стола. Эта стратегия, принося некоторую «пользу» женщине, одновременно воспроизводит не только практику мужского доминирования, но и идеологию мужского шовинизма. Причем и мужчины, и женщины становятся носителями этой идеологии, что является необходимым условием для воспроизводства модели успешной маскулинности, маскулинизации бизнеса, лишения женщин равных возможностей, вытеснения их на вторые роли и их использования для удовлетворения личных желаний и целей успешного мужчины.

Гендер как рыночный продукт

Описанная здесь новая модель успешной маскулинности не является единственной из возможных моделей. В обществе существуют альтернативные модели. Более того, подчас эта модель вызывает отрицательные реакции и сопротивление, что очевидно хотя бы из приведенных выше высказываний женщин-предпринимательниц. Однако в сегодняшнем мире бизнеса эта модель является скорее нормой, чем исключением. Как любая модель идентичности, она не формировалась с нуля. Благоприятные условия для ее быстрого развития возникли в период, когда общество отказалось от гендерного режима социализма, где личная жизнь подвергалась постоянному государственному вмешательству, не отказавшись при этом от идеологии мужского шовинизма. Поэтому, если мы взглянем на мир российского бизнеса через призму гендерного режима, мы увидим довольно уникальные черты, характерные именно для постсоциалистического общества. Примерами этих черт являются практически полная маскулинизация серьезных областей бизнеса и параллельное возникновение «женского бизнеса», находящегося в особых отношениях зависимости от мужчин. Такая ситуация во многом напоминает социалистическое разделение труда, когда все основные посты в структурах и институтах власти и в серьезных профессиях были заняты мужчинами, а женщины занимались непристижными и удаленными от власти «женскими профессиями».

Если же мы взглянем на мир российского бизнеса через призму рыночной идеологии, этот мир покажется не таким уж уникальным. Например, процессы персонализации сферы бизнеса и профессионализации личной жизни во многом следуют универсальной логике глобального рынка позднего капитализма (Jameson, 1992), проникающего сегодня во все новые сферы человеческого существования в самых отдаленных уголках мира. В этом смысле появление новой нормы маскулинности в российском бизнесе можно рассматривать как российский результат некоторых универсальных процессов экономической глобализации. Для того чтобы понять логику этих процессов, сравним их с аналогичными процессами в контексте японского корпоративного бизнеса.

Крупные японские корпорации тратят миллиарды долларов на оплачивание регулярного совместного посещения гейша-клубов *мизу шобай* своими сотрудниками-мужчинами. От большинства сотрудников ожидается участие в таких посещениях. Они проводят в этих клубах по многу часов после рабочего дня, по несколько раз в неделю, год за годом. По официальной версии, которая широко распространена в Японии, такие клубы дают возможность мужчинам, работающим в напряженном мире корпоративного бизнеса, расслабиться после рабочего дня, восстановить силы, снять стресс и укрепить мужскую солидарность (*male bonding*). Антрополог Анн Аллисон (Allison, 1994), изучавшая японскую корпоративную культуру, считает, что за этим функциональным объяснением скрыта более важная причина. На самом деле, считает Аллисон, клубы *мизу шобай* служат интересам крупного японского бизнеса в более широком смысле, чем предоставление отдыха и сближение сослуживцев. Эти клубы помогают сформировать такую модель маскулинности, в которой мужская субъектность и мужские желания определяются не через работу и семью, а через непрерывность корпоративной сферы (Allison, 1994, 150). Мужчина, субъективированный таким образом, находится «на работе» постоянно, и в рабочее время, и после работы. Этот мужчина предан корпоративному бизнесу не просто потому, что ощущает ответственность за общее дело, любит свою работу или боится ее потерять, а еще и потому, что он не мыслит себя за пределами корпоративной сферы. Формирование таких субъектов служит не только интересам конкретных фирм, но и логике рыночных отношений вообще.

Понятие успешной маскулинности в российском бизнесе, как и в японской корпоративной культуре, определяется не только

через полное доминирование мужчин, но и через пространственную, временную и эмоциональную непрерывность сферы бизнеса. Этот мужчина занят бизнесом (в той или иной форме) постоянно — на работе, в семье, в любви, в сексе, в дружбе, на отдыхе и т.д. Такая модель маскулинности легче объективируется и контролируется по принципам и задачам бизнеса. Она не только дает преимущества в сфере бизнеса именно мужчинам, воспроизводя властные отношения согласно идеологии мужского шовинизма, но также выступает как технология по постепенному переустройству человеческого существования на принципах рынка. Не случайно именно рыночные принципы начинают восприниматься мужчинами-карьеристами как откровения. Выражаясь словами председателя совета директоров компании «Тринити», Михаила Вишнякова, «самые важные вещи про жизнь и про людей я понял, когда занялся бизнесом» (*Карьера*, 1998, № 6).

Елена Мещеркина

БЫТИЕ МУЖСКОГО СОЗНАНИЯ: ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ МАСКУЛИННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СРЕДНЕГО И РАБОЧЕГО КЛАССА

Социологическая концептуализация маскулинности

Редкий социологический опрос обходится без пола как независимой переменной, которая замеряется и затем учитывается в последующей оценке и интерпретации. Это превращает пол как переменную в ресурс, социологическое содержание которого остается непроявленным. Пол редко становится топосом и чаще воспринимается в социологической исследовательской практике как имплицитное содержание повседневного сознания.

Имеющиеся подходы к социологической концептуализации пола либо связаны с изучением социального неравенства полов (социально-структуралистский подход), либо сосредоточены на отражении различия (дифференции) полов в повседневной интеракции (интеракционизм). В феминистских исследованиях дискутируется возможность анализа пола как центрального измерения социального неравенства, вплоть до понимания пола как классово-образующего признака. При этом гендерное неравенство (или маскулинный супрематизм) концептуализируется как нечто качественно иное: 1) половое различие кодируется бинарно, и мобильность между полами весьма редка; 2) опыт социальной практики неравенства женщин отличен от других дискриминируемых групп в социальных отношениях, поскольку основывается на специфической близости/дистанции. Феминистская методология использует и социально-конструктивистскую перспективу, этнометодологическую в особенности, рассматривая двуполость собственно как социальную практику, как «генеративный образец построения

социального порядка» (Gildemeister & Wetterer, 1992, 230). Как следствие — «де-иерархизация различий» невозможна, «если не ставить под сомнение основной бинарный образец» (Gildemeister & Wetterer, 1992, 248). Методологически это означает не поиск третьего идеального пола — хотя мифы об андрогине символизируют эту потребность, — а попытки манипулировать самим *процессом* полоролевой социализации. Речь, таким образом, идет о мультипликации основных составляющих бинарного образца, т.е. о множественности маскулинностей и фемининностей, связанных между собой многообразием гендерных контрактов.

Полюсы, между которыми развивается дискурс социологии гендера, обозначены вехами общей социологической дискуссии: макро и микро, структура и действие. Поэтому возникают такие исследовательские кентавры, как неравенство полов, корреспондирующее с неравенством в социальной структуре, или локальное воспроизводство социального порядка двуполости. В качестве примера приведем работы Франчески Канциан (Francesca Cancian, 1985, 1986), увязывающие системный анализ власти с анализом форм выражения любви мужчинами и женщинами. Она исследовала, как культурное кодирование любви влияет на восприятие мужчинами и женщинами тех действий, в которых любовь находит свое подкрепление и выражение. В итоге Канциан сформулировала тезис о том, что те *подкрепляющие* действия, которые мужчинами собственно и понимаются как *выражение* любви, ни женщинами, ни в общественном сознании таковыми не воспринимаются. Подобное расхождение является следствием «феминизации любви», в рамках которой с любовью ассоциируется только эмоционально-экспрессивное поведение, но не ее инструментальная поддержка. Как пишет Канциан, «женщины предпочитают эмоциональную близость и вербальную экспрессию; мужчины предпочитают секс и оказание инструментальной поддержки» (Cancian, 1985, 253). Реконструируя перспективы обоих полов, Канциан проводит анализ отношений любви, зависимости и власти. Любовь в образе инструментальной поддержки имплицитно отражает более высокое положение того, кто помогает, защищает, заботится и т.д. При этом может оставаться в тени зависимость того, к кому обращена эта помощь и защита. Дальнейший анализ феминизации любви Канциан показывает, что мужской стиль выражения любви дискурсивно не признан, в то время как легитимность женского желания эмоциональной экспрессии более свойственна общественному сознанию.

Анализ маскулинности нашел свое распространение не только под крышей социологии, но и в рамках в значительной степени политизированных «мужских исследований» (men's studies), которые в своей динамике пережили смену парадигм от структурно-функционалистского понимания мужской роли к культурно-критической перспективе. Причем эта критика сместилась с *деформаций*, которые испытывает мужчина благодаря усвоению своей мужской роли, на *властные позиции* мужчин в процессе отношения полов. На теоретическом уровне ролевой подход уступил место конструктивистскому подходу, что отразилось и на понятийном аппарате: единственную маскулинность сменили множественные маскулинности.

В мужских исследованиях можно выделить три основных дискурса, концептуализирующих мужественность: дискурс *дефицита* (Wieck, 1993; Pilgrim 1979; Jokisch, 1982), дискурс *маскулинизма* (Buerger, 1992) и дискурс *различий* (Bly, 1991 и другие мифопоэты). Дискурс дефицита делает мужской гендер проблемой и предметом рефлексивной терапевтизации. Оба других дискурса — в принципе реакция на первый и выступают с обещанием компенсировать мужчине чувство неуверенности, возникающее в ходе рефлексии по поводу новых форм взаимоотношения полов в обществе. Дискурс *маскулинизма* делает это через возвращение к старой идеологеме «мужского господства», а дискурс *различий* занят поисками аутентичной маскулинности и первоначальной «мужской энергии». И в том, и в другом направлении речь идет о собственно *маскулинной* идентичности, и важнейший аспект взаимоотношения и относительности *полов* (relational aspect) остается в стороне.

Попытки развить социологическую теорию маскулинности связаны прежде всего с изучением властных отношений в двух измерениях: не только в направлении подчинения женщины мужчиной, но и доминирования среди мужчин (Brittan, 1989; Connell, 1987; Hearn, 1987; Kaufman, 1994). В рамках этого подхода социальная ситуация мужчины рассматривается как сочетание власти и безвластности/бессилия, хотя опыт частичного безвластия мужчины лишь отчасти сопоставим с систематическим подчинением женщины мужчиной.

Понятие «гегемонической маскулинности», выдвинутое Коннеллом, и отстаиваемая им позиция «теории практики» («practice-based theory») выгодно отличают его подход к построению теории социального пола — с собственным понятийным аппаратом, тезисом о гендере как центральной социально-структурной категории

и фокусе на взаимоотношениях социального действия и социальной структуры. Социологизм концепции Коннелла, вобравшей положения теории капиталов Пьера Бурдьё и концепцию дуальности структур Энтони Гидденса, возникает на пересечении, с одной стороны, опытов, конструирующих действующего субъекта, и структур социальных отношений — с другой.

Коннелл различает три фундаментальные структуры, в рамках которых организованы отношения полов: *труд/производство*, *власть* и либидозное *влечение*, среди которых *власть* является основополагающей категорией (Connell, 1995, 73). В основе этих структур лежат различные принципы организации: *разделение* (разделение труда), *неравная интеграция* (подчинение одних другим) и *эмоциональная связь* соответственно. По Коннеллу, именно в рамках этих структур, обнаруживаемых эмпирически, воспроизводятся и проявляются отношения полов.

Понятие гегемонии, подчеркнутое им у Грамши, отражает суть мужского превосходства и выражается в сочетании авторитета и маскулинности, что, в свою очередь, предполагает не только практику взаимоотношений *между* полами, но и *внутри* полов (например, между мужчинами). Тем самым иерархия авторитетов смещается внутрь доминирующего пола, множа субкатегории по факту этничности, сексуальности и т.д. Под категорией гегемонической маскулинности Коннелл мыслит не свойство характера, а скорее *культурный образец*, своего рода доминирующий идеал, который лежит в основе практик пола (doing gender). Даже не будучи реализованной на практике, модель гегемонической маскулинности остается эффективным символическим средством осмысления существующих отношений власти между полами. Так, мужчина, в силу практических обстоятельств не способный исполнять роль кормильца жены и детей, тем не менее может выступать в защиту этой роли и даже считать себя таковым, воспроизводя тем самым гендерный порядок. Коннелл называет это «маскулинностью соучастников» (Connell, 1995, P.79), подчеркивая одновременно зазор между культурным идеалом и повседневной реальностью и силу воздействия даже малореализуемого культурного образца. Решающим фактором институциональной поддержки таких конструкций реальности являются гомосоциальные сообщества, внутренняя солидарность которых способствует подкреплению и воспроизводству чувства «нормальности» и в отношении индивидуальных представлений, и в отношении индивидуальных практик.

На этом фоне термин «хабитус», предложенный Пьером Бурдьё, имеет глубокое эвристическое значение, поскольку он также претендует на сочетание измерений социальной структуры и социального действия с описанием бытия мужчины в противоречивой социальной практике. Под *хабитусом* понимается не только *система* длительно сохраняемых диспозиций и способ производства стратегий, позволяющих встречать непредвиденные новые ситуации, но и *механизм воспроизводства социального неравенства*. В основе *хабитуса* лежит специфика социального положения. Актеры, характеризующиеся общностью социального положения, стремятся воспринимать социальные ситуации и действовать сходным образом, поскольку корреспондирующий с их социальным положением *хабитус* выступает «матрицей действия, восприятия и мышления» (Bourdieu, 1979, 169). Поскольку каждому социальному положению, по мнению Бурдьё, свойствен только один *хабитус*, то осуществляемая через него социальная ориентация означает одновременно и социальную дифференциацию. В итоге *хабитус* является не нейтральным средством ориентации в обществе, а механизмом воспроизводства социального неравенства.

Как известно, Бурдьё раскрывает социальное положение через определенную конфигурацию капиталов (экономических, культурных, социальных). Объем и сочетание этих капиталов в итоге и определяют конкретный *хабитус*, манифестируемый в различных стилях жизни. Хотя Бурдьё в своем анализе концентрируется преимущественно на *классовых* различиях, понятие *хабитуса* существенно и для теоретической тематизации гендера¹. По крайней мере, социальный класс для Бурдьё не в последней степени определяется тем, какое место отводится в нем обоим полам и их социально усвоенным установкам (Bourdieu, 1987, 185). Лишь в позднейших работах о мужском господстве он расширяет понятие *хабитуса*: «*Хабитус* производит социально гендеризованные конструкции мира и тела, которые, хотя и не являются духовными репрезентациями, все же не менее активны» (Bourdieu, 1997, 167). И далее: «Мужские и женские тела... воспринимаются и конструируются соразмерно практической схеме *хабитуса*» (Там же, 174). Если подытожить позицию Бурдьё социологически, то она бы звучала следующим образом: социальное существование пола связано со специфическим *хабитусом*, который предполагает одни

¹ *Хабитус* как «инкорпорированная, ставшая природой и, как таковая, забываемая история» (Bourdieu, 1993b, 105).

практики и исключает другие. В этом смысле «хабитус» выступает в качестве основы или *modus operandi* этнометодологической концепции половых практик (doing gender), порождая различные перформативные формы и маскулинностей, и фемининностей.

Понятие «гендерного хабитуса», возникшее из переноса категории П. Бурдьё на отношения полов, было углублено М. Мойзером в ходе интерпретации эмпирических данных, которые показали, что жизненные ситуации мужчин прежде всего отличаются тем, насколько у них выражено чувство хабитусной уверенности/безопасности (Meuser, 1998, 108). Концепция *маскулинного хабитуса* описывает, как мужское бытие производит себя в отличие от женского (измерение различий), а также как возникает мужская доминантность в процессе производства различий (измерение неравенства).

В концепциях маскулинности от Г. Зиммеля до Р. Коннелла ясно видна связь различия и доминантности: различие производится через доминантность. Так, уже у Зиммеля невидимость Полового в действиях мужчин является решающим признаком и центральной стратегией мужских практик пола (doing gender) и, соответственно, определяющим элементом маскулинного хабитуса. Превращение власти в право является для Зиммеля выражением и средством этого превращения в невидимое. Из произвольного Властителя возникает «Носитель объективной законности» (Simmel, 1985, 202).

Маскулинный хабитус проявляется во множестве форм: и как общая ответственность за благо семьи (глава семьи), и как физическое насилие, и как защита и охрана близких, и как гипермаскулинность типа Рэмбо или латинского мачо. Жизнь в соответствии с мужским хабитусом порождает чувство хабитусной уверенности/безопасности в рамках определенного социального порядка. Этот порядок сродни «основе повседневности» в понимании Гуссерля и отражен в словах-типизациях «и так далее, и тому подобное». Из хабитусной уверенности, по мнению Яннинга, вытекает «осознанное согласие с хабитусной судьбой» (Janning, 1991, 31) как позитивно воспринимаемое принуждение. Какими средствами защищается эта хабитусная уверенность, если меняются структуры гендерного порядка? Когнитивными средствами поддержки хабитусного порядка — согласно этнометодологам, а также П. Бурдьё — являются стратегии нормализации: приведение к норме и отклонение ненормативного. Именно они обнаруживают коллективно разделяемое смысловое содержание маскулинности и требуют в каче-

стве необходимого условия своей реализации существования гомосоциальной атмосферы мужских сообществ — спортивных клубов, компаний однополченцев, земляков, гаражных обществ, курилок, мужских туалетов и т.д. Гомосоциальность глубоко функциональна с точки зрения потребности в социальном пространстве, «свободном» от женщин, в рамках которого коллективно разделяемые смыслы мужской жизни типизируются и приобретают межличностную значимость. Гомосоциальность относительно автономна и гораздо более структурирована и иерархизирована, чем фемосоциальность. Может быть, поэтому имеет смысл говорить именно о *мужской* солидарности?

На фоне эмансипации, индивидуализации, разрушения прежних гендерных контрактов и возникновения множества новых пространство гомосоциальности не может в эпоху модерна не испытывать напряжения. Эта темная сторона изменений воплощена в термине У. Бека «антимодерн». Утрата прежней хабитусной уверенности оборачивается поисками новых или возрождением прежних форм хабитуса. «Сколько распада вынесет человек?» — в этом вопросе выражена, с точки зрения Бека, центральная дилемма рефлексивной модернизации (Beck, 1993, 143). Особенно это касается взаимоотношения полов и практик маскулинности, в которых отражаются неравномерность процессов модернизации и культурное сопротивление разрушению хабитусной уверенности/безопасности.

Итак, удовлетворительной теоретической позицией для нас является концепция гегемонической маскулинности Р. Коннелла, утверждающего множественность и иерархичность маскулинностей, формирующихся и поддерживаемых во взаимоотношениях с другим полом и собственно с мужчинами, а также концепция хабитуса П. Бурдьё и его теория экономических, социальных, символических капиталов, которые создают чувство хабитусной уверенности и безопасности и на которых базируются претензии маскулинной иерархии. Вопрос в том, какие стратегии развивают социальные актеры в целях обеспечения хабитусной уверенности в условиях изменения социальных структур, обеспечивавших условия формирования и поддержания хабитуса.

Методический подход

Методически изучить типизированные решения (мужских) проблем, т.е. реконструировать их толкования в собственной эксис-

тенциальной ситуации, на наш взгляд, адекватнее методом фокус-группы, поскольку наш интерес направлен на реконструкцию *коллективного* смыслового содержания, и *коллективная* дискуссия дает к этому прямой доступ. Метод биографического нарративного интервью лишил бы нас в данном случае необходимого соотношения типизаций с воспроизводством результатов предыдущих групповых интеракций. Мое присутствие во время групповой дискуссии — т.е. присутствие Чужой/Женщины — заставляет членов группы формулировать свои опыты и позиции значительно сильнее и определеннее, нежели в привычных условиях повседневной интеракции *внутри* группы. Самое главное, что при такой организации дискуссии становится явным, артикулируется то «само собой разумеющееся» содержание, которое и раскрывает смысловой горизонт группы.

Еще одним важным условием организации групповой дискуссии был неслучайный характер ее участников: мужчин в группе объединяет общая история интеракции и уже сложившаяся групповая динамика — со своими лидерами, аутсайдерами, внутренними экспертами и в меру молчащим большинством. Кроме того, характеристика группы — это и типика среды (*milieu*), понимаемая вслед за К. Маннгеймом как «продолженное пространство опыта» (Mannheim, 1970, 108). Другими критериями являлись возраст и социально-профессиональная принадлежность. Возрастные границы охватывали период от 30 до 50 лет, что предполагало наличие образования, профессии и постоянного партнерства/брака. Социально-профессиональная идентификация первой группы связана со средним классом, техническим и экономическим высшим образованием, негосударственным сектором экономики. Вторая группа, привлеченная для обеспечения максимального контраста, состояла из представителей рабочего класса того же возрастного диапазона и средним/среднетехническим образованием. В ходе интерпретации данных вновь привлекались критерии максимального и минимального контраста, но уже на качественном материале — с целью реконструкции общего и различного и построения на их основе теоретических обобщений. Этот подход к анализу качественных данных отражен в известной «обоснованной» теории Глэзера и Страуса, а также Корбин (Strauss & Corbin, 1990).

Предварительное и самое общее структурирование групповых дискуссий было сфокусировано первым вопросом: «*Что значит для вас быть мужчиной?*» Затем роль ведущей свелась к принципу «самотека». Когда повисали паузы, повторялся кратко последний

пассажа и предлагалось прокомментировать его тем, кто еще не высказывался. Каждая дискуссия длилась по времени один час. Нужно отметить, что первый вопрос воспринимался абсолютным большинством участников с большим недоумением и скепсисом, с подозрениями со стороны групповых «экспертов» в том, что смысл происходящего лежит вообще в другой плоскости. И это весьма оправданная общая реакция, если в основе ориентаций группы лежат традиционные маскулинные ценности, по отношению к которым не нужно занимать рефлексивной позиции, но конкретное прояснение которых в модернизированном социальном мире представляет колоссальную сложность и вызывает поэтому на первых порах реакцию раздражения.

Полученный в результате расшифровки текст дискуссии подлежал оценке с точки зрения коллективных взаимосвязей значений, а не субъективных интенций и мотиваций. Содержание текста анализировалось последовательно, со сравнением близких по смыслу и контрастных смысловых сюжетов, что в принципе отвечает идеям текстуального анализа, а также конверсационного и нарративного анализа.

Мужская ответственность представителей среднего класса

Возвращаясь к трудности ответа на вопрос о том, что значит для участников групповой дискуссии «быть мужчиной», важно отметить, как эта проблематика развивалась во времени. Сначала вопрос ставился под сомнение с точки зрения его адекватности. Затем члены группы констатировали, что различий между мужчинами и женщинами перед лицом общества нет. Далее разворачивались описания *взаимоотношений других*, знакомых мужчин и женщин в качестве модели, по поводу которой группа солидаризировалась в ее отклонении или приятии. И, что очень важно, уже на основе этих эмпирических картинок делался вывод, что на самом деле все — мужчины и женщины — очень разные. Этот момент выводит на основу валидизации, которую можно назвать «правдой жизни», и представляет результат коллективной работы членов группы. Приведем пример нарратива, иллюстрирующего эту разность и одновременно важность гомосоциальной атмосферы, тестирующей эту разность с точки зрения своих внутренних критериев:

Мой сосед по гаражу... он инструктор по вождению. Помню, мы возились возле гаражей, весна пришла, прибегает... одна и кричит своему: «Ты почему так медленно гайки крутишь?» Все обернулись, посмотрели на него. Парень сжался весь. Теперь знает, что гайки вертеть быстрее надо.

Ирония в конце комментария отражает пренебрежение к мужчине, который позволяет женщине в чисто мужском сообществе публично демонстрировать свою власть над мужем.

По мере наслаивания описаний других следует более радикальное признание того, что миры мужчины и женщины разнятся как две вселенные. И только после этого собеседники подходят к концептуализации собственного жизненного опыта как *мужского*, сначала — в общем стереотипизированном виде, а затем и в конкретной жизненной практике: «То, что для меня важно, это семья и работа. А кредо — “всегда”. Мужчина — это действующее начало, что-то меняющее в мире». Такая omnipotentная активность, безусловно, должна найти помимо *приложения* — т.е. семьи и работы — и систему «*сдержек и противовесов*», как выражаются наши политики. Обнаруживается, что этим сдерживающим началом является женщина. Ее отличие усугубляется тем обстоятельством, что «кто-то» использует его, инструментализирует в целях достижения социальной гармонии:

Различия между мужчиной и женщиной есть, и они используются в коллективе. Раньше в институте и здесь, в коллективе. Было замечено еще в институте, что в группах только из юношей начинался загул, распоясывание. Затем добавили по 2—3 девушки в группы: стало спокойнее, перестали эмоции через край выливаться. Все стали вести себя сдержаннее. То же и в коллективе, и в обществе. Женщина оказывает благоприятное воздействие.

В этом отрывке отчетливо видна «отношенческая» конструкция маскулинности и фемининности в коллективе, их взаимозависимость, взаимообусловленность и взаимосконструированность.

Но это еще не индивидуально-рефлексивный опыт, приближение к рассказу о нем достигается через рассказ опять же о женских фигурах близкого круга семьи:

Моей дочери 21 год... она видит, что вокруг делают мужчины. Берет у меня нужные инструменты, машину водит, за компьютер садится, в ее поступках я вижу мужскую логику решений. Так, например, села в чужой автомобиль и посмотрела в боковое зеркало, закрыта ли задняя дверь... Сын рос в другое время, тогда не было благосостояния. Он

вырос более мягким, он может советоваться с мамой, обсудить с ней какие-то вопросы. А эта коза — женщина, которая принимает самостоятельные решения. Небо и земля. А мама не может запрограммировать фильм на видео вечером. Многое определяет наше благосостояние.

Логика аргументации здесь увязывает изменение половых ролей во втором поколении (маскулинизацию женской роли и феминизацию мужской) с наличием благосостояния, которое понимается в первую очередь как оснащение домохозяйства техническими «игрушками»: видео, компьютер, машина, компетенция в овладении которыми традиционно принадлежала ранее мужчинам. И теперь социально более подвижный — женский — пол осваивает прежде чужие сферы. Это воспринимается как глубокие перемены, эмоциональную оценку которых уловить непросто, поскольку речь идет о дочери участника дискуссии.

После приоткрытой двери в частную жизнь в атмосфере групповой дискуссии происходит качественный перелом, уже следует обмен нарративами, раскрывающими личный биографический опыт мужчин с подтекстом маскулинного предназначения.

Я в то время (конец 80-х) менял работу. И состоялся у меня такой разговор с главным конструктором. Зачем, мол, ты уходишь, у тебя здесь такое положение. Я говорю ему, понимаешь, я 15 лет работаю на предприятии, и за эти годы мне ни разу не подошла очередь даже кроличью шапку получить. А почему такой разговор произошел: жена собралась получать вторую квартиру, я пришел в профком и говорю, вы мне хоть мебель запланируйте. Да-да, говорят, и вот тут через месяц ордер, и узнаю, что приходит стенка мебельная и отправляют ее к нам в отдел, и вдруг выясняется, что стенка уходит женщине, которая дольше меня на 5 лет работает. И пока я там 15 лет работал, она получает уже вторую стенку. Я завелся, написал заявление и ушел. Поставил себе цель: проработать 5 лет в Москве (мы жили в Подмосковье), за это время заработать, смочь заработать, чтобы купить тут квартиру и отделить детей. Вот, и когда пришлось опять сменить работу, я детям сказал: ребята, я свою цель уже выполнил, я проработал 7 лет в Москве, квартиру купил двухкомнатную, а теперь давайте обсуждать следующие цели, но теперь они ВАШИ.

В этом длинном нарративе тесно переплетено время социальное и биографическое. Причем где-то оно сжато («прошло 15 лет»), а где-то насыщено изменениями: когда социальная ситуация открывала ранее недоступные возможности для заработка, рассказчик переходит от пассивного ожидания «кроличьей шапки» в проф-

комовской очереди к постановке целей, которые воспринимаются им и членами семьи как программные. Поставить себе цель заработать на квартиру в Москве и реализовать эту цель выглядит куда более сильным (мужским) поступком, чем унижительная конкуренция с женщиной-сотрудницей по поводу мебельной стенки. При этом пример и предложение отца в определенной степени структурируют и жизненные стратегии детей.

В последующих репликах и кратких нарративах отслеживается определенное сходство с предыдущим: почти все участники дискуссии имели общий жизненный опыт смены профессии/работы в эпоху радикальных экономических перемен.

Мы все прошли через вариант смены работы, чтобы улучшить благосостояние семьи, даже не свое. Хорошо помню то время, когда я работал на кафедре научным сотрудником. По тем, еще советским временам, ну, кем еще становиться — кандидатом наук, доктором, преподавать. Но пошла перестройка, и я понял, что там я буду зарабатывать очень мало, и моя семья, за которую я отвечаю, она будет жить очень плохо. Таким образом, основным толчком было — надо менять работу, надо что-то делать, раз такая ситуация. Оно во мне, внутри было, какое-то чувство ответственности, не только за себя, но за своих близких. Наверное, это почти у всех мужчин так.

Ключевое выражение «ответственность за семью» получает здесь коллективную валидизацию благодаря поддержке и развитию последней фразы («почти у всех мужчин так»):

Все мы оказываемся в той ситуации, когда мужчина кардинально меняет работу, насколько я знаю по своим знакомым, а женщины в основном остаются на своей работе и ищут дополнительные заработки. А мужчины в основном бегают в связи с тем, что ответственность за семью, корм тащить домой....

Но эти обобщения рассказчиков наталкиваются на жизненный опыт других мужчин, жены или знакомые которых испытывают не менее серьезные изменения в жизни, приведшие к трансформации гендерного контракта полов:

Сейчас многое меняется. Если в Совдепии, скажем, мужчина был добытчиком, изначально сверху все воспринималось и делалось, то сейчас в этот переходный период все это меняется коренным образом, хотя психология людей, конечно, осталась прежняя. Женщины-бизнесвумены блестяще это делают, и они становятся этими добытчицами. Поэтому все это перетекает, меняется. Пока еще это устаканит-

ся... Да и смотря что женщина выбирает. Одной нужно детей рожать, другой — свое. У кого какое свободное время есть, то и делает.

Признание плюрализма призваний, независимо от половой принадлежности, является здесь не отвлеченной метафизикой пола, а конкретным жизненным опытом. Тот же рассказчик:

Мой личный опыт связан с тем, что жена зарабатывала больше. Она тысяч в 10 больше зарабатывала, чем я. Сначала я чувствовал себя спокойно. Я всегда спокойный. Я ведь тоже до перестройки зарабатывал какие-то определенные деньги, ну, а потом, наверно, когда супруга получает в тысячи раз больше, а *не наоборот*, то постепенно чувствуешь себя... (молчит с горьким выражением лица).

В этот момент происходит интересный обмен репликами:

- Я думаю, прежде всего меняется отношение самой женщины.
- Конечно, и кардинально.
- Или мужчине так кажется.
- Эти женщины ведь тоже воспитывались в то время, когда мужчина был добытчиком. И получается: папа был добытчиком, у всех знакомых дядь, тетя тоже. А мне не повезло, накладка вышла.

В этом кратком диалоге разворачивается непростая картина перевернутой пирамиды властных отношений в семье. Традиционно женщина воспринимает мужчину главой семьи в том случае, если им выполняется функция добытчика. Но и эмансипированная женщина, выстраивающая жизненную стратегию на основе карьеры с видимым материальным успехом, является носителем тех же традиционных гендерных ожиданий по отношению к партнеру. Собственно, это и становится версией причины развода одного из собеседников.

Вообще тема проблематизации соответствия возросшим ожиданиям партнерш/жен занимает значимое пространство разговора:

А тут еще возраст и всякие социальные вещи. Чтобы ты не просто торговал на рынке, был не миллионером на рынке, а бизнесменом, предпринима-а-телем.

Отметим попутно, что это скорее свидетельство изменения рынка труда и социально-профессиональной ситуации в целом, расставляющее другие акценты: уже важно не просто зарабатывать деньги, но *как* зарабатывать. Это уже вопрос социальной идентификации; хотя доля привносимого содержания со стороны гендерного контракта безусловно присутствует: возросшая требовательность женщин к партнерам.

И в заключение дискуссии происходит показательный диалог между одним из собеседников (С) и ведущей (В):

С.: А вообще мужчина должен... как это... воспитать сына, посадить дерево, построить дом.

В.: Вам это удалось?

С.: Если воспитать ребенка, это мы еще смогли, дерево посадить, наверно, тоже сможем. А вот дом построить — это да-а-а.

В.: Значит ли это, что вам тяжело состояться как мужчине?

С.: Получается, да.

В.: Но вы сами выбираете эту формулу!

С.: Получается. А кто виноват? Я виноват, не раскрыл свои возможности. Не было такой цели, или мне не дали.

Группа приходит на помощь моему собеседнику и резюмирует: «Если вообще ставить реальные цели, они должны быть ступенчатыми. Когда реальная цель достигается, надо ставить следующую».

Этот диалог высвечивает, на наш взгляд, очень важное обстоятельство, влияющее на конструкцию маскулинности. Это — глубинная потребность в идеологии, или этике маскулинности. Ее формулирование чрезвычайно затруднительно, для этого привлекаются источники ушедших культурных эпох, например «Мыслящий тростник» Б. Паскаля (Паскаль Блез, 1974). Но эти же готовые формулы являются ловушкой и источником фрустрации («Я виноват»), поскольку реальная фоновая практика гендера и социально-культурные рамки настолько противоречивы, что конкретная биография мужчины не укладывается в их прокрустово ложе. Что же остается в непротиворечивом «сухом остатке» групповой дискуссии, что наполняет содержание коллективно разделяемого маскулинного хабитуса?

- Мужчине легче себя определить или позиционировать в отношении с женщинами, мужчина как таковой — загадочен и архаичен;
- жизненные миры мужчины и женщины разнятся, как две вселенные;
- свое предназначение мужчины формулируют как чувство ответственности за близких/семью, что одновременно порождает иерархическую систему, в которой ответственность сопряжена с правом;
- современные трудности гендерной идентификации мужчины или маскулинного хабитуса сопряжены с хабитусной же не-

уверенностью, порождаемой проблематизацией роли добытчика/кормильца, а также возросшими гендерными ожиданиями со стороны женщины;

- гендерный контракт не имеет характер незыблемого, он подлежит пересмотру в повседневной практике взаимоотношения полов, что отзывается повышенным напряжением и фрустрациями в случае неоправдавшихся ожиданий;
- наблюдается определенный кризис маскулинной идеологии, когда классические формулы не выдерживают проверки социальным временем, и концептуализация спускается на уровни, близкие социальной практике с ее прагматизмом и рациональностью («ставить реальные цели»);
- гомосоциальность играет чрезвычайно важную роль в коллективном построении баланса между коллективным маскулинным опытом и моделями объяснения в повседневности, то есть выработке стратегий нормализации по защите гендерного порядка.

Мужской прагматизм представителей рабочего класса

Дискуссия была проведена на одном из московских заводов металлургической промышленности. Группа состояла из десяти человек и представляла тот же возрастной диапазон, что и первая, большинство членов группы состояли в браке /партнерстве. Наконец, это был тот же тип «естественной» группы, спаянной общим опытом интеракции.

Как и в предыдущей группе, вопрос о том, что значит быть для них мужчиной, казался странным, хотя эмоционально и в меньшей степени. Сходным образом приближение к совокупному ответу на этот вопрос растягивалось во времени и развивалось через тематизацию сначала роли женщины на работе и в семье, и лишь затем участники подходили к описанию роли мужчины. При этом у рабочих было значительно меньше рассуждений об идеологии взаимоотношения полов, чем у представителей среднего класса.

Если женщина умная, почему она не должна сделать карьеру? Если она работоспособная, с людьми в хороших отношениях — почему бы ей не стать начальником цеха? Человек неглупый, грамотный — я за, чтобы такие люди были. Если женщина справляется лучше, чем муж-

чина, то начальник ее оставит. Ведь он старается оставлять тех людей, которые бы работали.

Вот так, исподволь, не выходя за рамки контекста, собеседник подходит к оценке *женщины* прежде всего с точки зрения выполнения ею трудовых обязанностей *работницы*. Пока здесь просматривается только функциональный аспект, но также намечены конкуренция и оценивание функциональности женского труда мужчиной-начальником. Их формальные отношения отмечены рациональностью («отбор тех, кто работает») опять-таки со стороны начальника.

Если бы мне платили приличные деньги, то жена могла бы и дома сидеть с ребенком, как это и полагается — уделять внимание ребенку, домашним делам и всему остальному. Но сейчас ведь рабочий не может содержать семью полностью. Может быть, и может, но это внатяг жить.

Эта цитата составляет контраст с аналогичным сюжетом в первой группе, где один из участников испытывал чувство фрустрации, *личной* вины из-за невозможности выполнить соответствующую мужскую роль. В данном же случае собеседник лишь отмечает в сослагательном наклонении, что неплохо бы реализовать традиционную модель семьи (муж-кормилец/жена-домохозяйка). Но к невозможности такой жизни он подходит вполне прагматично, не интернализуя вину за социальные обстоятельства.

Вообще рассказывать об отношениях мужчины и женщины *вне* институционального контекста участникам этой группы было очень непросто. Им проще говорить о том, что наполняет их повседневность: это не перипетии отношений, а реальность трудовых дел и коммуникация по их поводу в преимущественно гомосоциальном сообществе. Так приблизительно выглядит типичный день рабочего:

У нас второй корпус, человек 5 слесарей. Утром приходишь, обходишь все. Что поломалось за смену, начинаешь делать. Потом текучку начинаешь делать. Обед у нас 45 минут. После обеда то же самое, делаешь запасные детали, если в смену что полетит, чтоб запас был. Так и продолжается, как конвейер. То одно делаешь, то другое. Потом приходишь домой, зашел в ванную, руки помыл. Перекусил что-то и побежал в гараж...

Показательно обилие глаголов, частого перечисления действий, неудивительно, что близка по стилю и попытка суммировать в итоге мужскую роль:

Мужчина, он должен уметь все делать, хотя бы понемногу во всем разбираться, По работе в первую очередь, да и дома во всех мелочах. Он умелец. Когда умеешь, то и люди к тебе обращаются. Правда, плохо, когда слишком много обращаются.

Это тут же получает поддержку группы:

Мужчина должен быть самостоятельным, иметь голову на плечах и руки умелые. А чтобы стать им, нужно суровое воспитание от деда, отца. Моя основательность от деда, интересно было наблюдать за ним... Мужчине нужно пройти жесткие, не тепличные условия, чтобы где-то повращаться не среди женщин, особенно тем, кого воспитывала только женщина.

В отличие от группы среднего класса, здесь, чтобы состояться как мужчине, требуются несколько другие факторы — умелые руки и самостоятельность. Причем эти качества системообразующие, они структурируют социальность, выстраивают отношения. И что особенно важно, для их приобретения необходима гомосоциальность.

В ходе дискуссии была затронута и жизненная ситуация, в которой мужчина зарабатывает меньше жены/партнерши:

У меня двое детей, сын большой уже, а дочка маленькая. В основном с ней жена занимается. Она у меня работает в банке. Зарабатывает почти так же. В какое-то время больше зарабатывала, а сейчас у них на одном месте стоит... Разборки? Об этом и разговора не было. Думаю, что так и должно быть. Если кто-то зарабатывает меньше или больше, это не должно задевать. А что сделаешь? Может, и рад больше зарабатывать, но не платят. Ну что сделаешь?

Это — момент так называемого минимального контрастирования качественного материала, когда из разных сравниваемых источников подбираются близкие социальные ситуации. Если мы вспомним, что аналогичная ситуация в другой группе привела к возрастанию гендерных ожиданий партнерши и в итоге к разводу, то здесь рассказчик относится к этому прагматично: каждый делает то, что в данный момент может. При этом на гендерном контракте внутри семьи это не сказывается. Может быть, потому, что концептуализация маскулинности здесь идет по линии *умений и самостоятельности*, приобретая которые мужчина мало рискует их утратить вследствие изменения социально-экономической ситуации. Если же он выстраивает свою идентичность на *чувстве ответственности* за семью, на балансе гендерных ожиданий, требующем постоянного подтверждения (как в группе представителей

среднего класса), то его маскулинность все время оказывается под вопросом. В итоге возникает хабитусная неуверенность. Здесь же, в группе рабочего класса, есть признания *общей* экзистенциальной неуверенности, объединяющей и солидаризирующей на своей почве *оба* пола. И маскулинный хабитус рабочих кажется не затронутым этой экзистенциальной неуверенностью, поскольку существует несколько в иной плоскости.

Приведу развернутый нарратив участника дискуссии, жизненная ситуация которого также отмечена экзистенциальной неуверенностью, но его отношения в семье контрастируют с предыдущими участниками дискуссии — они отмечены большей либеральностью, что отчасти объясняется возрастной разницей в 15 лет:

Я, например, ремонтер резиновых изделий. Моя квалификация никому, кроме этого завода, не нужна. А всем ведь надо кормить семьи, денежки зарабатывать. Автослесарем я тоже работал, знаю, что это такое. Но чтобы заработать хорошие деньги автослесарем, нужны золотые руки, а в этом масле они ничуть не чище, чем здесь на заводе, да еще бензина надышишься. Хотя выбора много, но я человек не активный, вот моя беда. Миллионом способов можно деньги заработать, но у меня психология немножко другая: я думаю, что мне будет плохо от этого? А с этим ничего не построишь. Сейчас же как бизнесмены думают? Что я на этом заработаю? Что мне за это будет — это на 101-м месте. Я так не могу.

Если «снимать» последовательно смысловые слои этого нарратива, то его траекторию можно выразить так: я привязан квалификацией к заводу — нужно зарабатывать/кормить семью — хорошо зарабатывать я не могу — я неактивен — боюсь неудач. В этом тоже есть своя «рациональность»: лучше меньше, зато надежно. Такая «ущемленная» идентичность, которая провоцирует неудачи их ожиданием, интересно совмещается с либерализмом партнерских взаимоотношений в семье:

Жена у меня всю жизнь проработала главным бухгалтером, у нее высшее образование. На бухгалтеров спрос тогда был колоссальный. Она на нескольких фирмах проработала. Но потом родила, просидев три года с ребенком, не работала. За это время ее конторы прикрыли. Вернуться некуда было. А сейчас к бухгалтерам большие требования, компьютер знать надо, английский и тому подобное. А навыки-то потеряны. Сейчас она устроилась на другой завод бухгалтером, но там зарплата кирпичами. За февраль дали зарплату деньгами, а за март — апрель, говорят, берите кирпичом. А ведь надо еще побегать, кому их продать...

Казалось бы, это нарратив о жене, но мы получаем не историю отношений, а ту же проблематику разрывов в профессиональной карьере, которая тяжело отзывается на общей экзистенциальной ситуации семьи, усложненной еще и проблемами конвертации кирпичей. Важное обстоятельство наличия спроса на бухгалтеров корреспондирует с собственной профессиональной изоляцией. Но, в отличие от первой группы, *биографическая* переработка *внешних* социальных рамок не находит отражения в нарративе об отношениях. Что не рассказано — не пережито (в крайнем случае, вытеснено), если следовать предложенному Ф. Шютце принципу гомологии структур рассказывания структурам пережитого опыта.

Итак, подведем некоторые итоги по фокус-группе с представителями рабочего класса:

- концепт маскулинности здесь строится на индивидуальном проекте умений и самостоятельности, но их приобретение требует гомосоциального воспитания и пребывания в суровых условиях и мужском сообществе;
- этот маскулинный хабитус тоже построен на традиционном ролевом каркасе, но в меньшей степени представляет собой «отношенческий» (relational) конструкт, его сердцевина менее зависит от переопределения социальной ситуации, в которую встроены гендерный контракт;
- здесь менее выражена хабитусная неуверенность от неисполнения маскулинной роли, меньше идеологии и метафизики по поводу изменившейся роли женщины;
- опыт малого по сравнению с женой заработка не приводит к фрустрациям перед лицом общей экзистенциальной неуверенности.

Резюмируя проведенное сравнение фокус-групп, отметим, что представители среднего класса (бывшая техническая интеллигенция) более, чем представители рабочего класса, склонны к идеологическим представлениям о предназначении женщины, нагруженным патриархатными стереотипами. Именно отталкиваясь от них, делаются попытки формулировать смысл маскулинности: ответственность за семью и близких. Таким образом, это сложный реляционный комплекс, требующий для своего прояснения связи со значимыми Другими, прежде всего женщинами. Идеологическая нагруженность и кризисное социальное время приводят к тому, что маскулинный хабитус из заданности превращается в за-

дание, а маскулинная этика и фоновая практика пола принципиально не совпадают (хотя об этом предупреждал Коннелл). У представителей рабочего класса этот зазор явно меньше. Они менее склонны рассуждать об отношениях с женщинами вообще, о предназначении мужчины говорят в прагматичном ключе — как о решении конкретных задач выживания в трудное социальное время. Пожалуй, их маскулинный хабитус даже выглядит не таким патриархатным, как ожидалось от представителей традиционной гендерной культуры. Из этого вытекает, как это ни парадоксально, что представители среднего класса более склонны к сексизму и фрустрации относительно проблематизации мужской роли, чем представители рабочего класса. Из проведенного сравнения также можно сделать вывод, что угроза *хабитусной уверенности*, понимаемой как уверенность по поводу

- своей позиции в семье,
- форм, способов и содержания интеракций между мужчинами и женщинами, а также между мужчинами,
- стратегий и форм самопрезентации,

становится реальной тогда, когда *собственные* действия воспринимаются мужчинами как имеющие специфическое половое («мужское») содержание. Вопрос: «Смогу или не смогу *как мужик?*» — актуализируется в ситуации социальных потерь, поскольку пол становится тем ресурсом, на основе которого выстраиваются стратегии выхода из семейного, профессионального и т.п. кризисов. Вероятно, маскулинная уверенность представителей рабочего класса и выглядит менее размытой благодаря устоявшейся гендерной культуре с ее традиционными когнитивными стратегиями нормализации, оказавшимися эффективными в условиях меняющегося социального порядка.

Ольга Шевченко

«ЕСЛИ ТЫ ТАКОЙ УМНЫЙ, ТО ПОЧЕМУ ТАКОЙ БЕДНЫЙ?»: УТВЕРЖДАЯ МУЖЕСТВЕННОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Два «новых русских» стоят у светофора и разговаривают друг с другом по сотовым телефонам. Зажигается зеленый свет, и вдруг между ними пролетает «Ока», царапает обоим бока и отрывает зеркала. Оба «новых русских» выходят из своих «Мерседесов», смотрят — сзади стоит джип, а оттуда высовывается довольная рожа и говорит:

— Ну, как я вам, ништяк гола забил?

Анекдот конца 90-х

Изменения в структуре моделей половой идентичности — неотъемлемая часть процесса социокультурной трансформации общества. Находясь на пересечении самых разнообразных форм общественных отношений, концепции мужественности и женственности не сводятся к «объективной» регистрации половых различий. Скорее, они являются одной из форм проявления властных отношений в обществе, ибо, называя и группируя свойства и характеристики как естественно-женские и естественно-мужские, они создают своих собственных субъектов (Foucault, 1978). Потому неудивительно, что, по мере изменения в структуре властных отношений, концепции мужественности и женственности могут также претерпевать значительные трансформации.

Дискурсивные модели мужественности¹, укорененные в том или ином социальном контексте, обладают определенной инерт-

¹ Под «дискурсивными моделями мужественности» я подразумеваю те когнитивные категории, посредством которых индивиды научаются осмысливать и выражать свою (в данном случае мужскую) половую идентичность.

ностью и нередко диктуют те направления, по которым идет последующее развитие дискурса пола. Труды Мишеля Фуко могут служить примером исследования, посвященного этой (практически тотальной для Фуко) власти, которую располагают над деятельностью субъектов унаследованные ими (и создавшие их) дискурсивные формы. Тем не менее, признавая основополагающее значение дискурсивных форм, не стоит автоматически делать заключение об их неизменности. Играя фундаментальную роль в организации мышления и идентичности субъектов, дискурс, однако, лишен монолитности. Внутренние противоречия и фрагментированность дискурса открывают возможности для его переосмысления и переформулировки различными социальными группами.

Именно этот, динамический, аспект дискурса пола делает его столь интересным в глазах исследователей российской современности. Появление новых статусных групп, стремительная индивидуальная и групповая мобильность, глубокая трансформация социальной структуры общества — все эти факторы тесно переплетены с формами полового сознания.

Интерес к изменяющимся концепциям мужественности неотделим от интереса, который вызывают коллективные носители этих представлений. И поскольку одним из самых заметных новых игроков на постсоветском культурном поле можно смело назвать группу, известную как «новые русские», именно с ними нередко ассоциируются новые формы и нормы полового сознания как среди самих россиян (Oushakine, 2000a), так и среди иностранных исследователей и журналистов (Hoare, 1998).

Что же остается на долю тех, кто, не причисляя себя к мифологизированному сообществу «новых русских» (чего, заметим в скобках, как правило не делают также и те, кто, согласно стереотипу «бритый затылок, малиновый пиджак», должны бы себя так идентифицировать), не могут претендовать на то, что их скромное социальное положение улучшилось в результате постсоветских перемен? В условиях исчезновения героев и образцов прошлого, на чем строится сегодня их представление о собственной половой идентичности? И как и в чем оно пересекается (да и пересекается ли?) с их представлениями о тех, кого они полупрезрительно, полузаинтригованно называют «новыми русскими»?

Тезис данной работы состоит в том, что культурные нормы мужественности а) плюралистичны и могут оспариваться представителями различных социальных групп и б) имеют структурную природу и неизменно определяются *относительно атрибутов*

Другого, качества которого приобретают характер не-мужественности. Поэтому концепция мужественности, характерная для представителей групп, испытывающих в современных условиях нисходящую мобильность (таких, как, например, инженеры и научные работники), не может быть адекватно описана без понимания того, какую социальную группу они позиционируют в качестве своей структурной противоположности и какие атрибуты в нее вкладывают.

Основываясь на этнографических материалах, которые я собирала в течение 1998—2000 гг. в ходе исследования повседневной жизни москвичей, я попытаюсь проследить структуру противопоставлений, посредством которых мои малообеспеченные мужчины-респонденты из круга интеллигенции выстраивали дискурсивную модель своей идентичности и объясняли логику своих поступков и предпочтений. Я постараюсь продемонстрировать, что конструируемая в их повествованиях модель идентичности строится на постоянных сравнениях между поведенческими стратегиями самих респондентов и стратегиями, характерными для представителей новых в российском контексте (и, как правило, более экономически успешных) групп, таких как предприниматели, работники коммерческих фирм, менеджеры, мелкооптовые торговцы и др. Более того, я утверждаю, что именно эти представители всех тех социальных групп, которые достигли экономического успеха в постсоветском контексте, именно эти *новые русские*, а не стереотипический образ малокультурного нувориша², конструируется представителями технической интеллигенции не только как противоположный полюс в системе *социальной* стратификации, но и как область чуждых *половоролевых* нормативов, ибо в ходе этих сравнений чуждые моим респондентам модели экономического поведения интерпретировались в терминах женственности. Защищая правомерность собственной позиции по отношению к новым, рыночным формам отношений, респонденты, таким образом, подспудно придавали этим отношениям оттенок не-мужественности, что позволяло им оставить презумпцию мужественности за собой. Отношение это конструировалось и утверждалось в ходе глубинных интервью не как самоосознанный дискурс (что неизбежно произошло бы, если бы беседы были непосредственно построены вокруг вопросов пола), но подспудно, в ходе обсуждения вопросов повседневнос-

² Образ, который, согласно, например, Е. Гошило и Н. Ажгихиной, все менее соответствует реальности (см. статью в этом сборнике).

ти. Я надеюсь, что благодаря этому последующей дискуссии удастся воссоздать не только и не столько общую картину половой идентичности этой социальной группы, но скорее сконцентрироваться на тех ее элементах, которые наиболее активно задействованы в практике повседневной жизни.

Изменение культурных нормативов мужественности, характерное для постсоветского периода, двойным грузом легло на плечи тех, для кого последнее десятилетие оказалось временем стремительно нисходящей мобильности. И дело тут не в обнищании, или, точнее, не только в нем. Помимо ухудшившегося материального положения представители многих профессиональных групп (прежде всего, технической интеллигенции) испытали также ошутимую потерю статуса. Процесс этот напрямую связан как с возрастом, так и с образованием: по данным ВЦИОМ, самый высокий уровень статусных потерь отмечается группой респондентов старше 55 и с высшим образованием (Косова, 1997). Выводы количественных опросов подтвердились и на материалах моих глубинных интервью, в которых именно научные работники среднего и пожилого возраста наиболее регулярно выражали фрустрацию по поводу своего социального положения, называя себя «второй категорией после бомжей» как по уровню материального достатка, так и по месту, занимаемому ими в списке общественных приоритетов. Бесспорно, эта фрустрация отражает не только объективную тяжесть положения научных работников по сравнению, скажем, с работниками села, но и резкое понижение привычного для них уровня достатка и престижа. Однако нет причин надеяться, что последствия подобной относительной депривации будут хоть сколько-нибудь менее ошутимыми, чем последствия депривации абсолютной.

Негативная статусная динамика, очевидно, испытывается как мужчинами, так и женщинами, принадлежащими к затронутым ею профессиональным группам. Однако интернализированные нормативы мужественности в большей степени акцентируют важность работы и в целом «публичной деятельности», в то время как традиционная концепция женственности ценит успех в «частной» сфере семьи. Поэтому российские мужчины, как правило, реагируют на понижение статуса болезненнее женщин, для которых семейная идентичность играет роль некоторой защиты от стресса³. Как же социокультурные изменения последнего десятилетия,

³ Лев Гудков. Из беседы с автором.

нередко описываемые применительно к сфере пола как «кризис мужественности»⁴, сказались на тех, кто неожиданно для себя, в возрасте, с которым традиционно ассоциируется пик карьеры, обнаружил, что его семья с трудом сводит концы с концами и что эти материальные трудности больше не компенсируются уважением и авторитетом? Не исключено, что объективная неспособность соответствовать представлениям о «настоящем мужчине» советского образца могла только усугубить непривлекательность самих этих представлений, делая расставание с ними легким и желанным даже для тех, кто когда-то считал их легитимными.

Быть может, именно это соображение объясняет тот парадоксальный факт, что повествования моих респондентов, сохранивших наибольшую верность своей профессии, месту работы и образу жизни времен позднего социализма, содержали *наименьшее* число следов характерных культурных нормативов мужественности советской эпохи. Такие черты «положительного героя» советских школьных сочинений, как решительность, инициатива, деловитость в гораздо большей степени характерны для самопрезентации тех из их бывших коллег, кто, покинув научную работу, перешел в мир бизнеса⁵:

Н и к о л а й: Я счастлив, что застал социалистическое болото и социалистический гадюшник... Вроде бы и посмотрел, и победил... Про работу в НИИ я могу сказать одно, очень характерная часть: у нас недалеко от Дворца пионеров на Ленинском проспекте был магазин «Москва», и в летние месяцы при той системе мы позволяли себе в обед ходить по четыре часа по магазину «Москва» (пауза). Но тогда [во второй половине 80-х] как раз кооперативы пошли различные, и многие из сотрудников... работали в кооперативах. И у меня был товарищ, который зашибал в кооперативе бешеные деньги. А в НИИ нашем

⁴ Концепция «кризиса мужественности» несколько проблематична тем, что она подспудно преувеличивает значимость последних перемен в структуре половых нормативов, одновременно преуменьшая важность перемен предшествующих. Как указывает Кон (2000), тема «феминизации мужчин» и кризиса нормативного канона половых отношений неоднократно возникала и раньше.

⁵ Из сказанного не следует, однако, что интеллигенция изначально разделяла идеал мужественности советских времен; подобное утверждение потребовало бы отдельного исследования. Для данного анализа гораздо интереснее тот факт, что в постсоветском культурном пространстве валюта ряда советских идеалов приобрела новую ценность для определенной группы выходцев из интеллигенции, но не для тех, кто в ней остался.

«ЕСЛИ ТЫ ТАКОЙ УМНЫЙ, ТО ПОЧЕМУ ТАКОЙ БЕДНЫЙ?»...

платили ну копейки. И он мне говорил, что вот давай устрой тебя... Так я и ушел.

Интервьюер: То есть в принципе вы уходили, рассчитывая на более высокий заработок?

Николай: Я уходил, рассчитывая на заработок, по доверчивости. А когда я уже работал, то понял, что меня продинамили и что лучше б я не уходил, но отступать уже было некуда.

Интервьюер: И тогда?..

Николай: Я ушел. Это был один из немногих переломов в жизни, когда я ушел в никуда. С деньгами было плохо, а со временем хорошо. Много чего мог сделать: по дому, по хозяйству, на даче... Руками. Не головой, а руками. Вон теплицу домашнюю сделал, до сих пор на балконе стоит... Но настал момент, когда надо было найти, куда пристроиться. И я пристроился к одному своему знакомому в некое акционерное общество, которое называлось «Акведук», и занималось оно (с усмешкой) *всем*. Туда пристроился и стал там работать. (Николай, 39 лет, в прошлом инженер, а ныне менеджер туристической компании)

Приведенная цитата показательна не только потому, что она иллюстрирует некоторую преимственность в культурных нормах мужественности советского и постсоветского периода. Она также наглядно демонстрирует другую характерную тенденцию, которая заключается в том, что решение покинуть привычное рабочее место, как правило, принималось респондентами не стратегически, в силу их фундаментального отличия от более инертных сотрудников, а под влиянием достаточно сиюминутных соображений. Тем интереснее это делает факт отличия их сегодняшней дискурсивной идентичности от повествовательной стратегии их бывших коллег, которые выводят на первый план совсем другие мотивы: невозмутимость, сдержанность, нестяжательство.

Вот как спокойно, с почти театрализованным чувством собственного достоинства описывает ситуацию, сложившуюся в его научно-исследовательском институте, Семен, 50-летний научный сотрудник:

Работа уже сколько — сентябрь, октябрь, ноябрь — стоит, не работаем. Это значит, что мы не получим в следующий месяц, то есть весной мы не знаем, что будет.

Интервьюер: Вообще как на вас это действует, чисто эмоционально?

Семен: Да нет, у нас нормально... (Несколько вызывающе.) На зимние работы еще не уехал. Могу и не уехать.

Интервьюер: Почему?

Семен: Потому что отменяют зимние работы, могут отменить — нет денег. Они же могут сократить и сказать — нет денег. Все. И я не поеду, значит, я не заработаю.

Интервьюер: А как тогда?

Семен: Тогда, значит, буду искать [ночное] дежурство...

При всей информативности беседы, наибольший интерес для нас представляет тон повествования, разительным образом отличающийся от значительно более эмоционально заряженной манеры, в которой о подобных случаях рассказывали респонденты женского пола. И хотя большая эмоциональная нейтральность является стандартным отличием мужской риторической манеры от женской (Gal, 1997), в данном случае эмоциональное отстранение особенно знаменательно, ибо оно составляет не столько манеру, сколько содержание повествования. В то время как в кругах научных работников рассказы о неплатежах, низких зарплатах и несправедливостях со стороны начальства повторяются изо дня в день, кочуя из одного разговора в другой, именно подчеркнутое спокойствие говорящего является наиболее новым и актуальным элементом коммуникативного обмена.

На основе этого наблюдения не следует делать скоропалительного заключения, что научные работники отличаются от представителей остальных общественных групп большим спокойствием и невозмутимостью. Внутригрупповое разнообразие личностей и темпераментов вряд ли может позволить сделать подобные заключения относительно какой бы то ни было социальной группы. Тем более это несправедливо при оценке стратегии социальной мобильности, которая в условиях современной России в большой степени связана с чисто демографическими характеристиками, прежде всего возрастом (Громова, 1998). Скорее, как в первой, так и во второй цитате мы имеем дело не столько с фундаментальными личностными различиями, сколько с различными способами самопрезентации. Обстановка глубинного интервью, в ходе которого собралась информация, делает вероятность подобной интерпретации особенно высокой. Ситуация глубинного интервью (добавим, проводимого интервьюером противоположного пола) диктует свои правила и ожидания и требует от респондента определенной доли «работы на публику» (того, что Эрвин Гоффман (Goffman, 1990) называл «frontstage performance»). Этот элемент нарочитости, так называемый «эффект интервьюера», который традиционно считается недостатком как метода глубинного интервью, так и массовых опросов, в данном случае весьма ценен. Предлагая респонденту создать связное повествование о его повседневной жизни и взгляде на вещи, он выводит нас как раз на тот уровень дис-

«ЕСЛИ ТЫ ТАКОЙ УМНЫЙ, ТО ПОЧЕМУ ТАКОЙ БЕДНЫЙ?»...

курсивных стратегий обоснования собственной позиции, на котором и происходит артикулирование идентичности индивида.

Логика самопрезентации в приведенных выше отрывках, по сути, одна и та же. Оба респондента организуют свой дискурс, дифференцируя себя от «социалистического болота» неэффективной малооплачиваемой работы. Однако в то время как первый прямо противопоставляет свой выбор ретроградному климату НИИ, второй достигает нужного эффекта посредством не содержания, но манеры повествования. Акцентируя свое спокойствие и невозмутимость при пересказе объективно возмутительных обстоятельств, рассказчик не только дистанцируется от происходящего, но и приобретает оттенок морального превосходства над слепыми силами судьбы. При этом если Николай позиционирует себя относительно обобщенного образа рабочей этики времен позднего социализма, Семен создает в своем повествовании более дифференцированную картину. Его моральная инвектива направляется не только против тех, на кого возлагается ответственность за ситуацию, но и против тех, у кого не хватает стойкости и присутствия духа невозмутимо встретить эти удары судьбы. Таким образом, рассказчик одновременно позиционирует (и дифференцирует) себя относительно двух полюсов: несправедливой экономической системы (нередко персонифицируемой в лице коррумпированного начальства) и недостаточно мужественно реагирующих на ее призыв сограждан.

Само по себе использование моральной риторики для обоснования своих поступков не является редкостью. То, что собственное экономическое поведение нередко воспринимается и объясняется в моральных терминах, особенно среди представителей социальных групп, находящихся на грани прожиточного минимума, был замечен еще Джеймсом Скоттом (1976), который создал для этого феномена специальный термин «моральная экономика». Значительно более интересен тот факт, что моральные категории, применяемые для такого объяснения, отнюдь не нейтральны в своей половой коннотации. Концептуализируя профессиональные и экономические дилеммы в моральных терминах, респонденты используют именно те категории, которые представляют их выбор «выбором настоящего мужчины». Таким образом, рассказ о денежных затруднениях или карьерном тупике приобретает характер моральной повести, в которой рассказчик ведет себя единственно подобающим мужчине способом, в то время как альтернативная стратегия поведения осмысливается в терминах, связанных со стереотипами женского

поведения. Последнее противопоставление ясно прослеживается, например, в следующем фрагменте:

Семен: Мы много простаивали в позапрошлом году, ну и получали мизер, 800—1000 рублей [в месяц], а вот в прошлом работали не поднимая головы, ежедневно, с утра до вечера, столько было договоров... Ну оплатили нам что-то, [только] судя по цифрам, что стоят в договорах, а я их видел, нам не все деньги выплатили... Приличная часть там снимается по дороге, [но система такая], что мы не представляем, сколько мы заработали.

Интервьюер: А проконтролировать это дело никак нельзя?

Семен (неохотно): Я сходил как-то, проконсультировался, но там концов не найдешь. Может, если только скандалить, выщигивать — но это не по мне...

Скандажность и склонность, как и любая другая эмоционально-интенсивная реакция, явно тяготеют к арсеналу стереотипически женских форм поведения; недаром соответствующим образом является «базарная торговка». Выбор терминов тут вряд ли случаен: при всем денотативном сходстве, термин «требовать» или «разбираться» едва ли мог привнести тот же оттенок оценочного контраста.

Вопрос, кому именно противопоставляет себя рассказчик в процессе обоснования своих реакций, чрезвычайно важен. Именно утверждая свое отличие от представителей других групп и сообществ, индивид получает возможность очертить границы своей идентичности и позиционировать себя относительно других коллективных агентов на социальном поле. В нашем случае знаменателен тот факт, что, дистанцируясь от форм поведения, которые интерпретировались в терминах женственности, рассказчики далеко не всегда противопоставляли себя непосредственно представительницам женского пола. Гораздо чаще такая подспудно половая риторика имела место в контексте сравнения с теми, кто, столкнувшись с тем, что респонденты описывали как моральную дилемму между любимой работой и необходимостью зарабатывать деньги, выбирал последнее.

В качестве иллюстрации приведу воспоминание Геннадия, 43-летнего инженера-технолога, о том, каким было его отношение к решению некоторых коллег в начале 90-х годов уйти в коммерцию:

...Ну они же, мягко говоря, ну техникой-то они занимались, но я считал, что я инженер, технарь, а вот кто уходил, все эти инженера, спе-

«ЕСЛИ ТЫ ТАКОЙ УМНЫЙ, ТО ПОЧЕМУ ТАКОЙ БЕДНЫЙ?»...

циалисты, ну как сказать, минимум это была торговля какая-нибудь, то есть такая работа, которая уже, ну хоть это, конечно, были деньги, ну я считал, недостойная... Потом вот здесь еще такой момент: были еще ребята у нас, которые все-таки пытались в это время не только заниматься торговлей, куплей-продажей — на этом же основные деньги зарабатывались, — а все-таки пытались, допустим, собирать те же телевизоры, то есть частным порядком, то есть вот эти ребята, они больше внушали уважения с моей стороны и со стороны тех людей, которые остались.

Интервьюер: А почему они вам симпатичнее казались?

Геннадий: Ну, потому, что считалось, что вроде они больше работы, что ли, то есть все-таки инженеры, занимались такой работой... Да, конечно, они меньше получали, чем те, которые занимались куплей-продажей. То есть если вспоминать то время, то тогда же это не коммерцией называлось, а, мягко говоря, спекуляцией. Это сейчас вот коммерция, коммерция! А тогда все-таки вот этот момент, он отпечаток свой накладывал.

Элемент «недостойности», выделенный Геннадием в занятии коммерцией, связан с конформизмом, готовностью индивида отказаться от своего призвания ради того, чтобы приспособиться к меняющейся внешней среде. Виктор, 58-летний инженер, добавил к списку качеств, отличающих новообращенных коммерсантов, услужливость и умение подлаживаться как под вышестоящего «хозяина», так и под клиента, а 63-летний физик Евгений — отказ от творчества и готовность к компромиссам. Выбор этих атрибутов знаменателен. Согласно анализу принципов половой социализации в Советском Союзе, именно исполнительность, адаптивность, желание угодить и нравиться, а также подверженность групповым нормам популяризировались в изданиях по психологии пола как естественно-женские качества (Atwood, 1990)⁶. И хотя основная масса «дезертиров», ушедших из научной работы в коммерцию, лица мужского пола, выбор их осмысливается преимущественно в категориях женского поведения.

Следующим логическим этапом этой дискурсивной цепи, построенной на осмыслении чуждых стратегий экономического поведения в терминах женственности, неизбежно должна была стать тема проституции, находящаяся как бы на пересечении экономического, морального и полового полей, все из которых, как я пы-

⁶ Справедливости ради надо отметить, что миф о женственной природе этих качеств характерен не только для России, но и для западной культуры в целом (Maccoby and Jacklin, 1975, цит. в Atwood, 1990).

талась показать, задействованы в осмыслении альтернативных стратегий деятельности⁷. Непосредственно термин «проституция» в повествованиях моих респондентов не фигурировал, что неудивительно, если вспомнить, что речь шла пусть о бывших, но все же знакомых и коллегах, и столь откровенное осуждение их выбора звучало бы оскорбительно. Однако за исключением самого слова произнесено было практически все:

Решение уйти в коммерцию? Ну, это зависит от многих факторов. Это, так сказать, зависит от склада характера человека, потому что одних устраивает вот, допустим, работать на *зарубежную фирму*, выполнять, так сказать (с ударением), *заказы*, получать (с ударением) *плату в долларах*. Да, и они, так сказать, таким образом... *приспособились к жизни*. Ну, а для этого надо быть человеком энергичным и *без всяких комплексов*. (Евгений, физик, 63 года. Курсив мой. — О. Ш.)

Впрочем, противопоставление своей профессии бизнесу отнюдь не всегда носит осуждающий характер. Вопреки утверждению Каролайн Хамфри (1995) об однозначно презрительном отношении россиян ко всему, связанному с торговлей⁸, бизнес как сфера деятельности может трактоваться и в положительных или нейтральных терминах. Так, 58-летний инженер Виктор в качестве причины своего нежелания подключаться к новым формам экономической деятельности привел свою недипломатичность и прямоту, отсутствие социальных навыков и умения «ладить с людьми», необходимых, на его взгляд, для занятия коммерцией в России. Другими словами, он практически «умалил» себя в пользу нейтрально-положительного описания мира бизнеса и торговли. Однако эти положительные оценки атрибутов, требующихся для успешной карьеры в торговле, не умаляют того факта, что в противопоставлении прямота—дипломатичность оттенок женственности явно принадлежит последней.

Я по натуре человек дела, простой рабочий человек. Или там инженер. В этих сферах: бытового обслуживания, челночных работах — душа к этому не лежит, и я не могу туда идти... И не то что там говорят (имитируя презрительную интонацию): «Вот, торгаш», — нет,

⁷ Как демонстрирует Сергей Ушакин (2000b), образ проституции также занимает одно из центральных мест в символическом арсенале более молодых постсоветских субъектов.

⁸ Не исключено, что это противоречие объясняется тем, что работа Хамфри написана на основе наблюдений, проведенных в 1993 г., когда сфера бизнеса только начинала обретать некоторую легитимность.

«ЕСЛИ ТЫ ТАКОЙ УМНЫЙ, ТО ПОЧЕМУ ТАКОЙ БЕДНЫЙ?»...

совершенно не поэтому. Просто... (пауза) не специфично (sic) для меня это. Физический труд для меня специфичен, а сидеть в ларечке торговать... Продавец — я понимаю, продавец, он тоже обучался на него, а не просто вот так, с улицы... Он умеет установить контакт, когда надо похвалить, его учили всем этим, ну... искусству ладить с людьми. К этому призвание должно быть. А у меня к этому призвания никакого нет.

Таким образом, как в положительных, так и в отрицательных интерпретациях сама природа деловой карьеры неизменно рисуется респондентами как фундаментально женская, построенная скорее на гибкости и приспособленчестве, чем на последовательности и принципиальности. По контрасту с культурной логикой мира бизнеса, осмысливаемой в терминах женственности, нежелание респондентов «прогибаться под изменчивый мир» выступает как исконно мужественное. Это выбор, продиктованный не ригидностью или нерешительностью, но глубоким несоответствием принципов деловой жизни фундаментальным культурным нормативам и половой идентичности респондента.

Из-за этой отчетливо воспринимаемой чужеродности деловой среды, требующей «немужских» навыков, включение в нее отдельных коллег и друзей зачастую требовало от моих респондентов определенной сноровки в изыскании легитимных объяснений, которые бы оправдали поступок, не ставя при этом под сомнение мужественность героя. Объясняя такие случаи «дезертирства», ухода со старой работы в мир частного бизнеса, респонденты, как правило, апеллировали к необходимости «содержать семью» (т.е. основополагающему императиву мужественности, оправдывающему вынужденную измену себе, точнее, превращающему ее из измены в жертву долгу).

...Нет, в торговлю я бы не перешел. У нас многие перешли, так сказать, тоже есть *женщины*, которые стали нянями, многие предпочитают торговлю. И как я могу к этому относиться?.. Если человеку необходимо кормить семью, а другого выхода у него нет, то почему в конце концов не может *он* встать действительно где-то на ярмарке в палатке и торговать. Как я могу кинуть в него камень? (Евгений, физик, 63 года. Курсив мой. — *О. Ш.*)

Как видно из приведенной выше цитаты, уход с работы, не продиктованный безысходностью ситуации, изначально ассоциируется с женской стратегией. Однако с появлением элемента ответственности за семью «женщина» превращается в «него», т.е.

вовлеченность в стратегию, изначально связанную с женской моделью поведения, оправдывается и даже ожидается от мужчины во имя первой заповеди мужественности: необходимости играть роль кормильца. Другими словами, мета-императив мужественности подвигает индивида поступиться неохотой функционировать в чуждом культурном пространстве.

Та же логика работает и в обратном направлении. При спонтанном упоминании кого-то из знакомых, вовлеченных в сферу бизнеса и могущих хотя бы с натяжкой быть названными «новыми русскими», респонденты нередко чувствовали себя обязанными подчеркнуть как их мужественность, так и принужденный характер их выбора :

...Там руководитель фирмы бывший военный, как он про себя рассказывал, он учился в этом самом... на каких-то высших военных... ну, я не помню сейчас, может быть, не генеральный штаб, но какое-то это самое, то есть он уже был то ли подполковник, то ли полковник, и он был приезжий, здесь он только учился, и, как все военные, значит, *не хватало денег собственно содержать свою семью*, и в итоге он так и не доучился и ушел вот в этот бизнес, стал риэлтором, где-то там он работал в какой-то фирме, а потом сам организовал одну фирму. (Геннадий, инженер-технолог, 43 года. Курсив мой. — *О. Ш.*)

Апелляция к женственной природе бизнеса характерна не только для объяснения своего предубеждения против этого рода деятельности, но и для интерпретации тех редких случаев, когда попытки вовлечения в нее были предприняты и оказались не слишком удачными. Как и в предыдущих примерах, мир бизнеса позиционируется в этих повествованиях как сфера деятельности, требующая женской сноровки и угодливости, приспособляемости и гибкости — качеств, отсутствия которых не надо стыдиться настоящему мужчине:

...просто начал понимать, что это не очень-то мое, надо общаться с клиентами, каждому угодить, умаслить, подход к каждому искать. В общем, время шло, дело не двигалось, и я стал искать варианты, куда уйти. (Геннадий, инженер-технолог, 43 года, о своем опыте работы в риэлторской конторе)

В данном случае не только заявляемая, но и подтвержденная на практике мужественность выступает основной причиной сложностей, выпавших на долю рассказчика, который попытался перешагнуть через культурные императивы своей половой идентично-

«ЕСЛИ ТЫ ТАКОЙ УМНЫЙ, ТО ПОЧЕМУ ТАКОЙ БЕДНЫЙ?»...

сти. В отличие от доводов, к которым прибегают респонденты-женщины для объяснения своего нежелания искать работу в сфере бизнеса, повествования мужчин выделяют именно женственную природу требуемых талантов. В случае женщин-респондентов интерпретации прямо противоположны: бизнес трактуется как сфера, требующая чисто мужских качеств, таких как деловая хватка, напор, агрессивность. Тамара, 51-летняя сотрудница НИИ: *«Там зевать нельзя; меня сразу облапошат и оставят ни с чем; еще и деньги заставят платить»*. Интересно, что именно эти потенциальные аспекты деловой жизни получили наименьшее внимание со стороны мужчин.

Именно эта селективность интерпретаций, предложенных респондентами по отношению к сфере бизнеса и требуемых в ней качеств, внушает некоторую осторожность при оценке классического постулата феминизма об универсально негативных коннотациях женственности в современной культуре (см. Irigaray, 1985). Точнее, материалы интервью с мужчинами демонстрируют возможность обратного ассоциативного механизма: не столько все женственное в них оценивается в негативных терминах, сколько все негативное/чуждое оценивается в терминах женственности⁹. Половые коннотации, таким образом, используются инструментально, скорее для обоснования своего выбора, чем в качестве его первоначальных основ. И поскольку «выбор» видится в терминах социальной стратификации, именно в нее вчитывается половая риторика.

Итак, мужественность моих респондентов риторически утверждается посредством контраста с тем самым феноменом, который поставил ее под вопрос, — феноменом новых русских в широком смысле этого слова, как той группы людей, которые выиграли от постсоциалистической трансформации, в то самое время как мои респонденты, согласно им самим, оказались в результате нее в проигрыше. При всей своей экзотичности и укорененности в фольклорной традиции современной России, концепция «новых русских», конечно, вряд ли может рассматриваться в качестве стратификационной категории. Несмотря на разнообразие контекстов, в которых упоминаются поступки и качества новых русских (или, может, благодаря ему), в обществе существует лишь

⁹ При этом, как было упомянуто выше, в интервью с их коллегами-женщинами те же явления описывались в терминах мужественности.

очень приблизительный консенсус по поводу того, кто же именно составляет эту категорию (см. Patico, 2000). В повествовании моих респондентов частные предприниматели, работники банков, сотрудники иностранных фирм и рыночные торговцы фигурировали как взаимозаменяемые категории, призванные обозначить чуждый полюс полово-стратификационного континуума. Однако, несмотря на свою очевидную разнородность, в данном контексте они функционально гомологичны, ибо фигурируют в качестве того *Другого*, относительно которого ведется очерчивание границ собственной идентичности.

Символическое поле, разбитое противопоставлением «новые русские» — «старые русские» на две части, представляет собой арену борьбы за определение культурных нормативов мужественности, которые концептуализируются по-разному, в зависимости от того, с кем отождествляет себя говорящий. Подобная организация символического пространства вокруг бинарных оппозиций подразумевает, что, испытывая необходимость утверждения своей мужественности, поставленной под угрозу социально-экономическими трансформациями недавних лет, представители технической интеллигенции одновременно испытывают необходимость оспорить претензии на мужественность, выдвигаемые группой, занимающей, в силу постсоветской культурной логики, позиции ее структурной противоположности. Так дискурс своей мужественности превращается в дискурс о женственности *Другого*, и сама концепция мужественности приобретает самую что ни на есть женственную изменчивость.

Татьяна Суспицына

ОБ УЧИТЕЛЕ, МУЖЕ И ЧИНЕ: (РЕ)КОНСТРУКЦИЯ МАСКУЛИННОСТЕЙ МУЖЧИН — РАБОТНИКОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Из мужа и чина состоит мужчина...

Поговорка

...там в маленькой средней школе работает сплоченный коллектив, две трети которого, как это у нас в России водится, женщины, а возглавляет его, разумеется, мужчина, хорош собой, бывший афганец, мастер спорта по боксу.

*Из специального репортажа
Учительской газеты*

Можно сказать, что данная работа — попытка удовлетворить сохраненное с детства любопытство: из чего все сделано¹. Для всякого возраста есть свои нехитрые народные поговорки, афоризмы и вирши, устанавливающие сущность познаваемого предмета. В детстве это «улитки, ракушки и зеленые лягушки» в составе мальчиков, во взрослой жизни — это «муж и чин» в составе мужчин. Данная же работа задается вопросом, из чего и как сделаны мужчины — работники средних школ. Что значит быть «мужем» и кто должен подчиняться «чину»? Что в отрывке из спецрепортажа, вынесенного в эпиграф, подразумевается под «*разумеется*» и кто осуществляет это подразумевание? Относится ли участие в войне и мастерство в кулачном бое к «мужу» или «чину» и как это определяет, что есть мужчина-учитель? Иными словами, в данной статье на материалах все той же *Учительской газеты* я попытаюсь выяснить, каким образом мужчина — работник средней школы представляется в ипостасях мужа и чина, то есть каким образом конструируется его маскулинность.

¹ Я признательна Сергею Ушакину за полезные комментарии при подготовке данной работы.

Маскулинность как предмет научного интереса — явление в социальных науках относительно недавнее. Современные исследования маскулинности, в особенности проводимые приверженцами нового направления так называемых мужских исследований на Западе, основываются прежде всего на десятилетиях критического анализа фемининности и маскулинности, представленного в работах ученых и философов-феминисток. В данной работе я буду опираться как на работы западных социологов и психологов, работающих в направлении мужских исследований, так и на более ранние теоретические подходы к концептуализации власти, пола и гендера, представленные в текстах Мишеля Фуко и Джудит Батлер и обычно ассоциирующиеся с постструктурализмом. Однако прежде чем приступать к теоретическому описанию маскулинности, необходимо сказать несколько слов об основополагающих (пред)положениях постструктуралистского подхода, которые будут приняты за основу в данной работе.

Теоретические основания работы

В своей статье об основаниях теоретических течений Джудит Батлер определяет задачу постструктуралистских подходов как вопрошание легитимности основ теорий, концепций и терминов и выявления механизмов исключения, с помощью которых эти основы формируют (и претендуют на) свою целостность, когерентность и универсальность. Иными словами, задача этого подхода в том, «чтобы спросить, что *санкционирует* устанавливающий основания теоретический ход и что конкретно он исключает или перекрывает» (Батлер, 1999, 93).

Для данной работы подобный антифундаментализм постструктурализма имеет несколько важных последствий. Во-первых, поскольку, не будучи целостным феноменом, субъект действия в постструктурализме формируется под влиянием и благодаря действию власти², интерпретация действий и мотивов авторов и героев статей *Учительской газеты* с точки зрения их *свободного* волеизъявления просто невозможна. Из этого также следует, что всякие попытки анализа статей *вне* дискурса, в котором они формируются и чьи нормы и правила они представляют или нарушают, будут несостоятельны.

² Имеется в виду подавляющее и формообразующее (продуктивное) действие власти в фукоанском смысле; подробнее см.: Foucault, 1982.

Во-вторых, антиуниверсалистский характер постструктуралистских подходов демонстрирует большое подозрение в отношении дихотомных категорий мышления, присущих европейской традиции (т.е. мужчина/женщина, культура/природа, общественное/частное, сила/слабость, разум/тело, рациональность/эмоциональность, абстрактное/конкретное и т.д.). Как многократно отмечалось в критике дихотомного мышления, два понятия, стоящие в бинарной оппозиции, конструируются как противоположные, без каких-либо точек взаимопроникновения или смешения. Более того, один из членов оппозиции при этом всегда наделен более привилегированным положением, и, в свою очередь, понятия, стоящие по одну сторону оппозиции, объединены общей ассоциативной связью. Так, мужчина ассоциируется с силой и рациональностью, а женщина со слабостью («слабый пол!») и эмоциональностью; женщина представляется как существо частное, домашнее, в то время как мужчина — существо политическое, общественное и т.п. Однако, как мне представляется, сведение отношений между мужским и женским к бинарной оппозиции — неправомерное упрощение, что я и попытаюсь теоретически обосновать далее.

В-третьих, заявления о сущности предметов и людей, постулаты об их истинной природе должны подвергаться такому же сомнению, как и прочие дихотомные категории мышления. Как показывают «археологические» раскопки Фуко по истории социальных институтов, понятие об истинной природе вещей, о том, что является натуральным (сущностным) и естественным, а что девиантным и неестественным, зависит от конкретного социально-исторического периода и напрямую связано с доминантными на тот период нормами и правилами (Фуко, 1994). Таким образом, в данной работе эссенциалистские заявления — заявления о природе мужчин и женщин — будут рассматриваться как проявление определенного гендерного режима, регулирующего жизнь и деятельность людей и направленного на поддержание существующих отношений по поводу власти в обществе.

Маскулинность, пол и гендер

Австралийский социолог Алан Петерсен отмечает, что само слово *masculinity*, означающее маскулинность³, в англоязычной ли-

³ Пользуясь в данной работе термином «маскулинность», я не перевожу его как «мужественность» скорее для удобства движения между русскими и

тературе появилось относительно недавно — только в середине XVIII в., — и появилось оно именно в тот период истории, когда делались первые попытки определить мужественность и женственность через отличительные телесные признаки (Petersen, 1998). В это время ранее существовавшие и разрозненные представления о маскулинности были объединены, систематизированы и сформированы в некую тотальность, которая устанавливала не только требования к одежде и поведению, но и к телу. Следует отметить, что эталоном красивого тела явилось тело человека господствующей в то время европейской расы. Веком позже дарвинизм с его идеей естественного отбора («выживает сильнейший») стал метанарративом, в рамках которого были закреплены стереотипные представления о сущности «настоящего мужчины» и «узаконено» доминирование мужчин-европейцев над женщинами и представителями других рас (Petersen, 1998). Отличия истории понятия маскулинности в России — интересный предмет для изучения, но, поскольку Россия жила и развивалась как часть европейского научного пространства, мне думается, что западноевропейская история маскулинности имеет важное значение и для нее.

Ученые, занимающиеся женскими, мужскими и гендерными исследованиями, по-разному подходят к трактовке маскулинности. Сторонники *конструктивизма* определяют маскулинность как многообразный конструкт. В своей книге, показательно названной «*Маскулинности*», Роберт Коннелл, например, предлагает рассматривать четыре модели маскулинностей: «гегемонные», «субординированные», «компромиссные» (комплицитные) и «маргинальные» (Connell, 1995). При этом под гегемонной маскулинностью Коннелл понимает

конфигурацию гендерной практики, которая воплощает приемлемый в настоящий момент ответ на вопрос о легитимности патриархата, который гарантирует (или считается, что гарантирует) доминирующее положение мужчин и подчинение женщин. (Connell, 1995, 75)

Хотя носителями гегемонной маскулинности, по Коннеллу, могут быть не только реальные люди, но также и киногерои, и художе-

английскими текстами, чем по причине смыслового несоответствия двух терминов. Однако мне представляется, что «маскулинность» является более удобным термином для использования в жанре научной статьи, поскольку, в отличие от «мужественности», он обладает более узким ассоциативным кругом. Русская «мужественность» больше, чем «маскулинность», близка к значениям храбрости, отваги, силы и т.п. и в этом может быть сравнима с английским *manliness*.

ственные персонажи, она, как правило, формируется в ситуациях, когда существует определенное соответствие между культурным идеалом и институционализированной властью. В этом смысле высшие эшелоны государственного аппарата и армии могут считаться носителями гегемонных маскулинностей.

Другие исследователи подчеркивают эссенциалистский и нормативный аспект маскулинностей, призванных выражать сущность мужчины. К примеру, Андреа Корнуолл и Нэнси Линдисфарн принимают их за своего рода идеологии, которые «определяют успешные способы “быть мужчиной” и таким образом определяют прочие стили маскулинности как неадекватные или неполноценные» (Cornwall & Lindisfarne, 1994, 3).

Принципиально иной подход к изучению маскулинности представлен в работах Джудит Батлер, теоретизация пола и гендера у которой развивается в стороне от дебатов между конструктивизмом и эссенциализмом. В чем заключается особенность ее подхода? На первый взгляд может показаться, что маскулинность и фемининность являются социальными конструкциями, соответствующими биологическому полу мужчины или женщины, если не выразителями сущности биологических полов (это было бы заведомо эссенциалистским положением). Используя лексику эпиграфа к данной статье, можно сказать, что маскулинность мужчины в таком понимании есть *проявление чина* и выражение сущности мужа (мужского пола). Однако такая позиция предполагает существование категории «биологический пол» как явления стабильного, универсального и пред-данного, имеющего свою собственную вне-дискурсивную онтологию. Что, в свою очередь, ведет к возникновению новой бинарной оппозиции пол/гендер (или, по аналогии, муж/чин). Различия биологических полов, таким образом, натурализируются, принимая статус универсальных, и легитимизируют тем самым дихотомии гендера (например, чин/подчинение).

В своем анализе концептуализаций пола и гендера Батлер (Butler, 1990) показала, что не существует прямого соответствия между *биологическим полом* и *гендером* и мужские и женские гениталии не являются коррелятами личностных характеристик маскулинности и фемининности. На примере анализа построения идентичности трансвеститов (drag queens), Батлер продемонстрировала, что гендер выступает как представление, перформанс, а биологический пол, в свою очередь, отражает понятия господствующих дискурсов о том, что является собой мужчина и женщина. При этом доминантные модели маскулинности и фемининности обра-

зуются и определяются в процессе практики обязательной гетеросексуальности (Butler, 1990).

Следуя Батлер, в данной работе я буду понимать пол как телесное воплощение, как материализацию нормативного идеала, который описывает/предписывает, что именно нужно/можно считать человеческим телом вообще и мужским или женским телом в частности. В этом случае гендер — это «повторяющаяся стилизация тела» (Butler, 1990, 123), своего рода представление (перформанс), действие, (вос)производящее и повторяющее нормы и правила «мужского» или «женского» бытия. Маскулинность и фемининность как гендерные проявления — это приближенности к нормативному идеалу жестко дифференцированных полов.

Гетеросексуальная матрица западноевропейской культуры накладывает строгие ограничения на то, что считается маскулинным, а что нет. Как замечает Джеффри Уикс,

маскулинность или мужская идентичность достигается [посредством] постоянного процесса отведения угроз в ее адрес. Она достигается путем опасного отвергания фемининности и гомосексуальности. (Цит. по: Gutterman, 1994, 225)

При этом фемининность и гомосексуальность не существуют сами по себе как элементы бинарных оппозиций по отношению к (гетеросексуальной) маскулинности, а играют в ней составляющую роль, обозначая то, чем маскулинность *не* является и *не* должна быть. Как презируемое и отвергаемое (abject), они очерчивают границы маскулинного субъекта и одновременно выступают в качестве «настойчивой возможности их подрыва и реартикуляции» (Butler, 1993, 8). В данной работе, однако, меня интересуют не столько случаи или возможности радикального переосмысления маскулинности, сколько ее банальное существование и воспроизводство в контексте средней школы.

Объект, задачи и метод анализа

Как социальный институт и система практик, направленных на формирование личностей, которые должны стать субъектами власти в прямом, политическом, смысле и в смысле теоретическом (т.е. как субъекты доминантных дискурсов о власти и гендере), школа является немаловажным участником воспроизводства норм половой дифференциации. Как отмечают исследователи роли

школы в создании маскулинности, она играет роль *института, формирующего определение* маскулинности для учителей и учеников в процессе обучения, и одновременно является *местом действия*, где проигрываются эти маскулинности (Kuzmic, 2000).

Хотя по принятому здесь определению исполнителями маскулинности могут быть и женщины и мужчины-преподаватели, и девочки и мальчики-учащиеся (так как нет прямого соответствия между полом и гендером), меня в первую очередь интересуют мужчины — преподаватели средних школ. Положение мужчин в учительской профессии и в доминантном дискурсе о поле и власти интересно и неоднозначно. Прежде всего мужчины в школе находятся в явном численном меньшинстве. По данным Госкомстата, мужчины составляют всего лишь приблизительно пятую часть преподавательского состава в городских и сельских школах (Госкомстат, 1999). Те немногочисленные западные исследования мужчин в феминизированных профессиях отмечают в общем, что, вне зависимости от их собственного желания, мужчины не только сохраняют привилегии, ассоциируемые с маскулинностью, но что они вдобавок испытывают постоянное давление, связанное с необходимостью демонстрировать стереотипные признаки маскулинности (см., например, Williams, 1995). В России эта тема остается в разряде малоизученных.

В отличие от школ на Западе, ситуация российских учителей усугубляется тяжелым материальным положением⁴. Низкая заработная плата учителей и сам характер работы — воспитание и обучение детей, стереотипно считающиеся женским занятием, затрудняют воспроизводство и демонстрацию стереотипной маскулинности. Дело в том, что если в обыденном сознании фемининность женщины традиционно измеряется ее способностью к эмоциональному и дешево оцениваемому в денежном отношении труду заботы, обихода и воспитания (что, в свою очередь, ассоциируется с принадлежностью к малопрестижной домашней сфере), то, как отмечает Клифф Ченг (Cheng, 1996), идентичность мужчины определяется его участием в общественной сфере, оплачиваемой работой и связанной с ней независимостью. В этой ситуации воспроизведение маскулинности требует особых мер по диссоциа-

⁴ Следует отметить, что и на Западе средняя заработная плата в феминизированных профессиях ниже средней заработной платы в профессиях, где доминируют мужчины. Отличный анализ этой проблемы см.: Lorber, 1994.

ции «мужского» субъекта и «женского» характера его профессии. Можно даже сказать, что процесс создания и демонстрации маскулинности мужчины-учителя — это своего рода реконструкция после «сражения» со школьным женским, в результате которого «посягающая» фемининная сторона вытесняется на границы маскулинного субъекта, а значит, и возвращается на свое прежнее — «отвергнутое» — место.

Как уже отмечалось, материалом исследования механизмов реконструкции маскулинности мужчин — преподавателей средних школ послужила *Учительская газета* — периодическое издание для учителей. Роль средств массовой информации как образцов и проводников доминантных дискурсов в настоящем широко изучается культурологией, социологией рекламы и т.д. Дэвид Бакбиндер, изучавший репрезентацию маскулинности в кино, видео и печати, так отмечает важность анализа материалов СМИ, художественной литературы и искусства:

культурные тексты — это нечто большее, чем просто нарративы и образы. Они [культурные тексты] отражают модели и идеологии, [существующие] вовне, в культуре, и (придавая им форму через нарратив, пример и иллюстрацию) укрепляют их и проектируют их обратно в культуру. (Buchbinder, 1994, 75)

Некритичное отношение к конструкциям (гегемонной) маскулинности в средствах массовой информации, по мнению Бакбиндера, несет в себе две опасности. Во-первых, оно «узаконивает» их как «естественные» проявления мужских качеств, и, во-вторых, делая их естественным, оно навсегда предохраняет их от возможной критики или сомнения в их правомерности в дальнейшем.

Еженедельная *Учительская газета* (УГ) является одним из старейших и самых крупных газет для российских учителей средних школ. В течение семидесяти пяти лет своего существования (газета выходит с 1924 г.) *Учительская* распространялась сначала на территории Советского Союза, затем СНГ. Для анализа были выбраны все номера за первое полугодие 2000 г. (с № 1 по № 24), что составляет двадцать три номера (№ 16 и 17 сдвоены). Для сужения материала исследования и в соответствии с целями работы объектом анализа были выбраны самые «громкие» материалы, то есть снимки и статьи, помещенные на первую страницу газеты. А именно, исследовался визуальный образ, представленный на передовице, и проводился текстуальный анализ статей, на которые делалась сноска в иллюстрации. Сноска состояла из указания

страницы, на которой была расположена соответствующая визуальному образу статья. Для удобства описания материалы были условно разделены на две категории: рассказы *для* учителей и рассказы *об* учителях.

Главным методом анализа материалов является деконструкция. Целью деконструкции в данном случае стало выяснение того, как сказанное и несказанное, показанное и скрытое формирует маскулинность мужчины-учителя. Перефразируя ранее процитированное высказывание Батлер, цель моего исследования можно определить как выяснение того, *что* санкционирует напечатанный текст или фотография и что этот текст или фотография оставляют за своими рамками. Поскольку в цели работы не входит получение статистически значимых выводов, количество выявленных механизмов конструкции маскулинности не представляет важности. Что представляется важным, однако, так это превращение скрытого в явное, недосказанного в озвученное и раскрытие невидимого неравенства там, где действия и слова кажутся нейтральными.

В следующей части статьи будет представлен анализ четырех выделенных механизмов конструкции маскулинностей мужчин — работников средней школы. Этими механизмами являются реконструкция а) через занятие места и видимости в пространстве, б) посредством переноса качеств маскулинных учебных предметов на учителя, в) через прочтение значений (силы) тела и г) через семейные метафоры посредством ассоциирования с ролями хозяина, отца и мужа.

(Ре) конструкции маскулинности

Занятие места и видимости в пространстве

Традиционно ассоциируясь с видимостью и значимостью, сфера общественного, кодифицируемая как «мужская», противопоставляется закрытой сфере частного и домашнего, кодифицируемой как «женская». Видимость является важным условием существования в сфере общественного (к которому принадлежит работа и служба), а следовательно, и признаком маскулинности. Отмечая маскулинный характер концепции «работающее тело» или «тело-в-работе», Петерсен так объясняет значение видимости для маскулинности:

важно, что, согласно доминирующим определениям работы, по крайней мере в современном западном мире, единственная работа, которая имеет достаточную ценность, это работа, которая оплачивается и которая, что должно быть видно, производится в общественной сфере. «Настоящий» мужчина не только берется за тяжелую работу, но его также должны *видеть работающим*. (Petersen, 1998, 49)

Коннелл приходит к сходному выводу, полагая, что занятие места в пространстве является одним из свойств маскулинности (см. Connell, 1995).

В этой связи особый интерес представляет репрезентативность полов на самом важном по видимости пространстве *Учительской* — на ее первой странице. Без преувеличения можно сказать, что большинство читательской аудитории газеты составляют женщины. Тем не менее, несмотря на огромное количество женщин, посвящающих себя карьере в среднем образовании, *Учительская* чрезвычайно скудна в репрезентации успешных женщин-учителей и администраторов. При поверхностном анализе визуальных образов на первой странице УГ обращает на себя внимание следующий факт. Половина всех номеров имеет чисто «мужское лицо», т.е. изображает только мужчин, и в подавляющем большинстве лиц *реальных* (а не символических фигур, призванных репрезентировать явления или события): политиков, военных, интеллектуалов, а также учителей и директоров школ. Видимое и увиденное на первой странице может быть суммировано следующим образом:

Кто/что изображен(о) на первой странице? Только мужчины — 12 номеров; только женщины — 1 номер; только дети — 5 номеров; группы людей (мужчины и женщины) — 3 номера; рисунки, не держащие людей, — 2 номера (общее количество номеров — 24).

Кто изображен на мужских фотографиях? В хронологическом порядке выпусков: Б. Ельцин; В. Путин, Г. Зюганов и В. Селезнев; А. Авдеев; А. Алькозин; С. Гарибян и Дж. Чэпмэн; неидентифицированный мужчина-учитель у классной доски; В. Путин и В. Шиллов; Н. Бакулин; В. Путин; В. Шолохов; Г. Селезнев.

Кто изображен на женских фотографиях? Две неидентифицированные женщины, предположительно, в контексте заголовка, представляющие раскол между учителями в школе.

Следует отметить, что в случае, когда имена изображенных мужчин не знакомы читателю, их профессия и род занятий поясняются в заголовке или статье, или же, в случае, когда их фамилия не вынесена на первую страницу, она указывается в статье. Изображенные мужчины, как правило, являют собой «тела-в-работе»:

из двенадцати в девяти случаях лица и фигуры людей вписаны в фон, состоящий из коллажей и фотографий правительственных зданий, официальных залов, классных комнат и других помещений, принадлежащих деловому и политическому миру общественного⁵.

Видимость в пространстве текста газеты в сочетании с практикой указания имен героев передовых статей — выделение их в привилегированную категорию *названных, отмеченных* субъектов — является механизмом конструирования мужчин — героев статей как маскулинных субъектов. И хотя из двенадцати материалов с фотографиями мужчин только четыре были об учителях (не считая материалов со смешанными и групповыми портретами), мужчины-преподаватели также получают символические дивиденды от большей видимости мужчин в газете вообще. Сам факт того, что газета для учителей много и позитивно освещает профессиональную жизнь мужчин, служит своего рода гарантом того, что дискурс о школе — как и само школьное пространство — останется местом для успешного построения маскулинности, не затронутой феминизацией и фемининностью учительской профессии.

Перенос качеств маскулинных учебных предметов на учителя

Убеждая читателя в необычности сельской школы — предмета специального репортажа газеты, журналистка пишет:

Пример 1. Нет, и вправду, школа в Зеленовке как изумруд. Представляете, насколько красиво она выглядит на белом снегу! Маленькая, учатся в ней всего 112 ребятишек, а учителей — 18. Почти все — молодые женщины, средний возраст — не больше тридцати лет. Зато трое мужчин — не физики, не физкультурники, а учителя русского языка и литературы. Интересно? (УГ, № 9, 12)

Этот отрывок показателен в двух отношениях. Во-первых, он формулирует правило половой дифференциации школьных предметов (мужчины-учителя — это физики и физкультурники, женщины — учителя русского языка и литературы), во-вторых, он предоставляет пример исключения из этого правила. Рассмотрим для начала смысл правила. Что означает обычность выбора физики и физкультуры для мужчин-учителей?

⁵ Для более подробного описания первых страниц см. Приложение.

В своей книге «*Маскулинность идет в школу*» Роб и Пэм Гилберты, рассуждая о школьных программах, цитируют Р. Дэвиса в том, что предметы цикла точных и естественных наук и техники, такие как математика, физика, и химия, являются

вместилищем принятых (мужских) видов знания, которые подтверждают, что истинное знание лежит вне самого [человека], независимо от любых субъективностей, независимо от тех эмоций, которые нужно все время сдерживать. Эти виды знания рациональны, холодны, управляемы, абстрактны, отдаленны и, вне сомнения, гегемонны. (Gilbert, 1998, 121)

Нетрудно заметить, что дихотомизация наук, а за ними и предметов, на рациональные и нерациональные, точные и неточные имеет гендерный характер. Точные науки маскулинизируются, а неточные феминизируются символически и буквально: предполагается, что «женская интуиция, эмоции и экспрессивность естественно сочетаются с гуманитарными науками, тогда как математика и физика привлекают мальчиков благодаря рациональности, отличающей эти предметы» (Gilbert, 1998, 122). Мальчики выбирают рациональные науки, потому что они сами рациональны, и наоборот, рациональные науки делают мальчиков более рациональными и поэтому выбираются ими. Биологическое удобно объясняет социальное, и социальное объясняет биологическое.

Таким образом, одним из способов воссоздания маскулинности мужчин-учителей может быть перенос на них маскулинности их учебных предметов. Символическое отождествление рациональности и абстрактности математики и физики с личностными характеристиками преподавателей этих предметов возвращает их в поле маскулинности, определяемое как неженское, неэмоциональное и неконкретное.

Если в случае точных наук маскулинные признаки описывают силу разума мужчины, то в случае с физкультурой носителем, знаком маскулинности является тело. Речь здесь идет именно о сильном, могущественном теле, культивированном в процессе дисциплины и самоконтроля, поскольку само название предмета — физическая культура — предполагает целенаправленную работу над телом. По логике дихотомного мышления, сильному мужскому телу, подвластному воле человека, противопоставит женское тело, подверженное «слабостям» менструации и беременности, которые подчиняются «законам природы». В дискурсе, принимающем мужское тело за общечеловеческую норму, любые свойства, не принадлежащие

мужскому телу, будут рассматриваться как признаки слабости или отклонения. В этом смысле знаменитое фрейдовское «анатомия — это судьба» в приложении к женщине призвано выражать ее «ущербность» по сравнению с мужчиной: судьба женщины — во власти стихийных законов ее тела, тогда как мужчина, имеющий тело контролируемое, сам является хозяином своей судьбы. Из этого можно заключить, что, выбрав профессию учителя физкультуры, мужчина отводит всякое подозрение в фемининности своего рода деятельности путем явной демонстрации приверженности нормативному идеалу мужского пола и проекту материализации этого идеала в своем теле. Сам предмет физической культуры в этом случае может рассматриваться как гендерная практика и как один из процессов создания пола.

Какова же судьба исключений из правила, первоначально заинтересовавших автора процитированного отрывка? Как в статье проявляется идентичность мужчин — учителей русского языка и литературы? К читательскому разочарованию, процитированное предложение является единственным упоминанием о существовании мужчин-русистов в Зеленовке. Повествование разворачивается вокруг директора школы, того, который «хорош собой, бывший афганец, мастер спорта по боксу» и его «красавиц-учительниц» (УГ, № 9, 13). В ходе рассказа журналистка вовлекает героя в различные виды деятельности, направленные на однозначную демонстрацию гетеросексуальной маскулинности: директор ухаживает за своими коллегами-женщинами, открыто хвалит их красоту; непьющий, он приносит водку для «мужского разговора» с ревнивыми мужьями своих коллег и по праздникам возглавляет праздничный стол, приготовленный учительницами. Наряду с подробным рассказом о директоре в статье содержатся девять мини-историй из жизни и работы учительниц Зеленовской школы. Почему же мужчины — учителя русского так и не реализовались как герои статьи и остались за ее пределами? Помимо и несмотря на неизвестное нам намерение автора, эта не-реализация может быть объяснена как неудавшаяся попытка становления субъекта в доминантном дискурсе, в котором он до сих пор занимал маргинальное положение. Другими словами, мужчина, преподающий стереотипически женский предмет, находится на периферии поля маскулинности и поэтому не может реализоваться как полноправный субъект этого поля без дополнительных мер, направленных на демонстрацию своего соответствия идеалу гетеросексуальной маскулинности, что наблюдается в рассказе о дирек-

торе. В этом смысле правомернее будет сказать, что непооявившиеся мужчины — учителя русского находятся не за пределами статьи, а внутри нее как граница, обозначающая исключенное из доминантного поля маскулинности, представленной директором. Как исключение из правила, они повторяют это правило.

Прочтение значений (силы) тела

Как отмечает Коннелл, «почти всегда считается, что истинная маскулинность проистекает из мужских тел, что она является [чем-то] врожденным в мужском теле или же что она выражает что-то о мужском теле» (Connell, 1998, 45). В этом высказывании Коннелл как нельзя лучше акцентирует стремление свести маскулинность к биологическому, стремление придать ей статус существования, независимый от дискурса, и, таким образом, стремление гарантировать ее универсальность. Однако, как было установлено ранее, тело мужчины и женщины — как и пол — не является чем-то пред-данным, существующим вне дискурса и вне истории. Как отмечает Ричард Коллиер в своем постструктуралистском анализе маскулинности в криминологии, мужское тело нужно понимать «не как пред-дискурсный, до-теоретический корпоральный артефакт... а как тело, созданное в *дискурсе* и *сделанное для обозначения* [чего-либо] определенными способами и в определенные моменты» (Collier, 1998, 161). Как же используется описание тела мужчин-учителей для создания их маскулинности? Рассмотрим два примера из рассказов об учителях и директорах школы.

Пример 2. «Наш директор — самый сильный!» — говорят об Александре Авдееве питомцы Грязинского детского дома. (УГ, № 6, 1)

Пример 3. В командировку в село на Волге мы отправились вдвоем с коллегой: узнали, что там в маленькой средней школе работает маленький сплоченный коллектив, две трети которого, как это у нас в России водится, женщины, а возглавляет его, разумеется, мужчина — хорош собой, бывший афганец, мастер спорта по боксу. (УГ, № 9, 12)

Пример 2 примечателен тем, что это заголовок статьи, которая, хотя и повествует о школах Грязинского района, не содержит ничего о человеке, изображенном на фотографии. Поскольку снимок не подкрепляется текстом статьи, полагаю, что его можно рассматривать как самостоятельное произведение с законченным сюжетом. Как положительный пример успешного мужчины — админи-

стратора школы эта фотография также повествует об успешном воспроизводстве маскулинности. Как же происходит конструкция маскулинности на фотографии?

На снимке мужчина — директор детдома (Александр Авдеев) изображен в полный рост стоящим на фоне классной доски в окружении трех мальчиков-подростков. Мальчики, предположительно питомцы детского дома, являющиеся авторами высказывания о силе директора, шутливо заламывают ему руки, имитируя борьбу. Сцена, вписанная в школьное окружение, показывает, что директор также является и учителем. Маскулинность директора создается несколькими способами. Во-первых, высокая административная должность изображенного является показателем его социального статуса и власти в общественной сфере. Во-вторых, в силу своей должности, директор детдома является символическим отцом осиротевших детей и, возможно даже, выполняет некоторые функции отцовства, такие как моральная поддержка и участие в жизни детей. Сами по себе эти две роли хозяина-администратора и отца могли бы быть достаточными свидетельствами соответствия субъекта нормативному идеалу мужского пола, т.е. маскулинности. И тем не менее фотограф подкрепляет проявленную маскулинность директора еще одним доказательством — указанием на его тело, усиливая социальный «чин» сноской на «мужа».

Для чего же требуется свидетельство физической силы? Как изменилось бы восприятие маскулинности изображенного, если бы сноска указывала не на его тело, а на темперамент, как, например, «наш директор — самый веселый», или на душевные качества, как, например, «наш директор — самый добрый»? Как мне представляется, указание на физическую силу директора служит гораздо более эффективным способом утверждения его маскулинности, так как оно переводит доказательство с уровня гендерных проявлений идентичности на кажущийся более неоспоримым уровень пола.

Пример 3, вынесенный в эпиграф, содержит более полное описание маскулинного тела. Важно отметить, что упоминание физической силы мужчин встречается в *Учительской* наиболее часто в описании военных, как, например, в нескольких материалах о Чечне (№ 7 и 14). Интересно, что в создании маскулинности мужчины-учителя и директора школы в этом примере используется одновременно несколько механизмов. Во-первых, с помощью «разумеется» устанавливается естественность превосходства мужчи-

ны над женщиной в общественной сфере⁶. Во-вторых, военное прошлое директора и его мастерство в боксе сами по себе являются маркерами маскулинности. И в-третьих, сноса на физическую привлекательность героя оформляет его как объект (гетеро-)сексуального желания, что, в сочетании с другими маркерами маскулинности, может быть истолковано как знак вирильности и потенции. Таким образом, за исключением предположения о естественности социального доминирования мужчин над женщинами, маскулинность директора школы в данном примере создается через значения силы, (гетеро)сексуальности и управляемости его тела.

Семейные метафоры и ассоциация с ролями хозяина, отца и мужа

В доминирующих (и патриархальных) дискурсах о семье главенствующая позиция отца и мужа в семье выражается как нельзя лучше через фигуру хозяина. Фигура, или, скорее, метафора, «хозяина» описывает целый ряд качеств и отношений мужчины в рамках дихотомного мышления. Я уже коснулась маскулинности таких понятий, как «хозяин природы» и «хозяин своей судьбы». «Хозяин дома» также предполагает отношения по поводу собственности, причем женщина, жена определяется как символическая (а зачастую и буквальная) собственность мужа, а сфера частного, кодифицируемого как женское, представляется подчиненным сфере общественного, кодифицируемого как мужское. Таким образом, позиция хозяина или хозяина-мужа, хозяина-отца также является практикой маскулинности. Обратимся к примерам текста. В четвертом примере основатель школы рассказывает о требованиях к кандидату на пост директора школы.

Пример 4. Лучше, чтобы это был мужчина лет 40—50, который мог бы всю свою жизнь посвятить детям. Это может быть и одинокий человек, и семейный — жилье мы предоставим в любом случае. Правда, семье придется смириться с тем, что школа у него будет на первом месте (УГ, № 11, 12).

⁶ Хотя Пример 3 может быть прочтен как ироничное высказывание, мне представляется, что ирония не входила в намерение автора. Во всяком случае, ее последующий текст не содержит ироничных высказываний или оценок. В пользу серьезности этого предложения говорит и то, что аналогичные эссенциалистские заявления о мужчинах и женщинах еще много раз встречаются в тексте статьи, и их серьезность оформлена однозначно.

На первый взгляд, описание требуемого директора противоречиво: с одной стороны, нам известно, что этот человек скорее всего мужчина, с другой, предъявляемые ему требования — посвящение всей жизни детям — стереотипное занятие женщины. Однако маскулинность будущего кандидата не вызывает никаких сомнений, ибо в последующих двух предложениях субъект определяется посредством его выписывания, выделения из сферы домашнего, подчиненного, фемининного. Необходимость такого выделения, отторжения от фемининного для вписания себя в сферу маскулинного/общественного выражается в требовании второстепенности семейной идентичности субъекта («школа у него будет на первом месте») и в утверждении его главенствующего положения по отношению к его жене и детям (это его семья, а не ему самому придется смириться с его неучастием в домашней сфере). Реальный семейный статус учителя при этом не имеет значения, поскольку требование подчинения «домашних» аспектов его идентичности аспектам «общественным» аналогично требованию подчинения «женских» аспектов его идентичности аспектам «мужским» или, скорее, вытеснению «женского» «мужским», что является одним из основных условий проявления маскулинности. Таким образом, маскулинность директора остается «незапятнанной» общением с фемининностью: школа представляется маскулинным пространством общественной сферы, в котором стереотипное женское, материнское занятие воспитания и служения детям обозначается как маскулинное.

Хотя позиция директора может показаться схожей с отцовской, это не совсем так. В дихотомном мышлении, которое воспроизводится в отрывке, материнскому занятию служения детям должна противопоставляться отцовская обязанность добычи куска хлеба. В данном же случае речь идет именно о стереотипной материнской функции, которую должен выполнять мужчина. Противоречие разрешается путем экспроприации материнской роли из сферы частного и «изобретения» ему аналога в сфере общественного, своего рода *мужского материнства*, жертвенного и преданного, как женское, но, в отличие от женского и домашнего, более уважаемого и влиятельного.

Пример 5. ...Учительницы приняли меня ласково, напоили вкусным чаем, я и рассиропился, — смеется Писарцев. — И тут же стал мечтать... А потом губу-то пришлось подобрать. Здесь не хватало кадров. И я начал поиск. Сказал себе: шерше ля фам, и поехал по соседним деревням. Учителей искал с душой, как будто жену в дом. (УГ, № 9, 12)

В данном отрывке говорящий субъект описывает свою первую встречу с педагогическим коллективом школы, свое решение остаться там и начать преобразования. В отличие от предыдущего фрагмента, школа конструируется как фемининное пространство, принадлежащее скорее к домашней сфере, чем общественной: это пространство, физически населенное женщинами («учительницы») и выполняющее стереотипически женские функции эмоциональной заботы («приняли ласково») и бытового обслуживания («напоили вкусным чаем»).

Здесь, как и в предыдущем примере, маскулинность субъекта воспроизводится в пределах гетеросексуальной матрицы: поиски хороших работников сравниваются с поисками жены. Пронизана сексуальностью и благодушная реакция героя на внимание женщин — в эпизоде «напоили вкусным чаем, я и рассиропился» можно усмотреть некий сюжет обольщения⁷. Маскулинность говорящего субъекта устанавливается также через символическое подчинение сферы домашнего и женского, выраженного в школе, воле и власти мужчины-субъекта, что достигается через наделение его полномочиями хозяина дома. Жена не приходит в дом, а ее приводят, чему должен предшествовать выбор мужчиной-субъектом женщины-объекта.

Вместо заключения

Итак, из чего же состоит мужчина — школьный работник? Несмотря на существующий соблазн отождествления «мужа» и «чина» с «полом» и «гендером», наложение двух пар терминов, возможно, было бы и остроумным, но теоретически вряд ли состоятельным. Как было отмечено в работе, пол — это не фиксированная биологическая данность, и гендер — это не социальное выражение биологического. И два понятия не составляют оппозицию. Поэтому-то, однажды развязав бинарность муж/чин, уже невозможно в стиле европейского дихотомного мышления собрать вновь муж-чину, и вопрос о том, из чего состоят мужчины, ускользает в другие измерения.

⁷ Тема ухаживания и обольщения присутствует в описании рекрутирования новой учительницы. «Ну как было женщине-учительнице не оценить такое внимание мужчины-директора?» — риторически спрашивает автор статьи.

Можно также сказать, что мужчина-учитель — это сам по себе чин — привилегированная субъектная позиция в сфере общественного, кодифицируемого как мужское. Такое объяснение, хотя и отражает центральное положение мужского субъекта в доминантных дискурсах о власти и поле, не позволяет глубже взглянуть на участие самого субъекта в противостоянии этим дискурсам и в их воспроизводстве, ведь мужской субъект в дискурсном пространстве не просто наделен «чином», он также находится в подчинении.

Мне представляется, однако, что *ответ* на вопрос, из чего состоят мужчины-учителя, совсем не обязателен. Ответ предполагает решенность и законченность, замыкание проблемы в прошедшем времени, успокоенность и статичное довольство. Целью же этой работы было движение на раскрытие скрытого, разворачивание проблем во времени, постоянная обеспокоенность и увлеченность новыми возможностями текста. Можно сказать, что целью этой серьезной игры в визуально-текстовой (де)конструктор был поиск новых *вопросов*, а не ответов.

Попытки ре- и де-конструировать механизмы создания маскулинности мужчин — работников средних школ открывают множество вопросов о современном укладе жизни в России, метафоричности власти и политическом значении школы в воспроизводстве доминантных дискурсов, поддерживающих поляризованную картину мира и дихотомное мышление. Полагаю, что постоянная проблематизация «законов правды» о гендере, подвергание сомнению несомненного в биологии пола, отказ от заученного отождествления мускула с силой, а доминирование с проявлением интеллекта должны стать началом творческого переосмысления роли мужчин и в обществе, и в школе.

Приложение

Заголовки и описание иллюстраций
на первой странице «Учительской газеты»
№ 1—25, январь—июнь, 2000 г.

Номера с изображением мужчин на первой странице:

(1). «Итоги года в образовании-99» (УГ, № 1).

Изображение: Борис Ельцин (фотография-врезка). Фон: зал, трибуна, микрофон.

(2). «Верной дорогой идете, коллеги!» (УГ, № 2).

Изображение: Владимир Путин (фотография, коллаж). Фон: Спасская башня Кремля, лестница со спускающимися по ней мужчинами в деловых костюмах.

(3). «Зюганов + Путин = Селезнев» (УГ, № 3).

Изображение: Зюганов, Путин, Селезнев (фотографии-врезки в коллаже). Фон: здание с государственным гербом на фасаде.

(4). «Наш директор — самый сильный!» — говорят об Александре Авдееве питомцы Грязинского детского дома (УГ, № 6).

Изображение: Александр Авдеев, директор Грязинского детдома, и три мальчика-воспитанника (фотография в полный рост; личности детей не идентифицированы). Фон: классная доска.

(5). «Как больно любить Родину...» (УГ, № 7).

Изображение: Андрей Алькозин, капитан СОБРа, и два врача (фотография; личности врачей не идентифицированы). Фон: люди в белых халатах и масках (врачи).

(6). «Когда способности зашкаливают» (УГ, № 8).

Изображение: Семвел Гарибян, рекордсмен книги Гиннесса по запоминанию слов (фотография). Фон: доска с карточками, содержащими слова для запоминания. *Изображение:* американский вундеркинд Джастин Чэпмэн (фотография и фотография-врезка). Фон: ученический стол с компьютером в комнате.

(7). «Педагогическаий романс» (УГ, № 11).

Изображение: Мужчина, показывающий мальчикам открытую страницу книги (фотография; личности идентифицируются в контексте статьи как педагог и ученики школы). Фон: классная доска.

(8). Вместо заглавия: «23 марта в 17.00 в Екатерининском зале Московского Кремля и.о. Президента России Владимир Путин вручил дипломы четырнадцати лауреатам конкурса “Учитель года России-99”. Диплом победителя — преподавателю музыки из Челябинска, учителю года России-99 Виктору Шилову» (УГ, № 12).

Изображение: Владимир Путин и учитель года Виктор Шилов (фотография в полный рост). Фон: официальный зал Кремля.

(9). «Парад фронтовика» (УГ, № 18).

Изображение: учитель — участник Второй мировой войны Николай Бакулин (фотография в полный рост). Фон: Красная площадь.

(10). Вместо заголовка: «Для российских учителей инаугурация Президента РФ Владимира Владимировича Путина состоялась зна-

чительно раньше — 24 марта, когда в Кремле чествовали победителей и лауреатов конкурса “Учитель года России-99”» (УГ, № 19).

Изображение: Владимир Путин (фотография в полный рост). Фон: официальный зал.

(11). «Чьи корни прочнее? Автору “Тихого Дона” и “Поднятой целины” исполнилось бы 95 лет» (УГ, № 20).

Изображение: Михаил Шолохов, разговаривающий с двумя студентами (фотография; личности студентов идентифицированы в статье). Фон: белое пространство.

(12). «России с демократией по пути» (УГ, № 22).

Изображение: Геннадий Селезнев (фотография; в контексте статьи старшеклассники идентифицируются как участники конкурса по граждановедению). Фон: старшеклассники.

Номер с изображением женщин на первой странице:

«Льготные пенсии “раскололи” школу» (УГ, № 4).

Изображение: молодая и пожилая женщины (фотографии в коллаже; личности не идентифицированы; предположительно, в контексте заголовка женщины представляют раскол между разными поколениями учителей). Фон: белое пространство.

Смешанные портреты и групповые фотографии мужчин и женщин:

(1). «Своя ноша не тянет» (УГ, № 9).

Изображение: группа женщин и мужчина, тянущий салазки с двумя женщинами (фотография, личности идентифицируются в контексте статьи как педагогический коллектив сельской школы). Фон: заснеженное крыльцо сельского дома.

(2). «Историческая хроника конкурса» (УГ, № 15).

Изображение: победители конкурса «Учитель года» за девять лет: Александр Сутормин, Валерий Гербутов, Артур Заруба, Олег Пармонов, Михаил Нянковский, Зинаида Климентовская, Екатерина Филиппова, Александр Глозман, Владимир Ильин и Виктор Шилов (фотографии-врезки).

(3). «Лето. Полетим? Поедем? Пешком на... огород» (УГ, № 23).

Изображение: женщина на скамейке и мужчина, смотрящий в сторону (фотография; личности не идентифицированы; предположительно, сцена из жизни).

Номера с изображением детей на первой странице:

(1). «Реформа в школе: по тормозам?» (УГ, № 5).

Изображение: дети, едущие в санях, запряженных лошадей (фотография; личности не идентифицированы; предположительно, дети представляют сельскую школу). Фон: заснеженная сельская улица.

(2). «Играйте Баха на водосточной трубе» (УГ, № 10).

Изображение: девушка, играющая на флейте, и юноша, играющий на виолончели (фотография; личности идентифицируются в контексте статьи как ученики московской музыкальной школы). Фон: полуразрушенное помещение.

(3). «Уроки истории в чеченской школе. Чему они нас научили?» (УГ, № 14).

Изображение: девочка за партой (фотография в коллаже; личность не идентифицирована; предположительно, девочка — ученица чеченской школы). Фон: полуразрушенное многоэтажное здание.

(4) «Криминальная Россия от 16 и... младше» (УГ, № 16/17).

Изображение: мальчик-беспризорник с собакой (личность ребенка не идентифицирована). Фон: угол дома на улице.

(5). «Найти свою первую страницу» (УГ, № 24).

Изображение: старшеклассники, сидящие за партой (фотографии-врезки). Фон на фотографиях: классные комнаты.

Номера, не содержащие изображения людей на первой странице:

(1). «Слет пеликанов-2000» (УГ, № 13).

Изображение: компьютер на фоне карты России и пеликанов (коллаж).

(2). «Научная сенсация: трансгенная пшеница» (УГ, № 21).

Изображение: пшеничное поле (фотография).

IV

НАЦИОНАЛИЗМ МУЖЕСТВЕННОСТИ

Ирина Новикова

T/RUS НЕ ИГРАЕТ В ХОККЕЙ, или КАК СЖЕЧЬ ФЛАГ, КОГДА КОНЧИЛИСЬ ПАМЯТНИКИ?

Данная статья ставит своей целью анализ репрезентаций мужественности как доминантной групповой идеологии формирования нации в средствах массовой информации России, а также русскоязычной и латышскоязычной прессе Латвии. Анализ сделан на основе материалов, освещающих матч между Латвией и Россией на чемпионате мира по хоккею в Санкт-Петербурге. Год двухтысячный. Примеры взяты из мейнстрима прессы Латвии и России, а также некоторых российских и латвийских интернетовских источников.

Спорт является специфической психологической репрезентацией нации. Кроме того, спортивная игра — в своей непосредственной визуальной форме и в последующих текстовых комментариях — это и педагогический инструмент в производстве нации как «естественного» единства. Политическая экономия СМИ ввела спортивное событие в ранг визуальных средств, формообразующих и педагогических, ценностных и поведенческих, благодаря которым нация как тотальность символически неотторжима от нации-государства. Визуальная организация спортивного события и его последующая текстуализация выступают инструментарием социальной переработки информации в формировании «убеждения относительно других социальных групп» (Дейк, 1989, 269). Более того, спортивные события передаются и «нормализуются» в соответствии с убеждениями представителей той группы, к которой принадлежит говорящий» (Дейк, 1989, 269).

В данной статье используется теоретический подход Теуна ван Дейка, голландского исследователя дискурса, текста, коммуникации. Согласно ван Дейку, «пользователи языка эксплицитно или подсознательно “выражают” их идеологии через язык и коммуни-

кацию» (Dijk, 1995, 135). В свою очередь, текстологический анализ дискурса «пытается связать структуры дискурса со структурами общества» (Dijk, 1995, 135) и выстроить теоретический интерфейс, в котором социальное и дискурсивное поля могут «встретиться» и быть эксплицитно взаимосвязанными (Dijk, 1995, 136). Дискурсивные репрезентации, согласно ван Дейку, являются языковым, текстуальным фреймом для социальных репрезентаций, которые построены из «культурного репертуара социальных норм и ценностей» и которые «оптимально реализуют цели и интересы и используют эти ценности в качестве строительных блоков для групповых идеологий» (Dijk, 1995, 136).

В спортивном дискурсе идеологическая лексика *Свои/Иные* гомологична спортивному лексическому и риторическому инструментарию групповой поляризации (т.е. *Мы/Они*, *Наши/Ваши* и т.д.) описания идентичности (индивидуальной, коллективной), ресурсов, целей, норм, ценностей, позиций и взаимосвязей¹. Как групповая идеология мужественности в организации нации «выражает» себя в языке спортивного дискурса? Как спортивный дискурс функционирует в конструировании доминантных моделей мужественности? Спортивное событие и сопутствующая ему медиасфера являются, как я попытаюсь показать, не только «местом достаточно специфических социальных практик» (Bourdieu, 1993, 341), но и активно используемым символическим ритуалом, эффективно и эффектно экспроприрующим традиционные визуальные компоненты воображения и перформанса «нации», когда профессиональная рационализация игрового представления (концепция тренера — правила игры — судья — функции игроков) неотторжимо сочетается с «экспромтом» трибунного поведения и текстуальным бодибилдингом здорового — и единого — тела нации в медиасфере.

Спортивное боготворчество, или «Ху из ху» на человеческом Олимпе

Командная игра, как подчеркивает Пьер Бурдьё, популяризирует «требуемые ценности и добродетели (сила, выносливость, склон-

¹ Возрастающая роль спорта как института в конструировании моделей мужественности исследовалась в работах Майкла Месснера (Messner, 1990) и Алана Клейна (Klein, 1993).

ность к насилию, дух “жертвенности”, подчинение коллективной дисциплине, абсолютная антитеза “ролевой дистанции” в буржуазных ролях) экзальтации, конкуренции или соперничества» (Bourdieu, 1993, 353). Спортивная игра, будь то одиночный или коллективный сценарий, является и миниатюрной формой гомосоциальной организации нации как тотальности, подчиняющейся единому замыслу тренера и требованиям функционального контроля. Как отмечает Хейзинга,

в спорте следовало бы говорить о деятельности, осознаваемой и признанной в качестве игры, но при этом доведенной до такой степени технической организованности, материальной оснащенности и научного осмысления, что в коллективном и публичном занятии ею возникает угроза потери самого духа игры. (Хейзинга, 1997, 189)

При выполнении всех квазие военных установок команда — игровая миниатюра политического братского контракта² — или достигает вершины агрессивной мужественности, т.е. победы над врагом, или проигрывает. Ничья не может удовлетворить — ничья воспринимается нами скорее как исключение, передышка на поле боя (уроки Клаузевица).

Бурдье исходит из социальной картины французского общества и соответствующих иерархий видов спорта. Мы же имеем дело с ситуацией, когда, с одной стороны, власти популяризируют виды спорта с повышенной возможностью национального и социального «включения» потенциальных болельщиков за команду и страну. С другой стороны, хоккей еще сохранил образ «дворовой» игры, которая приводит наших «золушек» с клюшкой — рано или поздно — в профессиональную элиту за океаном. Мифология «золушки» с клюшкой является частью воспроизводства (американской, европейской, австралийской) «мечты» в образе гегемонной мужественности как высшей позиции в представлениях о спортивной и социальной иерархии. Любая «мечта», воплощенная в имени *избранного* спортивного клуба, как правило, ассоциируется с образом «сильной» и здоровой нации в спортивном мире.

В спортивной сакрализации национального духа коллективный голос болельщиков-болельщиц превзошел — как звуковая форма самоидентификации — хоровое (или групповое) пение, традиционно высшую звуковую коллективную форму организа-

² О концепции политической власти как моделировании братского контракта см.: Pateman, 1988.

ции индивидуальной аффектации. В звуковой организации неиграющей части нации важны не унисон и чистота многоголосия. Индивидуальный аффект переливается в голосовой поток, квазихаотическую форму психологического взаимного давления в производстве коллективной экзальтации. Конечно, в производстве данной формы «массового орнамента» (Красаев, 1995) групповые скандирования фанатами лозунгов необходимы в качестве «спонтанного» координирующего фрейма экзальтации. Если «семья» традиционно является метафорой, через которую мы «воображаем» нацию, то в спортивной игре мы «играем» нацию. Более того, мы — именно в русском языке — БОЛЕЕМ за команду нации, демонстрируя — в естественном (!) порыве — политическую любовь (*amor patriae*). Мы боеем за победу, издавая коллективный клич, близкий к пещерному реву, или коллективно «поджимаем хвосты» из-за проигрыша. В театре спортивного зрелища зритель/ница посредством активного сопереживания и «голосования» как бы определяет своим выбором и траекторию представления, и катарсический исход, и телесное «выздоровление» в спортивной игре (в драматизации «нации» условие истинного катарсиса, очищения — победа).

Команда наиболее эксплицитно представляет коллективную «границу», состоящую из молодых, здоровых тел, сплетенных в едином порыве вместе с исполнением государственного гимна. Единое «тело» команды в «естественном» сплетении голосов и экзальтированная ритуалистика все чаще напоминают мифологию богатырей или рыцарей (по выбору), выдержанную в «дворовой» стилистике (корни у всех общие, все так начинали). Победа — это кульминация роста и преодоления «корней» в росте генеалогического древа спортивной нации. Только платок Прекрасной Дамы на копье модифицировался в ритуал поднятия государственных флагов, в конце которого избранным победителям разрешена слеза.

Скупая мужская слеза, экзальтированные «женские» рыдания при поднятии флага, да и сама ткань флага — это образы, которые трансформировались из метафор смерти героя (оплакивание и гроб, обернутый государственным флагом) в образы торжества и непобедимости героя или команды героев как гомосоциальной *играющей* модели нации. Более того, спорт как модус мира в отсутствие войны становится в каком-то смысле паравоенной — национальной и глобальной — практикой «тройки» победителей, что делает конкуренцию жестче и видимей, чем лучшая десятка *MTV*.

Оппозиция жизнь/смерть (или «пять-ноль»), как смыслопорождающая оппозиция значения «победы» в дискурсе войны и нации, требует биологической репродукции нации в качестве за-

лога будущих побед. В дискурсе спорта и нации Олимп выстраивает свои международные глобальные иерархии мужественности таким образом, что репродукция «поражения» («смерти») становится знаком «развивающейся» нации. Нация «женственно» неспособна преодолеть «боль Ямайки»³ и остается в знаке «ноль», по темную сторону видимости, этого необходимого компонента визуального порождения героической мужественности, телесного продолжения поднимающегося флага победившей нации.

Проигравшая сторона не умирает на поле боя, и ей достается символическая «женственность» побежденного, как и ее болельщикам и болельщицам — «болезнь», не завершившаяся «очищением» и «выздоровлением». Рядом с побежденным мужское «тело» победителя или победителей демаркирует границу здорового государства. Параллельно происходит демонстрация — по мере возможностей — политической корректности (расовой, этнической) играющего состава на основе все той же узнаваемой взаимосвязи и солидарности между мужчинами для доминирования над другими мужчинами⁴.

Спорт сегодня — это, безусловно, глобальный симптом радикального пересмотра и обновления властных форм мужественности, выступающих — в виде гендерных иерархий наций и братских контрактов — одновременно и как основа политической нации, и как основа международных отношений власти в условиях, называемых глобализацией. Телевизионный спорт — это не только визуальная близость к моделируемым типам мужественности, но и воспитание «мечты», желания оказаться внутри границ, обозначенных телесностью победителя, воспитание «женственного» стремления принадлежать. В этом смысле гендерная эгалитаризация видов спорта — это отражение противоречивой гендерной эгалитаризации сегодняшнего социального мира, заслуживающей отдельной дискуссии.

Неужели мы — бабы? или Бердяевщина по-постсоветски

Читателям и читательницам в России можно не объяснять, что матч на чемпионате мира 2000 г. между «бывшей метрополией» и бывшей советской республикой (напомню — аннексированной в

³ Слова из песни популярной российской группы «Чайф».

⁴ Подробнее об этом см. блестящий анализ Хайди Хартманн (Hartmann, 1981).

состав СССР в 1940 г.) помимо спортивной конкуренции носил характер обостренно политический. Матч встревожил «дворовое» воображение обеих сторон настолько, что болельщики, представляющие Латвию, запасались ящиками только своего национального пива. Их экзальтированно провожали, словно героев на войну («чепчики» присоединились), хотя не предвидели и в самых сумасшедших фантазиях, что команда одержит столь мощную победу над русскими звездами (dream-team), от которых — и мы верим — Америка в ecstasy.

Противная сторона — российская молодежная — вела себя не менее вызывающе и грозилась если не закидать шапками, когда наши безусловно и безоговорочно выиграют, то побить обязательно. Старинная русская забава — кулачный бой, деревенский ли, фабричный ли, дворовый ли — возможно, была реализована в ранге боев местного значения после матча. В Риге полиции все же пришлось вмешаться, но стычка с несколькими разбитыми носами в итоге не приобрела истинно европейского размаха — этому следует еще поучиться у фанатов англо-голландской закваски после вступления в Европейский союз.

Безусловно, провоцировало время — матч проводился накануне 9 мая, Дня Победы, противоречиво представленного в официальной историографии постсоветской Латвии. Провоцировало место — город Петра, укрепившего власть Российской империи на балтийских рубежах. Новая ледовая арена была названа в честь Петра Великого, словно скрывая обещание разгрома всем на ледовом поле, откуда рукой взмахнуть и подать до легендарного Чудского озера. Недалеко, но по другую сторону границы, власти Риги возвращают в крепеньких и здоровеньких игрушечных симулякрах архитектуру германской колонизации, реметафоризированных как наше собственное «окно в Западную Европу». Одновременно власти Риги торопятся возратить рижский отреставрированный памятник Петру в Санкт-Петербург и таким образом «закрыть» окно в историю, опасаясь сквозняка с Востока.

Обе стороны, при соответствующих идеологических ориентациях, не имели причин и оснований полагать, что возможно так красиво осилить звездную команду, поэтому неожиданный результат спровоцировал комментаторов на симптоматические анализы и высказывания. В итоге в комментариях, обсуждениях, интервью и т.д. нарративные схемы и риторические структуры обнажили дискурсивные связи и репрезентации, которые соединяют формирование гендерных кодов мужественности с идеологической институционализацией нации.

Спортивные и общие комментарии в период до матча представляют предвосхищающее моделирование ситуации и ее речевые стратегии. В случае с российской командой речевые стратегии интегрировали дискурс государственности («Россия обязана *проснуться* для игры» в *АиФ*, 4 мая 2000 г.) в дискурс спорта как символической транснациональной иерархии. Иерархическая, конкурентная структура института спорта маркирует производство мужественности (Connell, 1995, 36). Ведь именно «крошечная часть» российских хоккеистов достигла «вершины профессионального спорта» (Connell, 1995, 37), ассоциируемой с реализацией Американской Мечты. Команду так и называли — *dream-team*. В этом контексте сама фраза «Россия должна проснуться для игры» получает недвусмысленную политическую окраску, цветом напоминающую мечту Николая Бердяева начала XX в. о приходе сильной германской мужественности, призванной вывести Россию из ее вечной бабьей сонной женственности. На этот раз мощный мужской «кулак» лучших русских звезд американского профессионального хоккея должен был скорректировать мечту как *happy end* русского хоккейного вестерна.

Что касается противников по матчу, то возможный исход трактовался не иначе, как этнически/политически маркированная оппозиция: «Если Латвия выиграет у русских, ее хоккеисты на родине *так или иначе будут героями*» (*АиФ*, 3 мая 2000 г.), «Победа над бывшей *метрополией* для латвийской команды — *дело национальной чести*» (*АиФ*, 6 мая 2000 г.).

После проигрыша латвийской команде российские спортивные комментаторы превзошли самих себя. Приведу почти полностью наиболее красноречивые комментарии:

Пример 1. Очередной *бездарный* матч, который провела на чемпионате мира сборная хоккея России, видимо, будет стоить нашей команде *очень дорого*. *Проиграв латышам*, подопечные Александра Якушева практически потеряли шансы попасть по итогам второго этапа в четверку сильнейших команд в своей подгруппе. ... Команда России еще сохраняет теоретический шанс побороться за медали. Но для этого, как минимум, нашим надо обыгрывать сборные Белоруссии и Швеции. А при той игре, которую показывает команда России, есть большие сомнения, что она способна на такой подвиг. (URL: <http://hockey.nm.ru/2000/news/1012.html>)

Пример 2. Теперь, пожалуй, Яшин согласится на более низкую сумму, тем более что *надо содержать американскую актрису-красавицу* Кэрл Альт, которая, побывав у многих знаменитостей в подружках, теперь *прибилась* к русскому хоккеисту... Альт приехала к Алексею на

чемпионат, скромно поселилась вместе с его мамой в гостинице «Прибалтийская» и не отвлекала спортсмена бытовыми проблемами. Однако *другие жены были недовольны* своим размещением и *озадачивали муженьков переездами в более дорогие отели*. Как тут не вспомнить тренерский опыт советских времен, когда наставники охраняли своих подопечных и *даже законных супруг не подпускали на пушечный выстрел* к команде. Да, *мужики были злые и охочие, а сексуальный порыв сублимировался в энергетику побед*.

На чемпионате ходили упорные слухи, что после победы над французами с солидным счетом в нашу пользу профи возгордились — мол, «объедем всех на одном коньке», и *крепко обмыли* свой «великий почин». *Не режимили*, и результат налицо — получили холодный душ от американцев, и уже потом *не смогли морально отрезветь* — задубели. Один известный хоккеист очень точно охарактеризовал нынешнюю ситуацию — «*сбор блатных и нищих*»: те деньги, которые профи могли получить за первое место... по сравнению с их миллионами кажутся смешными. С другой стороны, для отечественных, неизбалованных хоккеистов это деньги уже солидные.

Да и понятия, что происходит в стране, когда в *чеченской мясорубке гибнут их сверстники*, когда народу как воздух нужны *положительные эмоции и объединяющая идея* «Мы можем. Мы великая нация», у профессионалов на поверку просто не оказалось. И это прекрасно было видно, когда в программе «Здесь и сейчас» выступил Павел Буре. Весь такой начищенный, пушистый, улыбающийся, будто ничего не произошло, как удачливый комсорг, рапортовал: «Это, может быть, смешно и банально звучит сейчас, что мы отдали все силы и не выиграли. В какой-то степени не то что скрашивает, но было приятно, 9 мая, встав с утра, посмотреть по телевизору, как идут ветераны. Затем у нас было собрание перед игрой, и мы друг другу говорили: мы просто не можем сегодня проиграть». Вы же одержали победу на берегах Невы над шведами второго состава, и команде «Тре Крунур» итог встречи был безразличен. Вы бы так радовали победами раньше, хотя бы над *хоккейными партизанами-белорусами, которые пустили российский бронепоезд под откос*. Злости не хватает. А народу остается только смеяться и сочинять: «*В хоккей играют настоящие славяне. RUS не играет в хоккей...*» (АиФ, 10 мая 2000 г.)

Согласно ван Дейку, одна из главных функций дискурса «состоит в обновлении ситуационных моделей» (Дейк, 1989, 275). Обратим внимание на те компоненты модели ситуации, благодаря которым возникает возможность обновления этой ситуационной модели. Насколько эта функция была активизирована в данном случае?

Спортивный проигрыш был заведен семантически в дихотомию Запад—Восток, получившую кричащую боевую раскраску «Россия против Америки» (Российские хоккеисты в Америке яв-

ляются *машиной для зарабатывания денег* — *Спорт-экспресс*, 6 мая 2000 г.). Это позволило вывести символическую честь русского хоккея — как исконно и этнически русской, *нашей* коллективной игры — за пределы проигрыша, выставившего всем на смех или огорчение американский и звездный индивидуальный стиль игры, заведомо провальный на континенте «нашей игры». При этом неоднократно подчеркивалось, что европейские команды, победившие российскую, являлись наследниками русских тренерских навыков и традиций коллективной игры. Далее, противопоставленные хоккейных стилей было выведено на оппозиции:

- коллективизм/индивидуализм;
- честь/продажность;
- славяне/RUS;
- патриотизм/предательство;
- русская мужественность/ мужская незрелость.

Репрезентация истинной — и все еще скрытой, не проявленной на хоккейных встречах — русской мужественности представлена и на более высоком оппозиционном уровне: *Чехов/Спилберг*⁵, *драма/сказка, реальность/ виртуальность, истинность/видимость*. Снова семантическая оппозиция напоминает читателю о нераскрытой русской мужской душе, которая не «эмигрирует» при пересечении границ отечества, оставляя легионеру брэнную телесность потребительской видимости.

Ожидание *подвига* от русских спортсменов противопоставлено денежному интересу и в комментариях о матче с Латвией. Интересность ситуации для обеих сторон состояла в том, что если в российской команде играли в основном американские «старлетки», то в латвийской команде русские были известны как хорошо подготовленные, серьезные игроки. Один из них и забил первую шайбу в ворота звездной сборной, за которую латвийский крупнейший Парекс-банк заплатил награду в 1000 латов⁶.

Вторая интересность ситуации состояла в том, что и Парекс-банк является мощным русским (не российским) банком в Балтии⁷.

⁵ Как писал *Спорт-экспресс*: «Существует разница между *фантазией* Спилберга и *драматургией* Чехова».

⁶ «Представившийся шанс получить 1000 латов блестяще реализовал *Белявский*. 3:46 — еще одно удаление у России — Козлов. На этот раз *Parex Bank* у *платить не пришлось*» (URL: <http://hockey.nm.ru/2000/news/1012.html>).

⁷ Пропечатка названия банка латинским шрифтом, использованная в примере с Белявским, призвана подчеркнуть его Чужесть, Инаковость.

Русское присутствие в латвийской команде и первый гол, забитый русским игроком латвийской команды в ворота российской сборной, в комментариях представлены не более чем результат денежной заинтересованности. Умолчание также используется в ссылках на этничность состава команды⁸, которой проиграла российская команда. Семантический сдвиг на этничность, кстати, характерен как для российской, так и латвийской комментаторских команд, оказавшихся по уровню демонстрируемого сознания явно не в ладах с иной, более сложной, идентификацией членов команд. В российском случае явная, идеологически стабилизированная презумпция, что латвийский патриотизм и русские в Латвии — понятия несовместимые, несомненно, является индикатором взглядов на «наших» по ту сторону границы. Как же российским СМИ объяснить великолепную игру русских хоккеистов в латвийской команде? Их наверняка не минуло денежное «загрязнение», и таким образом был исподволь имплицирован подчиненный или экс-центричный (дополнительный, недоминантный) тип мужественности (в данном случае русских) в гомосоциальном коллективе, каковым и является спортивная команда (в данном случае латвийская).

Более того, прием контраста и отстранения в латинизации «славяне/RUS» (на командной форме) использован для расширения коллективной «славянской» идентичности, носителями которой становятся игроки белорусской сборной. Эдакий истерн российских СМИ апеллирует к «белорусским партизанам» на чемпионате не случайно. Их победы и неожиданно хорошая профессиональная игра выступают символическим залогом иммунитета мифической «славянскости» против носителей чуждых вирусов RUS.

Далее, сексуализация спортивного дискурса переводит анализ из общественного в частное. Оппозиционный ряд продолжен в культурной дихотомии чистое/грязное. В Примере 2 эта дихотомия начинается с «портрета» американской подруги Александра Яшина (пользованная и найденная), русских жен звездных хоккеистов (разбалованные роскошью и неудовлетворенные) и заканчивается ностальгией по истинным русским женам прежних времен. Следуя логике комментариев, отсутствие полового контакта с женами, или временная голубиная непорочность, телесная дистанция сублимировались в оргазмику голов и побед советского/русского хоккея, чего не хватило звездам на этот раз.

⁸ Т.е. латыши, а не латвийцы, как в Примере 1.

Мифология голубиной непорочности имеет своей активной носительницей разумную жену, душой чистую и телом невинную, контролирующую своего все еще духовно незрелого муженька. Она возвращает контекст чтения к агиографическому тексту о Петре и Февронии, о котором современный читатель, как правило, не знает, но который оказал сильнейшее влияние на формирование русской гендерной культуры. Аллюзия к голубиной непорочности (в случае с Петром — сублимация в его зрелое политическое мышление русского князя) является интересным примером когнитивной модели, использованной в речевых стратегиях для активизации дополнительных семантических групповых схем и оппозиций.

«Нечистое», несдержанное, неконтролируемое — и бытовое, и сексуальное — поведение жен связывается с «нечистым» поведением самих хоккеистов, нарушивших «сухой» закон (как еще один строжайший принцип самоконтроля за своим здоровьем) во время чемпионата. Все это знаменует нехватку самоконтроля, нездоровый образ жизни, замутненное сознание, неразумный выбор в жизни и карьере за пределами *родины* (или *отечества*).

Требование *подвига* становится неминуемо квазиевоенным, переводя спортсменов в ранг «предателей Родины». Вовлекается схема сравнений военно-политических (чеченская тематика — «мясорубка») и военно-исторических (Вторая мировая война, сравнение белорусской команды с партизанами, ссылка на ветеранов, включающих телевизоры накануне Дня Победы).

Выбранные риторические средства лишь убеждают в том, что проигрыш профессионалов, пусть и обидный эмоционально для всех, кто болел за российскую команду, спровоцировал симптоматичную реакцию. Из доступных в Латвии российских СМИ мы не сумели найти ни одной статьи, в которой функция дискурса — *изменение* ситуационной (политической, идеологической) модели — была бы активизирована. Ирония как черта семантического выбора скорее создает образ «незрелых» (без Февроний) за границей, выстраивая основу общей стратегии позитивной репрезентации истинного русского хоккея — да и всей истинной России, выступающей в данном случае в качестве идеального прообраза, — основу, оказавшуюся в тени меркантильности продажных антипатриотов.

Таким образом, через семантический и стилистический выбор в нарративном моделировании неожиданного проигрыша выстраивается «негативная», Чуждая мужественность. Мужественность, маркированная как нечистая, незрелая, непатриотическая, предательская, испытывающая проблемы с самоконтролем — одним

словом, *видимая*. В это же время идеальная русская мужественность остается реальной в своей «теневой» скрытости, непроявленности, немаркированности настоящего и высвечивается лишь через единственную положительно маркирующую семантику «прошлого». Проигрыш отчуждается, как, впрочем, и другие «провалы», особенно в контексте новоявленной власти, когда фигура Президента неотторжима от его «поясного» ореола.

Семантические, синтаксические, нарративные и риторические элементы в текстах российских центральных СМИ представили болезненную травму проигрыша таким образом, чтобы символическая когерентность доминантных репрезентаций нации, мужественности и Иного не прерывалась. Для этого, как было показано, соответствующим образом комбинировались текстуальные элементы социальной «нормализации» проигрыша в ситуации, когда этот проигрыш воспринимался не иначе, как национальная трагедия («Дыр-team, ты поставила Россию на колени» — из лозунга болельщиков из *Спорт-экспресс*, 15 мая 2000 года)

Спорт, «ребята» и иНтЕГРация⁹, или «О наших и наших»

Используемые газетные материалы взяты из центральных латвийских газет *Сегодня*, *Час*, *Ригас Балсс* (на русском языке), *Диена*, *Ригас Балсс* (на латышском языке). В качестве иллюстрации позвольте дать очень длинную цитату из газеты *Час*, одной из самых популярных в русскоязычной прессе Латвии:

Вчера Рига переживала матч двух сборных. Латышские болельщики ходили маршем и пели гимн. А русские, как понял *Час*, оказались перед серьезным выбором — за кого болеть? Ведь и российская, и латвийская сборная — наши ...

— Я не за Латвию болею, — объяснил *Часу* охранник Александр, вышедший из «*Айриш паба*» подышать воздухом. — Я всегда болел за рижское «*Динамо*». Поэтому рисовать на себе я ничего не буду. Мне мало радости, что русские легионеры так безобразно играют. Мне за них просто стыдно. <...>

В Верманском парке спешно рассасывались ветераны: «Не дай бог Россия проиграет. Тогда прощай, чемпионат, — признался нам старик с орденскими планками. — Это нам с друзьями такой подарочек

⁹ «Негр» — разговорное ироничное сокращение слова «негражданин».

будет на День Победы, что половина с сердечным приступом сляжет. Но наши, конечно, выиграют». <...>

В половине третьего матч начался, и улицы опустели. На безлюдной Калькю «Час» встретил только одинокую процессию кришнаитов с песнями. Сзади к шествию пристроились несколько нетрезвых парней, на мотив «харе, Кришна» распевавших «Сарауй! Сарауй!» <...> — А что же вы не болеете? — удивился «Час».

— Как не болею? — испугался г-н Добелис¹⁰. — Как раз иду к телевизору... — и поспешил куда-то.

...В пять часов из всех баров повалили малолетние фаны в боевой раскраске и со знаменами. Начался «парад победы». Одна колонна болельщиков двинулась по Калькю, другая — по Аудею. Слились они на площади Свободы, устроив скандирование у Мипды. Под шумок кто-то сжег маленький российский флаг и призвал: «К посольству!»

Однако путь к посольству на Калпака колонне фанов неожиданно преградили четыре русских школьника с огромным российским триколором. Один из них был завернут во флаг РСФСР. «Час» спросил: — А вам не страшно? — А нам вообще ни фиги не страшно, — сказал знаменосец Сергей. — Российские легионеры, конечно, засранцы. А этот Буре пусть лучше Курниковой мячики подает. Русская ракетка, блин.

...Когда вдали показалась колонна патриотически настроенных болельщиков, «четверо смелых» с развернутым знаменем двинулись им навстречу. «Сейчас начнется», — подумали мы. Но ошиблись, слава богу, — торжествующая толпа и скорбящая горстка разминулись по-спортивному миролюбиво. ... У посольства уже стояло оцепление. Впрочем, его никто не пытался прорвать. Фаны исполнили гимн Латвии и несколько раз проскандировали: «Криевием па дирсу!» Толпу разочарованно покинули несколько десятков русских болельщиков — из тех, кто считает хоккей просто хоккеем... («Час-Суббота», 6 мая 2000 г.)

Сложный эмоциональный момент — за кого болеть — я хотела бы передать в ситуации моей семьи. Я достаточно далека от хоккейных переживаний, и была искренне напугана, когда за стеной моего кабинета в главном здании университета Латвии услышала вопли (сложно подобрать другое слово) нескольких женщин и вслед шум с улиц. Этих женщин в предбабушкином возрасте я знаю как очень церемонных работников учебного отдела университета и, откровенно говоря, не ожидала столь «нетипичных» проявлений темперамента. Парламент прервал заседание, поскольку политики страны прилипли к телевизорам прямо в здании сейма. В транс-

¹⁰ Юрис Добелис — один из лидеров радикал-националистов.

порте — невероятно огромное количество флажков на щечках детей и т.д. Мама отреагировала на мой приход домой унылым: «Наши проиграли». Сын же, выросший в Латвии и ее негражданин, объявил с порога: «Наши выиграли».

Для русскоязычных СМИ победа немедленно превратилась в символ *принадлежности к территории*, за которую команда играла и выиграла. Русские игроки составляли больше половины команды, и часть их не знает государственного языка, что является очень серьезным препятствием при получении гражданства. Символическая ретерриториализация — вот что произошло на ледовом поле для русской мужской части Латвии.

Матч был воспринят как публично выигранная модель потенциального преодоления политического отчуждения. С другой стороны, реакция отразила сложный процесс формирования «братского контракта» в основе перехода от этнического национализма к политической форме национальной принадлежности. Не случайно именно *русскоязычные* СМИ подчеркивали, что команда для политики Латвии сделала намного больше, чем профессиональные политики за все годы восстановленной независимости:

Латвийская команда смогла вчера объединить и русских, и латышей — а это уже чистая политика. (*Час-Суббота*, 6 мая 2000 г.)

Никого не хочу сегодня выделять: команда-мечта была из Латвии. (*Час-Суббота*, 6 мая 2000 г.)

Слово «ребята» — наиболее частое в обозначении команды и, безусловно, по-дворовому очень коллективно-мужское, молодежное и «демократичное»:

Это была великая игра. И великая победа... Это была битва гигантов... С победой, ребята! С победой, болельщики! (*Час-Суббота*, 6 мая 2000 г.)

В этом контексте фигура Артура Ирбе, вратаря команды и, кстати, легионера НХЛ, приобрела эпико-монументальное значение «стены», которая не пропустит «врага» и не «предаст»¹¹. Артур Ирбе стал настоящей культовой фигурой в латышских СМИ и в общественном сознании, заполнив давно пустующее место героя возрожденной нации. Политическую рамку для портрета нацио-

¹¹ «Материально поощрить нашу “стену” решили уже во время матча с Россией — уж больно искусно Ирбе отбивал и ловил вражеские шайбы». (*Диена*, 7 мая 2000 г.)

нального героя он сконструировал сам в своих интервью, ставя победу и личный вклад в историко-политическую преемственность схваток маленькой страны с имперским соседом¹².

Комментаторы в *латышскоязычных* газетах использовали экспрессивную лексику с военно-патриотическим уклоном, гиперболизацию, сравнения, контрастные риторические средства, переводящие спортивную победу в ранг величайших завоеваний начала тысячелетия:

Латвия разрушила мечту России (в анонсе) — Латвия разрушила мечту русских (в статье): У тренера команды Харальда Васильева была еще одна возможность *поддержать дух* латвийской команды. Еще 23 февраля 1977 года, в день Советской Армии, хоккеисты рижского «Динамо» преподнесли офицерам советских вооруженных сил подарок, одержав победу над гордостью армии, командой ЦСКА. (*Diena*, 6 мая 2000 г., 2)

Мы передадим свои биотоки нашим игрокам, и такая энергетическая зарядка поможет им бороться, как мы играли против ЦСКА. (Из интервью с Васильевым *Diena*, 5 мая 2000 г., 2)

Именно поэтому в среде самых агрессивных болельщиков все популярнее становится лозунг «*Если тебя не будет в Санкт-Петербурге, значит, тебя нет вообще!*» (*Diena*, 5 мая 2000 г., 2).

Пусть в ликовании латышей объединятся Веселый поселок в Санкт-Петербурге, Домская площадь в Риге, Розовое поле в Лиепае! Прорывайся, Латвия! (*Диена*, 7 мая 2000 г., 1)

...была завоевана *величайшая победа* латвийского хоккея, в честь которой в Санкт-Петербурге прозвучал латвийский гимн, который *игроки слушали, обнявшись, а половина фанатов — со слезами на глазах.* (*Диена*, 7 мая 2000 г., 1)

Лишь в одной статье автор оценил ситуацию на ледовом поле как метафору социальной интеграции, а болельщиков перевел в иную — латыши и *латвийцы*, — чем этническая, которая лежала в основе всех остальных комментариев:

Остальные *латыши и латвийцы* во время игры латвийской сборной соберутся в кабачках, барах, пивнушках и кафе, владельцы которых предусмотрительно включают телевизоры. (*Диена*, 7 мая 2000 г., 1)

¹² «Многие хоккейные болельщики... считают, что *сегодняшняя победа латвийской команды над Россией является своеобразным подарком к десятилетию латвийской независимости.* “*Вчера отмечали независимость Латвии, сегодня разбили русских*”, — сказал один фанат» (*Diena*, 5 мая 2000 г.).

Для народа Латвии хоккей стал выездным праздником песни, танцев и пива. (*Диена*, 7 мая 2000 г., 1)

Хоккей — это лучшее бюро интеграции и самое успешное управление по натурализации. В команде собраны различные национальности, которые так же хорошо уживаются и на трибунах, как и в кабачках. Ничто другое так не пробуждало национальное самосознание и не способствовало национальной консолидации, как эта игра. (*Neatkarīga Rita Avize*, 7 мая 2000 г., 1)

Кроме риторики военной победы над врагом (что симптоматично само по себе) латышскоязычные СМИ нередко употребляли слово «элита» («мы вошли в элиту мирового хоккея»). Спортивная победа предложила не только политически востребованного героя, не только аромат «военной» победы над русскими парнями¹³.

Победа послужила политическим потребностям общества, которое только что прошло через скандалы в связи с педофилией в самых высших политических кругах, вплоть до бывшего премьер-министра. Правительство и парламент как «элитарные» гомосоциальные структуры выступили в нелицеприятной роли сексуально нездоровой раковой опухоли власти, своими метастазами пронизавшей все общество. Известная аргументация постсоветского кризиса национальной мужественности уже не помогала. Спортивная победа — коллективное проявление здорового мужского духа и мужского тела — в данной ситуации пришлось как никогда кстати новому кабинету министров, во главе которого встал представитель проевросоюзной партии с символическим названием «*Латвийский путь*». Хоккей исполнил роль символического дополнения, подтверждающего конвертируемость нации в геоспортивную элиту из категории экономического и политического реципиента, выживающего за счет финансовых вливаний и инвестиций.

Игра продолжается, или вместо финала

Однако, по Пьеру Машерею (*Macherey, Valibar*, 1981), интересней обозначить зоны (у)молчания в текстах, организующих коллективные идеологии унификации нации. Латышское общество после обретения независимости десять лет шло по линии этнополити-

¹³ СМИ не переключаются на категорию «русский», предпочитая «русский»: «Я знал, что мы можем сыграть с русскими, и парни это доказали» (*Diēna*, 5 мая 2000 г.).

ческого апартеида и гендерной реконструкции традиционных экономических и социальных ролей. Дискурс национальной мужественности как гегемонной коллективной идеологии постсоциалистической реконструкции нации какое-то время мог питаться мифологемой отца нации Карлиса Улманиса и аграрной утопии 1930-х гг. Постсоветский националистический дискурс выстраивал и истерически насаждал историческую преемственность латышской Латвии из патерналистской формы почвенника-диктатора Улманиса. Риторика восстановления государственности базировалась на возвращении в прошлое (30-е гг. тоталитарного режима перед советской аннексией 1940 г.) и неминуемо связывалась с патерналистской ремаскулинизацией социального пространства и гендерных ролей. Более того, конкурентное наличие мужчин-«неграждан» при преобладании женщин в нашем обществе использовалось как индикатор биологической опасности контаминации и вырождения нации, и демографическая ситуация ставилась в прямую зависимость от репродуктивной опасности и «заражения». Дискурс репродуктивного «загрязнения» нации связывался с так называемой «русской» мафией в экономике и, неминуемо, «рукой Москвы», словно «гидрой революции», чьи головы отрастают в биологическом воспроизводстве русскоязычной части населения (этой «пятой колонны») в городах Латвии.

Ловушка состояла в том, что доминирующий дискурс национальной мужественности с середины XIX в. исключал город как контаминирующую гомосоциальность в создании национального нарратива. Город необходимо отвоевать, сделать наконец мужским (политика, спорт и бизнес) и латышским (семья). Городская перспектива исторической конституции нации в Новое время как более сложная социальная мультикультурная форма коллективного гражданства предложила бы после восстановления независимости в 1991 г. радикально иной путь гражданского общества в условиях современной глобализации. Как территория постсоветской маргинализации, как скрытый нарратив, город использовал хоккей в качестве инструмента иного дискурса мужественности, того самого «братского контракта», при котором профессиональная, спортивная, элитарная принадлежность не замыкается на мифической «элитности» гегемонной мужественности, на принадлежности к «корням», но под национальным флагом отвоевывает в геоконкуренции символическую территорию.

В этом смысле «контаминированная» победа опять оказалась более сложным нарративом, чем хотелось бы националистам по

обе стороны границы. Как и в начале 90-х гг., когда голосование русскоязычной части населения перевесило в сторону независимости страны, на хоккейном поле парадоксальным — и снова неожиданным — образом была отыграна победа. Тогда, в начале 1990-х — во внутренней ситуации — власть и общество сумели «забыть» этот факт. Сегодня на геовизуальном пространстве это сделать невозможно. Тем самым осложняется инструментализация события для политической мобилизации и контроля национальных фантазий. Латышскоязычные СМИ в их экзальтации мужественности, культура здорового духа и «тела» команды как носительницы и символа латышскости все же избегали попыток изменить идеологический дискурс с целью придания мужественности новых значений. Например, тех, в которых гомосоциальность демонстрирует здоровый победный коллективный дух при наличии Иного (или «чужого» по паспорту) в ее составе. С другой стороны, спортивная победа — к радости режиссеров — удалась в качестве примера официальной провозглашенной в стране политики социальной и этнической интеграции, без которой хода в Европейский союз не будет.

Грета Слобин

КОНЕЦ ИМПЕРИИ: «НОВЫЙ СЛАДОСТНЫЙ СТИЛЬ» В РОМАНАХ ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА

Первая декада посткоммунизма ознаменовала собой поиски новых символов российской государственности (флаг, герб, гимн), национальной идеи и идентичности. Этот процесс радикальных изменений общественной структуры страны, углубленный утратой ценностей советского периода, сопровождается также и изменениями роли гендера. Связь национальной идентичности и сексуальности уже становилась объектом научного исследования¹, и одним из наиболее известных примеров подобного рода эротизации национализма и патриотизма, например в сталинский период, может служить текст песни «*Широка страна моя родная*», в которой Родину любят нежно, как невесту или мать.

Специальный интерес в современном изучении этой проблематики представляет вопрос дискурсов идентификации личности, проходящей по, казалось бы, естественным линиям национальной принадлежности и сексуальной привлекательности (см. Parker et al., 1992, 2). Особое значение эта проблема приобретает в тоталитарном обществе, где четко выявляется роль гегемонного типа мужественности, связанного с системой власти. Как указывает Тим Карриган, гегемонный тип мужественности в любом обществе представляет собой более сложное понятие по сравнению с более общими характеристиками мужественности: «Вопрос прежде всего состоит в том, каким образом отдельные группы мужчин достигают позиций власти и богатства и как они легитимизируют и вос-

¹ В качестве одного из самых первых исследований такого рода см. работу Джорджа Мосса, посвященную вопросам морали и сексуальных норм среднего класса Европы (Mosse, 1985).

производят те социальные отношения, которые способствуют их преимуществу» (Carrihan et al., 1984, 592). При этом Карриган замечает, что «естественным следствием такой ситуации является тот факт, что эта форма мужественности, экзальтированная культурой, эта своего рода гегемонная модель соответствует лишь небольшому числу реальных мужчин. Однако очень большие группы мужчин способствуют поддержке этой гегемонной модели» (Там же, 592).

В своем анализе взаимосвязи гендера и власти Роберт Коннелл также указывает на то, что «гегемонный» тип мужественности «всегда формируется (is constructed) в процессе отношений как с подчиненными типами мужественности, так и с женщинами» (Connell, 1987, 183), особенно с теми, чья женственность носит подчеркнутый характер. Во многом, по мнению Коннелла, функционирование патриархального общества базируется именно на *взаимодействии* различных типов мужественности. Важно в то же время иметь в виду, что «гегемония» определенной формы мужественности не сводится лишь к общественной сфере, но влияет и на организацию культурного процесса, и на личную жизнь (Connell, 1987, 184).

Как летописец периода заката советской Империи и первых лет посткоммунизма, Василий Аксенов уделяет особое внимание типологии гегемонной мужественности и ее роли в творческой и личной жизни своих героев. Сама геополитика написания и публикации его романов отражает радикальные перемены в общественной и культурной жизни эпохи. Роман Аксенова «*Остров Крым*», написанный в период брежневского застоя конца 70-х гг. и опубликованный автором за границей в 1981 г., рисует закат правящих кругов империи, являясь своего рода предвестием конца советской цивилизации. Очередной роман Аксенова «*Новый сладостный стиль*», написанный уже за границей, но опубликованный в Москве в 1997 г., регистрирует симптомы распада империи в годы Андропова (1982—1983) и в начале 1990-х гг. Исторические стадии и радикальные общественные перемены, зафиксированные в этих романах, дают возможность проследить и соответствующие изменения в структурах мужественности героев Аксенова.

Островная мужественность

В своих романах Аксенов выделяет два типа мужественности. Гегемонный тип мужественности совпадает с авторитарным совет-

ским стилем, с его неприкрытой брутальностью и установкой на покорение. В романе «*Остров Крым*» этот тип представлен «высокопоставленными» лицами — членами правительства и главными сотрудниками КГБ. Эта группа, в свою очередь, оказывает влияние на целый ряд мужских героев, находящихся в поле ее влияния.

Авторитарному типу гегемонной мужественности и подвластным ей персонажам в романах противопоставлен ею же обусловленный и с ней же соперничающий игровой тип богемного космополита-бунтаря². Этот тип включал в себя группу известных режиссеров, художников, писателей, звезд рок-н-ролла³, принадлежащих к «неофициальной», или «альтернативной», культуре позднего советского периода, действовавшей в контексте авторитарной власти, но в пространстве, относительно независимом от государственных законов и цензуры. Тип космополита-бунтаря в романах Аксенова отличает переплетение «творческой натуры» с неотразимым сексуальным магнетизмом, с «подчеркнутой» сексуальностью, принципиальной чертой которой становится удовольствие, получаемое в самом *процессе* эротической игры, — черта, полностью отсутствующая в поведении «гегемонного» типа. Однако оба типа являются примерами мира мужского шовинизма, действующего по особым правилам и отводящего женщинам второстепенные роли.

Внимательное чтение романов позволяет проследить те приемы, с помощью которых в своих описаниях Союза, России и заграницы Аксенов делает явными особые черты советской и постсоветской гегемонной мужественности. При сопоставлении России и Запада Аксенов использует нарративный прием, который можно было бы назвать *телескопическим*, — действие яркого жизненного карнавала в данном случае происходит на заграничной сцене, но с участием русских актеров. Это дает автору возможность сфокусироваться на анализе не столько западной жизни, сколько советского сознания, с его глубинной связью между тоталитарным стилем и анархией московской богемы, с ее подчеркнуто русским комплексом безграничного воображения и игровой сексуальности.

Рисуя своих героев-мужчин, Аксенов как бы подтверждает вывод Бенедикта Андерсона о сути национальной специфики, которая увязывается прежде всего с тем, «чему нация противопоставит» (Anderson, 1983, 16). «Нация», как и «гендер», таким образом, выступают как *относительные* понятия.

² Олицетворением этого типа в 1960—1970-е гг. можно считать Владимира Высоцкого.

³ О роли бардов и звезд рок-н-ролла в 70-е гг. см.: Troitsky, 1987.

«*Остров Крым*» отличается риторической и политической смелостью. В описаниях представителей «гегемонной мужественности» путем демистификации циничного национализма и русского шовинизма конца 70-х гг. показана опасность официальной советской идеологии. Повествовательный телескоп рассказчика, направленный из России на «Запад», ностальгически демонстрирует этот желанный (и недостижимый) объект, содержащий в себе все, что так недоступно в Союзе.

Тип гегемонной мужественности старых русских эмигрантов на Острове противопоставлен советскому. Структура гегемонии власти и богатства на демократическом Острове довольно своеобразна. Андрей Лучников — член старой аристократической русской семьи «врэвакуантов», которая осталась за границами Советского Союза и которая принадлежит к элите капиталистического и космополитического Острова, чудом сохранившего свою независимость. Арсений Лучников, отец Андрея, — профессор-историк, воевавший в гражданской войне, продолжает поддерживать связи с русской культурой; одновременно с этим у него — «огромные связи» в западном мире, к тому же он еще и миллионер-конезаводчик (15)⁴. По всем данным Арсений мог бы стать Президентом Острова, но политику здесь ведут консервативные националисты-патриоты, «стерегущие Крым до светлого дня “Весеннего Похода”, до Возрождения Отчизны» (16). Арсений власти не ищет, и ему, как наследнику либеральных традиций дореволюционной России, это властное поколение напоминает «чекистов-гэбистов» Союза. Этой группе «гегемонов» противопоставляется Андрей Лучников — космополит и глейбой, главный редактор крымской газеты «*Курьер*», принадлежащей к либеральной группе «левых». Связь Андрея с родиной и ностальгия по ней так же сильна, как и советская тяга к «западному». Ностальгия приводит Андрея к идее воссоединения острова с родиной, метафорой которой является его любимая женщина-москвичка Татьяна. Она содержит в себе все, что дорого для него: «Отец, сын, прошлое и будущее — все соединилось и взбаламутилось непонятной надеждой. Остров и Континент, Россия... Центр жизни, скрещенье дорог» (46). Андрей верит в этот шаг как в залог обновления страны, о чем он прямо говорит: «России нужна новая сперма» (55). Как пишет Марк Липовецкий (Лейдерман) в книге «*Русский постмодернизм. Диалог с хаосом*», «жажда утопи-

⁴ Все цитаты даются по указанным изданиям: *Аксенов В.* Остров Крым. Анн Арбор, 1981; *Аксенов В.* Новый сладостный стиль. М., 1997.

ческой целостности и “общей судьбы”... мотивирует действия Андрея Лучникова... что кончается разрушением прекрасного мира острова и смертью его главных героев» (Lipovetsky, 1999, 115). При этом надо заметить, что роман кончается также и мученической смертью главных героинь, личная судьба которых связана с Андреем.

На «исторической» Родине, как и на Острове, власть находится в руках советской правительственной элиты. Два ключевых эпизода романа происходят во время очередного визита Андрея в Москву. Первая сцена — ужин в «Русском клубе», где встречаются «славянофилишки» (146). Аксенов представляет минимальный, но знакомый отечественному читателю портрет собранных здесь людей: «Все были, что называется, в соку, от 50 до 60, о должностях, официально занимаемых, никто не говорил, но по манерам, по взглядам и так было ясно, что должности твердые» (147). За столом «все тосты были за верность. За верность земле, за верность народу, флагу, долгу, за верность другу», а также за «русских людей за рубежом, сохранивших верность истории» (147).

Друг Андрея, Марлен Кузенков, высокопоставленный работник КГБ, ответственный по делам Острова, на встрече в секретной загородной правительственной «финской» бане вводит заграничного русского гостя в закулисное пространство государственной элиты. Андрею представляется картина власти, которая вписывается в известную историческую и культурную традицию: «Закат Третьего Рима — финские бани за семью печатями» (149). Рассказчик демонстрирует глубинную динамическую структуру этой группы, члены которой связаны «никогда не названной общей поручкой, совместной обнаженностью и похабщиной...» (213). Именно в этой сцене Андрей становится свидетелем карнавального спектакля гегемонной мужественности. Находящиеся здесь мужчины — эти своего рода коллеги «мастодонтов» Острова — держат власть Союза в своих руках. Как лейтмотив этой группы автор подчеркивает, что в бане они находятся среди «своих»: «После каждого сеанса в парной и аппетит улучшался, и выпивальный энтузиазм увеличивался, и даже интерес к шустрым девчатам-подавальщицам в махровых халатиках появлялся» (150).

Во время этой декадентской сцены конца империи Лучников, как профессиональный журналист, «старался тоже наблюдать своих хозяев. Он понимал, что вокруг него реальная советская власть, уровень выше среднего, а может быть, и очень выше...» (150). Батос (bathos) этого зрелища вызывает у него особые ассоциации:

«Нет, на римских сенаторов они все же мало похожи. Мафия! Да, конечно, это — Чикаго, кампания из фильма *«Ревущие двадцатые»* — все эти свирепые жлобские носо-губные складки, страннейшее среди истеблишмента ощущение не вполне легальной власти» (150). Речь, таким образом, идет о тоталитарном типе как разновидности гегемонного стиля мужественности вообще.

Во время «делового отдыха» в бане происходит разговор, касающийся темы шовинизма и русофобии, актуальной для этой группы. Националист Олег Степанов подчеркивает руководящие идеологические принципы группы: «Мы не примитивные шовинисты, тем более не антисемиты. Мы только хотим ограничить некую еврейскую специфику... Мы хозяева на нашей земле, а им мы дали лишь надежное пролетарское убежище» (151). Связь коммунизма и национализма четко намечена в его речи на тему «Православие, самодержавие и народность... в применении к единственному нашему пути — Коммунизму!» (152). Именно в этот момент происходит инцидент, графически подчеркивающий связь авторитарного национализма и сексуальности: «Степанов даже и не заметил, как у него в порыве вдохновения поднялся член. Ахнув, он попытался закрыть его ладонями, но эрекция была настолько мощной, что красная головка победоносно торчала из пальцев» (152). Этот момент сексуального смущения не оставляет никакого сомнения в эротической подоплеке национализма. Нет сомнения также и в том, что это далеко от либерального национализма Андрея: «Это ребята не в моем вкусе. Это ребята не из моего клуба» (155).

Из мужчин, причастных к группе властных, особо выделяются работники КГБ. Здесь существует своя система иерархий и отношений к «гражданам», подвластным их авторитету. Так, Тане, «приглашенной» на беседу в первый отдел на разговор о Лучникове, начальник — «старый сталинист» — представляет товарища Сергеева, «обозревателя агентства новостей» (134). Подчеркивая современную тактику своей организации, полковник Сергеев замечает: «Поверьте уж мне, что я не чудовище какое-нибудь, не государственная машина» (137).

Татьяна, любимая женщина Андрея, известна всей Москве как спортивный комментатор программы *«Время»*. Она кажется совершенно необыкновенной, красивой, «свободной» советской женщиной. В то время как ее законный муж борется за свои права, КГБ во главе с полковником Сергеевым, который в курсе всех деталей интимных отношений Татьяны с Лучниковым, действует по своим соображениям, где личная жизнь граждан, безусловно, под-

чинена власти. Сергеев для Тани — это «вервольф последней модели. Обаятельный мужчина!» (134). Несмотря на то что он «продемонстрировал Тане чистоту и смелость своих глаз», она вспоминает, что уже встречалась с ним ранее — на приеме в честь Андрея, где «она поймала на себе анализирующий взглядец некоей незнакомой персоны. Вдруг под этим взглядом ее пронзило ощущение зыбкости, неустойчивости» (124). Ее реакция точно передает эффект силы влияния авторитарной власти.

Во время встречи с Татьяной Сергеев «по-дружески» приказывает Тане выйти замуж за ее любовника, Лучникова, чтобы следить за ним. Приказ, отданный в присутствии ее супруга, известного спортсмена в прошлом, не оставляет иллюзий в том, что организация действует по старой традиции. Образ мужа при этом — это образ мужчины, подчиненного гегемонной группе: «Она всегда поражалась, какими беспомощными пупсиками оказываются советские супермены, метатели, борцы, боксеры перед всеми этими хмырями-первоотдельцами и вот такими вот “обозревателями”» (134).

В иерархии гегемонной мужественности муж-спортсмен знает свое место и содействует власти. Патриархальная структура этой власти обнажается в эпизодах визита Андрея в Москву. В квартире Татьяны в присутствии гостя ее муж заявляет о своих законных правах на супружеское ложе. Как и в разговоре с полковником, вновь повторяется классическая формула «тройки», состоящей из двух мужчин и женщины в пассивной роли (см.: Sedgwick, 1986).

В романе Аксенова Таня представлена как сложный тип женщины-бунтаря, которая вращается в сфере влияния гегемонных сил. Будучи звездой московского телевидения, она не лишена доли независимого космополитизма, которая, однако, не спасает ее от преследований гегемонной мужественности. Находясь в Ялте по поручению полковника Сергеева, Татьяна поддается ухаживаниям старого американского миллионера Бакстера. С этого момента ее пребывание на Острове идет под откос. Во время разговора с полковником крымской разведки, намекая на КГБ, Татьяна замечает вслух: «Какие у вас повадки сходные... вы даже одеваетесь похоже» (181). Ее отказ от сотрудничества с разведкой Острова вызывает соответствующую оценку («сука чекистская») и завершается трагически, когда «три фигуры в темных куртках» совершают надругательство над ней. Появившийся Андрей объясняет Тане, спасенной Подразделением Качинского полка специальных операций, что она оказалась жертвой «волчьей сотни, крайне правого крыла... Союза Возрождения Родины... самых настоящих фа-

шистов, бандюг, спекулирующих на романтике “белого движения”» (200). Показательно, что и похищение и нападение на Таню преследовало лишь одну цель — отомстить Лучникову. В сети глобальной гегемонной мужественности для нее есть только одно место — женщины-пешки...

Вряд ли удивительно то, что и *позитивное* будущее острова Крым в романе также связывается с мужской фигурой — в данном случае с девятнадцатилетним сыном Андрея Антоном, этом идеале молодого поколения, свободного и в политических взглядах, и в сексуальном поведении. Антон — это представитель культуры «яки» — мультинациональной нации Острова, составленной из потомков татар, итальянцев, болгар, греков, турок, русских войск и британского флота. Как заявляет Антон, «яки — это нация молодежи. Это наша история и наше будущее, и мы плевать хотели на марксизм и монархизм, на Возрождение и на Идею Общей Судьбы» (24).

Но идеологическая гегемония Советской России, как и правая националистическая организация Ялты, не способны понять подобное мышление. Друг Андрея Марлен Кузенков — пожалуй, единственное исключение. Как интеллигентный и тонкий человек, он обожает это «чудо природы и истории»: «Я люблю этот остров, память о старой России и мечту о новой, эту богатую и беспугную демократию, порты скалистого Юга, открытые на весь мир, энергию исторически обреченного русского капитализма, девочек и богему Ялты» (273). Поэтому Кузенков бессилен предотвратить brutальный захват Острова советской армией. Авторитарные националистические идеологии в романе служат своего рода предвестием конца империи, не способной найти в своей структуре место демократическому мультинациональному государству. Как показал исторический опыт последнего десятилетия XX в., именно эта неспособность и стала причиной падения советской империи⁵.

Мужественность эпохи заката и его последствий

Связь истории империи с личной биографией героев является главной темой романа Аксенова «*Новый сладостный стиль*», напи-

⁵ См.: Suny, 1997, 153.

санного за границей в 1992—1995 гг. Большая часть действия этой хроники последних лет Союза и России начала 90-х гг. происходит в Америке, этой новообретенной стране «бездомного» героя — беженца из театральной Москвы. Парадокс романа состоит в том, что судьба героя продолжает отражать процесс распада советского государства даже за рубежом. Как и в «*Острове Крым*», этот телескопический прием дает автору возможность деконструировать советское и посткоммунистическое сознание.

Радикальные перемены в системе авторитарной гегемонной власти приводят и к потере империи и ее влияния в общественной, культурной и политической жизни, а также в сфере гендерных отношений. Это, в свою очередь, резко изменяет роль гегемонной мужественности в самосознании и в личной жизни героя романа.

Александр Корбах, известный режиссер московского театра импровизации «Шуты», изгнанник из андроповской России, — это тип божественного космополита, судьба которого описана в жанре постмодернистского плутовского романа. Его авангардный Московский театр импровизации «Шуты» пришелся не по вкусу властям, в итоге Корбах вынужденно покидает страну и попадает в Америку, где с 1982 г. он скитается по хорошо известному маршруту «бездомных» советских эмигрантов — от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса.

Запад и Америка в романе созданы русским культурным и языковым воображением постсоветского периода 90-х гг., когда соотношения Россия—Запад резко меняются. Но ностальгия в первой части романа относится уже не к воображаемому западу острова Крым, а к прошлому советской родины, с ее парадоксальной ролью матери/мачехи в жизни героя. Аксенов исследует классический пример ностальгии как «тоски по дому, которого больше нет и которого, может быть, никогда не было» (Воуп, 1999, 385). Здесь важно то, что ностальгия Александра относится к метонимическому типу, который, по словам Светланы Бойм, включает в себя фрагментарность, иронию и саморефлексию. Именно эти качества играют важную роль в становлении сознания героя романа. Здесь они противостоят авторитарной гегемонной мужественности и постепенно замещают ее влияние в его психологии и судьбе.

Судьба героя связана с историей его театра, который возник в начале 70-х гг., этого «железобетонного десятилетия», т.е. брежневского застоя. Театр является игрушкой власти и служит примером ее влияния в сфере культуры. Несмотря на то что «сразу после премьеры спектакль был, разумеется, закрыт», он существовал

в неофициальном пространстве «в каких-то клубах на задворках, куда, конечно, съезжалась вся Москва» (18). Театр становится известным за границей, но ситуация меняется к концу 70-х, когда комиссию по проверке театра заинтересовывают «чрезмерно вольные нравы на половой почве» (20).

Судьба скитальца проводит Александра вниз и вверх по вертикали американского общества. После приезда в Нью-Йорк в 1982 г. обезличенный герой на время оказывается в его низах: «Посреди пустоты стояла очередь в никуда. Все свои, бомжи и бамы» (81). По словам одного из них, «эмиграция — это сильный тест для мужского характера» (91). Александр вынужден проходить этот тест на протяжении более чем десяти лет своих странствий. Где бы он ни находился, прежде всего он примыкает к таким же, как он, русским, как к острову знакомого, «своего», в океане чуждой американской цивилизации. Быт, т.е. еда, общение, привычки, как и известная циничность в сексуальных отношениях этих «бездомных» эмигрантов «времен заката тоталитарной империи», перенесены прямо из «домашнего советского прошлого», и таким образом поддерживается связь с потерянной на чужбине родиной.

Приключения Александра Корбаха в изгнании, особенно неизбежная потеря статуса и осознания своего «я», приводят к радикальной перемене в психологии и поведении героя. Он обретает независимость суждений и в процессе переоценки ценностей начинает понимать: «сама моя известность, пусть советская или антисоветская, это пошлость» (38). Интересно то, что последующий перелом в сознании героя соответствует периоду горбачевской перестройки второй половины 80-х гг., хотя об этом факте в романе напрямую не говорится.

Корбах оказывается в Лос-Анджелесе в июле 1983 г., когда в «в Москве царит Андроп. Америка готовится выстоять советский “последний и решительный бой”» (81). В одной из сцен романа происходит одновременное пересечение двух осей «Восток—Запад» и «прошлое—настоящее». На бульваре Сансет Александр заходит в модный магазин-люкс, которым заведует Агамемнон Гривадис, тоже эмигрант, «свой человек... который прошел серьезную школу комсомольской работы в Ташкенте» (127). Здесь и происходит неожиданная встреча Корбаха с агентом КГБ Буревятниковым, который зашел в магазин, чтобы купить хороший костюм. В примерочной он снимает «куртку с тяжелым внутренним карманом (...браунинг) и брюки, и именно в этот момент его застаёт Корбах: “Советская власть вас приветствует”» (128).

Показательно, что вместо страха встреча носит комико-героический характер, и это «переключение» жанра есть своего рода свидетельство об определенных исторических переменах, при которых старые правила игры уже не действуют. Все трое начинают пить, и Буревятников, указывая на кейс, полный долларов, предлагает Александру «искупить свою вину перед отечеством». Вежливо отказываясь, Александр объясняет, что «отвык от этих интонаций... Все-таки два года в нормальном обществе» (129). На лице Буревятникова в этот момент он замечает «какое-то соревнование систем». Встреча заканчивается мужским ритуалом безумной попойки, не оставляющей сомнений в утрате советской властью своей гегемонии. Сцена является аллегорией поражения гегемонной власти советского государства. Несмотря на это, вполне ясно, что сохраняется структура мужских отношений, с ее непременным ритуальным «бондинг» (male bonding), или поручкой, но без идеологической подопретки, которая пронизывает сцену в романе «*Остров Крым*».

Сразу после этого эпизода Александр, бродя по городу, случайно находит маленький театр на Бетховен-стрит. Небольшое помещение театра на пятьдесят человек напоминает Александру «Шута». Совершенно неожиданно он понимает, что спектакль «*Человек Будущего*» в этом театре похож на его собственную постановку «*Будетлянина*», на которой в свое время и побывала группа молодых актеров из Калифорнии. Сомнения полностью рассеивает программка, сообщившая, что данный спектакль — адаптация его постановки. Этот пример культурного взаимообмена с Западом, однако, не становится объектом ностальгии автора. Ирония в его отношении к возможностям транскультурного перевода находит отражение в трансформации имени автора пьесы, в ходе которой Велимир Хлебников превращается в программке в «Беломора Хулещникова» (135).

Весь пафос ситуации выражен в эмоциональном высказывании Александра: «Почему меня не могут оставить в покое? Почему судьба мне подбрасывает то театр, то любовь?» (166). Как и в романе «*Остров Крым*», игровой элемент в структуре творческого типа героя неизменно связан с эротическим. Его приключения неотделимы от богатой сексуальной биографии мужчины, чей физический магнетизм находят неизменно неотразимым женщины всех континентов и побережий. Его же собственное отношение к женщинам остается цинично-оценочным.

Александр глубоко переживает кризис и сравнивает себя с Овидием, римским поэтом-изгнанником: «Его погнали в степь за “науку любви”, меня к океану за науку смеха, но разве какая-нибудь любовь обходится без шутовства?» (97). Сознание бездомного режиссера сопровождается сознанием «личной мифологии», которая неизменно сопутствует ностальгии (Вонт, 1999, 385). Как будет видно в дальнейшем, конструкция этой «личной мифологии» сыграет важную роль в дальнейшем действии романа.

На какой-то срок Александр остается доволен своей скромной, анонимной жизнью в «калифорнийском Архангельске» и относится ко всему философски. Когда Корбаха находят дальние родственники из одной из богатейших семей Америки, его элитарный статус как бы восстанавливается. С их помощью Александр возобновляет театральную деятельность. Как творческая личность, герой в этот период получает возможность перейти из одной сферы влияния гегемонной, т.е. авторитарной, мужественности в другую, но остается верен себе.

Сцены из жизни семейства Корбахов словно взяты из мыльной оперы «*Династия*», которая приобрела известность на телеэкранах мира. Эта новая нить повествования способствует переключению романа в жанр аксеновской сказки-мечты. Как принято у Аксенова, это дидактическая сказка с моралью-идеалом, подобно известной повести 1968 г. «*Затоваренная бочкотара*». Любопытно, что мужественность богатства здесь отличается от авторитарной структуры власти. Деньги в романе действуют как залог щедрости и творческой свободы. Тем не менее процесс освобождения героя-изгнанника в творческом и личном плане остается связанным с исторической судьбой России.

Во время праздничной встречи огромного семейства Корбахов происходит знакомство Александра с Норой — романтическое, как в кино. Он видит ее издалека, верхом на коне и находит в ней новый для себя тип американской женщины: «Она с интересом смотрела на него. В этом взгляде вдруг промелькнуло то, чего никогда не увидишь в глазах русской или даже французской женщины, нечто свойственное здешним особам женского рода, некая активная прикидка... Женщина активна. Она берет сама» (147). С этого момента встречи с новым для героя типом женщины в романе радикально меняется динамика гендерных отношений.

Алекс влюблен, и дальнейшие серьезные перемены в его самосознании происходят болезненно. В начале отношений он ведет себя по правилам гегемонной мужественности. Его новая подруга в восторге: «Ах, Алекс, — шептала Нора, когда он снова и сно-

ва подступал к ней, — ... как же вы так можете, снова и снова, без передышки?» (172). Он отвечает, что «большая часть жизни прошла в пустяках... Не знаю, с чем это можно сравнить, если только не со встречей Данте и Беатриче...» Максимализм и ревность Алекса, его традиционное понимание гендерных ролей отталкивают Нору, эту независимую женщину-феминистку 60-х гг., и после рождения их ребенка она проводит время вдаль от Алекса — на важных археологических раскопках в Израиле. Алекс же, в свою очередь, возвращается в Москву, где возобновляет старую московскую жизнь и театральную деятельность. В августовскую ночь путча 1991 г. он оказывается на улице и вступает в разговор с танкистами, которые узнают знаменитого режиссера: «Саша Корбах, вы лично Володю Высоцкого знали?.. На чьей стороне был бы сейчас Володя Высоцкий?» Когда Корбах отвечает «На нашей», солдаты все понимают: «этого было достаточно» (408). Это — решительный момент в истории страны, когда победа принадлежала не гегемонной власти, а либеральной интеллигенции, и на какое-то время ощущалась возможность настоящих перемен.

В своей книге *«Будущее ностальгии»* Светлана Бойм замечает, что в популярной культуре конца века повести о возврате «блудного сына» (эмигранта или проститутки) пришли на смену рассказам 1970-1980-х гг., где герой мечтает о бегстве (Воут, 2001, 109). Как показал наш анализ, романы Аксенова конца империи пронизаны ностальгией, связанной с историей страны и с динамикой отношений Восток/Запад. В советский период *«Острова Крым»* действительна не только тоска по западу, с его сладостным стилем свободы, роскоши и раскрепощенной сексуальности, но и мечта о возможности «совокупления» Запада и России. В романе *«Новый сладостный стиль»* действует комплекс ностальгии по идеалам альтернативной культуры Советской России, потерянным в 90-е гг.

Оставаясь в Москве, Александр постепенно понимает, что Россия как объект мечты, связанный с альтернативной исторической и культурной памятью, больше не существует. Постепенно он теряет иллюзии по отношению к новому обществу и к политике национал-шовинистов с их русофобией и антисемитизмом: «Стойкий феномен забывчивости выработался в постсоветской России» (454)⁶. Новая — циничная — Россия чужда Александру, и теперь он становится настоящим «бездомным» изгнанником.

⁶ Потеря исторической памяти как факт общественной жизни 90-х гг. подтверждается и в культурологической критике посткоммунизма (см. Воут, 2001).

В финале романа внимание Корбаха, окончательно освобожденного от связи с Родиной и ностальгии по ней, обращено на его личную жизнь — он уезжает на поиски Норы и находит ее на раскопках в Израиле, этой древней многонациональной стране его предков. При очередной встрече становится очевидным, что их совместная жизнь отныне пойдет по другим правилам игры. Александр обретает полную независимость от сфер влияния гегемонной мужественности, когда он находит Нору — современную феминистку-Беатриче, принадлежавшую к альтернативной эгалитарной субкультуре 60-х гг. с ее эпицентром в Беркли. Совместная жизнь становится, таким образом, обещанием возможности реализации идеалов культурной революции 60-х гг.

В романе «*Новый сладостный стиль*» намечаются возможности анализа связи тоталитарного сознания, разновидностей гегемонной мужественности и гендерных отношений. Его финал указывает на альтернативу, навеянную феминизмом, т.е. на возможности деконструкции мужественности, которую современные антропологи называют *dislocating masculinity*⁷. Здесь имеется в виду переосмысление понятия мужественности и гендерных отношений в обществе, с признанием более расплывчатых границ гендерных типов. В какой-то степени этот процесс намечен в романах Аксенова в форме сатиры гегемонных типов мужественности в Советском Союзе времен Брежнева и Андропова, в националистической Ялте «*Острова*» и в посткоммунистической России.

В то же время сноски на Овидия и Данте подчеркивают тот факт, что этот металитературный роман написан автором-изгнанником о герое-изгнаннике. В ходе действия читателю становится понятна ирония эпитета «новый сладостный стиль», относящегося к далеко не такой уж и сладкой жизни на Западе. Этот неологизм становится своего рода эмблемой мечты о необходимости личной и творческой свободы, прототипом которой стал период ренессанса культуры в эпоху Серебряного века, связанного с мировой культурой. Герой-космополит романа Аксенова — после долгих исканий и перемен в творческом и личном самосознании — обретает постмодернистскую версию этого исторического «стиля», ставшего возможным только после падения Советской империи и потери иллюзий о будущем.

Свою хронику отечественной истории и ее сложных взаимоотношений с Западом в обоих романах Аксенов выстраивает как

⁷ См.: Cornwall and Lindisfarne, 1994.

антидискурс по отношению к официальной версии, намечая таким образом ее политическое подсознание. Его интересует подоплека истории и деконструкции «силы/власти». Аксенов достигает этой цели через выстраивание аналогий между политическим и сексуальным желанием завоевания и покорения. Как показывает наш анализ, арена, на которой разыгрывается русский вариант общечеловеческой драмы желания, с его карнавалом борьбы сил Эроса и Танатоса в жизни героев, выходит далеко за пределы родины. Даже отдельные эпизоды, тесно связанные с историей страны, происходят преимущественно за границей. Как показывает Аксенов, сложный процесс трансформации позднего советского и нового российского общества есть часть глобальных конфликтов и отношений. Потеря иллюзий о преобразовании России и вопрос конфликта индивидуального и общественного сознания разрешаются путем перемен в личной жизни эмансипированного героя.

Элиот Боренштейн

АХ, «АНДРЮША», НАМ ЛИ
БЫТЬ В ПЕЧАЛИ...
НАЦИОНАЛИЗМ СОВРЕМЕННЫХ
«МУЖСКИХ» ЖУРНАЛОВ*

В современной России порнография занимает совершенно особое место, отражающее двойственный характер этого явления в современной постсоветской действительности. Порнографические тексты и имиджи можно обнаружить сегодня на прилавках газетных киосков, в Российской Федерации они повсеместно циркулируют в прессе, на телевидении и даже на магазинных пакетах для покупок.

В то же время порнография постоянно фигурирует в списке «стандартных зол» посткоммунистической эпохи. СПИД, проституция и порнография сформировали неразрывную триаду тем, вошедших в арсенал как научных, так и публичных дискуссий о сегодняшней России. Порнография, таким образом, оказалась одной из немногих точек соприкосновения россиян самых разных политических взглядов и устремлений.

Феминистки, как в России, так и на Западе, по традиции используют порнографию — наряду с бытовым хулиганством, сутенерством, сексуальной эксплуатацией женщин на рабочих местах — как пример, подтверждающий глубину кризиса, в котором оказалась страна. Согласно их тезису, коммунисты и националисты обращаются к порнографии, гомосексуализму, проституции и СПИДУ как примерам разложения, занесенного в Россию из «загнивающих» Европы и Америки (Goscilo, 1996, Ch. 6¹).

* Перевод с английского Марины Балиной.

¹ Данная статья является первой попыткой научной дискуссии на тему современной русской порнографии. Метод исследования, которым пользуется Гошило, отрицает цензуру, но тем не менее подходит к вопросу с традиционно феминистской позиции, определяя порнографию как «практику и презентацию сексуальной субординации, при которой женское подчи-

Неудивительно, что те, кто непосредственно производят порнографию, стремятся представить свою деятельность в более позитивном свете. Рассматривая порнографию в историческом контексте, можно наблюдать постоянное балансирование между экономическими интересами и политическими мотивами, стимулировавшими ее развитие. Так, в Англии и Франции эпохи Просвещения порнографическая литература часто рассматривалась как форма политической сатиры (Hunt, 1996a; Hunt, 1996b; Вайль, 1996), в то время как в Америке в XX в. возможность циркуляции порнографических материалов подтверждала наличие в обществе политических свобод. В последние годы существования Советского Союза свобода слова оказалась почти синонимом сексуальной свободы, либеральные политические газеты и журналы нередко объединяли на своих страницах назидательные передовицы с откровенностью статей внутри выпуска².

И производителей порнографии, и их оппонентов объединяет уверенность в политической значимости этого явления, хотя их интерпретации часто прямо противоположны друг другу. Например, там, где либеральные редакторы эротических газет и журналов видят знамение посттоталитарных свобод, их скептические противники находят лишь свидетельство неумирающих традиций. Так, Елена Гошило утверждает, что

если западная порнография является политическим продуктом капиталистической экономической системы, то в Советской России политика была порнографическим продуктом утопической фантазии, не ограниченной этическими нормами. (см. Gosciolo, 1996, 160)

Идентификация «порнографического» элемента в советском утопическом сознании представляется исключительно интересным наблюдением. В подтверждение мысли, высказанной Гошило, можно привести сцену из «*Котлована*» Андрея Платонова, в которой искалеченный Жачев тайно мастурбирует, наблюдая за парадом юных пионеров. Сходный принцип взаимосвязи полити-

нение мужской власти (и силе) происходит в форме сексуально окрашенной лексики, унижительной для женщины, с целью возбуждения (большинства) мужской аудитории» (Гошило, 1996, 142). Гошило утверждает, что, невзирая на то что сторонники порнографии в России периода поздней перестройки представляют этот жанр как форму освобождения, это все же освобождение мужчины за счет женщины.

² Примером может служить проперестроечная газета *Baltija*, выходящая с 1990 г. в Прибалтике.

ческого и порнографического находит Гоццило и в повседневной практике. Комментируя, например, факты замены портретов Сталина на ветровых стеклах грузовиков изображениями девиц, Гоццило приходит к выводу о взаимозаменяемости политических икон прошлого и новых порнографических образов. И все-таки восприятие порнографии исключительно в политических терминах представляется довольно проблематичным. Можно ли смену образов времени на ветровых стеклах грузовиков трактовать иначе? Например, как не совсем предсказуемую реакцию на доступность порнографии, реакцию, ограниченную, впрочем, размерами ветрового стекла? Не слишком ли мы на Западе привыкли рассматривать любое проявление русской культуры как политически значимое явление, придавая тем самым сексологии очевидное сходство с советологией?

Мне хотелось бы предложить в этой статье несколько иной взгляд на современную русскую порнографию. Вместо того чтобы рассматривать возрождение этого жанра как одно из многочисленных проявлений перемещения патриархальных традиций в новую сферу, мне кажется целесообразным обратиться к анализу порнографических изданий в их *собственном современном контексте* и тем самым сфокусировать внимание на причинах, вызвавших это явление. Обслуживая широкую аудиторию с разными вкусами и финансовыми возможностями, российские публикации включают как обязательные для таких журналов порнографические снимки, так и крайне политизированные и программные тексты, явно выходящие за пределы просто манифестов порно. Вне зависимости от их содержания, самим фактом своего существования эти тексты выполняют легитимизирующую функцию.

На Западе читатель *Плейбоя* может всегда сослаться на обилие в этом журнале интересных интервью со знаменитостями или на публикацию рассказов популярных писателей, камуфлируя тем самым свой интерес к визуальной части журнала. В России, однако, этот процесс легитимации бесспорно осложнен вопросами, связанными с половой и национальной самоидентификацией. Даже беглого взгляда на страницы этих публикаций достаточно для того, чтобы убедиться в почти ритуализованном овеществлении и подчинении женщины, однако если мужчины, создающие эти тексты и образы, задумаются над объектами своего создания, то окажется, что на деле слабым и повергнутым оказывается именно русский мужчина. В мире двухмерной реальности, создаваемой на страницах русского порнографического журнала, имен-

но русский мужчина предстает борющимся как с национальным, так и с сексуальным унижением.

Несомненно, необходим крайне осторожный подход к любой попытке обобщения в аморфном мире русских порнографических публикаций³. В данной статье я в первую очередь собираюсь рассматривать «глянцевые» журналы, такие как русское издание *Плейбоя*, журналы *Махаон* и *Андрей*. На страницах этих журналов выстраивается, как утверждают редакторы *Махаона*, «мир мужчины»; сосредоточенность на маскулинности заложена уже в само название — *Плейбой*, *Андрей* (что в переводе с греческого «мужественный»). Конечно, классификация журнала как «мужского» выполняет, скорее, традиционно лингвистическую функцию. Это — своеобразный код для будущего покупателя, подтверждение наличия порнографии, которую ищет читатель, заверение в том, что он не разочаруется⁴.

Поддержка мужской самооценности

Однако, по моим наблюдениям, уже в самом определении такого журнала, как «*Андрей*», как «русского журнала для мужчин» заложено нечто большее, чем простая классификация для будущего потребителя. Журнал призван приободрить и поддержать свою слабеющую мужскую аудиторию. Эти журналы резко отличаются от других популярных порнографических или эротических изданий в России, хотя они и обладают неким поверхностным сходством. Здесь в первую очередь я имею в виду периодически запрещаемый латвийский журнал *Еще*, а также такие публикации, как *Мистер Икс*, *Мисс Икс*, *Искушение*, *Бульвар крутой эротики*.

Если так называемые «мужские» журналы вполне конкретно определяют свою аудиторию, то и *Мистер Икс*, и *Еще* не признают никаких ограничений. Публикации *Мистера Икса* состоят в основном из писем читателей; журнал, исповедуя философию «вседозволенности», группирует читательские письма, объединяя

³ В данной статье термин «порнография» характеризует только печатный материал, рассчитанный на гетеросексуального мужчину. Отклонения от принятого определения рассматриваются особо.

⁴ Здесь следует оговориться, что недавно начавшееся распространение русской версии журнала *Men's Health* может невольно нарушить это уже укоренившееся представление.

их в постоянные рубрики типа «*Бюро сексуальных находок*», «*Орден рыцарей сексуального образа*», «*Вулкан девственных мальчиков*», «*Зона неистраченной любви*»⁵, не исключая также и рубрик «*Остров нестандартной ориентации*» и «*Храм голубой любви*». Журнал *Еще* если и отличается от вышеописанных публикаций, то лишь еще большей «открытостью» как в выборе тем, так и в охвате аудитории. Статьи и письма в журнале описывают все мыслимые и немыслимые сексуальные приключения без каких-либо ограничений в изложении материала. Границы дозволенного безнаказанно нарушаются, и постсоветский любитель сексуальных наслаждений оказывается на одном уровне со своими западными собратьями.

Все эти журналы в первую очередь ориентируются на гетеросексуальную «мужскую» аудиторию. Предполагается, что их читатель — русский мужчина, не сомневающийся ни в своей сексуальной ориентации, ни в своей национальной принадлежности. Ни у читателя журналов *Еще* и *Мистер Икс*, ни у их издателей эти факты не вызывают сомнений: маскулинность или национальная гордость не измеряются никакими стандартами, эти качества подразумеваются сами собой. Темы, затрагивающие подобные аспекты, просто обходятся и не играют существенной роли в публикациях⁶. Действительно, на первый взгляд эти журналы должны оказывать на мужскую аудиторию значительно более положительное и бодрящее влияние, чем, например, *Андрей*. Ведь их читатель может погрузиться в мир сексуальных приключений, не задавая себе вопроса о том, преуспел ли он как мужчина и как русский или потерпел полное поражение.

По контрасту, такие журналы, как *Махаон* и в особенности *Андрей*, рекламируют себя, как журналы истинного «арьергарда» русского мужского достоинства. С самого начала публикации журнал *Андрей* очертил для себя особый круг проблем и задач. В первом номере журнала, начавшего выходить в 1991 г., редакторы обратились к своей аудитории со следующим утверждением:

Перед Вами первый русский журнал для мужчин. Он необходим сегодня, потому что именно мужчины более всего нуждаются в освобождении от стрессовой агрессивности и неудовлетворенности. Их пси-

⁵ В этот раздел включены письма заключенных. Название рубрики восходит к двойственному значению слова «зона» в русском языке.

⁶ Особое место в этом ряду может быть отведено журналу *Еще* как представителю иного идеологического дискурса — об этом см.: Borenstein, 2000.

хологическая свобода — залог освобождения общества от довлеющих комплексов искаженной эпохи. (Андрей, 1991, № 1, 3)

За семь лет своего существования *Андрей* прошел нелегкий путь. После того как большинство сотрудников *Андрея* перешло в ныне исчезнувший из печати русский вариант журнала *Пентхаус*, *Андрей* на время даже перестал выходить. К лету 1997 г. вышло всего лишь семь номеров журнала. Несмотря на трудную историю, журнал не изменил своим первоначальным устремлениям бороться за мужское достоинство русского мужчины. Под рубрикой «*Права мужчины*» в каждом номере журнал печатает статьи, в которых описывает все новые угрозы русскому мужскому достоинству. И хотя авторы этой рубрики меняются из номера в номер, структура статей — с небольшими вариациями — остается почти неизменной: в начале статьи автор описывает крайности западных «культурных войн», затем он стремится найти параллельные проблемы в России и проанализировать их. В шестом выпуске *Андрея* (1995) под этой рубрикой было опубликовано эссе Виктора Ерофеева «*Полет облака в итанах*»⁷. В *Андрее* публикация этого эссе сопровождалась безвкусной иллюстрацией, изображающей огромную женскую голову с женским символом, свисающим с ее уха, и длинным змеиным языком, высывающимся из ее рта. Этот язык обвивался вокруг маленькой замершей фигурки безликого мужчины, беспомощной жертвы, которую собиралось поглотить это ненасытное демоническое подобие женщины. Застывшая мужская фигурка своей неподвижной позой вызывала ассоциации с фаллосом, но эта возможная ассоциация разрушалась самим контекстом иллюстрации. Мужчина был лишен каких-либо прерогатив традиционной маскулинности: напоминая пешку на шахматной доске, он с готовностью жертвы уставился в глаза этой женщине, парализованный ее взглядом Горгоны.

После ставшего уже традиционным обличения феминизма и описания противоречий, связанных с введением на Западе наказаний за сексуальные домогательства, что, по мнению Ерофеева, может привести к уничтожению за прошлые грехи просто «веселых бабников»: «ведь стреляли же в нашей стране бывших троцкистов», — автор объясняет читателю, что хотя «судьба мужчин в

⁷ Это эссе позднее вошло в небольшой сборник статей Ерофеева под названием «*Мужчины*» (1997) и стало центральным звеном в этой книге, служившей скорее целям саморекламы.

России иная, но она не менее драматична». По мнению автора, русский мужчина не просто побежден, он прекратил существовать как факт: «понятие сохранилось в языке по инерции, по лености ума, в сущности — это фантом, химера, призрак, миф». Аргументация Ерофеева напрямую перекликается с задачами, которые ставят перед собой редакторы *Андрея* и *Махаона*: «это вопрос самосознания прежде всего».

И хотя Ерофеев предпринимает открытый эпатаж, его главный аргумент тот же самый — подъем мужского самосознания: «Мужчина только тогда настоящий мужчина, когда он думает о себе как о мужчине». Благодаря советской власти, установленной, по признанию Ерофеева, русскими мужчинами, мужчина в России потерял честь и свободу, являющиеся атрибутами истинного мужского достоинства. Русский мужчина оказался разменянным на непонятную комбинацию дефиниций «человека, мужика и мужа», которые вместе и поодиночке представляют собой усеченные неполноценные роли для потенциального настоящего мужчины.

Строго говоря, в этом эссе Ерофеева порнография полностью отсутствует. Как тематику, так и полемическое содержание написанного вряд ли можно отнести к разряду новых. Подтверждением этому служит вся обширная литература, посвященная плачевному состоянию, в котором оказались мужчины в постсоветское время. Книги Лины Тарахновой «*Воспитать мужчину*» (1992), В. З. Владиславского «*Если ты мужчина*» (1991) объединены общим с Ерофеевым взглядом на русских мужчин как на человеческую разновидность, находящуюся под угрозой вымирания. Однако эти публикации связаны с педагогикой и фокусируются на приобщении молодого поколения к традиционным ценностям мужского характера: это книги для мальчиков и их учителей. В отличие от этих книг, эссе Ерофеева адресовано его современникам, мужчинам средних лет, которые, при соответствующем подъеме собственного достоинства, сумеют наконец подняться до уровня химерической модели маскулинности. Таким образом, выбор для публикации своего эссе «мужского» журнала для Ерофеева далеко не случаен: где же, как не на страницах такого журнала, можно привлечь внимание гетеросексуальной взрослой мужской аудитории, помещая свой опус между обнаженными женскими телами с грудью, нарушающей все законы земного притяжения?..

В предисловии к своему рассказу «*Жизнь и переживания Вовы В.*» Владимир Войнович приводит похожие доводы, которые позволя-

ют ему объяснить читателю, почему он решил печататься в «мужском» журнале:

«Андрей» — журнал для мужчин. Все журналы такого рода привлекают читателя изображением голых попок и пипок, гоночных автомобилей и сигарет знаменитых марок. Но лучшие из них перемежают эти изображения иногда довольно серьезными текстами.

С похожим заявлением выступил в 1997 г. в редакционной статье первого выпуска журнала *Махаон* Л. Коновалов. Выступая против предпринимаемых правительством мер по ограничению распространения порнографических материалов, Коновалов протестует против определения своего журнала как «эротического». Он пишет: «Художественно-публицистический журнал “Махаон” не является эротическим изданием. [Его] путь лежит в поддержании чувства мужской самооценности» (Коновалов, 1997, 1). Несмотря на то что в этой же статье автор всячески порицает сексуальные преступления и садизм, некоторые наиболее выразительные примеры так называемой «поддержки мужской самооценности» представлены статьями и фотомонтажом, изображающими женщин-мазохисток, принимающих столь желанное наказание от руки мужчины средних лет и средней упитанности. Путь к укреплению мужского достоинства, который избирает для себя журнал *Махаон*, состоит из странной комбинации сексуального подчинения женщины и продолжительных проповедей об источниках зла русской «псевдодемократии». Наиболее полной иллюстрацией позиции журнала может служить цветная карикатура во весь журнальный лист, изображающая затаенного в кожу Анатолия Чубайса, который хлещет кнутом блондинку с завязанными глазами. Выгатуированный на ее теле двуглавый орел, а также трехцветный шарф с многозначительной комбинацией белого, голубого и красного цветов позволяют предположить, что блондинка символизирует собой Россию. Со стиснутыми зубами, запястьями, закованными в наручники, и проколотыми сосками, эта женщина поворачивается задом к зрителю, в то время как из ее влагалища в ответ на отнюдь не нежные чубайсовские ласки сыплются в коробку с названием «*Ксероко*» стодолларовые бумажки.

Хотя *Махаон* и видит в лидерах России своих заклятых врагов, это отнюдь не означает, что журнал испытывает симпатии к Западу. В четвертом выпуске журнала Америка объявляется виновником чернобыльской катастрофы. Александр Братерский в статье «*Последний девственник СССР*» описывает распад Советского Союза как обольщение и изнасилование, сравнивая при этом «желез-

ный занавес» с девственной плевой: «людям, совершившим дефлорацию СССР, хотелось доказательства ее невинности — им хотелось крови» (Братерский, 1995, 24).

В отличие от последовательно неприязненного отношения *Махаона* как к русским демократам, так и к западной культуре, позиция журнала *Андрей* по отношению к Западу значительно более сложна. Его редакторы сами исповедуют определенные западнические идеалы (такие, например, как консумеризм и сексуальная свобода), хотя при этом и злятся на постоянную необходимость соревноваться с Западом. Не всегда последовательные и часто противоречащие себе в своих публикациях авторы *Андрея* видят прежде всего два основных «зла», угрожающих мужскому достоинству русского мужчины: это в первую очередь гомосексуализм, а потом уже и весь Запад в целом.

Негативное отношение журнала к гомосексуализму не является неожиданностью, так как редакторы неоднократно заявляли о своих установках на «истинно» мужские роли и ценности. Рубрика «Права мужчин», в которой опубликовал ранее упомянутое в этой статье эссе Ерофеев, предоставила в очередном выпуске трибуну «известному колдуну и врачевателю, магистру Белой Магии Юрию Лонго», который начал на страницах журнала развернутую антигомосексуальную дискуссию (Лонго, 1995, 54). Так же как и статья Ерофеева,opus Лонго начинается карикатурным описанием упадочнического Запада: на университетских кампусах Америки — там, где, по мнению Ерофеева, и должны подвергаться наказанию бывшие «веселые бабники» — беспомощные студенты подвергаются постоянной обработке при помощи гомосексуальной пропаганды и порнографии. И если кто-нибудь продемонстрирует малейшее отвращение, его фотографию сразу же помещают в студенческую газету с подписью под ней «гомофоб»⁸.

На фоне непрекращающихся русских обличительных речей против гомосексуализма статья Лонго выглядит примером толерантного отношения к предмету⁹: он убеждает читателя, что «го-

⁸ Здесь Лонго ошибочно употребляет другое иностранное слово — «мизантроп» (!).

⁹ Статья Лонго представляет тему, которую редакция озаглавила как «Два взгляда на голубых». Другой «взгляд» принадлежит Василию Аксенову, который в рассказе «В районе площади Дюпон» повествует о русском эмигранте, друг которого умер от СПИДа. Рассказ Аксенова, впервые напечатанный по-английски в американском журнале *Нью Йоркер* в 1995 г., призывал к терпимости по отношению к гомосексуалистам и не имел ничего общего ни с аргументами, ни с полемичностью сочинения Лонго.

лубые» в действительности не правят миром и что мода на гомосексуальность закончится к 2015 г. Лонго утверждает, что «голубая» субкультура является лишь «тенью нормального мира», и, приводя в качестве литературного примера цитату из пьесы Евгения Шварца «Тень», заканчивает свое эссе словами: «Тень, знай свое место». Сам Лонго понимает всю абсурдность помещения гомосексуала непосредственно в тени, следующей за «нормальным» мужчиной. Лонго даже приходит к заключению, что увеличение количества «голубых» мужчин повышает шансы «нормальных» мужчин в обладании желанными женщинами. Отсюда и название статьи, и ее последнее заключительное предложение: «Не дышите нам в зад» (Лонго, 1995, 57).

Наш журнал

Рассматриваемая с гетеросексуальных позиций *Андрея*, гомосексуальность остается довольно отдаленной опасностью. Более серьезной представляется опасность, уже озвученная в статье Ерофеева и вновь и вновь возникающая в русской порнографической прессе. Это — образ западной культуры вообще и западного мужчины в частности. Если русский мужчина стал достоянием прошлого, то русская женщина продолжает оставаться вполне реальной. «Женщина вся состоит из потребностей. В России сегодня потребности являются ведущими. Вот почему Россия — женщина», — пишет автор «*Русской красавицы*» (Ерофеев, 1995, 46). И поскольку она, женщина, знает, что в России мужчин больше нет, она готова покинуть страну и искать настоящего мужчину за границей. В который раз мы можем наблюдать, как сексуальная угроза непосредственно связана с экономической: изображаемый в *Андрее* русский мужчина горько оплакивает необходимость соревнования с мужчиной западным.

Сам же журнал, как и описываемый им герой, страдает как от постоянного соревнования в России с американской поп-культурой, так и от необходимости бороться за рынок сбыта и в первую очередь справляться с угрозой распространения «мужских» журналов, импортируемых из США, таких, например, как русскоязычное издание *Плейбоя*, содержание которого лишь немногим отличается от его американского варианта. Называя себя «русским журналом для мужчин», *Андрей* тем самым делает ударение как на прилагательном «*русский*», так и на существительном «*мужчина*»,

сознательно подчеркивая свое отличие от русскоязычного варианта заокеанского противника.

Еще до появления на российском рынке *Плейбоя Андрей* стремился подчеркнуть «русскость» своих моделей и их окружения. В статье, открывающей пятый номер журнала (1994), его редакторы сетовали на несправедливость и незаконность в России, на превращение ее в страну третьего мира, на захватившие рынок дешевые иностранные товары типа сникерсов и пепси-колы:

Обидно? Нам тоже. И поэтому мы работаем без выходных, и поэтому — перед вами новый номер первого русского журнала для мужчин, одного из немногих отечественных продуктов, который не «на экспорт» и за который не стыдно. (*Андрей*, 1994, № 5, 2)

В редакционной статье, открывающей седьмой номер журнала, авторы *Андрея* утверждали, что в отличие от своих оппонентов практикуют более уважительное отношение к русской женщине:

«Андрей» возносит нашу женщину на пьедестал восхищения, а не пытается, подобно журналам-интервентам, которых все больше в киосках, невыгодно и предвзято представить ее рядом с иностранками, да еще обязательно так, чтобы «фирменная» модель была БОЛЕЕ сексуальна и женственна. Задача интервентов проста: доказать, что все западное лучше, дороже, сильнее, — и к тому же превратить наших женщин в недорогой, готовый на все предмет экспорта. (*Андрей*, 1995, № 7, 2)

Журнал, который ранее видел себя носителем западных ценностей свободы и демократии, взял открыто националистический тон, сознательно введя в свой лексикон риторику войны. На его страницах западные журналы предстают как вражеские «армии» в роли «интервентов» и «захватчиков».

Хотя фотографии, рассказы и реклама в *Андрее* демонстрируют привольную и роскошную жизнь, доступную только для самых богатых «новых русских», националистический характер журнала демонстрируется достаточно открыто. Если верить в достоверность журнальной почты, широко цитируемой на его страницах, то этот «патриотизм» нашел отклик в читательской аудитории. Так, например, группа офицеров Балтийского флота в Таллинне в лучших традициях коллективных писем советской эпохи обращается в редакцию *Андрея* с благодарностью за упоминание в журнале трехсотлетия Российского флота:

Вы действительно наш журнал. Наша национальная гордость даже, в какой-то мере. Хотя бывали кое-где и видели много разных мужских

журналов, а «Андрей» ближе и приятнее нашему советскому человеку. (*Андрей*, 1995, № 6, 4)

Письмо офицеров настолько преисполнено патриотического пыла, что можно просто забыть о том факте, что предметом обсуждения в этом письме является порнографический журнал, а не, скажем, запуск космического корабля. Ставшая анахронизмом фраза «наш советский человек», помещенная в текст, написанный группой военных, размещенных в независимой теперь Эстонии, только усиливает чувство тоски по российской великодержавности, исповедуемой на страницах *Андрея*.

Однако националистический энтузиазм офицеров по поводу «эротического» журнала может показаться излишним только в том случае, если он будет лишен соответствующего контекста. В вызвавшем такой горячий отклик выпуске журнала (№ 4, 1995) помещена фотозаставка, посвященная трехсотлетию Русского флота под названием «*Броненосец "Марина"*». На фотографиях изображена обнаженная женщина в одной бескозырке с надписью «*Андрей*», распластанная на фоне пушек боевого корабля. И текст, и фотографии Алексея Вейслера вызывают сознательные ассоциации с фильмом Эйзенштейна «*Броненосец "Потемкин"*», только в данном случае агитационный смысл и гомоэротическая эстетика заменены не слишком утонченными стандартными гетеросексуальными трюками. Там, где камера Эйзенштейна фокусируется на телах русских матросов, Вейслер помещает обнаженное женское тело между привлекательными полураздетыми мужчинами. Возвращаясь к конфликту, послужившему причиной восстания на броненосце «*Потемкин*» в фильме, Вейслер описывает этот эпизод, когда матросы в 1905 г. были готовы убить друг друга из-за куска гнилого мяса, замечая при этом: «Но сюда бы вместо студента Ульянова — профессора Фрейда». Если бы только модель Марина Павлова была на том корабле, пишет Вейслер, она бы просто крикнула: «Кто хочет попробовать моего мяса?» (Вейслер, 1994, 6).

Свою фантазию на тему «*Броненосца*» Вейслер завершает в духе имитации имиджей ранней советской пропаганды — фотографией полностью одетой Павловой на плечах трех матросов с развевающимся флагом, но не революционным, а российским. Помещенный вместе с фотографией текст лишь подчеркивает утопический характер изображаемого:

И все перевернулось, как в сказке.
И экран осветился светом.

И словно волна смыла красное с флага над кораблем.
 И не было десятилетий шторма.
 И Крым — наш.
 И флот — русский.
 Только на заклепанном борту броненосца название.

(Вейслер, 1994, 5)

Подобное заявление не могло появиться в более политически подходящий момент. Широко разрекламированный юбилей русского флота проходил на фоне все возрастающего накала в отношениях между Россией и Украиной по вопросу черноморского флота и судьбы полуострова Крым. И если выпуск журнала *Андрей* 1994 г. и был частично специальным выпуском для русских моряков, то в этом номере редакторы умело скомбинировали сексуальную и политическую фантазию, в которой вождь женское тело служило посредником в мужском мире броненосца, а столь желанный Крым не надо было ни с кем делить.

РУССКИМ ДУХОМ ПАХНЕТ

Фантазия на тему непререкаемого господства над такой ценной территорией, как Крым, должна быть очень близка сердцу редакторов *Андрея* — ведь национализм журнала не в последнюю очередь может рассматриваться как явление стратегического порядка, как результат борьбы за место на рынке сбыта с русскоязычным *Плейбоем*. С момента своего выхода в России *Плейбой* отказался уступить какую-либо «русскую территорию» своим местным конкурентам. Первый номер журнала лета 1995 г. представлял собой неприкрытую попытку соединения двух, на первый взгляд в корне отличных, культурных традиций: внимание к изысканному и утонченному соединилось с наиболее узнаваемыми русскими культурными символами на страницах обложки журнала. Российский *Плейбой* заявил о своей гибридной культуре иллюстрацией, восходящей к ранней, возможно 1920 г., советской монете, на которой снопы пшеницы были призваны олицетворять сельское хозяйство, а помещенные по обе стороны монеты дымящиеся фабрики, подтверждали идею союза рабочих и крестьян. Восходящее солнце у нижнего края монеты и открытая книга у верхнего служили аллюзией на просвещение, принесенное революцией. Но самый центр монеты, там, где обычно помещался зна-

комый ленинский профиль, на обложке журнала был заполнен развернутым также в профиль зайчиком в «бабочке» — эмблемой *Плейбоя*. В том же номере была напечатана карикатура, изображающая юношей и мужчин с заячьими ушками, счастливо марширующих по Красной площади и несущих транспаранты с плейбоевским зайчиком (*Плейбой*, 1995, № 1, 50). Редакторы журнала утверждали, что *Плейбой* всегда присутствовал в советской жизни, по крайней мере в жизни советской элиты. В интервью под заголовком «*Виктор Сухарев: В моем багаже*» личный переводчик четырех советских политических лидеров признавался, что всегда привозил журнал с собой из своих заграничных поездок (Липницкий, 1995, 97).

Артем Троицкий, редактор русского издания *Плейбоя*, рассуждая об отношении России и журнала в течение нескольких десятилетий, уделил особое внимание репрезентации России на страницах журнала. Троицкий начал свою статью с интересной параллели: Хью Хефнер основал свой журнал в 1953 г. — в год смерти Сталина. Василий Аксенов подтвердил это совпадение в более прямой и откровенной форме: «Новая эра двадцатого века провозгласила: “Тиран умер, да здравствует *Playboy!*”» (Троицкий, 1995, 94; Аксенов, 1995, 56). Журнал утверждает, что косвенным образом повлиял на послабление моральных норм в России, постоянно настаивая на том, что проповедуемая журналом этика сексуальной свободы — естественный союзник в борьбе против тоталитарного строя. Даже тогда, когда *Плейбой* предлагает российскому читателю лучшее из того, чем располагает западный секс (включая фотографии обнаженных Урсулы Андерс, Бо Дерек, Синди Кроуфорд и Ким Бейсингер), журнал тем не менее настаивает на своих российских корнях. Парад обнаженных западных звезд в конце концов прерывается фотографией Натальи Негоды, которую журнал объявляет «символом советской сексуальной революции» в связи с тем, что Негода впервые позировала для американского *Плейбоя* еще в 1989 г. (Троицкий, 1995, 33).

Однако после того как журнал прочно обосновался на российском рынке, издателей перестал волновать вопрос о *русском* настрое журнала: в середине 1990-х в западное по существу содержание журнала российские материалы включались лишь в виде тонкой вкладки. Напротив, *Андрей*, насколько это возможно, акцентировал свою сосредоточенность на «русском духе», обращаясь с русской и советской историей как с бесхозной кладовой эротического национализма. На шести страницах шестого номера жур-

нала изображены, по всей вероятности, американские порномоде-ли в окружении аппаратуры русской/советской космической про-граммы. Так журнал пытается «компенсировать» использование «импортных» красоток, подчеркивая достижения той единствен-ной отрасли российской промышленности, которая до сих пор является неиссякаемым источником национальной гордости. В следующем номере журнала реклама лекарства «Анджон» строит-ся на очевидной связи между имиджем запускаемой ракеты и муж-ской потенцией: средства от импотенции помещены рядом с раке-той в форме шприца, отправляющейся прямо в космос. Подпись к рекламе объясняет, что англоговорящие модели выкрикивают толь-ко одно русское слово — «Гагарин»: Джессика, Келли и Кристи с эн-тузиазмом поддержали идею космического полета. «Га-га-рин!» — весело кричали они, натягивая скафандры советских супергероев на свои американские груди (Кондаков, 1995, 10).

А в подборке, предложенной Василием Аксеновым, но явно инспирированной рубрикой «*Девушки первой десятки*», появив-шейся впервые в *Плейбое*, в седьмом номере журнала под заглави-ем «*Девушки МГУ*» напечатаны фотографии обнаженных девушек, представляющих различные факультеты Московского государ-ственного университета.

Журналы типа *Андрей*, главной экономической задачей которо-го является продажа сексуальных имиджей русских женщин рус-ским мужчинам, в конце концов возвращаются к основным темам сегодняшнего сексуального дискурса в России: как и где прими-ряются в сегодняшней России секс и рынок? Если сексуальные метафоры характеризуют «свободный обмен товаров и идей» меж-ду Россией и Западом (собственно источником как рынка сбыта, так и самих жанров порнографии), то как можно утихомирить страсти, спровоцированные коммерциализацией секса, — вторже-ние в частную жизнь, распространение угрожающих русскому духу идей западной роскоши и потенции? *Андрей* указывает верное на-правление в преодолении этой боязни уже самим фактом опреде-ления этих тем, постоянным возвратом к ним на страницах жур-нала в преднамеренно ироническом, снимающем напряжение тоне. Седьмой номер журнала открывается материалом, в котором экзотические ландшафты перестают функционировать как «угро-за» экспорта русских женщин, а решают знакомую проблему ско-рее в комедийном плане: светловолосая модель сфотографирова-на на фоне разных пейзажей Каира и египетской пустыни (а также на разных этапах раздевания). Фотографии помещены под заго-

ловком: «*Сто верблюдов за русскую барышню*». Капиталистический обмен заменен восточной сделкой, а из комментария следует, что цена на русскую девушку скорее мифическая, чем практическая: «Сто верблюдов отправили своим ходом друзьям в Ташкент. Доберутся ли?» (Вейслер, 1995, 50). Фотозаставка построена на разделяемом чувстве экзотики, а также на основе пародии, возникающей на стыке разноплановых культурных китчей. На фотографии во весь разворот — голая русская красавица, а в углу — закутанная в одежды фигурка арабской женщины на тракторе. Контраст между символом «отсталости» — верблюдом и символом «прогресса» — трактором относит читателя к известным соцреалистическим мифам о борьбе советской власти за цивилизацию Средней Азии, но туда, куда СССР принес коммунизм, *Андрей* сегодня стремится принести сексуальную свободу. Сопровождает фотографию следующий текст:

Журнал для мужчин приветствовали немногие освобожденные женщины с Востока. В качестве солидарности с нашей борьбой за красоту тела одна из них даже забралась на трактор — символ прогресса (Вейслер, 1995, 49) .

Восточный пейзаж позволяет России вновь ощутить миссионерскую роль, знакомую ей еще по дням бытования коммунистического интернационализма, одновременно позволяя высказать обеспокоенность возможностью превращения страны в источник «сексуально-го» экспорта. В этом контексте Россия берет на себя роль Запада, сексуально просвещающего загадочный угнетенный Восток.

На повестке дня журнала *Андрей* стоит главная идеологическая задача по компенсации травмы, связанной с утратой позиций мирового господства, травмой, переживаемой не только всей нацией, но и, в особенности, русским мужчиной. Секс становится той магической формулой, которая необходима русскому мужчине для того, чтобы справиться с перенесенным шоком. На двух страницах в седьмом выпуске журнала помещена фотозаставка, изображающая полураздетых женщин в форме СС на фоне Чернобыльской атомной станции, переосмысляющая таким образом национальную трагедию в имиджах с садомазохистской символикой. Обложка третьего номера за 1992 г. представлена фотографией, на которой женщина с автоматом в руках и гранатой позирует перед камерой в одном армейском шлеме и личном нагрудном знаке. Рубрика, которую открывает эта фотография, называется «*Конверсия*»; она рассказывает о состоянии шока и растерянности, выз-

ванном переориентацией военно-промышленных комплексов в условиях рыночной экономики. Автор этой рубрики, Алексей Вейслер, предоставляет читателям фотографии обнаженной грудистой Натальи Сергеевой, претендующей на роль офицера русской армии. Служба в армии, по утверждению автора, не лишила ее «истинно женских» качеств. Владеющая с одинаковым успехом как винтовкой, так и сковородой, Наталья поняла, что пришел ее черед покинуть армию. Решение ее обусловлено как личными, так и политическими мотивами: она видит проблемы, приведшие к изменению в стране вследствие поражения политики «холодной войны», в то же время ей уже пора иметь семью. На последней фотографии Наталья стоит на пляже, повернувшись к камере спиной. Фотография сопровождается следующим текстом:

Гвардии сержант Наташа выйдет из кипящего железа войны, как Афродита из пены... Преображенная и ожидающая счастья. Храните ее фотографии, как хранят сувениры, сделанные из корпусов межконтинентальных ракет. В память о конверсии. (Вейслер 1992, 82)

В таком контексте перемены в жизни военно-промышленных комплексов приобретают прекрасное и почти мистическое значение, так как оказываются связанными с зарождением новой жизни. В то же время атрибуты военной мощи (оружие, камуфляж, армейские сапоги) превращаются в сексуальные символы. В новой жизни милитаризм уступает место порнографии.

Аналогичный процесс можно наблюдать в, мягко говоря, «странной» рубрике «*Чечня: о чем молчат солдаты*», представленной в седьмом выпуске журнала. Здесь фотографии русских солдат в их повседневной реальности перемежаются с эротическими картинками их сексуальных фантазий, изображающих, например, восточных женщин в кожаных корсетах и щелкающих хлыстами. Или другой пример: прыщеватый российский солдатик рассеянно уткнулся себе под ноги, окруженный голыми женщинами, оглаживающими фаллической формы хлеб. Фотографии сопровождаются стихами о невысказанных солдатских страстях. Две последние страницы журнала изображают стреляющих бойцов, в то время как стихи, помещенные здесь же, говорят об их возвращении домой к их «девушкам-соседкам с их упругими задками, которых они по возвращении будут иметь и так и этак, а они (эти девушки) будут рожать им детей». Обнаженная модель, помещенная рядом с этим текстом, действительно выглядит значительно более «мирной», чем предыдущие фотографии. И вполне подходит на роль

«девушки-соседки», а ружье, которое она продолжает держать, — всего лишь пластиковая игрушка. Таким образом, российский солдат изображается мечтающим поскорее вернуться к мирной жизни, в которой война отступает в область фантазии, а настоящей реальностью становится желанная женщина, хотя журнал и предлагает своему читателю в качестве эротического стимулятора и то и другое.

Созданный журналом мир мужской силы и национальной гордости позволяет *Андрею* превратить оскорбительные для российского сознания моменты постсоветской действительности в постоянный источник эротической фантазии. Если представить себе все происходящее как постмодернистскую версию библейской притчи о перековке мечей на орала, то ружье, которым с такой нерешительностью размахивает российский солдат, ассоциируется скорее с фаллосом и превращается в длинную розовую пластиковую секс-игрушку, ласкаемую пышной русской красавицей. И хотя Чечня продолжает оставаться внутренним врагом, *Андрей* стремится подчеркнуть особую роль, выполняемую журналом в жизни своего постсоветского читателя: поднять слабеющий дух русских мужчин, со всех сторон окруженных враждебными силами.

Оксана Забужко

ГЕНДЕРНАЯ СТРУКТУРА УКРАИНСКОГО КОЛОНИАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ: К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА*

До настоящего времени в Украине не было сделано ни единой попытки проанализировать травму нашей колониальной истории в гендерном аспекте. Причин этому слишком много, чтобы их все здесь перечислять; одна из наиочевиднейших — полная, до 90-х гг., «целинность» всякой гендерной тематики, т.е. отсутствие теоретической традиции, элементарных методологических (и даже терминологических) «лесов», на которые можно было бы опереться и которые лишь теперь начинают возводиться, — стало уже банальностью повторять, как нещадно табуировал тоталитаризм все, связанное с «полом»...

Об этом «страхе пола», присущем всем тоталитарным формациям, в XX в. написано много справедливого и несправедливого, начиная с художественных исследований антиутопистов, фокусирующих внимание на тоталитарной регламентации (Е. Замятин) и обобществлении (О. Хаксли, Дж. Оруэлл) сексуальной сферы и кончая психоаналитическими исследованиями, представляющими фашизм как якобы сублимацию репрессированной гомосексуальности. В западной феминистской философии по инерции повелось считать, будто при тоталитарных режимах женское начало «демифологизируется»¹ тем, что якобы «культ вождя не оставляет места для каких-либо иных культов» (С. де Бовуар). Наблюдение

* Фрагмент эссе «Жінка-автор у колоніальній культурі, або Знадоба до української гендерної міфології»; в кн.: Забужко Оксана *Хроніки від Фортінбраса: Вибрана есеїстика 90-х* (К.: Факт; 1999).

Перевод с украинского Виталия Чернецкого.

¹ То бишь женщина «раскрепощается», с нее снимается извечное культурное требование «сексапильности», она сводится к голой мускульной силе мухинской колхозницы...

небезосновательное, однако явно поверхностное, особенно если вспомнить, что даже в самые сумрачные дни «раскрепощения», когда мускульная сила женского рода с угрозой для репродуктивной функции организма «стаханила» либо на поле и у станка, либо на строительстве Беломорканала («Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик», как пелось в уже легендарной частушке), среди женщин — для «внутреннего употребления» партийной элиты — всегда существовала вполне «традиционная» каста, так сказать, советских гетер — наркоматовских секретарш, женщин из «обслуги», позднее, в эпоху загнивающего тоталитаризма или же развитого социализма, — «третьих секретарей» и «культсекторов» в комсомоле, формируемых как «сексуальные объекты» по вполне голливудскому образцу. Так что причин целенаправленной тоталитарной «фобии пола»², последствия которой будут сказываться еще не в одном поколении, эдакой «стратегии оскопления», следовало бы поискать где-нибудь поглубже.

Правда, то общество вообще любило «стирать различия» — между богатыми и бедными, между городом и деревней, между народами и языками, горами и долинами и, соответственно, между мужчиной и женщиной. Стирание различий, заметим, есть процесс, обратный созиданию (библейское «сотворение мира», как мы помним, началось как раз с «установления различия» — между светом и тьмой), и конечный его «пункт назначения», «лимит функции», к которому он стремится, — это тотальное истребление (ибо только смерть равняет всех и вся). Отличия стирались на уровне «наименьшего общего знаменателя»: имущественные — на

² И не только в области духа — целые отрасли промышленности и здравоохранения, как, например, производство контрацептивов, на территории бывшего СССР не смогли развиваться именно потому, что сфера сексуальных взаимоотношений, не будучи идеологически санкционированной, автоматически оказывалась «несуществующей». С этой точки зрения следовало бы переоценить и такую неотъемлемую часть коммунистических типов общества, как «жилищная проблема», проблема далеко не только экономическая или даже культурологическая, связанная с чисто пенитенциарной концепцией гуманитарного пространства, где физиологические людские потребности очерчиваются треугольником койка-умывальник-параша, но также недвусмысленно причастная к репрессиям сексуальности. Барак, коммуналка, одна комната для полной семьи с подрастающими детьми самим «проектом» не предусматривает *места* для интимности с той же последовательностью, с которой доведенный до седмидневного «ударный труд» в соединении с собраниями и политзанятиями по окончании рабочего дня не предусматривает для нее физического *времени*.

уровне всеобщего лишения собственности и пауперизации, межкультурные — на уровне варварства (в моргановско-марковом значении как «передкультурного» состояния или, по Ю. Шевелеву, «разинтеллигентчивания» — 1978, 96), межъязыковые — на уровне «суржика»-«трасянки» или формально-русского «нюспика» (новояза), ну а межполовые — на уровне неявного отрицания «пола» как составляющей человеческого бытия и равного превращения мужчин и женщин в рабочий скот³ (вот уж воистину сатанинская пародия на Царство Божие, где «ни элина, ни иудея» и ангелы бесполы!).

В тоталитарном обществе, фашистском ли, коммунистическом ли — неважно, весь идеологически санкционированный «пол» скапливается в милитарных институтах — и в советском, и в нацистском этическом кодексе «настоящего мужчину» из юноши делает армия — НЕ женщина. Достаточно сравнить эту максиму с «философией маскулинности» такого классика «армейской темы», как Э. Хемингуэй, для которого «мужчины без женщин» (наиточнейшая дефиниция армии!), «без облагораживающего влияния женщин» — ситуация онтологически ущербная, увечная для сущностной, родовой «мужественности» в мужчине, чтобы увидеть априорную извращенность вооруженной до зубов тоталитарной «мужественности», в которой весь позитивный потенциал самообъективизации, энергия активно-творческой любви переориентируется внутри «мужского мира» — на свою воинскую часть, «товари-

³ Справедливости ради, однако, следует заметить, что даже в ГУЛАГе окончательное «равенство» так и не было достигнуто — «дототалитарные», патриархальные морально-оценочные стандарты мужского и женского поведения сохраняли свою полную силу, ложась на плечи узников-женщин дополнительным бременем. Как свидетельствует в своих воспоминаниях поляк Г. Герлинг-Грудзинский, в лагере «никому бы и в голову не пришло обвинять молодого парня, который для улучшения своей доли становился любовником старой врачихи, но привлекательная девушка, отдающаяся от голода мерзкому старикану с “хлеборезки”, была, ясное дело, “блядь»» (Герлинг-Грудзинский, 1993, 190). Не исключено, что именно по этой причине история так и не получила из ГУЛАГа стопроцентно достоверных женских показаний: все без исключения мемуары бывших узниц, как только речь заходит о ситуациях сексуальной эксплуатации, полны недоговоренностей, эллипсисов и литот (точно так же после войны в Косове международные правозащитные организации не смогли собрать среди албанских женщин — стыдливых, «благочестивых мусульманок» — информацию о сексуальном насилии сербской армии. — *Примеч.* 1999 г.); эта культурная утрата, как видится, уже невозполнима.

щей по оружию».⁴ Именно это, полагаю, и имел в виду Т. Адорно, когда, рискуя вызвать гнев либералов, ошеломил интеллектуальную элиту Запада чуть ли не самым парадоксальным из своих афоризмов: «Тоталитаризм и гомосексуализм неотделимы друг от друга». То обстоятельство, что, пожалуй, никакой другой режим в истории не преследовал «цивильный» гомосексуализм с такой беспощадной жестокостью, как нацистский рейх и СССР, нимало не противоречит наблюдению Адорно: в том-то и дело, что «выломанные» из гомосексуализирующих по своей природе армейских структур «натуральные» гомосексуалы противостояли этим структурам, со всей культивированной внутри этих последних квази-«мужественной» «фаллической гордостью», как единственное правдивое зеркало в комнате, полностью завешанной кривыми, — такое зеркало обычно обречено быть разбитым. И воспетый романтиками революции красноармейский штык, и в течение полувека после войны нацеленная поверх мирной толпы пушка «тридцатьчетверки» на городской площади, «и межконтинентальные ракеты», которые, как помним со школьной скамьи, «на логовище недругов глядят», являются не просто фаллическими символами — как, скажем, кобура с револьвером на поясе, — а в буквальном смысле *половыми органами власти*, этого *Абсолюта мужественности*. Строго говоря, тоталитаризм не тем «демифологизирует» женщину, что мифологизирует Вождя — «отца народов» и одновременно богоподобную персонификацию

⁴ Сошлюсь здесь на фундаментальный труд К. Тевеляйта «*Мужские фантазии*» (Theweleit, 1987—1989), где проанализированы с точки зрения половой психологии мемуары бойцов т.н. «Фрайскорпса» — созданной после Первой мировой войны армии немецких добровольцев, из которой, с приходом Гитлера к власти, сформировалось ядро войск SS. К. Тевеляйт неопровержимо доказывает, что основной константой сексуальности этих доблестных воинов, которых можно считать классическими, «модельными» носителями милитарного сознания тоталитарного типа (а как интересно было бы почитать подобные психоаналитические исследования российских ученых — на материале какой-нибудь Таманской дивизии!), было *отвращение к женщинам*. «В этих кругах для мужчины было бы немыслимо когда-нибудь быть “серьезно увлеченным” и ухаживать за женщиной своей мечты. Это было равнозначно смертному приговору», и в порожденной этой субкультурой литературе «автор убил бы такого героя в первом же бою» (Theweleit, 1987, 53). Взамен предметами любви, не раз гордо провозглашаемой, становятся друзья-однополчане, командиры, у командиров — подчиненные, вообще все боевое братство (Theweleit, 1987, 57—63).

маскулинности⁵. Нет, «расколдовывание» женщин от прескриптивной в дототалитарных обществах «женственности» (функции сексуального объекта) в СССР — как и демаскулинизация мужчин — совершалось по другой линии. «Пол» переставал быть атрибутом индивида — он *космизовался*: Женщиной — классическим сексуальным объектом, с постоянной готовностью пассивного эротизма распластанной под Ураном-небом Верховной Власти, удерживающей ее в позе крайнего унижения благодаря неослабевающей эрекции своих милитарных органов (армия, НКВД—КГБ, милиция, военно-промышленный комплекс) — становилась *вся страна*, шестая часть земной тверди — с тенденцией к расширению. Родина, страна вообще во всех уцелевших языковокультурных традициях — «женщина»: Великая Мать, животворящее лоно. Сталинский тоталитаризм (гитлеровский здесь все-таки остановился на полпути!) впервые в истории превратил ее в лоно Великой Блудницы (мать — в шлюху, так что естественно, что русский мат, в основе которого — снятие табу на инцест, стал чуть ли не официальным жаргоном во всех органах власти, от НКВД до партаппарата: они действительно *это* и делали!) — в этой устрашающе грандиозной космогонии *и женщины, и мужчины* низводились до уровня микроорганизмов (какой же пол у микроба?!), бактериальной флоры в необъятной, раскрытой матке Страны⁶.

Начало этому тотальному изнасилованию положила, разумеется, ликвидация частной собственности: сексуально-перверсив-

⁵ В гитлеровской Германии «дети войны» на официальном партийном сленге назывались «подарками фюрера», т.е. фюрер тут — Уран-небо, который, распростершись над женским населением, кропит его сверху оплодотворяющей росой через своих солдат, которые, таким образом, также лишаются собственного пола, превращаясь в функцию его семенников, — ну а коммунизм сталинского образца пошел еще дальше, подняв Вождя на уже совсем немислимую для смертной женщины высоту, и в криминальной практике 1930-х гг. зарегистрированы случаи, когда женщин, имевших неосторожность рассказать на коммунальной кухне, что им снилось, будто они в постели с каким-нибудь членом Политбюро — даже не с Са-мим! — арестовывали «за неэтичные сны о вождях» (Синявский, 1989, 116).

⁶ Между прочим, с этой точки зрения легко определяется и печально известная презумпция виновности советского населения перед властью — когда «был бы человек, а дело найдется», — типологически это не что иное, как *ревность*: мужчины-власти к женщине-стране, которая в принципе может принадлежать *кому угодно* и уже этим априорно *виновна* — каждой своей индивидуальной клеточкой.

ный, растлевающий смысл коммунистического труда как блудодействия с материей достаточно исчерпывающе описал — без какой-либо помощи покойника Фрейда (Фрейду такое и во сне бы не приснилось!), на материале сугубо литературном, российский критик М. Эпштейн (1990, 48—51). И действительно, если труд частнособственнический, интимно-сокровенный был актом многоамно-любовным (обработка земли имеет особенно наглядную сексуальную импликацию: своя земля — супруга, «жена», которую, ухаживая, любовно «засевают» и которая в благодарность щедро «родит»), то труд коллективизированный, обобществленный — это скорее промискуитет или же групповой секс, где общие (все более вялые!) усилия миллионов никогда не насытят бездонную прорву отчужденно-равнодушного лона *ничейной* земли — Великой Блудницы. Ибо в структуре тоталитарного космоса она для нее просто «не партнеры», поверх их муравьиной массы она прямым соотнесением с Государственным Ураном, и единственное возможное последствие этого брака — это то, что «он» допускает «ее» к смертоносным атрибутам своей мужественности. На смену Великой Матери, «Матер Долороза» и всем прочим «материнским мифам» истории встает Родина-Мать с *мечом* (не путать с Девой-Воительницей!), т.е. мать, которая волей Отца призвана *кастрировать*, лишая пола своих детей. Круг замыкается.

Этот, очень поверхностный, экскурс в историю советского «инь» и «янь» будем далее, как в арифметических подсчетах, постоянно «держат в уме», поскольку типологически в целом украинская культура в Украине все еще является (и не скоро перестанет быть), согласно не мной установленному диагнозу и несмотря на все молодецкие «постколониальные» порывы, *украинской советской*, особым колониальным подвидом советской культуры, со всеми, кроме великодержавных, присущими этой последней структурными особенностями, только специфицированными для «местных условий». И тут как раз время припомнить, что на архетипическом уровне «женскость» страны (каждой!), как Световит, имеет несколько противоположно обращенных ипостасей. «Матерью» она смотрит «внутрь себя», тогда как «наружу», для «чужих» (а всякий «чужой» — потенциальный агрессор) выглядит именно «женщиной» — объектом покорения, имплицитно сексуального. Половое насилие армий на завоеванных территориях (зачастую совершенно иррациональное и нелепое как, например, упоминаемый в мемуарах А. Терца-Синявского «*Спокойной ночи*» случай массового изнасилования советскими войсками только что *осво-*

божденных и еще не пришедших в себя от радости узниц немецкого концлагеря, с которыми, как не без цинизма замечает А. Терц, можно было бы договориться и без насилия), такое насилие всегда имеет скрытый ритуальный смысл: победитель, овладевая чужестранкой, тем самым символически утверждает свое право собственности на «репрезентируемую» ею территорию, пусть бы это была и территория концлагеря... Это чудесно схвачено еще Мопассаном: его проститутки-патриотки, которые, отдаваясь прусским офицерам, отказывались при этом идентифицировать себя с «женщинами Франции», предпочитая самоопределяться формулой «Я не женщина, я дрянь» («Мадемуазель Фифи»), — это действительно наилучшее и безошибочное доказательство метафизической *непокоренности* Франции, сколько бы ни топтали захватчики ее физическое «тело».

Соответственно, сознание колониального, т.е. все-таки покоренного, униженного и безраздельно перешедшего в чужое подчинение, народа четко поляризуется по «мужской» и «женской» линиям. Женщине для сохранения своего национального достоинства в колониальных условиях в принципе вполне достаточно исключить тех, кого она воспринимает как завоевателей, из числа потенциальных сексуальных партнеров (героини Мопассана как раз и спасают собственное *национальное* достоинство — ценой *женского*). Как «для других», так и «для себя» она символично является *страной завоевания*, и недаром сквозной темой украинского фольклора эпохи турецко-татарского нашествия является трагедия «дівки-бранки», предназначенной для гаремных утех врага: Маруся Богуславка освобождает земляков из темницы, но вернуться домой отказывается не потому, что отдает предпочтение «роскоші турецькій» и «лакомству нещасному» (за ее поступок ее в любом случае ожидает не «лакомство»!), а потому, что «потурчившись, побусурменившись» (комплекс вины!), автоматически утратила в собственных глазах право принадлежать «краю веселому, миру хрещеному», сама себя лишила групповой (этнической, конфессиональной — сегодня мы бы сказали «национальной») идентичности, НЕ приобретя взамен новой (ведь и «роковой день Великдень» [Пасху] помнит, и вообще остается «дівкою-бранкою»!). В определенном смысле здесь срабатывает то же самое «Я дрянь» — отброс, аутсайдер, отсеченный член сообщества. В той, еще «не колонизованной» системе ценностей женщина, отдавшись завоевателю, начинает воспринимать свое тело как профанное, «изъятое» из системы мифологизирующих этнокультурных кодов. Стро-

го говоря, «колониальный» диагноз Украине — и «телом» (политически, административно, культурно-институционно), и, что важнее, «духом» (мировоззренчески) — возможно поставить, лишь начиная с XIX в., когда николаевское размножение по всему краю московских гарнизонов повлекло за собой массовую «катеринизацию» сельских, т.е. воспитанных в духе архаично-патриархальной (и — этнокультурно цементирующей!) этики, женщин. Многотысячная «армия» «Катерин», т.е. «покрыток»⁷ «по любви», в тогдашних украинских селах — наивернейший индикатор радикальной перемены в структуре национального «инь»: Украина-женщина — своего завоевателя *полюбила и приняла*⁸.

Гораздо сложнее в колониальной культуре дело обстоит с мужским, «мужественным» началом. Вообще, даже подходя с чисто антропологической стороны, любые формы социального унижения всегда задевают мужчин куда глубже и более непосредственно, чем женщин, — хотя бы по той простой причине, что для женщины работа и семья являются параллельными (и потому обычно конкурентными, если не взаимоисключающими) способами личностной реализации, в то время как для мужчины они неразрыв-

⁷ Украинское слово «покрытка» (произносится «покрытка») переводится как «девушка, лишившаяся невинности, родившая ребенка» (см. *Словарь украинского языка* Б. Гринченко, сравнимый по значению со словарем Даля для русского). — *Примеч. пер.*

⁸ Безмерно поучительной — к сожалению, до сих пор даже не затронутой — темой для историков и специалистов по социальной психологии могло бы стать сексуальное поведение наших женщин на оккупированных немцами территориях во время Второй мировой войны. Не знаю, было ли где-то подсчитано хотя бы приблизительное число т.н. «немецких овчарок», но, судя хотя бы по полным отчаяния дневниковым записям А. Довженко, это явление достигло ошеломляющих, действительно массовых масштабов. За отсутствием эмпирических данных можно только догадываться, что здесь сыграло решающую роль — то ли что немецкие войска вначале были приняты населением как чуть ли не «освободители», или уже выработанный тоталитарно-колониальный навык «маточной флоры» подчиняться давлению всякого вооруженного «фаллоса», — однако интересное свидетельство дает в своих очерках И. Качуровский: «Я не знаю, был ли где-то в Украине случай — по крайней мере, я о таком не слышал, — чтобы сельская девушка или женщина, ради выгоды или по любви, пошла с немецким офицером. Зато в городах девушки и женщины будто посходили с ума. Каждая дамочка, чей муж не вернулся с фронта, а были такие, что и при мужьях, искала себе немца, а если не было, то хотя бы мадьяра» (1966, 97). Так что на этот раз *традиционно-культурное* (архаичное) женское сознание все-таки классифицировало оккупанта как *чужого* — здесь и пролегает грань между «колонией» и «оккупированной территорией».

но взаимосвязаны (настолько, что карьера является также непременной составной частью матримониальной привлекательности). Говоря проще, если для женщины кухня и детская остаются ее неотъемлемым «резервным плацдармом» для отступления, то мужчине буквально «отступать некуда» — тем более уязвимым и зависимым он оказывается перед общественной атмосферой «снаружи». Как иронично-проницательно заметил Ф. С. Фицджеральд в романе «*Ночь нежна*», «взрослому арийцу унижение никогда не может идти на пользу. Если он прощает, это значит, что оно вросло в его жизнь, что он отождествил себя с причиной своей опозоренности». Так что нынешние, уже достаточно банализированные литературой и масс-медиа ламентации на постсоветских широтах, что коммунизм, дескать, «уничтожил мужчин», не должны нас удивлять...

Состояние же мужчины покоренного, «второсортного» народа оказывается еще на порядок более сложным и драматичным. Проблема национальной и сексуальной идентичности⁹ для него намного более запутанна, чем для женщины, уже потому, что его самоидентификация с собственной страной не прямая, как у нее, а опосредованная инополостью: это *ему* прежде всего она дается как Мать. Одновременно его неизбежная интегрированность в организованные метрополией социальные структуры, предназначенные этой Матерью овладевать (например, служба в имперской армии), закономерно двоит в его сознании ее образ: на Мать, с одной стороны, и униженную (сексуально порабощенную) Женщину, с другой¹⁰. То есть на него заранее — еще пока «дойдет до сознания» в онтогенезе духа — уготована ловушка экзистенциаль-

⁹ Опасаясь, что такое словосочетание — «национальная и сексуальная идентичность» — может показаться излишне эксцентричным, напомним, чтобы далее к этой теме не возвращаться: и национальное, и индивидуально-эротическое чувство исходит из одного и того же источника (недаром же и описываются одним и тем же недифференцированным термином — «любовь»). Возможно, наиболее удачно это заметил русский философ И. Ильин: «Только созерцающая любовь открывает нам *чужую душу* для верного, проникновенного общения, для взаимного понимания, для дружбы, для брака, для воспитания детей... Только созерцающая любовь открывает человеку его *родину*, т.е. его духовную связь с родным народом, его национальную принадлежность, его душевное и духовное лоно на земле... Не случайно, что люди ненависти, современные революционеры, оказываются интернационалистами: мертвые в любви, они лишены и родины» (Ильин, 1991, 399).

¹⁰ Мимходом замечу, что действительный, неформальный выход Украины из состава СССР — из колониального состояния — засвидетельствовало воз-

но-напряженного выбора между двумя ролевыми моделями, которые со временем устанавливаются в колониальной культуре на правах альтернативных стереотипов.

Во-первых, колониальный мужчина может согласиться с «женскостью» земли своего рождения как сексуально не табуированной, занять по отношению к ней «внешнюю» позицию. В итоге возникает хорошо известный из литературы (в том числе и русской) феномен «служивых хохлов», Шевченковых «землячків з циновими гудзиками» [землячков с оловянными пуговицами], классических унтер-офицеров и сержантов украинской литературы: от датированного 80-ми гг. минувшего столетия «ундер-цера» Сидора Макаровича Притыки из одноименного рассказа Т. Зинькивского, который украинским детям следовало бы изучать в школе, до, уже в 1960-е, не менее колоритных «отпускников» Григора Тютюнника, которые появляются в родном селе, чтобы похвалиться: «А вот в нашей часті, де я в даний момент служу, у кожного молодшого командира, як і в офіцерів, три форми: парадна, вихідна й робоча» («Сын приехал»). Условно говоря, это *архетип сержанта*, причем «сержантство» как тип мужской колониальной психологии, конечно же, не ограничивается рамками армии... Заметим, что эта истовая, чуть ли не сладострастная жажда «служить», иерархически подчиняясь вышестоящему, то бишь «внешнему», постороннему мужскому началу («начальнику»!), является в основе своей достаточно немаскулинной в классическом смысле, чтобы не сказать гомосексуальной. Ярче всего это видно на примере Гоголя, у которого эта страсть к «службе» — само собой разумеется, «государственной», какой же еще, так что даже по поводу собственного литературного творчества автор «*Мертвых душ*» униженно оправдывался: мол, это ведь тоже «служба»¹¹! — приоб-

никновение такой организации, как Союз солдатских матерей, энергичная общественная деятельность которого направлялась на возвращение украинских воинов в Украину. Этой акцией символическая Мать восстанавливала свое материнское достоинство, отказываясь далее показываться своим сыновьям «снаружи», в эротично-женской ипостаси.

¹¹ «Я увидел ясно, что... следует хорошо объяснить прежде самому себе цель сочиненья своего, его существенную полезность и необходимость... чтобы убедился сам автор, что, творя творенье свое, он исполняет именно тот долг, для которого он призван на землю... и что, исполняя его, он *служит в то же самое время так же государству своему, как бы он действительно находился в государственной службе. Мысль о службе у меня никогда не пропала*» (Гоголь, 1992, 291. Курсив мой. — О. З.). Неудивительно, что с такой установкой «*Мертвые души*» так и не были дописаны.

ретала просто-таки навязчиво-маниакальный характер и пренатурально сочеталась с недвусмысленным *страхом перед женщиной*: ведьмой, утопленницей, жестокой красавицей, словом, грозной и таинственной Природой, которая, как только герой пытается ее «оседлать», как Хома Брут сотнику дочь, оборачивается против него карающей силой. Именно Гоголя следовало бы считать в украинской культуре «отцом», т.е. выразителем и промотором, этого архетипа.

Другой, полярный архетип был с не меньшей художественной силой артикулирован его современником — Шевченко. Этот второй выбор украинского мужчины — по понятным причинам, значительно менее популярный! — остаться «на стороне матери» (по наивной, но по существу очень точной формулой Василя Симоненко, «з матір'ю на самоті» [с матерью наедине]), одновременно в полной мере отдавая себе отчет в ее сексуальной порабощенности с точки зрения собственно мужского, «мужественного» достоинства, представляется ничуть не более здоровым, ибо за ним определено просматривается своеобразный «*архетип байстрюка*», внебрачного сына — неотвратимое сыновнее неуважение к матери, а следовательно, eo ipso, к женщине вообще. Не случайно тот самый Григор Тютюнник, чуть ли не единственный наш «подсоветский» прозаик, который смог без народнической слащавой сентиментальности, жестоко и безжалостно показать разрушение традиционной крестьянской этнокультуры как процесс саморазложения, «новой катеринизации»¹², начинал с «*Сумерек*», изначально написанных, между прочим, по-русски, то бишь с позиции «извне!» — с образа увиденной глазами мальчика матери, отдающей чужому, таким образом сразу найдя ключ к своей главной теме.

Именно это «родовое», генетическое неуважение в свое время точно уловила в сочинениях украинских литераторов-мужчин, от Стефаника и Винниченко до поэтов-«пражан», поэтесса Олена

¹² Сравнительный анализ двух эпохальных для украинской истории «Катерин» — Шевченко и Тютюнника («*Отдавали Катрю*») — мог бы дать весьма плодотворный материал для раздумий также и социологам, желающим проследить, как сужалась, таяла на протяжении столетия социальная база украинства: то, что новый соблазнитель — инженер с Донбасса, — в отличие от николаевского офицера-«москаля», остается в тексте «национально беспаспортным» и в принципе вполне может быть этнически украинцем, никак не делает его «своим» на традиционной народной свадьбе, т.е. отпадение от «национального тела» происходит не по «кровному» — по социальному (профессиональному, образовательному и т.д.) признаку.

Телига. Ее интереснейшая статья 1935 г. «*Якими нас прагнете?*» [«Какими нас хотите видеть?»] затронула ряд весьма щекотливых вопросов, которые на десятилетия так и зависли в украинской культуре без ответа, даром что автор сама попыталась их закрыть ответом с узких, националистическо-партийных позиций. Главное — и тут ее интуиция художника, к счастью, взяла верх над «партийной» программностью взглядов — О. Телигу уже определенно стесняло то обстоятельство, что «женщина в каждой нации является такой, какой ее желает мужчина» (Телига, 1977, 77). Правда, в своем феминизме она не пошла настолько далеко, чтобы поставить под сомнение сам принудительный модус такой зависимости, ее возмущало только то, *какой именно* «желает» (характерна непроизвольная сексуальная импликация оборота!) свою женщину украинский мужчина, отсюда и своеобразный «социальный заказ»: не желайте нас такими и такими, а желайте — вот какими (кивок в сторону англосаксонских и скандинавских литератур), и упреки авторам-мужчинам за монотонную галерею «рабынь» и «вампов» (ибо «вамп», собственно, та же рабыня [сексуальная], только, так сказать, «остраненная») — мол, другую украинскую женщину они принципиально не способны разглядеть... Но в этом, как видим, не их вина — это «родовое клеймо» их украинства, и нужен гений не только художественный, но и, что случается еще реже, этический, чтоб, как Шевченко, начав (в «*Катерине*») с осознания своей Матери как обманутой московской «покрытки», все-таки, разрываясь от душевной муки, любить ее «щирим сердцем» [всею душой]. «*Ломка*» П. Тычины, чья художественная гениальность не подлежит сомнению, началась не с «*Партія веде*» [«Партия ведет»] и даже не со справедливо замеченной М. Коцюбинской дегуманизации человека в стихах начала 1920-х, а еще ранее, с прощания со Скорбной Матерью, «пренепорочною Марією-Украиной — и приветствия «жони відважної, діви гріховної» [жены отважной, девы греховной], «нагої — без одежі, без прикрас» [нагой — без одежды, без украшений], которая на вопрос «Чия ж ти така?» [чья же ты такая?] отвечает с бесстыдной улыбкой: «усіх, твоя» [всех, твоя] («*Мадонно моя...*», 1920). Здесь уже чистая колонизация позиции согласно «сержантским» принципам: превращение Матери в Великую Блудницу (читай — снятие табу на инцест), после которого разве что и оставалось «нам свое робити» [нам свое делать] — «цілувати пантофлю папи» (Сталина) и поступать на верную, до конца дней, государственную службу соцреалистической доктрине.

Напротив, с другой стороны баррикад современник (и зядлый оппонент) Тычины Е. Маланюк демонстрирует ярко выраженную одержимость «*комплексом байстрюка*». В отличие от советского «сержанта», который это групповое изнасилование Матери, «промискуизацию» национального «инь» с извращенческим восторгом самоунижения «славить, співає», «байстрюк» предстает «разгневанным молодым человеком», исполненным против Матери (читай: Женщины) кипучего изобличительного пафоса: и удел ее вечный — ясыр, и тело ее «отруене мертвотою душі» [отравлено мертвостью души], и вообще, никто ее в истории и не насиловал, «давала кожному сама» (sic!!!). Как видим, символичная мужская оппозиция «Шевченко—Гоголь» в XX столетии дублируется уже в гротескно заостренной, окончательно лишенной каких-либо признаков любви форме...

Кстати, классическим с точки зрения колониальной психологии феноменом является весьма своеобразный, создаваемый украинскими мужчинами в течение чуть ли не целого столетия (от композитора Д. Сичинского до романиста П. Загребельного) культ Роксоланы — женщины безусловно выдающейся, по всем признакам типично «ренессансной» личности (которая вряд ли бы имела шансы в то время проявить себя так ярко в Украине), — однако, право же, трудно представить себе, чтобы какой-либо самовластный народ впадал в приступы патриотической гордости от того, что его дочь украшала чужие гаремы. А целый культ строится именно на этом: на любви султана («вышестоящего»?) к «нашей Насте из Рогатина», в то время как собственно политическая карьера Анастасии Лисовской — дипломата, реформатора и интриганки, надо полагать, не худшей, чем какая-нибудь Екатерина Медичи — остается как бы «за кадром», как малосущественная для культа¹³. Факт, что женщина, которая «отходит» от национального тела, чтобы обслуживать иноэтничный генофонд, может идеализироваться чуть ли не как модель национальной женственности, наиболее убедительно доказывает, что это «тело» себе не принадлежит. Бессильная мужественность фетишизирует не столько женственность, которой овладел чужеземец, сколько — опосредованно — именно эту «чужеземную» силу. Отсюда — один

¹³ Это воистину клинический комплекс неполноценности — когда привлекательность «своей» женщины для чужеземцев автоматически повышает в глазах мужчины как ее собственный сексуальный статус, так и, *eo ipso*, статус репрезентируемого ею «материнского» сообщества.

шаг до того, что можно было бы назвать «синдромом Аврама в Египте»¹⁴, — до скрытого (пусть только психологического) сутенерства («дабы мне хорошо было ради тебя»), передачи женщины для сексуальных услуг своему «вышестоящему». Этот мотив является сквозным как символ сугубо мужской версии порабощения в драматургии самой выдающейся из наших женщин-писательниц — Леси Украинки¹⁵, и — что особенно пикантно — до появления украинских феминистских исследований мужская критика решительно пропускала его мимо ушей¹⁶.

Словом, хоть «сержант», хоть «байстрюк», — в колониальном сознании «женское» задано мужчине как нечто априорно порочное, ущербное. И не ей он противопоставляется своим полом — выражаясь феминистским сленгом, не она является для него *Другим*, благодаря которому и возможно осознание мужчиной своей гендерной идентичности, — не ей, а прежде всего «чужой» *победо-*

¹⁴ «Когда же он приблизился к Египту, то сказал Саре, жене своей: вот, я знаю, что ты женщина, прекрасная видом; и когда Египтяне увидят тебя, то скажут: это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых; скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя. И было, когда пришел Аврам в Египет, Египтяне увидели, что она женщина весьма красивая; увидели ее и вельможи фараоновы и похвалили ее фараону; и взята была она в дом фараонов. И Авраму хорошо было ради нее; и был у него мелкий и крупный скот и ослы, и рабы и рабыни, и лошади и верблюды» (*Быт* 12: 11—16).

¹⁵ Так, в «*Боярыне*» Степан просит Оксану выйти поприветствовать думного дьяка и позволить ему поцеловать себя, а когда она возмущенно отказывается, прибегает к своеобразному моральному шантажу: «Ось ти млієш / з огиди, що тебе якийсь там дід / торкне губами, а як я повинен / “холопом Стьопкою” себе взивати / та руки цілувати, як невільник, / то се нічого?» [Вот ты теряешь сознание от омерзения, что к тебе какой-то там дед прикоснется губами, а как я вынужден «холопом Степкой» себя называть, и руки целовать, как невольник, то это ничего?]; подобным образом в «*Каменном властелине*» духовное падение Дон Жуана, потеря им себя начинается с того момента, когда он принимает из рук Долорес королевский декрет об отмене своего изгнания, зная, что его бывшая суженая «за декрет цей тілом заплатила»; в «*Оргии*» же Антей, поставленный перед трагической альтернативой колониального мужчины — видеть свою супругу на ложе завоевателя или погибнуть вместе с ней, — выбирает смерть, обращаясь напоследок к коллегам и ученикам: «Товариші, даю вам добрий приклад» [Друзья, даю вам хороший пример], — похоже, что иного выбора — того, при котором можно жить, сохранив свою гендерную идентичность — империя мужчинам покоренных народов не оставляет...

¹⁶ Первым его заметил канадский исследователь Р. Веретельник. См.: *Weretelnyk*, 1989, 9.

носной (это главное!) «мужественности». Жажда стать ровень с этой последней нередко порождает у колониальных мужчин то, что можно было бы назвать «комплексом Алексея Разумовского» или гоголевского Андрия: «овладеть императрицей» или же прекрасной полячкой, сексуально утвердиться над женщиной вышестоящего¹⁷. Но на этом пути — избавления от унижительного статуса собственного «янь» посредством завоевательского «инь» — нашего «сержанта» или «байстрюка» ожидает то же самое, что и Андрия в покоях панночки¹⁸. В противоположность тому, как для победителя сексуальное овладение женщинами покоренной страны утверждает его собственно-маскулинное право на нее, при обратном соотношении полов мужчина «побеждает» только как «либидо», но НЕ символически. То есть в результате — никуда не денешься — он остается-таки покоренным, ибо в традиционной патриархальной культуре, в противовес женщине, которая «только пол», мужчина *ab definitio* и «пол», и «человек». Соответственно, «половинная» (альковная) победа неизбежно низводит его к «женскому положению» (отдадим должное художественной проницательности Гоголя!).

Подводя итоги, можно сказать, что колониальные «янь» и «инь» трагически и безнадежно размежеваны чужим вторжением¹⁹,

¹⁷ Этот «поиск идеала женщины среди чужих» первой заметила у украинских литераторов опять-таки О. Телига, хоть и не стала его комментировать. См.: Телига, 1977, 68. Примечательно, что и у М. Хвильевого, поставленного ею в пример истинно мужского, «скандинавского» уважения к персонажам-женщинам, «блестящая Аглая» (Телига, 1977, 76), которая направляет украинского мужчину на путь украинского [sic!] национализма, не кто иная, как русская!

¹⁸ «Дочь воеводы смело подошла к нему, надела ему на голову свою блистательную диадему, повесила на губы ему серьги и накинула на него кисейную прозрачную шемизетку с фестонами, вышитыми золотом. Она убирала его и делала с ним тысячу разных глупостей...» Как минимум подозрительным является эта трансвестия, в итоге которой казак оказывается немужчиной!

¹⁹ Впервые эту фундаментальную характеристику украинской гендерной картины мира заметил, анализируя созданный Шевченко миф Украины, Г. Грабович: «Глубинная структура, которая раскрывается в движении сюжета, показывает мир, расколотый надвое, мир фиксированной асимметрии, без какой-либо надежды на примирение. Проклятие этого мира состоит в непримиримом противостоянии мужской и женской сторон, в невозможности их объединения для дальнейшего продолжения рода и развития» (Грабович, 1991, 68—69). Проблема, однако, как видим, выходит далеко за пределы шевченковедения...

а поскольку при этом еще и сохраняется инерционный гнет «ролевых моделей» патриархальной культуры (той, где «люди — только пол мужской») и ко всему этому добавляется тоталитарный комплекс кастрированного пола, то в результате и создается противоестественная «амальгама» нерушимо забетонированного «целомудрия»: малейшие проявления гендерной откровенности — хоть с «мужской», хоть с «женской» стороны (хотя в большей степени, разумеется, с последней!) — производят буквально эффект взрыва...

«Наибольшее презрение, наглость и агрессивность по отношению к женщинам демонстрируют те, кто не уверен в своих мужских достоинствах», — справедливо заметила С. де Бовуар (1994, 1, 37). А меньше всего уверенности «в своих мужских достоинствах», добавим мы, демонстрирует сын покоренного народа; подобное подозрение, что «аффектация брутальности против “слабого пола” у украинских авторов вызвана желанием самооправдания из-за недостатка мужской брутальности там, где ее действительно нужно проявлять», возникало уже у О. Телиги (1977, 72—73). Ничьей вины тут нет; есть разыгранная на подмостках истории двухсотлетняя драма, в которой чуть ли не единственным для мужчины несомненным способом утвердить как свое национальное, так и, *eo ipso*, гендерное и сексуальное достоинство, т.е. свою мужскую *целостность*, было выйти на защиту Матери наперекор чужой «фаллической» (вооруженной) силе, — по сути, двухсотлетняя *безостановочная* война за право «мужественности», война, утраты в которой не исчислены, да, пожалуй, и неисчислимы. «Никто из моих знакомых диссидентов, даже украинцев (не говоря уже про остальных), никогда не слышал, что в 1961 году в одной только Львовской области были приговорены к расстрелу [по политическим статьям. — О. З.] сорок человек», — пишет, например, в своих воспоминаниях бывший советский диссидент М. Хейфец. «...Тихо и без вести гибли за родину рабочие и крестьяне, веря, что где-то что-то прорастет из их крови...» (Хейфец, 1984, 202). Гибли не просто рабочие и крестьяне — гибли *мужчины*, возвращая себе целостность «национального пола». Не знаю, насколько документально подтверждены сообщения, слышанные мной из уст историков о том, что якобы в битве под Крутами взятые московскими большевиками в плен украинские юноши были перед расстрелом кастри-

рованы²⁰. Зная нравы той власти, вскоре столь пышно расцветшие в следственных тюрьмах НКВД, поверить в это нетрудно, но если это действительно так, то символически колонизирующее значение этой акции можно сравнить разве что с вышеупомянутой «катеринизацией» украинских женщин за сто лет до того. Колонизатор «берет» страну — насилюя ее женщин и «обезоруживая» (оскопляя) мужчин. Все, что было в украинской истории после того, — крестьянские повстанческие отряды эпохи коллективизации, безрассудная, не «на жизнь», а «на смерть», борьба ОУН-УПА, безнадежное, из года в год возобновляющееся сопротивление разрозненных одиночек, которые гибли «тихо и без вести», диссидентское движение — было, в том же символическом смысле, попыткой «опровергнуть Круты». Женскость Украины все это время оставалась в культуре в статусе символической «дівки-бранки», которую необходимо освободить, которая «сздала», «з неволі турецької» [из неволи турецкой] призвана будить в мужчинах даже не эротическое желание, а дремлющие патриотические чувства. В таком качестве ее можно было любить и жалеть, бояться и идеализировать, нельзя было только уважать. Для ее собственного голоса — «от себя» и «о себе» — в системе ценностей просто не было места.

²⁰ В опубликованных в свое время воспоминаниях свидетелей об этом, как правило, упоминается эвфемистически, как то: «...были зверски искалечены во время расстрела» (*Герої Крут*, 1995, 6), подробнее см.: Покальчук, 1998, 64—66.

V

ВРЕМЕННОСТЬ МУЖЕСТВЕННОСТИ

Юрий Гончаров

«ХОЗЯИН ЖИЗНИ»: КУПЕЧЕСТВО КАК ТИП МУЖЕСТВЕННОСТИ

Изучение мужественности и ее социально-культурных типов в прошлом предполагает анализ взаимосвязи мужской идентичности с социальными, профессиональными, культурными и т.п. характеристиками различных социальных групп. Как уже отмечалось, цель анализа половой идентичности состоит в определении сложившихся социальных и культурных иерархий, строящихся по половому признаку (см. Ушакин, 1999а, 84). В условиях сословного строя социально-половой тип человека во многом определялся тем сословием, к которому он принадлежал. В этом плане русское купечество XIX — начала XX в. как особое сословие со своим образом жизни, менталитетом, социальным положением и специфическим гендерным порядком представляет значительный интерес. Специфическая социальная роль русского купечества не могла не привести к тому, что понятие «купец» включало в себя и особую форму мужской идентичности.

Формирование купеческого сословия в Российской империи происходило в XVIII в. Сословная организация купечества (гильдии) окончательно была оформлена в результате городских реформ 70—80-х гг. XVIII в., которые положили начало новой сословно-податной системе в городах. Знаменитая «*Жалованная грамота городам*» 1785 г. уточнила и расширила сословные права купцов. В результате этих реформ купечество становится не только наиболее сильной в экономическом отношении частью торгово-промышленного населения, но и самым привилегированным после дворянства и духовенства сословием.

Во второй половине XVIII — первой половине XIX в., несмотря на постоянные попытки правительства стабилизировать состав

и правовое положение русского купечества, оно, по выражению Р. Пайпса, «пребывало в состоянии беспрестанных перемен» (Пайпс, 1993, 286). Верхушка купечества в это время стремилась сочетать своих детей браком с дворянами, поскольку это давало им более высокий социальный статус, доступ к государственной службе и право на покупку крепостных. Мелкие предприниматели из крестьян, мещан и ремесленников, сколотив минимальный капитал, необходимый для перехода в купеческое сословие, вступали в гильдии, внуки их могли стать уже дворянами. Таким образом, купечество в социальном плане являлось своего рода перевалочным пунктом для всех, кто двигался вверх или вниз по общественной лестнице.

Во второй половине XIX в. в правовом положении купечества происходят значительные изменения. Отмена крепостного права и перемены в социально-экономической жизни общества неизбежно повлекли за собой изменения в торгово-промышленной политике и в правовом статусе предпринимателей. Только человек, выкупивший сословное гильдейское свидетельство, имел право именоваться купцом. Вновь вступающий в купеческое сословие предприниматель, получивший на свое имя свидетельство одной из гильдий и «при взятии оного представивший квитанцию, свидетельствующую о полной уплате им всех... повинностей, принимает наименование купца и, вместе с членами семейства его, в свидетельство внесенными, вступает в состав купечества того места, где он записан» (*Свод законов о состояниях*, 1911, 159). Лица, не принадлежавшие ранее к купеческому сословию и выкупившие свидетельства, могли либо причислиться к купечеству, либо сохранить свое прежнее звание. Однако, поскольку сословные права купцов были значительными, правом сохранить свое прежнее звание пользовались немногие, преимущественно дворяне. Наоборот, стремясь получить сословные купеческие привилегии, в гильдии записывались лица, не обладавшие крупными капиталами.

В сословном купеческом свидетельстве указывались все члены семьи купца. При этом все родственники, записанные в свидетельство, считались причисленными к купеческому сословию и обладали, таким образом, всеми сословными правами и привилегиями, к числу которых относились: освобождение от телесных наказаний, свобода передвижения (т.н. паспортная льгота), право при определенных условиях получить личное или потомственное почетное гражданство, право на участие в сословном самоуправлении и некоторые другие.

Законом четко определялся круг родственников, которые могли быть внесены в состав купеческой семьи. Так, в сословное купеческое свидетельство, выдаваемое на имя мужа, могла быть внесена жена, а в выданное на имя жены муж внесен быть не мог. При отце или матери могли быть внесены в одно с ними свидетельство их сыновья и незамужние дочери. Внуки включались в состав семьи только в том случае, если их отцы также числились в семействе и не производили торговлю от своего имени (*Полное собрание законов*, 1779, № 4). В отличие от других сословий, пребывание в купечестве не было пожизненным. Купец обязан был выбирать гильдейское свидетельство ежегодно. Если же в установленный срок он не возобновлял свидетельство, то вместе с членами своей семьи выбывал из гильдии.

Во второй половине XIX в. гильдейское купечество продолжает составлять основную по численности и значимости часть предпринимателей. Как справедливо отмечал Д. С. Мирский,

типичный купец мог быть найден среди оптовых торговцев, торговцев зерном и владельцев мельниц, речных пароходов и текстильных фабрикантов. Они очень часто имели крестьянское происхождение, столь же часто они исповедовали старообрядчество. Они имели большие экономические, но скромные социальные амбиции. (Mirsky, 1952, 257)

Изменение количественного и качественного состава гильдий дали основание некоторым исследователям сделать вывод о том, что в конце XIX — начале XX в. шел активный процесс «размывания российского купеческого сословия», когда не только резко уменьшается число купцов, но и само сословие в большой степени утрачивает свое торгово-промышленное значение и превращается в «некую нишу для людей, приобретающих купеческое звание совсем не для того, чтобы заниматься предпринимательством» (Кусова, 1996, 12). Тем не менее, несмотря на сравнительную малочисленность (в пределах 1—3% городского населения), купечество играло важную роль в жизни русского города. Купцам принадлежала большая часть торгово-промышленных заведений, значительная доля недвижимого имущества.

Таким образом, существовавшее в Российской империи законодательство и социальная практика привели к тому, что сама сфера торговли, предпринимательства изначально рассматривалась как сугубо мужская. Человек, занимавшийся предпринимательством, рассматривался именно как «купец», т.е. мужчина. Понятие «купчиха» означало только жену купца, и не более.

«Мужской» характер *предпринимательства* во многом отражался и на формирующихся идеалах купечества, и на его повседневном поведении. В романе Горького «*Фома Гордеев*» отец героя — купец Игнат Гордеев — произносит характерную фразу, в которой очень образно показано отношение к предпринимательству, «делу» как именно к мужской сфере деятельности, для которой необходимы именно мужские качества характера: «Дело — зверь живой и сильный, править им нужно умеючи, взнуздывать надо крепко, а то оно тебя одолеет. Мы все для того живем, чтобы взять, а не дать».

Однако подобный образ идеального купца был именно идеальным, и о русском купце давно сложился весьма негативный стереотип: купец обязательно обманщик, эксплуататор, невежа, он вне конкуренции по потреблению спиртного и по обжорству, деспот в семье и т.д. Во многом в появлении такого образа мы обязаны отечественной художественной литературе. Достаточно вспомнить типы купцов в произведениях Островского, Горького, Шишкова и многих других русских писателей, как дореволюционных, так и советских. В хрестоматийной поэме Некрасова «*Кому на Руси жить хорошо*» так, например, представлен портрет типичного купца: «В синем кафтане — почтенный лабазник, толстый, присадистый, красный как медь». Конечно, такие образы не рождались на пустом месте. На всю страну гремели кутежи в Московском купеческом клубе, ресторане «Яр», во время больших ярмарок. Любили купцы цыганские и венгерские хоры, не чуждались и других радостей жизни. Ну а провинциальное купечество старалось копировать вкусы купцов столичных. По воспоминаниям современников, «сибирский купец того времени любил повеселиться нараспашку, по-своему, в тесной купеческой компании, зело хорошо выпить, в беседе не стесняться в выражениях» (Кулаев, 1938, 248).

Пословицы и поговорки, бытовавшие среди русских крестьян и горожан, отражали черты профессиональной деятельности купечества, неразрывно связывая их с «типично» мужскими качествами: смекалкой, инициативностью, предприимчивостью, хитростью, расторопностью, размахом, умением обмануть и пр.¹ Очень характерен эпитет, которым в некоторых районах Сибири называ-

¹ «Что край, то обычай; что народ, то вера; что купец, то мера»; «Берет купец торгом, поп горлом, мужик горбом»; «Купец божится, а про себя отрекается»; «По-купецки чай пьет, да не по-купецки расплачивается»; «Купец что стрелец: оплошного ждет» (Даль, 1999б, 326—330).



Купец И. Г. Игнатьев, конец XIX в.



Семья купцов Игнатьевых, 1912-1913 гг.

ли купцов, — «сквозняки», подчеркивая этим их хитрость и оборотистость.

Нередко в народных сказках купцам-молодцам приписывался «распутный» образ жизни:

Торгует купеческий сын один в лавке, приходят к нему девки, он и дает им все в долг, и много уж товару изнурил без денег. Когда же пришла пора отправляться в путешествие за новым товаром, дядя отказался брать с собой племянника, говоря его матери: «Не надо твоего сына, он распутного поведения». (Копцева, 1997, 87)

Приведенный пример показывает, что в массовом сознании сама возможность иметь многочисленные сексуальные связи являлась одной из черт профессиональной деятельности купцов, которые имели для этого, во-первых, материальные возможности, во-вторых, часто совершали длительные поездки по торговым делам, отрываясь от дома и семьи.

Свидетельства о разгульной жизни купцов часто проникали и на страницы газет. Вот как описывала *Сибирская газета* похождения известных томских купцов Александра и Иннокентия Кухтериных:

Во-первых, они спозаранку напились пьяны. Потом, взявши 8 подручных ямщиков, привели их в баню Хотимской, а сами зашли в публичный дом и, взявши там одно из несчастных созданий, вернулись с ней в баню, чтобы выпариться с ней сообща. Девушка, увидев пьяных ямщиков, испугалась и побежала домой в свое заведение. Она подняла отчаянные крики, на которые выбежала содержательница дома солдатка Арионова. Подоспевшие Кухтерины принялись бить Арионову, помяли ей бока и расшибли голову. (*Сибирская газета*, 1888, 7 января)

На страницах той же газеты анонимный автор в статье «*Проституция и сифилис в Томске*» отмечал

блудливость имущего населения, в котором излишек денег и недостаток общественности, недостаток нравственных, научных, художественных и политических интересов раздражает грубейшие инстинкты, развивает стремление к разнообразию в разврате, что вызывает громадный спрос на разврат в Томске, который должен породить соответствующее предложение. (*Сибирская газета*, 1883, 20 февраля)

Стремление соответствовать идеалу купца — «хозяина жизни» чаще всего и подвигало торговцев на разухабистые загулы. В купеческой среде сложился даже специальный ритуал празднования

удачных сделок. В этот ритуал входили не только поглощение огромного количества шампанского и цыганские хоры, но и поездки в «бани», в «номера», публичные дома. Совершение экономического акта — сделки должно было завершаться актом половым: сексуальность оказывалась тесно связанной с экономической деятельностью, а экономический успех ассоциировался с большими сексуальными возможностями.

Негативное отношение к купцам и предпринимателям является естественным для России, где торговец традиционно воспринимался как маргинал. И все же массовые представления о купечестве не совсем точны. Жизнь купца, то есть прежде всего торговца и предпринимателя, не могла состоять только из застолий и кутежей. Представители купечества, слишком любившие выпить и погулять, обычно очень быстро разорялись. Для большей части купечества были характерны как раз другие качества — деловая хватка, предприимчивость, постоянный труд, причем зачастую очень тяжелый и рискованный. Кроме того, для успешной коммерческой деятельности, помимо предприимчивости, капитала и трудолюбия, как в прошлом, так и в наши дни нужен особый организаторский талант, интуиция, а также определенные этические принципы, без которых было невозможно вести торговые дела сколько-нибудь продолжительное время.

Поскольку торговля была основным видом деятельности купцов, то наиболее важными для купечества были как раз этические принципы, связанные с основным профессиональным актом купцов — сделкой. Естественно, купец не был бы самим собой, если бы не стремился к максимально возможной прибыли. Однако стремление к максимальной прибыли так или иначе ограничивалось необходимостью поддерживать свою деловую репутацию, «купеческую честь», без которой было невозможно получить кредит и вообще проводить сколько-нибудь крупные деловые операции. Именно ради «купеческой чести», репутации компании тратились деньги на массивные здания, роскошную обстановку, которые должны были доказать прочность, доходность и надежность дела. Стремление следовать идеалу купца-мужчины, хозяина процветающего предприятия и заставляло предпринимателей затрачивать огромные деньги на антураж, на представительские расходы, что далеко не всегда было рационально с коммерческой точки зрения.

Сферой, в которой очень ярко проявлялись характерные черты купеческой мужской идентичности, была семья. Внутрисемей-

ные отношения в купеческой среде были достаточно специфичными, отличаясь как от дворянства, так и от городских низов — мещан и ремесленников. В литературе неоднократно отмечалось, что главной особенностью купеческих семей являлась патриархальность внутрисемейных отношений. Как отмечал современник Н. Абрамов, «приглядываясь к семейным нравам, можно видеть родственную любовь, согласие, повиновение родителям, уважение к старшим и властям» (Абрамов, 1858, 144). Живучесть патриархальных отношений обуславливалась как социально-правовыми, так и экономическими факторами.

В соответствии с российским законодательством, женщина находилась в зависимом от мужчины положении. При выходе замуж она принимала звание и сословное положение мужа. Жена была обязана «повиноваться мужу своему как главе семейства», «пребывать к нему в любви, почтении и неограниченном послушании», оказывать ему «всякое угождение и привязанность аки хозяйка» (*Свод законов Российской империи*, 1832, 19—20). Существовавшее законодательство поддерживало господство патриархальности и, как отмечали исследователи, «создавало условия для ужасной судьбы женщин в торговых семействах, при этом эта ситуация преобладала вплоть до 1890-х гг. даже в тех [купеческих семействах], которые достигли определенной меры культуры» (Rieber, 1982, 121).

Купец — глава семейства имел все права на имущество семьи, детей и услуги своей жены, он ведал всеми торговыми делами, выбирал гильдейские свидетельства, отвечал перед государством за выполнение повинностей и выплату податей. Купец, таким образом, являлся не только добытчиком средств к существованию, но и посредником между семьей и государством, «своего рода гарантом принадлежности остальных членов семьи к купеческому сословию» (Бойко, 1996, 204). Главной обязанностью жены в семье была организация семейного быта, в то время как мужчина был главой семьи, хозяином всего движимого и недвижимого имущества, руководителем торговых операций.

Е. Элнетт, изучавшая социальное развитие семейной жизни в России, писала:

Патриархальные или полупатриархальные формы семьи все еще существовали более или менее среди других классов, особенно среди купцов. Здесь отец и муж, глава семейства во многих случаях не только абсолютный правитель, но и бесчувственно жестокий хозяин, прихотливый, несносный, деспотичный, часто только потому, что он не

имеет никакой другой сферы, в которой он мог бы проявить свою мужественность, излишек его энергии не находит никаких других сфер приложения. Низкий уровень образования ограничивает его умственный горизонт, его социальные интересы — небольшие; политическая жизнь не касается его. (Elnett, 1926, 139)

Экономическая власть купца делала его неограниченным хозяином в семье. Нередко и в XIX столетии в купеческих семьях соблюдалась строжайшая субординация, схожая по своим канонам с предписаниями достославного «*Домостроя*». Так, например, харьковский купец Федор Ширяев постоянно настаивал на том, чтобы со стороны его семейных непременно был «уважен характер». Когда ему не спалось, он мог разбудить среди ночи всю семью и прислугу, требуя горячих пирогов. В кухне на этот случай постоянно держалось готовое тесто (Бурьшкин, 1991, 7).

Специфика семейных отношений в купечестве заключалась в том, что они были в значительной степени *материализованы*. Материальная основа жизни купеческой семьи — торговые операции — находилась в руках мужчины. Власть мужа цементировалась властью денег. В силу этого обладание деньгами, капиталом рассматривалось как мужское свойство. При этом именно в руках мужчины деньги становились капиталом, т.е. приобретали активный характер, начинали работать и приносить прибыль. Состояние же, находящееся во владении женщины, по представлениям современников, имело пассивный, косный характер и могло только «проживаться».

Материализованность семейных отношений, в частности, играла значительную роль при выборе партнера по браку. Приданое было очень важно, и купцы были весьма практичны в этом отношении. В купечестве очень устойчивой было старое традиционное представление о браке как деловой трансакции. Брачные контракты того или иного вида были совершенно обычным делом среди торговцев. Для купечества было характерно представление о браке как, прежде всего, социальном действии. При этом приданое рассматривалось как косная материя, которую может активизировать только мужское начало купца.

Не случайно в купеческой среде преобладало резко негативное отношение к бракам с представителями других сословий. Гипертрофированное чувство «хозяина» могло пострадать, если купец женится на дворянке, не подготовленной своим воспитанием к восприятию купеческой мужской идентичности. Вот как об этом говорили современники:

Встретить дворянина или дворянку в купеческой среде было такую же редкостью, как купца или купчиху в дворянской. Если это происходило, то возбуждало всеобщее живейшее и притом саркастическое любопытство по отношению тех, кто нарушил обычаи своих каст... если купец женился на дворянке, об нем соболезновали. Дворянке никак не полагалось выходить за купца иначе, как не имея юбки за душой. А какое же благополучие могло ожидать при таких условиях? Известное дело: оберет мужа, одарит свою семью, заведет любовника из «своих», да и уйдет от мужа. Да еще смеяться станет: этакого дурака обошла! (Вишняков, 1911, 39)

Зависимому положению женщины во многом также способствовало признание единственной формы брака — церковного, по которому жена была обязана всюду следовать за своим мужем и могла быть по суду принуждена сделать это. Жена могла получить паспорт только с разрешения мужа. Нарушение супружеской верности могло повлечь тюремное заключение. Главенство мужчины в купеческих семьях усугублялось и тем, что в купеческой среде разница в возрасте супругов была значительной, в среднем 8—10 лет (среди крестьян и мещан разница обычно не превышала 3—4 лет). Более высокий возраст мужчин в брачных парах, несомненно, был отражением экономических отношений внутри купеческих семей, когда все нити торговых операций, т.е. экономическая основа жизнедеятельности семьи, сходились в руках мужчины. А поскольку достижение какой-то степени экономической самостоятельности мужчиной требовало определенного времени, то мужчины в большинстве своем могли позволить себе жениться только к 30 годам. Купцы, живущие на доходы с капитала и стремившиеся прежде всего упрочить свое экономическое положение, считали, что женитьба хороша лишь после того, как налажено дело и пущен в оборот наследственный капитал. Подобные представления, по-видимому, и определяли высокий брачный возраст мужчин этого сословия (Гончаров, 1999, 130—132).

Власть в купеческой семье, как и в обществе, имела патриархальный характер: предпочтение отдавалось мужчинам и старшим по возрасту. Случаи главенства женщины при отсутствии мужа и при наличии малолетних и даже взрослых сыновей хотя и не были редкостью, но и не нарушали этот порядок. Такие случаи были в основном временными, хотя и могли длиться довольно долго. Главное — порядок в семье оставался таким же, как и при хозяине-мужчине.

В конце XIX — начале XX в. условия жизни в городах, особенно крупных, распространение образования, более либеральные законы мало-помалу способствовали смягчению взглядов о необходимости безраздельного господства мужского начала. Но гуманизация внутрисемейных отношений в купеческой среде делала более скромные успехи, чем в семьях интеллигенции. Стойкая патриархальность купечества мешала завершению этого процесса. Внушительное имущество, или «дело», которым распоряжался глава семьи, составляло прочную основу его власти, поддерживавшей патриархально-авторитарные внутрисемейные отношения, которые просуществовали в основных чертах вплоть до 1917 г.

Разводы в купеческих семьях были чрезвычайно редки, при этом разрешение на развод давалось только с санкции Святейшего синода, и причина для развода должна была быть весьма весомой. Дела о разводах отложились в фондах Духовных консисторий. Для расторжения брака необходимо было подать соответствующее прошение, в котором нужно было обосновать свою просьбу. В прошениях лиц купеческого сословия о разводе указывались, например, такие причины: «ссылка супруга за убийство в Сибирь», «невозможность исполнения супружеского долга» (которая должна быть добровольно и официально признана самим супругом, что означало также запрет вступать в брак в дальнейшем) и т.п. Но самой распространенной причиной развода была «прелюбодейная жизнь» одного из супругов. При этом в большинстве случаев инициаторами разводов были мужчины. Так, ялуторовский купец Василий Иванович Ушаков в 1905 г. писал в прошении:

Оставшись вдовым после первого брака в цветущем возрасте, я, по моему семейному положению и условиям хозяйственных и торговых дел, а также по привычке к семейной регулярной жизни — вступил в брак с шадринской купеческой дочерью Анной Афанасьевной Смирновой... Но через некоторое время жена выказала себя разными предосудительными поступками, во всех отношениях настолько несообразно и грубо, что вызвало во мне опасение за сохранение благополучия в нашей жизни².

Преобладание мужчин среди инициаторов разводов по мотивам «прелюбодейной жизни» совсем не означает, что женщины в купеческой среде были сексуально «раскованны». Наоборот, муж-

² ТФ ГАТО (Тобольский филиал Государственного архива Тюменской области), ф. 156, оп. 38, д. 1614, л. 1.

чины имели гораздо больше возможностей для внебрачных сексуальных связей. Этому способствовали частые и длительные поездки по торговым делам и, естественно, наличие денег. Подобные связи в подавляющем большинстве случаев не приводили к разводам. В отношении же внебрачных сексуальных связей женщин господствовала крайняя нетерпимость. Малейший намек на такую связь мог стать и становился поводом для развода. Один из современников, Всеволод Вагин, так описывал семейные отношения провинциальных купцов в середине XIX в.:

Отношения между полами и семейные были, может быть, не строже, но лицемернее нынешних. Уход жены от мужа был тогда неслыханным делом; женщина, которая решилась бы на такой шаг, подверглась бы всеобщему презрению. Незаконные связи замужних женщин были большой редкостью. Мужчины, разумеется, были гораздо развратнее. (Вагин, 1990, 469)

Важным моментом формирования социально-половой идентичности являлась социализация детей, в ходе которой происходила передача гендерных стереотипов новому поколению. В купеческой среде отношение к детям носило традиционный характер. При этом детям старались прививать такие черты, которые не были характерны ни для дворянской, ни для интеллигентской культуры, — бережливость, порядок, трудолюбие (Брянцев, 1999, 199). В детях видели продолжателей рода и опору в старости. При этом по правовым нормам родители были обязаны заботиться о здоровье и нравственности детей. В своих завещаниях купцы стремились предвосхитить конкретные действия и поступки детей, ставили им определенные условия, чтобы предостеречь их от разбазаривания наследства или побудить к приумножению его. Томский купец С. С. Прасолов, например, в своем завещании предписывал детям:

Да будет последняя воля моя исполнена всеми так свято, как завещаю, и жить в любви и согласии, оказывать матери своей должное послушание и почтение, равным образом братьям и сестрам оказывать взаимное друг другу искреннее расположение, молясь пред Всевышним о упокоении души моей. (Дмитриенко, 1996, 49)

Забота о состоянии и здоровье детей лежала на матери, которая должна была следить за тем, чтобы дети были обуты, одеты, накормлены. В обязанности отца входило религиозно-нравственное наставление детей, в основном же он был связан с сыновьями в рам-



ках семейного «дела». Именно в процессе вовлечения сыновей в торговые дела происходило формирование мужской идентичности купца: успешность социализации сыновей оценивалась родителями по тому, насколько они прониклись духом «хозяина».

Дети должны были добросовестно выполнять все данные им родителями поручения. Покорность детей старшим освящалась выработанной веками традицией сыновней почтительности, стойкостью патриархальных отношений. Кроме того, в купеческих семьях сыновья не шли против воли родителей, опасаясь попасть в немилость и потерять свою долю наследства или приданого.

В сыновьях видели прежде всего преемников семейного дела. До зрелых лет о молодом человеке заботились, постепенно вводя его в курс торговых дел, обеспечивали ему определенный уровень благосостояния. Заниматься мелочной торговлей в лавке мальчишки начинали с раннего возраста и к 15—16 годам могли уже совершать самостоятельные коммерческие поездки в другие города, вести конторские книги, покупать и продавать партии товаров, были, как говорили в то время, «исправными торговцами». Интересы коммерческих дел требовали концентрации капиталов, а главы купеческих семейств нередко сомневались в деловых качествах своих сыновей или не хотели выпускать дело из своих рук. Поэтому бывало обычным, что купеческие сыновья до старости носили

это звание, не имея возможности получить статус самостоятельного предпринимателя без родительского согласия. Некоторые из них только к 40—45 годам становились самостоятельными предпринимателями.

В то же время можно привести ряд примеров, когда еще при жизни главы семьи некоторые из сыновей получали свою долю наследства — «выдел» в виде денежной суммы или дела, например одну из лавок. Деловые отношения с отделенными и неотделенными сыновьями строились по-разному. Неотделенные дети могли торговать только от имени главы семьи, который и отвечал за все их обязательства. При этом родственные отношения в большой семье не только обеспечивали преемственность в делах, но и открывали возможность для разделения труда внутри семейного дела, когда дальние коммерческие поездки могли выполнять молодые, а старшие руководили складом или магазином. Ну а деловые отношения с отделенными детьми строились как с самостоятельными партнерами, иногда в рамках жестких коммерческих интересов.

Образование мальчиков ограничивалось в большинстве случаев элементарной грамотностью. Яркое отношение к образованию в купеческой среде передает монолог одного из сибирских торговцев, который приводит в своих воспоминаниях М. Александров:

У нас в торговом быту больших наук не требуется. Самое главное цифирь и счета. Здесь и столбовое купечество не больше занимается науками. Научился записывать приход и расход товаров, да и за прилавок. Тут уж не избалуешься, не то что в школе. (Александров, 1990, 325)

Американский историк Р. Пайпс так высказался по этому поводу: «Мысль о том, что сын может быть ученым отца, была нестерпима для патриархальной природы русского купечества, поэтому детям не давали образования» (Пайпс, 1993, 287). Однако это высказывание известного ученого нужно признать чересчур резким и не соответствующим действительности: отношение купцов к образованию менялось с течением времени. К концу XIX в. уже многие гильдейцы, даже провинциальные, стараются дать своим детям образование, в том числе и высшее. Со временем в пользу школьного образования заработала и семейная традиция. Когда у купцов, в свое время обучавшихся в учебных заведениях, дети достигали школьного возраста, у них уже не было предубеждения против школ. Поэтому они охотно отдавали сыновей в училища и гимназии. Можно привести примеры, когда с каждым последующим

купеческим поколением уровень образованности повышался. Барнаульский купец 1-й гильдии Н. Т. Сухов был неграмотным, его сыновья — грамотными, а один из внуков Павел Дмитриевич уже учился в Московском коммерческом училище, правда, не окончил полного курса. Другой барнаульский купец А. Ф. Ворсин имел домашнее образование, а его сын Николай окончил Рижский политехнический институт (см. Скубневский, 1995, 113). Торговцы чувствовали, что образование может улучшить социальный статус их детей, однако преобладающими тенденциями в образовании торговых детей в конце XIX в. было «безразличие к формальному обучению в торговле или любом практическом деле и восторг от образования в таких бастионах классицизма, как гимназия и университет» (Rieber, 1982, 124).

В целом, в русском купечестве XIX — начала XX в. давление социальной среды, направленное на формирование групповых стандартов, связанных с полоспецифическим поведением, было весьма значительно. Социализация детей была направлена прежде всего на привитие подрастающему поколению распространенных представлений о купце-хозяине, добытчике и купеческой жене, социальная сфера деятельности которой ограничивалась семьей и домохозяйством. Необходимо отметить, что специализация специфических гендерных ролей в купеческой среде имела целью приспособление детей к той социальной среде, в которой им предстояло жить, и была необходимой в тех условиях.

Во второй половине XIX — начале XX в. развитие семейного строя в целом шло по пути смягчения авторитарности. Гендерный порядок в купеческой среде постепенно менялся под давлением социальных перемен. Уменьшалась власть мужчины в семье, увеличивалась роль женщины, более демократичным становилось отношение к детям, сглаживались контрасты в социализации мальчиков и девочек. Однако традиционность, стойкая патриархальность внутри семьи помешали завершению этого процесса демократизации внутрисемейных отношений. Даже среди привилегированных сословий их патриархально-авторитарная основа не была серьезно подорвана и в основных чертах сохранилась до 1917 г. В купеческой среде, как отметил А. Рибер, «поведенческие нормы были устойчивы и не могли быть сброшены так же легко, как традиционный кафтан» (Rieber, 1982, 120). Главной причиной этого было то, что мужчины, продолжавшие удерживать в своих руках все экономические рычаги, не спешили корректировать соб-

ственные представления о мужественности, которые их вполне устраивали.

На рубеже XIX—XX вв. во всех сферах жизни России происходят значительные изменения. Новое поколение предпринимателей было уже носителем нового, капиталистического менталитета, что не могло не повлиять и на изменение старокупеческих бытовых традиций. Как писал современник,

тяжелые тупые самодуры переродились в дельцов, сознающих свою материальную силу уже на другой манер... Тягаться с некоторыми коммерсантами, поднявшимися уже до барского тона и привычек, нет возможности... миллионер-промышленник, банкир и хозяин амбара не только занимают общественные места... они начинают поддерживать своими деньгами умственные и художественные интересы, заводят галереи, покупают дорогие произведения искусства для своих кабинетов и салонов, учреждают стипендии, делают покровителями разных школ, ученых обществ, экспедиций, живописцев и поэтов, актеров и писателей. (Боборыкин, 1881)

Американский исследователь Дж. Уолкин следующим образом характеризует поколение капиталистов, взошедшее на предпринимательскую сцену к началу XX в.:

Новое поколение купцов было европеизированным и образованным, быстрый рост промышленности и торговли сделал их богаче, влиятельнее и более склонными к проявлению собственной инициативы. (Walkin, 1962, 95—96)

Однако и в новом поколении купцов отношение к социально-половым ролям и сексуальным отношениям оставалось традиционным. Новые представления на взаимоотношения супругов, на секс, которые исследовала в своей известной книге Лора Энгельштейн (Энгельштейн, 1996), затрагивали только узкий образованный слой горожан, преимущественно столичных жителей. Основная же масса купечества оставалась в своих взглядах очень консервативной. Патриархально-авторитарные отношения в семьях купцов оставались господствующими и в начале XX в. Глава семьи — мужчина управлял всем домом, всеми членами семьи и домочадцами. Его приказания должны были выполняться беспрекословно, к непослушным и провинившимся применялись наказания, в том числе и физические. Быт по-прежнему строго регламентировался, обязанности в семье распределялись по половозрастным группам.

В целом купеческое сословие в России периода модернизации оставалось достаточно специфической социальной группой, обладавшей собственной субкультурой и своими характерными чертами гендерного порядка. В патриархальной купеческой среде сформировалось специфическое понимание мужественности и мужской идентичности, для которого были характерны гиперболизация чувства хозяина-собственника, ощущение неограниченной власти над женским полом и особое отношение к собственной сексуальности как сфере самоутверждения купца — «хозяина жизни». Несмотря на интенсивный процесс разложения сословного уклада, русское купечество не спешило расставаться с сословными ценностями и было в этом отношении, наверное, самым консервативным из городских сословий и социальных групп Российской империи.

Дэн Хили

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ РУССКОЙ «ТЕТКИ», ИЛИ КАК РОДИЛАСЬ СОВЕТСКАЯ ГОМОФОБИЯ*

В западной историографии женоподобие в мужчинах связывается с гомосексуальностью и выступает в качестве характерной черты современной гомосексуальной идентичности, определяемой как в медицинских терминах, так и самими гомосексуалами (см. Stein, 1990; Weeks, 1991). На современном Западе половое поведение, выходящее за рамки норм мужественности, не всегда было обязательным компонентом гомосексуальной идентичности, в особенности с того момента в XX в., когда движения гомофилов и борцы за права сексуальных меньшинств взяли под свой контроль формирование языка идентичности. Тем не менее с начала XVIII в. женоподобие наблюдалось среди значительного числа гомосексуалов, сформировавших определенную субкультуру городов Северо-Запада Европы. Как отмечается в одном историческом исследовании, женоподобные мужчины Лондона («*молли*») стали восприниматься как третий пол, промежуточный между мужским и женским (см. Trumbach, 1989). Другой историк определяет женоподобие в качестве ключевой черты

* Перевод с английского Елены Барабан.

Данная работа написана при поддержке Канадского совета по социальным и гуманитарным исследованиям (Social Sciences and Humanities Research Council of Canada), проекта университета Торонто по архивам и исследованиям периода сталинизма (The Stalin Era Research and Archives Project of the University of Toronto), а также при поддержке траста Велком (Welcome Trust) — грант № 488 142.

Я благодарю профессора Бердса за предоставленную мне транскрипцию рукописи дневника Медведева. Далее в статье я ссылаюсь на страницы этой транскрипции. Сама рукопись дневника хранится в Центральном историческом архиве Москвы (ЦИАМ). Ф. 2330. Оп. 1. Д. 984, 986. См.: Куприянов, 1997 — для справки по данной рукописи.

нового гомосексуального «стиля жизни» в Париже того же времени (Rey, 1985).

Российская империя обзавелась «тетками» позже, чем Европа. Свидетельства развития собственно русской гомосексуальной субкультуры с характерным для нее слэнгом, описывающим ритуал (игры) женоподобия, появляются с 1870—1880-х гг. Большинство таких свидетельств встречаются в медицинских, юридических и литературных источниках вплоть до конца первого десятилетия XX в. и практически сходят на нет начиная с середины 1920-х гг. Изучение жизненного цикла русской «тетки» с 1861 по 1941 г. — ее запоздалого появления на свет, бурной молодости и внезапного исчезновения — позволит очертить подвижные границы респектабельной (а в итоге и подчеркнуто гетеросексуальной) мужественности в российском обществе и государстве.

До 1870-х половая связь между мужчинами в России не носила характерного отпечатка половой принадлежности, но относилась к сфере патриархальной мужественности, рассматривавшей в качестве возможных сексуальных объектов мужчин низкого социального статуса и мальчиков. Было бы анахронизмом видеть в такой свободе доказательство более «терпимого» отношения к «гомосексуальности» в русской культуре. Религиозные и народные санкции против гомосексуалов были широко распространены. Тем не менее в России эти санкции были менее эффективными, нежели в тех обществах, в которых римская католическая церковь и протестантские пастыри, опиравшиеся на более могущественную бюрократическую машину западноевропейских государств, могли взять под контроль распространение греховной сексуальной связи посредством исповеди, религиозного образования, а также гражданских мер наказания (зачастую принимавших форму смертной казни). В России, однако, половая близость между мужчинами традиционно облакалась в форму отношений господина и подчиненного в больших домовладениях, а также в монастырях, ремесленных мастерских, банях, пьюрмах и на улицах городов (см. Nealey, 1999).

Дневник московского купца третьей гильдии (крестьянина по рождению) 1850-х — начала 1860-х годов описывает однополую любовь, не акцентируя половую идентичность мужчин¹. Напро-

¹ «С некоторого времени завязалась во мне страсть выбирать извозчиков помоложе, с которыми трунишь дорогою, а сам норовишь окосеницею воспользоваться взаимною онаниею. Что почти всегда с помощью полтинника или 30 копеек удается, а то были и такие, что за удовольствие так соглашаются» (Burds, 152, 156).

тив, Павел Медведев часто выражал озабоченность моральной и духовной стороной своего «сладострастия». Детали, которые являются значимыми в описании близости в дневниках Медведева, касаются не столько пола его партнеров, сколько патриархальных отношений, которые теоретически были дестабилизированы сексуальной практикой Медведева. Автор дневников выступает как муж, домовладелец, посетитель борделей, купец и работодатель. К примеру, в 1860 г. Медведев отмечает, что часто мастурбировал со своим восемнадцатилетним домочадцем — мальчиком, который, скорее всего, был его слугой или учеником. «Конечно, это усвоившаяся моя страсть, — писал он в оправдание своих действий, — но зачем я приучаю молодого мальчика (но, впрочем, развитого)» (Burds, 144). Медведев объясняет свои действия не отклонением от норм мужественности, но своим «страстным темпераментом и сладострастными порывами», с которыми он не в силах был справиться, особенно когда чувствовал себя подавленным или находился под влиянием алкоголя. То есть однополый эрос в рамках традиции мужской дружбы и культа водки не являлся проявлением немужественности. Медведев описывает, например, как во время пьяных вылазок с друзьями он часто предавался близости с извозчиками¹ и с банщиками (Burds, 152, 156). После того как, будучи пьян, он попытался соблазнить своего друга, Медведев писал в своем дневнике, что совершил «гадость». Чувство гадливости в данном случае объясняется временной потерей патриархального достоинства, а также теми угрызениями совести, которые испытывал Медведев, склоняя к греху человека, равного ему по положению. Стараясь «взаимно посредством онанизма произвести сладострастие», Медведев и его товарищ забрались в заброшенный угол парка в Сокольниках; оба вывалялись в грязи, и друг Медведева растерял свою одежду. Все еще будучи пьяным, купец оставил своего товарища спать мертвецким сном и в три часа ночи отправился домой «довольно в гадком виде, проходящие люди смотрели на меня, как на чудовище. <...> В мои лета, при моем положении, такие делать гадости и невольно увлекать других силою сладострастных рассказов к онанизму». Медведев оправдывал свои поиски альтернативных способов удовлетворения «страсти» своим несчастным браком (Burds, 132).

Подобная картина традиционной мужской сексуальности, направленной главным образом на мальчиков или мужчин, занимающих более низкое социальное положение, повторялась в разных контекстах. Слуги, подмастерья, банщики, фигурировавшие в

дневниках Медведева, также упоминались в учебниках по судебной медицине и в судебных записках. В 1893 г., к примеру, царь рассмотрел петицию о разводе провинциальной помещицы Анны Казаковой, в которой Казакова представила красноречивые свидетельства крестьянских слуг². Кучер и еще один слуга уступили сексуальным домогательствам Константина Казакова, вызвав возмущение главным образом женской части дома. Как свидетельствовала дворовая женщина Казаковых, «барин Казаков творит грех с мужиками, употребляет их в зад». Тем не менее и кучер (от которого Анна забеременела), и еще один слуга согласились на эту связь (ссылаясь на опьянение), получая от трех до пяти рублей за сеанс и игнорируя порицания «греха» со стороны других домочадцев.

Ученики ремесленников также подвергались домогательствам более высокопоставленных мужчин. В одной из ремесленных мастерских Москвы двадцатилетний ремесленник славился сексуальными домогательствами по отношению к подмастерьям. Его разоблачение в 1892 г. изначально вызвало смех, а не порицание³. В том же году состоялся суд над пекарем Челноковым, сексуальная практика которого вызвала возмущение московского благотворительного общества⁴. Средой порока также были педагогические учреждения. Один студент, жертва 55-летнего учителя, объяснял в суде в 1881 г.: «Я недавно приехал в Петербург из деревни и, не зная здешних порядков, не жаловался, потому думал, что здесь так делается у всех хозяев» (Гарновский, 1885, 70).

Подобные отношения продолжали существовать и в XX в. и, по некоторым свидетельствам, существуют и поныне в однополый среде российских тюрем и в армии⁵. Тем не менее в 1870-х гг. с ро-

² Российский гос. исторический архив (РГИА). Ф. 1412. Оп. 221. Д. 54. Л. 29—37. Я благодарю Габи Доничт за предоставление этого материала.

³ ЦИАМ. Ф. 142. Оп. 2. Д. 433. Ремесленника обвинили в содомском грехе с подчиненными. Уместно также вспомнить дело Князева, сына владельца ремесленных мастерских, осужденного за изнасилование одиннадцатилетнего ученика в 1874 г. (Там же. Ф. 142. Оп. 3. Д. 233).

⁴ ЦИАМ. Ф. 142. Оп. 1. Д. 172. См. также: Фонд А.Ф. Кони, Гос. архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 564. Оп. 1. Д. 260. Л. 92—100.

⁵ Половая связь и половое насилие среди мужчин всегда являлись неизменной чертой жизни в русских тюрьмах. Советский ГУЛАГ и тюремная жизнь наделила особым смыслом мужской эрос и изнасилования среди мужчин (см. Samoilov, 1989; Healey, 1998; Moss, 1996). В армейской среде получила распространение аналогичная культура — дедовщина (Kelly and Shepherd, 1998, 328); об изнасилованиях чеченских мужчин русскими солдатами см.: Траунор, 2000.

стом российских городов появилась новая «гомосексуальная» идентичность, выделяющаяся на фоне более традиционных отношений. Мужчины, которых медики и критики называли «тетками», часто посещали специфические известные районы Москвы и Петербурга. «Тетки» российских столиц использовали набор жестов и символов, подчеркнуто невинных, но несущих совершенно определенную информацию для посвященных, что обеспечивало установление контакта с мужчинами, открытыми для однополых связей. Данная модель отношений ознаменовала решительный разрыв со старыми патриархальными формами мужской сексуальности, поскольку знакомства завязывались вне контекста «хозяин»/«подчиненный» в домовладении или в ремесленной мастерской. Отныне сексуальный рынок начал развиваться в соответствии с новой иерархией ценностей и новым символическим порядком. «Гомосексуальный мирок» (Руадзе, 1908) стал характерной чертой крупнейших российских городов.

Несмотря на многочисленные местные ассоциации, термин «тетка» по отношению к мужчине, практикующему однополую любовь, был, возможно, заимствован из европейских языков. Он употреблялся как вне, так и внутри российского гомосексуального мира. Аналогичное название — *tante* — использовалось в XIX в. во Франции для обозначения мужской проститутки, а к концу XIX столетия это слово стало использоваться во французской печати как обозначение гомосексуалистов вообще (Courouve, 1985, 207—209). В первом значении слово было употреблено в России петербургским врачом Владиславом Мержеевским в 1878 г. в учебнике по судебной гинекологии (Мержеевский, 1878, 205). Десятилетие спустя Петр Ильич Чайковский уже использовал слово «тетка» в своем дневнике в более общем, втором значении, не без рисовки играя на непостоянстве смысла этого слова (Чайковский, 1993, 203). В этом же значении слово употреблялось и анонимным осведомителем, поставлявшим подробную информацию о петербургских «тетках» в 1880-х или в начале 1890-х гг.⁶

⁶ Этот донос полностью приводится у Берсьенева и Маркова — см.: Берсьеньев и Марков, 1998; он был обнаружен и частично воспроизведен у Ротикова, 1997. Берсьеньев и Марков полагают, что донос был написан скорее всего в начале 1890-х, а Ротиков считает, что донос следует датировать 1889 г. Ротиков активно использует этот текст в своей книге «Другой Петербург» (Ротиков, 1998), изучающей историю «геев» Санкт-Петербурга. Оценку исследования Ротикова западными специалистами по истории сексуальности см.: Бернштейн, 1999; Ваг, 2000.

Кто же такие «тетки»? С точки зрения враждебно настроенных критиков, определяющим качеством «теток» являлось их стремление к половой связи с другими мужчинами. Петербургский доносчик на мужчин, подверженных содомскому греху, выделяет шесть видов «теток» в зависимости от характера совершаемых половых актов и принимаемых поз, включая оральный и межляжковый половые акты. Однако наиболее подробно автор доносов описывает анальный половой акт. В частности, он отмечает, что большинство «теток» «употребляют друг друга в задний проход». Само слово «употребляют» как нельзя лучше подходило к широко распространенному в XIX в. представлению о том, что фаллос является единственным источником сексуального наслаждения («активные» партнеры приняли на себя эту роль «вследствие полового возбуждения»), в то время как о «пассивном» партнере было принято говорить как о человеке, получающем удовольствие от того, что он позволяет себя «использовать» другим. Их желание «употребляться» не имело приличного анатомического объяснения. Доносчик делал различие между «пороком» «теток», который заключался в том, что удовольствие возникало от «полового пресыщения» и ненависти к женщинам, и оппортунистической педерастией «неимущих, молодых... жертв, служащих для удовлетворения первых» («теток») (Берсенев и Марков, 1998, 109). В этом смысле «тетка» выступает как богатый патрон, заманивающий жертву в сети половой связи, которая представляется этой жертве отвратительной, но которая вознаграждается материально. Трудно согласиться с тем, что все партнеры «тетки» видели в однополю любви нечто отвратительное. Несомненно, как это было и с извозчиками Медведева, «были и такие, что за удовольствие так соглашались», а не из меркантильных соображений.

Остается невыясненной классовая принадлежность «теток». По всей видимости, мужчины и юноши, принадлежавшие гомосексуальной субкультуре, составляли два поколения — от молоденьких «новобранцев» до стареющих «теток». Благосклонный патрон мог предложить молодому «педерасту за деньги» возможность покинуть сексуальный рынок и вступить в более интимную связь, партнерство. В то же время другие мужчины, занимающиеся проституцией, вероятно, дистанцировались от кружка гомосексуалов по мере старения, сопровождаемого потерей привлекательности (см. Берсенев и Марков, 1998; Белоусов, 1927; Weeks, 1989).

«Тетки» и мужчины, которых они привлекали, использовали общественные места для установления сексуальных контактов.

Образовался новый контекст для формирования гомосексуальной идентичности. Многие из этих сексуализированных территорий образовывали маргинальное пространство в центре города или же располагались в местах, традиционно используемых для прогулок, в которых фланирование и откровенно пустое времяпрепровождение казались относительно невинными. Находясь в подобных местах, участники притворялись, будто интересуются совершенно невинными вещами, таким образом скрывая от обычных прохожих настоящую цель своего пребывания в этом пространстве. Жесты, элементы туалета и манера держаться, а также ритуал мужского общения давали гомосексуалам возможность распознать друг друга и завязать знакомство. Показательно, что информация об этой субкультуре в основном касается Петербурга, а не Москвы, что наводит на мысль о том, что в новой столице гомосексуальная культура появилась раньше и была более развитой.

Можно сказать, что к 1870 г. Петербург уже приобрел свою гомосексуальную географию. Особенно известен был Пассаж, крытая галерея, построенная в 1848 г. и соединявшая Невский проспект с другим местом встреч — Михайловской площадью (ныне Площадью искусств). Цепь магазинов стала идеальным местом (особенно зимой) для установления гомосексуальных контактов. К 1860 г. в Пассаже стали также собираться и шантажисты, охотившиеся на «теток», которые искали знакомства с юношами в уголках Пассажа (Мержеевский, 1878, 254). Михайловская банда, группа откровенных вымогателей, пойманных в 1875 г., была хорошо знакома работникам расположенного поблизости ресторана «У Доминика» и бильярдной внутри самого Пассажа (Кони, 1912, 154—155; Тарновский, 1885, 72). Анонимный автор доносов на петербургских педерастов отмечал: «По воскресеньям “тетки” гуляют в Пассаже на верхней галерее, куда утром приходят кадеты и воспитанники, а около 6 часов вечера солдаты и мальчишки-подмастерья» (Берсенев и Марков, 1998, 109).

К концу 1880-х тротуары Невского на всем протяжении от Знаменской площади до Аничкова моста (в обеих точках располагались общественные туалеты, использовавшиеся для установления сексуальных контактов), а также пространство вокруг Публичной библиотеки и Пассажа превратились в променады, куда приходили новички. По всей видимости, это пространство являлось наиболее удобным местом прогулок гомосексуалов, популярным (по свидетельствам участников) и в 1910-е, и в 1920-е гг. По средам «тетки» из высшего общества собирались в Мариинском театре на балет.

Представители этого класса также заказывали отдельные кабинеты ресторанов, служившие (хотя и не всегда) местами встреч «педерастов»⁷. По субботам в заведениях более плебейского толка, таких как цирк Чинизелли, собирались те, кто искал знакомств с «мальчиками-подмастерьями» или неимущими молодыми (Берсеньев и Марков, 1998, 109). Набережная Фонтанки и сад, прилегавший к цирку, оставались местами сборищ проститутов вплоть до 1920-х гг. (Руадзе, 1908, 55—56, 102—103; Белоусов, 1927, 314).

К 1908 г. одному желчному критику удалось проследить ежедневный маршрут «целой банды подозрительных молодых людей», проститутов, которые, по его мнению, входили в «гомосексуальный мирок». По утрам они собирались у цирка, в саду, где выгуливали собак, днем перемещались на Невский и в «Café de Paris» в Пассаже, а затем возвращались на набережную Фонтанки и в Таврический сад, чтобы обзавестись клиентами на вечер (Руадзе, 1908, 102—103). Наблюдения критика относительно наличия мужских любовников (некоторых нанимали) в Таврическом саду подтверждаются перепиской Михаила Кузмина и Вальтера Нувеля (Богомолов, 1995, 229).

В Москве местом средоточения гомосексуалов стало Бульварное кольцо, где под видом обычного отдыха собирались многие представители субкультуры. В дневнике Медведева 1850—1860-х гг. ничего не говорится о распространенной в гомосексуальной среде практике прогулок по городу, однако дошедшие до нас материалы суда над содомитами 1888 г. свидетельствуют о том, что к тому времени мужчины находили приверженцев однополрой любви на улицах старой столицы. Мещанин Петр Мамаев был арестован на Пречистенском бульваре после пьяной разборки с более молодым мужчиной по фамилии Агапов. Подозреваемый в мужеложстве Мамаев в конце концов признался: «Я уже лет восемь занимался мужеложством с разными лицами, незнакомыми. Выйдешь на бульвар вечером, разговоришься, и если найдешь любителя, то сделаешь с ним дело. Указать, с кем имел я дело, не могу, так как не знаю их ни звания, ни фамилии, ни места жительства. Я пытался сделать это с Агаповым так, без денег, без всякой корыстной цели, а лишь доставить себе и ему удовольствие»⁸.

⁷ «Логова» «педерастов» в ресторанах периодически раскрывались, однако информации по этим местам недостаточно (Poznansky, 1996, 10; Ушаковский, 1908, 6).

⁸ Жена и дети Мамаева жили в Екатеринбурге; ЦИАМ. Ф. 142. Оп. 2. Д. 142. Л. 148.

Случайная встреча на Пречистенке перевернула жизнь семнадцатилетнего крестьянина П., только приехавшего в Москву из Смоленской губернии и служившего в магазине. В 1912 г. на Пречистенском бульваре ему встретились «свои люди», и он вступил на путь проституции (Белоусов, 1927).

Атмосфера в этих местах была пропитана игрой обоюдного узнавания гомосексуалов по жестам и манере говорить. Описания ритуала посторонними наблюдателями полны озабоченности по поводу распространения мужской проституции и нарушения общественного порядка. Наиболее важным завуалированным способом обнаружить себя был многозначительный взгляд. Анонимный автор доносов на петербургских содомитов отмечал:

...«тетки», как они себя называют, с одного взгляда узнают друг друга по некоторым неувлимым для постороннего приметам, а знатоки могут даже сразу определить, с последователем какой категории «теток» имеют дело. (Берсеньев и Марков, 1998, 109; Тарновский, 1885, 62)

Обмен сдержанными взглядами, особенно в людном месте, показывал принадлежность субкультуре. Как отмечалось в 1908 г., солдаты и «тетки» совершали этот ритуал вблизи общественных туалетов в Зоологическом саду; они также снимали мальчиков и своих клиентов у цирка Чинизелли (Руадзе, 1908, 103). Популярными был ритуал просьбы и предложения подкурить, хотя «хулиганье» среди мужских проституток обходилось и без подобных расшаркиваний. Их клиенты, по свидетельству дореволюционного критика, узнавались по «брошенному, как бы вскользь, взору» и «особой специфической маске желания» на лице (Руадзе, 1908, 105—106, 108). Этот набор сигналов не изменился после 1917 г. Матрос, арестованный в 1921 г. во время «педерастического вечера» в Петрограде, признался, что понимал сексуальные намерения присутствовавших: «Что многие из посетителей вечеров занимались педерастией — знал, так как видел это в их взглядах, разговорах и улыбках» (Бехтерев, 1927, 170). Проститут П. заявлял, что в период между 1925—1927 гг. он «видел в лицо, встречался где-нибудь, узнавал как своих» не менее 5000 гомосексуалов в Москве.

Женоподобные жесты, манера одеваться или просто кричащая одежда служили порой ярлыками, по которым распознавались «продажные кинеды» и «тетки». Трудно, однако, установить степень, до которой подобная семиотика бралась на вооружение в каждой группе (а не приписывалась аутсайдерами). По всей видимости, с развитием гомосексуальной культуры участникам припи-

сывалось больше женоподобия. Кроме того, они и сами проявляли больше женоподобия. Шантажисты, без сомнения, воспринимали женоподобные манеры и кричащие наряды в качестве определенного кода (Мержеевский, 1878, 254; Кони, 1912, 154). Анонимный доносчик на столичных «теток» приводит длинный список подозреваемых, многие из которых характеризуются женоподобными чертами. Некоторые из них, по свидетельству доносчика, были вызывающе женоподобны на людях, а у некоторых были женские клички, такие как «Дина» и «Аспазия». Автор доносов многих из своих объектов наблюдения называл «дамами», по всей видимости исходя из того, что эти мужчины играли пассивную роль в анальных соитиях. В одном доносе он описывает Обрезкова, 60-летнего слугу из Министерства иностранных дел: «Дама любит, чтобы его употребляли люди с большими членами» (Берсенев и Марков, 1998, 114).

После 1905 г. пародии на гомосексуалов высмеивали их искаженную женственность и претензии на принадлежность к более высокому классу. Клички типа «баронесса», «графиня» или «баба» были популярны среди проститутов, собиравшихся у цирка Чинизелли, и повторяли клички проституток борделей. Предположительно, гомосексуалы одевались согласно определенному цветовому коду. Кокетки узнавались «по ярко-красным галстукам, это род гомосексуальной формы, а у некоторых из кармана торчит и красный платок» (красный галстук был тайным знаком приверженцев однополрой любви в Европе и Америке начала XX в. — Chauncey, 1994, 3, 52, 54). Иногда «тетки» и мужские проститутки наносили макияж, выходя на прогулку. Так, один парикмахер-немец после работы выходил в город «подхватить педераста», предварительно нарумянив щеки, «чтобы издали “фидели”, что я “дефка”!» (Руадзе, 1908, 55—56, 90, 105, 108, 109). В отличие от этих живописных и, вероятно, необычных персонажей, солдаты, матросы и гимназисты, предлагавшие свою любовь за деньги или из удовольствия, расхаживали по улицам Петербурга в форме, подчеркивающей их нормативную мужественность. Таким образом, мужчины, желавшие завязать гомосексуальные контакты, могли выбрать себе партнера из широкого диапазона стилей мужественности.

В отличие от политизированных нападок в прессе, сопровождавших суд над Оскаром Уайльдом, а также скандал с принцем Еуленбергом в Германии, российские «тетки» вызывали относительно сдержанный протест общественности против развращения молодежи и распространения мужской проституции. Российские

юристы, пересматривающие уголовный кодекс, сохранили запрет на мужеложство, наложенный в 1835 г., но проект закона 1903 г. признал существование молодых проститутов, которым была неведома «невинность», и предложил ввести более мягкие формы наказания за мужеложство с такими искушенными юношами (Healey, 1998). В сатирических источниках обыгрывалось увеличение численности таких юношей по мере того, как богатые и циничные «тетки» заманивали мальчиков в сети сексуального рабства. Скандальный успех «*Крыльев*» Кузмина вызвал одобрение тех, кто поддержал апологию «общей гомосексуальной культуры», и осуждение со стороны тех, кто видел в этом феномене лишь импортируемый с Запада порок. Европейские приверженцы гомосексуального освобождения заметили появление и характер русской субкультуры и делились своими наблюдениями и советами как с экспертами, так и с туристами. Однако, помимо озабоченности по поводу обращения молодых, контроль за распространением однополый любви в российских городах едва ли потревожил подпольный мир «теток» в последнее мирное десятилетие царского режима. Действительно, капиталисты воспринимали теперь русских «теток» и их дружков всерьез, открывая бани, бары и балы женоненавистников, которые тайно обслуживали потребности гомосексуальной клиентуры. В то же время, как показывает статистика, на Кавказе увеличилось число судебных разбирательств в связи со случаями мужеложства. На востоке России местные модели мужской проституции (такие, как, например, бачи в Центральной Азии — феминизированные мальчики-танцоры, удовлетворявшие сексуальные потребности мужчин, а также похищения мальчиков и их изнасилование, якобы распространенные на Кавказе) привлекали куда больше внимания царских чиновников (Healey, 1998; Baldauf, 1988).

Удивление вызывает тот факт, что, несмотря на семь лет военной мясорубки, революцию и Гражданскую войну, законченную в 1921 г., многое из того, что было характерно для гомосексуального мира до 1914 г., вновь появилось с приходом НЭПа. Прогулки по городу и мужская проституция вновь вернулись на улицы Москвы и Петрограда, в те же самые общественные туалеты, парки и бульвары, служившие своеобразным рынком, где можно было приобрести (за деньги или по обоюдному согласию) партнера по однополый любви. Новое руководство Советской России оставило вопрос гомосексуальной эмансипации непроясненным. В России, Белоруссии и на Украине советское руководство демонстративно игнорировало царский запрет на мужеложство (в про-

цессе всеобщей модернизации сексуальных правонарушений) и поддержало движение сексуального освобождения левого толка, движение, которое возглавил берлинский сексолог и защитник прав гомосексуалов доктор Магнус Хиршфельд. Биологи и доктора, получавшие финансирование от Комиссариата здравоохранения, начали исследование гомосексуальности с научной и медицинской точек зрения. В то же время клерикальная «педерастия» выкорчевывалась и подвергалась осуждению в показательных судебных разбирательствах, инсценированных в рамках большевистской антирелигиозной кампании. Более того, по мере экспансии Советского государства на юг и на восток, мужеложство и институт бачи объявлялись вне закона в новых Советских республиках, таких как Азербайджан (1923), Узбекистан (1926), Туркменистан (1927). В Узбекистане сексуальные домогательства по отношению к лицам мужского пола считались преступлением и описывались в терминах, подобных тем, которые использовались в законе от 1923 г. по защите женщин от сексуальных домогательств (Healey, 1998).

Несмотря на неясность, характерную для действий большевиков, советская милиция и отдельные юристы быстро связали женоподобие и гомосексуализм, представляя и то и другое как нетерпимый недостаток мужчин. Разгон «педерастического сборища» в Петрограде 15 января 1921 г. закончился арестом 98 матросов, солдат и гражданских лиц, многие из которых были переодеты женщинами. Гомосексуалы устроили пародию на свадебную церемонию и отмечали событие вальсами и менуэтами. Другие гости были одеты в «испанские костюмы» или «белые парики». Работала также летучая почта для доставки сообщений; один матрос получал записки «Вы мне нравитесь» и «Желаю с Вами познакомиться» (Бехтерев, 1927). Один юрист из Комиссариата юстиции оправдывал этот рейд теми соображениями, что, несмотря на декриминализацию мужеложства, открытое общественное проявление «гомосексуальных вкусов» ставило под удар известных личностей. Он предложил пресекать публичное демонстрирование гомосексуальных пристрастий по статье «хулиганство». В последующий период, однако, не зарегистрировано пресечений общественного проявления гомосексуализма и трансвестизма по этой статье. Не многие юристы высказывались по поводу этого предложения, а большинство отмечало, что отсутствие запрета на однополую любовь является знаком сексуальной революции (ГР, 1922, Healey, 1998). Нет, однако, сомнения в том, что видимое присутствие гомосексуальной культуры снизилось; дневник Кузмина утратил игривый тон, ха-

ракторный для заметок поэта 1906—1907 гг. — «веселого» времени⁹, по сравнению с осторожным существованием советского периода. Коммерческое пространство, в котором ранее была возможна гомосексуальная близость (например, бани и бары), теперь попало под контроль чиновников или же перешло в государственное владение, что привело к тому, что гомосексуальный элемент в этих пространствах стал улетучиваться (Healey, 1999, 49—57).

Психиатры, рьяно взявшиеся за осовечивание своей науки, рассматривали мужское женоподобие и мужеподобие у женщин в качестве признаков гомосексуализма. Мужеподобие наделяло лесбиянок силой, общественной активностью, умениями и талантами, то есть всеми атрибутами, которые пропагандировались во время революции. Женоподобие мужчин, напротив, делало мужчин мягкотелыми, фривольными, подверженными буржуазной тяге к роскоши (Оршанский, 1927). К концу 1920-х гг. укоренилась общественная этика, отмеченная резким неприятием игривости и погони за наслаждениями, оказывая влияние даже на врачей, склонных симпатизировать гомосексуальной культуре, и заставляя их стереть женоподобные черты гомосексуалиста из историй болезни. Женоподобие продолжало функционировать как тайный язык все более уходившей в подполье гомосексуальной субкультуры, однако официальные источники избегали любого упоминания добровольного женоподобия у мужчин. Даже за закрытыми дверями от этого воздерживались наиболее терпимо настроенные психиатры и другие ученые. В 1929 г. в дискуссии о трансвеститах и среднем поле, проводимой Ученым медицинским советом Наркомздрава, женщины маскулинизированного типа (такие, как переодетые в мужское платье армейские командиры, например) рассматривались с восхищением и одобрением¹⁰. Некоторые из таких женщин-трансвеститов требовали права заключать однополые браки. В то же время это собрание ведущих российских нейропсихиатров практически не обмолвилось ни словом о женоподобных мужчинах, мужчинах, переодевавшихся в женщин или же об однополых браках между мужскими трансвеститами. Женоподобие в мужчинах было признаком отсталости. Принято было говорить не о женоподобных гомосексуалах России, а о «нечастных туркестанских бачах», мальчиках «совершенно ярко выраженного мужского

⁹ 1920-е гг. в своем дневнике Кузмин назвал «веселым» временем, имея в виду свою сексуальную жизнь и свою дружбу с мужчинами. См.: РГАЛИ. Ф. 232. Оп. 1. Д. 62. Л. 462; Там же. Д. 66. Л. 55.

¹⁰ ГАРФ. Ф. А482. Оп. 25. Д. 478. Л. 85—87.

пола», мальчиках, которых «одевают в женское платье и портят навсегда» сексуальной и экономической эксплуатацией¹¹. Женственность в мужчинах можно было обсуждать как чужеродное, примитивное и исполненное трагизма явление, в то время как мужеподобие в женщинах становилось признаком компетентности, авторитета и, что еще более важно, верности модернизирующим (и, соответственно, русским) ценностям революции. Немногие учебники по психиатрии, в которых имелось упоминание гомосексуализма после Великого перелома первой пятилетки, начали описывать только иностранных гомосексуалов как женоподобных (Осипов, 1931, 574—575).

В годы кризиса в начале 1930-х гг. произошло слияние кампании по борьбе с проституцией с кампанией по освобождению нового социалистического города от «социальных аномалий». Преступники-рецидивисты, проститутки, отказывавшиеся идти работать на фабрику, а также профессиональные нищие формировали собственные субкультуры городской улицы, которую стремились изучить и искоренить работники социальной сферы — милиция и спецслужбы, применяя к аномальной среде все более жесткие меры. Ре-криминализация мужеложства во всех советских республиках в 1933—1934 гг. стала ответом на еще одну плохо поддающуюся искоренению аномалию — мужскую гомосексуальную культуру, несовместимую с жизнью в новом обществе (Healey, 1998). Переписка и ранние законопроекты показывают, что данная городская субкультура, выступавшая в качестве арены, где происходила «вербовка и разращение совершенно здоровой молодежи» (по сути — мужчин), вызывала серьезные опасения. Первоначальный проект закона осуждал «мужеложство... за плату, по профессии или публично», подчеркивая субкультурные аспекты данного преступления. Ничто не обозначало и не осуждало прямым текстом женоподобных гомосексуалов, советских «теток». Тем не менее в слушаниях по мужеложству после 1934 г. милиция и судебные чиновники употребляли выражения «активная» и «пассивная» половые роли для обозначения мужчин, использовавших других лиц мужского пола для сексуального удовлетворения. Официальный язык того времени отражал восприятие гомосексуальных отношений. Поскольку в законе подобных отличий не делалось и обе стороны осуждались в одинаковой мере, пристальное внимание властей к сексуальным ролям выступало как красноречивое

¹¹ Там же. Л. 86.

излишество. Озабоченность советской бюрократии «активностью» или «пассивностью» половой роли обнаруживает озабоченность правильностью сексуальных поз и выражает скрытые представления о сущности власти и пола. Так, например, в одном судебном разбирательстве 1935 г. много внимания уделялось роману между Павловым, сорокалетним холостяком, и Шелгуновым, бывшим священнослужителем 54 лет. Раненный в гениталии во время гражданской войны, Павлов «лишился способности к нормальной половой жизни». Не в состоянии исполнять «активную половую роль», Павлов стал «объектом Шелгунова» и, таким образом, «пассивным» партнером. Тем не менее на эмоциональном уровне их роли были прямо противоположны: активность Павлова находила выражение в его «духовных связях» с Шелгуновым, который на этом уровне «играл роль женщины»¹².

В документах, содержащих признания трех мужчин, связанных с театральной школой и арестованных в 1941 г., подсудимые описываются в таких же терминах. Не исключено, что подсудимые отвечали по подсказке следователей или же протоколист заменил грубый жаргон отверженных на более приемлемую бюрократическую формулировку¹³. Следствие выявляло мужчин, которые играли роль женщины; порой такие мужчины отсылались на медицинские исследования ануса для доказательства связи с «активными» партнерами.

Документы суда содержат лишь фрагментарные сведения о том, что гомосексуальная культура продолжала существовать в 1930-х гг. Не прекращалась практика променадов и сексуальной близости в общественных местах, в особенности вблизи Бульварного кольца. В ноябре 1934 г. Безбородов и Грибов¹⁴ («люди, которые способствовали ряду лиц заниматься мужеложством»), «желая распития вина», зашли на квартиру некоего Петра по кличке «Баронесса», у которого был целый притон гомосексуалистов. В суде эта квартира была названа важным «местом встречи педерастов», хотя остается неясным, где именно находилась

¹² Центральный муниципальный архив Москвы (ЦМАМ). Ф. 819. Оп. 2. Д. 11. Л. 241--242. Все имена в документах ЦМАМа были изменены.

¹³ «Я поддался на его уговоры и совершил половой акт. Сначала я выполнил роль женщины, и затем он» (ЦМАМ. Ф. 819. Оп. 2. Д. 51. Л. 16); «Мы с ними сблизились и затем совершали акты мужеложства... Сначала он использовал меня, а затем я его» (Там же. Л. 57--58; см. также Л. 29, 57 об., 100, 108 об.).

¹⁴ Записная книжка Грибова попала в руки милиции.

квартира Баронессы и его «притон»¹⁵. Туалеты у Никитских ворот и на Трубной площади были местами встреч гомосексуалов и стали местами их арестов.

Гомосексуалы продолжали делиться информацией по субкультуре. Один из обвиняемых признавался: «В 1936 г. в квартиру, где жил я, приехал артист балета Афанасьев... Он мне показал места, где встречаются педерасты: Никитские ворота и Трубную площадь». Другой обвиняемый рассказал о том, что в начале 1930-х его знакомый «говорил, что основные места педерастов были Никитские ворота, Трубная, бар на Арбате, центральные бани». Солдаты и матросы продолжали появляться в этих местах и в сексуализированном пространстве других советских городов, предлагая свои облаченные в форму тела на гомосексуальном рынке за небольшую плату — деньги, продукты, алкоголь или билеты в кино. Однако ставки возрастали по мере того, как первые жертвы законов, пресекающих мужеложство, были приговорены к пяти годам тюремного заключения (Healey, 1998).

Большинство судебных процессов над гомосексуалами в Москве 1930-х гг. проходило за закрытыми дверями, удачно скрывая подсыдимых под покровом юридической гомофобии. Окруженный тайной и практически не обсуждавшийся в прессе сталинский закон против мужеложства застал юристов, психиатров и гомосексуалов врасплох. Тем не менее мужчины, любившие мужчин, не исчезли просто так, но проходили через все ритуалы юридического процесса, включавшего в себя информированное участие бесчисленных секретарей, судей, понятых, следователей, адвокатов, милиции и тюремщиков. Все эти лица непосредственно сталкивались с изобличением частной жизни обвиняемого гомосексуала в процессе следствия и суда. Почти все обвиняемые были успешно осуждены; некоторые из них, представленные в суде как женатые, «нормальные» или «семейные люди», были оправданы после изменений в показаниях¹⁶.

Судьба мужчин, которых заклеямили как «гомосексуалистов», не могла остаться незамеченной для окружающих и, конечно, не

¹⁵ ЦМAM. Ф. 819. Оп. 2. Д. 11. Л. 241.

¹⁶ В этих документах (свободно использовавших слово «гомосексуальный») не обнаружено слова «гетеросексуальный». Мужчины, сексуальность которых считалась нормальной, именовались как «женатые» или «семейные» мужчины, семьянинами. Современное понятие гетеросексуальности, так же как и сам термин, получило распространение после того, как были найдены слова и понятия для описания гомосексуальности (Katz, 1995).

осталась незамеченной в среде гомосексуалов, многие из которых, по их собственным свидетельствам, знали об арестах своих друзей, любовников и знакомых. Теперь их жизнь окрасилась страхом, и, несмотря на то что субкультуру улиц и туалетов так и не удалось искоренить до конца, преследование заставило многих гомосексуалов перейти к подпольному стилю жизни. Несколько не пронумерованных страниц, вложенных в огромный переплетенный том судебных записок Москвы, передают удушливую атмосферу советской юридической системы, через которую прошел Павел Сильвестров, переживший суд по обвинению в мужеложстве. Три года спустя после своего обвинения в мужеложстве в Москве в 1938 г. Павел Сильвестров писал другу, очевидно человеку, близко связанному с обстоятельствами, которые привели к аресту Сильвестрова, с просьбой помочь ему получить записи суда, необходимые для получения разрешения посетить столицу. К тому времени Сильвестров уже жил в Ашхабаде и работал в местном театре. Бывший член партии, Сильвестров был приговорен к минимальному сроку за мужеложство — трем годам заключения, но после апелляции, как это часто случалось в конце 1930-х, его приговор был смягчен. Его сослали в Туркмению без права возвращения в крупнейшие города России. В письме к неназванному адресату Сильвестров писал:

Поймите меня правильно: у меня нет ни основания, ни желания Вам мстить, я только нахожу необычайно интересной ту жизненную перипетию, которая так странно привела меня на скамью подсудимых. В письме всего не напишешь, но мне очень хотелось бы Вам рассказать истинную суть дела <...> Вспомните: это был 1937—38 г., и я по национальности латыш... и, если Вы еще вспомните (то, что было в 1938 г.), что в зале суда были мои близкие, Вы поймете противоестественность моего поведения на судебном следствии <...>. Верю, что Вы не откажете в моей скромной просьбе. Другого пути у меня нет. Уже то, что я окончил институт после суда и послал (и меня?) на ответст. работу, даст мне известное право надеяться, что Вы меня примите как... человека¹⁷.

Унижающийся, в надежде на то, что давнишний знакомый отнесется к нему, как к человеку, Сильвестров, тем не менее, намекнул на то, что может потянуть за собой своего московского друга в отместку за причиненное (и не называемое в письме) зло. В его послании содержится некая невысказанная правда, так и оставшаяся

¹⁷ ЦМАМ. Ф. 819. Оп. 2. Д. 30; не пронумерованные страницы следуют за л. 47.

непроясненной, поскольку советской почте нельзя было доверять. И все же автор письма смог ясно намекнуть на страх, внушенный пережитым им испытанием в 1938 г. Неважно, насколько странными были обстоятельства, которые привели Сильвестрова в зал суда в 1938 г., и какие противоречия сопровождали его поступки во время следствия, — его собственная жизнь и жизнь его «ближайших» друзей были навечно запятнаны. Не в показательных судах или в шумихе прессы, но, возможно, в тысячах частных трагедий, таких как эта, немужественные проявления погони за удовольствием и игривостью были вычеркнуты из (текста) жизни. Вокруг субкультуры «тетки», с ее «нездоровым» употреблением мужского тела, появилось представление о недостойной уважения и объявленной вне закона мужественности. Так родилась советская гомофобия.

Елена Здравомыслова, Анна Темкина

КРИЗИС МАСКУЛИННОСТИ В ПОЗДНЕСОВЕТСКОМ ДИСКУРСЕ

Что было — то прошло. Русский мужик встает с карачек. Пора ему превращаться в мужчину.

Виктор Ерофеев

Российскую трансформацию конца XX в. можно представить как процесс (запаздывающей) модернизации общества, происходящий в контексте глобализации¹. Процесс трансформации предполагает также изменения гендерного порядка. Здесь под гендерным порядком мы будем понимать иерархически организованную систему отношений между полами, охватывающую все стороны социальной жизни — частной и публичной. Изменения гендерного порядка в России определяются не только происходящими структурными изменениями, но и исходным контекстом гендерных отношений. Иными словами, новые гендерные отношения определяются в том числе гендерным порядком позднесоветского общества, дискурсивное осмысление которого является темой данной статьи. Перед нами стоит задача понять, какие модели гендерного порядка были восприняты и усвоены тем поколением, которое сейчас активно действует в процессе переустройства России и формирует образцы отношений между полами в современном российском обществе.

В данной статье предметом анализа является интерпретация положения мужчин в позднесоветском критическом либеральном дискурсе. Статья построена следующим образом. Сначала мы рассмотрим критику российского гендерного порядка как составную часть *позднесоветского либерального дискурса*. Затем мы проанализируем *дискурс о положении мужчин*, который мы называем дискурсом кризиса маскулинности. В заключении статьи, основываясь на нашем анализе дискурса о кризисе маскулинности, мы сделаем выводы о возможных изменениях гендерного порядка в постсоветском обществе.

¹ «Глобализация — рост взаимозависимости между различными людьми, регионами и странами в мире» (Гиденс, 1999, 665),

Критика советских гендерных отношений: либеральный дискурс

В позднесоветском обществе существовали определенные дискурсивные возможности для критики существующих социальных отношений (Ионин, 1997). В *либеральном критическом дискурсе* фрагментарно обсуждались недостатки советского общества и предлагались возможные альтернативы социальных изменений.

Сформировавшись во время «оттепели» и просуществовав с разной степенью интенсивности вплоть до «перестройки», когда реформы гласности радикализировали его, либеральный дискурс создавал *квазипубличную* сферу (Воронков, Чикадзе, 1997). Этот дискурс находил место как в социологических и демографических изданиях, так и в общественной публицистике того времени. Трибуной либерального дискурса являлись *Литературная газета*, «толстые» художественные журналы: *Иностранная литература*, *Новый мир*. Мы относим к этому дискурсу и лучшие образцы советской социологии, которая по определению имела критическую функцию (Здравомыслов, 1969).

Либеральный критический дискурс подчинялся определенным правилам артикуляции, согласно которым только некоторые темы могли обсуждаться обществом. Правила дискурса предполагали внешнее и внутреннее цензурирование тем и способов их обсуждения. Базовым правилом позднесоветского критического дискурса было правило эзопова языка, или правило метафоры. Суть его заключалась в том, что разрешенная критика всегда имела скрытый смысл, она ставила под сомнения основания режима.

Положения, диагностирующие отдельные недостатки советского режима, свидетельствовали о глубинной эрозии этого режима и маскировали его неприятие. Частичная критика режима проблематизировала те аспекты советской реальности, которые казались второстепенными и несущественными, — отношение к труду, положение семьи, некоторые аспекты образа жизни (например, потребление). В этом дискурсе обсуждались и отношения между полами, роли мужчин и женщин.

Гендерные категории были несущими конструкциями либерального дискурса. Мужчина и женщина рассматривались как категории, т.е. как некоторые общности или классы индивидов, наделенные специфическими биологическими и психологическими характеристиками, занимающие определенное социальное положение. Российские мужчины (и женщины) интерпретировались

как социальная группа, все представители которой имели общий опыт и проживали свою жизнь в сходных структурных условиях, независимо от своего социального положения, классовой, этнической, религиозной принадлежности. Признание общности социального опыта позволило впоследствии Юрию Леваде и его коллегам реконструировать социально-антропологический тип советского человека, в котором мы опознаем советского *мужчину* (Левада, 1993).

Гендерные отношения, половые роли, навязанные государством, были сферой, относительно открытой для критики. Маскулинизация женщин и феминизация мужчин обсуждались как социальные проблемы. Кризис маскулинности и фемининности служил выражением кризиса советского социально-антропологического типа. Рассмотрим подробнее, по каким правилам в критическом дискурсе обсуждался кризис маскулинности (кризис мужского статуса или кризисное положение мужчины).

Метод анализа дискурса. Дискурс представляет собой систему смыслов и значений, которые иначе можно назвать фреймами (идеологическими рамками), посредством которых происходит легитимизация или делегитимизация общественного порядка. Для реконструкции дискурса нами была разработана схема анализа идеологических фреймов. Фреймы рассматриваются как аналитически выделенные структуры дискурса. Эти структуры построены как структуры сравнения и противопоставления. Мы рассматриваем, как идентичность позднесоветского мужчины создается в дискурсе через отличие от *другого* и противопоставление категорий «мы» и «они» (Taylor & Whittier, 1992). Как во всякой мягкой идеологии (Smelser, 1963), в дискурсе можно выделить несколько концептуальных рамок — фреймов: диагностический фрейм, фрейм приписывания ответственности, прогностический фрейм (Snow et al., 1986; Turner & Killian, 1972). В данном случае нас интересует в первую очередь диагноз, прогноз и способы преодоления ситуации, которую мы концептуализируем в терминах «кризиса маскулинности»; нас также интересуют и структуры сравнения-противопоставления по отношению к более успешным *другим*, использованные в дискурсе «кризиса маскулинности».

Диагноз: «Кризис маскулинности»

Социальное положение советского мужчины, принадлежащего к поколению «оттепели» — шестидесятников, в либеральном дискур-

се определяется, говоря современным языком, как кризис маскулинности. В 1970—1980-е гг. обсуждение кризиса маскулинности характерно как для российского либерального дискурса, так и для западного. Однако есть существенные различия в аргументации.

В западном контексте кризис маскулинности связывают со структурным давлением публичной сферы, предписывающей мужчинам жесткое исполнение некоторого набора ролей. Тезис о кризисе маскулинности предполагает существование некоторой нормативной модели истинной мужественности, возможность реализации модели настоящего мужчины. «Мы постоянно слышим о настоящих мужчинах, природных мужчинах, глубинной мужественности» (Connell, 1995, 45).

В позднесоветском дискурсе «кризис маскулинности» — это метафора, за которой скрывается признание социальной болезни общества. Невозможность исполнения традиционных мужских ролей, связанная с ограничениями либеральных прав (собственности, политических свобод, свободы совести), имплицитно считается причиной разрушения истинной мужественности, хотя открыто этот тезис не заявляется вплоть до конца 1980-х гг.

Наше исследование показало, что *кризис маскулинности* является дискурсивным *фактом*, т.е. общепризнанным положением позднесоветского критического дискурса. Этим термином мы обозначаем целостное состояние относительной депривации, типичное для дискурса о мужчинах позднесоветского времени, которое было сформулировано в лозунге «Берегите мужчин». Общество рассматривало мужчин этой когорты как неудачников по сравнению с нормативными моделями *других*. Мы рассмотрим, кто были эти *другие* и каковы были доводы, приводимые в качестве доказательств тезиса о кризисе маскулинности.

Дискуссия о кризисе маскулинности началась в 1970 г. статьей советского демографа Б. Ц. Урланиса в *Литературной газете*. В 70-е и 80-е гг. дискуссия продолжилась, были сформулированы показатели кризиса маскулинности: низкая продолжительность жизни мужчин по сравнению с женщинами, самодеструктивные практики, выражающиеся в так называемых вредных привычках (пьянство и алкоголизм, курение, «неумеренность в еде»), несчастные случаи как «печальная “привилегия” именно мужчин» (Урланис, 1978), рост заболеваемости среди мужчин и пр.

Совокупность аргументов, с помощью которых доказывался тезис о кризисе маскулинности, выстраивалась в своеобразную теорию виктимизации мужчин, согласно которой мужчины рас-

сматривались как пассивные жертвы собственной биологической природы или структурно-культурных обстоятельств. Мужчины в этом дискурсе — жертвы, которых трудно назвать активно действующими, творящими свою судьбу социальными агентами. Рассмотрим эти аргументы поочередно.

(1) *Демографический аргумент*: мужчины составляют количественное меньшинство населения. «Принято считать женщин слабым полом. В прямом, физическом смысле — это правильно. Однако демография утверждает обратное: слабый пол — мужчины» (Урланис, 1969). Данный аргумент иллюстрируется количественным половым дисбалансом, типичным для России, особенно в советский период. Демографический дисбаланс вызван войнами, репрессиями, в целом низкой продолжительностью жизни и высокой смертностью мужчин по сравнению с женщинами. «По данным переписи СССР 1959 г., женщин в возрасте 20—24 лет было уже на 230 тыс. больше, чем мужчин, а в возрасте 25—29 лет — на 350 тыс. В последующих возрастах эта разница быстро и неуклонно увеличивается» (Урланис, 1969). Демографический дефицит мужчин в советском обществе привел к повышению их символической стоимости и к проблематизации маскулинности.

(2). *Биологический аргумент*: мужчины как биологический вид менее жизнеспособны, чем женщины. «Мужчины в среднем живут на 10 лет меньше, чем женщины» (Урланис, 1978). Именно их, а не женщин по праву можно называть слабым полом. Их слабость становится очевидной с самого рождения (там же). Причины повышенной смертности младенцев-мальчиков следует искать «в большей биологической жизнестойкости женского организма» (Урланис, 1969).

(3). *Модернизационные аргументы*: модернизация и развитие технологии несут угрозу для мужчин. Это вызвано большей по сравнению с женщинами вовлеченностью мужчин в публичную сферу. Кризис маскулинности — это плата за гендерный разрыв в публичной сфере в пользу мужчин. Во всех индустриальных странах продолжительность жизни мужчин меньше, чем женщин. Есть лишь несколько исключений. В 1970-х гг. среди исключений назывались страны третьего мира — Шри-Ланка, Индия, Пакистан, Кампучия, Верхняя Вольта, в которых индустриализация еще не принесла разрушительных для жизни мужчин результатов (Урланис, 1969).

Критики обсуждали экономические и социальные последствия кризиса маскулинности. В качестве экономических последствий называлось, в частности, неэффективное использование мужской

рабочей силы. К числу социальных последствий были отнесены кризис семейных отношений, показателем которого был рост числа разводов; психологические и социальные перегрузки, характерные для женщин, воспитывающих детей без отцов. Один из основателей советской социологии семьи А. Харчев писал в 1979 г.: «Пьянство мужей вышло на первое место среди мотивов разводов, возбуждаемых по инициативе женщины... алкоголизм стимулирует, с одной стороны, адюльтер, с другой — импотенцию» (Харчев, 1979, 230). Массовая безотцовщина, по мнению исследователей, привела к формированию специфических образцов мужественности. Брутальная маскулинность, склонность к насилию, считали советские исследователи, соглашаясь в этом с западными, есть результат воспитания мальчиков в подростковых гомосоциальных средах, где нет воздействия старших мужчин и идет компенсаторное развитие мужской личности. В 1980 г. советские педагоги В. Каган и Д. Исаев писали:

Воспитывающиеся без отца мальчики либо усваивают «женский» тип поведения, либо создают искаженное представление о мужском поведении как антагонистически противоположном женскому и не воспринимают всего того, что пытается привить им мать. В обоих случаях складывается вульгаризированное представление о мужском поведении как агрессивном, грубом, резком и жестоком... в сугубо кулачном смысле. (Исаев и Каган, 1979, 29)

Развитие критического дискурса предполагало разработку реформ по решению «мужского вопроса», т.е. выработку стратегий по преодолению кризиса маскулинности. Предлагаемые стратегии — инструкции по мужскому выживанию — исходили из признания того, что кризис маскулинности — это «уже не биология, а социальная болезнь. Здесь действуют причины, над которыми общество властно и на которые оно может влиять» (Урланис, 1969).

Предлагаемые стратегии можно разделить на две группы. Одна из них была адресована государству и ориентирована на реформы в области социальной политики. Вторая стратегия была адресована женщинам, выполняющим традиционные роли, — женам и матерям и другим родственницам, осуществляющим функцию заботы.

Предлагаемые госстратегии в области мужского выживания подразумевали такие институциональные меры, как создание мужских оздоровительных центров. Требования привилегий для мужчин обосновывались биологическим аргументом. Утверждалось, что «мужчины — особенно определенных возрастов — дол-

жны быть поставлены здравоохранением на одно из первых мест (наряду с женщинами, работающими в неблагоприятных условиях), их приоритет надо наконец признать вполне официально» (Урланис, 1978). Здоровье мужчин должно быть признано предметом общественной заботы. Одним из практических последствий такой ориентации социальной политики стало учреждение наркологических диспансеров в 1970-х гг.²

Исследователи, ориентированные на реформы, утверждали, что мужчины после 40 лет должны быть охвачены тотальной диспансеризацией, которая будет способствовать улучшению качества их здоровья, а значит, и жизни. Однако исследования показали, что мужчины, как правило, избегают обращаться к врачам. По сравнению с женщинами, они реже обращаются к медикам, выражают меньшую озабоченность своим здоровьем. В связи с этим необходимо создавать специальные условия, которые бы способствовали диспансеризации мужчин. Обязательная диспансеризация на рабочем месте — вот выход из положения. Советские исследователи серьезно обсуждали аффирмативные действия в отношении мужчин. Урланис предлагал практические меры повышения качества жизни мужчин, в том числе создание консультационных центров для мужчин, подобных гинекологическим консультациям для женщин. Отсутствие консультаций для мужчин он рассматривает как показатель их дискриминации.

Государство должно также вести активную пропаганду против злоупотребления алкоголем и курением, борьбу с травматизмом, нервными перегрузками, все это требует разработки «системы мероприятий», то есть от государства требуется признание существующей проблемы и осуществление действий по ее решению.

Вторую группу рекомендаций по мужскому выживанию можно назвать *семейно-приватной стратегией*, которая должна быть осуществлена на уровне семьи и отношений с близкими людьми без прямого действия государства. Основным ответственным агентом осуществления этой стратегии считались женщины, которые в союзе с государством были призваны бороться против мужского вырождения. В рамках этого дискурса утверждалось, что социальным долгом женщин является спасение мужчин и оберегание их от дурных привычек. Поскольку алкоголизм, неводержанность в пище, отсутствие подвижности считалась дурными привычками, «инструкторы» адресовали свои рецепты к «любящим женщинам» и «хорошим домашним хозяйкам».

² См.: Урланис, 1978.

Кризис маскулинности продолжает обсуждаться и в постсоветском ретроспективном анализе. Осмысляя советскую цивилизацию позднесоветского периода, авторы обращают внимание на новые измерения и новые показатели относительной депривации советского мужчины. Писатель Виктор Ерофеев, например, обсуждает положение позднесоветского мужчины в терминах кризиса сексуальности:

В начале 80-х наметился (еще до всяких политических перемен) процесс женской сексуальной эмансипации, который в конечном счете оставил многих наших мужчин в довольно неловкое положение. Устойчивая роль победителя у мужчины постепенно была отнята. (Ерофеев, 1999, 36)

Еще один аспект мужского вырождения представлен его символическим измерением, т.е. определенным *хабитусом*³ советского мужчины, для которого характерно отсутствие стиля (Ерофеев, 1999, 15). Отсутствие стиля — символическое выражение советской маскулинности. Трудно определить, что это значит. Представляется, что *хабитус*, определяемый как *отсутствие стиля*, проявляется на фоне сравнения с альтернативной протестной моделью мужественности. Коллективный протест против отсутствия стиля советского мужчины выразили *стиляги* — контркультурное движение 60-х гг., которое, в частности, нашло выражение в определенных образцах мужской моды. Напомним читателям, как движение *стиляг* описывает Андрей Битов в романе «*Пушкинский Дом*» — памятнике этому поколению российской интеллигенции:

Итак — сузим брюки, утолщим подошву, удлиним пиджак. Повяжем мелко галстук. Смелые юноши вышли на Невский, чтобы уточнить историческое время в деталях... Лучшие годы (силы) не худшей части нашей молодежи, восприимчивой к незнакомым формам живого, пошли на сужение брюк. И мы им обязаны не только этим (брюками),

³ *Хабитус* — категория, введенная в социальную теорию французским социологом П. Бурдьё. Определяется как система диспозиций, порождающая и структурирующая практику агента и его представления. *Хабитус* — «это система прочных приобретенных предрасположенностей (*dispositions*), структурированных структур, предназначенных для функционирования в качестве структурирующих структур, т.е. в качестве принципов, которые порождают и организуют практики и представления, которые объективно приспособлены для достижения определенных результатов, но не предполагают сознательной нацеленности на эти результаты» (Бурдьё, 1995, 17–18).

не только через годы последовавшей, свободной возможностью их расширения, но и нелегким общественным привыканием к допустимости другого: другого образа, другой мысли, другого, чем ты, человека. То, с чем они столкнулись, можно назвать реакцией в непосредственном смысле этого слова. Как раз либеральные усмешки направо по поводу несерьезности, ничтожности и мелочности этой борьбы: подумаешь брюки!.. — и были легкомысленны, а борьба была — серьезна... Они вынесли гонения, пикеты, исключения и выселения... (Битов, 1990, 19—20)

...Пусть он просто хотел нравиться своим тетеркам и фазанессам, отстаивал свободу «всего лишь» вторичных мужских признаков, но и он кое-что вынес на своих плечах (хотя бы большую вату...), и он чего-то не вынес, чему мы оказались теперь свидетели, но и он выстоял, предоставив последующим поколениям борьбу (куда, впрочем, более легкую!) за последующее расширение брюк... (Битов, 1990, 21—22)

Экспрессивные формы протеста против стандартизации внешнего облика, отсутствия стиля и асексуальности были претензиями на свободу самореализации мужского (т.е. имели явный гендерный модус).

На нравственный кризис советского человека (мужчины) обращает внимание российский социолог Юрий Левада. Он утверждает, что «делка с дьяволом», т.е. с тоталитарным государством, стала делом всех выживших представителей образованных советских элит (напомним, что элиты в основном составляли мужчины). Эта сделка совершалась в целях самосохранения и карьерного продвижения (Левада, 1993, 31—32). Сделка с дьяволом привела к саморазрушению мужественности советского типа, разрушению структуры самой личности, особенно заметному на «поколенческих разломах». «Нравственные сделки всегда и неизменно губительны для несформировавшейся личности» (Левада, 1993, 32). Так, пьянство и алкоголизм рассматриваются как следствия нравственного упадка советского мужчины позднесоветского поколения и симптомы кризиса идентичности советского типа.

Новые аспекты и интерпретации кризиса маскулинности предлагают в последние годы социологи семьи. Они отмечают депривированное положение мужчины в советской семье, вызванное невозможностью реализации роли монопольного кормильца, доминированием женщин в приватной сфере, нарушение прав отцовства⁴.

Итак, позднесоветская и постсоветская критика единодушно поддерживает тезис о том, что позднесоветский мужчина пере-

⁴ См.: Арутюнян, 1987; Гурко, 1998; Клецин, 1998.

живает кризис маскулинности. Его идентичность дискурсивно создается как отличие от нормативного *другого*. Реконструируем те воспеваемые и прославляемые критиками нормативные образы, по сравнению с которыми реальный советский мужчина оказывается столь жалок и несчастен.

Мужчина vs. «успешные другие»

Кто же те успешные другие, с которыми сравнивался позднесоветский мужчина и по отношению к которым он испытывает относительную депривацию, то есть ощущает свое положение как недостойное и невыносимое. Нам удалось выделить пять нормативных моделей, или систем референции, которые присутствовали в критическом либеральном дискурсе. Три из них — ретроспективные ностальгические модели героев прежних дней. Две другие — синхронические модели — идеальная модель западного мужчины и нормативная модель советской женщины. Рассмотрим каждую из них подробнее.

ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ: ГЕГЕМОННАЯ СОВЕТСКАЯ МАСКУЛИННОСТЬ⁵

Одной из ретроспективных нормативных моделей выступал культовый образ мужчины предшествующего поколения, *образ отца*. Настоящий мужчина — прежде всего участник героической индустриализации страны и Великой Отечественной войны. Этот образ тиражировался советским кинематографом, литературой, искусством как положительный социально-антропологический тип⁶.

⁵ Гегемонная идеология рассматривается А. Грамши как идеология, которая претендует на господствующее положение в обществе и выражает интересы правящего класса. Термин *гегемонная маскулинность* в области гендерных исследований используется австралийским социологом Р. Коннеллом, который связывает ее с обоснованием доминирования особой группы мужчин (Garigan, Connell, Lee, 1985, 592; Connell, 1987, 183—187). Концепт гегемонной маскулинности с середины 90-х гг. появился и в российском дискурсе. Гегемонный тип мужественности на материалах российского общества анализируется Мещеркиной (1996б), Черновой (1998).

⁶ Социально-антропологический тип имеет следующие признаки: характеристики, которые ему приписываются, должны быть широко распространены, они могут выполнять функцию доминанты, т.е. быть доминирующими в общественном мнении, признаки должны быть устойчивыми и когерентными и выполнять функцию социально-культурного стандарта, который подкреплен механизмами социального контроля (Левада, 1993, 10—12)

Позднее Юрий Левада реконструирует следующие черты этого социально-антропологического типа. Во-первых, он представляет собой некоторое исключение, он существенно отличается от мужчин всех других обществ и времен. Его ценностная ориентация может быть названа государственно-патерналистской, дело, которому он служит, — это дело государственной важности. Государственная служба — его основной долг. Его жизненный путь — это путь солдата-освободителя, строителя могучей советской державы. Жизнь советского мужчины предшествующего поколения наполнена смыслом. Служение родине (государству) — его мужское призвание. Это служение достойно вознаграждается — он становится героем. Еще одна черта данного культурно-антропологического типа — способность к мужской дружбе в сочетании с готовностью подчинения, которую Левада называет иерархическим эгалитаризмом. Она предполагает соединение жесткой субординации с этосом товарищества. Догматизм и нетерпимость — также типичные черты такого типа личности, которые в положительном варианте рассматриваются как *верность принципам*. Психологические черты этого типа мужчины производны от его основной военно-защитной функции.

Героизм — существенная черта *отца* позднесоветского мужчины. Героизм отца проявляется в борьбе с очевидным врагом, в готовности пожертвовать своей жизнью, отказаться от частной жизни, в создании могучей военизированной супердержавы. Он прославляется как защитник отечества. Именно *отец* является чистым культурно-антропологическим типом «простого советского человека». По мнению Е. Мещеркиной, базовый маскулинный архетип солдата, воина — один из кирпичиков, благодаря которым была построена крепость тоталитаризма (Мещеркина, 1996б). Итак, гегемонная советская маскулинность рассматривается сквозь призму государственного служения, в первую очередь милитаристской функции.

Женщина рядом с этим героем предстает как подруга жизни, которую защищают, которая ждет коротких встреч, но одновременно сама совершает трудовые подвиги во имя Отечества. В рамках критического дискурса погибший на войне или в сталинских лагерях отец оказывается привлекательным образом, о котором можно только ностальгически мечтать. Парным нормативным женским образом становится женщина как представительница «слабого пола», который нуждается в защите. В действительности объектом защиты является не девушка, а патриархатная власть (Синельников, 1998).

По словам Левады, «главная особенность нормативных установок человека советского состояла в том, что они никогда не могли быть исполнены, более того, их неосуществимость всегда была условием их существования» (Левада, 1993, 30). Гегемонный норматив советской маскулинности оказывается очевидно недостижимым в позднесоветском времени. В критическом дискурсе ценности, лежащие в основе модели гегемонной советской маскулинности, не подвергались сомнению, но следование им теперь казалось бессмысленным. Изменилось время: никто не посягает на родину, не от кого защищать женщин и детей, обветшали советские идеалы. Вера в коммунистическую утопию, характерная для ценностей отцов, была в значительной степени поколеблена критикой сталинского режима.

Вариант второй: Традиционная русская маскулинность

Другая ретроспективная нормативная модель, к которой обращается критический дискурс, включает две версии образа традиционной русской маскулинности. *Первая версия* — *российский мужик*. Привлекательная фигура патриархального крестьянина-труженика, собственника, общинника и философа представлена убедительнее всего в прозе писателей-деревенщиков, получившей наибольшую популярность в 1970-е гг. (Распутин, Солоухин, Белов, Абрамов).

Другая модель — *дворянин-аристократ*, который в своих действиях руководствуется принципами сословной гражданской чести. Такой герой был представлен классической российской литературой, с которой советские дети знакомились в рамках обязательной образовательной программы средней школы по литературе. Мифологизация дворянина-декабриста характерна для либерального дискурса позднесоветского периода. Структура этого образа реконструирована польской исследовательницей М. Оссовской и Ю. Лотманом. Статус аристократа-дворянина предполагает некоторый набор прав и обязанностей, которые составляют кодекс чести настоящего мужчины данного сословия. Мужчина-аристократ — гарант и защитник чести женщины — представительницы слабого пола. «С дамами человек чести учтив и заботится об их репутации» (Оссовская, 1987, 145—146). Если он не следует таким правилам, светское общество подвергает его остракизму. Ритуал и символ защиты мужской чести — поединок, дуэль. Жесткие требования дворянского кодекса чести были вписаны в патриархатную структуру сословного общества, где женщине отводилась роль слабого

пола, который мог быть представлен или защищен в публичной сфере мужчиной.

Реконструкция дворянского и декабристского кодекса чести стала предметом академического интереса и общественной дискуссии именно в 1960—1970-е гг.⁷ В либеральном дискурсе позднесоветского периода образ утраченной мужественности аристократа был дополнен реконструкцией повседневных практик и кодекса чести одного специфического типа аристократии — декабриста. Классик тартуской семиотической школы Юрий Лотман утверждает, что декабристы создали новый тип российского человека (т.е. мужчины) (Лотман, 1992, 299).

Согласно Лотману, декабристы сознательно вводили практики, которые напоминают знающему читателю модельные практики идеальной речевой ситуации⁸ публичного дискурса, поскольку были ориентированы на идеалы гражданской доблести, воспитанной античной республикой. Для стиля декабристов характерно соответствие слова и дела, позиции и поведения. Повседневная жизнь декабристов становится политическим действием, символом их протеста против светского общества и самодержавного государства. Слово становится перформативным. Повседневный светский разговор (small talk) рассматривается декабристом как *praxis*, как сфера утверждения республиканской добродетели. Он тот, кто совершает, словами Х. Арендт, *деяние, поступок* (политически сознательное публичное действие).

Воссоздавая недостижимый для советского мужчины-интеллектуала идеал, Лотман подчеркивает, что суждения декабристов никогда не были морально нейтральными — самые повседневные поступки они обсуждали в терминах моральной дихотомии между тиранией, подлостью и либерализмом, героизмом (Лотман, 1992, 305). Романтический образ декабриста предполагал также *дебоширство*, которое считалось выражением либерального мировоззрения. Мир «разгульного поведения» представлялся как автономная сфера личной свободы, мужского товарищества, вольнодумства, считался признаком гражданской добродетели — потенциалом политичес-

⁷ Осознание невозможности следовать старым традициям в новых условиях характерно для советского либерального и диссидентского дискурса. Годовщины восстания декабристов стали поводом для инициативных демонстраций диссидентов и представителей контркультуры. Конечно, эти демонстрации разогнались, а их участники задерживались как нарушители общественного порядка.

⁸ Идеальная речевая ситуация — понятие Ю. Хабермаса, обозначающее возможность равноправной, свободной коммуникации (Habermas, 1984).

кого протеста (Лотман, 1992, 319). Культ экзальтированной мужской дружбы, основанной на общих идеалах, противопоставлялся другим отношениям (с женщинами и членами семьи).

Такая нормативная модель патриархатного мужчины была подержана в советской историографии дополняющим образом женственности в культе жен декабристов. Согласно нормам обычного права, следование за ссылаемыми мужьями было традиционной формой поведения (Лотман, 1992, 314—315). Однако в либеральном позднесоветском дискурсе следование за мужем наделялось смыслом героического добровольного выбора со стороны жен, которые должны разделить судьбу мужа-декабриста-диссидента.

Недостижимый идеал настоящего мужчины — декабриста, противостоящего деспотизму и тирании, равно как и его хабитус, сочетающий уверенность в себе, любезность, куртуазность, дебош, был мечтой советской интеллигенции и пропагандировался лучшими образцами советского творчества. Воспевание этого образа мы находим в текстах культовых фигур бардов — Окуджавы и Высоцкого. Герои песен Окуджавы — кумира советских шестидесятников — это офицеры царской армии, герои наполеоновских войн, либеральная аристократия XIX в. Кавалергарды, дуэлянты, гусары — герои Отечественной войны 1812 г. считались носителями разделяемых всеми либеральных идеалов. Интериоризованный либералами этос декабриста предполагает, что: «не покупается честное имя, талант и любовь» (Окуджава).

Вариант третий: Западная гегемонная маскулинность

Критический дискурс 1960-х гг. был ориентирован на образы мужчин, тиражированные в западном массовом искусстве, на образы, создаваемые классическими произведениями Ремарка и Хемингуэя, кинематографом, журналом *Иностранная литература*. Это образ ковбоя, независимого, благородного, уверенного в себе, одинокого, строящего жизнь в согласии с кодексом чести, готового и способного защитить слабого. Такой герой противопоставит несправедливости общественного устройства в одиночку или с верными друзьями. Его жизнь — Одиссея, полная приключений, опасности, борьбы и побед. Женщина связана с этим мужчиной фрагментарно через отношения любви, как партнер она исключена из его мира. Этот концепт маскулинности предполагает веру в индивидуальную свободу, силу автономной личности. Оссовская отмечает, что образ ковбоя из вестернов во многом подобен образу средневекового рыцаря (Оссовская, 1987, 164).

Такие образы мы находим в американских вестернах: культовым фильмом советских стилист была «*Великолепная семерка*». В образах его героев представлена та самая гегемонная маскулинность, которая реконструирована феминистскими исследователями (Connell, 1995). Гегемонный образ мужественности, культивируемый либеральным дискурсом, это образ гетеросексуального мужчины, профессионала, выполняющего мужскую работу, сексуально активного и финансово состоятельного, жестко отделяющего себя от женского мира, мира семьи и эмоций. Он отделяет себя и от тех мужчин, которые занимают более низкое положение в социальной иерархии и неспособны к соответствующим подвигам.

Эта нормативная модель, так же как и предыдущие, не имела шансов воплощения в советском обществе, ограничивающем права собственности, возможности политического волеизъявления и независимого действия. Символические фрагменты этого типа мужественности находили свое выражение в альтернативной культуре.

Вариант четвертый: советская женственность

Мужественность как нормативная модель формируется только в сопоставлении с некоторой моделью «женственности» и в противопоставлении с нею. «В культуре, не рассматривающей женщин и мужчин как носителей полярных характеров, не существует понятия маскулинности в том смысле, которым оперирует современная североамериканская культура» (Connell, 1995, 68).

В позднесоветском критическом дискурсе тезис о *кризисе маскулинности дополняется тезисом о кризисе женской роли, обусловленном советской политикой в отношении женщин*. Социально-защитная политика представляла женщин как граждан(ок) особого типа, которые в силу своих биологически заданных гражданских обязанностей нуждаются в государственной поддержке. Мужчины оказываются депривированными по сравнению с эмансипированной, социально защищенной женщиной, обладающей сильными позициями в приватной сфере, в первую очередь в качестве матери.

Женская эмансипация рассматривается в таком дискурсе как негативный результат советской гендерной политики. Эмансипация создает специфический социально-антропологический тип — гегемонный тип суперженщины — «*работающей матери*»⁹. Этот

⁹ См.: Rotkirch & Temkina, 1997; Temkina, 1997; Здравомыслова, Темкина, 1996.

образ подвергается критике либералами (Баранская, 1969). Признается, что эмансипация привела женщину в советскую публичную сферу, сохранив за ней властные преимущества в семье. Советская женщина доминирует в приватной сфере, а мужчина оказывается в ней некомпетентным. Одновременно социальная политика направлена на защиту женщины, как работница и мать она имеет множество льгот и привилегий. В соответствии с советским законодательством женщина имела преимущества при разводе, отцовские права ущемлялись, что создавало возможность женщинам манипулировать мужчинами при разрешении семейных конфликтов. Доминирование женщин в советской семье исследовано и аргументировано многими авторами¹⁰. В результате «русская женщина статистически на работе вралла куда меньше, а дома куда меньше пила. Она соображала лучше и была укоренена в сегодняшнем дне. Она стирала, гладила, красила губы даже в самый разгар культа личности... Любовь для нее была важнее коммунизма» (Ерофеев, 1999, 12).

Итак, позиция мужчины в позднесоветском либеральном дискурсе представлялась как более уязвимая по сравнению с позицией женщины. Это было связано с тем, что в либеральном патриархатном дискурсе женщина рассматривалась как слабый пол, как зависимая от мужчины — кормилица и защитника, главы семьи, в то время как советская повседневность противоречила этому образу. Женщина оказывалась экономически независимой от мужа и отца. Кроме того, она сама вступила «в сделку» с государством как мать, противопоставляя себя мужчине-отцу. В критическом дискурсе подчеркивалось, что рядом с эмансипированной советской женщиной мужчине сложно выступать с позиции сильного пола. Так, например, А. Харчев писал в 1979 г.:

В условиях сопровождающего эмансипацию женщин интенсивного духовного развития женской молодежи ровесники современных невест не всегда оказываются способными выполнять по отношению к ним функции «сильного пола» в сфере знаний, интеллекта, вкуса. (Харчев, 1979, 209)

Этот тезис нашел свое выражение в критике маскулинизации женщин. Соответственно был выдвинут аргумент феминизации

¹⁰ См.: Попова, 1989; O. Zdravomyslova, 1996; Arutyunyan, 1996; Ries, 1997; Schulman, 1977.

мужчин. Харчев отмечает «у части мужской молодежи симптомы феминизации, инфантилизм, отсутствие самостоятельности» (Харчев, 1979, 209). Положение женщины делало ее ответственной, сильной и способной к управлению *другими*, к которым относились и мужчины, находившиеся в зависимости от женской заботы. Женская забота — забота матери и супруги — оказалась ресурсом власти и часто рассматривалась как насилие.

Прямой контракт женщины с государством основывался на идее ее биологического предназначения и мобилизации ее продуктивной и репродуктивной силы: государство поддержало независимость женщины от мужчины. Ее слабость обернулась силой.

Итак, в рамках критического дискурса утверждалось, что рядом с советской Женщиной советский мужчина оказывался зависимым, подавленным и манипулируемым, т.е. депривированным. Советские матери и жены — это представители сильной позиции. Протест против гендерной субординации в семье выражался в культивировании образа мужчины, склонного к супружеским изменам, готового к любовным похождениям¹¹. Власть женщины рассматривалась как угроза истинной мужественности. Женщины — матери и жены объявлялись ответственными за неосуществленную маскулинность.

Именно воссоздавая эту логику, советские либералы-шестидесятники не могли считать семью убежищем и утверждали свою автономию в практиках сексуальной свободы, когда удачный половой акт — это уже восстание, а страсть — это мыслепреступление (Оруэлл, 1992, 70).

Итак, бегство от семейного долга в компанию друзей стало стратегией утверждения компенсирующей маскулинности. Квазипубличная сфера дружеского мужского общения стала ареной утверждения истинной маскулинности, попыткой воплотить хотя бы частично нормативные модели.

Альтернативные образы и практики маскулинности

Советская система давала очень мало шансов реализации гендерных нормативных моделей, взлелеянных коллективными представ-

¹¹ См. статью Лисюткиной о мизогинии в отношении матерей-монстров (Lissjutkina, 1999).

лениями советских людей. Однако некоторые фрагменты этого поведения находили выражение в альтернативных, не одобряемых советским официальным обществом практиках поведения, которые считались привлекательными для критиков-либералов. Назовем некоторые альтернативные практики позднесоветской маскулинности, которые объединены протестом против советской гендерной системы и ориентацией на компенсирующую маскулинность. Эта *компенсирующая маскулинность* имела патриархатный характер и находила выражение в советской неформальной или квазипубличной сфере.

К этой сфере относятся сфера теневой экономики, диссидентского движения, культурных и элитных сред. Гендерная конструкция в этой сфере была гораздо более патриархатной, чем в советской квазиэгалитарной. Настоящая мужественность и ее атрибуты — политическое участие, экономическая независимость, своеобразный стиль и сексуальность — должны были выразиться в соответствующих гендерных взаимодействиях и отношениях. Деяние, Честь и Стиль становились атрибутами альтернативных маскулинностей.

Женщины в квазипубличной сфере становились подругами, музами, домашними хозяйками, обеспечивающими инфраструктуру для действий мужчины¹². Это женщины, выполняющие так называемую экспрессивную функцию в семье, которая дополняет инструментальную функцию, выполняемую мужчиной¹³. Женщина осуществляет заботу о мужчине, который занимается «настоящим мужским занятием», так же как и о других членах семьи.

Среда контркультуры является сферой, где частично реализуются практики истинной мужественности, доступные в позднесоветское время: мужская дружба, групповые выпивки, спорт, туризм, сексуальные приключения. Примером является стиль жизни «положительного физика», который «поет под гитару, пьет водку, дерзает, имеет любовницу, бьет по морде отрицательного физика, а в свободное время жертвует собой ради науки» (Вайль и Генис, 1998). Этот «физик», специалист в новых технологиях, покоритель природы и женщины, создает для себя пространство, относительно независимое от государства, где и реализует практики истинной мужественности.

¹² См.: Вайль и Генис, 1998; Чуйкина, 1997; Здравомыслова, 1996а, 1996б; Cushman, 1995; Pilkington, 1994.

¹³ См.: Parsons, 1955.

Вместо заключения. Возникновение дискурса о новой мужской идентичности

«Русский мужик встал с карачек. Пора ему превращаться в мужчину... Мужчина — это такой мужик, который нашел his own identity и перевел на русский язык» (Ерофеев, 1999, 9). Вопрос об идентичности становится важнейшим вопросом современного российского общества, которое в процессе трансформации структур постоянно обсуждает, т.е. определяет и переопределяет, *себя*. Сфера обсуждения — это дискурсивная сфера. В современном дискурсе обсуждаются кризис идентичности, ее разрушение, конструирование, коррекция, возрождение, создание новых личных и коллективных историй, биографическая работа. Кризис идентичности обсуждается и в гендерном модусе, т.е. в связи с самоопределением по полу и исполнением половых ролей. Производство гендерной идентичности в постсоветское время — это производство соответствующих вариантов отношений мужественности и женственности, обсуждение и примерка старых образцов и переговоры по поводу утверждения новых.

Трансформационные реформы в России стали рассматриваться как шанс утверждения некоей настоящей мужественности, которая не могла реализоваться в позднесоветское время. Либеральные критики, создававшие идеологию «перестройки», предполагали, что новый порядок даст возможность развиваться гегемонной патриархатной маскулинности автономного, независимого, либерального собственника, для которого открыты возможности, предоставляемые всеми демократическими свободами, и который возвращает женщину в рамки традиционной роли. Новая мужская идентичность строится на основе недостижимых в советское время нормативных моделей «настоящего мужчины», создает себе новую рамку, складывающуюся из фрагментов недостижимых идеализированных *других*. Дискурсивными средствами для формирования новых мужественностей могут служить профессионализм и автономия «ковбоя», «настоящая мужская профессия» защитника Родины, либеральные взгляды, честь, достоинство дворянина. Происходит формирование однородных по полу — мужских гомосоциальных полей (Кон, 2000) — профессий, субкультур, образов, дисплея, вкуса. Главная черта новой идентичности — ее наступательный характер. На смену конфигурации жертвы — виктимизации советского мужчины в позднесоветском критическом дискурсе — приходит мужчина, претендующий на гегемонию, т.е. на монопо-

лию власти. Новый истинный мужчина противопоставляет себя советскому прошлому и криминальному настоящему (Чернова, 1998). Он не приемлет зависимости от государства в публичной сфере. Это профессионал, все статусные характеристики которого приближены к типу современной гегемонной маскулинности западного мужчины — автономного, рационального, собственника, имеющего либеральные права (Ушакин, 1999; Синельников, 1998). Новый мужчина утверждает свою наступательную сексуальность. В сексуальной сфере он становится агрессивным завоевателем. Как указывает Жеребкин, главная мужская фантазия сегодня — «грахать женщин и строить нацию». Секс — это не сексуальное партнерство, а инструмент сексуального исключения другого. Пассивность, покорность женщины становятся реализацией маскулинной мечты (Жеребкин, 1999, 282).

Образ мужественности оформляется стилистически — тиражируемым в средствах массовой информации обликом физически сильного, здорового, богатого, дорого и со вкусом одетого мужчины.

Женственность, дополняющая самоутверждающуюся маскулинность, предстает в двух традиционных российских вариантах: домохозяйки + сексуального объекта и в новом варианте — деловой женщины. Возвращение женщины в дискурс происходит в разнообразных вариантах, но базовым становится традиционно-патриархатный¹⁴.

Таким образом, дискурсивными способами преодоления кризиса маскулинности становятся преимущественно патриархатные образцы, которыми, однако, не исчерпываются возможности мужской идентичности. Дискурс открыт, например, для гомосексуальности, идет процесс поиска и создания разных типов маскулинности. В доминирующем дискурсе, однако, мужчина становится тем самым либеральным субъектом, который является основой «настоящего» патриархата, никогда не достигавшегося в советское время.

¹⁴ По данным Н. Нечаевой, патриархатную картину мира в настоящее время разделяют 73% мужчин и 48% женщин (Нечаева, 1999, 16).

Жанна Чернова

РОМАНТИК НАШЕГО ВРЕМЕНИ: С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ*

В этой статье анализируется образ «настоящего» мужчины, создаваемый бардовской культурой позднесоветского периода (конца 60-х — середины 80-х гг.). Актуальность темы данного исследования обусловлена тем, что образ «советского» мужчины остается социологически неосмысленным, несмотря на то влияние, которое он оказывал и продолжает оказывать на формирование современной гендерной культуры российского общества.

Одной из причин недостаточной изученности образов и образцов советской и российской мужественности является то, что данный социальный феномен содержательно встроен в дихотомию публичной и приватной сфер. Традиционно, в рамках доминирующего научного дискурса западной социальной теории образы маскулинности, специфика их формирования и репрезентации исследуются в качестве феноменов *публичного* пространства. Подобный подход сложился как следствие существовавшего отождествления понятий «человек» и «мужчина».

Несколько иначе данная проблема представлена в рамках советской и российской социологической теории. При изучении гендерной культуры механическая экстраполяция этого подхода представляется малоэффективной в силу ограниченности использования дихотомии публичного/приватного для изучения социального пространства советского общества, поскольку существует

* Я бы хотела поблагодарить Европейский университет в Санкт-Петербурге за финансовую поддержку проекта, а также выразить благодарность Елене Здравомысловой, Анне Темкиной, Ирине Тартаковской, Милене Кондратьевой, Жанне Корминой и Сергею Штыркову за помощь при подготовке статьи.

ряд значимых социокультурных феноменов и практик повседневной жизни, возникших и функционирующих в области *пересечения* этих двух сфер. Использование бинарной оппозиции привело бы к тому, что они остались за пределами внимания исследователей. Вслед за Е. Здравомысловой для анализа пересечения этих двух сфер я использую термин «*квазипубличная сфера*» (Здравомыслова, 1996а)¹. В качестве феноменов квазипубличной сферы советского общества были выделены блат, как система неформальных отношений (Леденева, 1997), диссидентское движение (Чуйкина, 1996, 1997), контркультура «тусовки» (Здравомыслова, 1996а). Фестиваль авторской песни им. В. Грушина также можно категоризовать в качестве одного из них.

Таким образом, цель исследования заключается в том, чтобы реконструировать альтернативный образ мужественности в одной из сфер общества позднесоветского периода. Материалом для анализа выступили 13 биографических интервью с участниками и организаторами фестиваля авторской песни им. В. Грушина, проведенные в 2000 г., а также тексты культовых для данной субкультуры песен.

60-е гг. для советского общества — это эпоха, в которой «романтика и свобода стали синонимами» (Вайль, Генис, 1998, 126). Данное определение не является случайным, в ряде обществоведческих текстов, посвященных описанию и анализу социокультурных феноменов и процессов общества советского периода, сложилась достаточно устойчивая традиция определения времени хрущевской «оттепели» как периода романтизма. Подобная терминологическая референция обусловлена совпадением векторов трансформационных процессов, происходивших в сферах общественной жизни. Рассмотрим данный тезис подробнее.

Термин «романтизм» в социальных науках обладает устойчивой коннотацией, он обозначает «идейное и художественное движение, возникшее в европейских странах на рубеже XVII и XIX вв. и получившее отражение в различных областях науки и искусства».

¹ На основании тезиса Ю. Хабермаса о том, что для развития буржуазной публичной сферы необходимо формирование пространства коммуникации, Е. Здравомыслова вводит термин «*квазипубличная сфера*» для изучения «тусовки» как элемента позднесоветской контркультуры. По мнению исследовательницы, данное понятие позволяет обозначить структурно ограниченные возможности функционирования в советском обществе независимой от государства коммуникации (Здравомыслова, 1996а).

ва» (БСЭ, 1955, т. 36, 656). Конституирующим элементом данного культурного направления выступала идеология «классического» романтизма. Эта идеология, во-первых, включала в себя критику монитаристского, подчиненного принципам рациональности устройства капиталистического общества и сопутствующего ему буржуазного стиля жизни, ограниченного ценностями мещанского, потребительского мировоззрения, и, во-вторых, ориентировалась на поиск новых идеалов общественного устройства и гармонично развитой личности.

В рамках литературного романтизма конца XVII — начала XIX в. большим значением обладал культ субъективного мира человеческих чувств и природы, нашедший свое выражение в многообразии лирики. В центре внимания романтиков находились исключительные жизненные обстоятельства и личности — герои, внутренний мир их переживаний, вызов, который они бросали обществу.

Использование концепции «романтизма» в аналитическом описании социокультурной ситуации *советского* общества позволяет найти сходство и обозначить специфику «советского» романтизма по сравнению с «классическим». К сходным социокультурным тенденциям обоих типов романтизма можно отнести акцентуацию личности и ее внутреннего мира в лирических художественных произведениях, конфронтацию с существующим общественным устройством, воспринимаемым как тоталитарный, деперсонифицированный и мещанский. В качестве одной из характерных *особенностей* «советского» романтизма можно отметить то, что его критическая составляющая была реализована исключительно в сфере *повседневности*, в силу того что сфера политической деятельности не имела «антропологического значения» (Ионин, 2000, 340) для «простого» советского человека.

Основные идеи и главные принципы новой эпохи Романтики, захватившей советское общество в конце 60-х гг., были сформулированы и провозглашены в текстах популярных контркультурных песен этого периода. Само искусство самодетельной авторской песни как феномен «массовой» культуры можно рассматривать как показатель ослабления официальной идеологии, как временный отход от монотипической культуры социалистического реализма (Ионин, 2000). Тексты бардовских песен представляли собой лирические произведения, внимание их авторов было посвящено субъективному опыту переживания любви, предательства, измены, наслаждению природой и единоборству с ней. Тексты песен носили «идеологический» характер, т.к. в них утверждались

ценности «романтического» бытия, включающие в себя товарищество и дружбу, верность и взаимопомощь, стремление к преодолению себя и ориентацию на антипотребительский стиль жизни. В одном из интервью суть этой идеологии определялась так: «Барды, это то, что душа поет. У них не стоит материальное на первом месте, у них на первом стоит духовное» (А., 51 г.). Аналогичная тема артикулировалась и в песнях:

Люди посланы делами, люди едут за деньгами,
Убегают от обиды, от тоски.
А я еду, а я еду за мечтами,
За туманом и за запахом тайги.

(Ю. Кукин, «За туманом»)

Подобные песни пели «не артисты, а студенты, инженеры, учителя, которые в свободное время были туристами, аквалангистами, путешественниками» (Вайль, Генис, 1998, 134). Авторская песня, таким образом, является, с одной стороны, средством презентации и популяризации творчества «новых» авторов — самодеятельных бардов, несущих «романтические» или детотализированные ценности свободы. С другой стороны, посредством этого жанра создаются и тиражируются новые образы «настоящей» мужественности (романтика барда, альпиниста и др.).

Происходившие в этот период перемены затрагивали все сферы общественной жизни: изменился не только характер повседневной жизни, но и стиль, символы, герои эпохи. Наравне с героем-Коммунистом, героем — Воином-Освободителем существовал и герой-Романтик. Несмотря на явную метафоричность категории, этот идеальный тип имеет достаточно определенные проявления, вписанные в культурный контекст советского общества 1960-х гг. Одним из героев, «настоящим» мужчиной этого поколения, стал представитель научно-технической интеллигенции, так называемый «физик» (например, ученый Гусев (А. Баталов) из кинофильма М. Ромма «Девять дней одного года»), турист и/или спортсмен, поклонник и исполнитель авторской песни.

Прежде чем перейти к описанию *типа* мужественности, создаваемого в рамках бардовской субкультуры, необходимо рассмотреть *контекст* его появления, т.е. само искусство авторской песни конца 60-х гг.

Феномен бардовской песни представляет собой один из элементов культурного проекта советского времени. Хронологически его возникновение относится к концу 1950-х гг. Контекст его

появления определяется в первую очередь теми социально-политическими изменениями, которые произошли в советском обществе в этот период. Возникновение новой социокультурной ситуации определялось тем, что официальная культура перестала быть моностилистической, т.е. гомогенной как по форме, так и по содержанию. Это позволило создать структурно обусловленную вероятность перехода к полистилистической культуре, к существованию гетерогенного культурного дискурса. Движение от моностилистической к полистилистической культуре явилось причиной возникновения новых, альтернативных официальному дискурсу культурных проектов позднесоветского времени. Одним из них стала авторская, бардовская песня. Известный автор и исполнитель Юлий Ким так описывает эту ситуацию:

В 50-е годы на фоне надоевшей уже тотальной лжи, в которой жило наше общество, естественно возникла мощная потребность в правде. И неудивительно, что за дело сочинения песен взялась сама «публика», потому что у композиторов не было ни малейшего навыка, ни малейшего опыта для выражения этих новых интонаций, которые зазвучали в голосе нашего поколения. Графомания охватила всех... Произведениями же искусства можно назвать лишь более поздние песни. А тогда зазвучали неслыханные ранее доверительные, личные, искренние интонации, причем не только в песне, но и в поэзии, и в театре. (Цит. по: «*Бардовская песня...*»)

Несмотря на «протестный» характер своего возникновения, авторская песня заимствовала некоторые сложившиеся фольклорные традиции — в первую очередь, городского романса. Тем не менее вполне очевидно, что бардовской песне присущи и свои черты, делающие ее уникальным песенным жанром. К этим чертам можно отнести примат текстов над музыкой, «свободу» как единый лейтмотив, самодеятельный, само-творческий характер, находящий свое выражение в возможности каждого стать ее автором как при создании, так и при исполнении; а также камерность, искренность, неформальную лиричность — иными словами, все элементы, придающие «теплоту» этому жанру.

Фестиваль им. Валерия Грушина является, с одной стороны, примером институционализации феномена бардовской песни в позднесоветский период, с другой — конкретным механизмом конструирования мужественности в рамках субкультурной среды. Выбор фестиваля в качестве исследовательского поля был обусловлен следующими причинами. Во-первых, он представляет со-

бой массовую символическую акцию, в ходе которой происходит не только формирование коллективной идентичности членов КСП (клуба самодеятельной песни) — одного из самых массовых молодежных движений советского периода, — но и трансляция основных ценностей данной субкультуры на более широкое сообщество «романтиков» позднесоветского времени. Во-вторых, фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина представляет собой один из немногих существующих до сих пор культурных проектов конца 60-х гг. Он является наиболее известным и массовым праздником бардовского искусства как для бывшего СССР, так и для современной России. Обратимся к истории возникновения фестиваля.

Фестиваль: социально-исторический КОНТЕКСТ

Есть на свете такая страна /Без названия и без столицы,
Где негромкой гитары струна/Служит пропуском через границу.
В той стране с незапамятных пор/Есть обычай — найдешь ли чудесней —
В царстве рек, подземелий и гор/Петь свои самодельные песни.

Г. Васильев, «Есть на свете такая страна»

Впервые фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина был проведен в 1968 г. в Жигулях, в Самарской (Куйбышевской) области как слет туристской песни им. Валерия Грушина. Фестивалю было присвоено имя студента авиационного института, туриста, автора и исполнителя песен Валерия Грушина, который погиб в 1967 г., спасая тонущих детей на реке Уде в Восточном Саяне.

Первые пять-шесть фестивалей по форме организации и содержанию представляли собой туристские слеты, т.е. оставались локальным коллективным действием самарских туристов. Но именно в этот период сформировался фестиваль как массовая акция, включающая в себя определенный антураж, традиции и ритуалы, был выбран природный ландшафт (Мастрюковские озера, Самарская область), который оказался определенным образом вписан в систему референций данной субкультуры. Природа оказалась представленной как антураж *туристского сообщества*: склон горы стал зрительным залом («Гора»), сценой — сначала простой плот, который затем по форме превратили в плавучую

гитару («Гитара»), традиционным стал также поход в жигулевскую «кругосветку» после закрытия фестиваля. Участники во время проведения акции живут в палаточном городке, в котором костер, с одной стороны, используется для приготовления пищи, с другой — выступает в качестве символа единения, места коммуникации.

К началу 1970-х гг. фестиваль приобрел общесоюзную известность и собирал порядка 18 тыс. участников более чем из 50 городов (на первом фестивале, в 1968 г. было 600 участников). Из туристических слетов он превратился в фестиваль с собственными традициями и творческой программой. В работе фестиваля принимали участие многие известные советские барды (Ю. Визбор, А. Дольский, А. Городницкий, В. Берковский и др.) Известная песня Ю. Визбора «*Милая моя*» имеет посвящение «*6-му Грушинскому*».

Таким образом, фестиваль стал и значимой символической акцией, со своей историей, традициями, ритуалами и важным механизмом создания коллективной идентичности членов сообщества любителей и исполнителей авторской песни. Несмотря на это, в рамках официального дискурса фестиваль определялся в качестве «локальной» акции самарского туристического сообщества. Его работа освещалась в основном областными средствами массовой информации, сообщения о проведении фестиваля распространялись по неформальным сетям бардовского и туристского сообщества в пределах СССР.

С середины 1970-х гг. фестиваль существовал в ситуации потенциальной угрозы репрессий. Для того чтобы избежать его запрещения, происходит попытка интегрирования фестиваля в официальное политическое пространство. Была осуществлена реорганизация структуры и содержания программы: из туристического слета он превратился в один из многих конкурсов самодеятельных исполнителей, возникло внутреннее цензурирование текстов. Таким образом, став лояльнее по отношению к власти, фестиваль приобрел узнаваемые черты советского публичного действия — с его идеологической выдержанностью текстов, отретпетированностью программы и предсказуемостью лауреатов и пр.

Однако, несмотря на предпринятые попытки балансирования между сохранением первоначальной идеи — «духа фестиваля» — и требованиями идеологического дискурса, в 1980 г. фестиваль был закрыт. Согласно официальному объяснению, он мешал проведению Олимпийских игр в Москве. Следующий Грушинский фестиваль был проведен только через семь лет. За это время были пред-

приняты попытки реформирования как формы, так и содержания фестиваля. Одна из таких попыток заключалась в том, чтобы проводить фестиваль поочередно в разных городах, превратив его тем самым в закрытый фестиваль клубов. В 1986 г. возрождение Грушинского явилось, с одной стороны, результатом коренных изменений, происходивших в стране в целом, с другой стороны — итогом кропотливой и упорной работы организаторов, стремившихся как восстановить работу фестиваля, так и выработать новые принципы его организации.

Описанный выше социокультурный контекст возникновения и становления фестиваля авторской песни им. Валерия Грушина позволяет рассматривать его как уникальное явление. Можно предположить, что в рамках контркультурной, альтернативной среды конституировались нормативы межличностных отношений, отличающиеся от официально декларируемых. В этой среде формировались альтернативные типы мужественности и женственности «советского человека». В данном исследовании нас интересуют гендерные характеристики наиболее типичного участника фестиваля — научно-технического сотрудника, а также туриста, альпиниста, барда, иными словами — мужчины. Представляется, что альтернативность данного типажа по отношению к нормативному «советскому человеку» выражена именно в этом образе мужчины — «покорителе природы»; поэтому мы и считаем возможным рассматривать один из вариантов «иной» советской мужественности на примере участников сообщества любителей и исполнителей авторской песни.

Являясь одним из каналов ретрансляции и ратификации нового образа мужественности, легитимации его в качестве одного из субъектов референции, фестиваль не только предоставлял «альтернативному» мужчине определенную социальную нишу. Фестиваль выступал своего рода механизмом производства нормы в текстах и музыке песен и — одновременно — способом воспроизводства этой нормы в биографиях своих участников. Поэтому на основе анализа биографических интервью с участниками и организаторами фестиваля и анализа текстов песен возможна реконструкция мужественности, свойственной конкретному историческому периоду (конец 60-х — начало 80-х гг.) и определенной социальной группе (научно-технической интеллигенции). Реконструируемый в этой статье образ является одним из вариантов «настоящей» мужественности советского и постсоветского времени.

«Мы» и «они»: механизмы создания мужественности

Фестиваль как один из способов институционализации авторской песни представляет собой символическое действие, посредством которого происходит репрезентация и ратификация культуры и идеологии сообщества в публичном дискурсе. Одна из задач фестиваля заключается в поддержании коллективной идентичности членов среды при помощи позитивной и негативной идентификаций.

Позитивная идентификация осуществляется посредством создания «мы» — конструкта, т.е. коллективного образа, «настоящего» мужчины. Его формирование происходит путем создания и репрезентации определенных культурно-символических кодов сообщества, мифологизации фигуры лидера и пр. Создаваемый образ «настоящего» мужчины определяется в качестве субъекта референции и идентификации для членов туристской субкультуры.

В свою очередь, технология негативной идентификации направлена на определение и отделение от «мы» — конструкта образа иного, другого. «Настоящая» мужественность дистанцирует себя от «ненастоящей», очерчивание периферии создает символическое пространство центра, занять которое и стремится настоящий мужчина. Таким образом, происходит легитимация социокультурного доминирования «настоящего» мужчины.

Миф о Герое

Необходимым элементом для создания коллективной идентичности являются групповые «мифы», включающие в себя историю возникновения и становления сообщества, его субкультуры, культ лидера и героев движения. Значимость фигуры лидера обусловлена тем, что она является не только объектом, но и субъектом формирования идеологии сообщества, коллективной идентичности его членов.

Один из главных символических знаков данной субкультуры — гибель в туристском, альпинистском походе. Для членов туристического сообщества смерть натурализована, она является одним из возможных, а потому «естественных» исходов единоборства с природой и с собой, в котором они принимают участие:

Так уж мир сотворен — мы стремимся куда-то,
 Бросив вызов судьбе и не чуя беды.
 Не приходят домой из походов ребята,
 А теперь — не вернулся ты.

(А. Краснопольский, «Памяти Валерия Грушина»)

Движение — один из лейтмотивов бардовской лирики — определяется здесь как опасный выход вонне, за рамки повседневности существования. Непосредственно с этим связано то, что романтическая мифологизация смерти выступает частью общей идеологии общества, одна из задач которой заключается в мобилизации и солидаризации членов вокруг образов погибших товарищей. Поэтому смерть и тяжелые физические травмы, полученные при прохождении сложного маршрута, не являются табуированными темами для этой субкультуры, они инкорпорированы в естественный жизненный цикл каждого и общий порядок сообщества. Показателем «открытости» этой темы для носителей исследуемой субкультуры выступает то, что нарративы о гибели присутствуют и на коллективном (в текстах песен), и на индивидуальном (в биографических интервью) уровнях. Приведем в качестве примера фрагменты из интервью и текстов песен.

В шестьдесят седьмом году, это был очень печальный год для нашей турсекции. Дело в том, что этот год был годом трех смертей. Кроме Валеры Грушина, который погиб на реке Уде, спасая детей, на Алтае погибла Галка Амосова. Там упало дерево и убило ее, ударив по голове. И практически погиб уже и Леня Кауров. Трагически погиб, он ныряльщик, сломал четвертый позвонок. Больше года, мне кажется, он лежал... И, значит, дальше это развивалось так, когда погиб Валерка, у нас было собрание турсекции, вот в этой триста двенадцатой аудитории, большой, где амфитеатром. И кто-то пришел и сказал, что погиб Валерка, а тело не нашли. Мы тут же вынули... ну, студенты, у кого чего было. Ну, у нас не только студенты, у нас очень много было уже инженеров работающих. Все вынули из карманов все деньги, какие только были. Собрали в шапку, на поиск тела, потому что вертолет стоил триста или четыреста рублей в час. Но это не помогло, тело не нашли. На будущий год поставили там... ребята ходили, поставили там мемориальную доску на этом месте (А., 51 г.).

Пусть иные из них погибают в горах,
 Пусть могилой становятся реки другим,
 Все ж не властен над ними ни бог, ни аллах,
 Потому что их песни звучат словно гимн.

(«Дал диспетчер добро...»)

Нередко участники туристского сообщества погибают при трагических обстоятельствах (в их числе есть и женщины): они разбиваются во время восхождения, тонут, форсируя реки. Одним из них был Валерий Грушин, который погиб, спасая детей. Обстоятельства его смерти были таковы, что он мог быть включенным в пантеон Героев субкультуры «романтиков», интерпретация его гибели, наделение ее особым смыслом сделало фигуру Валерия Грушина культовой для данной среды. Таким образом, культ погибшего Героя задал канон для жизни: именно так поступают и должны поступать «настоящие мужчины». Не только героическая *жизнь*, но и героическая *смерть* мужчины является символическим кодом: «лучше, чем от водки и от простуд». Герои «не гибнут зря», т.к. после смерти их фигура становится образцом, идеалом, т.е. тем символом, который конституирует групповую идентичность, придавая ей еще большую символическую значимость.

Мемориализация памяти погибших товарищей придает также большую символическую значимость данному типу мужественности. Смертельная опасность и риск, с которыми связано их существование, помещает «романтиков» в категорию «настоящих» мужчин; их дело, смысл жизни переводятся из категории хобби, случайного элемента стиля жизни в «настоящее» мужское занятие, сопряженное со смертельной опасностью и чреватое трагическими последствиями. «Романтик» становится легитимным носителем аутентичной мужественности, этот переход осуществляется через норматизацию и канонизацию образов «героев» в публичном дискурсе. Они занимают место в ряду погибших героев, защищавших, спасавших и жертвовавших собой во имя Родины, чести и долга, в мужественности которых никто не сомневается. Память о героях при этом становится средством построения коллективной биографии.

«Люди-Боги»

Но спускаемся мы с покоренных вершин...
Что же делать — и боги спускались на землю.

В. Высоцкий, «Прощание с горами...»

Реконструкция нормативного типа мужественности направлена на выделение и описание его сущностных характеристик и черт, анализ их конфигурации. Атрибутивные качества маскулинности как общей социальной категории выступают базовыми элементами,

на основании которых создаются образы мужественности, типичные для того или иного исторического периода, социокультурного контекста, определенной среды. Перед тем как перейти к описанию типа мужественности, создаваемого в рамках туристской и бардовской контркультуры, необходимо не только реконструировать логику формирования, но и определить ее специфику по сравнению с другими моделями маскулинности, главным образом — с западной.

Нормативная мужественность западного образца — это мужественность профессионала (Connell, 1987). Профессия создает пространство для самореализации, построения идентичности, в том числе гендерной, также она имеет и материальный эквивалент, воплощающийся в определенном типе потребления и досуга. Таким образом, одной из сфер гендерной системы, конституирующих образ нормативной маскулинности, является *сфера профессии* (Connell, 1987). В рамках данной структурной модели создаются и воспроизводятся отношения иерархии между мужчинами, относящимися к разным профессиональным группам. Профессиональная принадлежность представляет собой одну из главных демаркационных линий между «настоящим» и «ненастоящим» типами мужественности. Образ нормативной маскулинности в этой сфере гендерных отношений базируется на двух положениях. Во-первых, область профессиональной занятости «настоящего» мужчины не является гендерно-нейтральной. Происходит разделение сфер занятости не только на «мужскую» и «женскую», но и на «подлинно мужскую» и «немужскую». К подлинно «мужским» занятиям относятся политика, экономика, военное дело и пр. Выполнение «мужской работы» имеет бульшую значимость, как символически, так и материально.

Следующим основанием является *уровень профессионализма* «настоящего» мужчины в сфере занятости. Введение этой переменной в качестве определяющей образ приводит к тому, что идеальная конструкция нормативной мужественности приобретает четкую конфигурацию, определенные границы, отделяющие символическое сообщество «настоящих» от других мужчин. Выделение многоуровневого профессионализма как конституирующего признака является подтверждением значимости оппозиции доминирования/подчинения для создания образов маскулинности.

Как уже отмечалось, альтернативная мужественность бардов, которая рассматривается в данной статье, реализует себя в квази-

публичной сфере, т.е. *на границе* «публичной» профессии и «частного» досуга. «Досуг» здесь дополняет «профессию», восполняя недостающие характеристики мужественности, т.к. именно в сфере досуга оказываются не только структурно заданными, но и востребованными такие качества мужественности, как физическая сила и выносливость, соревновательность и др., которые традиционно рассматриваются в качестве «нормативных». В итоге «досуг» профессионализируется, т.к. входит в композицию «настоящего» дела. Таким образом, он становится квазипрофессией, в рамках которой формируется тип нормативной для этой среды маскулинности.

Мужественность, претендующая на норму, может опираться не только на физическую силу и ее символы, но и на силу интеллектуальную (Connell, 1995, 165). В отличие от доминирующей мужественности западного образца (белого гетеросексуального мужчины среднего класса), «романтический» тип носит более целостный характер, т.к. когерентность образа участника фестиваля связывает мужественность интеллектуала-профессионала и мужественность физически выносливого туриста-барда-творца. Рассмотрим, каким образом идентификация себя относительно профессии и профессионального сообщества находит свое выражение в формировании типа нормативной мужественности любителей и исполнителей авторской песни советского и позднесоветского периода.

Порождающей средой Грушинского фестиваля были студенты технических вузов, они составили его «ядро», иницируя возникновение и принимая активное участие в последующей работе. Один из организаторов и участников первого фестиваля сформулировал это следующим образом:

Институт политехнический. Собственно, я считаю, что роль политехнического института в становлении Грушинского основополагающая. Основополагающая, огромная. Это, вообще, все, вся. Отсюда он пошел. (А., 51 г.)

Профессиональная принадлежность к среде научно-технической интеллигенции, таким образом, выступает в качестве базового элемента образа «настоящего» мужчины этого сообщества, является его конституирующим признаком. Несмотря на парадоксальность утверждения, можно говорить о том, что «романтиком» этого времени становится «технар», и это не случайно. Конец 1960-х гг. —

это время соперничества и символической «победы» физиков над лириками. Именно физики стали героями того времени, «эта наука объединяла тогда авторитет абстрактного знания с практическими результатами» (Вайль, Генис, 1998, 101). О них писали книги и песни, снимали кинофильмы, они олицетворяли собой один из идеальных типов мужественности, задавая образцы жизненных стратегий и повседневных практик.

Как было отмечено ранее, типичный участник фестиваля исследуемой субкультуры — это профессионал — физик, инженер, однако в данных профессиях, престижных для советского общества 1960-х гг., существует определенная недостаточность, одним из способов преодоления которой является профессионализация досуга. Она также выражается в том, что при всей общественной комплиментарности этой профессиональной деятельности, «физики» не хотели и не могли полностью идентифицироваться с государством, несмотря на то что оно выступало «заказчиком» их знаний, которое они обслуживали своим интеллектуальным трудом. Одним из примеров дистанцирования членов этой среды от государства является неучастие в официальных советских праздниках, неследование идеологически заданной церемонии празднования. Например, один из респондентов описывает не только сложившийся в изучаемой среде ритуал празднования, но и отношение к нему со стороны участников субкультуры и общества.

Ни один Первомай мы не отмечали в городе, ни один Ноябрь. И вообще не бывали на праздники в городе. Как-то в одной статье было, что мы самоустранились, ушли в леса, и трава не расти. Но политикой пусть другие занимаются, а мы вот ушли в леса, сидим у костра и песни поем. Ну, пускай будет на совести тех, кто нас обвиняет. (А., 51 г.)

В отличие от диссидентов, участников правозащитного движения, «романтики» в данном случае не вступают в открытую оппозицию с советским общественным устройством, они вырабатывают свою символику и ритуалы, в конечном счете свою идеологию, не оппозиционную государственной, но и не совпадающую с ней. Одновременно с этим именно технические интеллектуалы обслуживают военно-промышленный комплекс, оборонную промышленность и в конечном счете само государство, от которого они пытаются дистанцироваться. Именно поэтому профессиональной идентификации недостаточно для когерентности этого типа мужественности.

В отличие от западной маскулинности либерального типа, именно уровень квалификации *за пределами* сферы занятости, т.е. уровень квазипрофессиональности (барда, туриста, альпиниста и т.д.), составил суть образа «романтика». Причина данного различия заключается в специфике изучаемой субкультуры.

Одной из отличительных черт советского общества в исследуемый период являлось то, что именно сфера свободного времени и досуга была пространством для реализации личности. «Акцент сместился с труда на досуг. Вернее, досуг включил в себя труд» (Вайль, Генис, 1998, 69). Занятия туризмом и альпинизмом представляли собой нормативную модель проведения свободного времени современного молодого человека. Именно для этих видов досуговой деятельности, носящих спортивный характер, важным является квалификационный уровень участников. Он представляет собой фактор, определяющий не только возможность участия в походе определенной сложности, но и интегрированность в сообщество, обладание более высокой позицией в символической иерархии мужественности.

На границе профессии и досуга происходит создание общности «настоящих» мужчин и отделение их от других типов мужественности. Досуг для участников этой среды является не способом релаксации и реабилитации, поддержания физической формы для возвращения к работе, он — профессия. Единственное отличие состоит в том, что профессиональный досуг не имеет материального эквивалента, отсутствие которого делает более значимым ее символический эквивалент. Ценность профессии, в свою очередь, девальвируется и требует компенсации, т.е. реализации за ее пределами. Таким образом создается пограничное пространство формирования «подлинной» мужественности.

Суммируя вышесказанное, в качестве базовых компонентов образа «настоящего» мужчины можно выделить, во-первых, научно-техническую сферу занятости и, во-вторых, профессионализм в определенных видах спортивно-досуговой деятельности (туризм, альпинизм и пр). Особое символическое значение они приобретают в силу того, что в их рамках формируются и реализуются такие подлинно мужские качества, как сила, выносливость, надежность и пр. Определение данных компонентов в качестве атрибутивных позволяет очертить лишь контур реконструируемого образа, дальнейший анализ позволит наполнить его более конкретным содержанием.

Мужчина — это друг

А от дружбы, что же нам нужно? / Чтобы сердце от нее пело,
Чтоб была она мужской дружбой, / А не просто городским делом!

Ю. Визбор, «Впереди лежит хребет скальный...»

Настоящий мужчина — это друг. Мужчина вообще определяется дружбой — это одна часть, вторая часть — отношение к своей стране, к Родине, как бы это громко ни звучало, и третья часть — отношения личные. Вот, собственно, три позиции, которые определяют настоящую, если можно так выразиться. Настоящая мужская дружба — это когда мужчина помогает, когда его не просят. Друг должен понимать такой момент. Если он понимает и вовремя помогает, вот это и есть настоящая дружба. Человек, который не лезет в душу, не лезет в семью, не лезет в твои отношения с другими людьми, не лезет в твою работу. Это первая часть. Вторая — это то, что мужчина должен понимать, что, где и когда он может сделать на благо своей страны. Тихонечко исполняя то, что он может исполнять, даже если это не дает никакого эффекта. Он должен занимать достаточно активную гражданскую позицию и посылно ей следовать. Она не всегда совпадает с теми стремлениями государства, которые само государство пытается реализовать <...> И отношение к женщине, конечно же. Он должен быть джентльменом. Вот три вещи, которые определяют настоящего мужчину. (Г., 51 г.)

Отношение к другу, Родине и женщине является критерием «настоящности», подлинности мужчины-«романтика». Выделенные компоненты образуют систему референции этого типа маскулинности, в рамках которой формируется нормативная модель, релевантная данной среде и данному историческому периоду. Не случайно в качестве первого, наиболее значимого, компонента «настоящего мужества» выделена дружба, т.к. именно сфера дружеских отношений выступает в качестве конституирующей образа барда и романтика:

В 60-е культ общения распространился на все структуры общества... Дружба стала и сутью, и формой досуга. Даже шире — жизни... Эпоха, когда несерьезное стало важнее серьезного, когда досуг преобразовался в труд, когда дружба заменила административную иерархию, трансформировала и всю систему социально-культурных жанров. (Вайль, Генис, 1998, 69, 71)

Происходившая в этот период трансформация структур опытов повлекла за собой трансформацию символического ряда, вслед-

ствие чего категория «дружбы» стала наделяться большей символической значимостью, а образ «настоящего» друга становится синонимом «настоящего» мужчины. Это хорошо иллюстрирует следующий фрагмент интервью.

...я считаю, что мы очень счастливые люди, потому что такого количества друзей, сколько есть у меня, это редко у кого бывает. Это не просто единицы, не просто десятки. Это сотни, а то и больше, настоящих друзей. (И., 57 лет)

Таким образом, тезис «настоящий мужчина — это друг» приобретает характер аксиомы и является ключом к пониманию реконструируемой модели маскулинности. Рассмотрим, какие смыслы вкладывались участниками туристской и бардовской субкультуры в понятия «дружба» и «друг». Приведем в пример несколько цитат из интервью и текстов песен.

Дружба — это когда люди друг друга и понимают и помогают. (В., 53 г.)

Настоящая мужская дружба — это то, что мужчина помогает, когда не просят. Друг должен понимать такой момент. Если он понимает и вовремя помогает, вот это и есть настоящая дружба. (Г., 51 г.)

Дружба — это надежность... Настоящий мужчина должен быть надежен во всех отношениях. (В., 46 лет)

Надеемся только на крепость рук,
на руки друга и вбитый крюк...

(В. Высоцкий, «Вершина»)

Только правда и честь в их усталых глазах,
Только вера в себя, да плечо у плеча.

(«Дал диспетчер добро...»)

Взаимопомощь и взаимопонимание, таким образом, составляют формулу настоящей дружбы, в основе которой лежит надежность и ответственность. Для нашего исследования эти определения интересны тем, что позволяют сделать акцент на *альтруистическом* характере дружеских отношений. Он заключается в том, что «настоящего» мужчину не просят о помощи, он *«сам помогает тому, кому надо помочь»*, потому что он несет ответственность не только за себя, но и за свои решения, своих друзей и родных. Следовательно, ответственность является атрибутивным качеством настоящего мужчины. Как отметил один из участников Грушин-

ского фестиваля: «Настоящий мужчина — это тот, кто умеет принимать решения, который отвечает за свои решения, который несет ответственность за себя, за свою семью» (А., 47 лет).

Как было указано ранее, в сфере ответственности мужчины входят не только друзья, семья, дети, т.е. локальное жизненное пространство, но и страна, родина. Необходимо еще раз отметить, что именно эти категории, по сути являющиеся синонимами понятия «малая родина», а не государство как система идеологических институтов, вписаны в систему референций.

Родина есть родина — лапти да махорка,
Так скроила матушка, и не перешить!

(О. Митяев, «Чужая война»)

Прощай, Москва, в сиянье гордых звезд,
Прими слова прощального привета,
Не знаешь ты, что я тебя увез,
В душе своей ношу тебя по свету.

(Ю. Визбор, «Прощай, Москва»)

Одним из оснований построения коллективной идентичности носителей исследуемой субкультуры — как и оппозиции «свой—чужой» — служит сила физическая и духовная, обладание которой приписывалось и предписывалось «настоящему» мужчине. Она представляет собой совокупность таких качеств, как храбрость, выносливость, способность преодолевать трудности, риск собственной жизнью, надежность, неспособность к предательству. То, что именно эти качества составили нормативный набор свойств мужественности, непосредственно определяется спецификой данного сообщества, сообщества туристов и альпинистов.

Я помню, я шел [в походе. — Ж. Ч.], валился с ног, но шел. Я внутри, сам по себе, трус, но еще больше я боялся показать, что я боюсь. То есть я шел в каких-то сложных обстоятельствах. Подвигом это нельзя назвать, но на риск я шел. Не потому, что я не понимал, что я рискую. Я понимал, что я рискую, но, не оттого, что я смелый. Я боялся прослыть трусом. А боялся. Страшно мне было — ой-ой-ой. Таких моментов у меня в жизни было много. Я вспоминаю Генриха Наваррского, Ремарк описывал². Он дрожал от страха, но шел в бой первым, потому что он больше всего боялся... Но я вот такой же, я трус. (А., 51 г.)

² Вероятно информант ошибся, имея в виду романтическую дилогию Генриха Манна, посвященную королю Генриху IV.

Страх, трусость, малодушие представляют собой оборотную сторону мужественности, их преодоление позволяет обрести аутентичную мужественность, стать своим, быть включенным в сообщество. Не столько физическая, сколько духовная сила составляет нормативный тип маскулинности, являясь его атрибутивным качеством. Поскольку именно она позволяет «настоящему» мужчине *«преодолеть себя, доказать, что ты что-то можешь»*.

Вот это для мужчин — / Рюкзак и ледоруб,
И нет таких причин, / Чтоб не вступить в игру.
Но есть такое там — / И этим путь хорош, —
Чего в других местах / Не купишь, не найдешь:
С утра подъем, с утра, / И до вершины — бой!
Отыщешь ты в горах / Победу над собой.

(Ю. Визбор, *«Вот это для мужчин»*)

Тема единоборства с собой и преодоления себя имеет принципиальное значение для формирования эталона мужественности. Победа над собой находит свое выражение не только в достижении поставленной цели в походе повышенной сложности или в способности *«делать свое дело до конца»*, выполнять «настоящую» мужскую работу. Необходимость подтверждения мужественности и ее качества является показателем того, что маскулинность можно рассматривать не только как сущность или роль, но и как продукт создания, «делания», что позволяет говорить о «создании мужественности» (doing masculinity)³. Рассматриваемое таким образом конституирование маскулинности осуществляется через испытания, доказательства, представляющие собой компоненты «подотчетности» гендера (Уэст, Зиммерман, 2000, 205), на основании которых возможно говорить о его подлинности и настоящности. Аутентичность мужественности, создаваемой в рамках туристской, альпинистской и бардовской субкультуры, проблематизирована, поскольку существует необходимость ее легитимации. Она непосредственно связана с тем, что, в отличие от других сфер общества позднесоветского периода, именно в изучаемой среде существовали структурные условия для создания, ратификации и «подотчетности» эталона мужественности.

Если жив еще — борись.
Полумертвый — продвигайся,

³ Понятие «создание мужественности» (doing masculinity) концептуализировано по аналогии с понятием делания, «создания гендера» (doing gender), введенного в научный обиход американскими исследователями К. Уэстом и Д. Зиммерманом (Уэст, Зиммерман, 2000).

Смерть увидишь — не сдавайся,
 А настигнет — не страшись.
 (*Лозунг с фестивального плаката*)

Борьба, сопряженная с риском, и победа над обстоятельствами даже ценой собственной жизни — вот главные символические коды данного сообщества. В рамках дихотомии жизни/смерти формируется образ «настоящего» мужчины, готового к совершению подвига даже в повседневной жизни. В целом идея подвига занимает важное место в идентичности мужчин, чья молодость проходила в конце 60-х — начале 70-х гг. Ее значимость определяется временной преемственностью поколений. Романтики 60-х — это дети тех мужчин и женщин, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Многие из этих детей выросли без отцов, зная их только по рассказам и семейным документам, письмам и фотографиям. Полученное ими знание о боях, о людях, сражавшихся за Родину, персонифицировано, т.к. оно получено непосредственно от участников военных действий. Поэтому герои войны были для них живыми, реальными людьми, а не канонизированными официальным дискурсом идолами. Тема войны в данном случае становится не только лейтмотивом творчества, но и частью повседневной жизни. Обращение к военной проблематике находит свое выражение в том, что такие экзистенциальные темы, как товарищество, предательство, смерть, являются значимыми категориями для формирования идентичности. Проиллюстрируем этот тезис фрагментом интервью: «...не выдать, выдержать, как Сотников, предположим, у Василя Быкова, и умереть — это поступки настоящего мужчины» (К., 48 лет). Как следует из приведенной цитаты, герои литературных произведений о войне являются субъектами референции, посредством которых формируется культурная преемственность поколений отцов и детей⁴. Неформализованная включенность участников исследуемой субкультуры в военный дискурс является результатом взаимоотношений с родителями, старшими братьями и другими взрослыми, участвовавшими в боевых действиях или работавшими в тылу.

Наряду с этим выделение военной тематики в качестве одного из компонентов формирования коллективной идентичности но-

⁴ Необходимо отметить, что на момент проведения интервью (лето, 2000 г.) средний возраст информантов составил 48 лет, т.е. исследуемая группа относится к первому послевоенному поколению (от 1946 до 1955 годов рождения).

сителей исследуемой субкультуры указывает на латентно существующую связь между образом «настоящего» мужчины и образом героя-воина. Сопоставление двух образов позволяет понять генезис набора атрибутивных качеств, присущих «истинной» мужественности исследуемого сообщества: забота и помощь более слабым, ответственность как за локальное, так и за макросоциальное жизненное окружение и пространство, с одной стороны, автономия, ориентация на успех и достижение, соревновательность, риск собственной жизнью — с другой, поскольку представление о мужчине-воине несет в себе вполне определенные коннотации данного образа: обладание силой, защита слабых, верность долгу, честь, служение Отечеству.

«Чужой»

...значит, рядом с тобой — чужой / Ты его не брани — гони:
Вверх таких не берут, и тут / Про таких не поют.

В. Высоцкий, «Песня о друге»

В процессе формирования коллективной идентичности («мы»/«они») значимую роль играет образ «другого». Исключение определенных типов мужественности из нормативного поля позволяет провести демаркационную линию между образами «настоящей» и «ненастоящей» маскулинности. К атрибутивным качествам исследуемого типа мужественности относятся: физическая и духовная сила, независимость, ответственность, преданность своему делу и друзьям, политическая неангажированность. Эти черты представляют собой символические маркеры нормативной мужественности, наличие или отсутствие которых позволяет относить конкретного мужчину к тому или иному типам мужественности, помещать его в категории или «мы», или «они». Таким образом, модель «иной» мужественности включает в себя тех мужчин, которые не обладают достаточной физической выносливостью и силой, являются политически ангажированными, зависимыми от материального благополучия, совершившими или способными на предательство друзей, идеалов и т.п., т.е. они не имеют качеств, конституирующих «нормативную» мужественность.

Еще одним образом, включенным в концепт *другого*, является «обыватель». «Бескрылый» и «приземленный», он выступает идеологическим антагонистом «устремленному ввысь романтику».

Эти противоположные образы формируются и сосуществуют в различных символических пространствах, вписаны в разные системы координат и составляют крайние точки континуума маскулинности. Рассмотрим, как происходит формирование данного оппозиционного концепта.

Как уже было отмечено ранее, культ гибели является одним из элементов формирования коллективной идентичности носителей данной культуры. Поэтому не случайно, что главная демаркационная черта между двумя образами проходит по линии жизни и смерти, т.к. не только смерть обывателя, но и его жизнь является принципиально отличной от той, которая приписывается и предписывается «настоящему» мужчине изучаемого сообщества. Приведем в качестве примера цитату текста одной из песен.

В этой горной стране мы хранители звезд.
 За тяжелый наш труд нам не платят зарплаты.
 Кто однажды держал на ладонях звезду,
 Кто срывался со скал, но спасен был друзьями,
 Тот не может один оставаться внизу,
 В городской, коммунальной, многокомнатной яме.

(«В этой горной стране мы хранители звезд»)

В отличие от «настоящего» мужчины, филистер существует в комфортном мире уютных вещей, тривиальных поступков и событий, в котором нет места риску и опасностям, лишениям и трудностям — в итоге нет места подвигу. Формируемая оппозиция и иерархия образов «своего» и «чужого», девальвирует не только «целесообразность» и «сложность» жизненного маршрута «обывателя», но и масштаб его побед и удач. Ведь именно материальное, идеологическое (политическое) благополучие повседневной жизни и лишает его возможности преодоления себя и покорения своей высоты — всего того, к чему стремится «настоящий» мужчина.

Еще одним компонентом концепта другого выступает образ социально некомпетентного мужчины (мужчины-«неумехи»):

Это тот мужчина, который приходит домой, дай ему, подай. Принеси, унеси, сделай это, сделай то. (Д., 50 лет)

...может за все заплатить, а сделать он ничего совершенно не может. (А., 44 года)

Основанием для исключения данного типа мужественности из поля нормативной маскулинности является компетентность в

сфере квазипрофессии, в рамках которой происходит конституирование нормативной для этой среды маскулинности. Рассмотрение компетентности в качестве основания для ратификации доминирования образа «романтика» представляется возможным в силу специфики изучаемого сообщества — туристов, альпинистов, участников фестиваля авторской песни. Антураж похода Грушинского фестиваля предполагает наличие у его участников определенного набора навыков и умений, способствующих адаптации и существованию в экстремальных условиях. «Настоящий» мужчина должен уметь, например, поставить палатку, разжечь костер, приготовить еду на костре и пр. Отсутствие необходимых навыков автоматически лишает его возможности участия в прохождении туристических или альпинистских маршрутов, в проведении фестиваля — иными словами, исключает его из данного сообщества.

Итак, создание образов «ненастоящей» мужественности является значимым компонентом формирования коллективной идентичности носителей изучаемой субкультуры. Технология создания негативной идентичности включает с себя две стадии. Первую можно обозначить как «зеркальную», в которой исключение определенных типов из поля нормативной мужественности происходит на основании констатации отсутствия у них атрибутивных качеств «настоящего» мужчины исследуемой среды. Иначе говоря, образ другого является «зеркальным отражением» образа «настоящего» мужчины, только с отрицательным знаком, с приставкой *не-*: (не)ответственный, (не)надежный, (не)зависимый и т.д. Логика второй стадии включает в себя основные компоненты формирования положительной идентичности: отношение, стиль жизни и уровень профессионализма в квазипрофессии, т.е. в сфере, в которой происходит конституирование нормативного для исследуемой культуры типа мужественности.

Заключение

Представленный в данной статье образ «настоящего» мужчины является одним из типов советской мужественности. Его специфика непосредственно связана с контекстом формирования, т.е. ценностями и культурой советского общества конца 1960-х гг. Потребность в создании героя того времени реализовалась в появлении «романтика» — представителя научно-технической интеллигенции, туриста, барда. Слияние этих образов в единый тип

нормативной мужественности произошло под воздействием определенных структурных условий, отражающих изменения в соотношении публичного и частного, а также приписываемой им символической ценности. Изменение места и увеличение значимости сферы досуга позволило рассматривать эту сферу — наряду со сферой профессии — в качестве конституирующей образ доминирующей мужественности. Это, в свою очередь, дало возможность рассматривать сообщество «физиков», туристов/альпинистов, участников фестиваля авторской песни им. В. Грушина в качестве порождающей среды маскулинности романтического типа.

Грушинский фестиваль является уникальным социокультурным явлением советского и постсоветского периода. Его специфика заключается в том, что он выступает, во-первых, средством производства и воспроизводства данного сообщества и релевантного ему типа нормативной мужественности, альтернативной официально заданному. Во-вторых, являясь способом презентации и репрезентации культурно-идеологических ценностей изучаемой среды, способом их производства и воспроизводства, фестиваль выступает механизмом легитимизации и ратификации образа «настоящего» мужчины.

Фестиваль как публичное символическое действие направлен на производство и воспроизводство коллективной идентичности участников сообщества. Ее создание включает в себя как формирование позитивной идентификации (иными словами, «мы»-конструкта), так и конструирование негативной идентификации, посредством определения иных, других типов мужественности («филлистер», «обыватель»).

Значимым компонентом при создании позитивной идентификации является фигура лидера. Ее мифологизация направлена на создание канона жизни и смерти «настоящего» мужчины и находит свое выражение как в художественных произведениях данного альтернативного сообщества, так и в биографиях его участников.

Смыслообразующими качествами идеального типа «настоящего» мужчины, вписанного в «мы»-конструкт, являются ответственность, высокая степень включенности в дружеские отношения, духовная сила. Создаваемый образ мужественности выступает в качестве заместителя независимого субъекта, профессионала, собственника, т.е. образа доминирующей мужественности либерального типа.

Для построения образа иного, другого данным сообществом используется стратегия построения негативной идентификации,

основанная не на прямом оппонировании официальному дискурсу, а на латентном сопротивлении. Она выражается

- в дистанцировании от советского города как символа публичности;
- в неучастии в праздновании официальных советских праздников («7 ноября», «Первомай»);
- в отрицании официальной культуры и попытке создания собственной, альтернативной;
- в акценте на антипотребительском характере стиля жизни.

Образами, от которых дистанцируется мужчина-«романтик», являются «обыватель» и «неумеха». Их создание направлено на позиционирование и ратификацию данного типа маскулинности в качестве нормативного, нацелено на создание «границ» в поле мужественности.

Таким образом, изучение технологии формирования коллективной идентичности участников сообщества позволяет реконструировать тип нормативной мужественности. Созданный в контексте изучаемой среды образ «настоящего» мужчины — один из вариантов мужественности, свойственный публичному дискурсу советского общества с конца 1960-х до середины 1980-х гг.

V

(ПОСЛЕ)
МУЖЕСТВЕННОСТИ

Сергей Ушакин

ВИДИМОСТЬ МУЖЕСТВЕННОСТИ

Настоящий мужчина должен иметь
журнал «Медведь»!

Лозунг на Тверской в июле 1997 г.

Обычно те специфические качества, которые демонстрирует исполнитель в процессе осуществления поставленных перед ним задач, отражают специфику именно этих задач, а не специфику их исполнителя.

Э. Гоффман (Goffman, 1990, 83)

Эрнст Джон в своей биографии Зигмунда Фрейда приводит интересный факт из жизни психоаналитика. В беседе с княгиней Марией Бонапарт Фрейд якобы воскликнул: «Чего же хочет женщина?» (Jones, 1953, 421). В 1932 г. в работе «Женственность», написанной за несколько лет до своей смерти, семидесятисемилетний Фрейд, словно подводя итоги своим поискам ответа, заметил, что его собственное понимание сущности женственности является, «разумеется, неполным, частичным и не всегда дружелюбным...», что более полный ответ может дать сама жизнь, или ее поэтические интерпретации, или результаты научных исследований (Freud, 1990, 362). Подобное теоретическое саморазоблачение, последовавшее после почти сорока лет тщательного (или тщетного?) анализа «загадки женщины», последовательный уход Фрейда из области собственно анализа сексуальности в область психоанализа религии и культуры¹ вряд ли случайны. Не только и не столько потому, что все попытки свести желание женщины к единственному объекту — мужчине, или, вернее, в традиционной фрейдистской интерпретации — к пенису, оказались несостоятельными, сколько в силу тупиковости самой теоретической модели, избранной Фрейдом. Если смысл

¹ Последними крупными работами Фрейда стали «*Civilization and Its Discontents*», опубликованная в 1930 г., и «*Moses and Monotheism*», вышедшая в свет в 1939-м, за год до смерти Фрейда.

(жизни) женщины в том, чтобы преодолеть неизбежность анатомии — посредством замужества, рождения ребенка или прямого отрицания факта кастрации, — то есть, иными словами, если смысл женственности в «обретении» недостающего, то в чем тогда смысл мужчины и мужественности?

Не является ли тогда и сам вопрос Фрейда о причине желания женщины не чем иным, как замаскированным вопросом о сути желания мужчины? Не чем иным, как блестящим использованием приема «замещения», «переноса», «маскировки», открытого самим же Фрейдом в его *«Толкованиях сновидений»*? Случаен ли и тот факт, что уже в одной из своих самых первых научных работ, посвященной проблемам истерии, Фрейд (следуя Шарко) активно отстаивает право мужчин на истерические неврозы (Freud, 1995) — вопреки самой семантике термина?² Любопытным в этом плане является и тот налет метафорического мистицизма, который характерен для Фрейда при описании его пациентов-мужчин. В отличие от «женских» случаев, вошедших в историю, что называется, поименно (Анна О., Катарина, Дора), мужчины у Фрейда всегда несколько больше (или меньше), чем просто мужчины. Они — скорее персонажи, мифологические фигуры, сценические герои. Показателен сам список: «человек-крыса», «человек-волк», «Царь Эдип», наконец, «Нарцисс». О Нарциссе и пойдет речь в данной статье. Вернее, о той роли, которую играют отражения, образы, модели и репрезентации в формировании мужской половой идентичности³.

На мой взгляд, концепция *«видимости мужественности»*, которую я попытаюсь развить далее, довольно удачно описывает два

² Слово «истерия» происходит от греческого *«hystera»* — «матка» — и отражает широко распространенное в то время мнение, что истерия как заболевание есть результат дисфункции женских гениталий. Платон в *«Тимее»* выразил его наиболее полно: «...у женщин та их часть, что именуется маткой, или утробой, есть не что иное, как поселившийся внутри их зверь, исполненный детородного вождения; когда зверь этот в поре, а ему нет случая зачать, он приходит в бешенство, рыщет по всему телу, стесняет дыхательные пути и не дает женщине вздохнуть, доводя ее до полной крайности и всевозможных недугов...» (Платон, 1994, 498—499).

³ Под «идентичностью» здесь и далее будет пониматься набор (символических) средств самовыражения, с помощью которых индивид определяет свое отношение к таким социальным категориям, как, например, «пол», «национальность», «возраст», «класс» и т.д. В рамках данной статьи половая идентичность будет трактоваться как относительно самостоятельный элемент, аналитический и практически отличимый от таких сходных, но не совпадающих с ним понятий и явлений, как биологический пол и/или половые практики.

принципиальных аспекта мужской идентичности. С одной стороны, эта концепция позволяет говорить о мужественности как о показательном, обозреваемом, инсценированном явлении, предполагающем определенного зрителя. С другой стороны, идея «видимости» акцентирует иллюзорный, фантазматический, символический характер мужественности. В качестве методологической основы я буду использовать выводы концепции психоанализа, содержащиеся в работах таких его теретиков и практиков, как З. Фрейд, М. Кляйн, Ж. Лакан.

Знаки пола

Среди институтов, или, используя терминологию Луиса Альтюссера, «идеологических аппаратов» (Althusser, 1971, 127—186), занятых в производстве половых идентичностей, лидирующая роль обычно отводится двум — семье и школе. Однако трансформация традиционной структуры семьи, рост числа разводов, ранние браки и т.д., с одной стороны, и утрата школой монополии на распространение знаний — с другой, привели к тому, что все большее количество нетрадиционных социальных институтов начинают активно вовлекаться в процесс формирования и реформирования половых идентичностей. Средства массовой информации сегодня являются, безусловно, одним из наиболее активных институтов подобного рода. Несомненно, газеты, журналы, кино и т.д. играли весьма существенную роль в данном процессе и раньше. Принципиальным отличием сегодняшней ситуации является то, что они действуют в условиях отсутствия четко выраженных культурных, социальных, моральных и т.п. иерархий. Говоря социологическим языком, они начинают играть роль не столько вторичной, так называемой «закрепляющей» социализации, сколько роль социализации первичной, т.е. формирующей начальные, исходные идентификационные модели поведения⁴.

Целая серия «мужских» журналов, появившихся в последние годы в России, дает довольно обширную картину того, какие варианты «мужественности» не просто формируются, а ведут вполне серьезную конкуренцию за потенциального читателя-потребителя. *Медведь*, квалифицирующий себя как «настоящий мужской журнал», является интересным примером попытки сформировать

⁴ См., например: Pierce, 1990; Hermes, 1995; Seneca; Barthel, 1994.

определенную модель «настоящего мужчины», увязанную, в отличие, допустим, от русского *Плейбоя*, не столько с сексом, сколько с вполне конкретной классовой или профессиональной позицией. Посмотрим подробнее, как это происходит⁵. Для начала — обширная цитата из этого «настоящего» мужского журнала:

Представьте Его. Знаменитого, которого знает (в некоторых случаях даже любит) вся большая страна. Пусть некрасивого, но чертовски обаятельного. Потому как быть обаятельным — это его работа... Представьте Его, в свои 25—30—35—40 лет руководящего большой компанией и даже — не побоимся этого слова — холдингом. Умеющего принимать решения и брать ответственность на себя. Не всегда хорошо, но почти всегда дорого одетого. Часто умеющего говорить на непонятном иностранном языке. Предпочитающего дорогие сигары дешевым, дорогие коньяки — водке, Босса Хьюго — «*Шунпу*», *Grand Cherokee* — «*Жигулю*» и Париж вместе с Дакаром — отдыху на побережье Рыбинского водохранилища. И самое убийственное, что не только предпочитает, но может себе это позволить. И без всякой задней мысли констатируем: это замечательно — почти вымершая порода настоящих мужчин, оказывается, вовсе не вымерла. И отдельных ее представителей можно близко наблюдать, и если повезет, то и потрогать. (*Медведь*, № 8, 97)

При всей своей иронии и сарказме цитата, тем не менее, содержит едва ли не все основные компоненты, с помощью которых конструируется сегодня в средствах массовой информации модель не то «почти вымершего», не то «вымирающего», не то «начавшего возрождаться» «настоящего» мужчины. Компонентов, строго говоря, не так уж и много: возраст, власть и — главное! — стиль жизни, т.е. устойчивый набор предметов, способов и форм потребления⁶.

Примечательно, что все эти компоненты лишены, строго говоря, собственного содержания и носят характер указателей, индикаторов, «дорожных» знаков, призванных отметить поворот или предел скорости. И имеющих смысл только в силу отношений, существующих между самими же знаками. Париж и Дакар важны постольку, поскольку кто-то очень долго ездил на Рыбинское водохранилище. А способность «принимать решения» и «брать на себя ответственность» становится существенной лишь при том

⁵ Для анализа взяты номера *Медведя* за 1996 г.

⁶ Пьер Бурдьё определяет стили жизни как «различные системы собственности, в которых находят свое выражение различные системы предрасположенностей (dispositions)» (Bourdieu, 1992, 261).

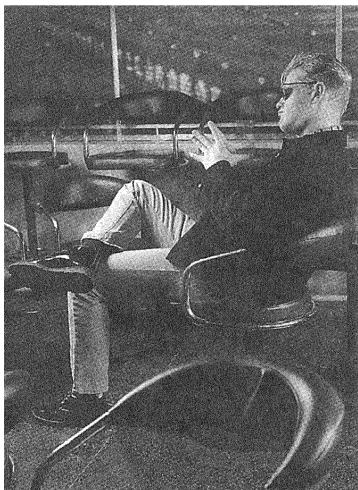


Фото из рубрики «Вещи в пору». *Медведь*, 1996, № 3

условии, что кто-то (опять) может остаться без своей доли власти. За скобками остается «содержательный» компонент знака — что делать в Париже? И по какому поводу «брать» ответственность и «принимать» решения?

Дискуссии о «сущности» мужественности, таким образом, сменяются дискуссиями о характере мужских «доспехов», а трактаты по воспитанию чувств — справочниками по основам этикета, в том числе и полового⁷. Сама по себе ситуация эта вряд ли способна вызвать какое-либо удивление — споры о соотношении формы и содержания ведутся не одну сотню и даже тысячу лет. Примечательно в этом плане другое — форма начинает выполнять не столько репрезентативную, представительскую, отображающую, сколько конституирующую функцию. Именно поэтому повышенное значение приобретают различного рода «манифестации», «символы», «знаки», или — проще — ярлыки, отсылающие к другим смысловым кодам, другим, не явным, не очевидным, но имеющим первостепенное значение иерархиям. Говоря иначе, формальные элементы начинают использоваться для обозначения, т.е.

⁷ О *восприятии* этих и им подобных дискуссий о «мужских доспехах» в среде провинциальной молодежи см. мои статьи: Ушакин, 1999б и Oushakine, 2000а.

материализации, от-сутствия элементов содержательных — как в силу невозможности непосредственного присутствия последних, так и зачастую в силу их фантомного характера. В итоге становление личности совпадает с процессом ее — личности — *образования*, т.е. с процессом накопления, усвоения и воспроизводства символических средств (образов), с помощью которых личность может *обозначить* свое присутствие в обществе. Мелани Кляйн в своей классической работе о роли символов в формировании личности так сформулировала важность этой образовательной функции:

...символизм является не только фундаментом всевозможного рода фантазий и сублимаций. Помимо этого, символизм является тем основанием, на котором индивид строит свои отношения и с внешним миром, и с реальностью в целом. (Klein, 1987, 97)

Психоанализ и — позднее — постструктурализм, однако, сделали ряд важных дополнений к концепции символа. В традиционной трактовке символ есть не что иное, как связующий элемент, вернее, часть элемента, указывающая на необходимость поиска остальных частей в целях воссоздания изначальной целостности⁸. В контексте психоаналитической теории личности «части» символа стали пониматься как элементы, имеющие свою собственную символическую природу. В результате и идея «изначальной» целостности символа, и идея фиксированной идентичности его «частей» утратили свой фундаментальный смысл. Образы и отображения стали «переводами, не имеющими текста-оригинала», поскольку... то, что подвергнуто процессу репрезентации, является не непосредственной реальностью, а лишь иной формой репрезентации. В итоге анализ образов с неизбежностью требует анализа отношений между образами (Dyer, 1993, 2).

С точки зрения анализа половой идентичности такое понимание характера репрезентации имеет ряд важных последствий. А именно, пол может трактоваться как символическая конструкция, как знак, призванный графически оформить необходимую ассоциативную связь. Вернее, как замечает Тереза де Лоретис, оформить

⁸ Как указывает энциклопедия Британника, слово «символ» происходит от греческого *symbolon*, которое изначально обозначало жетон, составленный из частей, принадлежащих участникам договора или сделки. Части жетона, составляющие вместе целое, таким образом удостоверяли подлинность сделки или подтверждали идентичность владельцев (*Britannika-Online*, URL: <http://www.eb.com:282/cgi-bin/g?keywords=symbol&DBase=Articles&hits>).

принадлежность к определенной группе или классу, имеющим, в свою очередь, свои символические средства репрезентации (см. de Lauretis, 1987, 4).

Как технически реализуется подобного рода репрезентация пола? Луис Альтюссер, комментируя вклад Фрейда и Лакана в развитие психоанализа, заметил, что в сущности есть лишь два доступных нам способа, или механизма. В «Толковании сновидений» Фрейд характеризует их как «фундаментальные» законы «смещения» (*displacement*)⁹ и «сгущения» (*condensation*)¹⁰. Лакан, в свою очередь, перенес психоаналитические категории на почву лингвистики, определив те же самые механизмы как риторические приемы метонимии и метафоры¹¹.

В результате этих методологических инноваций появилась возможность рассматривать пол как продукт конкретной риторической деятельности, как постоянно изменяющийся результат непрерывной работы по производству символов и смыслов. Суть анализа в этой ситуации сводится к попытке проявить источники и ход раз-

⁹ Под *смещением* Фрейд обычно понимает такую трансформацию содержания сна, опыта или конкретного события, при котором оно — содержание — приобретает иной смысловой центр (Freud, 1995a, 155—157).

¹⁰ В своих работах по толкованию сновидений Фрейд описывает прием *сгущения*, или метафоризации, как процесс формирования мыслительной или фантазматической ситуации, объединяющей идеи, детали, события, не имеющие между собой непосредственной, видимой связи (см., например, Freud, 1995a, 153—155).

¹¹ Под метонимией понимается такой риторический прием, при котором название одного предмета используется для описания другого, при этом оба предмета находятся в состоянии пространственной (или временной) взаимосвязи. В современной Югославии, например, «новых богатых» нередко называют «мобильными» (от «мобильный телефон»), что является типичным использованием приема метонимии. В свою очередь, фраза «красно-коричневые опять рвутся к власти» демонстрирует принцип действия метафоры, то есть сравнения по аналогии, сопоставления объектов, чье сходство обусловлено скорее ассоциациями, чем «реальными» фактами, — «красно-коричневые» в конечном итоге являются красными и коричневыми не более, чем кто-либо другой (подробнее об этом говорится, например, в кн.: Макарук, 1995, 589—591). В качестве одного из примеров разработки подобной идеи у Лакана смотри: Lacan, 1977. К уже существующей схеме Лакан добавил временной компонент, акцентировав внимание на синхронном, или одновременном, режиме существования метафоры и диахронном, то есть последовательном, режиме метонимии. Другими словами, метафора выступает как явление («человек — это зверь»), в то время как метонимия — как напоминание, след явления («оскал империализма»).

вития тех метафор и метонимий, тех смещений и сгущений, которые и формируют символическое поле половых идентичностей.

Риторика пола

Метафора «бомбы замедленного действия» как олицетворение подлинной мужественности имеет давнее прошлое и различные исторические формы. Однако от былинных эпосов (Илья Муромец) и сказок (Емеля, Иван-дурак) до литературных опытов (Дориан Грэй и д-р Джекил/мистер Хайд) и культурных стереотипов (хитрый, но слабый еврей и сильный, но простодушный негр¹²) метафора сохраняла свой основной «посыл»: мужественность есть явление глубинное, требующее времени и места для своей полной и подлинной реализации. Внешнее спокойствие есть не что иное, как *видимое* спокойствие, то есть тактический прием, используемый для маскировки бурных процессов, идущих в глубине.

Метафора медведя, безусловно, принадлежит к этому же ряду символических средств и помогает отразить по меньшей мере два аспекта, типичных для понимания природы мужественности. С одной стороны, это мужественность, понятая как независимость, автономность, отделенность; используется еще одна зоологическая метафора — мужественность «степного волка». С другой стороны, это мужественность, олицетворяющая агрессию, стихийность, природную необузданность и инстинкты.

Однако и тот и другой компоненты претерпели в *Медведе* определенную «цивилизационную» обработку, в результате которой «мужская» независимость стала пониматься как независимость профессионала, эксперта, а мужская «агрессивность» оказалась «сублимированной» посредством героизации потребительства.

Австралийский социолог Роберт Коннелл замечает в своей книге, посвященной проблемам мужественности, что исторически в понимании «мужественности» существовала определенная борьба между концепцией, основанной на идее господства грубой силы — условно говоря, пехота, — и концепцией, имеющей в качестве своей предпосылки идею знания — условно говоря, ракетные войска (Connell, 1995, 165). *Медведь* в этом плане достиг определенных успехов, пытаясь скомбинировать обе тенденции в своей версии «*мужчины-как-знатока*», «*мужчины-на-своем-месте*».

¹² Подробно об этом стереотипе см.: Bordo, 1993, 696—737.



Фото из рубрики «Вещи в пору». *Медведь*, 1996, № 3

Две рубрики журнала — «*Вещи в пору*» и «*Фрак*» — призваны в определенной степени о-лицетворить эту идею. Интересна концептуальная схема рубрик: речь идет не столько о конструировании вещей, не столько о создании своего гардероба, сколько о поиске подходящей вещи — будь то униформа, рабочий халат или наушники диск-жокея.

Иначе говоря, речь идет о возможности вписаться в предложенную ситуацию, о способности использовать ее в своих целях, а не о желании изменить ее. Что, в свою очередь, предполагает, во-первых, знание ситуации и, во-вторых, знание своих целей.

Характерно, что, несмотря на внешнюю, образную «всеядность» и подчеркнутую «внеклассовость»¹³, концепция «*мужчины-как-знатока*» (да и концепция «*знатока-как-мужчины*») отражает

¹³ Среди тех, кому «вещи в пору», можно найти представителей самых разных профессий и социальных групп: от скульпторов до мясников, от безработных боксеров до продюсеров телекомпаний.

вполне четкую групповую идеологию — идеологию так называемого (нового) среднего класса, чей социальный статус определяется не унаследованным капиталом или политическими связями родителей, а конкретной самостоятельной деятельностью конкретного индивида¹⁴. Например, краткие биографические данные, сопровождающие фотографии тех, кому «вещи впору», как правило, не содержат ни фамилии, ни семейного положения, ни каких-либо иных данных, указывающих на внепрофессиональный статус. В рамках концепции *self-made man* важным является не слово «*man*», и даже не слово «*made*», а приставка «*self*». Понятие профессионализма, таким образом, становится онтологическим стержнем, на который «нанизывается» любая, в том числе и половая, идентичность. Штангист, олимпийский чемпион так формулирует в *Медведе* это стремление не столько к само-реализации и само-совершенствованию, сколько к элементарному созданию этого «само», которое позже может быть усовершенствовано:

...когда ты только приходишь в [спортивный] зал — ты никто, тебе еще надо будет много работать и доказывать всем и себе, что ты из себя представляешь. Это сейчас я на самой вершине, чемпион, а до этого я тоже был никем — просто парнем, который подымал штангу. (*Медведь*, № 14, 85)

Внешняя социальная амбивалентность в использовании мужских образов, относящихся к разным социальным, экономическим, культурным, профессиональным и т.д. группам, помимо вполне объяснимого экономического фактора привлечения новых читателей может иметь и другую, психологическую основу.

Успех журналов, подобных *Медведю*, как и основной массы рекламной продукции, нацеленной на продажу не столько товара, сколько образа жизни, зависит от того, насколько удалась или не

¹⁴ Разумеется, в *Медведе* делаются определенные попытки «стабилизировать» задачу статусного положения. По крайней мере, на уровне идеологических фантазий. Концепция генетически обусловленного элитизма — одна из них. Приведу пример. Один из авторов *Медведя* пишет: «Если физический тип, сила, темперамент, здоровье, а также толщина губ, длина носа, ширина лба, разрез глаз, величина ушей, полнота, рост, плодовитость, долголетие определяются генами... то наследование морали, духовности, умственных способностей и интеллекта зависит только от родителей. Обладая природным умом и высоким уровнем эмоциональности, вы имеете больше шансов на то, что у вас родится такой же мыслящий и способный ребенок... Невежество, как правило, производит лишь невежество». (*Медведь*, № 14, 146)



Фото из рубрики «Вещи впору». *Медведь*, 1996, № 15

удалась идентификация потенциального потребителя/читателя с предложенной ему моделью или обстоятельствами. Иначе говоря, от того, насколько легко конкретный человек способен «примерить» на себя предложенную ему ситуацию и/или идентичность. С этой точки зрения, строго говоря, абсолютно неважно то, каким образом идентификация достигает успеха — посредством метафорических фантазий¹⁵ либо посредством практической — т.е. метонимической — реализации предложенных советов¹⁶. Важным является то, что и умозрительное «потребление» образов в первом случае, и вполне практическое потребление конкретных «статусных» товаров — во втором используют в качестве исходной основы ту идентификационную динамику, которая задается и постоянно воспроизводится рекламой или, в данном случае, журналом. Динамику, которая, на мой взгляд, вполне описывается термином «нарциссизм» (Freud, 1966, 416—418).

¹⁵ То есть синхронным соотношением представления о себе-каков-я-есть с представлением о себе-каким-бы-я-мог-быть.

¹⁶ То есть диахронным соотношением представления о себе-каким-я-был с представлением о себе-каким-я-стал.

Сам себе режиссер

Напомню, что традиционное, «нормальное» психосексуальное развитие личности движется по траектории «*субъект*» (например, ребенок) — «*внешний образец для подражания*» (обычно — один из родителей) — «*модифицированный субъект*». Нарциссический тип развития имеет принципиальное отличие. Траектория развития в данном случае лишена своего промежуточного звена, вернее, роль «внешнего образца для подражания» играет сам же субъект. Траектория, таким образом, приобретает следующую форму: «*субъект*» — «*идеальный субъект*» — «*модифицированный субъект*».

На мой взгляд, Мелани Кляйн абсолютно права, увязывая источник подобного типа развития с неудачей, пережитой субъектом при попытке идентифицировать себя с «внешним» объектом/субъектом (Klein, 1987, 199—200). Нарциссизм, таким образом, выступает своеобразной формой защитной реакции на неустойчивость связей с внешним миром. О формах проявления этой защитной функции нарциссизма речь пойдет ниже, пока бы хотелось остановиться на другом — визуальном — аспекте этого феномена.

Рассказывая в своих «*Метаморфозах*» миф о шестнадцатилетнем Нарциссе, Овидий не устает повторять, что суть драмы юноши не в том, что он не смог прекратить (или бесконечно продолжать) изматывающий «роман с собой» — в этом случае финал вряд ли был бы столь трагичен. Ирония же ситуации в том, что «объектом страсти» стало отражение, образ, зрительный/зримый эффект¹⁷. Переводя символы античной мифологии на общедоступный язык психопатологии повседневной жизни, Зигмунд Фрейд попытался понять, что именно старается увидеть очередной нар-

¹⁷ Поэт так описывает характер взаимоотношений между Нарциссом и его отражением:

Что увидал — не поймет, но к тому, что увидел, пылает;
 Юношу снова обман возбуждает и вводит в ошибку.
 О легковерный, зачем хватаешь ты призрак бегучий?
 Жаждешь того, чего нет; отвернись — и любимое сгинет.
 Тень, которую зришь, — отраженный лишь образ, и только.
 В ней — ничего своего; с тобою пришла, пребывает,
 Вместе с тобой и уйдет, если только уйти ты способен.
 Но ни охота к еде, ни желанье покоя не могут
 С места его оторвать: на густой мураве распростершись,
 Взором несытым смотреть продолжает на лживый он образ...

(Овидий, 1977, 72)

цисс в своем (или чужом) отражении/образе, что именно выступает в качестве того «спускового крючка», с помощью которого стартует процесс идентификации зрителя и образа. По мнению Фрейда, возможны четыре типа отношений в процессе этого диалога. В каждом из них образ выполняет функцию отражения, напоминая субъекту о нем самом на разных этапах его жизни.

Таким образом, в процессе восприятия «отражения» происходит либо:

- а) идентификация субъекта с его собственным образом (узнавание настоящего);
- б) идентификация субъекта с его образом в прошлом (активизация прошедшего);
- в) его идентификация со своим возможным образом в будущем (проекция будущего);
- г) повторная идентификация с тем/той, кто уже был однажды объектом первичной идентификации (в данном случае речь идет обычно о родителях и, соответственно, о реставрации исходной идентичности) (Freud, 1995, 555—556).

Сознательно или подсознательно, но *Медведь* использует все четыре способа, пытаясь таким образом достичь максимально возможного охвата аудитории. «Разночинный» состав тех, кому «*вещи в пору*», возможно, призван напомнить о недавнем прошлом; интервью с профессионалами «*во фраках*» и рассказы о «*мужской работе*» — укрепить собственное представление о себе; откровенно «эксклюзивные» мужские фотомодели — спровоцировать поиски своего нового облика (*фрака?*), а исторические страницы о «*старых русских*» — вернуть к жизни те объекты и тех субъектов, которые могли бы стать «новой» исходной точкой процесса самоидентификации. Говоря словами Фрейда, все эти образы, предложенные индивиду в качестве идеальных моделей, могут рассматриваться как суррогаты (substitute), призванные заполнить вакантное место первичного, младенческого нарциссизма, нарциссизма, при котором индивидуальное и идеальное в субъекте еще полностью совпадали (Freud, 1995, 558).

Зеркало для героя

Хотя фрейдовская типология нарциссизма является весьма эффективной для объяснения хода идентификации, она оставляет

открытым важным вопросом о том, почему именно зрение становится тем механизмом, посредством которого происходит образование нарциссической личности. Начиная с 1936 г. французский психоаналитик Жак Лакан предпринял ряд попыток развития фрейдовской концепции нарциссизма. Лакановская теория «зеркальной стадии», появившаяся в результате этих попыток, оказала важнейшее влияние на формирование психоаналитического направления, известного сегодня под названием «постфрейдизм».

В статье, посвященной роли «зеркальной стадии» в процессе формирования личности (Lacan, 1977), Лакан приводит два примера, демонстрирующих принципиально различное отношение «зрителя» к его зеркальному отражению. Цитируя работу Вольфганга Келера (Kuhler, 1951), он замечает, что шестимесячный детеныш шимпанзе теряет всякий интерес к своему отражению в зеркале, как только видит, что отражение есть всего лишь отражение, а не *другой* детеныш. Отношение ребенка аналогичного возраста¹⁸ к своему отражению принципиально иное. Признание отображающей природы зеркала сопровождается, по Лакану, целой серией жестов, посредством которых ребенок в форме игры испытывает взаимосвязь, с одной стороны, между движениями собственного отражения и отраженной реальностью, а с другой — между этим видимым (virtual) миром и той реальностью, которую он воспроизводит, т.е. телом ребенка, людьми и вещами, которые его окружают (Lacan, 1977, 1).

Устанавливая грань между «видимым» и «настоящим», зеркальное отражение, таким образом, формирует два отличных способа отношения индивида к себе и собственному телу. В первом случае самовосприятие *ограничено* символическими формами и является вектором, складывающимся из *отношений между образами*, в буквальном смысле слова *заключенными* в раму того или иного «зеркала». Во втором самовосприятие становится возможным в процессе само-отчуждения, т.е. в процессе *со-отнесения своего места* с теми позициями, которые уже оказались занятыми другими людьми и/или вещами. Однако данное символическое и/или материальное отчуждение личности — не единственный, да и не самый главный эффект, порожденный зеркальной стадией. Новизна концепции «зеркальной стадии» в том, что она привлекла вни-

¹⁸ Лакан увязывает «зеркальную стадию» с возрастом от шести до восемнадцати месяцев (Lacan, 1977, 1—2; Grosz, 1990, 36)

мание по меньшей мере к двум моментам, которые обычно оставались в тени дебатов о «мире символов» и «мире вещей».

Первый из этих моментов связан с локализирующей ролью зеркального отражения. Наблюдая свое отражение в зеркале, ребенок постепенно приходит к осознанию того, что и он сам, и его отражение могут выступать в качестве объекта стороннего взгляда независимо от его собственного желания. Зеркало в итоге является тем механизмом, при помощи которого «взгляд на себя со стороны» становится неотъемлемой частью как «себя», так и любого «взгляда»¹⁹.

Второй момент связан с конкретной временной стадией, на которой происходит данное «раздвоение» зрения и личности. Как замечает Лакан, ребенок «рождается на свет преждевременно», будучи неспособным самостоятельно и эффективно управлять своим телом (Lacan, 1977, 4). Несмотря на всю свою внешнюю целостность и однородность, тело ребенка продолжает оставаться до определенного момента в буквальном смысле «раздробленным», «разбитым» и «фрагментированным» (Lacan, 1977, 4). Взросление в данном случае и есть не что иное, как процесс обучения тому, как вести себя нормально, т.е. по возможности устойчиво и без падений. Как считает Лакан, только беря во внимание эту преждевременность рождения ребенка, можно по достоинству оценить *формо-образующую* роль зеркальной стадии. Первоначально примеряя зеркальное отражение, а затем и воспринимая его в качестве *своего*, ребенок тем самым одновременно совершает акт идентификации, т.е. процесс *изменения*, ограниченный контурами видимого образа (Lacan, 1977, 2). Видимый образ становится *образцом* для подражания²⁰. В итоге «морфологическая мимикрия» (Lacan, 1977, 3) является и условием, и способом бытия. А зеркальная стадия — драмой, в ходе которой индивид последовательно переживает цепь фантазий: от раздробленного тела — к телесной целостности, а от

¹⁹ Основываясь на работах Ж. Лакана, М. Мерло-Понти и Г. Валлона, Элизабет Гроз в своей книге дает подробный анализ динамики формирования взгляда со стороны в младенчестве (Grosz, 1990, 36—39).

²⁰ Весьма любопытна роль зеркала в появлении и развитии такого жанра живописи, как автопортрет. Рейнхард Штайнер, например, отводит ему основное место в «инструментализации» процесса поиска личной идентичности, достигшего своего пика в период Возрождения. Намного опередив вывод Лакана об идентифицирующей функции зеркала, А. Дюрер сопроводил автопортрет 1484 г. такими словами: «Сходство достигнуто благодаря зеркалу» (Steiner, 1993, 7).

нее — к броне идентичности, «оставляющей следы своей жесткой структуры на всем пути умственного развития индивида» (Lacan, 1977, 4).

Важность концепции «зеркальной стадии» обусловлена не только ее ролью в прояснении процесса формирования и образования личности. Важность концепции заключается в ее акценте на том, что *умо-зрительная* деятельность личности — т.е. процесс ментального и зрительного соотнесения образов — приобретает первостепенное значение всякий раз, когда «броня» очередной идентичности дает трещину. Ленинский «план монументальной пропаганды», как и сама концепция «*наглядной агитации*», — лишь один из примеров того, как этот фундаментальный психический механизм зрительной идентификации может быть использован в политических целях. *Медведь*, в свою очередь, демонстрирует то, как тот же самый механизм может служить делу формирования определенной группы потребителей²¹.

Мишки на Севере

Выше уже шла речь о том, что нарциссизм, вернее, возврат, регрессия к нему, есть во многом форма защитной реакции на нестабильность внешней среды и, соответственно, той формы собственной идентичности, которая традиционно увязывалась с этой средой. Концепция «*мужчины-как-профессионала*», развиваемая в *Медведе*, может служить хорошим примером данной регрессии.

В своей лекции «*Теория либидо и нарциссизм*» Фрейд интерпретирует многочисленные случаи мании величия, мании преследования, эротомании и тому подобных маний, в которых субъект/пациент выступает главным (или единственным) действующим лицом, как «*вторичный нарциссизм*» (Freud, 1966, 424). То есть как попытку повторения той стадии в младенчестве, на которой ребенок еще не испытал своей отдельности и отделенности от источника тепла и пищи, той стадии, на которой, как замечает британский психолог Стефен Фрош, границы между субъектом и объек-

²¹ Любопытно, что подобный же механизм был использован и так называемыми «новыми русскими» в начальный период их формирования. Цветовая агрессия «малиновых пиджаков» рассчитана именно на зрительную/зрительскую реакцию. Идентификация в данном случае идет через образ группы, а не через ее функцию.

том еще не существовало (Frosh, 1994, 106). Причина подобной регрессии, как уже отмечалось, состоит в стремлении избежать очередной травмы «разрыва», в стремлении «упредить» этот разрыв путем создания среды — *«собственного мира»*, — которая неотделима от его «творца».

В *Медведе* подобные фантазии-воспоминания о собственной самодостаточности наглядно проявляются в многочисленных рассуждениях о «профессиональном» окружении, о профессиональной, так сказать, «берлоге», вход в которую для посторонних если не запрещен, то крайне ограничен. Сквозная тема *само-стоятельности, само-деятельности, само-достаточности*, сопровождающая концепцию *«профессионального мужчины»*, постоянный акцент на личной способности достигать поставленных целей довольно четко указывают на стремление к определению не только внешних границ идентичности конкретного профессионала, но и на его попытки не выходить за пределы этой, относительно безопасной, зоны личного спокойствия.

Эта концепция нарциссического аутоэротизма, в рамках которого индивид является (единственным) источником своего же собственного удовольствия и своего развития, находит в *Медведе* различные воплощения. Рассуждения известного телевизионного продюсера о понятии «стиль» выражают доминирующую концепцию «самосделанности» достаточно откровенно: «Стиль, — объясняет продюсер, — это когда ты никуда не заглядываешь, кроме как в себя, и пытаешься что-то сделать» (*Медведь*, № 14, 41). Вопрос, естественно, в том, для кого делать это «что-то»? Вернее, в том, не является ли этот «креативный» человек стилиста не только единственным творцом, но и единственным зрителем данного стилистического произведения. Или, говоря языком психоанализа: насколько осознание зависимости от внешних факторов становится определяющим для понимания (сущности) собственной идентичности (Richards, 1990, 166—168) профессионала?

Судя по тому, что тема одиночества, единственности и уникальности является одной из главных в *Медведе*, внешний фактор в данном отношении воспринимается скорее как помеха, чем как необходимое условие. Т. Кибилов, например, говорит о стремлении «занимать пустующую нишу» (*Медведь*, № 8, 53). С. Курехин — о том, что одиночка «сейчас может сделать для цивилизации больше, чем толпа художников, скрипачей, театральных режиссеров и кинодокументалистов» (*Медведь*, № 8, 37). Один из депутатов Думы называет себя «уникальным политиком» именно потому, что за его

«спиной никто не стоит» (*Медведь*, № 16, 34). А один из успешных программистов так формулирует принцип удачной карьеры:

...у тебя программирование будет хорошо получаться, если ты отдаешь этому всего себя. Если программист отвлечется на полгода и займется чем-то другим, то как программист он себя через полгода не найдет. (*Медведь*, № 14, 35)

Примечательным в этой цепи рассуждений является своего рода страх не обнаружить для себя «пустую нишу», раствориться в «социальной жизни», не найти «себя» через полгода. Иначе говоря, экзистенциальный страх потери собственных границ, страх слияния с фоном и, таким образом, страх потери себя как индивида. Исследователи на Западе уже давно окрестили данную ситуацию как «*кризис мужественности*»²², видя причины этого кризиса в неспособности конкретных индивидов соответствовать культурным нормативам мужественности, доставшимся от прошлой эпохи²³. Ситуация эта, разумеется, далека от того, чтобы быть уникальной. В дискуссиях по поводу конструирования мужественности в Средневековье и репрезентации мужских образов в викторианской живописи прослеживается сходная тенденция. Переход от концепции мужского «героизма» к более повседневной и — соответственно — менее воинственной концепции мужественности никогда не был легким. Поскольку, как справедливо замечает Даниэл Мелия,

одной из крупнейших проблем, с которой сталкиваются общества с развитой кастой воинов... является вопрос о том, что именно делать с этими сверхмужественными типами, когда они не заняты на поле боя. (Цит. по: Cohen)

С этой точки зрения, и «рыцарский кодекс» Средневековья, и концепция «отца семейства», возникшая позже, были своего рода попыткой «доместицировать» нормативный героизм.

Аналогичная динамика свойственна и постсоветскому периоду. Исчезновение культа героев Гражданской, Отечественной и афганской войн, утрата актуальности самой концепции жертвенности во имя социальных идеалов, с одной стороны, и неспособ-

²² См., например, работу Роджера Хоррока, в которой он пытается сформулировать концепцию кризиса мужественности, базируясь не столько на парадигме «заката культуры», сколько на результатах собственной психоаналитической практики (Ногровк, 1994).

²³ См.: Silverman, 1992.

ность представить рутинность капиталистической трансформации в символически привлекательных формах — с другой, и привели во второй половине 1990-х гг. к актуализации концепции профессионализма²⁴. Профессионализма, чьим идеалом является способность сформировать новый, герметичный, рационально выстроенный или по крайней мере управляемый мир, хозяином и творцом которого является герой-одиночка. Под рубрикой «*Победитель*» «*Медведь*» так описывает причины и характер успеха одного из таких творцов:

Творческая фантазия [итальянского модельера Джанфранко] Ферре подстегивается многими чертами его характера. Он очень ревнив. Ревнует ко всему: он должен чувствовать, что друг — это его друг, что диван — его диван, платье — его, сорочка — его. А чтобы одежда была его, она должна стать его — от ткани до последнего шва. Это значит, что и ткань должна быть придумана им, должна стать частью его собственного мира... Он не умеет отдыхать. Мода — его страсть, а работа — смысл жизни. (*Медведь*, № 14, 96)

Данная цитата хорошо демонстрирует типичную черту «медведей» — победителей нового типа — нарциссическую манию величия, мегаломанию, в рамках которой существование независимого внешнего мира возможно лишь постольку, поскольку он рано или поздно станет частью мира *внутреннего*. В итоге триумф подобного всепоглощающего нарциссизма «означает не только видимое ос-

²⁴ Показательно, что первая война в Чечне, несмотря на все попытки, не привела к формированию традиционного образа мужчины-на-войне. Вполне отражая процессы бюрократизации общественного устройства, неизбежно порождаемые в том числе и концепцией «власти экспертов», чеченская война в *Медведе* подается как плохо, непрофессионально организованная военная кампания. О роли армии в этой войне комендант российских войск в Чечне, например, сказал так: «Армия, внутренние войска, органы внутренних дел никогда не занимаются чем-либо по своему желанию или по своей воле. Они выполняют приказы» (*Медведь*, № 14, 53). Слово подтверждая вывод Коннелла о борьбе двух типов мужественности, комендант не оставляет никаких сомнений в том, какая из них одержала верх: «...больно и обидно за армию, больно и обидно за людей, за ребят, которые погибают неизвестно во имя чего» (*Медведь*, № 14, 54). Показательно и, видимо, вполне закономерно, что упадок «авторитета» армейской мужественности совпал с ростом социальной значимости и социальной «очевидности» таких прежде незаметных категорий, как службы «секьюрити» и телохранители. Однако, как и в случае с «вещами в пору» и «фраком», тенденция, похоже, остается той же — героизм «защитника» сменился профессионализмом «охранника».

вобождение от... конфликтов» с внешней реальностью, но и освобождение от самой реальности (Grunberger, 1989, 155). О тех методических функциях, которые выполняют многочисленные детали-фетиши, маркирующие границы «собственного мира» профессионала, как и об агрессии как неотъемлемой части нарциссизма речь пойдет чуть ниже. Пока же хотелось бы обратить внимание на то, как данный профессионально-нарциссистский солипсизм трактуется самими героями *Медведя*.

Профессиональный нарциссизм как реакция на кризис господствующих нормативов мужественности естественно и закономерно выливается в проблему одиночества: будь то одиночество профессиональное или одиночество личностное. Осознают ли это герои *Медведя*? Вполне. Осознают ли они это как проблему? Вряд ли. На вопрос о том, чувствует ли он прессинг, диск-жокей радиостанции ответил: «Никоим образом. Просто я ощущаю свое одиночество в эфире. Раньше я чувствовал плечо сверстника... Было легче работать. Сейчас их нет...» (*Медведь*, № 15, 39). Герой-полярник делает более понятным экзистенциальный смысл одиночества. На вопрос: «Чем вы занимались на Севере?» — следует ответ: «Искал свое место в жизни. Свое место в Арктике» (*Медведь*, № 16, 34). Любопытным является тот факт, что «поиск себя» и «своего места» с неизбежностью совпадает с «уходом от других», с поиском иного фона, на котором границы силуэта были бы лучше видны. Иными словами, один-очество «белого паруса» становится очевидным лишь в силу голубизны долины моря. Попытка «профессиональной» мужественности заключается в том, чтобы избавиться от этой «относительности» белизны и воспринимать ее как «абсолютное», состоявшееся и законченное явление.

Подведу предварительный итог. Трактовать «медвежий» профессиональный нарциссизм как акт самолюбования «нового среднего класса», как акт отрицания «общества» во имя корпоративных интересов было бы ошибкой. Вопреки традиционному мнению, нарциссизм носит ответный характер и диалоговую природу. Говоря иначе, нарциссическая самопоглощенность «настоящих мужчин» становится результатом «культурной маргинализации», обусловленной их неспособностью и/или нежеланием соответствовать господствующим социальным/культурным нормам. Важным в этом процессе является не то, что профессиональная этика подменяется или, вернее, заменяется профессиональной эстетикой. Существенно то, что профессионально-половая идентичность, возникающая в данном случае, крайне далека от того,

чтобы быть «впору». «Фрак» этой идентичности приобретен, что называется, «на вырост», «с опережением» и призван оформить, а не отразить настоящий момент. И, как это бывает со всякой вещью, взятой «на вырост», зазор между «фраком» нарциссической идентичности и конкретным телом должен быть чем-то заполнен. Чтобы совпадение границ стало *видимым*.

Боевые игрушки

Если концепция *Медведя* вполне успешно осуществляет метафорическую функцию «сгущения», добавляя понятию «мужественность» дополнительные и не всегда очевидные краски и оттенки, то многочисленные детали одежды, предметы быта и досуга, которые *живописует Медведь*, позволяют эфемерной мужественности профессионала метонимически материализоваться и — относительно — увековечить свое присутствие.

Французский социолог Пьер Бурдьё, анализируя вкусы среднего класса Франции, заметил его чрезвычайную озабоченность своим внешним видом, озабоченность, которая не свойственна ни рабочему классу, стоящему ниже на социальной лестнице, ни традиционным привилегированным группам, чье положение представители среднего класса надеются со временем занять. Как пишет Бурдьё,

их озабоченность внешним видом, проявляющаяся иногда в форме чувства неудовлетворенности (*unhappy consciousness*) или в форме высокомерия, является также источником их претензий и постоянной склонности к блефу, к присвоению той формы социальной идентичности, которая состоит в стремлении уравнивать «бытие» (*being*) и «видимость» (*seeing*), в желании владеть видимым (*appareances*) для того, чтобы иметь настоящее (*reality*)... Разрываясь между противоречиями объективно господствующих условий и отдаленной возможностью приобщения к господствующим ценностям, представитель среднего класса поглощен проблемой своего внешнего вида, обреченного на суд публики... (Bourdieu, 1992, 253)

Механизм «опережающего статусного потребления», о котором говорит Бурдьё, наглядно демонстрирует лакановскую «зеркальную стадию» в действии. Стадию, в ходе которой отражение формирует объект, а не наоборот. Иными словами, состояние перехода от одной формы символической саморепрезентации к другой не мо-

жет быть ничем иным, кроме «стремления уравнивать бытие и видимость» бытия. Интересными являются конкретные формы данного уравнивания, использованные в *Медведе*.

Будучи привлекательной как идея, концепция профессионализма достаточно бедна как образ, что с неизбежностью ведет к необходимости поиска соответствующего элемента, способного заполнить символические пустоты идентичности, приобретенной на вырост. В *Медведе* таким элементом стала идея агрессивного и в то же время профессионального потребительства. *Медведь*, разумеется, в этом далеко не оригинален. Волна рекламных кампаний, стремящихся увлечь так называемого нового мужчину-*яппи* в пучину нарциссического и «гедонистического потребительства», началась на Западе в первой половине 1950-х²⁵ и приобрела поистине шквальный характер к середине 1980-х²⁶. Как свидетельствуют многочисленные исследования, «маскулинизация» потребительства на Западе шла именно по пути маскировки «пассивного» (т.е. традиционно «женского») желания наслаждаться предметом в форму агрессивного желания *овладеть* им (Barthel). Подобная риторическая стратегия, судя по всему, носит универсальный характер. *Медведь*, например, описывает такой, казалось бы, заурядный с виду компонент домашней аудиосистемы, как усилитель, следующим образом:

...Два усилителя и предусилитель F-серии хороши и на слух и на взгляд. Своими угловатыми формами, мощными железными торсами и готическими завитушками детища Энтони Майкельсона (конструктора усилителей. — С.У.) чем-то напоминают кавалькаду древних рыцарей в черных доспехах. Сходства с древними воинами добавляют не менее древние лампы, которые здесь используются во входных схемах. Вот только с именами «рыцарям» не повезло: F15, F18, F22... Каждому нормальному человеку ясно, что это не усилители, а как раз наоборот — истребители (*Медведь*, № 8, 121).

Сходная метафора «рыцарских доспехов» используется и при описании портативных компьютеров (ноутбуков). Стремясь избавиться от любых нежелательных ассоциаций, *Медведь* видит в этих компьютерах не что иное, как «электронных оруженосцев», верно служащих нынешним странствующим «воинам», «к которым можно отнести бизнесменов, писателей, журналистов» (*Медведь*, № 8,

²⁵ Выход в свет в начале 1950-х гг. *Плейбоя* стал своего рода пограничным знаком, отметившим рождение новой тенденции.

²⁶ См. подробнее: Chapman, 1988.

122). Вполне закономерно, что в рамках этой риторики ближайшим родственником ноутбуков становится вовсе не ординарная пишмашинка, а вполне респектабельный «черный президентский чемодан» (*Медведь*, № 8, 122).

Еще одним примером неустанной риторической войны этих «странствующих» бойцов невидимого фронта может служить описание акустических колонок. *Медведь* очерчивает метафорические границы сразу и резко: «У солдата и меломана нет общих интересов. У них есть общий враг — тишина» (*Медведь*, № 8, 126). Неудивительно, что музыкальный «досуг» обладателя колонок становится формой *борьбы* с покоем соседей. В интерпретации *Медведя* это выглядит следующим образом:

Конечно, для борьбы с тишиной обычной музыки маловато. Ничто так не разорвет сон ночного квартала, как пулеметные очереди и ракетные залпы средней дальности. И напрасно соседи стучатся головой о стену и просят успокоить вашего динозавра: «домашний театр» слезам не верит. Особенно тогда, когда он вооружен акустикой Kef... (*Медведь*, № 8, 127).

Для чего нужна эта «милитаризация» обыденности? С какой целью окружающая среда вдруг превращается в крепость — с усиителями в роли истребителей, музыкальными колонками в роли пулеметов и компьютером с единственной заветной («пусковой») кнопкой в роли командного пункта? С одной стороны, ситуация понятна и вполне соответствует выводу Бурдые: в условиях, когда претензии на обладание тем или иным статусом могут вызвать законные сомнения, решающую роль начинает играть *видимость* принадлежности. Говоря иначе, когда формы практического — т.е. процессуального — проявления мужественности ограничены или сомнительны, присутствие мужественности начинает проявляться в виде *предметов*, символически заполняющих данный деятельностный вакуум. Мужественность, таким образом, становится опосредованной. И ее «правильный» вариант, соответственно, заключается в правильном наборе тех или иных товаров, чья судьба — быть увиденными. Хорошо понимая цель этой «опредмеченной» мужественности, *Медведь* так описывает слегка военизированную коллекцию одежды марки *Chevignon*:

Ореол героического, созданный вокруг вымышленного персонажа Шарля Шевиньона, оказывается просто необходим в будничной и скучной жизни. «Крутизна», но не в американском, несколько грубом

и стандартном, варианте, а во французском, смягченном присущими этой нации изысканностью и элегантностью, поднимает настроение, окрыляет, заставляет идти с гордо поднятой головой, чувствуя каждой клеточкой тела свою непосредственную связь с романтикой военного времени (*Медведь*, № 15, 114).

Скука будней, однако, вряд ли является единственной причиной данной тяги к романтике военного времени. Психоаналитическая практика Мелани Кляйн во многом позволяет понять, какие механизмы скрываются в этих попытках «цивилизовать» и «эстетизировать» агрессию. Наблюдая за тем, как дети сначала выбирают, а затем и используют игрушки, Кляйн пришла к выводу о том, что

в ходе игры дети в символической форме реализуют свои фантазии, желания и накопленный опыт. Для этого они используют тот же самый язык, тот же самый архаичный, филогенетически усвоенный способ выражения, столь хорошо знакомый нам по снам. (Klein, 1987, 64)

Игрушки, таким образом, выполняют связующую, соединительную роль, позволяющую преодолеть пропасть между «внешними» объектами и «внутренним» миром ребенка (Mitchell, 1987, 23). Выбор и описание «игрушек» в *Медведе*²⁷ выполняют аналогичную функцию — функцию «снятия» напряжения, функцию «выхода» беспокойства в наименее опасной и вместе с тем достаточно эффективной форме (Klein, 1987, 52). Иными словами, подобные игрушки и игры позволяют в фантазматической форме воспроизвести *действительный* «опыт и реальные детали повседневной жизни» (Klein, 1987, 43). То, что данный опыт и детали, как правило, выражаются в форме агрессии, лишь еще раз подтверждает правильность нарциссического диагноза нынешней профессиональной мужественности. Ведь само существование (якобы) самодостаточного мира профессионалов возможно лишь посредством неустанной борьбы за поддержание его границ, за поддержание видимой целостности, готовой распасться при малейшем вторжении непрофессионалов и непосвященных. Агрессия нарцисса, таким образом, есть всегда ответ на удар, которого еще не было, есть всегда скрытое признание угрозы потенциальной демаркации идентичности — будь то идентичность половая или идентичность профессиональная. Признание того, что ее видимость рано или

²⁷ Предметы, о которых шла речь выше, описываются, естественно, в разделе «Игрушки». Одним из относительно постоянных видов подобных «игрушек» является различное оружие.

ВИДИМОСТЬ МУЖЕСТВЕННОСТИ

поздно станет явной, что «фраг» окажется с чужого плеча и что даже самая последняя модель «истребителя» устареет раньше, чем этот «истребитель» сможет нанести свой первый удар...

Нарциссический тип мужественности, разумеется, не является единственно «доступным» вариантом мужской идентичности в сегодняшней России. Однако, несмотря на свою довольно отчетливую классовую специфику, этот тип мужественности наглядно демонстрирует основные механизмы любого процесса половой идентификации: от иллюзорности «зеркальной стадии» к очевидности «знаков пола». От изначального единства к последующему одиночеству. От неуверенных попыток бытия к успешной стратегии его видимости...

Елена Гоцило, Надежда Ажгихина

РОЖДЕНИЕ «НОВЫХ РУССКИХ»: КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ*

...закованные в золотые цепи, броские нувориши постсоветских лет разрезжают на *Merседесах*, сверяют время по *Ролексам*, загорают на Ривьере, играют в казино и справляются о цене товара только для того, чтобы предложить большую...

Christian Science Monitor

В результате программы приватизации 1990-х гг. в России появилась быстро растущая группа бизнесменов, что, в свою очередь, дало новый толчок дискуссии о российском предпринимательстве. Словно по Евангелию, во время постгорбачевской эйфории в начале было *Слово*. После более семидесяти лет государственной собственности сама новизна частного предпринимательства обусловила и появление нового языка для описания практически всех современных особенностей экономики западного толка. Постепенно возник гетерогенный язык бизнеса, сочетавший оптовые заимствования из словаря западного бизнеса («*ваучер*», «*маркетинг*») с воскрешенными из до-революционного прошлого терминами («*акция*»).

Во время эпохи постперестроечного Клондайка газета *Коммерсант-daily* (1992) опубликовала новаторское по своей сути социологическое исследование о «внезапно разбогатевших» русских, которых авторы исследования называли «*новыми русскими*». Несмотря на отсутствие единого мнения о том, кто именно относился к новоиспеченным богачам, и вопреки неконкретности самого термина, едва появившись, термин «*новые русские*» был подхвачен как отечественной, так и западной прессой. В широком смысле, «*новые русские*» могли означать русских постсоветской эпохи (то есть все население Российской Федерации!), но на практике «*новыми русскими*» стали называть счастливицков, для которых развал советской экономики дал «зеленый» свет для максимального (зло)-

* Перевод с английского Елены Барабан.

употребления создавшимися социоэкономическими возможностями.

По мнению социолога Ольги Крыштановской, возглавляющей сектор по изучению элиты Института социологии РАН, 61% новых русских богачей состоит из представителей бывшей советской номенклатуры, которые использовали свое политическое положение во время первичной приватизации для личного обогащения. Из-за отсутствия эффективной юридической инфраструктуры, регулирующей выполнение контрактов, российские бизнесмены были вынуждены либо создавать собственные структуры безопасности (главным образом из бывших работников КГБ и правительственных структур), либо нанимать «крышу» из числа мафиозных группировок. Сформированная из госдеятелей финансовая элита, благодаря льготному доступу к приватизируемой государственной собственности, стала самой богатой частью российского общества. На публике короли «корпоративной олигархии» изо всех сил старались сохранить не бросающийся в глаза имидж, нисколько не стесняясь при этом агрессивного использования своей финансовой мощи для оказания политического и экономического давления в закулисной игре (Krystanovskaya, 1996a, 1996b).

Самыми яркими представителями новой элиты стали попавшие в центр внимания «олигархи» из группы Семи: Борис Березовский (*Логоваз* и *Сибнефть*), Владимир Потанин (*Онексимбанк* и *Норильский никель*), Владимир Гусинский (*Медиа-МОСТ*), Александр Василенко (*Лукойл*), Михаил Фридман и Петр Авен (*«Альфа-банк»*), Александр Смоленский (банк *«Столичный»*) и Михаил Ходорковский (банк *«Менатеп»*)¹. По мудрому предостережению Крыштановской, не следует путать этот контингент с «новыми русскими», заработавшими, как в России, так и за рубежом, репутацию вызывающе вульгарных неучей, которые в процессе демонстративного потребления выставляют напоказ свои заработанные нечестным путем баксы.

В то время как обладающие политической властью магнаты (в основном из числа бывшей советской номенклатуры) искусно прятали источники своих состояний, «новые русские» нувориши рьяно рекламировали источники своих доходов². Их яркий образ, выкристаллизовавшийся в начале 1990-х, быстро проник во все

¹ Яркая характеристика членам группы Семи дана Taibbi (1997).

² Таибби (как и другие исследователи) считает, что в начале своей карьеры Березовский был «прототипом “нового русского”». См.: Taibbi, 1997.

сферы русской культуры: журналистику, кино, литературу, бульварный роман и в разные жанры городского фольклора. Более того, «новые русские» как явление возродили жанр русского анекдота, столь популярного в советскую эпоху и практически забытого в процессе десоветизации. В начале 1990-х именно анекдоты о «новых русских» пользовались широкой популярностью в Москве и Питере и активно перепечатывались в сборниках и русской периодике — как в самой России, так и в среде эмиграции³. В глазах соотечественников, именно «новые русские» представляли «на сегодня наиболее яркую общественную прослойку страны, вероятно, наиболее заметную взору исследователя, социолога, историка или журналиста» (Dutkina, 1996, 86).

И то и сё

Начиная примерно с 1996 г. многие исследователи начали настаивать на необходимости дифференцировать «новых русских» как по их общественному положению, так и по их происхождению. К примеру, в октябре 1997 г. в московском Английском клубе во время круглого стола, посвященного психологии современных русских бизнесменов, профессор Алексей Кара-Мурза высказал мысль о том, что агрессивное, пронизанное стереотипами отношение к предпринимательству в России объясняется традиционным в России восприятием буржуазии как феномена *западного* по своей сути. Что, в свою очередь, привело к убеждению, что, с одной стороны, российский бизнес, включая также самих бизнесменов, *должен* копировать западные модели, а с другой — что такому подражанию не суждено состояться. Кара-Мурза сопоставил протестантскую этику, лежащую в основе западного предпринимательства, а также этику японского самурая, во многом определяющую восточную практику налогообложения, с этикой русских староверов, составлявших всего 2% населения страны, но 80% российских миллионеров. По мнению Кара-Мурзы, появление нового бизнес-класса в постсоветской России происходит на фоне номенклатуры, этого современно-го аналога западноевропейских феодалов.

³ Анекдоты о «новых русских» не только пересказывались повсеместно, но и вышли в виде сборников в Санкт-Петербурге. Они с большей или меньшей регулярностью появлялись в русских газетах и журналах (например, в *Огоньке*), а также в эмигрантских газетах *Панорама* и *Новое русское слово*.



Обложка книги *Анекдоты и байки про новых русских*

Во время того же круглого стола профессор Петр Шихарев предложил классификацию прошлого «новых русских». При этом в основу классификации был положен хронологический принцип. *Первую волну* предпринимателей составляли в основном кооператоры и «теневики» — представители нелегального советского бизнеса, которые попросту вышли из подполья в процессе десоветизации. *Вторая волна* бизнесменов состояла из бывших комсомольских лидеров и тех, кто работал в молодежных центрах. Большинство бизнесменов *третьей волны* составили бывшие директора и заместители директоров фабрик и заводов, то есть подреставрированная номенклатура, состоящая, по мнению Шихарева, из настоящих профессионалов, обладавших как знаниями, так и опытом, сопоставимым с опытом лучших выпускников западных бизнес-школ. Однако, в отличие от западных бизнесменов, предпочитающих иметь дело со своими соотечественниками, российские предприниматели быстро усвоили практику сотрудничества практически с любыми *иностранными* партнерами. Шихарев выразил надежду на экономическое возрождение России благодаря синтезу западного индивидуализма и восточного коллективизма, синтезу,

который, по его мнению, успешно демонстрируется корейской и японской моделями⁴.

Лишь меньшинство в России и за рубежом воздержалось от карикатурной трактовки «новых русских» в виде вульгарных негодьяв. Не впадая в другую крайность — изображение «новых русских» в розовых тонах, — это меньшинство признало за «новыми русскими» энергичность, готовность идти на риск, организаторские способности, т.е. черты, необходимые для обеспечения будущей стабильности страны. Опрос общественного мнения, проведенный в Москве в феврале 1997 г., показал, что более 52% опрошенных считали честность «плюсом» постсоветского российского бизнеса и около 15,3% придерживались мнения о том, что частные предприниматели бессовестные, нечестные и ненадежные. Тем не менее почти 40% отметили энергичность, находчивость и изобретательность бизнесменов. Пол Грегори, американский ученый, который проводил исследование «новых русских» как социально-экономического феномена, также подчеркнул, что некоторые из этих бизнесменов были попросту «честными и опытными работниками», оказавшимися к тому же в состоянии разрушить давний антирусский стереотип, согласно которому роскошные отели, шикарные рестораны, эксклюзивные магазины созданы исключительно для обслуживания *иностранцев* (Gregory, 1996, 51, 55).

Первая волна «новых русских» (1991—1995) в основном состояла из чиновников среднего возраста, так или иначе связанных с деятельностью номенклатуры. Однако уже во второй половине 1990-х резкий рост числа молодых предпринимателей (20—40 лет) заставил исследователей увязывать новый бизнес в России именно с молодым поколением. В отличие от представителей более старшего поколения, приученного советской системой воспитания с негодованием относиться к высоким зарплатам и привилегиям начальства, молодые «выскочки» 1990-х сразу приняли неравенство в зарплате, веря в то, что со временем и при определенных усилиях они также смогут достичь более высокой планки (Бармина, 1996, 3). В советское время привилегией считался возраст, теперь же сама атмосфера постсоветского бизнеса оказалась пропитана исключительно благоприятными возможностями для выдвижения тех, кто родился в 1970-е гг. Согласно данным исследовательской кампании по изучению российского рынка, до августов-

⁴ Более подробно о материалах круглого стола в Английском клубе см.: Ажгихина, 1997.

ского кризиса 1998 г. 73% молодых в возрасте от 16 до 24 лет и 60% россиян в возрасте от 25 до 34 лет считали, что жизнь улучшилась в 1996 г. Это было прямо противоположно мнению тех, кому за 65: 67% из них заявили, что условия жизни значительно ухудшились⁵.

Как отмечали Александр Губский и Ашли Моррис в своей статье 1997 г., довольно много мужчин, еще не достигших возраста 30 лет, занимали тогда высокие посты на крупнейших российских предприятиях. Так, двадцатипятилетний Е. Юрьев владел инвестиционной компанией «Атон», основанной им же в 1991 г. и ставшей впоследствии российским партнером Группы Дж.Марк Мобиуса Темплтона⁶; Ю. Колоев в свои двадцать лет был одновременно второкурсником Московского института экономики и статистики и заместителем директора по вопросам развития в «Пионер-банке»; Рубен Варданян в 23 года возглавил «Тройка-Диалог-банк», «одно из наиболее успешных инвестиционных учреждений» (Gubsky & Morris, 1997, 9—10)⁷.

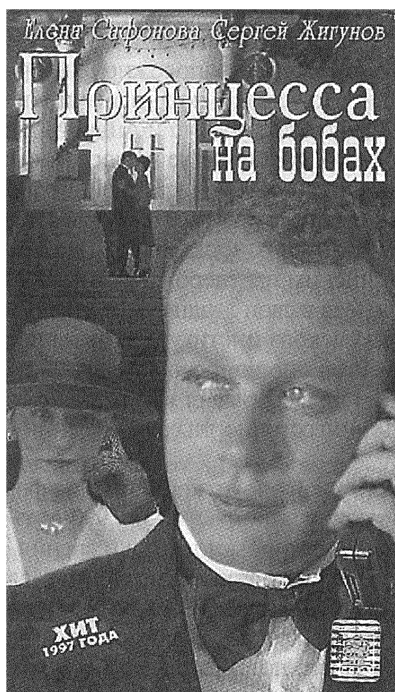
В отличие от советской эпохи, когда мнения формировались под влиянием политических пристрастий, в 1990-е гг. возраст стал играть важную роль в формировании точки зрения. Неудивительно поэтому, что более молодые представители интеллигенции нашли больше общего именно с «новыми русскими», нежели с интеллигентами того поколения, которое выросло при Сталине. Симптоматичным примером такого потенциального альянса поверх культурных барьеров является Вячеслав Курицын. Обосновавшись в Москве и примкнув к реформированному Российскому государственному гуманитарному университету (бывший Историко-архивный институт), этот своего рода парвеню от культуры из Екатеринбурга стал одним из наиболее плодовитых литературных критиков столицы. Отказавшись от высокомерного презрения к «новым русским громилам», Курицын обратил внимание на их жизнеспособность и благотворное влияние на российское общество:

«Новые русские» — это те, кто благодаря своему таланту и животному инстинкту очень быстро стали богатыми во время периода первоначального накопления капитала... когда надо было не думать, а дей-

⁵ См. 4-ю статью из серии статей о России в журнале *The Economist* (12—18 июля 1997).

⁶ Дж.Марк Мобиус Темплтон был президентом «*Templeton Developing Markets Trust*»..

⁷ См. также другие примеры (Gubsky and Morris, 1997, 8—11); (Gregory, 1996, 54—59).



Афиша фильма Вилена Новака «Принцесса на бобах» (1997)
с Еленой Сафоновой и Сергеем Жигуновым в главных ролях

ствовать — быстро, точно, умно. Умным было быть необходимо, но не обязательно было быть утонченным или цивилизованным. «Новые русские» смогли заработать кучу денег, но не смогли приобрести подходящих культурных понятий. Среди «новых русских» немало талантливых людей — иначе они просто не имели бы того, что они имеют сейчас. Некоторые из них сейчас хорошо обосновались и стали думать о детях, а поэтому и о культуре... У этой аудитории есть будущее, и с ними необходимо работать, многие из них восприимчивы к новым идеям, и поэтому на них необходимо влиять. (Kuritsyn, 1997, 13)

Комедия Вилена Новака «Принцесса на бобах»⁸, ставшая одним из самых популярных фильмов 1997 г., с юмором и симпатией под

⁸ Заглавие фильма построено на каламбуре: вызывая в памяти сказку «Принцесса на горошине» (одна из сцен в фильме является аллюзией на сказку), оно одновременно опирается на поговорку «остаться на бобах».

ходит к изображению дилеммы «нового русского», страдающего от несоответствия между его имиджем, сложившимся в народе, и «добрым сердцем», которое бьется в груди, облаченной в безупречный костюм⁹. Нехитрая фабула фильма, напоминающая сказку, тем не менее уходит корнями в реальность 1990-х гг. Удивительно удачливый бизнесмен Дима Пупков желает улучшить собственную респектабельность — изменить свою смешную фамилию, женившись только ради имени на женщине из старинного русского дворянского рода. Его выбор падает на Нину, происходящую из известного рода Шереметевых, работающую судомойкой в шикарном ресторане, в котором Пупков часто ужинает. Фильм прослеживает историю усеянного деньгами пути Димы к Нине и к ее благородной фамилии. Осаждая ее предложениями денег и настойчивостью, Пупков в конце концов влюбляется в Нину, а с ее стороны яростное сопротивление сменяется симпатией. Поставленная перед выбором между (принцем) Пупковым и нищим (мужем), в конце фильма Нина, присевшая на ступеньку бегущего вверх эскалатора и свысока (и с высоты) смотрящая на неудачливого жениха, предпочитает остаться в кругу своей интеллигентной семьи, уже, по всей видимости, избавившись от предрассудков в отношении окружающих ее пупковых.

Новак усложнил историю этой «новой русской» Золушки, введя в сказочный сюжет характеры, показанные в банальных и сентиментальных ситуациях и символизирующие достоинства и недостатки представляемых ими общественных слоев. Таков, например, деморализованный «культурный» муж Нины, который — в то время как Нина, чтобы заработать кусок хлеба для своей семьи из четырех человек, сбивается с ног, разрываясь между несколькими унижительными для нее и физически выматывающими работами, — с утра до вечера проводит время на диване за чтением. Муж Нины является персонификацией паралича, одолевшего

⁹ В силу финансовых затруднений, типичных в российской киноиндустрии, понадобились три года, чтобы закончить фильм, хотя сценарий Марины Мареевой в 1993 г. в Ялте выиграл приз «Надежда». ТВ-Центр, вложивший в этот фильм примерно 150 000 долларов, обладал правом премьерного показа, а НТВ купило право на последующий малозкранный прокат фильма. Популярная российская актриса Елена Сафонова, известная западному зрителю главным образом по прекрасной игре в фильме «Аккомпаниатор», сыграла у Новака роль «принцессы», а роль Пупкова мастерски сыграл Сергей Жигунов, владелец студии «Шанс». См.: *ВидеоАудио Бизнес* 15 (17), август 1997, 11.

современного интеллигента-мужчину, неспособного приспособиться к быстро меняющемуся общественному порядку, который оставил его благородные устремления не востребованными. Сама Нина — не только воплощение изысканности, гордости, осознанного презрения к материальному благополучию, столь присущего элитарному самосознанию интеллигентов, но и удивительной готовности советской женщины к самопожертвованию, готовности принять на себя роль и матери, и служанки своих ни на что не годных супругов. Пупков же, в свою очередь, является своего рода схемой развития «новых русских» после распада Советского Союза, схемой их постепенной эволюции — от клоуна к утонченному и нежному влюбленному.

Не выходя за рамки развлекательной комедии, фильм тем не менее является красноречивым призывом к более детальному и дифференцированному восприятию «новых русских». Как показывает образ Пупкова, новый предприниматель может не обладать пресловутой культурой и утонченностью интеллигенции (в начале фильма Пупков подтверждает расхожее клише о «новом русском» как тупом, беспробудно пьющем хамоватом бабнике), но у него есть энергия, жизнелюбие, сострадание и запоздалое желание работать над собой. Его любовь к благородной судомойке превращает его в мужчину несравненно более чуткого и глубокомысленного, нежели плаксивый, слабый интеллектуальный муж Нины.

Фильм Новака отразил быстро растущее желание «новых русских» придать «грязным» деньгам «классный» вид. Эта озабоченность общественной оценкой отчасти является реакцией на обобщенный уничижительный образ «новых русских», спроецированный главным образом постсоветской интеллигенцией. Поиск образа, который мог бы соперничать с распространенными стереотипами, принял разные формы, большинство из которых можно объединить под рубрикой *образование* в самом широком смысле этого слова. Кроме того, что «новые русские» отправляют своих отпрысков в заграничные школы, университеты и колледжи (как из соображений безопасности, так и для того, чтобы повысить шансы на успешное развитие их профессиональной карьеры), они также занялись *самообразованием*. В следующем разделе рассматриваются общественные институты, занявшиеся просвещением «новых русских» в вопросах этикета, соответствующего их финансовому положению. Попытаемся определить, в какой мере образ, культивируемый с помощью соблюдения ряда ритуалов, демонстрации вкуса и образа жизни, включился в борьбу и попытался по-

бороть гиперболизированное, негативное олицетворение «нового русского» в средствах массовой информации.

Национальный интернационализм

Стремление рафинировать грубый образ и тем самым укрепить свои общественные позиции вдохновило «новых русских» на поиски дорогих и порой вызывающих способов самоутверждения. Эта погоня за соответствующим имиджем совпала с возникновением в России ностальгии по недавнему и более отдаленному прошлому. Ностальгии, развившейся, как только улеглась слепая погоня за всем западным, характерная для периода гласности. Начиная с середины 1990-х национальная ностальгия стала проявляться повсеместно: в учреждении *Русского бистро* — закусочной, конкурирующей с гегемонией *Макдоналдса* своими пирожками, борщом и другими традиционными блюдами в более чем десяти точках Москвы и намеревающейся довести число своих предприятий до 200; в учреждении *Русского радио*, которое стало самой популярной радиостанцией, благодаря исполнению исключительно русской музыки для ежедневной аудитории из 664 тысяч человек в 39 городах; в новогодних шоу «*Старые песни о главном*», устроенных Леонидом Парфеновым, который веселыми песнями эпохи Брежнева привлек более 60% ТВ аудитории страны; в неувядающей популярности группы «*Любэ*», известной своими стилизациями военных песен и подражанием советской попсе; в лоббировании российских филологов, которые предложили запретить использовать значительное число иностранных слов в российских средствах массовой информации; в прокате фильмов, неутомимо повествующих о российском прошлом; в учреждении комитета по разработке новой «национальной идеи» и в премии размером две тысячи долларов, врученной *Российской газетой* историку и философу Юрию Седакову, который в своем эссе провозгласил «общество, родину, славу и власть» неотъемлемыми элементами самосознания России (Bordeaux, 1997); в возрождении традиции венчания и других религиозных ритуалов прошлого; в продвижении товаров отечественных производителей. Реклама пива, масла и других продуктов, изображая богатырей, защищавших национальные границы Русского государства, стала наглядным воскрешением исторических традиций России.

На фоне неустойчивого, полного драматизма повседневного существования аспекты былого могущества стали видеться деморали-

зованному внезапной потерей международного статуса населению в розовом свете. В то время как одни — особенно представители пожилого поколения — жаждали возрождения стабильности советской эпохи, «твердой руки Сталина» и «имперской славы», другие стремились установить связь с ритуалами, характерными для периода, предшествовавшего революции, т.е. с тем временем, когда российская культура была неотъемлемой частью культуры европейской.

Русский национализм укрепился как раз тогда, когда в политике и экономике стал развиваться интернационализм. Глобализация бизнеса и технического прогресса, которые революционизировали транспорт и систему информационных коммуникаций, привела к беспрецедентному уровню взаимоотношений между постсоветской Россией и остальным миром. В этой ситуации «новые русские», стремящиеся установить деловые контакты с другими странами, столкнулись с необходимостью выработки новой идентичности, утверждения нового, узнаваемого образа.

Облагораживание

Поскольку выгода от создания впечатления надежности, серьезно отношения к делу и по крайней мере подобия утонченности была самоочевидной, со временем «новые русские» встали на путь самосовершенствования.

Приобретение британских титулов на аукционах, проводимых *Manorial Society* четыре раза в год, или через брокеров и специализированные агентства стало одной из форм подобной работы над «усовершенствованием образа». В 1997 г., по слухам, анонимный российский клиент (через посредничество швейцарского банка) заплатил 250 000 долларов за титул лорда Уимблдонского. По мнению Романа Саркисова, занимавшегося маркетингом генеалогий в Москве, один депутат Думы купил свой титул за 175 000 долларов. Молодой банкир Дмитрий Иванов согласился заплатить 23 000 долларов за шотландский титул (Попов, 1997, 3), предвкушая, какое впечатление это произведет на его потенциальных партнеров по бизнесу (Скосырев, 1997, 3). Будущие российские аристократы охотно обращались к Саркисову, который от их лица вел переговоры (Arnold, 1997, 3).

Для потомков дореволюционной российской аристократии, немедленно после десоветизации поспешивших подтвердить свою принадлежность к «голубой крови», такая циничная торговля ти-

тулами представляется еще одним доказательством дурного вкуса «новых русских». Тем не менее, несмотря на очевидные отличия, обе группы отстаивали свое право на одно и то же: на движение вверх по социальной лестнице, сопряженное с воспитанием вкуса, проявляющегося в общественных ритуалах, предававшихся анафеме в течение нескольких десятилетий советской минималистской уравниловки.

Одной из аристократических ловушек, в которые стремились попасть «новые русские» для того, чтобы укрепить свою репутацию и побороть собственное чувство неполноценности, стало членство в организациях, созданных по образу эксклюзивного британского аристократического клуба. В середине 1990-х в Москве как грибы стали появляться клубы разнообразной направленности (спортивные, оздоровительные, по специальным интересам), обслуживающие разбогатевших русских¹⁰. Как и их британские прототипы и зарубежные имитации британских клубов, некоторые московские заведения исключали членство женщин, некоторые, напротив, смотрели как на предрассудок на дискриминацию членов по половому признаку, но все рекламировали свою исключительность, роскошную обстановку, дорогое обслуживание и возможность оказаться в кругу знаменитостей.

Среди братских анклавов, создаваемых в соответствии с установившимися британскими традициями, можно назвать *Ротари клуб* и *Монолит* (членство в них стоило от 10 000 долларов), *Клуб джентльменов*, возглавляемый депутатом от коммунистической партии Владимиром Семаго, знаменитый тем, что его члены облачались во фраки, чтобы играть в бильярд (*Economist*, 1997, June 12—18, 53), а также *Московский гольфклуб*, богатые члены которого не только играли на поле, но и организовывали такие, например, мероприятия, как благотворительный вечер «*Вторая половина*», проведенный 3 июля 1997 г. и собравший 330 480 рублей (примерно 5 440 долларов) в пользу нуждающихся детей (Озерова и Морозов, 1997, 11). Москва может похвастаться также множеством политических, профессиональных, артистических, молодежных и женских клубов.

Среди всех этих заведений наиболее, пожалуй, интригующим из числа возрожденных со времен царизма стал *Английский клуб*. Широко обсуждаемый в печати, *Английский клуб* занял почетное место Клуба клубов, бриллианта в московской клубной короне.

¹⁰ Обзор этих клубов см.: Azhgikhina, 2000.

В качестве такового этот клуб стал бастионом, к которому устремились «новые русские», и поэтому его живописная история заслуживает особого внимания.

В 1862 г., немного поиздержавшись, Лев Толстой пообещал издателю Михаилу Каткову свой (еще не написанный) роман «*Казаки*» в обмен на деньги, занятые под игру в *Английском клубе*. Играя в карты за одним из столов клуба, богатый банкир Сергей Рябушинский опрометчиво поставил на кон и проиграл свою любимую виллу «*Черный лебедь*», расположенную в Петровском парке. Князь Голицын, играя с графом Разумовским, значительно поднял ставки, поставив на кон свою жену, и должен был сдержать свое слово. В сцену, где разыгрывались подобные памятные «джентльменские» соглашения, превратился знаменитый *Английский клуб*, обслуживавший мужчин, принадлежавших к привилегированным классам русского общества; он сделался символом эксклюзивности периода Российской империи.

В 1770 г. британский банкир Фрэнсис Гардинер¹¹ основал в Петербурге филиал *Английского клуба* для пятидесяти экспатрированных купцов (Beeston, 1997). Аналог этого клуба вскоре открылся в Москве и стал первым заведением, собиравшим под своей крышей англичан, французов и русских. Уже в начале XIX в. иностранцы составляли подавляющее меньшинство членов клуба, что отразилось в замечании Александра Герцена о том, что ничего отдаленно напоминающего Англию в этом клубе не было («*Былое и думы*»). Во время Первой мировой войны часть площади клуба была занята госпиталем, а с 1918 г., после прихода к власти Советов, клуб прекратил свое существование (Гиляровский, 1967, 263).

В пору своего расцвета *Английский клуб* был закрыт для женщин, но привлекал знаменитостей-мужчин обеих столиц. Среди его членов блистали писатели (Баратынский, Дельвиг, Грибоедов, Карамзин, Крылов, Пушкин¹², Толстой, Тургенев, Загоскин и Жуковский), издатели (Катков), государственные деятели (Аракчеев, Бенкендорф, Сперанский, министр И. Дмитриев, сенаторы С. Салтыков и П. Лопухин, Потемкин), военачальники (Баграти-

¹¹ Согласно Владимиру Набокову, банкира звали Корнелиус Гардинер и Санкт-Петербургский филиал, официально называвшийся Английское собрание, был намного престижнее московского клуба (Nabokov, 1964, 3, 118, 275).

¹² Пушкин вступил в клуб в 1832 г. и регулярно посещал его вплоть до своей смерти в 1837 г.

он, Ермолов и Кутузов), врачи (А. Альфонский), банкиры (Рябушинский), философы (П. Чаадаев) и знаменитые аристократы (внук Екатерины Второй А. Бобринский, князь В. Голицын). Всего в клубе насчитывалось от трехсот до шестисот членов¹³, некоторым приходилось ждать чести стать членом клуба по пятнадцать лет. Основные занятия в клубе сводились к светским беседам, обедам или ужинам, выпивке, игре в шахматы, бильярду или картам (особой популярностью пользовались вист и преферанс). Сообщения о пикантных подробностях времяпрепровождения высокопоставленных членов клуба поражали воображение читателей XIX в. и еще более укрепляли репутацию клуба как заведения блестящей невоздержанности¹⁴. Некоторые не без зависти мифологизировали клуб как Эдем гурманов и игроков.

Однако клуб выполнял и более серьезные задачи, предоставляя арену для неофициальных, но весьма влиятельных споров среди знати по широкому спектру общественных и политических вопросов. Уютная библиотека клуба выписывала внушительное число отечественных и зарубежных газет, а кроме этого была еще и *говоришня*, использовавшаяся для общения (Гиляровский, 1967, 252). Способствуя бесконтрольному обмену взглядами между «лучшими умами того времени» в приятной обстановке, *Английский клуб* синтезировал в себе черты курса игры в гольф, коктейль-вечера и спортклуба, смешивая воедино политику и политес.

Следуя идеалам британской городской аристократической культуры и хорошего вкуса, клуб культивировал аристократические виды отдыха, соблюдая в то же время принцип *nobless oblige* (положение обязывает). Соответственно, члены клуба занимались благотворительностью и становились зачинателями инициатив, считавшихся достойными ранга члена клуба: крупные средства направлялись на помощь потерпевшим от петербургских наводнений; усилия клуба сыграли решающую роль при возведении памятника Дмитрию Донскому на Куликовом поле. Пушкин в «*Евгении Онегине*» (1823—1831) обессмертил клуб, представив его как

¹³ По словам Набокова, к 1820-м гг. московский филиал клуба мог похвастаться членством в 600 человек, в то время как число членов более престижного петербургского собрания было всего 300 человек (Nabokov, 1964, 3, 118).

¹⁴ Главный источник информации о клубе — мемуары журналиста Владимира Гиляровского (1853—1935) — подчеркивает гедонистическую направленность заведения (Гиляровский, 1967).

средоточие общественных привилегий и престижа¹⁵, а в российском популярном сознании клуб стал ассоциироваться с мифическим «золотым веком» непоколебимой стабильности и невообразимого богатства.

Возрождение клуба в 1990-х отразило рост постсоветской моды на элитарные и цивилизованные формы общения. В то время как большинство таких заведений строилось по центристическому принципу, организуясь, как и при царизме, вокруг какого-то одного хобби или профессии (например, *Киноклуб*, *Юридический клуб*)¹⁶, *Английский клуб* 1990-х сохранил центробежность своего предшественника, поддерживая имидж разносторонности, который, в свою очередь, успешно предохранял от поспешных ассоциаций клуба с тем или иным политическим направлением, программой или интересами какой-то одной группы.

Для русских постсоветского времени *Английский клуб* стал олицетворением потерянного рая самоуверенного патрицианского шика. По словам Елены Цыганковой, пресс-секретаря современной реинкарнации клуба, в середине 1990-х идея возрождения клуба одновременно посетила нескольких человек. Эта группа выбрала в качестве руководящего принципа объединение представителей разных профессий и разных сословий, движимых общим желанием общаться в комфортной обстановке и участвовать в оживленной беседе (изначальный девиз клуба *Concordia et laetitia — Согласие и удовольствие*)¹⁷.

На официальном открытии клуба в мае 1996 г., сопровождавшемся роскошной церемонией, во время которой учредители подняли бокалы с брусничным ликером — традиционным напитком клуба, организация получила название Московского Экзекьютив-клуба. Однако в конце 1997 г. клуб наконец получил разрешение использовать старое, овечное традицией имя *Английского клуба*. Расположенный в бизнес-центре Москвы, в здании российской Торговой палаты на Чистопрудном бульваре, клуб начал вести переговоры с муниципалитетом о переносе своей штаб-квартиры на ее прежнее место — в бывший Музей революции на Тверской.

¹⁵ Однако Толстой в «*Анне Карениной*» отзываясь о клубе как о «храме праздности» и приписывает ему морально вредное влияние. О мнении относительно клуба среди представителей литературных кругов см. мемуары Гиляровского (1967).

¹⁶ Об охотничьем клубе см.: Гиляровский, «*Охотничий клуб*», 239—246.

¹⁷ Эта информация взята из беседы с Цыганковой, а также из материалов, подготовленных для пресс-релизов клуба.

Решимость клуба добиться собственного признания как законного «преемника московского Английского клуба»¹⁸ была проявлением типичной тенденции 1990-х: культурная легализация через установление досоветского аристократического родства.

Попечительский совет клуба, состоявший в основном из его учредителей, на разных встречах и мероприятиях мог похвастаться наличием в своих рядах многих известнейших в стране деятелей бизнеса, политики, искусства и индустрии развлечений¹⁹. Клуб также возродил старинное звание старшины, присуждаемое либо самым «старым и мудрым» членам, выполняющим роль советников, либо острословам, с честью выдержавшим испытания распорядителей и ведущих достославных вечеров. Кроме московского мэра Юрия Лужкова, одного из почетных членов клуба, к этой избранной касте мудрецов и острословов принадлежали также юрист Николай Клен и актер Александр Ширвиндт.

В отличие от своего предшественника, новый *Английский клуб*, насчитывающий приблизительно 130 человек, принял в свои ряды

¹⁸ «Московские лица», вставка в *Лицах* 7, 1997, 9.

¹⁹ Членами клуба являются такие знаменитости, как Сергей Абакумов, президент акционерной компании АБАС Интернешнл, актер Александр Ширвиндт, заместитель председателя Совета, Станислав Смирнов, президент Торговой палаты; Станислав Шаталин, президент Международного фонда реформ. В разное время в Совет управляющих клуба входили президент клуба Олег Матвеев, возглавлявший коммерческо-финансовую группу «М-Плюс»; Артем Боровик, телеведущий и главный исполнительный директор информационно-издательского центра «*Совершенно секретно*»; Михаил Ульянов, возглавлявший Союз актеров театра; кинорежиссер Эльдар Рязанов; композитор Юрий Саульский; Елена Погорелова, президент бизнес-компании ELSI; Иосиф Орджоникидзе, вице-премьер правительства Москвы; Лев Рохлин, президент думского Комитета обороны; трех- и четырехкратные олимпийские чемпионы — хоккеисты Владислав Третьяк и Александр Тихонов; вечно молодая народная артистка Людмила Гурченко; полярник и вице-президент Думы Артур Чилингаров; Виктор Садовничий, ректор МГУ; певец Большого театра Зураб Соткилава; Елена Чайковская, главный тренер российской сборной по фигурному катанию; Виталий Смирнов, президент Олимпийского комитета России. Среди рядовых членов клуба числились такие магнаты бизнеса, как Петр Авен, президент «*Альфа-банка*»; Юрий Бойков, президент АОЗТ «*Союз-Альфа*»; Андрей Илиопуло, руководитель «*Econika*»; Юрий Сенин, генеральный директор «*Cat Softword Ltd.*»; Сергей Багаев, президент Московской ассоциации риэлторов и директор компании по продаже недвижимости «*Вавилон*»; Андрей Гусаров, президент строительной компании «*Сатори*»; главные редакторы газет, такие как Муладжанов из *Комсомольской правды* и Виталий Третьяков из *Независимой газеты*; представители средств массовой информации и ученые.

женщин: помимо Гурченко, Чайковской и Погореловой членами клуба стали менее известные, но несомненно преуспевающие женщины, такие как театральный и кинохудожник Алла Коженкова, телепродюсер Ирена Лесневская, владелица агентства безопасности «*Бастيون*» Елена Андреева и вице-президент туристического агентства «*Рантек Интернешнл*» Ирина Беликова.

Стать членом клуба можно либо по рекомендации полноправных членов, либо на основании самостоятельно поданного заявления. В любом случае в течение двух недель каждый претендент проходил строгую проверку, направленную главным образом на то, чтобы отсеять кандидатов с криминальными связями или же с несовместимой с принципами клуба идеологией. Ежегодный взнос для прошедших аттестацию составлял \$7000 и давал право участвовать во всех мероприятиях клуба, на которые можно было приглашать и персональных гостей. Поскольку большинство членов клуба этим правом пользовались, на гала-приемах число посетителей достигало в среднем 250 человек.

Состоятельность была важным, но не единственным критерием для того, чтобы стать членом клуба, поэтому, по слухам, взнос менее обеспеченных, но необыкновенно важных для популярности и репутации клуба членов был уменьшен. Через свой *Экзекьютив-сервис* за приемлемую оплату клуб предоставлял услуги, которые в контексте России являлись исключительными. Приобретая *клубную карту* в *Оребанке*, члены получали доступ к частным врачам и юристам, автомеханикам и слесарям, посыльным, нянкам и домработницам, из которых все были профессионалами высшего класса и к услугам которых можно было прибегать 24 часа в сутки²⁰. Помимо этого за неназванную цену для членов клуба, подписавшихся на исполнительское обслуживание, работники клуба устраивали жилье, каникулы, отпуска, образование и деловые поездки (*Business in Russia*). Одним словом, *клубная карта* была пропуском к комфорту и безопасности первоклассного обслуживания, и многие компании соперничали за рекламируемое право предложить свои услуги клубу.

Вне всякого сомнения, отчасти благодаря Лужкову, выбранному на почетную роль старшины клуба, *Английский клуб* был определен как общественная организация Москвы, получившая право принимать официальных лиц иностранных государств во время

²⁰ «Московские лица», вставка в *Лицах*, 7, 1997, 9.

празднования 850-летия Москвы в сентябре 1997 г.²¹ Это «знакомство», собравшее послов, культурных атташе, официальных представителей всех сортов, превратилось в прием в *Доме дружбы* в апреле 1997 г. и способствовало тому, что клуб официально закрепил свой статус как *Английский клуб*.

Деятельность клуба координировалась работой слаженной группы творческих и энергичных сотрудников. Среди проведенных мероприятий были церемонии посвящения новых членов клуба; ужины в лучших ресторанах Москвы (таких, как «*Метрополь*» и «*Пекин*»); специальные выставки, такие как, например, выставка, посвященная балерине Елене Максимовой (Чесноковой); выставки раритета и ценностей (например, тонкостенного фарфора от поставщика фарфора для британской королевской семьи, выставленного для членов клуба в шикарном, «под старину» французском ресторане «*Клуб Т*»); частные распродажи (например, ювелирных изделий от Нины Риччи); показ новой коллекции обуви с обувной линии Аллы Пугачевой в клубе «*Лихор*» в гостинице «*Метрополь*»²²; вечера и балы (например, костюмированный новогодний вечер); экскурсии, сочетавшие культурные и кулинарные изыски в праздничной атмосфере (например, ностальгическая поездка на пароходе в Серебряный бор, сопровождавшаяся традиционными цыганскими романсами); а также вечера-«сюрпризы», во время которых собравшимся предлагалась либо неожиданная ситуация, либо не объявленный заранее гость. На 8 Марта клуб предложил на выставку-продажу ювелирные изделия Голливуда и шляпы работы Ирины Белопуховой. Поскольку традиционным головным убором советских женщин был платок, этот показ символизировал общее желание клуба повлиять на отечественную моду, подав пример элегантности. Соблюдая правила костюма на большинстве мероприятий, клуб приветствовал попытки появляться на специальных мероприятиях клуба во фраках и шикарных вечерних платьях, появлявшихся до этого лишь на сценах театров.

Собрание 27 августа 1997 г., посвященное 225-й годовщине *Английского клуба* и проходившее в старом помещении клуба на

²¹ Верный широко распространенной русской традиции *quid pro quos*, клуб поддержал бы кандидатуру Лужкова на президентских выборах-2000, если бы кампания против него и Примакова не устранила бы обоих кандидатов.

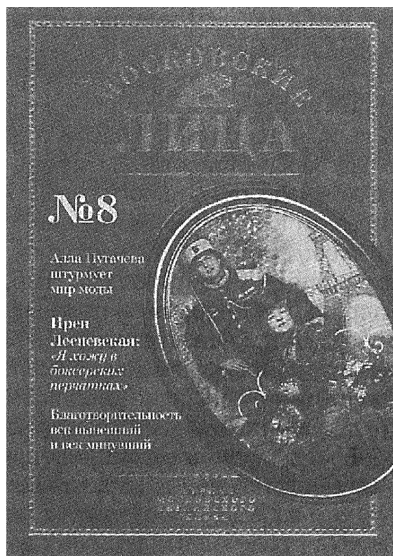
²² Этот показ, как и все, что связано с Пугачевой, широко освещался практически во всех популярных журналах в статьях с заголовками типа «Пугачева обует всю страну» (Аледина, 1997, 4). См. также: *Огонек*, *Лица* и т.д. за тот месяц.

безупречно отреставрированной Тверской, привлекло большую толпу зрителей, с интересом наблюдавших через ограждения вечерние забавы богатых. После нескольких речей, выступления живого оркестра, исполнявшего в основном западные мелодии²³, и ритуальной церемонии приветствия новых членов, приглашенные и их гости гуляли по залам *Музея революции*, содержащего останки старого *Английского клуба* — комнаты, обновленные на деньги, предоставленные группой членов клуба. Во время мероприятия, которое снималось для телевидения, произошло несколько забавных случаев. Прохожим особенно понравилась сцена, когда к подъезду подкатила карета, из которой вышли три человека, загримированные под Пушкина, Кутузова и Наполеона, и протянули свои пригласительные билеты охране, проверявшей список приглашенных у входа в Музей. Гвоздем вечера, однако, стала сцена цыганочки с выходом, во время исполнения которой Лужков позабыл и свое положение, и свой возраст.

Среди более интеллектуальных забав, проходивших в клубе, можно назвать дискуссионный клуб, возглавляемый профессором-политологом Алексеем Кара-Мурзой, председательствовавшим на ежемесячных обсуждениях таких вопросов, как перспективы будущего развития России, предпринимательство и политическая власть, рост преступности в стране и др. Во время празднования дня рождения Петра Первого (в мае 1997 г.) некоторые участники дискуссионного клуба отправились в Петербург, дабы присоединиться к проходившим там торжествам, и именно тогда вдохновили «вторую» столицу на возрождение петербургского филиала Английского клуба. А 23 октября 1997 г. клуб обсудил непростой вопрос, широко освещаемый как в российской, так и в западной прессе: «*Психология поведения нового русского предпринимателя*». После запланированных докладов последовали свободное обсуждение этой проблемы и оживленные споры, разгоревшиеся между членами клуба, гостями и журналистами. В частности, обсуждалась «роль деловых женщин в новой России», «взаимоотношения бизнеса и политики», «проблема конфликта интересов», «этика и моральные компромиссы или их отсутствие в российском бизнесе 1990-х годов», «роль воспитания, образования и культуры в бизнесе»²⁴.

²³ Духовой оркестр развлекал собравшихся мелодиями из «*Моей прекрасной леди*», «*When you are in love*» и т.д.

²⁴ Стенограмма заседания Дискуссионного клуба: «*Психология поведения нового русского предпринимателя*», 23 октября 1997 г. Возможно, сознательное



Обложка журнала *Московские лица* (1997, № 8), издание Московского английского клуба

Общественная активность клуба порой приносила быстрые конкретные результаты — прежде всего в области филантропии²⁵. Например, два латышских поклонника Бориса Пастернака — банкир и поэт-посол — познакомились в клубе и с его помощью восстановили дом-музей Пастернака в Переделкине, одновременно разработав программу долгосрочной материальной поддержки штата музея. Кроме этого, клуб организовывал концерты, сборы с которых шли на благотворительность или на празднование исторических юбилеев, таких как празднование 850-летия Москвы. С этой целью статус члена клуба использовался как выигрышный лотерейный билет, который обеспечивал привлечение таких звезд, как Майя Плисецкая и Лев Лещенко, с готовностью выступавших на подобных мероприятиях.

использование термина «российский», а не «русский» в названии дискуссии уберегло участников от уравнивания всех бизнесменов бывшего Советского Союза с расхожим образом вульгарного, наглого, склонного к преступлению нового русского.

²⁵ В отличие от США, благотворительность в России 1990-х гг. полностью подпадала под налогообложение.

Популяризация клуба и освещение его деятельности осуществлялись с помощью Артема Боровика, телеведущего программы «*Совершенно секретно*» и редактора газеты с тем же названием. Боровик организовал выпуск ежемесячного журнала *Лица*. Официально представленный в ресторане «*Пекин*» в ноябре 1996 г. (несмотря на то что был зарегистрирован 30 января 1996 г.) с Григорием Нехорошевым в качестве главного редактора, журнал *Лица* стал выходить тиражом в 50 000 экземпляров (издаваемый под эгидой «*Совершенно секретно*» журнал печатался в Финляндии) и продаваться практически в каждом киоске. Тираж *Лиц* отражает читательский интерес к изданию; на 66 цветных глянцевых страницах журнал рассказывал о новостях клуба (в разделе «*Московские лица*»), публиковал интервью, книжные обозрения, а также материалы, подобные тем, что регулярно публикуются на страницах других российских изданий. Помимо этого клуб собрал профессиональную коллекцию фотохроники своих мероприятий и надеялся сделать фильм о своей деятельности, а также создать собственную телепрограмму. Одним словом, практически с первого дня своего существования клуб разработал рекламную программу, направленную на обретение собственного лица как ключевого фактора в общественно-культурной жизни столицы.

Форма содержания

Возможно, скептики с иронией отнесутся к возрождению *Английского клуба*, особенно приняв во внимание реставрацию в России не только старинных особняков, но и царских традиций и институтов, уничтоженных советским режимом. Горя желанием оставить свой неизгладимый след в российской столице, мэр Лужков яростно взялся за превращение Москвы в выставочный экспонат, обновляя и расширяя дореволюционные архитектурные ансамбли, полностью перестраивая Манежную площадь, начав строительство торговых центров, украшая город и неуклонно искореняя «нежелательные» элементы²⁶.

²⁶ Чтобы показать во всей красе свою вотчину, Лужков дальновидно объявил празднование 850-летия столицы важной вехой в жизни города, что предоставило мэру возможность продемонстрировать чудесное превращение столицы в живую, переливающуюся огнями метрополию. Лишь немногие москвичи выступили против растраты миллионов долларов на массовое празднование 850-летия, в то время как ремонт и расширение московского метрополитена были отложены по причине «нехватки средств».

После развала советской системы монархисты, религиозные фанатики, славянофилы, вновь появившиеся на свет, и прочая ностальгирующая публика поспешили восстановить традиции и заведения, связанные с классовой структурой досоветской эпохи. Однако для того чтобы ассимилировать *Английский клуб* в этот стихийно созданный идеологический поток, пришлось бы проигнорировать не только неоднородный состав клуба, но и его ведущие принципы и цели, сформулированные лидерами клуба. А именно: создать в миниатюре «образцовое общество граждан», подающее пример другим, — повестка дня, вызывающая в памяти утопические мечты масонов конца XVIII в. В отличие от *Дворянского клуба*, основанного обнищавшими потомками старой русской аристократии и возглавляемого князем Андреем Голицыным, *Английский клуб* постарался избежать чрезмерной концентрации на сиюминутных соображениях и выгодах и смог объединить своих членов вне зависимости от их классовой принадлежности; не стал *Английский клуб* ставить в центр своих интересов и давнее прошлое в надежде преодолеть и стереть из памяти события менее далекие. Принимая участие в обширной программе по эстетизации города и возрождению хороших манер, клуб так же активно участвовал в политической, общественной и культурной жизни города. Он тщательно избегал идентификации с определенной идеологической платформой (за исключением поддержки Лужкова), практиковал разнообразие как в вопросах приема членов (поощрялись заявления от нероссиян о приеме в клуб), так и в программе проводимых мероприятий, а также терпимо относился к критике работы клуба со стороны его членов.

Публикации в прессе свидетельствуют о том, что москвичи отнеслись к клубу довольно благосклонно. Хотя такую реакцию можно объяснить тем, что клуб дальновидно обеспечил присутствие на своих вечерах и мероприятиях журналистов, неофициальный случайный опрос «простых» россиян (таксистов, кассиров, академиков) практически не выявил отрицательного отношения к клубу: опрошенные считали клуб оригинальным и своеобразным.

Оживленность, остроумная беседа, обсуждение «серьезных» вопросов, великолепная кухня, благотворительность, а также смесь воспитания и развлечений составляют непосредственную жизнь клуба и уподобляют его западным структурам и институтам подобного толка. Однако наличие долгосрочной цели (создание образцовой модели общества) укореняет *Английский клуб* в типичной

российско-советской утопической традиции. В конце концов, лишь будущее покажет, станет ли клуб еще одним примером этого солипсического противоречия, или он преодолеет его путем плодотворного синтеза.

Несмотря на то что откровенные попытки быстро обрести благородную патину сделали «новых русских» объектами насмешек как дома, так и за рубежом, подобные стремления вряд ли оригинальны. Профессиональные сообщества на Западе отличаются довольно жесткими нормами профессионального поведения и требованиями к одежде: профессорский пиджак из твида с заплатами из кожи или замши на локтях, темный адвокатский костюм-тройка, кожаная полуобнаженность рок-звезды, прикрытая дешевыми побрякушками, и т.д. Пытаясь выработать свой бизнес-стиль, «новые русские», *faute de mieux*, использовали западные образцы и нормы.

Наряду с периодическими проявлениями почтения к сдержанному британскому стилю «новые русские» с энтузиазмом бросились приобретать яркие и зачастую вульгарные модели Версаче — стилистический выбор, всеобщее презрение к которому заставило новорусскую элиту в последние три-четыре года перейти на модели доморощенного дизайнера Валентина Юдашкина.

В целом в глазах Запада макияж и наряды русских женщин, несмотря на то, как тщательно наносилось и подбиралось и то и другое, из-за своей яркой безвкусицы производят впечатление, которое некоторые комментаторы назвали образом «дорогой проститутки», старающейся привлечь богатых мужчин (Ingwerson, 1997). Эстетические «изыски» советской моды оказались непригодными в переходный период. Показателен тот факт, что в 1997 г. пятый по величине банк России, «СБС-АГРО», потребовал от своего 43-тысячного персонала пересмотреть манеру одеваться и довести ее до уровня «мировых стандартов.» Не многим отличаясь от завучей частных школ, охрана банка, по слухам, проверяла туалеты банковских служащих, дабы пресечь появление под крышей банка как сотрудников в белых носках, спортивной одежде или в рубашках с вызывающими рисунками, так и сотрудниц, одетых в прозрачные кофточки, мини-юбки и изделия с лайкрой (Philips, 1997).

Если клубы, печатные издания, агентства и разного рода консультанты представляли собой нескоординированные, опосредованные попытки ликбеза для «новых русских», то уникальной школе бизнеса, открытой в 1997 г. в Москве мог бы позавидовать

даже Б. Ф. Скиннер. Школа «*Новые Бизнес-технологии*» открыто объявила, что ее целью является полноценная подготовка молодых магнатов. Мозговым и денежным центром заведения, напоминавшего чем-то лагерь подготовки Джеймсов Бондов от предпринимательства, стал Владимир Довгань, которому в ту пору было немногим за тридцать.

«*Новые Бизнес-технологии*», первая частная бизнес-школа-интернат в России, стремилась привить новые ценности 102 слушателям, отобранным для пятилетнего курса обучения, полностью оплаченного Довганем. Спартанский режим будущих магнатов бизнеса включал в себя подъем в шесть утра, зарядку в плавках даже во время снежной зимы, обливание ледяной водой, занятия по 10 часов в день и отбой в 10 вечера. Пьянство и ухаживание за женщинами влекли за собой исключение из школы, а свободное время заполнялось борьбой и купанием в озере с ледяной водой. Девизы, прославляющие честь, ответственность и самопожертвование, украшали стены общежития, а студенты, в свою очередь, подчинялись дисциплине, духу нравственности и терпения. Григорий Дворякин, директор школы, определил свою цель как воспитание «нового поколения профессиональных, но, прежде всего, честных и внимательных менеджеров» (Franchetti, 1997). Сочетая бизнес-курсы с практикой стоицизма, школа «*Новые бизнес-технологии*» воплотила в себе новый подход к предпринимательству, диаметрально противоположный укоренившемуся в популярном сознании поведению а ля «новый русский».

Школа Довганя во многом смоделирована по образцу ее владельца. Сам Довгань был чемпионом по гребле и обладателем черного пояса карате. На своей подмосковной даче он каждое утро вставал в 5:30 утра и нырял в бассейн у дома, наполненный ледяной водой. Воцарившись в роскошном «наполеоновском дворце» в центре Москвы, ставшем его штаб-квартирой, Довгань стал королем российской торговли (Franchetti, 1997), чье имя и портрет (во фраке с «бабочкой») на товарах — начиная с водки, игристого, сигарет, макарон, кетчупа и заканчивая зубной пастой и зубной щеткой — должны были стать для российского потребителя гарантией качества. Если в 1996 г. Довгань имел в штате 36 сотрудников и продавал только водку и воду, то к 1997 г. его логотип стал красоваться на 260 видах товаров, его персонал вырос до 600 сотрудников, его деловые связи распространились на 200 фабрик по всей России. По словам Довганя, в 1997 г. он подписал более 1700 де-

ловых соглашений и несколько раз переезжал на новое место, чтобы разместить бесконечно растущий штат сотрудников²⁷.

Оплата Довганем обучения студентов в его бизнес-школе, спонсорская поддержка Эрмитажа ОНЭКСИМ-банка, выделение в 1996 г. Борисом Березовским трех миллионов долларов на благотворительные цели, принесшее ему титул филантропа года (Stanley, 1997), все это — явления, по своему масштабу редкие в новой России. Нерациональная и запутанная система налогообложения в России, а также отсутствие традиций, согласно которым более богатые члены общества выделяют средства на поддержку или образование нуждающихся, частично объясняют нехватку отечественных благотворительных инициатив и программ поддержки в России.

Ряд факторов, однако, указывает на то, что в середине 1990-х гг. процесс воспитания «новых русских» сдвинулся — хоть и ненамного — с мертвой точки. По непроверенным данным, в России тогда насчитывалось 50 000 благотворительных программ, начиная с бесплатных столовых и заканчивая наркологических центрами. Коммерческие банки начали действовать в качестве спонсоров: в 1996 г. «Инком-банк» выделил более четырех миллионов долларов на поддержку культуры, науки и обслуживание ветеранов чеченской войны. «Межком-банк» предоставил один миллион долларов экологической организации, развернувшей кампанию по защите белого сибирского журавля и сибирского тигра. «Автобанк» потратил сто тысяч долларов на ремонт одного корпуса детской больницы им. Морозова в Москве. «Аэрофлот», в 1990-е гг. постоянно ассоциировавшийся со скандалами, выплатил сорок тысяч долларов за авиабилеты 34 иностранным врачам и анестезиологам, принимавшим участие в *Операции «Улыбка»* (Krantz, 1997). Поскольку компании,

²⁷ Расширение масштабов и доверие потребителя, однако, не были достаточной гарантией процветания. В начале июля 1998 г. ИТАР-ТАСС сообщил, что Государственный антимонопольный комитет занялся расследованием индивидуальной жалобы на то, что портрет Довганя на этикетках алкогольных напитков в качестве гарантии качества нарушает существующее российское законодательство по вопросам рекламы. Рекламное законодательство России запрещало использование в визуальной рекламе алкоголя лиц моложе 35 лет; на момент подачи жалобы Довганю было 34 года. И сама жалоба, и запрет выглядели гротеском на фоне процветающего алкоголизма среди российских подростков и куда более серьезных нарушений закона в Москве. Владимир Капелькин, глава отдела по связям с общественностью в фирме Довганя, заявил, что не опасения преследования, а неудобство, причиняемое главе фирмы тем, что его узнавали на улицах, побудило Довганя в марте 1998 г. убрать свой портрет с этикеток (Zaslouov, 1998).

предоставлявшие товары и услуги в качестве благотворительной поддержки, должны были выплатить 20% налогов от общей стоимости товаров и услуг, многие спонсоры предпочли остаться анонимными.

Несмотря на не благоприятствующую развитию благотворительности систему налогообложения, западные формы сбора средств постепенно проникли в Москву. «*Downside Up*», благотворительная организация, оказывающая помощь детям с синдромом Дауна, собрала более 220 000 долларов во время 120-мильного велопробега в ноябре 1997 г. (Krantz, 1997)²⁸, за которым в июне 1998 г. последовал и пеший марафон. В конце сентября 1998 г. деньги, поступившие от группы альпинистов, взошедших на Килиманджаро, пошли на счет той же организации, основанной британской супружеской парой и зарегистрированной в США. Такие начинания, однако, неведомы культуре, привыкшей рассчитывать на правительство, которое после 1917 г. поставило благотворительные организации вне закона, предложив взамен субсидии во всех сферах общественной жизни. Гражданская традиция индивидуальной и коллективной поддержки нуждающихся представляет собой одну из бесчисленных возрождающихся традиций дореволюционной России, которым, тем не менее, еще предстоит полностью интегрироваться в постсоветское общество.

В 1997 г. около 350 миллионов долларов поступило из-за границы на счета российских некоммерческих организаций, среди которых приоритетными стали организации по защите прав человека и вопросам женщин. Русские, напротив, охотнее выделяли средства на нужды церкви, культуры и детей с отклонениями (Krantz, 1997). Учитывая постоянную экономическую нестабильность России, время от времени усиливающуюся финансовыми кризисами, понятная тревога о собственном материальном благополучии явилась сдерживающим фактором на пути поступательного развития благотворительности. По мнению многих наблюдателей, «новые русские» предпочитали тратить деньги на предметы роскоши, а не выделять средства, столь важные для выживания и поддержки тех, кто в отчаянии ждет помощи откуда угодно. Тем не менее благотворительная деятельность различных банков, организаций типа *Английского клуба*, а также отдельных лиц, начавшаяся несколько лет назад, свидетельствует о растущем уважении к тем, кто поддерживает нуждающихся.

²⁸ Более подробно о благотворительных организациях в России и в особенности в Москве см.: Krantz, 1997.

В то время как в 1990-е гг. анекдоты и статьи о «новых русских» продолжали насаждать образ жадных самодовольных примитивов, которые лишь тогда справлялись о цене товара, когда желали демонстративно заплатить за него большую сумму, начиная примерно с 1995 г. «новые русские» начали учиться тому, как тратить деньги и как усовершенствовать свой общественный имидж. Модификация их предпочтений и приоритетов за последние годы обернулась процессом расслоения, который к концу десятилетия сделал любые обобщения относительно «новых русских» тривиальными и некорректными.

И тем не менее рискнем сделать несколько выводов. «Новые русские» определенно явились единственным — и вполне укоренившимся на российской почве — социальным классом, возникшим в результате «перестройки» и экономических реформ. Последние годы продемонстрировали существенное укрепление этого класса как в экономическом, так и в социальном и культурном плане. Само появление иронической субкультуры «новых русских» в виде наиболее успешного проекта *«Мир новых русских»*²⁹ является серьезным свидетельством данной тенденции. Рождение и укрепление «новых русских» совпало с другим, не менее значимым процессом. А именно, с растворением и постепенным исчезновением с авансцены такой социальной группы, как советская интеллигенция. Исчезновение как физическое (вчерашние интеллигенты пополняют и ряды «новых русских», и малообеспеченных, и маргиналов), так и символическое. Интеллигенция больше не владеет думами населения, не является «совестью народа» и законодательницей вкусов и предпочтений. Утратила значение энергичная на протяжении десятилетий связка интеллигенции и власти, в которой интеллигенция играла роль вечного оппозиционера.



Новый русский в Гжели.
Из Календаря за 1998 г., изданного
Миром новых русских

²⁹ Одноименный магазин можно посетить на Старом Арбате; см. также страницу в Интернете: URL: <http://www.wnrussians.com>.

Для страны сегодня важнее взаимоотношения бизнеса и власти. Так что не будет преувеличением сказать, что «новые русские», при всей своей противоречивости, претендуют на роль ведущей и наиболее активной социальной группы в нынешней России.

Ценности «новых русских», выросшие на неолиберальных идеях, неотделимы также и от понятия «новой маскулинности». Несмотря на активное вхождение женщин в структуры бизнеса, доминируют в этой сфере исключительно мужчины, и потребителями новорусской идеологии также являются мужчины. Идеи, проповедуемые большинством журналов, рассчитанных на представителей «нового класса», подчеркивают важность «мужского характера» и «мужского подхода», пропагандируют физическую и духовную силу, решительность, агрессивность, напор. Женщине в этом мире (хотя для удачливых коллег-женщин и делаются исключения) уготовлена роль умной подруги, украшения жизни или награды за успех³⁰. Массовая культура, ориентированная на «новых русских», также предполагает прежде всего потребителя-мужчину. Интервью, проведенные авторами этих строк с представителями нового класса, также подтверждают мысль о том, что большинство предпринимателей считают бизнес исключительно мужским делом и мужским миром. Отчасти это обстоятельство связано и с тем фактом, что после падения социалистической идеологии и распада СССР популярной идеей либеральной прессы стала хорошо известная «идея естественного предназначения женщины» как альтернатива активистке советских лет. Подобные тенденции имели место, к слову, во всех постсоциалистических странах, но в России, пожалуй, получили рекордное число выразителей. Но это уже тема отдельного разговора.

Завершая беглый обзор феномена «новых русских», стоит заметить, что с ходом времени новый класс обретает все новые приметы, все более цивилизуется и очищается от стереотипов десятилетней давности. Насколько быстро российские предприниматели сумеют превратиться в полноценных членов гражданского общества и смогут поддержать его институты, содействовать развитию культуры, образования, социальной сферы, насколько смогут преодолеть тинейджерский пафос «настоящего мачо», покажет время.

³⁰ Показательна в этом плане постоянная рубрика журнала *Лица* под названием «Вторая половина», посвященная интервью с женами крупных предпринимателей.

Ольга Шабурова

МУЖИК НЕ СУЕТИТСЯ, или ПИВО С ХАРАКТЕРОМ

В потоках массовой культуры представлено большое разнообразие образов мужского. Культурный плюрализм, соответствующий постмодерной мозаике, отражается в «богатом ассортименте» гендерных маркировок мужского. Репрезентация мужского в российском шоу-бизнесе, например, предлагает широкий диапазон для выбора предпочтений: от Кобзона до Б. Моисеева, от Лещенко до Децла, от «*Доктора Ватсона*» до «*Отпетых мошенников*».

Но в мелькании этих образов есть, на наш взгляд, такая фигура-репрезентант, которая требует особого внимания. Именно она, по нашему мнению, представлена наиболее полно и выразительно. Именно в этом образе концентрируются некие базовые архетипические смыслы. Именно эта конструкция наиболее идеологична и выстроена как норма современной русской мужественности. Фигура эта присутствует повсеместно; она привычна и обыденна и потому незамечаема. В соответствии с логикой современного визуального дискурса власти — чем более явлена, тем менее понятна. Этакое видимое/невидимое. Явление транслируется масштабно и тотально, но сознанием не схватывается — слишком оно очевидно. В качестве такой «ловушки власти» предстает фигура Мужика. Современная российская маскулинность и в потоках повседневности, и в зазеркалье симуляций массовой культуры наиболее полно представлена этим образом.

Повседневная жизнь российского мужчины пропитана знаками и практиками «мужичизма». «Мужик» — прежде всего это универсальное обращение в мужской среде, ключ к коммуникации среди мужчин. Всякое закрытое мужское пространство строится на такой коммуникативной интонации, вне зависимости от сфер.

Во всех экстремальных ситуациях мужской жизни это обращение является универсальным культурным кодом. Кто бы вы ни были, но, оказавшись со сломавшейся машиной на трассе, вы будете обращаться за помощью только на этом языке.

Поскольку мужское оформляется как коллективный мужской мир (для России это весьма значимый компонент маскулинности), то обращение «мужик» становится общим знаменателем, и тогда оно звучит уже как «мужики». Таким образом, одной из базовых характеристик мужского является стремление к оформлению локальных или длительных форм мужской коллективности. Внутри этой коллективности, в момент эйфории приобщения к некоему мужскому целому, происходит редукция всех оставшихся за кадром ролей, статусов, сценариев к образу Мужика.

«Мужик» является не только коммуникативным кодом, но и оценочной категорией. Когда говорят: «Он мужик!» — сразу транслируется невербализуемый, но всеми понимаемый набор смыслов и качеств, стоящих за этой оценкой. Иногда эта формула усиливается до характеристики «настоящий мужик». Но постепенно утверждающаяся самооценочность категории «мужик» все меньше требует предикатов.

«Мужик» обязательно коррелирует с характеристиками этничности. Мужик — это значимая маркировка русскости. Мужик по определению русский. Конструкция «русский мужик» тавтологична. Взаимоопределяемость этих понятий, их взаимообусловленность — важнейший аспект понимания этого образа. В других национальных культурах связь этнос—пол, конечно, также важна, имеет свою традицию развития, но такого воплощения в одном понятии почти нигде нет («джентльмен» — он, конечно, англичанин и мужчина, но...).

«Мужик» отражает и некую возрастную определенность. У В. Даля отмечено, что «мужик происходит от слова “муж”, а это — “человек рода *он*, в полных годах, возмужалый; возрастной человек мужского пола”» (Даль, 1999, т. 2, 356—357). Мужик — это зрелая мужественность, которая закреплена достижениями, обретенными годами взросления в движении по жизненному пути. Соответственно возрастной характеристике мужик должен достигнуть некоего положения, что-то обрести, оформить свой социальный статус. Следовательно, категория «мужик» выступает и как статусная характеристика. Мужик — не пацан. Он занимает некое устойчивое положение в социальной сфере, в сообществе. Здесь мы сталкиваемся с изменением содержания понятия в его эволюции к

нынешнему восприятию. Изначально «мужик» определялся как простолюдин, человек низшего сословия; тягловый крестьянин, семьянин и хозяин. При этом он был отмечен характеристиками необразованности, грубости. Мужик — это неуч, невежа. «Становиться мужиком, — пишет В. Даль, — делаться грубым, мужиковатым». Любопытно, что в социальной эволюции «мужик» преодолел границы деревенского мира, стал рядовым участником городской жизни, но некоторые изначальные характеристики сохранили свое значение. Например, хозяйственность; уже не обязательно неуч, но грубоватый — пожалуй.

Мужик определяется и через противопоставление «бабе». Жесткая корреляция образов отражена в естественной семантике. В русском языке диспозицию полов могут выражать две пары понятий: мужчина—женщина, мужик—баба. Почему вторая пара оказалась более употребимой, точнее выражающей суть данных гендерных образов? Может быть, потому, что на «а» в русском языке обычно кончаются слова женского рода, и соответственно «мужчин-а» больше проявляет некую протоженственность? «Мужик» — жесткая фиксация смыслообраза. Взаимополагание в паре «мужик—баба» в последующем определяет фигуру «бабы». Феномен «русской бабы» предопределен наличием такой фигуры, как «мужик». Русские женщины являются бабами потому, что они живут в мире мужиков.

Становление мужественности происходит в соответствии с логикой, выявленной Э. Бадентэр (см. Бадентэр, 1995). Мужское выстраивается через стратегию трех основных доказательств, требующих отрицания в себе женского. Чтобы стать мужчиной, нужно доказать, что ты не: а) женщина, б) ребенок, в) гомосексуалист. Эти три отрицания воплощены в рассматриваемых нами линиях конструирования русской мужественности. Чтобы быть настоящим мужчиной (не обнаружить свою женственность), он должен обладать женщиной, отсюда описываемая секс-удаль, сексуальная экспансия. Это форма доказательства себе и другим: если я обладаю женщиной, значит, я не женщина (не «баба»). Доказательством выхода из детства в попытке предстать мужиком становится алкогольный аргумент. Это в русской традиции прослеживается довольно четко. Мальчики, стремясь во взрослый мужской мир, соревнуются на этом «поле брани». И в-третьих, русское мужское традиционно гомофобно. Худшими оскорблениями для мужика, которые могут быть озвучены в мужском сообществе, соответственно будут «баба», «пацан», «педик».

Это далеко не весь перечень возможного позиционирования фигуры мужика. Отталкиваясь от данного образа, поместив его в центр российского социального и ментального пространства, можно нарисовать определенную картину этого мира. Мужик как центр этой композиции связывает разные проявления социальности через линии соотношений: мужик и война, мужик и власть, мужик и дело, мужик и Родина, мужик и женское (отдельная линия — мужик и мать), мужик и Дом, мужик и детство, мужик и язык, мужик и юмор... Все эти грани образа мужика высвечиваются в коллажах массовой культуры. Какие-то стороны отыгрываются четче, какие-то пока не очень заметны, но, вглядываясь в мельтешение, мерцание этой поверхности, можно увидеть, что перед нами довольно стройная и целостная идеологема.

О русском на радио

Массовая культура выступает сегодня главной «фабрикой образов»; в пространстве тотальной визуализации, в движении к видеократии она оказывается основным «конструктором» современных мужских образов.

Но начнем с вербальных практик. В настоящий момент мы являемся свидетелями создания огромного пространства радиоэфира. Среди множества станций, возникших в последнее время, особый интерес для гендерных исследований представляет *«Русское радио»*.

«Русское радио» — сегодня несомненный лидер радиоэфира. Это радио взлетело стремительно, быстро оттеснив уже давно освоившихся на этом рынке конкурентов. Успех был обеспечен не столько музыкальной политикой радио, сколько его опытами в использовании юмористических заставок-слоганов, исполняемых известным шоуменом Н. Фоменко. Тематика представленного юмора четко задана — это традиционный русский юмор «низа». В этом проекте идеологи радио точно просчитали важные моменты русской ментальности с ее гендерными особенностями и широко использовали фольклорные традиции специфического российского сексистского юмора.

Главный герой представленного *«Русским радио»* жанра — русский мужик. Он же и основной адресат-слушатель. Задача в том и состоит, чтобы слушатель идентифицировал себя с предложенным героем, а значит, и принял соответствующую гендерную роль.

Современный образ русского мужчины выписывается через несколько традиционных составляющих:

- а) алкоголь;
- б) отношение к женщине как объекту сексуальных утех;
- в) описание особой сексуальной удали русского мужчины.

Говоря этим же языком, можно употребить старую «формулу» мужских приоритетов — «лодка, водка и молодка».

Отметим сразу, что спекуляция на этих составляющих российского мужского сознания была осуществлена ранее в кинопроекте А. Рогожкина «*Особенности национальной охоты*» с их продолжениями. Все эти проекты весьма успешны в коммерческом отношении. Анализ содержания слоганов «*Русского радио*» позволяет выявить и образ мужчины, и образ современной русской женщины, представленный через мужской взгляд. Так, женщина представлена только в одной ипостаси — как объект мужских сексуальных утех. А поскольку сам герой представлен как «мужик», то и женщина представлена как «баба» или «девка». Вот несколько характерных слоганов: «Ложись, девка, большая и маленькая»; «Может, тебе и ключ от квартиры, где девки лежат...»; «Крепче за шоферку держись, баран»; «Как много девушек хороших... но что-то тянет на плохих». В этом отношении к женщине прорисовывается образ этакого русского секс-удальца, выстраиваются контуры кодекса мужского поведения, которое по сути жестко задает приоритетные гендерные ценности, втягивая мужчин в бесконечную гонку самоутверждения через секс, понятый как спорт, состязание, еще один из видов «русской национальной охоты». Это отражается в таких, например, слоганах: «Каждый мужчина имеет право налево»; «Глупый пингвин робко прячет... смелый сразу достает»; «С Моникой Левински, мужики, надо кончать!» (ответ на злобу дня).

«Литературная» работа по созданию этих формул построена в основном на применении каламбура («Петя пошел на митинг, а Митя — на петтинг»); на неожиданном использовании устойчивых фразеологических конструкций (фразы из сказок, песен, известных литературных произведений); завуалированное, но сразу считываемое мужской аудиторией использование мата («Не учи отца — и баста!»). Технология создания такого юмора из области «острословия» — так это определил Михаил Жванецкий в беседе с Леонидом Парфеновым, отметив, что с интересом наблюдает за этой работой «*Русского радио*». Свою же линию он определил как линию «остроумия».

Возможности юмора велики, а в нашей стране — особенно. Человек, чуткий к игре со словом, живо откликается на новости «Русского радио». И что лукавить, женская аудитория с удовольствием реагирует на эти шутки. Оказывается, в народе (в основном в женской аудитории) ходят целые списки фразочек из «Русского радио»; больше половины этих слоганов в «Русском радио» не звучали, а только приписываются ему. Это говорит о том, что создан новый жанр современного русского сексистского фольклора. Мы вместе весело посмеемся над «бабой-дурой», снова и снова утверждая господство мужской морали современной патриархатной культуры. Торжество этой культуры как раз и обеспечено тем, что она умело добивается внутреннего согласия женщин со своими базовыми идеологемами. Юмор здесь, может быть, самый лучший проводник позиций господствующей патриархатной культуры. Юмор используется как традиционная техника «снижения». В истории культуры существует целая ветвь мизогинистской литературы, которая через осмеяние женщины жестко фиксирует ее место в границах «второго пола». В этот ряд входят известные комические и назидательные образцы и античной литературы, и яркие произведения в литературе Возрождения, и богатый фольклорный пласт практически всех национальных культур. Российская традиция дает «Русскому радио» богатейший ряд источников: заветные сказки, частушки, серии сексистских анекдотов, жанр «нечестивого рассказа», пословицы и поговорки и др.¹ «Русское радио» ловко встраивается в ряд наследников этой культуры, но оно имеет одну важную современную особенность. Технический прогресс, создавший огромное медиапространство, позволяет вывести эту сферу культуры из тени и при помощи новых технических носителей сделать ее открыто-публичной, мас-

¹ Анализу сексистского юмора посвящено не так много работ. Недавно появилась работа О. Л. Лебедь «Социальный портрет семьи в современном фольклоре» (Лебедь, 1999). Работая как социолог, она анализирует около 7000 анекдотов. Основной объект осмеяния — плохая жена (примерно 50% всех анекдотов на тему семьи), про плохих мужей анекдотов в три раза меньше. То же и с ситуацией супружеских измен: в три раза чаще речь идет об изменах жены. Соотношение представленных отрицательных качеств жены по отношению к мужу 10:7. Отсутствует практически муж-ревнивец, а злой и жадный муж — вообще нонсенс, как и нонсенс — примерная жена. Только в 0,63 % говорится о злом муже (при весьма неполной статистике по домашнему насилию). Основные негативные краски в образе мужа — «пьющий» (5,61 %), «глупый» (4,99 %). Соответствует базовым позициям и лингвистическая окраска анекдотов. Женщина описывается более хлестко и грубо, чем мужчина.

совизировать в невиданных ранее масштабах. «Русское радио» в легких и веселых формах выражает русскую идеологию мачизма, выступая широко и победно, под наш же веселый смех. Русская формула мачизма — мужичизм. Под этими знаменами ширятся веселые ряды слушателей «Русского радио».

Правильное пиво

В рекламе фигура мужика появилась не сразу. Сначала она долго вообще не могла репрезентировать русскую маскулинность. На экране сверкали чистотой и белозубыми улыбками абсолютно не наши мужчины (тем более мужики). Вскоре осознали потребность в родном герое, простом мужике — и появилась сага о Лене Голубкове. Но, правда, это был еще не мужик, а мужичок.

Сегодня мужик в рекламе появился. Он не мог не появиться на этой площадке, потому что это реклама очень мужского товара — пива. Помня об алкогольной составляющей образа мужика, следует считать появление этого героя абсолютно закономерным. Будь возможна сегодня на телевидении реклама водки, мы имели бы, наверное, перед глазами визуализацию сущности мужской души. Но ее нет, и поэтому пока центральный сюжет репрезентации мужского — «по пиву!». Рекламные ролики, посвященные пивным брэндам, почти все работают по одному сценарию: пиво — эманация мужицкой коллективности в ее душевности и свободе. Образы мужской коллективности, столь значимые для русского мужика, представлены необыкновенно тепло и беззаботно. Четко обозначена отграниченность от внешнего мира. Весьма характерна здесь реклама пива «Золотая бочка». Друзья, вырвавшись из суеты буден, уселись наконец с пивом на песочке — и вот она, подлинная жизнь. Постепенно камера поднимается вверх — песочек оказывается огромной песочной платформой товарняка, увозящего наших друзей в прекрасные дали. Звучит слоган «Надо чаще встречаться...». Второй ролик с этим же слоганом рисует похожую картину. Мужики (в образе деловых людей) опять на фоне весьма выразительного ландшафта собираются «посидеть», у одного из них звонит мобильник. Он включает его, из телефона выбрасываются образы зачумленного города, пробки, нервные люди, герой выключает телефон — образы исчезают, как черт в табакерке. Герой освобожденно вздыхает, подальше отбрасывает телефон, радостно достает из машины ящик пива «Золотая бочка».

Похожую идею транслируют ролики пива «Толстяк». Простодушный увалень, уставший от ремонта старенькой машины, махнув рукой, бросает ее и идет с друзьями пить пиво. Следующий кадр — залитая солнцем беседка, друзья за столом пьют пиво, на лицах счастье полной свободы и взаимопонимания. Далее герой снова появляется в своем дворе, где его машину превратили в клумбу с уже выросшими цветами (!). Стоит дворовая «общественность». Все изумлены. К герою обращаются: «Ты где был?!» Он растерянно отвечает: «Пиво пил». И дальше... с ужасом: «Мужики-то не знают!» Идет слоган «Внимание! В компании с Толстяком время летит незаметно!». Во втором ролике пива «Толстяк» ситуация не менее комична. В учреждении поздравляют женщин с Международным женским днем 8 Марта. Дверь открывается, вваливается тот же Толстяк в костюме Деда Мороза с мешком, со сбившейся приклеенной бородой. Опять немая сцена. Изумленный начальник спрашивает: «Ты где был?» Ответ: «Пиво пил». Транслируется тот же слоган. И добавляется: «Толстяк — пиво для друзей».

В этих очень выразительных картинках рекламы «Золотой бочки» и «Толстяка» представлены не только значимость мужского мира, оформляющегося в процедуре распития пива; не только качество подлинной, неотчужденной жизни; не только «роскошь человеческого общения»; не только бегство от проблем: жен, детей, работы — но и заявлен вообще какой-то «метафизический» масштаб данных напитков. Через пиво происходит символизация возможности раздвигать границы пространства (в «Золотой бочке» — безбрежность пространства как устойчивая метафора свободы; русская трактовка свободы как воли; а воля как безбрежное пространство — «выйду на волю»; так вот благодаря пиву «Золотая бочка» обретается экзистенциал свободы). Благодаря пиву покоряется и время. В рекламе пива «Толстяк» герои живут в ином временном измерении, которое также позволяет ощутить свободу, вырваться за круг давящего, спрессованного времени.

Мы видим, что ментальные основания мужичизма, его, если можно сказать, метафизика, определены в тесной связке мужской коллективности и алкогольной составляющей.

Образы мужской коллективности, представленные в рекламных пивных стратегиях, транслируются даже в молодежной модификации. Так, реклама пива «Клинское» сделана в рэповой стилистике, представляет молодежную компанию (опять-таки без женского компонента) в соответствующем fashion-образе — главной деталью становится бейсболка, у которой козырек развернут на-

зад... оказывается, для того, чтобы удобнее было пить пиво. Веселая компания энергично двигается по улице, озвучивая в ритме рэпа следующий слоган: «Потому что *мы* так пьем *наше* пиво!» Заражаемая этой энергией улица тоже разворачивает свои головные уборы (комизм в фигуре кавказца, разворачивающего так свою знаменитую кепку).

Заметим, что в рекламах зарубежных марок пива нет таких образов мужской коллективности (кроме, пожалуй, рекламы пива «*Efes Pilsener*» — мушкетеры совершают побег из Бастилии ради возможности выпить по кружке этого пива). В остальных роликах (а их очень много) подчеркнуто, что пиво индивидуализирует потребителя. Почти все пьют в одиночестве, демонстрируя отдельность существования героя западной культуры. Кое-где особенно подчеркивается эта индивидуализация, скажем, в рекламе пива «*Туборг*» — «Мой начальник хотел бы видеть меня таким... моя мать хотела бы видеть меня таким... а я — вот такой». В ролике звучит слоган: «*Туборг* — пиво с твоим характером». Следует заметить, что реклама этого пива дана в двух вариантах — мужском и женском. Для нас это очень необычно. Традиционно в России пиво — мужской напиток. Ситуация начинает меняться, сейчас на улицах часто можно встретить девушек с бутылкой пива в руке, но органичным это не кажется, остается впечатление, что девушка здесь выступает как «свой парень». Стремление представить российскую девушку как потребителя пива встречается только в рекламной стратегии пива «*Невское*».

Подчеркнем еще раз, что образ мужской коллективности в рекламе русского пива абсолютно точно отражает связку «мужское общество (мужики)—алкогольная компания». Мужская (мужицкая) коллективность — суперценность, а оформляется она через ритуальное пьянство. В образе русского мужчины (мужика) выпивка — опять-таки некий экзистенциал. Эта не только форма столь необходимого единения, но и способ доказательства своей мужской состоятельности. Мужик должен уметь пить, иначе он не сможет стать членом данного сообщества, не может идентифицировать себя с коллективным позитивным и социально значимым образом.

Ритуал мужской пьянки в России — это инициация, это церемония посвящения в «свой» («наше» — это мощная конструкция российской ментальности, активно отрабатываемая в потребительских стратегиях — «Мы так пьем наше пиво»; «Наше радио», «НАШЕствие» и т.д.). Человек, не способный выполнить эту зада-

чу, оказывается за чертой мужского сообщества. Идеи мужской дружбы, единения в бою и труде, стадии взросления — все отражается и реализуется в практиках русской пьянки. От ста грамм фронтowych до ритуала «обмывания» новых звездочек у офицеров в сегодняшней жизни — традиция не исчезает, а только крепнет. В студенческих строительных отрядах существовал ритуал посвящения молодых бойцов. После череды всевозможных испытаний претендент приближался к цели — ему вручался стакан водки (часто туда еще добавляются какие-нибудь жгучие компоненты, перец, например), он должен был выпить ее залпом, и на дне его ждал вожделенный предмет — значок бойца Всесоюзного студенческого строительного отряда. Происходило это при жестком сухом законе в ССО.

Современный российский бизнес до сих пор строится на этих же основаниях. Деловое пьянство символизирует не только сохранение ментальных структур и значимых жизненных практик. Оно через посвящение в «свои» выступает ритуалом доверия. Правовые основания российского бизнеса по-прежнему очень зыбки, требуется какая-то иная форма обеспечения надежности связей, договоренностей — ею остается ритуал совместной выпивки (к тому же чаще всего это происходит в бане, что усиливает русскость этого ритуала).

Быть может, в высших сферах бизнеса и политики эта традиция начинает приглушаться (западные экономические модели и культурные нормы, избранные как приоритет развития страны, диктуют иные жизненные стратегии. Модно стало быть здоровым, например, и т.д.), но на провинциальных просторах российского бизнеса все остается без изменений. В одном из свежих российских сериалов («*Остановка по требованию*») непьющий герой пытается начать карьеру в бизнесе. Представляясь предпринимателем, он попадает в соответствующую ситуацию и получает такую реакцию: «Предприниматель — и не пьешь? Так как же ты предпринимашь?!»

Анализ данной ситуации выявляет еще одну особенность — потребление российских сортов пива увеличивается, объемы продаж растут. Маркетинговая стратегия построена на идее патриотизма, но проявлена она не грубо, не жестко.

Обращаясь к смыслам рекламы российского пива, которая, как оказывается, четко репрезентирует героя и адресата — российского мужика (в формах его коллективности), следует отметить, что реклама эта отражает и отношение его к женщине, задает место и

границы ее присутствия в мужском мире. Во-первых, практически вся реклама пива демонстрирует бегство мужчин от женщин в мир чистых мужских ценностей, свободный от проблем (а проблемы, соответственно, ассоциируются с женщинами, ведь кто больше всех «грузит» мужика — понятное дело, баба). Поэтому в счастливом пивном мире мужчины женщины нет. Но там, где она есть, ее присутствие только усиливает эту идею — «от баб одни проблемы». Женщина — постоянный фактор напряжения, усложнения мужской жизни, и лучшие моменты его существования все же без нее. Рекламные ролики пива «*Бочкарев*» и «*Старый мельник*» как раз транслируют эту позицию мужика по отношению к женщине. Сюжет о пиве «*Бочкарев*» построен опять-таки на идее глубокой релаксации мужика в его «свидании» с пивом. Герой приходит на пляж, садится на песочек, ставит пиво рядышком и предвкушает. В этот момент его внимание отвлекается на роскошную девушку в бикини, шествующую по кромке берега, а затем грациозно ныряющую в волны. Замечтавшийся герой тянется за пивом... а оно исчезло. Досада. Он прокручивает пленку назад... и делает вывод: «Лучше пиво в руке, чем девица вдалье» (слоган). Он выбирает пиво: «“*Бочкарев*” — правильное пиво».

В рекламе пива «*Старый мельник*» посыл также довольно прозрачный. В поле не грядках, согнувшись в три погибели, двигаются навстречу горизонту два мужика и баба. Четкий и быстрый ритм работы — ботва стремительно летит в стороны. Следующий кадр... Мужики вырвались и устраиваются, чтобы насладиться пивом, но в обзоре фигура неостанавливающейся труженицы — бабы. Она по-прежнему не разогнулась и, кажется, не заметила, что соратников рядом уже нет. Эта картинка мешает героям наслаждаться пивом, и они закрывают обзор бутылкой пива «*Старый мельник*». Остается забавный крупный план: огромная бутылка пива (за ней теперь скрыта женщина), а из-за бутылки летит ботва. Звучит слоган: «“*Старый мельник*” — душевное пиво!» Теперь становится ясно, что вообще должна делать баба, когда мужики пьют пиво (и не только пиво, естественно), — она должна работать. Ситуация точно фиксирует наполнение социальной роли русской женщины. Ведь реальность (особенно в деревне) так и определена. Спивающееся мужское население и изнемогающая от непосильного труда и ответственности за детей русская баба. Хорошо известно при словье, часто звучащее у «простых» русских женщин: «Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик». Ее идентификация с образом «рабочей лошади» была подтверждена в исследованиях, которые про-

водились несколько лет назад в рамках проекта «Социально-политический портрет уральской женщины» (см. Козловская, Шабурова, 1996). Женщинам предлагался для идентификации довольно широкий спектр метафор: «светская львица», «домашняя киска», «рабочая лошадь», «курица-наседка», «мышка-норушка», «ночная бабочка», «золотая рыбка», «попрыгунья-стрекоза», «рабочая пчелка». Результаты исследования показали, что такой веер образов не востребован, все уложилось вокруг ключевого слова «рабочая». Абсолютное большинство женщин идентифицировало себя с «рабочей лошадью» или «рабочей пчелкой»².

Ведя разговор о символизации мужских ценностей в рекламе спиртного, имеет смысл отметить попытку проинтерпретировать мужские качества в репрезентации напитков другого ряда. Они весьма показательны как неточные символизации, не совпавшие с базовыми смыслообразами. Речь идет о мифологеме «доброй силы», реализованной в рекламе молока и сока. Так, образ доброй силы, представленный в русской сказочной традиции богатырями, решили подкрепить в рекламе молока фигурой Ивана Поддубного. А современная символизация доброго русского богатыря предстала в рекламной стратегии сока «Чемпион» — на картонной коробке красуется, весь в медалях, знаменитый боец Александр Карелин на фоне российского триколора, стоит подпись борца под слоганом «Наша сила в качестве!».

Но, как известно, сок «Чемпион» не стал чемпионом продаж, как и молоко «Иван Поддубный». Думается, дело не в самом образе доброй силы — он весьма значим и в других ситуациях часто используется грамотно. Символ доброй силы в российской ментальности органичен традиционно значимому и признаваемому всеми образу воина-освободителя. Фигура русского солдата-освободителя долго олицетворяла у европейских народов после Второй мировой войны национальный образ России. В современной политической рекламе претенденты на избрание часто используют эту мифологему (например, в слоганах «Дорогой добрых дел» или «Забота, защита, зарплата»). Особенно выразительно этот образ протраивается в конструкциях мужского, представленных в творчестве группы «Любэ» (см. об этом ниже). Просчеты в рекламных

² Содержательное различие образов заключалось здесь в характере труда. Предполагалось, что «рабочая лошадь» занимается более тяжелым трудом. Женщины с более высоким уровнем образования чаще идентифицировали себя с «рабочими пчелками».

стратегиях сока «Чемпион» и молока «Иван Поддубный» состоят в неорганичности избранных символов мужским ценностям. Мужскому сознанию органичнее все же водка и пиво. Вспомним, что в качестве оценки недостаточной мужественности звучит уничижительное «у него еще молоко на губах не обсохло». Молоко выступает как фиксация принадлежности к детству, а мужское определяется в одном из своих значимых критериев как выход из недифференцированного детства.

В русском образе мужика, представленном через рекламу пива, просматривается еще одна интересная составляющая российской маскулинности. Потребление пива нагружается некими идейными смыслами, выступает как «наш ответ Керзону», то есть заявлена некая антизападная позиция. Современная пивоваренная промышленность России стремительно развивается, и на сегодня представлены такие данные: на дешевые российские сорта пива приходится 50% потребления, 35 % выбирают недорогое российское, 12% — местные сорта премиум, 2% — лицензионные, и только 1% (!) пьет импортное пиво (см. Сагдиев, 2000). Российские марки пива выигрывают схватку у западных брэндов за счет ярко выраженной «национальности», коллективности героя, стилистики его подачи (рассмотренные нами образцы рекламы российского пива отмечены хорошим национальным юмором, внятной репрезентацией героя). Но потребитель, «покупаясь» на русский образ, идентифицируясь с ним (из подсознательных патриотических установок), не очень хорошо представляет, что за российским брэндом часто стоит западный инвестор или акционер, а 70% сырья в отрасли является импортным. Так происходит сегодня со всеми значимыми потребительскими потоками (например, шоколад «Россия»—«Нестле»). Все торгуют русскостью, начинается борьба за известные советские брэнды («Советское шампанское», шоколад «Аленка», даже папиросы «Беломорканал»). Становится понятно, что в глубине потребительских стратегий работает идеология. Объединяющаяся в потребительских стратегиях постсоветская масса как будто реализует скрытую потребность в объединении (на этом и играет рынок), но коллективность эта оказывается мнимой, что мы можем наблюдать на симуляции коллективности в образах мужского пивного братства. Эти явления суть еще одно выразительное воплощение мощи символической власти.

Заявленная схема репрезентации российского мужского образа через собирательную конструкцию «мужики» хорошо просматри-



Группа «Любэ» и «Менты»

вается и в тенденциях развития национального кино. В попытках представить нового героя отмечается весьма характерная особенность. Наряду с персонифицированными образами, воплощающими традиционного для западного кино героя-одиночку (action hero) — в фильмах *«Досье детектива Дубровского»*, *«Агент национальной безопасности»*, *«Брат»*, *«Бандитский Петербург»* и др. (берем наиболее массовую продукцию, в основном так называемую «петербургскую линию»), — активно разрабатывается специфический коллективный герой. Более того, наибольший зрительский успех получили именно такие попытки — это уже упоминавшийся проект С. Рогожкина *«Особенности национальной охоты»* с их продолжениями; *«ДМБ»*, представляющий линию фильмов об армии; и, конечно же, самый характерный в этом ряду и самый на сегодня успешный продукт *«Улицы разбитых фонарей»* («Менты»).

В анализе сериала *«Менты»* существуют попытки разложить его по схеме «мушкетеров». Соответственно, выделяются ампула Арамиса, Атоса, Портоса и т.д. (Фомин, 1999). Но, на наш взгляд, здесь лучше просматривается конструкция тех самых черт «мужичизма», которые мы отмечали ранее. Так, в этом собирательном образе есть тот, кто воплощает функцию секс-удальца (Казанова),

простака-мужичка (Дукалис), мужицкую хозяйственность и основательность (Мухомор и, быть может, Соловец), носителя мужского «нравственного императива» (Ларин), и все вместе — «выпить не дураки». Обязательная картинка для каждой практически серии — «сбросились, посидели». Есть и «классический вариант» — с пивом в бане (Питер, кстати, именно благодаря этому сериалу все больше воспринимается как «пивная столица»). Скрепляет этот коллективный образ благородная функция «санитаров леса». Реализуясь в пространстве насилия, криминальной грязи, герои при этом как раз и символизируют ту добрую силу, мифологема которой так органична для русского сознания. Насилие, которое осуществляют «менты», морально оправдано идеей справедливого наказания («Мы не волки, мы — санитары леса»), но при этом функция борцов за справедливость приглушена юмором и будничностью; образ коллективного героя принципиально не пафосный. Успех сериала во многом определился благодаря интонации иронии и самоиронии героев, созданием веселого антуража постоянных «приколов». По сути эта компания встраивается в ряд русских балагуров-трикстеров: от Иванушки-дурачка... к солдату Василию Теркину... к шомену Н. Фоменко... к «Ментам». Удивительное сочетание борьбы за справедливость с постоянными хохмами, превращение боевика почти в лубок (с сохранением энергетике базового жанра) позволили закрепить линию русского мужского кино. Потребность в этом кино обусловлена не исчезнувшей тягой к поиску героя, и после долгой полосы социальной аномии, отразившейся в стилистике «чернушного» кино, появление такого героя символизирует изменение социально-психологической ситуации в целом. Необходимость вернуть самоуважение (обязательная составляющая мужественности) появилась чуть раньше в кино, а вслед за этим и в новой политической линии. Характерной чертой коллективного образа мужика, нигде напрямую не оформленной, но всеми *чувствуемой*, получающей неотрефлексированный отклик, стала патриотичность. Патриотизм, присутствующий эмоционально в рассматриваемых фильмах, приглушен и обрамлен хохмами. Глеб Ситковский, анализируя фильм «ДМБ», отмечает, что счастливая судьба этих картин, свидетельствует о том, что в них удачно поймана та самая национальная идея или, если угодно, государственная идеология, которую до этого тщетно пытались разработать мудрецы-чиновники. Сформулировать ее можно как «иронический патриотизм»: «мы знаем, что в России пьют, но мы любим ее и такой, опухшей от похмелья; мы знаем, что сотру-

ники органов милиции на самом деле никакие не милиционеры, а менты, но это наши менты, и потому мы будем их любить и такими» (Ситковский, 2000). Таким образом, мы можем отметить еще одну обозначившуюся маркировку русского мужичизма — патриотизм, хотя и явленный в весьма специфических формах. Пока мы выделили их две: «потребительский патриотизм» (мы рассматривали его в «пивном» варианте) и «иронический патриотизм». Следует заметить, что они хорошо сочетаются.

Мужская группа

Полномасштабность и успешность политики репрезентации маскулинной нормы в России через фигуру «мужика», рассмотренная нами на примере вербальных (*Русское радио*) и визуальных (реклама, кино) практик, получает свое завершение в интересных музыкальных имидж-стратегиях.

Головокружительно быстрая смена общественного строя потребовала немедленной культурной реакции, и таким реактивным мобилем оказалась массовая песня и фигура певца. Именно певцам в 90-е годы предстояло определить отношение к жизни, олицетворять представления о прекрасном и возвышенном, формировать иерархию ценностей, предлагать модели поведения и заполнять список символов, причем не нормативно, как это делала заменившая идеологию реклама, а по любви, —

отмечает Т. Москвина (Москвина, 2000). Среди огромного потока имиджей поп-звезд попадают самые разные модели мужского — аутоэротичные Нарциссы (Киркоров или Леонтьев), плейбои (Буйнов), мачо (Сосо Павлиашвили, — вспомним, А. Плаховым (см. Плахов, 1997) подмечено, что мачо в России, как правило, грузин) и др. «Мужиками» в этой пестрой карусели стали «Любэ». Характерна история создания группы. Во-первых, интересно, что она сразу замышлялась как «идеологический продукт» — продюсеры хотели продавать «русскость». Коллектив подбирался по внешним данным, его участники должны были соответствовать идее группы русской по духу и содержанию. Во-вторых, проект был несомненно коммерческим. Через десять лет существования группы стало ясно, что замысел превзошел все ожидания и в коммерческом, и в идеологическом отношении. Более того, в заданной логике развития произошло укрупнение масштаба образа. Как мы от-

мечали выше, настоящая «русскость» транслируется через «мужичизм» и наоборот. Так и произошло с группой. Стремясь выразить национальную ментальность, она с неизбежностью пришла к образу «Мужики». Самая русская группа стала и самой мужской. Н.Расторгуев (солист группы, ее «лицо») отмечает: «Нас теперь так и называют — “мужская группа” или объявляют: “Сейчас на сцену выйдут настоящие мужики”».

В огромном репертуаре группы тематизированы все те компоненты, которые мы представили как составляющие концепта «Мужики»: идея мужской коллективности, абсолют мужской дружбы, секс-удаль, ценность алкогольного фермента, символизация доброй силы, патриотизм, ядерный юмор, простота и открытость, стойкость в испытаниях и т.д. Воплощение собирательного образа «Мужики» в имидже группы стало возможным благодаря особому взгляду на историю России. «Любэ» удалось то, что не удавалось никакому другому идеологически артикулированному проекту — связать всю историю России в одном образе, хотя и предельно мифологизировав его. Образ «мужика» у «Любэ» — константа русской истории и стержень российской современности. От Емельяна Пугачева (крестьянин-мужик) к солдату Отечества (есть все временные срезы военного образа), к простому трудяге (пролетарский фолк-рок города), к сегодняшним «санитарам леса» (менты, опера).

Группа развивалась и выросла, как и мужчина: от пацана к мужику. Поэтому тематизации мужского даны в развитии. Как зрелая мужественность обретает социальные и гражданские краски, так и «Любэ» двигалась чуть ли не от зазорной анархии к высокой гражданственности, которую сегодня никто, кроме них, не осмеливается достойно представлять. То же и в линии «сексуального» развития — от разудалой молодой секс-энергии к суровой мужской нежности. Рассмотрим некоторые линии этого развития. Воплощение русского духа, удали, размаха — «баня, водка, гармонь и лосось» или «бабы, кони, раздолье в пути», «свадьба, эх... запотевший пузырь» — представлено в ранних циклах группы, где звучит мощный напор витальной музыки и очень энергичные, стилизованные под фольклор тексты. Самоутверждение добра молодца происходит в гульбе (а русская гульба вбирает в себя, как правило, секс, пьянку и драку). В песнях типа «Бабу бы!» есть налет агрессии (правда, больше в музыке), что близко к трактовке русского секса как лютой забавы. Но это не характерная позиция в данной теме у «Любэ». Все же сексуальные развлечения поданы больше как некие русские «игры на воздухе».

Парень шел с девицей в лес. / Он имел к ней интерес, / А из леса шел и спал. / Ох, как интерес упал. / Елки-палки, лес густой! / Разговор идет простой: / Не ходите, девки, в лес, / Коли у вас слабый / Ой да интерес.

Фольклорный строй подчеркивает здесь опять-таки некий национальный колорит сексуальных игр. Еще ярче это представлено в песне «А ну-ка, девушки! А ну-ка, парни!». Здесь появляется удивительный поворот — утверждение национальной идеи в удалом сексе, где и «девчата» и «парни» призваны дать патриотическую альтернативу красивой заграничной жизни.

Я за парней свой город славлю! / А за девчат, ну прям-таки люблю! / У девчат на ребят глазки-глазки горят, / Губки-губки блестят, / Щечки ласки хотят, / У ребят на девчат / Зубки-зубки стучат, / Холки колом стоят, / Кровь играет в стократ. / А за границей большей хлебопекарни, / А за границей вкуснее кренделя, / А мы гуляем тут, а ну-ка, парни, / А ну, девчата, до победного конца!

Вот такие «кровь и почва».

Гульба сменяется службой в армии или даже войной (у кого-то, быть может, тюрьмой). На этом резком противопоставлении свободы и долга меняется окраска сексуального образа героя. Мечта о близости с девушкой, женщиной становится концентрацией желания вернуться живым, в этих мечтах секс и жизнь связываются в один образ. *Я приду, ты не балуй!* / *Будет лентой пулеметною / Красоваться поцелуй.* Повзрослевший герой суров и нежен. Появляются песни настоящего лирического накала — «Там, за туманами», «Главное, что есть ты у меня» и др. Как-то молоденькая журналистка в телеинтервью задала Н. Расторгуеву кокетливый вопрос: «А вы плейбой?» На что он, покуривая «Беломор», спокойно ответил: «Да я уже отплейбоил».

Интонация искренности, предельной открытости мужской души, соединенная с раздумьями о жизни, транслируется в теме выпивки³. Алкогольная компонента присутствует в текстах и темах «Любэ» широко. От бравого, лихого соревнования в молодом

³ Специально тему русского пьянства отрабатывала другая группа — «Дюна». Стилистика была избрана почти клоунская, комедийная, аналогично знаменитой алкогольной троице Л. Гайдая. Визитной карточкой группы стала песня с рефреном «Привет с Большого Бодуна». Затем закономерно появилась и тема секс-удали. Известный шлягер «Наш Борька — бабник» был представлен в клипе в антураже гаража или автопредприятия завода. Сомнений не оставалось — это мужики.

сти («*Давай наяривай*» — *А ну, налей-лей, не жалеи, / Похмелье — штука тонкая*) до тяжелых раздумий о превратностях русской жизни («*Барин*» — *Огурчики солены, / А жизнь пошла хренова, / Налей-ка, миленький, / Накатим по второй, / Выьем, закусим / Да за жизнь поговорим*). В «полном возрасте» мужика водка становится для него катализатором ностальгии, совместного дружеского (обязательна коллективная форма) переживания прошлых подвигов и побед на всех фронтах утверждения мужественности — от выпивки до войны. *А ведь когда-то мы могли / Сидеть с гитарами всю ночь, / Серега, Колька и Витек, / По кругу шел стакан с вином / ...Мои дворовые друзья, / Мои давнишние друзья* («Старые друзья»). Или: *Помнишь, пиво носили в бидоне, / Ох, ругался на это весь двор, / И смолили тайком на балконе, / А потом был с отцом разговор* («Ребята с нашего двора»). Ностальгия открывает горизонт пройденных дорог. Дорог, где через всевозможные испытания оформлялась мужественность. Испытания, жизнь у черты, непафосная героика составляют смысл этого пути. Внешняя репрезентация данного мужского образа тоже негероична. Вспомним, в тех же «*Ментах*» будничность, обыденность «героических свершений» делает образ достоверным. Так и у «*Любэ*» — внешняя сдержанность при мощном внутреннем накале, обеспеченном соответствующей музыкальной разработкой и текстами, принципиально негероические лица. Никаких красавчиков, они здесь были бы неуместны. Стилистика образа определилась случайно. Пугачева как-то предложила им для выступления в «*Рождественских встречах*» надеть галифе и гимнастерку. Попадание оказалось точным. Но в таком образе они теперь выступают не всегда. Н. Расторгуев пытается «отодрать» эту шкуру образа, но это уже, видимо, невозможно. Он как-то заметил, что уже больше десяти лет прошло, «пора и дембельнуться». В последнее время его сценический образ подается в мужской аскетичной простоте — брюки и свитер. Пластическое решение образа также выполнено в соответствии с концептом спокойного мужского достоинства. Никаких подтанцовок, солист просто стоит, символизируя устойчивость, надежность, стабильность. В подтексте этой стилистики открывается смысл: «мужик не суетится». Здесь возможна одна из линий противопоставления двух традиционных русских образов — мужика и интеллигента. Мужик не страдает бесконечной рефлексией подобно мятущемуся интеллигенту (интеллектуал, по М. Фуко, способен различаться, а потому избегать принудительной идентичности). Мужик, в общем-то, спокойно принимает жизнь «здесь и теперь». Это не

означает абсолютной покорности, скорее, это приятие жизни как самоценности. Отсюда, как правило, привязанность к исходной точке пути. Сохранение связи с тем топосом, который задал истоки развития. Как во всякой мужской стратегии, происходит разрыв с отчим домом, выход в мир открытий и испытаний, обязательных для мужика (армия, зона или война), но ментальная связь с домом, малой Родиной, матерью оказывается весьма значимой для мужской духовности. И возвращение обязательно происходит, если не в реальности, то хотя бы в стремлении, нацеленности на возвращение. Во многих песнях эта тема — «Вернуться!» — становится энергетическим и смыслообразующим контрапунктом. *И мы вернемся, мы, конечно, доплывем! / И улыбнемся, и детей к груди прижмем.* Или: *Да, я остался живой! / Да, я сумел пройти! / Да, я приехал домой!* И еще: *Позови меня на закате дня, / Позови меня, тихая Родина, / Я вернусь, я сдержу обещание.* Апофеозом этой линии стала одна из лучших песен «Любэ» — «Дорога». Метафора дороги разворачивается не просто как путь домой, а после испытаний, раздумий, ошибок — путь к самому себе, дорога в российской электричке по бескрайнему захолустью — это путь к самотождественности, к пониманию своего места и предназначения. Когда герой говорит: *Я скоро приеду домой!* — это означает, что он вернется к самому себе, завершив круг исканий и испытаний, а когда в песне невероятно пронзительно звучит: *Да! Мы скоро вернемся домой!* — открывается метафора общероссийского пути. Страна сама скоро обретет смысл своего существования и развития. «Дорога» — не просто лирико-патриотический гимн. Это попытка главного героя русской жизни понять, кто он и что есть его страна. Так в современном творчестве «Любэ» открывается трансформация понятия «патриотизм», который, как мы уже замечали, оказывается так или иначе встроено в конструкцию российской мужественности. И наряду с отмеченными ранее формами «потребительского патриотизма» и «иронического патриотизма» можно выделить «лирический патриотизм» группы «Любэ».

Наиболее сильно и выразительно патриотический подтекст звучит в военной теме «Любэ». (Об этом направлении писали больше, с этой темой последнее время идентифицировали «Любэ» и, естественно, спекулировали на этом выстроенном образе.) Мужик-солдат у «Любэ» показан в страшном огне испытаний «Огонь, огонь, агония», на пределе человеческих сил, в бесконечном преодолении себя и обстоятельств. Но это опять-таки не железный герой, а обычный человек, порой еще мальчишка: *А на войне как на*

войне, / Солдаты видят мамку во сне. Или: Шагом мари! В ногу! Шагом мари! / Мамочка родимая, больше не могу! Школа взросления, школа мужественности — армия. Но где-то этот образ выражен в позитивных линиях сопоставления с победами дедов и отцов: *Птенчики окраин поднялись, / Полетели стройным клином, / Прямо в поднебесье вознеслись, / Как их деды над Берлином*, порой же в этой теме раскрывается дегуманизирующая, расчеловечивающая реальность войны и армии. Война — смерть, а любовь — жизнь. *Время для любви после войны*. А сама война — *Дурная тетка, стерва она!* Кстати заметим, что война здесь — женский образ, наряду с другой женской маркировкой — старухой Смертью. Поэтому трактовка песни «Комбат» у Т. Чередниченко (весьма глубокая и интересная в целом) в этом фрагменте кажется не совсем точной. Она пишет, что «Комбат-батяня» становится аналогом смерти с косой, что страшная разрушительность войны — это батяня, отец родной (Чередниченко, 1999, 326). Вряд ли это так, ведь в песне фигура Комбата, отца — позитивна. *Он сердце не прятал за спины ребят*. Вообще отец — фигура мужского ряда, она скрепляет мужскую коллективность, задает преемственность мужественности. Так что война репрезентирована как страшная женская стихия. Женское часто соотносится со смертью. «Мать-сыра земля» — она рождает, но она и забирает (см. Бовуар, 1997).

«Любэ» часто соотносят с их давней, географической маркировкой: любера из Люберец, тем самым приписывая им криминальный образ. Но, во-первых, от «люберов» они давно ушли, в традицию уголовного шансона не встроились, пошли другим музыкальным и идеологическим путем (хотя сентиментальная линия в творчестве присутствует, она выполнена на совершенно другом уровне). Во-вторых, «Любэ» имеет иную коннотацию — со словом «любо», то есть означает позитивное, принимаемое. Сегодня образ «Любэ» работает на эту вторую составляющую, как «Бочкарев» — «правильное пиво», так и «Любэ» — «правильная группа». Они представляют сегодня зрелую мужественность, наиболее полно открывшуюся в последних альбомах «Песни о людях» и «Полустаночки». Сегодняшний герой «Любэ» демонстрирует зрелую мужественность, ставшую итогом таких основных испытаний, как

- разрыв с домом и возвращение к нему;
- разрыв с матерью и возвращение к ней (как знак признания женского и в себе — подтверждено несколькими песнями о матери);

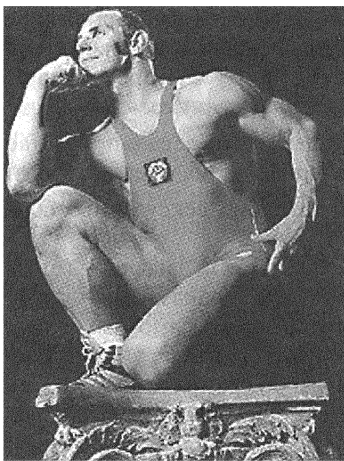
- смена понимания ценности собственного детства, последовавшая за резким и недифференцированным разрывом с ним; обретение и осознание статуса мудрого старшего брата и отца (*За руку сына водил, / Правду ему говорил, / Хоть да и не было сил*);
- проявление гражданственности («прорастает» чувство патриотизма), которая приходит на смену инфантилизму юности;
- завершение интенсивных сексуальных состязаний, преодоление комплекса Приама.

Мужик самодостаточен. Он завершил гонку самоутверждения, хотя ситуации испытаний и доказательств будут возникать в жизни еще не раз. Приходит время самоуважения, мужское во многом на нем и основано. Если мужик не уважает себя, его не будут уважать и другие (отсюда знаменитое мужицкое вопрошание в русском общении — «ты меня уважаешь?»). Отсутствие национального и социального самоуважения разрушает и общее мужское.

Современная власть, идеологически бесплодная, спекулирует на «открытиях» массовой культуры. Образ «мужика», отработываемый массовой культурой, остается ведущей маркировкой силы, укоренности, русскости. Это наиболее архетипический и выразительный герой. И современная власть, с проявленной уже сегодня стратегией «новой вертикали», разворачивающая идеи державности и сильного государства, пытается инкорпорировать мифологему «мужика» — в отстраивающуюся идеологию. Опыт создания движения «Единство» показал, что система символов «Единство, Мужики, Медведь» — весьма эффективная конструкция. Удивляться успеху фантомной, созданной за каких-то два месяца организации не приходится. Массовое сознание было готово.



Предвыборный плакат «Единства»

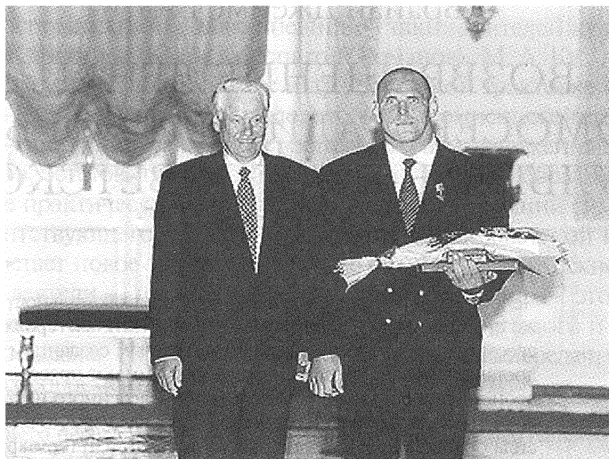


А. Карелин

Движение «*Единство*» позиционировало себя одновременно в образах Мужика и Медведя. Медведь оказался достаточно наполненной конструкцией. До этого его пытались использовать для символизации мужской основы нового среднего класса, артикулировав черты автономности, независимости этой фигуры⁴. Но, как мы видим, этот образ был «перехвачен» властью и использован ею более эффективно. Очевидно, он оказался более органичен для задач, решаемых властью. Работая с этим образом, идеология власти подчеркнула другие его качества — дикую силу, этническую краску и др. Кроме того, Медведь хорошо коррелирует с Мужиком. Во внешнем мире русская этничность всегда воспринималась в образе Медведя (ему, кстати, соответствовал имидж первого российского президента). Медведь/Мужик — очень почвеннический конструкт, за ним стоит большая ментальная традиция. Думается, что идеологи российского среднего класса не смогли отыграть эту мифологему, так как ценности, которые транслируются данной идеологией, в большей степени сориентированы на западный моральный и потребительский стандарт.

Движение «*Единство*» нашло выразительную фигуру для визуального воплощения данного образа — это знаменитый (до недавнего времени непобедимый) борец А. Карелин. В этой фигуре до-

⁴ См. статью Ушакина в этом сборнике.



А. Карелин и Б. Ельцин

полнительно символический капитал усиливался благодаря премьственности в данном образе советского и постсоветского (А. Карелин — знаменосец олимпийской сборной СССР, СНГ, России). Его поражение на Олимпиаде в Сиднее стало идеологическим поражением. Сам А. Карелин, тяжело переживающий это поражение, дал наконец первое интервью, где подчеркнул именно такую интерпретацию случившегося: он особенно тяжело переживает еще и потому, что никогда в жизни не проигрывал иностранцу (см. Карелин, 2000).

Современному российскому мужчине жизнь предъявляет суровые требования. Криминализация социального фона, депрофессионализация, нечеткость социальных и ценностных оснований российского мира — все это затрудняет выбор и построение личных стратегий. Своеобразным ответом на эти вызовы трансформирующейся социальности стала попытка четче определить концепцию мужественности, увидеть пути преодоления дегуманизации мужского. Пока можно, перефразируя слова из известного фильма: «Он русский. Это многое объясняет», — сказать: «Он Мужик. Это многое объясняет».

Брайан Джеймс Бэр

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЕНДИ: ГОМОСЕКСУАЛИЗМ И БОРЬБА КУЛЬТУР В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ

Человечество нуждается в денди и их привлекательности в той же степени, что и в своих самых величественных героях, в своем самом суровом благородстве. Умным созданиям они доставляют удовольствие, на которое те имеют право... Натуры двойственные и неоднозначные, неопределенного интеллектуально пола, в котором изящество еще более изящно в силе и сила обретает себя в изяществе, [они являются] гермафродитами Истории, но не Мифологии, среди которых Альсибиад был прекрасным представителем прекраснейшей из наций.

Барбэ Д'Оревильи (D'Aurevilly, 1926—1927)

Нашей целью должно быть не отрицание мужественности и не отказ от нее, а преодоление — путем подчеркнутого внимания к ее протезной сущности — ее явного предназначения как «предопределения» половых и сексуальных норм, придатка или приложения, которые волей-неволей дополняют и скрывают «недостаток Бытия».

Хоми Баба (Bhabha, 1995)

Пересмотр и зачастую возвращение к дореволюционной и даже эмигрантской культуре, начавшиеся во времена «перестройки», привели к возрождению не только литературных форм и тем, не соответствующих образу «советского человека» и потому не подлежащих обсуждению как несуществующие, но и неприемлемых еще недавно категорий мужественности¹. С публикацией и переизданием в России сочине-

* Перевод с английского Анны Навроцкой, которая также приняла участие и в исследованиях, необходимых для написания данной статьи.

¹ Некоторая терминологическая путаница может возникнуть из-за отсутствия в русском языке точного эквивалента английскому слову «masculinity». (Новый термин «маскулинность», так же как и «гендерный», для широкого круга читателей, не говорящих по-английски, рискует остаться непонятным.) Чтобы избежать неопределенности, «мужской» и «женский» будут в дальнейшем использоваться как понятия биологические, а «мужественный» и «женственный» как понятия культурно-социальные.

ний, воспоминаний и даже дневников таких деятелей культуры, как К. К. Вагинов, К. Р. (Константин Романов), М. А. Кузмин, кн. Ф. Ф. Юсупов, З. Н. Гиппиус и др., советской трактовке облика мужчины — как сильного, плодовитого и несомненного гетеросексуала — внезапно стали противостоять образы изнеженных аристократов, эстетов, трансвеститов и денди. Причем образ денди, в течение практически всего советского периода бывший символом декадентствующего буржуазного Запада, в постсоветской России приобретает новое значение. Многие современные русские творческие деятели — писатели и режиссеры — вернулись к этому образу в поисках нового политического, художественного и сексуального идеала. Например, в заявке на серию телепередач, посвященных современному танцу, говорится:

Манера передачи — ироничная, дружелюбная, с долей сарказма. Внешний образ и стиль главных персонажей — постоянных ведущих телепередачи: «Критиков» и «Зрителя» — это стиль джентльмена, денди, сноба².

С самого начала нужно заметить, что понятие «денди» подразумевает реально существующую социальную «нишу», появившуюся в европейском обществе в конкретный исторический момент при определенных социальных, экономических и политических условиях³, равно как и положение или роль личности в обществе, получившие распространение с этого времени. В своей книге *«Дендизм от Бодлера до Малларме»* Мишель Лемер указывает на различные формы дендизма:

При изучении дендизма возможно парадоксальное перемещение: от дендизма исторического, точно определенного во времени и пространстве (Лондон и Париж, первая половина XIX века), к дендизму вневременному, от Альсибиада к Сальвадору Дали, или от дендизма поверхностного, от заурядной претензии на элегантность и тончайший *«bon ton»* — к дендизму глубокому, оперирующему понятиями скептицизма, невозмутимости, эстетизма. (Lemaire, 1978, 9—10)

Несомненно, самые интересные и радикальные проявления дендизма в современной России — это примеры «дендизма глубоко-

² Цитируется по «Проекту цикла телевизионных передач о балете» от 31 января 2000 г. для ОРТ, РТР и Петербурга, написанному А. Макаровым и А. Беляевым.

³ Наиболее характерным примером является Бо Бруммель (см. D'Aureville, 1926—1927).

го». Денди уже не воспринимается как символ декадентствующего Запада; сегодня этот образ — и весь комплекс представлений, с ним ассоциирующихся, — превращается в понятие, противопоставляемое советскому канону, и являет собой одну из возможных альтернатив в постсоветском обществе. Иными словами, «дендизм поверхностный» уступает место «дендизму глубокому». Вячеслав Кондратович, например, подчеркивает в своем эссе «*Поэт и денди*» радикальную, антинормативную сущность характера денди:

Нарушение приличий, и тому есть множество свидетельств, для денди гораздо важнее их соблюдения. Поведение же денди, пожалуй, больше всего соответствует дзэнскому идеалу: «ухожу от мира не уходя». (Кондратович, 1999, 44)

По словам Кондратовича, настоящий денди — и тому Пушкин лучший пример — принадлежит к традиции уродливости, ставя себя вне и против буржуазных ценностей, основанных на правильности и корректности. Денди, согласно Кондратовичу, определяет критическую позицию на грани господствующих социальных норм (хотя сам денди стремился играть привилегированную роль среди *beau monde*).

Разумеется, предлагаемое определение денди как одной из форм мужественности — умышленно провокационно, так как денди со времени своего появления в начале XIX в. ассоциируется с гермафродитизмом, если не с гомосексуализмом. Подобное определение неизбежно акцентирует внимание и на социальном устройстве, система ценностей которого традиционно помещает денди на грань допустимого — как женоподобного Другого, противопоставленного общепринятому эталону мужественности⁴.

Деконструкция героического идеала

Для ряда русских режиссеров и писателей, среди которых можно, например, назвать Юрия Мамина с его фильмом «Бакенбарды», понятие «мужественный денди», подобно «женской мужественности» у Джудит Халберштам, разрушает классическую бинарную

⁴ Барбэ Д'Оревилли в своей работе «*О дендизме*» представляет денди как значимую альтернативу мужчине-герою с его «самым суровым благородством». Денди — «гермафродит Истории» — вместо суровости «доставляет удовольствие», что уже само по себе является вызовом общепринятым понятиям, согласно которым мужчине должна доставлять удовольствие женщина. (D'Aureville, 1926—1927, 278)

оппозицию мужского и женского, которая определяет доминирующий канон и одновременно предполагает возможность альтернативы. Эта позиция, вполне достойная денди, противоречит очевидным образом господствующим в обществе воззрениям на мужественность, возникшим одновременно с денди, то есть в начале XIX в.

Если доминирующая модель мужественности неизбежно монологична и расценивает любое отступление от канона как шаг в сторону женоподобности, то роль денди, с присущей ей иронией, обособленностью и театральностью, неизбежно диалогична, рассчитана на зрителя и собеседника и тем самым «подначивает» добропорядочность. Таким образом, осмысление «денди» как категории мужественности помещает дендизм в центр культурного соперничества между, с одной стороны, *моделью мужественности*, основанной на четко разграниченных и взаимоисключающих категориях мужского и женского (и тел соответствующего анатомического строения), и, с другой стороны, *понятием социально-половой индивидуальности*, самовосприятия — позы — как исполняемой роли, находящейся в противоречии с «нормальностью». Денди либо обречен быть оригинальным, либо не должен существовать вообще:

Всякий денди — это человек дерзкий, но не бестактный, который умеет вовремя остановиться и найти между оригинальностью и эксцентричностью знаменитую точку равновесия Паскаля. (D'Aureville, 1926—1927, 250)

Андрей Хлобыстин отмечает сложную социальную и философскую позицию денди в своей статье «*Озарение Пушкина*», напечатанной в 1999 г. в журнале *Дантес*:

Пушкин был одним из первых русских денди: в одном из писем он рассказывает, что усвоил новую английскую манеру, на которую в свете все злятся, и еще более потому, что не могут уловить, в чем дело. В основе всех мотиваций лежала честь не ритуальная, а индивидуальная. (*Дантес*, 1999, 55)

Пушкин, вне всяких сомнений, играет свою роль при любом переосмыслении значения денди и дендизма. Будучи одновременно и отцом русской современной литературы, и нераскаявшимся денди, Пушкин, возможно, представляет собою ту самую личность, в которой наиболее явственна борьба между «нормальностью» и индивидуальностью; между героическим каноном муже-

ственности, чьим девизом, следуя Дэвиду Ньюсому, может быть «Я действую, следовательно, я существую» (цит. по Moss, 1996, 50), и иронической, отчужденной позой денди, неприемлемой для этого доминирующего канона в силу своей женоподобности и чрезмерности.

Пограничная позиция денди с неизбежностью порождает вопрос о господствующем эталоне мужественности, в противопоставлении к которому денди и воспринимается окружающими, и самоопределяется. Большинство исследователей, затрагивающих проблемы сексуальности, согласны с тем, что рост влияния буржуазии привел к возникновению нового социального устройства, основанного на принципиальных различиях между мужским и женским, с одной стороны, и мужественным и женственным — с другой. Эти различия поддерживались и считались естественными на протяжении всего XIX и практически всего XX в. во всех областях общественной жизни: и религиозной, и юридической, и научной. Для среднего класса противопоставление мужского и женского начал было в некотором роде следствием и отражением разделения сфер деятельности между работой и домом⁵. Работа и дом превратились в сферы, строго разграниченные по половой принадлежности. Значение, придаваемое этой разнице, повлияло даже и на манеру одеваться. Очевидный тому пример — длинные брюки у мужчин⁶. Кэтрин Холл замечает, что нормы, принятые средним классом, «пошатнули представления о мужественности, связанные с дворянством и аристократией» (Hall, 1990, 63).

Эталон мужественности, возникший к этому времени, «был тесным образом связан с новым буржуазным обществом, складывающимся в конце XVIII столетия» (Moss, 1996, 17), производительным трудом и семейными ценностями. Он был создан и одновременно явился прочным основанием для последующего закрепления четкого различия между мужчиной и женщиной, во

⁵ Как пишет Кэтрин Холл, «средний класс признает существование отдельных сфер [для мужчин и женщин] и организует свою жизнь в соответствии с подобным мировоззрением» (Hall, 1990, 62).

⁶ Пол Джонсон пишет: «Мы теперь приближаемся к важному моменту, изменению, которое в некотором роде навсегда преобразило отношения между полами. До второй половины XIX в. оба пола одевались напоказ, нося самые дорогие ткани и самые яркие цвета, которые были по средствам... Это был последний период в истории, когда мужчина мог позволить себе обращать пристальное внимание на физическую красоту своего пола, не будучи при этом объявленным гомосексуалистом» (Johnson, 1991, 459).

многим определившим современные воззрения на семью и сексуальность. Основным в этом сложившемся каноне стала увязка социально-культурных категорий (мужественный / женственный) с анатомически соответствующими им телами (мужское / женское). По словам Джорджа Мосса,

мужественность с самого начала рассматривалась как единое понятие: тело и душа, внешние проявления и внутренние достоинства должны были составлять единое целое, безупречное создание, в котором каждая его часть была бы на своем месте. (Moss, 1996, 5)

Идеальная согласованность половых и биологических признаков является отличительной характеристикой этой модели сексуальности. В XVIII в., например, Екатерина Вторая, не боясь прослыть извращенной, могла гордо заявлять в своих мемуарах, что у нее ум мужчины. Екатерина упоминает также о некоем любовнике Елизаветы, который был произведен императрицей в генералы, но проявил весьма посредственные способности в военном искусстве. Екатерина поясняет, что его ум был слишком женским для военачальника. Таким образом, понятия мужского и женского были более или менее свободно употребляемыми определениями и могли быть приложимы и к женщине, и к мужчине, не неся в себе непрременной ассоциации с гомосексуальностью и извращенностью. Хотя, как замечает сама Екатерина, «лучше быть управляемым мужеподобной женщиной, чем женоподобным мужчиной» (Moss, 1996, 146). Действительно, слово «женоподобный», обозначающее неуместную среди мужчин утонченность, то есть женские качества и стиль поведения, обнаруживающие себя в мужском теле, вошло в широкое употребление именно в XVIII в. «В продолжение всего XVIII в., — пишет Джордж Мосс, — разница между полами не была основным стержнем, вокруг которого строилось все человеческое мировоззрение, но со временем она обозначилась более отчетливо» (Moss, 1996, 28)⁷.

Идеал четкой и ясной разницы между полами, «соответствующей» биологическим параметрам, проводит параллель между сексуальной моделью среднего класса, основанной на морали и Священном Писании, и научными моделями, основанными на био-

⁷ Также можно заметить, что люди, рожденные с неопределенными или смешанными гениталиями (гермафродиты), стали относиться медиками к тому или другому полу только в XIX в. До этого гермафродитам было позволено жить так, как они сами выбирали. Этот вопрос детально рассматривается Алисой Домюрят Дрегер (см. Dreger, 1998).

логии и теории эволюции. В. В. Розанов, например, в начале XX в. подтвердил в очередной раз четко обозначенную разницу между полами, хотя и резко осудил христианскую мораль, сделавшую секс постыдным, в особенности для женщин. В «*Людах лунного света*» (1911) он говорит: «... самец и самка — они *противоположны*, о только! Отсюда — все выводы, вся философия и истина» (Розанов, 1990, 74).

В основе работы Розанова лежит понятие, которое Хоми Баба определяет как «фаллическое уважение» (Bhabha, 1995, 60), выражающееся в его идентификации мужественности и жизненной энергии, представленной спермой: «Из молока *цельного человека* не выходит, а из семени — выходит» (Розанов, 1990, 109). Значение, которое Розанов придает в своей работе мужской потенции, лишней раз подчеркивает тот факт, что бинарные оппозиции мужское/женское и мужественное/женственное — традиционно иерархичны. Понятия мужского и мужественного стоят в этой иерархии на верхней ступени. Подобное утверждение становится более очевидным при взгляде на шкалу, предлагаемую Розановым для измерения мужских и женских качеств. Мужские качества представлены *положительными* числами (от +1 до +8), в то время как женские качества — *отрицательными* (от -1 до -8). В соответствии с этой шкалой мужская гомосексуальность есть не что иное, как «передвижение пола из положительных в отрицательные тяготения» (Розанов, 1990, 144).

Теория Розанова относится скорее к области науки, но так же, как и домостроевская модель среднего класса, представляет сексуальное влечение как результат разницы полов, и эту разницу — как нечто само собою разумеющееся, происходящее от природы. Или, словами Хоми Баба, «мужественность делает разницу нормальной и естественной» (Bhabha, 1995, 58). В розановской модели плодovitость достигает максимально возможного уровня (по частоте и выживаемости потомства) у мужчин и женщин, находящихся в крайних точках его шкалы половых качеств: иначе говоря, у наиболее мужественных мужчин и самых женственных женщин. От любых других союзов либо не происходит потомства вообще, либо оно является на свет больным и хилым. Другими словами, чем больше разница, тем выше.

По модели Розанова, гомосексуалисты — «люди лунного света» — помещаются где-то в районе нуля по шкале, измеряющей черты мужественности и женственности. Они характеризуются скорее недостаточностью мужской энергии и силы, нежели наличием женственных качеств. Для Розанова большинство гомосексуа-

листов — евнухи, то есть существа бесполое, а не женоподобные мужчины. Последние, как замечает Розанов, составляют лишь малую часть — 1,5% — от мужского населения, в соответствии с исследованием того времени (Розанов, 1990, 145). Подобно женщинам в сексуальной модели Фрейда гомосексуалисты отмечены недостатком — в этом случае не пениса, но жизненной энергии, стремления распространить свое семя, оставить потомство.

Розановская аргументация в пользу того, что эти «люди лунного света» причастны к созданию величайших творений в европейском искусстве, обращает внимание на спорный вопрос в доминирующем представлении о мужественности: отношении между последней и искусством. В понимании Розанова, искусство создается не через сублимацию сексуальной энергии, но при ее отсутствии. Хотя Розанов и не отрицает возможность существования искусства, не созданного «людьми лунного света», он практически ничего не говорит о нем. Его видимая неспособность охарактеризовать искусство, которое было бы творением «наибольших самцов» (+8 по шкале), заставляет предположить, что искусство — удел слабых, неспособных к деторождению, в то время как «самцы» занимаются более важными вещами.

Розанов не одинок в своих взглядах на мужественность и занятие искусством. Рэйчел Болби, например, говорит о том, что искусство превратилось в нечто стесняющее для мужчин в *fin-de-siecle* Англии:

Если культура как сфера, отграниченная от интересов бизнеса и работы, также ассоциировалась с женственностью и женщинами вообще, то это означало, что быть художником или писателем — значит не совсем совпадать с представлениями о мужчине. Скажем, для романов... женщины были основными потребителями, основными читателями. Художник-мужчина, соответственно, оказывался в некотором роде связан идеологически: ни чистый художник, ни настоящий мужчина. (Showalter, 1990, 77)

В классическом марксизме подобным же образом искусство является в лучшем случае второстепенной формой производства, принадлежащей скорее к надстройке, чем к базису, где происходят наиболее важные события. И когда Троцкий в «*Литературе и революции*» описывает нового советского человека, чье тело должно было стать более гармоничным, движения — более ритмичными, а голос — более музыкальным, то создается такое впечатление, что физически совершенное тело советского мужчины само должно было стать произведением искусства.

Советская культура, несмотря на свою поддержку равноправия женщин, продолжала насаждать традиционное истолкование разницы полов, особенно с приходом к власти Сталина⁸. Центральной в этой концепции секса и пола была тенденция к восхвалению эталона мужественности, характеризуемого мужской силой, активностью и господством над Природой — природа в этом случае включает собственные эмоции, женщин и собственно силы природы. В советской России «мужественность, преданная идее, дисциплине и цели, практически соответствовала нормативному образу мужчины» скорее, чем представляла ему какую бы то ни было серьезную альтернативу (Moss, 1996, 128). Советский стереотип был основан все на том же: героической сущности мужественности. По словам Мосса, «подтянутый, мускулистый, с пронизательным взглядом мужчина, выдвинувшийся с Русской Революцией на передний план коммунистической иконографии, не терпел ни малейшего соперничества» (Moss, 1996, 130).

В социалистическом реализме четко определилась эстетика героической мужественности, в изобразительном искусстве, равно как и в литературе. Эта эстетика основывалась на своем противостоянии западному искусству, обвиняемому в женоподобности и недостатке мужской силы. С господством соцреализма советское искусство стало отличаться «мускульной силой суперменов Тораха и Брекера» (Голомшток, 1994, 15) в скульптуре, в то время как художественный образ советского человека определялся его тотальным служением системе, отдачей всего себя без остатка на благо государства. В этом контексте сексуальная сомнительность — наиболее явно представленная гомосексуальностью — воспринималась равносильной идеологической неустойчивости: угрозе государству (Moss, 1996, 182). Гомосексуализм считался признаком социального декадентства и в декабре 1933 г. был объявлен противозаконным. Спустя менее чем три года (в 1936 г.) был принят закон против аборт. Эта серия запрещающих законов показы-

⁸ Грета Слобин описывает политику сталинского времени в отношении сексуальных вопросов следующим образом: «Ущемление женщин в правах оставалось в силе в правление Сталина, когда послереволюционная свобода сменилась пуританством в советском стиле, которое более походило на европейскую модель “порядочности” XIX в., нежели на какое бы то ни было новое социалистическое понимание сексуальных отношений. Ирония этой ситуации осталась незамеченной большевиками, для которых контроль над сексуальностью и рождаемостью был тесно связан с политической властью, производительностью труда и порядком» (Slobin, 1992, 249).

вает, что главной причиной вмешательства государства в личную жизнь своих граждан было стремление повысить (вос)производство (то есть рождаемость).

Если такое нормативное понимание сексуальности придает особое значение фундаментальным — включая и деторождение — различиям между мужским и женским началом и ассоциирует соответствующие характеристики с подходящими телами, то денди не поддается этой «естественной» классификации, игнорируя, смешивая и делая противоестественными, казалось бы, очевидные различия. Не признает он и продуктивность и «дельность» как основополагающие ценности. Для него, говоря словами бодлеровского денди, «быть человеком дельным... всегда казалось чем-то весьма отвратительным» (Lemaire, 1978, 23).

Свойственные денди «двуполость», эстетизм и отрицание ценности труда одновременно и расшатывают самые основы традиционного стереотипа мужественности, и предоставляют писателям и художникам в современной России возможность переосмыслить искусство и его роль, сексуальность и индивидуальность.

В той степени, в которой «дендизм глубокий» определяет критическую позицию по отношению к господствующим общественным ценностям, он может быть охарактеризован, используя термин Ричарда Тердимана, как «противоположный взгляд на вещи», назначением которого является «картография внутренней непоследовательности в кажущемся монологичным и монументальным институте преобладающего мнения» (Terdiman, 1985, 77). Скептицизм и ирония, характеризующие «дендизм глубокий», по существу своему исключительно критичны. Это означает, что они не могут представлять собой альтернативную позицию, которая бы стремилась к монологичности и монументальности, так как, следуя Тердиману, ирония превратилась в XIX в. в «лингвистическое хранилище разногласия. Само по себе, как иносказание, оно является чем-то вроде минималистического ниспровержения, противоположного мнения на нулевом уровне» (Terdiman, 1985, 77). Денди атакует своей иронией пиетизм общепринятых ценностей и в то же время отказывается от создания нового канона на месте старого: денди всегда остается антигероичным⁹. Лучшее тому свидетельство — слова первого денди Бо Бруммея о самом себе и своей позиции в обществе:

⁹ Д'Оревилль пишет: «Именно гений Иронии сделал [Бо Бруммея] самым большим мистификатором, которого когда-либо знала Англия» (D'Aurevilly, 1926—1927, 255).

Создание самого себя — это моя прихоть. Если бы я не разглядывал нахально герцогинь, выводя их из терпения, и не кивал принцу через плечо, я был бы забыт через неделю: и если мир настолько глуп, что восторгается моими нелепостями, вы и я можем быть разумнее, но какое это имеет значение? (Цит. по Lemaire, 1978, 9)

Россияне обратились к имиджу денди и дендизму именно как к альтернативному взгляду, критикующему эстетику и доминировавшие ценности советского времени, характеризующиеся героическим эталоном мужественности. Непременное для денди отщепенство является организующим принципом журнала *Дантес*, названного именем человека, убившего на дуэли Пушкина. Первый номер появился в 1999 г., во время празднования двухсотлетнего юбилея поэта, что само по себе представляется прекрасным примером сформулированного Тердиманом понятия о контрмнении.

Кондратович в своей статье «*Поэт и денди*» демонстрирует, как дендизм может быть использован для развенчания героического мифа о Пушкине. Эссе начинается с упоминания постструктуралистской идеи о том, что личность (или понятие) формируется как результат различий, и, следуя этой логике, образ Пушкина-героя есть результат иерархической бинарной оппозиции Пушкин/Дантес. Пушкин превращается в героя — «наше все» — или, словами Кондратовича, в «культурный фетиш», будучи определяемым как противоположность Дантесу — отрицательному герою, являющемуся среди прочего фривольным, бесплодным, чужеземцем, денди, повесой и гомосексуалистом. Тот факт, что некоторые из этих негативных определений противоречат друг другу — повеса и гомосексуалист, например, — только лишний раз убеждает в том, что Дантес в русской, и особенно советской, культуре не представляет собой конкретное историческое лицо, а служит набором отрицательных стереотипов. Благодаря оппозиции Пушкин/Дантес, Пушкин, который обладал многими из черт, традиционно приписываемых Дантесу (он был бесспорно большим денди и был прозван в лице «французом» за свое предпочтение французского языка), может оставаться серьезным, трагическим русским национальным героем. Кондратович объясняет:

Пушкину в этой пьесе отводится главная роль, Дантесу, соответственно, прямо противоположная: «нашему всему» противостоит «наше ничто» (или даже, если учесть иностранное происхождение Дантеса, «не наше ничто»). Однако ничтожность этого «ничто» далеко не столь очевидна, как кажется на первый взгляд, хотя бы потому, что Дантес,

выражаясь постструктуралистским языком, выполняет при поэте роль Другого, благодаря которому это Все не теряется окончательно в окружающем ландшафте, а обретает свои дифференциальные признаки. (Кондратович, 1999, 34)

Переосмысливая роль Дантеса, мы тем самым оспариваем верность оппозиции Пушкин/Дантес, которая делает из Пушкина трагического национального героя:

Я даже рискну предложить, что в душе они даже слегка сочувствуют Дантесу и, хотя никогда не признаются в этом вслух, видимо, были бы не прочь, чтобы тот, подобно мессии, на мгновение вернулся и избавил их от надоедливой поэты. (Кондратович, 1999, 36)

Когда Пушкин рассматривается вне бинарной оппозиции Пушкин/Дантес, то внутренне последовательная, установившаяся индивидуальность, созданная этой оппозицией, разрушается. Этот отказ «приковать» Пушкина к месту национального героя делается еще более явным в журнале *Дантес* при помощи замечаний пушкинских современников, помещенных наверху каждой страницы. Эти комментарии зачастую выставляют Пушкина в далеко не героическом свете, упоминая такие его качества, как любовь к непристойностям, физическая непривлекательность и нередко ребяческое поведение. Однако истинный смысл сопоставления положительных и отрицательных свидетельств — ибо существуют и те и другие — видится в проблематичности создания единого последовательного Пушкина, что является необходимым для канонизации любого традиционного национального героя. Возникновение множества альтернативных Пушкиных — неизбежное следствие.

Михаил Сидлин в статье, озаглавленной «*Мой Дантес*», высказывает предположение, что героическая, квазисакральная позиция, занимаемая Пушкиным в русском обществе, отводит ему место Отца в эдиповом комплексе Фрейда:

Любить Пушкина — консерватором быть. Любить Дантеса — модернистом стать... «Сбросить Пушкина с корабля» — убить Отца: откинуть сладкие оковы традиции, *douces chaînes*. А полюбить Дантеса — значит стать новатором, Эдипом, лже-Мессией. (Сидлин, 1999, 33)¹⁰

¹⁰ Сидлин, однако, предостерегает своих читателей от простого «переворачивания» оппозиции, говоря о необходимости убить в себе Пушкина точно так же, как и Дантеса. Очевидно, Сидлин имеет в виду известный буддийский афоризм: если увидишь на дороге Будду — убей его.

Авторы публикаций в *Дантесе* пытаются вообразить культурный ландшафт, не основанный на героическом эталоне мужественности и «священном» мифе о Пушкине. Дантес реабилитирован, не становясь культурным кумиром, в то время как Пушкин теряет свой статус «идола и культурного фетиша» (Кондратович, 1999, 35). Иллюстрация на обложке журнала — Дантес в роли Давида, держащий голову Пушкина, играющего роль Голиафа, — указывает на то, что основной темой журнала является не исторический Пушкин как реально существовавшая личность, а Пушкин в истории, то есть его статус (как) иконы и культурного кумира. Не случайно Дантес изображен держащим не настоящую голову Пушкина, а бронзовую личину поэта. Алексей Марков в короткой работе «Диалог о Дантесе» доказывает, что мифический Пушкин был создан практически сразу по смерти поэта. Он цитирует письмо Жуковского к отцу Пушкина, в котором смерть его сына описывается как событие в национальной истории: «Уже создается образ “отца национальной литературы”, важнейшей фигуры национального пантеона. Все события его жизни политически существенны. И этот критерий подавляет остальные. Он — определяющий» (Марков, 1999, 54). В таком случае Дантес убивает исторического Пушкина и порождает поэта — национального героя. Марков, однако, предостерегает: «Легко впасть в ошибку, приняв буржуазную и советскую национальность за “национальное” Жуковского. Однако археология прослеживается» (Марков, 1999, 54). Подобно Кондратовичу (и его пониманию радикального денди), Марков конструирует противопоставление пушкинского мира и буржуазных (и советских как им подобных) ценностей и норм.

Степень, в которой пушкинский канонический статус представлен нормативным пониманием мужественности, делается очевидной, если обратить внимание на тот факт, что многие альтернативные образы Пушкина, представленные в журнале *Дантес*, так или иначе включают в себя гомосексуальность. Таким образом, если традиционный кумир является следствием и отражением господствующего эталона нормативной мужественности, то любое покушение на его героический статус или, точнее, на само понятие героического, каким оно было сформулировано в советский период, должно «развязать руки» альтернативным формам мужественности, прежде бывшим «на задворках» общепринятого и дозволенного. Гомосексуальность — так же как и близкая к ней тема дендизма — служит дискредитации «естественной» связи между героизмом и нормативной мужественностью, которая пред-

ставляет мужественность как непременно героическую, героизм как непременно мужественный, а оба качества как обязательные для того, чтобы войти в историю.

Тема гомосексуальности освещается в журнале «Дантес» неоднозначно. В то время как некоторые из авторов предполагают, что Пушкин сам был гомосексуалистом или бисексуалом¹¹, другие используют гомосексуализм как художественный прием для шокирования адептов пушкинского культа¹², а третьи ограничиваются простым указанием на присутствие гомосексуальности и гомосексуального поведения среди пушкинских современников¹³.

Проблема гомосексуальности, поднимаемая в вышеупомянутом журнале, а также в беллетристике и в серьезных исследованиях, разрушает прежде обязательную ассоциацию нормативной мужественности и героизма (пушкинский канонический статус) разными способами. Такие работы, как статья Могутина, подчеркивают иконоборческую силу секса вообще и нетрадиционного секса в частности; тогда как авторы, подобные Кирсанову, предполагают, что Пушкин обитал в альтернативной сексуальной области — там, где еще не успели укорениться буржуазные взгляды нормативной сексуальности. По словам Маркова в его «Диалоге о Дантесе»: «Судя по дневнику приятеля Пушкина А. Н. Вульфа, отношения полов в высшем свете далеки от буржуазных норм рубежа XIX—XX веков» (Марков, 1999, 52). Как и другие авторы *Дантеса*, Марков говорит о существовании прямой зависимости между буржуазными (и советскими) сексуальными нормами и пушкинским статусом национального героя.

Демистификация эталона мужественности

Юрий Мамин подверг сомнению эту связь между сексуальностью — и в частности, нормативной мужественностью — и героизмом уже в 1990 г. в своем фильме «*Бакенбарды*». Фактически этот фильм может расцениваться как радикальный подход к теме, так как Мамин позволяет себе усомниться в единстве мужественности и мужского начала, каковое лежит в самом основании буржуазных и советских сексуальных норм. Демонстрируя этот разрыв между мужским и

¹¹ И. А. Пышнер, «Несколько штрихов к истинной биографии поэта».

¹² Я. Могутин, «Черный хуй Пушкина».

¹³ В. Кирсанов, «“Голубое” окружение Пушкина».

мужественным, Мамин тем самым предполагает, что мужественность принадлежит не мужскому телу, а культуре и, следовательно, вместо того чтобы являться неотъемлемым атрибутом «самца», становится ролью для исполнения.

Действие фильма происходит в городе Заборске в самый разгар «перестройки» — в 1989 г., и город находится в состоянии хаоса. Начатые Горбачевым послабления — появившаяся внезапно свобода слова и форм, в которых оно может быть преподнесено, — пошатнули устои советской морали и пиетета. В Заборске это вылилось в карнавалы и практически дебош «неформального молодежного объединения» (перестроечный термин, сейчас почти забытый) под названием «*Капелла*». Население города, разумеется, возмущено и шокировано выходками этой группы. В этот момент появляется пара молодых людей, Саша и Виктор, выглядящих как денди, которые клянутся очистить город от «*Капеллы*» и восстановить порядок именем Пушкина. То, что борьба за власть в Заборске не останется чуждой героическому канону мужественности, становится понятно уже по титрам, идущим на фоне барельефов с изображениями римских героев и баталлий. Противоречие, заложенное в этом фильме, обнаруживает себя уже с первых его кадров: какое отношение имеют декламирующие стихи денди к классическим воинственным фигурам на барельефах, или, другими словами, что важнее в человеке: природное естество или культура? И куда следует отнести мужественность?

Журналист (которого играет сам Мамин), приехавший снимать репортаж о событиях в Заборске, начинает его такими словами: «Древний Заборск — это город контрастов». Выражение «город контрастов» в советское время превратилось в клише для обозначения той пропасти, которая разделяет в капиталистическом обществе бедных и богатых. Современный Заборск, однако, действительно становится городом контрастов, раздираемым между «*Капеллой*» под предводительством Херца (прозвище неслучайное: он и в самом деле весьма напоминает Петра Первого) и «бакенами»¹⁴, чьи основатели Виктор и Саша, в свою очередь, одеваются под Пушкина в стиле денди. По своему прибытию в Заборск Саша и Виктор своими костюмами, тростями и бакенбардами вызывают насмешки «*Капеллы*»: «Какие пуделя к нам канают!» Однако внешняя элегантность и женоподобность этих «пуделей» быстро

¹⁴ «Бакены» получили такое прозвище за носимые ими длинные бакенбарды в стиле Пушкина.

оказываются лишь маской в сравнении с твердостью и жестокостью их действий. Их дендизм — еще одно важное противоречие в фильме — отнюдь не является признаком отчужденности, оригинальности и отличия от окружающих; он быстро становится символом нормативности. А костюм XIX в. превращается в униформу.

Несоответствие между оригинальностью и подчиненностью или между индивидуальным самовыражением и нормативным поведением звучит в ответе Виктора дяде Паше: «Я исключительно нормальный человек!» Сама по себе формулировка уже интересна, так как поначалу звучит как оксюморон (исключение/норма), но по мере того как «бакены» утверждаются в городе, может пониматься как намек на изначальный акт исключения, лежащий в основе любого определения нормативности¹⁵. Другими словами, нормальность — это категория, определяемая своим противопоставлением аномальности. Следовательно, в определении и утверждении характеристик мужественности не может быть одного решающего действия исключения; они должны «проигрываться» бесконечно, вновь и вновь противопоставляя себя исключаемому Другому.

Виктор возвращается к теме исключения, изгнания во время своей прогулки по Заборску. Стоя перед храмом Святой Софии, он восклицает: «Гнал Божий Сын из этих храмов шлюх, торгашей и прочих хамов!» (Саша при этом комментирует своему другу Штырю: «Пушкин. Из ненаписанного».) Виктор представляет своей задачей ритуальное очищение русского общества, своего рода изгнание менял из храма — в частности, порочных женщин¹⁶. Практически все упоминания Сашей или Виктором «Капеллы» так или иначе касаются нечистоты, мерзости, присущих членам последней. Далее по фильму Виктор и Саша показаны в своих белых одеяниях сидящими за кустами. Они поддерживают весьма продолжительную беседу о необходимости смирять потребности тела. Когда они встают, становится ясным, что они испражнялись за беседой — акт символический для темы исключения.

В то время как действия членов «Капеллы» неизменно связаны с сексуальной активностью (они проносят огромный презерватив с надписью «Долой СПИД» во время одного из своих шествий, организуют похороны невинности одной из участниц), клуб АСП

¹⁵ Аспект исключительности денди подчеркивается Барбэ Д'Оревилли, когда он определяет его сущность где-то между оригинальностью и эксцентричностью (D'Aurevilly, 1926—1927, 250).

¹⁶ Интересное обсуждение образа женщины и тела в фашистской психологии см. у Клауса Тевеляйта (Theweleit, 1987).

(Александр Сергеевич Пушкин) ставит своей задачей очищение. Возможно, это не случайно, что «бивни», переделанные Виктором и Сашей в «бакенов», до своего «перерождения» собирались именно в заброшенном общественном туалете. Как символическое действие, испражнение (то есть исключение отходов) разделяет мир на чистый и нечистый, в то время как сексуальные оргии «*Капель*», чьим основным действием является акт включения (или/или) — что следует и из носимых с собою членами «*Капель*» игрушечных пенисов, — предполагают соединение себя и другого.

Психологический образ «бакенов», основанный на бинарной оппозиции чистый/нечистый и акте исключения, создающем эту оппозицию, подразумевает и определенный тип мужественности. Для них таковым является гипермужественность, понимаемая в оппозиции к традиционному, домашнему варианту женственности, который, в свою очередь, определяется своим противопоставлением «нечистому» имиджу женщины. Девушки «*Капель*», например, названы шлюхами, тогда как девушки, работающие в ателье по изготовлению пушкинских сувениров под руководством дяди Паши, одеты опрятнейшим образом в черные юбки и белые блузки. При входе Виктора, который обращается к ним не иначе, как «сударыни», они делают реверанс.

Мужское и женское рассматриваются пушкинцами как взаимоисключающие понятия. Никакое смешение, а с точки зрения Виктора, и никакой контакт между полами невозможны. В определенный момент Виктор предупреждает Сашу о необходимости контролировать свое «проклятое либидо» (произнося это слово с ошибкой: «лебеда»), объясняя, что их сила и мужская энергия тратятся впустую на женщин. Эта мысль не нова и является звеном в длинной логической цепочке, где мужской героизм считается результатом отношений исключительно между мужчинами, а женоподобность — результатом чрезмерных сексуальных контактов с женщинами. Иными словами, мужчина — это настоящий мужчина только в окружении других настоящих мужчин. Давид Гальперин объясняет:

В культуре европейской военной элиты, во всяком случае от Древнего мира и вплоть до Ренессанса, нормативная мужественность зачастую подразумевала суровость, подавление аппетита и преодоление влечения к удовольствиям. Мужчина обнаруживал свой истинный характер на войне, по крайней мере, так считалось или, в более общем смысле, в борьбе с другими мужчинами за признание — в политике, в делах и других предприятиях, включающих в себя элемент соперни-

чества. Те же мужчины, которые отказывались принять участие в борьбе и покидали мужское соперничающее общество ради женского любовного, — эти мужчины олицетворяли собой классический стереотип женоподобности. (Halperin, 2000, 93)

Мамин уже в самом начале своего фильма указывает на эксклюзивную сущность такой героической мужественности, помещая титры на фоне барельефов с изображением римских солдат. Эта же мысль, возможно, стоит за фразой Виктора, обращенной к Саше: «В той или иной степени, все мы онанисты». Нужно также заметить, что эксклюзивность связывает понятие Виктора о героической мужественности с тем же понятием в советской культуре. В фильме Сашина тетя раздраженно говорит о своем муже-скульпторе: «Зачем ему голые бабы, если он Ленина лепит всю жизнь?!», имея в виду все ту же мужскую исключительность. Именно этот идеал эксклюзивной мужественности, «очищенной» от удовольствия, делающего пол «слабым», принимается пушкинцами из советского канона, в конце концов позволяя им просто присвоить советские статуи и ритуалы.

Гипермужественность пушкинцев только усиливается с принятием в их ряды «бивней». Эта неофашистская по своему духу группа направлена пушкинцами контролировать «*Kanellu*» и восстановить порядок в Заборске. В начале фильма «бивни» — только юноши — показаны в бывшем общественном туалете, где они поднимают тяжести. Полуодетые, играющие своими мускулами «бивни» представляют модель мужественности, «естественную» для мужчины: они символизируют единение культурно-социальных и биологических признаков пола. В самом деле, общественный туалет уже сам по себе является важным социальным «институтом», служащим той же цели, так как люди там неизбежно подразделяются на мужчин и женщин. Как говорит Джудит Халберштам в своем обсуждении «туалетной» проблемы, возникающей у мужественных женщин: «главное правило половой принадлежности [заключается в том, что] она должна быть определяема с полу-взгляда» (Halberstam, 1998, 23). Пол во всех смыслах должен быть «читаем» по телу. Далее Халберштам использует понятие Лакана о «мочевой сегрегации» для объяснения:

Лакан употреблял этот термин для описания отношений между сущностью и ее обозначением, в конечном счете используя простую схему туалетных надписей «мужской» и «женский», чтобы показать, что при определении сексуального различия первенство отдается означа-

ющему, а не означаемому; проще говоря, название скорее присваивает, чем отражает значение. Подобным же образом система мочевого сегрегации определяет само функционирование категорий «мужчины» и «женщины». Хотя туалетные надписи, казалось бы, отражают и утверждают уже существующие различия, на самом деле сами означающие создают понятия внутри этих уже сформулированных категорий. (Halberstam, 1998, 25)

Если согласиться с тем, что общественные туалеты являются местом, где культурные и биологические критерии пола совпадают, то кажется не случайным то, что Саша и Виктор, чтобы убедить «бивней» стать пушкинцами, приходят на их место встреч — в бывший туалет. Правда, они там долго не задерживаются. Они выводят «бивней» во двор, что в контексте фильма может рассматриваться как символический переход от «естественного» биологического определения пола к культурному. Виктор предлагает продемонстрировать «бивням» свое умение драться и легко побеждает их при помощи, возможно, наиболее известного атрибута денди — трости. «Это, — говорит Виктор, — не только изящная штука, но и великолепное оружие».

Решительное превосходство Виктора склоняет «бивней» последовать его призывам, и они постепенно превращаются в нечто весьма напоминающее вышколенных овчарок. Их тела скрываются под костюмами денди, и трость быстро превращается в их основное оружие — вместо голых рук. Фаллический символ (трость) заменяет фаллос (реальные тела «бивней»). Их мужественность более не заключена в физическом теле, она «переместилась» в одежду и аксессуары; она более не проявляется как *sui generis*, но как «протезная реальность» (Bhabha, 1995, 57).

Это перемещение в некотором роде делает неестественной связь мужского и мужественного и, в более общем смысле, между природой и культурой. Подобным же образом Саша говорит «бивням» во время своего первого «наставления», что их мозги были выхолены: образ символической кастрации, вызываемый такой формулировкой, снова позволяет проследить движение от тела к сознанию, от природы к культуре или, пользуясь терминами Лакана, из области воображаемого в область символического. Когда «бакены» накалывают себе пушкинские профили, разрыв между природой и культурой кажется полным; фактически их тела более не принадлежат природе, они превращены в культурные тексты.

Как только мужское и мужественное оказываются разделены, мужественность становится доступна для «исполнения», она более

не является собственностью исключительно мужчин в биологическом смысле этого слова. В фильме этот вопрос поднимается Вaley, или Валькирией, единственной женщиной среди «бивней». Виктор во время своей демонстрации возможностей трости как оружия пропускает Вaлю, хотя она и одета под мужчину, ничем не отличаясь внешне от остальных «бивней». Она также следует за Виктором и наравне со всеми становится одной из «бакенов». Однако присутствие этой мужеподобной женщины — это не просто очередное пополнение рядов, так как оно является указанием на радикальный характер мужественности как исполняемой роли, в противоположность эталону, утверждаемому по биологическим признакам.

Мамин развивает эту же мысль, замечая, что гипермужественность точно так же может быть ролью для «самцов», в замечательной сцене, происходящей во время переодевания пушкинцев. В этой сцене «бакены» снова находятся в туалете, на этот раз отремонтированного ими дома, который они отобрали у «Капель». Один из пушкинцев, одеваясь перед зеркалом, как актер в примерной, приклеивает к щекам пучки набивки из стула, дабы его от природы редкие бакенбарды выглядели *comme il faut*. Остальные, глядя на него, проделывают тот же трюк. В этот момент бакенбарды перестают быть метонимическим *признаком* мужчины, они превращаются в *символ* мужественности. То, что изначально подтверждало присутствие мужского начала (андрогенного гормона или, скажем, добавочной половой хромосомы), теперь оказывается всего лишь придатком к физиологии. Фальшивые бакенбарды скрывают замеченный недостаток.

Виктор одобрительно оглядывает весь этот маскарад и замечает: «Как говорил Пушкин, быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». Это утверждение поэта лишний раз указывает на то, как денди ставит под сомнение или видоизменяет традиционные понятия о мужественности, смешивая черты, которые впоследствии будут рассматриваться как взаимоисключающие: либо мужские (дело), либо женские (красота). Сцена, однако, на этом не заканчивается. На этот раз Валя спрашивает Виктора, может ли и она носить фальшивые бакенбарды. На смех остальных она возражает: «Че ржете, как кудри, между прочим!» Несмотря на кажущуюся абсурдность, ее вопрос только подчеркивает тот факт, что бакенбарды стали частью актерского реквизита, необходимого для представления мужественности, в течение фильма все более становящейся похожей на насилие.

Сама того не желая, Валя явилась причиной того, что Джудит Батлер называет «затруднение в определении пола», возникающее «через мобилизацию, губительное смешение и культивирование именно тех основополагающих категорий, которые призваны закрепить различие полов, выступая в качестве образов, лежащих в основе наших представлений о себе» (Butler, 1999, 44). В фильме исполнительская сущность различия полов опять прослеживается в сцене, когда Валя с распущенными волосами, в юбке и блузке, встречается с журналистом, написавшим резко отрицательную статью о пушкинцах. Ее женственный внешний вид оказывается на деле чем-то вроде маскировки, представлением. Она использует ее, чтобы заманить журналиста в боковую улицу, где другие пушкинцы, сев в его машину якобы для разговора, поставят ему на шею клеймо — профиль Пушкина.

Пол, однако, вовсе не единственный аспект личности, возможный для исполнения. Пушкинцы видоизменяют и понятие национальной принадлежности, определяя русского по культуре, а не по происхождению¹⁷. Один из бывших «бивней», а ныне пушкинец замечает Виктору, что не все среди них русские, имея в виду определенного человека по фамилии Файнштейн. Виктор, однако, не согласен с таким определением национальности и объясняет, что если Файнштейн любит Пушкина и русскую культуру, то он русский. Доказательством является то, что в отличие от русского спрашивающего, у еврея Файнштейна в школе было пять по русскому, он в состоянии перечислить особ династии Романовых и цитирует Пушкина по памяти. «А то, что он Файнштейн, — говорит Виктор, — это не вина его, а беда». Таким образом, русского, как и мужчину, можно «сыграть». Нужно заметить, что обе эти темы объединяются в сцене, когда опять же один из бывших «бивней» говорит Файнштейну, глядя на его бакенбарды: «Вам хорошо, у вас все лучше растет».

Если пол не зафиксирован в теле, а исполняем, то пушкинцы имеют нечто общее со своим заклятым врагом «*Капеллой*», чьи костюмы и парады всегда были рассчитаны на представление. Действительно, Мамин несколько раз подчеркивает в своем фильме общие черты обеих групп. В начале фильма, например, началь-

¹⁷ Национальность и пол обладают общей аурой «естественности», которая некоторым образом их объединяет. Как пишет Бенедикт Андерсон в «*Imagined Communities*» (Воображаемые общины), «в современном мире каждый может, должен был бы и будет “иметь” национальность, так же как он или она “имеет” пол» (Anderson, 1991, 14).

ник отделения милиции, куда забрали «*Kanelly*» после очередной выходки, просит старшину выгнать «обезьянник этот». Можно вспомнить, что Пушкин в одном из своих ранних стихотворений «*Mon portrait*» (Мой портрет) описывает себя как обезьяну¹⁸. Более того, ассоциация «*Kanelly*» с западными влияниями, а пушкинцев — с русофильством тоже оказывается не до конца верной, так как Саша и Виктор испытывают слабость к иностранным выражениям. Например, когда Саша встречает свою двоюродную сестру Лену на «тусовке» «*Kanelly*», она представляет его как Шуру, «братишку двоюродного». Сам же Саша поправляет своего приятеля Штыря:

- Ты ж ей родственник.
- Кузен!

Виктор и Саша стараются блеснуть иностранным словечком или фразой везде, вставляя в свою речь: *comme il faut*, резон, гегемон, блюз, кузен и тому подобное.

На протяжении практически всего фильма то, что больше всего отличает «*Kanelly*» от пушкинцев, — это стиль исполнения: в виде дионисий и оргий у «*Kanelly*», четко организованный и «оркестрованный» — у пушкинцев. Становится ясно, что целью «бакенов» является зафиксировать, утвердить свой эталон поведения — задача практически невыполнимая. Возможно, подозревая это, Виктор кричит на пушкинских торжествах: «Мы заставим любить Александра Сергеевича!» В действительности к концу фильма пушкинцы сами делают то, что Виктор так яростно проклинал в начале. Они организуют ярмарку, на которой торгуют откровенным китчем в виде пушкинских сувениров и «культовых» принадлежностей и где за ларьками висит плакат с изображением головы Пушкина на мускулистом теле культуриста. Этот плакат напоминает другой почти такой же, только с головой Ленина, показанный в начале фильма висящим в комнате Лены рядом с журнальной картинкой модели с вырезанной и прикрепленной к ней фотографией головы самой Лены. Но если плакат в Лениной комнате — это насмешка над священным статусом Ленина в советском обществе, то плакат Пушкина на ярмарке — это демонстрация победы пушкинцев и установления ими пушкинского культа. Считая себя частью правящей элиты Заборска, Виктор создает целую мифоло-

¹⁸ Пушкин пишет о себе в стихотворении «*Mon portrait*»: «*Vrai singe par sa mine*» (истинная обезьяна лицом) (Пушкин, 1959, 266).

гию, пытаясь сделать естественными отношения между культурой и природой, биологическими и социально-культурными признаками пола — желание, нашедшее свое лучшее отражение в абсурдности водружения головы Пушкина на тело культуриста. Другими словами, он стремится исключить всякую возможность альтернативных проявлений русофильства и восстановить единство культуры и естества, то есть борется против того, что было залогом успеха его диктаторства.

Построенный пушкинцами «порядок» в конце концов разваливается, так как они оказываются не в состоянии сдерживать появление других точек зрения в Заборске. Приехав на торжества в Пушкинские Горы, они сталкиваются с себе подобной группой под названием «*Мицери*», одетой в мундиры а-ля Лермонтов. В результате короткой драки пушкинцы побеждают и сталкивают соперников в реку. Если связь между культурой и естеством ненадежна, то никакой контроль над возникновением все новых культурных индивидуальностей невозможен. Понимание этого было присуще «*Капелле*» и всеми силами подавлялось «бакенами». В конце фильма пушкинцы дают волю своей столь долго сдерживаемой похоти и даже Виктор показан занимающимся любовью в своем агитпоезде.

Городские власти делают из пушкинцев козлов отпущения, списывая на них все грехи. В самый разгар разнузданного веселья агитпоезд останавливают и пушкинцам силой сбивают их бакенбарды под охраной солдат с собаками. Сцена напоминает символическую кастрацию, после которой Виктор бьется на земле в истерическом припадке. Представитель властей «по работе с молодежью», руководящий всем происходящим, называет Виктора «бабой» и объясняет, что «все только начинается». В своем последнем семиотическом преобразовании бакенбарды оказываются не только символом мужественности, но — как и у Самсона — тем, где эта мужественность заключена, ее фетишем. Без них Виктор превращается в «бабу».

Фильм заканчивается перевоплощением пушкинцев. В финальной сцене они проходят по Заборску, одетые в стиле Маяковского, скандируя его революционные строфы. Это перевоплощение в «маяковцев» тем более иронично, что именно Маяковский в свое время предлагал от имени футуристов «сбросить старых великих с парохода современности». Интересно заметить, что Виктор и Саша прибывают в начале фильма в Заборск именно на пароходе. Действие оказывается равным противодействию, и прин-

ципы, во имя которых предлагается «очистить» умы и души в начале, к концу фильма превращаются в свою противоположность.

Дендизм и гомосексуальность

Попытка создать устойчивую, «героическую» группу вокруг фигуры денди, как это доказывает фильм Мамина, обречена на провал. Поскольку скептицизм и ирония денди неизбежно обращены к исполнительской сущности любой взятой на себя «личины», они неизбежно подрывают самые основы героически понимаемой мужественности. Возможно, именно этим объясняется популярность денди в постсоветский период, после того, как нормативный советский канон перестал существовать. Идеологический вакуум этого времени является идеальным для возникновения и представления новых образов, весьма свободно использующих культурное наследие прошлого как театральные реквизиты. *«Другой Петербург»* Кости Ротикова — один из многих примеров. Его обращение к теме денди не настолько явно, как в журнале *Дантес*¹⁹ или в фильме Мамина, но она все же упоминается, и в связи со сходным комплексом вопросов.

Изданный в 1998 г., *«Другой Петербург»* является своего рода гомосексуальной историей столицы, с момента ее основания в 1703 г. и до наших дней. Однако это ни в коей мере не общепринятая история. Автор издал свою книгу под псевдонимом — Костя Ротиков, — который немедленно ассоциируется с действующим лицом — гомосексуалистом, напоминающим денди, — *«Козлиной песни»* Константина Вагинова. Инициалы «К. Р.» и выбранное автором отчество «Константинович» похоже на завуалированный намек на великого князя Константина Константиновича Романова, друга Чайковского, поэта Серебряного века и гомосексуалиста. Сама книга, и по форме, и по своему витиеватому стилю, является пародией на *«Старый Петербург»* — fin-de-siecle путеводитель по Санкт-Петербургу Михаила Плетняева. В предисловии Ротиков даже называет свою книгу «эстетической игрой». История, написанная Ротиковым, уникальна тем, что она не только прослеживает определенную социальную категорию во времени,

¹⁹ Нужно заметить, что в первом выпуске журнала *Дантес* была опубликована статья Ротикова *«Из жизни писателей»*, в которой автор также не высказывает большого уважения к официальным героическим образам «каноническим» русских писателей, обсуждая размеры их гениталий.

но и играет эту роль — роль, чьей сущностью являются, по мнению автора, пародия, ирония и насмешка.

Радикализм ротиковского «глубокого дендизма» замечен по реакции, вызванной его книгой. Татьяна Толстая одобрительно отзывается о книге в *Московских новостях*:

Давно не приходилось читать такой увлекательной, информативной и блестящей книги... Забытый в наше малокультурное время блеск изложения, артистическое обжорство, мистификации. Маски, танцующий язык, сплошное эротическое бланманже. (Толстая, 1998, 24)

В некотором смысле это странная похвала для истории: изложение, озорство, мистификация, маски. Однако Толстая очень верно замечает комедиантство в ротиковском исполнении «гомосексуальности», комедиантство в полном соответствии с традицией дендизма: «Дендизм, это не что иное, как стиль жизни, создаваемый исключительно своей видимой материальной стороной. Это стиль жизни, полностью состоящий из нюансов» (D'Aureville, 1926—1927, 229).

Рецензент *Нового мира* Михаил Золотонос, с другой стороны, осудил в весьма резких выражениях подход Ротикова как «глубокое краеведение»:

никакой гомосексуальной литературы, ни художественной, ни краеведческой, ни любой другой, нет и быть не может... для конституирования какой-то особенной литературной формы у авторов-гомосексуалистов просто нет средств. (Золотонос, 1999, 187)

Золотонос, по-видимому, хочет этим доказать — в несколько тавтологической манере, — что уникальность личности достигается уникальностью средств, которыми эта личность себя выражает. В любом случае, используя теорию полифонического романа Михаила Бахтина, возможно заметить, что не средства сами по себе составляют и утверждают образ, а скорее тот метод, следуя которому, эти средства употреблены. Ирония, пародия и мистификация при создании исторического или фольклорного произведения ставят под сомнение или даже разрушают саму идею единства личности или понятия, на которой обычно основывается и строится подобная работа. Нелепо было бы предполагать, что существуют «специальные» художественные средства и формы для «гомосексуальной» литературы или что «специальная» сексуальная направленность необходима для трактовки тем, связанных с гомосексуализмом. Гомосексуальность — это, скорее, исполнение

роли путем использования уже существующих приемов и форм. То же самое, разумеется, можно сказать и о денди, чья оригинальность и исключительность выражают себя при помощи манипуляций — в стилях и предпочтениях — уже известными способами (манеры и остроумие, например).

«Ротиковская» история этого «другого» типа сексуальности — наравне с журналом *Дантес* и фильмом «*Бакенбарды*» — подчеркивает, что основная особенность нормативной мужественности состоит не в какой-то определенной черте (или наборе черт), а скорее в самой *концепции* цельной личности как понятия основополагающего, зафиксированного, утвердившегося раз и навсегда. Такой канон выражается единственно возможным способом с использованием единственно возможных средств: «наибольший самец». Используя для создания своего образа иронию, пародию, мистификации и скептицизм, денди не только создает альтернативу общепринятому эталону, но и предоставляет этой альтернативе право на существование, создает прецедент. Возможно, подобные представления о мужественности, резко отличающиеся от советского героического канона, поставят со временем под сомнение как саму логику «от противного», которая создала этот канон, так и единство мужского и мужественного, которое такая логика предполагает.

Елена Омельченко

«НЕ ЛЮБИМ МЫ ГЕЕВ...»: ГОМОФОБИЯ ПРОВИНЦИАЛЬ- НОЙ МОЛОДЕЖИ

В жизни бывают моменты, когда, чтобы продолжать смотреть или размышлять, нельзя обойтись без вопроса: можно ли мыслить иначе, чем мыслишь, и воспринимать иначе, чем видишь?

Мишель Фуко (1996, 278)

Объяснение причин и обстоятельств моего обращения к проблеме молодежной сексуальности, в данном случае — к вопросу об источниках и проявлениях гомофобии¹, можно изложить по-разному. Можно написать, что я давно занимаюсь современными молодежными культурами, что в течение последних трех лет пытаюсь исследовать преимущественно гендерные аспекты культурных молодежных практик, что меня волнует не только низкий уровень толерантности молодых людей в их оценке «других», но и подчас излишне акцентированная и преувеличенная фобия «гомофобии», наконец, что у меня растет сын, в переживания которого я ежедневно включена. Но я скажу честно — мне просто невероятно интересно этим заниматься².

¹ Гомофобия — (греч. homophobia, мед.) — необъяснимая ненависть к гомосексуалистам. Часто является неосознанным противодействием собственным скрытым гомосексуальным фантазиям и тенденциям (Прокопенко, 1999).

² Этот интерес спровоцирован и профессиональным общением. Группа коллег — друзей и единомышленников, сформировавшаяся вокруг гендерных проектов, которые мы реализуем в течение последних лет, помогла не только сориентироваться в проблематике, но и разобраться в собственных предубеждениях. Что касается именно этой статьи, то я хочу сказать спасибо Светлане Ярошенко за незаменимые советы, помощь и поддержку.

Интересно понять, насколько действительно важно для мальчика, подростка, молодого мужчины определиться по отношению к этой проблеме, насколько часто, когда и в каких ситуациях сами они задаются подобными вопросами? Можно ли спокойно жить с этой непонятностью? Ведь для молодежи не менее актуальны и другие проблемы: выбор пути и жизненной стратегии, конформной или нонконформной позиции, критериев успеха и т.д. Значимость подобных вопросов должна по идее актуализироваться в особых обстоятельствах столкновения (реального, мнимого или виртуального) с «живыми» гомо-историями. Другое дело, что в современной ситуации дискурс «гомосексуальности» стал практически общим местом. Об «этом» открыто говорят, спорят, наблюдают. Однако остается вопрос: изменилось ли что-то в палитре отношений к этим «другим»? Насколько актуальны сегодня эти вопросы для самоопределения и самоидентификации современных молодых людей?

Почему среди разнообразных феноменов молодежной сексуальности я выбрала именно гомофобию? Вероятно, потому, что это, на мой взгляд, один из немногих «мостиков», на котором активно встречаются «натуралы»³ с «ненатуралами». Эту встречу отличает явно выраженный взаимный интерес к проявлениям взаимных — *разных* — реакций друг друга.

В фокусе этой статьи будут в основном вопросы о том, кто или что, скользя по каким каналам, используя какие властные ресурсы, опираясь на какой опыт участвует в конструировании системы страхов вокруг «других» сексуальностей? Кому в наибольшей степени эти страхи присущи? И, наконец, насколько эта проблема актуальна для современных российских подростков? Ведь вполне может оказаться, и об этом говорят и пишут не только академики, СМИ, но и сами молодые люди, что проблематизация характера взаимоотношений между гетеросексуальным большинством и гомосексуальным меньшинством носит подчас искусственный характер.

³ Я использую эти понятия не случайно. «Натуралы» и «ненатуралы», являясь скорее субкультурными, а не академическими терминами, в данном контексте больше всего, на мой взгляд, подходят для предварительного очерчивания пространств, занимаемых людьми с более или менее выраженной (определенной) сексуальной ориентацией. Имея при этом в виду, что и то и другое понятие охватывает собой некий континуум, в котором предполагаются многочисленные варианты. Некоторые из них вообще не попадают ни в те, ни в другие, как, например, латентные гомосексуалисты, бисексуалы или имитаторы.

Правило исключения

При анализе подростковой гомосексуальности, как и при оценке взрослой гомосексуальности, важно учитывать несколько обстоятельств. *Во-первых*, вряд ли корректно использовать понятие «гомосексуальность» в единственном числе. Гомосексуальность, как и гетеросексуальность, является скорее неким континуумом различных групповых и индивидуальных вариаций, что, пожалуй, в наибольшей степени может быть отнесено к оценке молодежных практик (Гидденс, 1999, 184; Plummer, 1975; Кон, 1998, 370). *Во-вторых*, гомосексуализм и лесбиянство — сравнительно новая сфера в изучении подростковой сексуальности, и если про взрослые «сексуальные инновационные практики» начали говорить и писать достаточно открыто, то молодежные (подростковые) все еще остаются малоизученными. *В-третьих*, отношение к подростковой гомосексуальности (в ее различных формах) меняется по мере изменения в целом дискурса «сексуальности»: от мифов и стигматизации — к пониманию, поддержке и признанию. Самым значительным достижением следует признать постепенное выведение понятия «гомосексуальности» за рамки только медико-биологических, психиатрических и криминальных дискурсов. Большинство исследователей и специалистов, в том числе и медиков, склоняются к мнению о недоказанности патологического характера гомосексуальности и начинают рассматривать ее скорее как одну из разновидностей сексуального поведения человека⁴. *В-четвертых*, несмотря на то что отношение общества к гомосексуализму несколько изменилось, негативные стереотипные представления о геях и лесбиянках оказались необычайно живучими. Подростки — геи и лесбиянки не просто страдают от своих «проблем» и потому ведут себя не так, как другие. Оставаясь один на один с осознанием своей гомосексуальности, они испытывают постоянный стресс от нависшей над ними угрозы стигматизации. Лишь части из них удается преодолеть страх и переломить ситуацию путем открытого и осознанного принятия гомосексуальной идентичности⁵.

⁴ В этом смысле представляется уникальным отечественный опыт исследования в этом направлении. Прежде всего это относится к работе И. С. Кона «Лунный свет на заре. Лики и маски однополой любви» (Кон, 1998). В этой книге автор успешно деидеологизирует понятие гомосексуальности в отечественном академическом и популярном контексте.

⁵ См.: Goggin, 1993.

Общество еще не избавилось от безотчетного страха (гомофобии) перед гомосексуалистами, в общественном сознании еще сильны опасения относительно того, что простое общение с ними может пагубно повлиять на подростков с гетеросексуальной ориентацией. Как выстраивается идеология страха «заразиться» этим «аморальным пороком»? Попробую обратиться к размышлениям Фуко на этот счет.

В конце первого тома *«Истории сексуальности»*, говоря о проблематизации «другой» сексуальности в частности и сексуальности вообще, Фуко задается похожим вопросом. Почему именно сексуальное поведение и связанные с ним действия и удовольствия составляли и продолжают составлять предмет моральной озабоченности всех субъектов, занимающих позиции во властных иерархиях? Чем обусловлена эта «этическая забота», заслоняющая собой в определенные исторические периоды другие, не менее существенные сферы индивидуальной или коллективной жизни? Как пишет Фуко, «сексуальное поведение, вероятно, является предметом неких фундаментальных запретов, преступание которых есть тяжкий проступок». Далее Фуко признает, что часто в этом пространстве проблематизации собственно запретов может вовсе и не быть:

моральная озабоченность сильна как раз там, где нет ни обязательств, ни запретов... Запрет— это одно, а моральная проблематизация — другое. Следует определить условия, внутри которых человеческое существо «проблематизирует» то, что оно есть, то, что оно делает, и мир, в котором оно живет. (Фуко, 1996, 279—280)

По мнению Фуко, подобная проблематизация связана с целым ансамблем практик, с тем, что он называет «искусствами существования». К ним он относит рефлексивные и произвольные практики, с помощью которых люди устанавливают правила поведения, стремятся преобразовывать самих себя, изменять себя в своем особом бытии и делать из своей жизни произведение, которое несло бы некие эстетические ценности и отвечало бы некоторым критериям стиля (Фуко, 1996, 280).

Можно предположить, что речь идет о формировании жизненных стратегий с принятием или отторжением определенных сценариев, среди которых сексуальный сценарий занимает — особенно в период взросления — одно из ведущих мест. Самоопределение подростка через объединение со «своими» и размежевания с «чужими» является невероятно значимым. Гендерная и сексуаль-

ная идентификация являются в определенном смысле стержнем взросления.

Существование некоего общего, принимаемого взрослым и подростковым большинством нормативного запрета и разделяемая ими неприязнь к «неправильным» ориентациям формируют своеобразную «солидарность нации» в ее стремлении отстоять здоровую нравственность.

Для мальчиков-подростков подобная солидарность «против» общего врага создает эмоциональную основу отношений подростка (мальчика) со сверстниками. В то же самое время принимаемая общность делает действительно актуальным для каждого из них определение собственной позиции по отношению к этому делению на «своих» и «чужих». Сомнения по поводу реальной или мнимой гомосексуальности, возникающие у подростков в этот период самоопределения, могут порождать страх и тревогу и проявляться в виде ненависти к гомосексуалам. И. С. Кон считает, что именно в этой вынужденной (навязанной) ненависти, а не в собственном сексуальном поведении коренятся негативные стереотипы и образы гомосексуалов массового сознания:

Нездоровая, извращенная и агрессивная гетеросексуальность патологизирует также и сознание, и самосознание гомосексуалов, рождая у них оборонительные защитные механизмы, пониженное самоуважение и другие болезненные симптомы и синдромы, которые затем психиатрическая клиника интерпретирует как имманентные, врожденные свойства гомосексуальности. Этот порочный круг может быть разорван только на уровне общественного, а не индивидуального сознания... (Кон, 1998, 388)

Агрессивной, нездоровой может в атмосфере общественной нетерпимости быть и гомосексуальность, которая также способна провоцировать оборонительные защитные механизмы. Однако здесь мы уже вторгаемся в очень сложное и запутанное пространство взаимовлияний и взаимоотражений групп, которые сами внутри себя далеко неоднородны. При этом открытым остается вопрос о том, что именно вызывает наиболее негативные и враждебные реакции при оценке гомосексуальности — специфическая техника полового акта, «женоподобный» и «мужеподобный» имиджи, перераспределение власти, потеря контроля, общественное мнение?

Несмотря на постепенное изменение юридического статуса гомосексуалов, враждебные настроения по отношению к ним сохраняются, изменяясь крайне медленно и непоследовательно. Для

обозначения всей палитры негативного (от агрессивно-враждебного до неосознанно брезгливого) страха по отношению к этим «другим» часто используется термин «гомофобия». Однако в последнее время он все чаще признается неудачным вследствие своей «психиатричности». Подчеркивание иррациональной природы страха, ненависти и физиологической брезгливости к носителям однополой сексуальности указывает, как и любая фобия, на индивидуальную психопатологию: подавление собственных сексуальных импульсов накладывается на гипертрофированную враждебность и недоверие к окружающим людям, склонность реагировать на стрессовые ситуации преимущественно с помощью защитных механизмов и т.д. Однако, как точно подметил И. С. Кон,

чтобы презирать или ненавидеть гомосексуалов, не обязательно быть невротиком или психотиком. Враждебность к гомосексуалам, как и другие подобные идеологические системы (антисемитизм, ксенофобия, расизм, сексизм), коренится не столько в индивидуальной, сколько в общественной психологии. (Кон, 1998, 249)

Ссылаясь на американского социального психолога Грегори М. Херека, Кон предлагает заменить термин «гомофобия» «*гетеросексизмом*», под которым понимается идеологическая система, отрицающая, принижающая и стигматизирующая любые негетеросексуальные формы поведения, идентичности, отношения или общения (Кон, 1998, 249). В качестве еще более «мягкого» термина И. Кон предлагает использовать «*гетероцентризм*», который не принижает альтернативных форм сексуальности, но рассматривает их как периферийные вариации или девиации от подразумеваемой гетеросексуальной «нормы».

На развитость различных форм проявления гетеросексизма (гомофобии) в обществе или группе влияет целый ряд факторов. Среди факторов общего характера можно выделить отношения традиционной идеологии и религии к сексуальности; общий уровень образованности и сексуальной культуры общества и связанный с ним господствующий социально-политический «взгляд» на «нормальную» сексуальность, наполняющийся различными социальными фобиями в кризисных ситуациях. Специфическими факторами можно назвать общий уровень терпимости к различиям и «инаковости», реальная степень принятия социального и культурного плюрализма, степень освоения сообществами и группами различных практик солидарности. С этим связан общий уровень сексуальной тревожности и публичного циркулирования сексуальных табу и страхов, моральных паник, формирующихся вокруг

подростковой «сексуальной распушенности». К последним можно отнести СПИД- и наркопаники, паники ранних сексуальных дебютов, последствий мастурбации и ранних аборт, подростковой гомо- и гетеропроституции, которые интерпретируются в медико-психиатрических и криминально-девиантных терминах.

Я вовсе не хочу сказать, что подобных проблем не существует. Однако паническая реакция родителей и других социальных контролеров взросления лишает их возможности воспринимать эти проблемы адекватно и конструктивно и ведет к формированию специфических «павлиньих» стратегий («у кого угодно, но у моего ребенка этого просто не может быть, а значит, и обсуждать это ни в коем случае с ним нельзя»). Это приводит к закреплению «зоны умолчания» вокруг подростковой сексуальности, усиливает стремление подростков демонстрировать нетерпимость, за которой может скрываться не только реальное неприятие других сексуальных практик и образов, но и неспособность самостоятельно интерпретировать собственную сексуальность, которая так и остается «их проблемой».

Не меньшее влияние на развитость гетероцентристских настроений оказывает степень распространенности в обществе в целом, и прежде всего среди подростков, сексизма, гендерного и полового шовинизма. Масштабы их принятия говорят о верности молодого поколения «естественной, природной» гендерной стратификации, основанной на мужской гегемонии. Поддержание господства и продвижение с помощью различных видимых и невидимых властных механизмов «агрессивного маскулинного образа» укрепляет уже сложившиеся иерархии не только в обществе, но и в самом мужском сообществе, где культивируемая ненависть к «гомикам» становится средством поддержания групповой мужской солидарности.

Довольно сложным и проблематичным представляется в контексте сказанного процесс взросления подростков со скрываемой или актуализированной гомосексуальной ориентацией. Они испытывают давление и подавление с самых разных сторон. Помимо открытой, легитимной гомофобии — дискриминационных практик, продолжающих официально или неявно аккомпанировать процессу их взросления⁶, они должны преодолевать как вне-

⁶ Например, более высокий возрастной ценз, разрешающий вступление в гомосексуальные половые отношения, запрет на позитивную репрезентацию гомосексуальности, а также продолжающие существовать во многих странах мира суровые наказания за мужеложство.

шие, так и внутренние «барьеры», затрудняющие, а подчас и делающие невозможным открытое принятие своей — другой — сексуальной идентичности.

Более тонким выражением гомофобии, характерной прежде всего для подростков, является старательная попытка избежать того, что может быть расценено как намек на гомосексуальное поведение. Так, например, друзья и родственники одного и того же пола могут стараться воздерживаться от заключения друг друга в объятия, видимых признаков телесной заботы (поправить воротничок, причесать волосы и др.). Большое значение уделяется тому, является ли данная одежда «чисто» мужской или «чисто» женской⁷, молодые женщины могут демонстративно отворачиваться от феминизма из-за боязни быть заподозренными в лесбиянстве. Для некоторых подростков участие в охоте на геев может служить средством повышения собственного авторитета в группе, хотя подчас за этим может скрываться стремление преодолеть собственную латентную гомосексуальность⁸.

Поскольку гомофобия (гетероцентризм, гетеросексизм) — это *социальный* страх, то одного только *психологического* объяснения явно недостаточно. Это социальное чувство может различаться по происхождению, по носителю и направленности, по интенсивности и т.д. Само это чувство — как, впрочем, и то, по отношению к чему (гомо) и на основании чего (гетеро) оно формируется — представляет собой подвижный конгломерат довольно разнооб-

⁷ Следует признать, что данное утверждение может быть полностью отнесено только к так называемой «обычной» молодежи. Внутри субкультур, ключевым моментом сексуальной «идеологии» которых является унисекс (гранжисты, кислотники, new age, рейверы и т.д.), деление на мужскую и женскую одежду совсем не является значимым, поскольку никак не коррелирует с представлениями о сексуальных ориентациях. Происходят значимые культурные сдвиги и в «продвинутой» молодежной моде. Современные модные стилисты и дизайнеры предлагают мужчинам делать макияж, выкрашивать волосы. Появилась мода на «шотландский» стиль — юбки для мужчин, мужская мода все больше и больше уходит от «простоты» или подчеркивания «мачистости», становясь более утонченной, замысловатой и изменчивой. Тем не менее для подросткового мужского большинства следование подчеркнуто «мужскому» стилю остается невероятно значимым. Примечателен в этом смысле образ Данилы (фильм «*Брат-2*», реж. А. Балабанов, 2000).

⁸ Потрясающий, высокохудожественно осмысленный пример сложной паутины мужских гомоэротических фантазий, переплетенных с полулегальными гомопрактиками, дан в фильме «*Табу*» (2000, реж. Т. Ошима).

разных качеств. Некое временное единство оно приобретает лишь благодаря наиболее явным (публичным) практикам.

Гомофобия может быть реальной и имитируемой; дискурсивной и индивидуальной; основанной на слухах (мифах) и реальном опыте; быть чувством, разделяемым большинством и меньшинством; защитой и агрессией; институционализированной и стихийной; присущей себе (нам) и приписываемой «другому» (им), от которых она ожидается.

В любом из этих измерений ключевым оказывается понятие «другого», чужого, неизвестного и страшного. Страх, переходя границы индивидуального опыта и становясь качеством неких групп, начинает приобретать черты моральной паники. Ожидаемый страх от другого выстраивается в соответствии с тем, как мы понимаем принимаемые большинством представления о должном. Эти приписываемые переживания могут быть либо достаточно искаженными (неточными), либо прямо противоположными реальным чувствам другого. Хотя реальные столкновения могут не только подтверждать или усиливать, но и разрушать эти стереотипы, воображаемый (ожидаемый) образ реакции бывает настолько сильным, что не пропускает «правду». Один из путей проблематизации «другой» сексуальности заключается в том, что «потерпевший» все равно видит то, что ожидал.

В этом «разорванном» пространстве между ожидаемым (и тем самым приближаемым) и реальным (чаще — непроявляемым) чувством располагаются не только многочисленные фобии, но и мифы, фантазии, мании. Самую большую «помощь» для ориентации в этом «разрыве» оказывают скорее не личные впечатления, а господствующий в данной культуре дискурс, поддерживаемый властными отношениями всех уровней. Именно в нем можно обнаружить так называемые «простые, вечные истины», объясняющие единственно верные пути преодоления этой «неизвестности». Включенность в профессиональное сообщество подчас значительно мешает отделить желаемое от действительного. Так, представление о росте уровня толерантности, сопровождающем процессы деидеологизации частной жизни и пространства, может оказаться ошибочным как в сторону завышения, так и занижения его характера и масштабов (см. Приложение).

Проблематизация «другой» сексуальности может идти по нескольким векторам. «Виновники» (гетеросексуалы) и «жертвы» (гомосексуалы) в ситуации взаимной (само)изоляции движимы разными мотивами, основанными на своей логике. Так, например, виновники могут ссылаться на:

— вековые традиции, устои, считающееся вечным естественное разделение по полу с жестко предписанными целями: сохранение девственности, супружеский секс, деторождение, семейное воспитание⁹;

— ухудшение современной демографической ситуации, которая может связываться с вариативностью, размыванием привычных норм и ценностей. «Другие» сексуальные практики, искаженно представляемые властными инстанциями, не воспринимаются как равноценная замена семье, браку, любви;

— моральные паники, связанные со СПИДом, с сексуальной распущенностью современной молодежи, с «навязчивой пропагандой гомосексуализма, как прямой диверсии Запада», с отсутствием нравственной цензуры в обществе и т.д.

Жертвы могут ссылаться на:

— вековую историю притеснений, сопровождающуюся разнообразными дискриминационными практиками;

— постоянное напряженное ожидание «битв» за свою идентичность;

— неизбежность выбора из всего спектра именно страдальческих, жертвенных сценариев и вынужденную самоизоляцию;

— постоянно испытываемый страх быть пойманными, который связан не столько с самими действиями, а с их «обнаружением» — страх публичного произнесения, страх артикуляций.

Эти описания, конечно, весьма условны, «виновники» и «жертвы» могут меняться не только местами, но и аргументацией. Важно другое. Взаимное конструирование «другого» одновременно ведет к самоизоляции обеих групп и становится важнейшим механизмом самоидентификации. Обе стороны становятся невероятно зависимыми друг от друга. Интересно, что, определяясь друг через друга: гетеро — это не гомо, и наоборот, эти группы «создают, предлагают» набор значимых качеств для взаимных различий. И, несмотря на то что многие из этих качеств, являющихся зеркальным отражением друг друга, не соответствуют реальным сходствам или различиям, они сохраняются и воспроизводятся в виде стереотипов. Так, например, Н. Нартова, исследование которой посвящено лесбийской субкультуре Санкт-Петербурга, пишет, что при наблюдении их тусовки невозможно было выделить единый,

⁹ В этом фокусе, как писал М. Фуко, секс, не ведущий к зачатию, признается извращением.

«среднестатистический» образ лесбиянки. В ходе исследования также не удалось обнаружить один или несколько внешних маркеров, присущих всем без исключения лесбиянкам (Нартова, 1999, 216—217). Те же моменты отмечаются и в очерке Алексея Баженова о Санкт-Петербургской гей-культуре (Баженов, 2000, 58—59). Таким образом, являясь по большей части вымышленными, виртуальными качествами, часто не подтверждаемыми ни одной, ни другой группой, взаимные конструкты продолжают существовать, оставаясь базовым ресурсом в формировании взаимных образов. От представителей «большинства» и «меньшинства» часто можно услышать: «они думают, что мы такие... а мы — разные». При этом может оказаться, что ни те, ни другие, по крайней мере — их часть, в этих терминах ни о себе, ни о других как раз и не думают¹⁰.

Признание «гомосексуальности» девиацией, отклонением от нормы, ненормальностью не сводится только к неприятию «другого», но и ведет к некритическому усвоению страха и опасности, к перенесению этой реакции из плоскости сексуальной (половой) идентификации в плоскость организации социальной жизни. Именно тогда и возникает проблема дискриминации по признаку нетипичной сексуальности — посредством ограничения доступа к образованию, трудоустройству и другим важным ресурсам.

Гомофобия, таким образом, связывается не столько с самоидентификацией, с ответом на вопрос, «кто я», сколько с последствиями *открытого*, публичного признания идентичности, отождествляемой с болезнью, с отклонением, с преступлением против рода человеческого и не совпадающей с «типичной», «нормальной», «распространенной». Страх последствий такого признания останавливает и ведет к самоизоляции, к жизни в подполье.

Поскольку взаимодействие «нормы» и «аномалии» не изолировано, а разворачивается в социальном контексте, пронизанном властными отношениями, постольку и ответная реакция разворачивается примерно по тем же каналам, т.е. через установление эти-

¹⁰ В настоящий момент мы вместе с коллегами из НИЦ «Регион» проводим очередное исследование в этом направлении. Если первое (1996—1998) было посвящено анализу секс-дискурсов молодежных журналов и фокусировалось на медиарепрезентациях различных вариантов молодежной сексуальности, второе (1997—1998) было посвящено анализу индивидуальных версий сексуальности и основывалось на глубинных интервью молодежи г. Ульяновска, то текущее исследование посвящено именно гомофобии, причем глубинные интервью проводятся прежде всего с «ненатуралами» обоих полов.

ки политической корректности, через властные органы, борьбу с дискриминацией и введение квот, через СМИ и либеральную интеллигенцию¹¹.

Насколько на самом деле стигматизированы гомосексуальные практики? Анализ интервью с молодежью, приведенный в следующей части этой статьи позволяет говорить о том, что характер отношения к ним претерпевает определенные изменения. Далеко не всякая крайняя характеристика гомосексуализма принимается на веру и становится источником неприятия. В меньшей степени, чем прежде, значимы традиционные родительские ценности. Самое большое влияние оказывают медиадискурсы и ценности, господствующие в той или иной стилиевой молодежной группе. Значимым является мнение «опытных» людей, практикующих инаковость, не понаслышке знающих, что это такое. Большое значение имеет собственный опыт не обязательно гомосексуальных отношений, а, например, близкого знакомства, особенно дружбы с «другими».

Тоска по потерянному самцу

Эта часть статьи построена на вторичном анализе 17 интервью, проведенных в 1997—1998 гг. с молодежью г. Ульяновска¹². Материалы интервью я буду использовать лишь как иллюстрации, подтверждающие, опровергающие, дополняющие идеи, высказанные в первой части статьи. Тому есть ряд причин. Во-первых, цитируемое исследование носило пилотажный характер; во-вторых, предмет

¹¹ Здесь возникает еще одна проблема — мода на то, чтобы быть другими. Это уже не механизмы защиты, а использование имиджей «других» в качестве канала для выражения идей, напрямую не относящихся к этому «противостоянию» для извлечения какой-то выгоды. мода на гомосексуальность, игра в гомосексуальность является проблемой не только для гетеросексуального большинства, не менее значима она и для гомосексуального общества. Не случайно, что одной из «свежих» идей, активно продвигаемых идеологами новой (измененной, смешанной) сексуальности, является построение «пост-гей-концепции», свободной от растиражированного и хорошо продаваемого на рынке шоу-индустрии образа «страдающего, но невероятно привлекательного гея» (Омельченко, 1999).

¹² Было проведено 17 нестандартизированных интервью и две контрольные фокус-группы. Десять интервью с женщинами (возраст от 16 до 28 лет, социальный статус — школьницы, студентки, служащие) и семь — с мужчинами (возраст от 16 до 25 лет, социальный статус — школьники, студенты, аспиранты, рабочие). Полное описание предмета, логики и методологии исследования дается в статье «Тело друг человека?» (Omelchenko, 2000).

исследования был связан в первую очередь с индивидуальными версиями сексуальности, гендерными аспектами личных смыслов и контекстов различных сексуальных практик и ценностей провинциальной молодежи¹³. В-третьих, что вносит особые ограничения в анализ, в выборку не попали представители «нетрадиционных» ориентаций, следовательно, мы сможем услышать только одну сторону. Тем не менее, поскольку часть текстов респондентов напрямую касалась отношения к «другим» версиям сексуальности, я сочла возможным обратиться к этим данным вторично.

Уже сам вопрос об оценке мужской сексуальности молодые мужчины встречали неоднозначно, он заставлял их врасплох. Одно дело — поговорить о том, что значит *настоящий* мужчина, другое — *сексуальный* мужчина. Довольно часто респонденты были не просто удивлены, а даже возмущены этим предложением — оценивать мужскую сексуальность. Как отметил один из них: «Ну что я, голубой, что ли? Ничего не могу сказать, я вообще не могу оценивать, на мужиков смотреть!» (Александр, студент, 20).

Одну из причин такого отношения Владимир, например, видит в том, что в общественном мнении продолжают господствовать устойчивые стереотипы о том, кто, собственно, стремится продемонстрировать свою сексуальность:

Проявление ее (женской) сексуальности намного спокойнее воспринимается обществом, чем проявление мужской сексуальности... У мужчины всегда есть риск быть ославленным не совсем с хорошей точки зрения: либо бабник, либо гомик... (Владимир, аспирант, 25)

Обратимся к палитре мнений по отношению к «ненатуралам». Вопросы, связанные с этой стороной сексуальности, оказались, пожалуй, самыми сложными как при проведении интервью, так и при анализе полученных текстов. Эти отношения оказались вплетенными в общие системы толерантности, принятия вариативности, готовности к инновациям. Размышления на «эту» тему затрагивали самые глубинные, а потому не всегда осознаваемые мотивы.

¹³ Исследование было посвящено анализу современных гендерных отношений и молодежной сексуальности в провинциальном контексте молодежных культур, существующих и как конструкции медиарепрезентаций, и как индивидуальные версии, стереотипы и отношения. Анализ жизненных историй показал не только «вторжение» новых идей и трендов, но и устойчивое выживание «старых», прежде всего воспитанных советской идеологией стереотипов. Эта «гремучая смесь» имеет массу нюансов, которые вносят в индивидуальные представления о сексуально-гендерных отношениях реалии провинциальной российской жизни.

вы формирования отношений к «правильной» или «неправильной» сексуальности.

Жизнь «сексуальных меньшинств», построение ими своеобразных взаимоотношений, их чувства и их публичные презентации — все это культурное пространство остается для большинства неким «неведомым» загадочным и скандальным миром. Все формы «параллельного существования» этих «существ» помимо обычного любопытства продолжают вызывать почти животный страх. Страх, в основе которого лежит представление о посягательстве на нечто настолько незыблемое и абсолютное, что потеря этого «нечто» грозит разрушением всей картины мира.

Половая дихотомия, имеющая, по мнению большей части наших собеседников и собеседниц, природное — а часто и сверхъестественное — происхождение, определяет собой все основные постулаты сексуальной морали как до, во время, после, так и вне замужества и семьи. Женская невинность (девственность), добрачные ухаживания и их ритуалы, создание семьи, семейный секс, рождение и воспитание детей, сопутствующие им измены, хранение верности, символика добрачной и брачной сексуальности — все эти центры в гомосексуальных практиках переворачиваются, подвергаются сомнению и критике. И если мужчина может и хочет выбирать мужчину, а женщина — женщину, то теряется привычное пространство проявления единственной формы власти, данной каждому «смертному». По меткому выражению Ирины, «гомосексуалы — это потерянные самцы и самки, над которыми ни мужчина, ни женщина не смогут проявить привычную власть».

Что же больше всего раздражает (пугает, вызывает брезгливость, настороженность, отторжение¹⁴) наших собеседников и собеседниц?

«Сначала ты определись, какого ты пола, а потом я с тобой разговаривать буду»

Это высказывание, пожалуй, наиболее точно выражает основную линию напряжения. Половая определенность признается одним из обязательных условий «нормального» общения, сексуальность

¹⁴ Я не случайно использую «списки» ряда понятий, не ограничиваясь каким-то одним. Тексты интервью продемонстрировали многообразие оттенков и нюансов отношений к этим группам. С одной стороны, для анализа приходится значительно упрощать разнообразие, с другой стороны, преследует ощущение «потери» качества. Борьба с этим противоречием часто приводит к многословности.

«железной цепью» привязана к полу человека. Эта железная цепь — одобряемые большинством «дозволенные» демонстрации собственной сексуальности и реакции на сексуальность других. Интересным здесь является, на мой взгляд, то, что направленность сексуальной ориентации без всяких сомнений напрямую связывается с «врожденным» полом: либо ты мужчина, и тогда твой сексуальный «объект» — это женщина, либо ты женщина, и тогда твой сексуальный объект — это мужчина. А кто ты — «объяснить тебе должны были родители уже в 2—3 года, и все». По мнению молодых мужчин, сексуальность — это образ («слава»), который приобретает специально для

противоположного пола, среди тех, кто согласно каким-то моральным разрешениям общества имеет право реагировать на сексуальность... упрощенно так говоря, парень стремится привлечь внимание девушек, и наоборот. То есть он работает на девушек. (Владимир, аспирант, 25)

Предложение оценить сексуальные качества представительниц своего пола вызывала настороженность и у женщин. Те немногие собеседницы, которые решались на это, обычно считали нужным оговориться, что делают это «исключительно мужским взглядом». Помимо явных признаков боязни быть заподозренными в неправильной ориентации, дело еще и в целесообразности такой оценки. Какой смысл женщине нравиться женщине, если основная мишень ее усилий — это мужчина? «Только женщина может по-настоящему определить сексуальность мужчины, и наоборот, если ориентация правильная» (Маша, студентка, 21).

«...Он может и имеет право на существование, но не имеет права на общение с остальными»

«Нетрадиционалам» приходится туго, многие отказывают им не просто в принятии, но и в праве общения с «нормальными» людьми. Молодые мужчины более категоричны в оценке «нетрадиционных» сексуальных ориентаций, особенно — мужских: женские (лесбийские или бисексуальные) наклонности они еще способны терпеть, поскольку считают их временным явлением, но мужские — ни за что:

«Голубых» бы я точно не хотел видеть, сексуальные меньшинства, как говорится. Нездоровое это все. Если нравится ему, пускай делает операцию. (Александр, рабочий, 20)

Но вот именно к этим педикам у меня отношение какое-то вот, какое-то вот пренебрежение, честное слово. Ну, занимайся ты там своим делом. Ну если у тебя там с двух лет, с самого первого дня ясно, кто ты должен быть, с тех пор и будь им, а то начинают там тыры-пыры... Вот, например, Зверев¹⁵ — это явный педик, на хуй. Нет, это мне дело не нравится. Ты уж или женщиной будь, или ... нет... (Николай, рабочий, 20)

...поговорить с гомиком за жизнь — нет. Но, встретив на улице, может, и мог, но с таким пренебрежением. А вот так вот взять бутылочку водочки, хлебушка, огурчиков там — не.... Наверяд ли. (Сергей, рабочий, 21¹⁶)

Заметно, что респонденты говорили не просто о неприятии, но и даже о *нежелании* просто общаться, отказывая «другим» мужчинам не только в мужественности, но и в обычных человеческих проявлениях:

Единственно нормально для общества, абсолютно — это гетеросексуал. Гомосексуалист, мужчина, он, может, и имеет право на существование, но не имеет права на общение с остальными. Он может общаться только с такими, как он... Все, он мне безразличен, и этим я его наказываю за то, что он такой. Хотя, если он таким родился, что же его — спиртовать теперь? Пусть общается с такими, как он. Пусть доживает свой век, не мешая другим. Женщина-гомосексуалист — она более приемлема, потому что это ей не мешает, допустим, оставаться женщиной. В критической ситуации у нее может проснуться материнский инстинкт. Материнский инстинкт сильнее, чем чувство секса. Возможно, она больше имеет права на общение с остальными. (Владимир, аспирант, 25)

Попытки объяснения происхождения других ориентаций довольно разнообразны. Одни считают это «прямой диверсией Запада», другие модным течением, третьи — стремлением демонстрировать свою «продвинутость». Рассмотрим подробнее различные варианты.

«Это самая настоящая зараза»

В таком фокусе гомосексуальность рассматривается как нечто абсолютно чуждое, случайно занесенное на «нашу» землю: «Гомо-

¹⁵ Известный современный модельер-визажист.

¹⁶ Обращает на себя внимание, что молодые рабочие (парни) более категоричны в своих оценках.

сексуализм — это чисто западное явление. Наши мужчины на такое неспособны» (Маша, школьница, 16). Поэтому проблема заключается в том, чтобы силовыми методами (рассматривались любые, вплоть до насильственных операций) с «этим» покончить. Следовало просто вовремя принять соответствующие меры — и все было бы «нормально»:

Если б вот, например... можно было время повернуть вспять, то мне кажется, нужно было предотвратить просто-напросто вот это вот все. И просто жить было бы легче... нужно от этого высвободиться, просто люди ненормальные, вот... (Людмила, студентка, 17)

В более категоричных высказываниях использовалось понятие «извращение», которое, имея на самом деле медицинские основания, приобретало выраженный социально-культурный смысл. В обывательских разговорах «нетрадиционалы» (геи, лесбиянки, бисексуалы, мастурбаторы и др.), вслед советской традиции, идут через запятую с насильниками и прочими «моральными уродами»:

Я считаю, что это извращение полнейшее как над мужскими, так и над женскими телами... Еще ни разу не встречала человека, который отнесился бы к этому нормально... я считаю это извращением. (Ольга, студентка, 17)

Совершенно органично в этом фокусе выглядит попытка объяснения своего отношения к подобным «извращениям» с помощью нецензурной лексики (по-настоящему «мужской» реакции). В следующем высказывании сквозит не просто агрессивная брезгливость, в нем проявляется своеобразный «комплекс непонимания»: проще повесить ярлык и назвать последними словами, чем попытаться понять то, что в силу ряда объективных причин (образование, воспитание, окружение) понять невозможно.

Мастурбаторы, гомики, педики... Блядь, ну слова-то какие... я считаю, что все в жизни должны заниматься своим нормальным... все. Что им природой дано, то и делать, а тут выебываться на хуй, еще куда-то лезть... (Николай, рабочий, 20)

«Им просто не повезло...»

Для молодых женщин в целом характерны более мягкие варианты объяснений, в их ответах проявлялся больший интерес к внутренней жизни гомосексуалистов, к их взаимоотношениям с другими

людьми, довольно отчетливо прослеживалось желание разобраться и понять, почему они выбрали именно такие варианты жизни.

Встречалось настоящее, почти «материнское» сожаление по поводу подобной ориентации — «ну как же так, такой молодой (молодая), вся жизнь впереди — и такая тяжелая судьба». При этом основная проблема, на их взгляд, заключается в том, что гомосексуалы просто не знают, как им стать обычными, «нормальными» людьми, хотя наверняка очень хотят этого.

...нетрадиционная ориентация — ну это внутреннее качество. Внутреннее. Их влечет к своему полу, а не к противоположному — это даже, мне кажется, клеймо какое-то на них наложено свыше — страдать... они не такие, как все, мне кажется, что они хотят стать обычными людьми. Выглядят-то они как обычные люди, но они хотят перестроиться еще и внутри. (Людмила, школьница, 17)

Подобное «трагическое» ощущение характерно было и для тех респонденток, которые признают за подобной «нетрадиционной» версией сексуальности право на существование, но пессимистично оценивают перспективы их реальной жизни. По их мнению, невероятно трудно поддерживать открытые и честные гомосексуальные отношения в окружении общественного неприятия и отторжения. Нереализованное желание публичности и признания «нормальности и естественности» такого рода любви и союза может обернуться и часто оборачивается подлинной трагедией. Особенно сложно устраивать им жизнь в таком провинциальном городе, как Ульяновск.

...Мне кажутся они... наказанными богом людьми... их тело дано совершенно по другому, не по собственному ощущению. Мне кажется, что это вообще дикие такие ощущения, вообще не переживаемые ощущения... Ну, потому что все это надо скрывать, надо как-то маскировать сначала, там... не знаю, в провинции это еще, наверное, труднее, потому что городок маленький, все становится быстренько известно... И потом, это очень дорого, ну не всем доступно... Не знаю... мне кажется, что общество вообще не должно заглядывать в постель ни к кому... (Евгения, служащая, 23)

«Пусть живут...»

С одной стороны, все наши собеседники — прежде всего молодые женщины — старались выглядеть просвещенными и продемонстрировать свое толерантное отношение к феномену «другой»

ориентации. С другой стороны, тут же, подчас слишком рьяно стремились отмежеваться от этого, чтобы, не дай Бог, кто-то не подумал, что и они — тоже... Поэтому, признавая «право на жизнь» других ориентаций, молодые женщины предпочитали сделать специальные оговорки на этот счет (общественная стигма еще сильна) — сексуальность, *конечно*, должна быть направлена на противоположный пол: «...я могу сказать о девушке без задней мысли, что она сексуальна. Меня может попросить парень — вот оцени мою подружку, я скажу — да, сексуальная, не имея в виду, что я хочу спать с ней» (Анна, школьница, 16).

Подчас, по мнению Евгении, этому качеству начинают приписывать некий «всеобщий» смысл и значение: сексуальная ориентация становится чуть ли не общей характеристикой человека вообще. Иначе говоря, если он или она гомоориентированны, то в принципе все с ними ясно, и при оценке человека больше ничего о нем и знать не стоит.

Вместе со спокойным принятием этих практик может соседствовать неприязнь к подчеркнутым демонстрациям ими своей «инаковости».

В моем окружении я мало знаю чисто голубых, два-три так. Это принимается, хотя часто вызывает такие насмешки, улыбки у кого-то: «не любим мы геев». Но это только на кухне, а в жизни увидит гея, руки жмет и с ним беседует на высокие темы. Это мне не близко, потому что они обычно так трясут своим гомосексуализмом, как будто это глубокая заслуга. А я, вот, не трясу своим гетеросексуализмом, хотя это такая же заслуга. Это так же трудно, между прочим. Какая разница? (Ольга, студентка, 20)

Встречались в текстах наших собеседниц и одобрительные высказывания, однако снисходительно-ироничный тон, как правило, сохранялся, оставляя некое пространство на откуп «общественной морали»: «... я считаю, что любое сексуальное поведение нормально, если все участвующие в процессе этого согласны... Я только зоофилию не признаю, коза же не согласна» (Ольга, студентка, 20).

Подобные представления — скорее исключение из общей картины. Переход от снисходительно-жалостливого отношения к «гомикам» к абсолютному признанию их «неэкзотичной» природы и праву равной социальной позиции встретился только у двух молодых женщин. Следует оговориться, что и в целом позитивные оценки были обнаружены только в женских историях: «Человек имеет право спать с кем хочет. Но у них есть свои причины, это их жизнь. Они могут делать, что хотят, если это не вредит никому» (Маша, студентка, 17).

Значимо различаются оценки у тех, кто либо сам имел подобный опыт, либо хорошо знаком с гомосексуальными парами. Личный опыт, близкое знакомство не со «звездными» или далекими примерами, а с «обычными» людьми снимает многие предубеждения. Главное требование состояло в том, чтобы это не мешало другим, не навязывалось в качестве единственной нормы, не превращалось в странную моду:

Гетеросексуал — святое дело для общества, да? А для меня это не святое дело... Ну, вот представляет мужчина в роли своего партнера только женщину, бога ради. Если он больше ничего не знает, ему не с чем сравнить. Живет правильной жизнью, ну и пусть живет, поскольку обществу это нужно, общество это одобряет, поддерживает, бога ради. А гомосексуал... я рада, если он нашел себе пару, я... нисколько не осуждаю и никогда не смеюсь над такими мужчинами. Знаю в нашем университете несколько таких пар. Я видела, наблюдала, поэтому у меня это не вызывает никакого отвержения там или... негодования какого-то, нет, нет, бога ради... я рада, что кроме вот прописных, гетеросексуальных есть еще и те... (Ирина, служащая, 28)

Интересную историю развития своего отношения к нетрадиционным ориентациям и необычной сексуальности рассказала Евгения.

Сначала идея гомосексуализма подавалась как шокирующее... больные люди вот эти все э..э..э.. лесбиянки и... ну... Все эти вот гей-культуры. Потом как-то в западных фильмах я увидела, действительно их показывали, трансвеститов, в частности, показывали... Меня это рассмешило сначала, честно говоря. Потом мне их было жалко. Теперь я отношусь совершенно к ним по-другому... Гога, наверное, два с половиной назад нас познакомили с одной такой семьей, гей-с семьей. Любопытно так было наблюдать, как они там семейные роли делили... Это была студенческая семья, насколько я поняла. У них не жестко установлено, активные-пассивные там, жена-муж, они постоянно менялись. Вот такое пришло понимание, что все, что нравится, что приносит человеку удовольствие, особенно не мешая другим, все это должно быть нормой, потому что они действительно были счастливы. Редко когда увидишь такие нормальные семьи, счастливые. (Евгения, служащая, 23)

Бисексуалы «с широким диапазоном выбора»

Тексты интервью демонстрируют значимое отличие отношений к бисексуалам и к другим «нетрадиционалам», особенно у женщин. Их палитра простирается от откровенной зависти и сожалений по поводу отсутствия подобного сексуального опыта («мне даже

интересно было бы, если бы у меня такая мысль появилась») до мягкого принятия их специфических практик («...это мне наиболее близко, ибо я это исповедую»).

Бисексуалы наиболее ярко, по мнению наших собеседников, реализуют право человека на свободный выбор и при этом лишь незначительно задевают общественное мнение. В отношении к ним остаются элементы некоторого снисхождения, поскольку в этом видится не порок, а чуть ли не детская забава, стремление к которой может быть связано с желанием избежать скуки или поиском неких более утонченных удовольствий. Бисексуалы — это «счастливые люди», потому что «они имеют широкий диапазон выбора, больше, чем гетеросексуалы, которые, вот есть такая рамка от сих до сих, и так вот всю жизнь...», «прелесть ситуации в том, что они могут использовать ее на свое благо или на благо партнера»¹⁷. Бисексуальные истории жизни, видимо в силу того, что лишены «ужасной однозначности», притягивают внимание, вызывают любопытство. Некоторые из наших собеседниц говорили о том, что им хотелось бы испытать нечто подобное:

...бисексуалки интересны... и все-таки я, наверное, убегу, если мне девушка руку на колено положит. Можно посмеяться там, пошутить, а так я, наверное, встану и убегу, хотя — не знаю, у меня никогда такого не было. (Маша, студентка, 17)

Молодые мужчины в своих оценках бисексуалов хотя и были не столь категоричны, как в разговоре о гомосексуалистах, но подерживали подчеркнuto снисходительный тон. В особой степени подобная снисходительность относилась к женщинам, молодые мужчины просто «разрешают» им это.

Бисексуалы? Ну хер чать с ними, можно и покалякать, поговорить в компании, если они уже с жиру бесятся, не запрещено никому. (Николай, рабочий, 20)

Ну, с ними, с бисексуалами — с ними еще, возможно, я, может быть, еще бы и поговорил. И то, наверное, с женской стороны, с женским кругом. А с мужским — нет. (Александр, студент, 20)

Бисексуалы мне по барабану, и с теми, и с нашими, и с вашими. Ну, если ты сможешь с бисексуалом спать, то я не смогу, не тот тип людей. (Сергей, рабочий, 21)

Бисексуал женского типа — вполне приемлем, мужского — нет, хотя, может быть, для науки и интересно. Женщина, если она бисексуал,

¹⁷ Высказывания взяты из нескольких женских интервью.

она не отрицает мужчины в жизни, значит, она может нормальной жить жизнью... если у нее есть какие-то изменения в психике, то значит, она может какие-то эротические игры с другой женщиной вести, то это для нее просто, ну какая-то особенность. Если это не мешает ее семье, если не вредит ее ребенку, то она может себе это позволить. То есть я разрешаю женщинам какие-то такие моменты. Я уверен, что она будет хорошей матерью, хорошей женой, интересной женщиной, через 2 года она станет нормальной. (Владимир, аспирант, 25)

«... Когда женщина ставит такие честолюбивые цели, она превращается, собственно говоря, уже в мужчину»

Интересным, хотя и вполне ожидаемым, оказалось то, что многие наши собеседники и собеседницы после разговора о «нетрадиционных» сексуальных ориентациях выходили на оценку феминизма. К сожалению, у меня нет возможности полностью представить все разнообразие полученных оценок. Отмечу одно, что практически все они помещаются в смысловом пространстве явно или неявно агрессивной неприязни.

Молодых мужчин больше всего раздражает открытое посягательство на мужское превосходство, что, по их мнению, нарушает «естественные» законы природы: «Феминистки — это кто? Это женщины, защищающие женщин». «Нет, женщины должны занимать второстепенное положение в обществе», потому что «ей нужно сберечь себя для того, чтобы родить здорового хорошего ребенка». Вся их борьба ни к чему привести не может, «это очень воинственное течение. Все равно они в итоге приходят к прежнему»¹⁸.

Оценки феминизма и феминисток молодыми женщинами хотя и отличала большая толерантность, однако ни в одном из текстов не удалось обнаружить реального принятия их идей. Вероятно, в наибольшей степени это зависит от малой информированности и осведомленности о различиях между течениями внутри современного феминизма, от специфически панических медиадискурсов, от оголтелого сексизма, который может проявляться не только в Государственной думе, но и в академических «трудах»¹⁹. Феми-

¹⁸ Высказывания взяты из нескольких мужских интервью.

¹⁹ При чтении одной, совершенно случайно купленной и совершенно ненужно принесенной в нашу библиотеку, книги меня охватило отчаяние. Вращаясь в своем профессиональном кругу, иногда забываешь, где ты живешь: «Несомненно, что феминистки запускают в оборот антисемейные

низм и феминистки — одна из самых «благодатных» и безобидных мишеней для открытой демонстрации сексистских идей, поскольку они ложатся в крайне неподготовленную, некомпетентную, напичканную фобиями и мифами почву.

Все-таки женщина — она семья там, еще что-то, такие какие-то вещи, в которых она может проявиться как существо заботящееся, в котором нуждаются, ждут, какую-то такую свою женскую природу. Феминистки — какие-то слишком честолюбивые женщины. Они просто как бы даже не понимают, какие-то такие человеческие отношения для них уже непонятны. Люди для них уже превращаются в какие-то автоматы либо просто используются для достижения цели. (Евгения, служащая, 23)

Женщин, преуспевающих в карьере, я приветствую и обожаю, а феминистки мне скучны. Неправда это все, что они говорят. (Ольга, студентка, 20)

Феминистки, ну, это женщины, которые считают, что мужчинам делать нечего в этом мире. Ну, я немножко феминистка, ну, не полностью феминистка, хотя... феминистки, пусть они против мужчин, хорошо, мы уважаем это, тогда зачем вы плодите мальчиков? Откажитесь от мальчиков, не выращивайте мальчиков тогда, если вы так настроены на то, что мужчины второй сорт или бездеятельные, так, как я понимаю феминисток. Я думаю, что если быть стопроцентной феминисткой, то, пожалуйста, рожайте только девочек... (Ирина, служащая, 28)

Феминизм и связанная с ним борьба с сексуальными домогательствами рассматривались прежде всего в фокусе американских идей политкорректности, абсолютно чуждой, по мнению наших собеседниц, российскому менталитету. Новое веяние американского происхождения связывается с активным продвижением образа «деловой женщины». Стиль жизни и карьеры этих женщин не просто разрушают стереотипы подчиненности, вторичности женской сексуальности, но и выводят эти понятия за стены семей — в публичные пространства социальной жизни. В борьбе с сексизмом и дискриминацией, по их мнению, происходят явные пере-

словечки, это их лингвистический капитал. Вот одно из последних изобретений — «семейная шизнь». Причем изгаляются по поводу «ш», шизоидности семьи, шизодома, шизоархатности, матришизальности. Ну, как это все стерпеть? Вот и хочется рывкнуть свое фамилистическое «ша!» гейшам (и «ша!» геям), полчищам гетер из гендер, лежбианочкам с их вечной озабоченностью шашнизмом или секшизмом» (Антонов, 2000, 389).

хлестывания, как, например, нарочитая демонстрация ухода от половых различий.

Для них, значит, да, есть два пола, но мы очень постараемся это скрыть, все мы будем одного пола, а кто заметит, кто-нибудь из нас, там, негр, в смысле, женщина, вот того мы отведем в суд. Это американское веяние деловой женщины. Я за деловую женщину, но они при этом запросто могут сохранять свой пол, ничего плохого в этом нет. (Майя, студентка, 21)

У них за сексуальный намек в суд тащат — это несколько глуповато для меня, т.к. сексуальные намеки для меня нормальны, это нормальная часть жизни... это не наше веяние, потому что у нас всегда спокойно относились к сексуальным намекам. Ну, кто-то шуточку отпустил, никто этого не заметил. Американцы заметят обязательно. (Ольга, студентка, 20)

Некоторые выводы

Завершая краткое описание этой части исследования, попробую предложить некое подобие выводов. Тексты интервью продемонстрировали активное формирование представлений о публичных «стандартах» женской и мужской красоты/сексуальности. Спор идет не только о стилях жизни, одежде, экспериментах с телесностью (мужской и женский бодибилдинг, похудание, макияж, маникюр, выкрашивание волос, пирсинг, татуировки), но и о допустимых рамках использования публичной сексуальности для достижения внесексуальных целей. Будет интересно в дальнейшем проанализировать изменения этих представлений как внутри сексуальных отношений (не только в гетеро-, но и гомосексуальном пространстве), так и в профессиональной сфере, в кадровой политике фирм, в личных карьерах как мужчин, так и женщин. Интересно, что в ситуации глобально мужского «начальника» в России проблема использования сексуальности как инструмента карьеры традиционно рассматривалась только по отношению к женщинам. Однако уже сейчас молодые люди начинают говорить не только о новых мужских перспективах (два варианта: начальник — женщина, начальник — мужчина, но гомосексуалист), но и новых женских (начальник — женщина, но лесбиянка).

Более того, интервью также проявили пусть и неявную «дискуссию» между молодыми мужчинами. Если сексуальность — это нечто женское, то *как можно говорить о мужской сексуальности?* В

каких терминах и в каком смысловом пространстве оценивать это качество? Если на уровне репрезентаций конструкты мужской сексуальности уже обрели некие приемлемые очертания — как следуя западным медиаобразцам, так и благодаря культурным отечественным медиапрактикам, — то на обыденном уровне они только-только зарождаются. Уже появились поддающиеся фиксации стереотипы. Уже обнаруживается целая палитра модных линий мужской сексуальности, но вопрос «Как это делать, не нарушив образ сильного и первого человека?» для многих остается совершенно неясным.

Особую остроту этой «дискуссии» придает устойчивая демонстративная реакция мужчин — мужская сексуальность: это признак «голубизны». Сильный, уверенный в себе, самодостаточный самец не нуждается ни в каких дополнительных аксессуарах и доказательствах. Таким образом, на пути формирования обыденного образа мужской сексуальности стоят два барьера: сексуальность как символ слабости и подчинения и мужская сексуальность как символ «неправильной» ориентации.

Выявленная в анализе *скрытая* (у женщин) и *явная* (у мужчин) гомофобия сопровождается (чаще у женщин) демонстративной толерантностью и «бисексуальным» заигрыванием. Можно признать вполне успешным «продвижение» современными молодежными журналами гомо- и бисексуальных идей. Своеобразная мода на «ненатуралов» достигла и нашей провинции. Другое дело, что реакции на эту моду весьма неоднозначны.

«Открытый» разговор о гомосексуализме обернулся многочисленными спорами и дискуссиями. Гетеросексуальность, оставаясь святой нормой, начинает существовать в пространстве некоего сомнения. Представления о допустимых демонстрациях мужской привлекательности выводятся за рамки оценочного пространства — «голубой—неголубой», а вместе с этим и сама эта дихотомия рассыпается в мозаике самых разных промежуточных состояний, представлений и отношений. И хотя, по мнению наших собеседников (мужчин), половая определенность (само отнесение к полу) остается самым важным для сексуального общения, для наших собеседниц этот момент уже не является столь значимым. Их оценки более толерантны и менее категоричны. И если у мужчин преобладает требование социально-культурной изоляции гомосексуалистов, то женщины демонстрируют снисходительную жалость к трудным жизненным сценариям «ненатуралов» и говорят об их асексуальности. Главным минусом как для мужчин, так и для

женщин в гомосексуализме является вовсе не то, что они не способны к деторождению в своих однополых союзах, а то, что они теряют индивидуальный контроль и индивидуальную власть над своей жизнью. Следовательно, и здесь произошло изменение — главное вовсе не в посягательстве на нормы семейного секса, ведущего к продолжению рода, а в перераспределении властных полномочий в пространстве личных взаимоотношений.

Приложение²⁰

Таблица № 1²¹

Уровень терпимости школьников
к различным социальным группам. (1 — min, 8 — max)

	В целом по выборке	Пол	
		юноши	девушки
	1139	527	603
Бомжи, попрошайки	5,1	4,9	5,6
Гомосексуалисты	3,2	2,9	3,8
Наркоманы	3,1	3	3,5
Больные СПИДом	3,7	3,6	4,1
Алкоголики	3,6	3,7	3,7
Умственно отсталые люди	5	4,9	5,5

²⁰ Данные приводятся из социологического исследования «Факторы, тенденции и последствия роста наркомании среди школьников г. Ульяновска», проведенного Научно-исследовательским центром «Регион» Ульяновского государственного университета в ноябре 1998 г. — марте 1999 г. Полное изложение использованных методов и результатов исследования представлено в опубликованной книге «*Подростки и наркотики*» (Омельченко, 1999).

²¹ Данные приводятся по результатам опроса, проведенного в рамках указанного исследования. Было проанкетировано по представительной выборке 1330 учащихся средних школ г. Ульяновска. В выборку вошли 10 школ из четырех районов города. Отбор производился, исходя из требования пропорционального представительства школ всех районов, по методике гнездовой выборки с использованием таблиц случайных чисел.

Таблица № 2

Распределение мнений школьников о том, как следует поступать с гомосексуалистами

Вопрос: «На твой взгляд, как следует поступать с такими социальными группами, как...» (в % от числа опрошенных)

	В целом по выборке	Пол	
		юноши	девушки
	1139	527	603
Гомосексуалисты			
Убивать	9,5	16,4	3,6
Изолировать	25,7	33,3	19
Принудительно лечить	24,9	28,2	21,1
Предоставить право самим решать свою судьбу	17,9	10,1	24,9
Помогать деньгами для лечения	4,8	4,2	5,3
Помогать благополучно устроиться в жизни	1,2	1,4	1
Морально поддерживать	3,1	1,6	4,5
Не замечать	12,9	10,8	14,5

Павел Романов

ПО-БРАТСКИ: МУЖЕСТВЕННОСТЬ В ПОСТСОВЕТСКОМ КИНО

С тех пор как первые зрители посмотрели фильм братьев Люмьер, собираться перед полотнищем киноэкрана стало привычным для множества людей, желающих отдохнуть, развеяться, получить удовольствие от просмотра. Видя перед собой совсем рядом разворачивающуюся историю, мы словно заглядываем в чужую жизнь, наблюдаем отважных и сильных мужчин, стремящихся к победе, и беззащитных женщин, освобождаемых из плена. Мы захвачены этой игрой, хотим быть обманутыми и порой действительно утрачиваем ощущение фиктивности происходящего действия, с готовностью отождествляя себя с героями. Создавая образы своих героев, режиссер отбирает фрагменты реальности, заворачивает их в свои представления, фантазии и идеи, придавая им форму с помощью кинематографических и социальных стереотипов. Поэтому социальные, в том числе гендерные, роли, представленные в кинотексте, могут быть рассмотрены с точки зрения их более широкого социального значения. Речь идет, с одной стороны, о показе нормативных образцов мужественности, распространенных в конкретный период времени в данном обществе, откуда их заимствуют в качестве сырого материала для своих кинообразов режиссер и актеры. С другой стороны, нас интересуют те фантазии и идеи о движении нормы, которые транслирует постановщик фильма посредством своих видео- и аудиотекстов. Если первое лишь отражает некую реальность гендерных различий и соответствий, то второе стремится легитимировать новые практики и устанавливать новые образцы. Нам представляется важным рассмотреть способы легитимации новых социальных отношений в России, модель которых с конца 1980-х усиленно выводится в дискурс официальных документов

правительства, законов, школьных программ и социальных наук, но вызывает неоднозначную реакцию и сталкивается с конфликтами разнообразных сил и интересов.

В этой статье мы бы хотели обсудить кинорепрезентацию мужественности в российском кино конца 1990-х гг., опираясь на анализ одного из наиболее заметных в этот период кинопроизведений. Фильм Алексея Балабанова «*Брат*» (1997) показался нам хорошим материалом для социологического прочтения. По сюжету молодой человек Даниил Багров, отслужив в армии, возвратился в маленький городок, расположенный где-то в средней полосе России. Случайно попав в переделку с заезжей съемочной группой, он отправляется искать счастья в Санкт-Петербург, где проживает надежда стареющей матери — старший брат, по слухам, удачливый бизнесмен. Однако тот оказывается наемным убийцей, выполняющим заказы мафии. Несмотря на атрибуты внешнего благополучия, карьера киллера явно дала трещину. Чувствуя, что бывшие партнеры желают избавиться от него, старший брат привлекает к очередному убийству Даниилу, который на удивление профессионально выполняет заказ. Дальнейшие события приводят петербургского «бизнесмена» к предательству младшего брата, в результате, спасая жизнь родственнику, наш герой выходит победителем из опасной борьбы с группой преступников, а затем уезжает из Петербурга в Москву на поиски лучшей жизни.

Фильм «*Брат*» представляется нам во многих отношениях интересным для социологического анализа кинематографической репрезентации мужественности. Во-первых, основные герои здесь — мужчины, помещенные в условно-стандартные маскулинные ситуации, связанные с насилием, преодолением преград, завоевательной сексуальностью, достижениями и борьбой за власть. Во-вторых, действие развивается в четко очерченных и легко узнаваемых пространственно-временных границах, что позволяет рассмотреть образ мужественности в конкретных социальных контекстах. И в-третьих, фильм насыщен доминантными мужскими стереотипами, что позволяет типизировать его образы в качестве определенных символических сообщений, обращенных к сложившимся в массовом сознании образцам.

Исследования мужественности в кино: от количественного контент-анализа к анализу кинорепрезентаций

Проблематика исследований маскулинности первоначально определялась сильным влиянием феминизма. Феминизм дестабилизировал пол как биологически детерминированное качество индивида, показав, насколько велико и разнообразно влияние социальных факторов, обуславливающих смыслы женственности и мужественности. Сделав объектом исследования способы *конструирования* гендера, феминистские авторы показали его связь с доминирующей в современном капиталистическом обществе культурой и механизмами власти, обеспечивающими господство мужчин в различных сферах общественной жизни. Однако до определенного этапа основное внимание ученых было направлено на конструкцию женственности, в то время как мужчины рассматривались в качестве целостного и внутренне непротиворечивого норматива (Craig, 1992, 1). Развитие исследований мужественности в качестве самостоятельной научной перспективы во многом определялось потребностью «завершить радикальную перерисовку картины гендера, начатую в женских исследованиях» (Kimmel, 1987, 10—11).

Первоначально изучение производства и воспроизводства образов мужественности осуществлялось с применением количественных методов, аналогично подходам, применявшимся в феминистском анализе женских образов в массмедиа. Методы анализа сообщений в средствах массовой информации и кинематографе были связаны с кодированием и обработкой обширного корпуса сообщений и относились к объективным и эмпирически верифицируемым способам исследования (классический контент-анализ). Фред Фиджес, проводя обзор исследований, посвященных половым ролям и маскулинности, указывает на широкий спектр таких работ, сделанных в 1970—1980-е гг. (Fejes, 1992, 11—19). Данные таких проектов показывают, что в телевизионных передачах мужчины более часто, чем женщины, показываются на высокостатусных работах и реже — в домашней обстановке или в контексте романтических отношений. «Телевизионные мужчины» реже женаты, они более старшего возраста, чем женщины. Однако они показаны как более доминантные индивиды, чаще участвуют в актах насилия. По сравнению с женщинами, мужчины чаще управляют машиной, пьют, курят, делают атлетические упражнения и

деловые звонки, их телеобразы строятся на крупном плане лица, а не тела.

Однако символическая, знаковая природа этих сообщений, их структура и дискурс оставались теоретически неразвернутыми. К 1970-м гг. в невинный сад контент-анализа ворвалась абсолютно новая концепция, рассматривающая производство и трансформацию идеологических дискурсов в аспекте символических и лингвистических практик процесса означивания (Hall, 1994, 60—61). В исследованиях мужественности это означало поворот к анализу кинофильмов. Одной из наиболее значимых работ в этой связи стало качественное исследование пятидесятилетнего периода развития американского кино, сделанное Джоан Меллен в книге *«Большие плохие волки»*, где доказывается, что образ маскулинности, представленный в фильмах, является не только очень традиционным, но идеализированным до недостижимости (Mellen, 1977).

В отечественной социологии лишь сравнительно недавно произошел поворот от исследований кинематографа, где он в большинстве случаев фигурировал лишь в качестве индикатора «уровня культуры» или в аспекте «нравственно-опасного» потребления западной кинопродукции, и контент-анализа текстов массмедиа к социологическому прочтению кинотекстов (см. Ушакин, Бледнова, 1997; Синельников, 1999; Дерябин, 1998). Перспективность такого подхода обусловлена богатством содержащихся в кинодискурсе символических ресурсов, ожидающих, чтобы их расшифровали. Подобно тому как металлург с радостью узнает в фильме под каким-нибудь условным названием *«Сталеварь»* любезные его сердцу детали ремесла, социолог наверняка распознает здесь контуры социальных взаимодействий, получивших теоретическое описание в академических трудах. В сценах любовных признаний или коллизиях детективной истории оказывается возможным «прочитать» и расшифровать сообщения о социальном контексте этих отношений и проблем. Иногда создатели фильма сознательно помещают такие подтексты в рассказываемую историю, пытаясь привлечь внимание зрителей к чему-то, с их точки зрения, значимому, склонить аудиторию на свою сторону, убедить в нужном определении социальной ситуации. В других случаях история овладевает автором, а он лишь озвучивает коллективные представления культурной группы, к которой принадлежит. Важно и то, что автор, создавая свои тексты, порой ориентируется на конкретную читательскую или зрительскую аудиторию.

Интерес к обсуждению проблем культуры становится характерной чертой современной российской социологии. В самых общих

чертах традиция социологического анализа культуры развивается в двух руслах: первое, где культура рассматривается как область идей, ценностей, норм, и второе, считающее культурой весь образ жизни, типы социального поведения, а точнее — то, что пронизывает и объединяет все практики социально-исторической целостности. Второе, в большей степени этнографическое, применение термина «культура» позволяет рассматривать гендерные различия как представления или психологические диспозиции людей различного пола, расы или класса через изучение искусства, производства, торговли, политики, семейной жизни как отдельных видов деятельности. Этот подход раскрывает природу маскулинности, исследуя общую социальную организацию на конкретном примере и показывая взаимодействие между образцами повседневного взаимодействия, поведения людей в семье, на работе и способами их представления в кинематографе, рекламе, массмедиа, научной литературе. Цель такого анализа — понять, каким образом все эти практики и паттерны реализуются в повседневном опыте людей.

Типы гендерной идентичности, присущие для данной социальной общности и данному времени, характеризующие половую принадлежность, сексуальные предпочтения, пересекаясь с профессиональным, семейным, образовательным, расово-этническим, экономическим и другими статусами, занимают определенное место в универсуме символических предписаний, в когнитивном путеводителе жизни. В этой связи, например, интерес представляют стратегии, сохранившиеся в научных и художественных текстах с прошлого века по сей день и репрезентирующие социальный класс, пол, этничность, культурные практики гендерных отношений, образцы фемининности и маскулинности как *экзотическое*, с диапазоном от эротического до странного, от грязного до опасного, от чужого до сверхъестественного (Ярская-Смирнова, 1998, 6).

Насколько автор произведения независим от реального социального контекста, и можно ли считать художественные репрезентации идеологией? Отражает кинематограф реальность или конструирует? Придавая вторичное, «отражающее» значение возможностям медиа или кинематографа, мы не сможем пойти дальше тех объяснений, которые основаны на метафоре базиса—надстройки и фокусируются на идеях собственности и контроля за средствами массовой коммуникации. Нам кажется важным понимание Л. Альтюссером идеологии как тем, понятий и репрезентаций, по-

средством которых люди живут в образной связи с их реальными условиями существования. Следовательно, художественные репрезентации вносят вклад в образное определение социального порядка.

Хотя «*Брат*» и не отличается постмодернистской зрелищностью, отдавая предпочтение традиционному нарративу, в нем есть черты так называемого *дискурсивного* кино, проблематизирующего саму кинорепрезентацию. Позиция зрителя в классическом реалистическом кинотексте — та, откуда все становится совершенно очевидно. Здесь же у субъекта более амбивалентное и нефиксированное место. Термин «*дискурсивное*» употребляется нами вслед за М. Фуко и позволяет заострить внимание на правилах, нормах и конвенциях кинематографической сигнификации. Подобный подход в модернистской живописи, например, дает возможность перенести внимание с «реальности» к поверхности картины и тем самым поставить под сомнение сам процесс означивания. То, что происходит на экране, отделяется от реальности «плохой» игрой Сергея Бодрова («*Кавказский пленник*»). Актер создает впечатление неопытности и необученности, он играет весьма искусственно, и нас не покидает ощущение, что этот юноша здесь случаен, он — из реальной жизни. Как раз главное, что нас интересует, — эта реальность, которая изображается и тем самым конституируется кинонарративом.

На наш взгляд, удача режиссера — в изображении неукорененности и отсутствии идентичности, свойственных постмодерным реалиям. Герой — наш современник — это мужчина-мальчик, словно тень, легко и свободно перемещающийся в параллельных мирах российского общества, расколотого Переходом. Рассчитывая на внимание нового русского зрителя, фильм, однако, не предлагает образ постмодернистского героя, терпимого к инаковости и устраняющего иерархии и барьеры, а лишь подкрепляет ксенофобию, способствуя социальной дезинтеграции и утверждая дискриминирующие гендерные стереотипы.

Мы рассмотрим «три цвета» в этой инсталляции — три аспекта современной мужской идентичности, складывающейся в условиях нестабильности, трансформации, развала империи. Эта идентичность соединяет в себе постмодернистскую фрагментарность с традиционными для патриархатной культуры моделями власти, шовинизма и нетерпимости. Это *свобода*, понимаемая как произвольная актуализация связей, как возможность равнодушного скольжения по социальным этажам и подвалам; *равенство*, которое означает не

доступ к ресурсам и законность, но тождественный для всех приговор; и новый тип *солидарности*, на поверку оказывающейся фратрией «братков» (Романов, Ярская-Смирнова, 1999).

Свобода

Вглядываясь в главного героя, узнаем облик урбанистского фланера, популярной метафоры социальной идентичности и центрального символа современного города. Фланировать означает «воспринимать... чужих людей как “поверхности”, так, как будто бы “видимостью” исчерпывается их сущность, и вдобавок видеть их и знать мимолетно» (Бауман, 1995). Брат перемещается по сцене постмодернистского города, не касаясь земли, без последствий. Поэтому он убивает, легко выполняя свою работу, без эмоций, без-участно. Его насильственные действия не являются продуктом какой-то природной агрессивности, они подобны реакции лабораторного животного, ведомого природными инстинктами, отвечающего на воздействие внешней среды. Просачиваясь сквозь поры параллельных миров постсовременности, не оставляя следов, фланер стремится к самосохранению. Эту особенность нынешнего периода социальной истории можно назвать «тотальной чуждостью в том смысле, что способность к поверхностным, текучим, ограниченным взаимоотношениям становится ключевым условием выживания» (Ярская-Смирнова, 1997, 7). Младший брат живет в мире теней, все характеры в фильме прописаны намеками, они никак не походят на живых людей, а скорее на каких-то функциональных призраков. Такой взгляд-восприятие «других» позволяет герою не фиксироваться на людях, а как бы проходить сквозь них дальше без задержек.

Жизнь фланера перетекает из пространства в пространство, однако о начале и окончании этих перемещений лишь упоминается, и есть сомнения в том, существуют ли конец и начало вообще. Первые кадры фильма показывают Данилу, случайно попавшего на киносъемки. Герой словно свалился с неба, он — явление неуместное, даже возмутительное, помеха, от которой нужно скорее избавиться. Прошлого у героя нет, сведения о нем отрывочны — смерть уголовного отца, армия и служба там, где идут боевые действия, но «писарем, при штабе». При этом младший брат стреляет без промаха, легко бежит и прыгает, спасаясь от преследования. Определенности с окончанием истории тоже нет — мы

покидаем героя, когда он передвигается в кабине «дальнобойного» грузовика в направлении Москвы. С таким же успехом он мог бы ехать в Анкару или Нью-Йорк, Москва здесь — лишь символ чего-то большого, неопределенного и многообещающего. Отсутствие истории Брата и его отстраненность от реальности со всей определенностью демонстрируют отсутствие у фланера каких-либо содержательных характеристик. Пустое означающее его наполняется смыслом только при сопоставлении с Другим, оно нуждается во внешнем референте, с помощью которого способно определить свою идентичность (Saussure, 1983).

Между родным городком и загадочной «москвой» пролегает Петербург. Пространство петербургской жизни жестко структурировано, как и подобает пространству большого современного города, содержащего многообразие экотопов. В них выживает и вживается Данила. Здесь помещаются нищета и роскошь, интеллектуальная элита и банды. Это параллельные миры, процессы в них одновременны, и автор фильма ведет нас из одного мира к другому вслед за перемещениями героя. *Мир кладбища* — здесь он находит поддержку в критические моменты. Немец Гоффман помогает нашему герою найти комнату для жилья и извлекает пулю из его раны. Гоффман обосновался на лютеранском кладбище, среди таких же бездомных изгоев. Вообще, Санкт-Петербург прочно ассоциируется в постсоветской культуре с символами смерти, которые стали частью его свято хранимого *genius loci* (духа места). Речь идет даже о петербургском кино, работающем в жанре «некрореализма», в котором «образы старения, разрушения, увядания стали постоянным мотивом творчества» (Матизен, 2000, 7). Образ руин сопровождает героя фильма во время встречи с будущей подругой — временной, как и все его контакты. Молодые мужчина и женщина проходят, беседуя, среди каркасов разбитых ржавых трамваев, гигантских металлических мертвецов. Мир маленького провинциального городка, дома — это символическая могила. Туда Даниил отправляет старшего брата работать в милиции, что равносильно уходу на покой. Старший брат «выходит в тираж» и едет на родину, к бестелесной, бесцветной старой матери, тихо доживающей свои дни где-то на обочине большой жизни. По сути, мужчин здесь нет (впрочем, как и женщин), тление стирает половые различия, но существа из могилы играют важную роль в самоопределении фланера, подобно тому как прах предков в кожаном мешочке на шее аборигена помогает тому справиться с неприятностями и врагами.

Мир банды — здесь убивают и насилуют, не особенно раздумывая. Здесь живут враги фланера. Маскулинность мира банды, которую легко примеряет на себя Брат, — это агрессия, волчья конкуренция, законы выживания зоны и криминального мира — «умри ты первым, а я после тебя», но в то же время — неустойчивое и изматывающее равновесие доминирования, для поддержания которого требуется непрерывно прилагать brutальные усилия. Мы видим, как бандиты, словно пауки в банке, перекусывают друг другу горло. Однако несмотря на то, что вполне различим этот запах страха, источаемый тренированными телами, — будь то рынок, на котором столкнулись интересы противоборствующих группировок, будь то квартира старшего брата, в которой собрались «братки», чтобы поймать в ловушку Данилу, или жилище неизвестного «соратника», которого необходимо устранить, — везде действуют люди-тени. Классический мужской герой должен драться, чтобы зрители видели, как истекают кровью и наказываются его враги. Здесь же люди просто выключаются с помощью пистолета, как электромеханические игрушки.

Мир андерграундной вечеринки — это квартира, где собираются артисты, певцы, художники. Здесь поют песни, смеются и играют на гитаре, здесь обитает кумир нашего героя, рок-музыкант Вячеслав Бутусов. Эта квартира расположена в том же доме, этажом выше мира банды. Маскулинность жителей этого мира определяется знаками креативности, сопротивления официозу, ухода от рутины в обособленное пространство духовных соратников. Здесь небожители творят музыку протеста против буржуазности. Но граница, отделяющая этот мир от других, довольно зыбка — внизу осуществляется расправа с одним из конкурентов, убийцы приготовились и нервно ждут минуты, когда можно будет пустить в ход свое оружие. Даниил пришел в дом вместе с братками, он на секунду покидает банду и в поисках лекарства от головной боли появляется на вечеринке. В комнате улыбающиеся лица, слышна музыка, но... младший брат возвращается вниз. «Что, уйти хотел?!» — слышны слова одного из киллеров. «Хотел бы, ушел», — отвечает им младший брат. Возможно, наверху и был тот самый мир, где хотелось быть душе Данилы, но узнать об этом никому не дано, ноги несут его дальше, потому что остановиться означает перестать быть фланером.

Мир дискотеки — сюда приводит героя фильма случайная подружка Кэт. Это место встречи фланеров, здесь условно все, включая определение пола — кто ты, мужчина или женщина, зависит

только от твоего выбора. Сюда приходят, чтобы уйти, не задерживаясь, положиться нельзя ни на кого. Везде мигание огней, громкая музыка, слышна речь на разных языках. Множество соединенных между собой комнат, в которых люди фланируют, вдыхают наркотики, а встречи между мужчинами и женщинами ни к чему не обязывают, они функциональны и рациональны.

Во всех мирах Даниил свой, он легко входит в первое, и второе, и третье сообщества. Структура фильма указывает на сосуществование различных измерений реальности. Действие развивается в виде цепи коротких, самодостаточных повествований-сюжетов, четко отделенных друг от друга специальными отбивками — так, словно на сцене меняют декорации. Эти миры не организованы в иерархию — они все равноправны, поэтому так легко перетекать из одного в другой. Это один из основных признаков, по которому мы легко узнаем постмодернистскую культуру: «Культура... наделяется атрибутами плюрализма, отсутствием универсально закрепленного авторитета, уравнивания иерархий, интерпретативной поливалентностью» (Вауван, 1994, 31). Путь фланера по параллельным мирам напоминает историю жизни по классическому сценарию бытописаний чикагской школы: чистое детство, искушение, падение, раскаяние и спасение через страдание. Однако в фильме спасения/раскаяния/очищения нет. Фланер не может согрешить, совершая поступки, потому что живет в условиях, где мораль отделяется от этики. Он не ищет этических оснований, но «создает их в процессе самосоздания при остром осознании личной моральной ответственности за выбор» (Оберемко, 1997).

Может, это ангел или новый князь Мышкин, явившийся в мир, чтобы навести в нем мало-мальский порядок, соединить расколотые фрагменты подобно постсовременному бриколелу¹? И да, и нет. С одной стороны, идентичность Брата насквозь маскулинна, шаги, которые он предпринимает, направлены на упорядочение социальных связей в соответствии с неким ему известным порядком. Природа современной маскулинности, на взгляд Джорджа Моссе, может быть понята только из природы нормативного общества и идеологий, легитимирующих его, включая национализм, фашизм, большевизм (Mosse, 1996, 4). С другой стороны, одинокий городской боец Данила отличается от традиционных вершителей поряд-

¹ Бриколел — это ремесленник, собирающий вещи из подручных материалов, спонтанно, не имея предварительной схемы (см.: Weinstein D. and Weinstein M., 1991).

ка своей пустотой и неукорененностью. И в этой связи фланер претерпевает собственную внутреннюю эволюцию. В фильме рефреном звучит песня В. Бутусова «Крылья»: «Мы все потеряли что-то на этой безумной войне. Кстати, где твои крылья, которые так нравились мне...» Наш герой, явившись в этот мир фрагментарной постсовременности, перемещаясь между его пространствами, потихоньку теряет белые перышки со своих крыльев, проходя по кругам утверждения своей фланерской мужественности.

Маскулинность фланера двусмысленна: в одних контекстах мы видим ее классический тип, а в других — нечто новое и непривычное. Тогда мы спрашиваем, а поступают ли так мужчины? Где он, классический герой вестерна, сгорающий в пучине страстей или подобный Джеймсу Бонду, демонстрирующий свою побеждающую мужскую сущность на фоне мягкой, нежной и пылкой женственности? Фланеры — мужчины и женщины — сталкиваются друг с другом, подобно бильярдным шарам, вступают в сиюминутные акты рационального обмена и переносятся в новые миры. Мужчины здесь — не закаленные в боях зрелые бойцы с суровыми лицами, изборожденными шрамами, а супермальчики, безразличные, легко встраивающиеся в любые обстоятельства. Женские персонажи — девочки-мотыльки, живущие ночной жизнью, не заглядывающие вперед.

Кто же такой этот мужчина-фланер, то появляющийся, то исчезающий в мозаике постсовременности? Его жизнь напоминает виртуальное перемещение, серфинг в Интернете: из странички, где обсуждается бокс, мы переходим в пространство дискуссии о смысле жизни. Как утверждает Марк Оге, в таком мире, являющемся продуктом современных технологий и технологизированной социальности, отсутствуют «места», характеризующиеся своей историей, четкой идентичностью людей, взаимосвязями. Здесь существуют лишь пространства, «не-места», где история, идентичность и социальные связи проблематичны (Auge, 1999, ix).

Главное содержание идентичности мужчины, поселившегося в «не-местах», состоит в *свободе*, которая реализуется в виде возможности делать выбор среди множества связей, мест, видов занятости, форм удовлетворения потребностей. В отличие от маскулинных жителей мест, обладающих *целе-*направленностью и предсказуемостью, ориентированных на служение — государству, даме сердца, клану, — свободный мужчина-фланер ничему и никому не может быть надеждой и опорой. Он не связан какими бы то ни было обязательствами и выбирает свои экотопы и связи в зависимости от минутной потребности, нужды, желания.

Сексуальность фланера носит невыраженный характер. Она столь же незэмоциональна, как совершение убийства. Кодом, который помогает раскрыть природу сексуальности героя, выступает случайная подруга младшего брата — Кэт. Купив наркотики на деньги Данилы, она предлагает расплатиться с ним сексом, и пара «любовников» исчезает в кипении тусовки. Однако они не сближаются, дистантность подчеркивается минутными, безразличными и безличными интимными отношениями, выступая здесь характерной чертой сексуальности фланеров. Кэт — в наибольшей степени фланер, чем кто-либо в этом фильме, и кажется, что те деньги, которые Данила ей неожиданно передает в момент последней встречи, являются платой за науку фланерства.

Его тождественность, как и весь мир постмодерна, разбита на фрагменты, и если в одном фрагменте он защищает слабых, то в другом — выступает хладнокровным киллером, здесь он — мальчик, там — боец. В этом бесконечном фланировании единственной возможностью выживания остаются *свобода* безучастия, невовлеченность, помогающие фланеру оставаться легким. Остановиться, вовлечься во что-то полностью означает погибнуть. У фланеров нет четко отграниченных границ бытия, начала и конца, просто один из них сменяет другого, занимая его место в общем потоке перемещений.

Равенство

Аналитические проблемы, которые решаются в исследовании репрезентаций социального неравенства — это, во-первых, определение, кто допускается, а кто вытесняется на периферию или за пределы социальной приемлемости. Во-вторых, вопрос о том, каким образом в репрезентациях оформляются гендерные, расовые и иные социальные различия, как очерчиваются границы, как сравниваются между собой и характеризуются группы в отношении друг к другу (Jakubovicz, 1994).

Умберто Эко в исследовании нарративной структуры фильмов о Джеймсе Бонде говорит о необходимости прочитывать и понимать смысл сюжетов, помещая их в специфические социальные практики (Есо, 1966). Кто представляет оппозицию главному герою, какую функцию выполняет женский персонаж и каково социальное значение этих определений? В фильмах о Бонде в качестве злодея обычно выступает типаж с атрибутами чужого: он смешанной крови или из другого этнического ареала, асексуален, гомосексуален

или еще как-то ненормально сексуален, у него исключительные интеллектуальные или организационные качества, позволяющие ему ставить Бонда в трудные ситуации. В соответствии с социальным определением расовых различий, так называемыми «расовыми конвенциями», скорее всего он не англосаксонец, но представитель Советского Союза, Восточной Европы, еврей, араб. Женщина представляется жертвой, традиционным объектом мужского желания либо одним из злодеев («Золотой глаз»).

В нашем примере функции этнических других распределены следующим образом: герою «помогает» российский немец; евреи для него выступают смутным, неопределенным источником неприятностей; «лица кавказской национальности» — девианты и объект контроля (эти не желают оглачивать проезд в трамвае, хотя и с толстыми кошельками, за что и привлекаются героем к ответу, в то время как кондуктор их боится, а милиция в городе просто отсутствует. Мы видим стражей закона лишь в начале, когда действие происходит в далекой провинции); иностранные туристы — агенты заморского влияния, однако не слишком опасные, вызывающие лишь вялое раздражение; и уж вполне определенный этнически и политически «чечен» — властный хозяин рынка, «не дающий торговать русским», он — мишень заказного убийства. Впрочем, герой «эволюционирует» от признания права свободной торговли за «немцами» и уничтожения «чечена» до такого состояния, когда его враги и помехи становятся внеэтническими: достается и русским браткам, и главарю мафии, сыплющему народными поговорками, и просто чьему-то мужу.

Женщины здесь пребывают на своем традиционном месте: приниженное положение подчеркивается в одном случае принадлежностью к рабочему классу, в другом — к тусовке наркоманов, в третьем — старостью, неведением и одиночеством (мать). Чувство жалости вызывается у зрителя даже к героине, которая ценит человеческую жизнь выше, чем силу автоматического оружия. Женщина, плачущая о крыльях, от которых остались лишь «свежие шрамы на гладкой, как бархат, спине»², поруганная, избитая, и женщина-оболочка, витающая в облаках «травки и кислоты», — все это отработанный материал, не стоящий внимания (Романов, Ярская-Смирнова, 1999).

Демистифицировать кинорепрезентации гендерных и расовых отношений можно еще одним способом — через анализ темати-

² Слова из песни В. Бутусова «Крылья», взятые эпиграфом к фильму.

ческих определений этих отношений (т.е. в каких поворотах сюжета они возникают, и во имя чего разрешаются связанные с ними проблемы). Например, определение расы в британских массмедиа 60-х гг. в основном состояло из проблем иммиграции, отношений между черными и белыми, иммиграционного контроля, межгрупповой враждебности и дискриминации (Braham, 1986, 271—272). В фильме А. Балабанова тематические коды национальности и этничности — это лютеранское кладбище, ставшее прибежищем для бомжей и пьяниц; борьба с «кавказцами» за черный рынок не на жизнь, а на смерть; туризм и прожигание жизни иностранцами; «трамвайное хамство» все тех же кавказцев. Все это символические коды беспорядка и опасности, которые почему-то олицетворяются не русскими, а этническими Другими. Безвластные тела женщин появляются, когда разговор заходит о насилии, старости, бедности, наркомании, безысходности. Здесь уместно вспомнить идею С. Джилман о том, что *оба* качества — раса и пол — имеют одинаково большое значение в социальном конструировании «идеального» мужского тела, каждая из этих категорий усиливает регуляторную власть другой посредством означивания инаковости (Gilman, 1989, 255—261).

В таком понимании люди разных национальностей, женщины и мужчины, бомжи, мафиозо и «режиссеры радиопрограмм» действительно *равны*, даже тождественны в своей зависимости от более сильного. Все они — объекты весьма сомнительной героики доморощенного Шварценеггера, вся оригинальность которого заключается в предпочтении андеграундовой музыкальной культуры. Впрочем, маргинальный стиль любимой им группы не указывает на социальную избранность или отверженность персонажа. «*Брат*» — такой же штамп в копилке терминаторов, рэмбо и уокеров, только с еще меньшей долей политической корректности, чем это принято или позволено в Голливуде (Романов, Ярская-Смирнова, 1999).

Братство

Главный персонаж фильма — молодой мужчина, и само название ленты является его характеристикой, поскольку содержит много коннотаций с социальной концепцией мужественности. Во-первых, это представления о братстве как форме товарищеских отношений между мужчинами, построенных на взаимной преданнос-

ти, долге и ответственности («фронтовом братстве», «братстве по оружию», «духовном братстве религиозно-мистического характера» и т.п.). Так обращаются к незнакомому ровеснику-мужчине, выражая добрые намерения и претензию на неофициальность, на отношения накоротке. Наш соотечественник угадает здесь жаргонное обозначение члена криминальной группы — «братка». Написав это, мы живо представили себе данный культурный тип — коротко стриженные крепкие парни с борцовскими шеями, облаченные в спортивные брюки и кожаные куртки... Итак, еще до просмотра ленты возникает образ «брата», которого мы еще не видели. Это образ классической мужественности, в котором присутствует долг и со-дружество, характеризующие «настоящего» мужчину, презрение к официальной дистанции формальных отношений и не-свободе, сила и жесткость.

Оправдываются ли наши ожидания увидеть нового ковбоя с рекламы сигарет «Мальборо», бродягу, странника, выходящего победителем из схваток с суровой природой и врагами? Вполне. Мы видим младшего брата с «пистолетом наперевес», повергающего в прах бандитов, с необычайной легкостью расстреливающего их из небольшого самодельного пистолета. Даниил проходит свой путь по городу Раскольникова почти невредимым, уничтожая всех своих врагов и наводя «порядок». Наш герой неразговорчив, лишен эмоций, он молчит и действует, когда все кругом горит в огне и люди корчатся от страха, боли, безысходности или в припадке истерики. С одной стороны — это молодой человек, почти мальчик, неуверенный, вежливый, неразговорчивый и наивный. Однако из текста фильма мы узнаем (слышим от третьих лиц, сами не являясь свидетелями), что этот мальчик в состоянии справиться в драке с несколькими охранниками, он стреляет метко, как Рэмбо, он только что пришел из армии, служил (хотя бы и «писарем при штабе», а может быть, и был в боях?..) в Чечне — и все сразу становится на свои места.

Эти плохо замаскированные указания на армейский опыт играют важную роль в конструировании мужественности главного героя. В отечественном контексте армия всегда рассматривается как тяжелое и опасное испытание, созданное исключительно для мужчин. Случаи из казарменной жизни, шутки, фотографии и стихи в «дембельских» альбомах являются важными элементами биографии, но особое значение в пред- и постперестроечное время имеет опыт войны в Афганистане и Чечне. Как полагает А. Ротундо, спортивные игры, военные игры и участие в военных дей-

ствиях внесли существенный вклад в конструирование социальных представлений о мужественности, распространенных в Европе конца XIX в. и в период Первой мировой войны (Rotundo, 1993, 232—239). В частности, было широко распространено убеждение, что война развивает в мужчине такие боевые качества, которые нужны ему для борьбы за жизнь. В массовом сознании бытовала неразрывная связь между осуществлением военного идеала мужчины и выполнением задач империи за рубежом. Военный контекст представляли усиливающим индивидуальные способности преодолевать боль и страдание, даже контролировать эмоции, развивающим такие характеристики, как честность, доверие, преданность товарищам, «прочность» и героизм (Mrozek, 1987, 220—241), а сопровождающие войну жестокость, агрессивность и национализм игнорировались.

Нам представляется, что постармейская мужественность Данилы решена в фильме в традиционном шовинистско-маскулинном духе «закаленного бойца». Эта трактовка несколько расходится с выводом о девальвации мускулинного образа армии, наиболее интенсивным в период первой чеченской кампании, когда военные постоянно и с раздражением говорили о том, что у них связаны руки, нет свободы действий, о зависимости от прихоти политической линии различных групп влияния в Москве (Ушакин, 1999). Наряду с общим разочарованием в дееспособности армии и в армейской службе как способе утверждения мужской идентичности широкое распространение получил образ «стойкого оловянного солдатика» — героя, преданного политиками и командованием, но способного в одиночку противостоять полчищам хитрых и сильных врагов. Такой тип одиноких бойцов, брошенных своей армией, был достаточно типичен для американского поствьетнамского кино. В этих фильмах молодые ветераны войны возвращаются домой, где их никто не ждет, и, сталкиваясь с ложью и хаосом, используют свои боевые навыки для наведения порядка. Таким образом, мужественность здесь имеет характер реванша. Утилизация особых качеств фронтовых героев, вернувшихся в мирные города, протекает в условиях, приближенных к военным, граница между мирной жизнью и войной размывается. Поскольку классический мачистский тип героического деятеля помещен в контекст постмодернистского города с его неопределенностью и размыванием иерархий, мужественность героя подчеркнута эго-центрирована, она оформляется исключительно в виде индивидуального действия, личного

выбора с подчеркнута равнодушной утилизацией подвернувшихся под руку ресурсов, в том числе человеческих...

Младший брат приезжает в большой город, одетый провинциально. Кэт, девушка дискотеки, советует ему купить новую одежду. В течение фильма герой будет еще не раз переодеваться. В каждом из миров свои нормы, и необходимо быть аутентичным, соответствовать тому месту, в котором протекает актуальное взаимодействие. Герой легко приспосабливается к жизни в параллельных мирах, он везде свой. Идентичность здесь подобна одежде, фланируя, ее меняют в зависимости от контекста, это скорее *аутентичность* — способность вписаться в определенные условия и совпасть с ними. Одевшись в старенькое пальто, Даниил ходит по рынку, выслеживая главаря местной мафии, и меняется совершенно: он предстает интеллигентным молодым человеком в очках, из обедневшей семьи каких-нибудь потомственных учителей. Он не выделяется из десятков таких же горожан, внезапно оказавшихся почти на самом дне. Кто этот человек на самом деле? Фланер неидентифицируем, мы можем определить его пол и возраст, но дальше этого дело не идет.

Образ старшего брата в фильме предлагает еще один контур рассуждений о зыбкости определений маскулинности постмодерного общества. Мы знаем, что в этой семье не было отца, погибшего в тюрьме. «Брат!.. ты же мне был вместо отца...» — говорит Даниил. По мере развития сюжета фильма брат-отец переопределяется. Старший брат в начале — не тот, которого мы видим в заключительной сцене. Деградация мужественности начинается уже с первого его появления, где выясняется, что он не тот, за кого себя выдает своим близким. И, даже увидев встречу братьев, где старший предстает в новом костюме, в богатом интерьере своей квартиры и дает младшему деньги «на обзаведенье», мы не можем отделаться от мысли, что этот преуспевающий, уверенный делец не так уж уверен в себе — он словно бы исполняет чужую роль. В одной из заключительных сцен фильма брат предстает перед нами почти голый, в трусах. Дети ветхозаветного Ноя, накрывая пьяного отца плащом, старались не смотреть на его наготу, чтобы не усомниться в могуществе патриарха. Здесь же происходит инверсия. Старший брат — это уже не тот «отец», которого мы знали раньше, он утратил свои права и покорно принимает свою символическую смерть: Даниил отправляет брата к матери, в символическую могилу, берет деньги и руководит его действиями, подобно тому как старший руководит младшим.

Старший брат не только в этой сцене перестает быть «отцом», он заранее передает дело своему символическому сыну, кроме того, подвергая его опасности. Впрочем, этот сюжетный ход вполне укладывается в формулу структурно-исторического анализа народной сказки. Если воспользоваться идеями В. Проппа, то фигура отца, посылающего чадо навстречу опасностям-испытаниям, просматривается на фоне социализирующих практик *rites de passage*, отмечающих переход в полноправное состояние взрослости. Именно в этом и состоит позитивная функция «предательства» старшего брата: как будто учитель уступает дорогу ученику, поощряя того к самостоятельности и стимулируя независимое поведение младшего ситуацией трудных заданий, конфликта и даже измены.

Однако младший брат не остается на месте старшего. Город «отнимает силу», и в нем могут выжить только фланеры, безразличные и гибкие, способные перемещаться в его пространстве, перетекать, подобно капле, по поверхностям призрачных сфер. Внимательный зритель фильма может задать вопрос: «Вы говорите о безучастии главного героя. А как же его возлюбленная женщина — водитель трамвая?» В какой-то момент кажется, что младший брат может остаться с ней, но траектория фланера направлена в другие миры, и он оказывается любим, но отвергнут. Подруга предпочла Даниле пьяницу-«мужа» — пусть от него придется терпеть побои, но он персонаж стабильный, зафиксированный в пространстве ее коммунальной квартиры, привычного мира рабочей окраины Петербурга.

Что же такое «*Брат*» — идентичность без границ, без определения? Идентичность центрального персонажа фильма основана на воле к власти, но отсутствует как в политическом, так и в субъективном смысле. В центре ее — отсутствие саморефлексии, пустота, покрывающая неосознанную амбивалентность, определение которой может быть воспринято только в репрезентациях, создаваемых для «другого», репрезентациях, делающих все угрожающее, негативное, нерациональное атрибутами «черных», иноземцев, рабочего класса или фемининности. Такой типаж сродни образу европейского колониста прошлого века, который более всего ценил независимость, в соответствии с чем все воспринимаемые проявления зависимости должны были контролироваться, эксплуатироваться и наказываться, причем характеристики зависимости привычно приписывались туземцам (Pojaczowska, Young, 1992, 198—219). Не признавая взаимной ответственности, пустая идентичность тяго-

теет к брутальности или нарциссизму как защите от посягательств на привычный социальный порядок, который только и позволяет ей существовать. Ирония в том, что постмодернистский фланер, осваивая в общем-то чужое для него социальное и географическое пространство, все-таки становится на якорь у фратрии новых русских колонистов, где утверждается особая *солидарность* — для «братков» (Романов, Ярская-Смирнова, 1999).

В 2000 г. в прокате появляется фильм «*Брат-2*», который во многом представляет собой цитирование первого «*Брата*». Он повествует о «подвигах» Данилы в Соединенных Штатах, куда тот отправляется по просьбе фронтового товарища, чей брат — российский хоккеист-контрактник — обманут американскими капиталистами. В продолжении «*Брата*» присутствуют все те же оппозиции, которые нами уже были рассмотрены, только здесь они более определены и карикатурно выразительны. Роли чужих здесь выполняют «торпеды» из службы безопасности банка, враждебные «хохлы»-мафиози из числа украинской диаспоры в Чикаго, чернокожие бандиты — агрессивные и беспринципные. Свои — фронтовые товарищи, мужчины — волшебные помощники из числа компьютерных хакеров, добродушный американец — водитель автотрейлера и немногословный телохранитель поп-звезды. Место женщин в фильме сведено к нескольким условным и вспомогательным фигурам, каждой из которых Данила презрительно овладевает и использует в собственных целях: поп-певичка Салтыкова, чернокожая ведущая чикагских новостей и бритоголовая русская проститутка. Младший брат по-прежнему демонстрирует преданность, скупые эмоции, супервыживаемость в различных мирах и обстоятельствах и боевые навыки легкого на подъем насилия. Отстрел врагов здесь обильнее, чем в фильме «*Брат-1*», но смерть их более легка. В целом концепция насилия, передвижения в пространстве и секса здесь легко описывается в терминах компьютерной игры («*Принц Востока*» или «*Doom*») — переход с уровня на уровень, поиск и овладение нужными ресурсами (женщины, деньги, оружие), ликвидация вражеских фигур, появившихся на пути. Даже перспектива, с которой снято уничтожение людей-помех, копирует ту, что предлагается в игре «*Doom*»: перед нами вытянутая рука с автоматическим пистолетом и узкие коридоры, в которых появляются тела и сразу падают под вспышками выстрелов.

Здесь, с еще большей силой, чем в первом «*Брате*», характер потребления связан с выстраиванием мужской идентичности. В одном случае мы видим, как провинциальный парень, приобре-

тая стильную одежду и CD-плеер, примеряет удобный «фрак» (Ушакин, 1999) — стиль одежды и жизни, позволяющий фланеру комфортабельно чувствовать себя в выбираемых экотопах. В другом случае брат спасается от полиции США, приехав в аэропорт Чикаго на роскошном лимузине, упакованный в дорожную одежду и снабженный другими атрибутами состоятельного путешественника. Однако главный референт, относительно которого выстраивается маскулинная значимость героя, традиционен, как мир: оружие. Режиссер не раз возвращается к этой теме, и мы видим, каким уверенным и определенным становится наш персонаж и его альтер-эго — старший брат, — в очередной раз покупая, отнимая, получая что-то, способное стрелять. Ход этот достаточно понятен зрителю-мужчине, отождествляющему себя с главным персонажем. Легко достичь неуязвимости, для этого лишь стоит обзавестись огнестрельным оружием.

Куда движется фланер?

С позиций критической социальной теории рамки интерпретации задаются активной ценностной позицией ученого. Эта перспектива позволяет вскрыть властные практики, находящиеся вне и внутри текста, и определить социальную роль кинорепрезентаций. В центре нашего анализа было политическое и социальное значение и власть кинодискурса. Кинокамера в данном случае выступает в качестве идеологического аппарата, медиатора социальных конфликтов. Фильм, использующий деструктивные стереотипы, репрезентирует зависимость как нечто нетерпимое, экскрементальное и проецирует это на другие этничности и женщин, чтобы усилить современные идеологии маскулинности полукриминального большинства, которые отрицают потребность и возможность социального партнерства, основанного на взаимозависимости и уважении. Модель плюрализма, в том числе в определении маскулинности, которую символизируют цвета французского (и российского) флага, устанавливается в культурную память нашего общества будто бы «с пиратского диска», сталкиваясь с противоречиями между риторикой демократии и повседневными жизненными практиками (Романов, Ярская-Смирнова, 1999).

Так кто же такой Брат — случайный образ из боевика, построенный с применением отработанных европейско-голливудских художественных технологий к грубой реальности российской чер-

нухи, или знак нашего времени, фигура нового мужчины, проступающая из рассеивающегося тумана постперестроечной неопределенности? На наш взгляд, этот фильм позволяет задуматься над определениями маскулинности в эпоху Большой трансформации, переживаемой Россией. Прежний монолит социальной жизни большой многонациональной идеологически цельной империи оказался расколот на множество разнообразных фрагментов, пронизанных факторами глобализации, среди которых различимы и новые технологии, и воздействие международных корпораций, и информатизация общества. Постмодерн стал в России реальностью на фоне неразберихи и аномии, где выкристаллизовывается образ мужчины, приспособленного к такой неопределенности. Этим мужчиной оказывается легкий на подъем фланер, обретающий собственное значение лишь за счет внешних референтов, в том числе символических и материальных ресурсов, предлагаемых обществом массового потребления. Российской спецификой для такого фланера оказывается агрессивная нетерпимость и склонность к хирургическому вмешательству в проблемы, рожденные переходом. В этом состоит наше прочтение фильма «*Брат*», коммерческая природа которого оказывается несовместимой с идеями демократии и обнажает важные проблемы отечественного кинематографа и современного российского общества.

Сюзан Ларсен

МЕЛОДРАМА, МУЖЕСТВЕННОСТЬ И НАЦИОНАЛЬНОСТЬ: СТАЛИНСКОЕ ПРОШЛОЕ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ЭКРАНЕ*

Когда зимой 1996—1997 гг. главный редактор журнала *Сеанс* Любовь Аркус проводила круглый стол с участием видных российских кинокритиков, она поставила следующий вопрос:

Почему за все десять лет, прошедшие с момента отмены любых запретов, в отечественном кино не было адекватного литературе воплощения сталинской темы и почти все попытки в этой области были обречены на ту или иную степень неудачи? Почему приоритетное развертывание темы происходило именно в жанровом кинематографе, в то время как «авторы» обращались к ней, не иначе как вооружившись пресловутой иронией и не забывая обнажить условность приема? (Аркус и др., 1997, 96)

По-моему, ответ на этот вопрос не так интересен, как допущения, что лежат в его основе, тем более что эти допущения разделя-

Перевод с английского Натальи Кигаи.

• Я благодарна Нэнси Конде, Григорию Фрейдину, Елене Гошило, Владимиру Падунову и Ванессе Шварц за моральную поддержку и вдумчивые комментарии к ранней версии этой рукописи. Также я выражаю глубокую признательность комиссии по научной работе Сената Калифорнийского университета в Сан-Диего, оплатившего мои поездки и давшего мне, таким образом, возможность закончить данное исследование. Моя особая благодарность — организаторам кинофестивалей в Сочи, *Фестиваля фестивалей* в Санкт-Петербурге и *Московского международного кинофестиваля* за их любезное гостеприимство в летние сезоны 1994—1997 гг.

Настоящая статья представляет собой пересмотренный и существенно дополненный вариант публикации на английском языке (Larsen, 2000). Я благодарю издателей *Studies in Twentieth Century Literature* за разрешение на перепечатку материала.

ли практически все участники дискуссии. Критики говорили о необходимости добиться создания «точного» кинематографического портрета сталинской эпохи, достичь того, что в литературе сделали Александр Солженицын и Варлам Шаламов. Все выступавшие соглашались, что подобная задача заведомо исключает из рассмотрения жанровое кино, поскольку, как заявил Сергей Добротворский, «жанровые составляющие не только несоединимы с исторической правдой — они ей противопоказаны» (Аркус и др., 1997, 100). Большинство критиков также сошлись во мнении, что сталинистское прошлое перестало интересовать и волновать современную российскую аудиторию. И почему-то никто не задался вопросом, каким образом исторически «неправильные» жанровые кинокартины, развивающие тему сталинизма, отражают дилеммы, стоящие перед современной Россией¹.

Единодушное мнение критики, что жанровое кино решает сталинскую тему неточно, неадекватно и несерьезно, вполне объяснимо в рамках культурного контекста, в котором понятие «жанровый» однозначно ассоциируется с низкопробным вкусом и погоней за прибылью. Как подчеркивают многие критики, российские кинематографисты практически неспособны создать приемлемый жанровый фильм, поскольку существовавшее в советское время табу на такие «буржуазные» жанры, как мелодрама, фильм ужасов или боевик, препятствовало профессиональному совершенствованию в этом направлении². Другим аргументом в разговоре о том, почему многие одаренные российские режиссеры не хотят ставить жанровые фильмы, является существование давней почтенной традиции российского авторского кино. В то время как постсоветская кинокритика твердит о необходимости освоения жанрового кино, способного привлечь зрителя в кинотеатры, сама она сплошь и

¹ Несмотря на то что критики считают жанровые фильмы, посвященные теме сталинизма, неточными и несущественными, следует отметить, что, с тех пор как в 1987 г. была учреждена премия «Ника» (российский «Оскар»), из одиннадцати наград за лучший фильм года четыре получили картины, открыто ставящие проблему сталинизма: «Покаяние» (1984—1986) Тенгиза Абуладзе, «Холодное лето 1953-го» (1988) Александра Прошкина, «Анкор, еще анкор!» (1992) Петра Тодоровского и «Вор» (1997) Павла Чухрая. Фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем» (1994), действие которого также происходит в сталинскую эпоху, мог бы также попасть в этот список, не откажись автор участвовать в номинации.

² Краткий обзор советских взглядов на жанр мелодрамы в кино можно найти в работе: Дымшиц, 1987.

рядом не верит, что популярность можно сочетать с серьезным подходом³. В силу этих причин российская кинокритика, как правило, обходит молчанием вопрос, ставший предметом данной работы: почему в постсоветское время российские кинематографисты при решении сталинской темы так часто обращаются к мелодраме, несмотря на запутанность ее нарративной стратегии и стилистические излишества? Вместо того чтобы клеймить мелодраму как легкомысленный жанр, я предлагаю посмотреть на нее серьезно.

В данной работе я хочу показать, что мелодрама, действие которой разворачивается в сталинскую эпоху, прорабатывает, несмотря на кажущуюся неадекватность формы и исторические неточности, весьма глубокую проблему — отношение современной российской культуры к историческому наследию сталинизма; причем именно условности жанра позволяют кинематографистам касаться специфических проявлений глубокой тревоги и скрытых амбиций, которые неподвластны более «реалистическому» художественному дискурсу. Фильм-мелодрама на тему сталинизма — не просто желание нажиться на сенсационном материале. Не является он и неуклюжей попыткой режиссеров продемонстрировать владение постмодернистской стилизацией и иронией. Скорее, использование в кино мелодраматической условности вызвано тем стремлением достичь нравственной однозначности, которую Питер Брукс считает основополагающим моментом формирования «мелодраматического воображения» конца XVIII в. Мелодрама, как я постараюсь показать, — это достаточно удачный выбор жанра в постсоветском кино, исследующем психологическое и культурное наследие сталинизма⁴.

Концепция возникновения мелодрамы на фоне социальных катаклизмов времен Французской революции, которую предлагает Брукс, позволяет провести аналогию с возникновением постсоветской мелодрамы на фоне политических и социальных катастроф эпохи распада коммунистической системы. Как пишет Брукс,

мелодрама выражает то, от чего сама берет начало: тревогу, порожденную страшным новым миром, в котором традиционные нормы морали и нравственности больше не существуют, не являются скрепляю-

³ Обзор постсоветской кинокритики дан в работе: Larsen, 1999.

⁴ Другие критические работы по современной российской кинематографии, посвященной сталинистскому прошлому, см.: Boym, 1993; Graffy, 1993; Lawton, 1993; and Youngblood, 1995.

шим общество социальным веществом... Мелодрама призвана демонстрировать снова и снова, что моральные мотивы можно все-таки отыскать и сделать зримыми... (Brooks, 1985, 20)

«Классическая мелодрама» в описании Брукса строится на поляризации нравственных оппозиций, что позволяет достичь «заметной, массовой, впечатляющей демонстрации торжества добродетели, прославления ее правоты и силы» (Brooks, 1985, 25). Брукс утверждает, что характерные для мелодрамы стилистические, эмоциональные и нарративные «эксцессы» являются следствием навязчивой потребности восстановить в правах и утвердить ценности «старого общества в его невинности» (Brooks, 1985, 32).

Мелодрама позднего советского и постсоветского времени, изображающая сталинскую эпоху, движима той же самой настоятельной потребностью сделать моральные мотивы зримыми, однако задача в данном случае осложняется своеобразием исторической и культурной ситуации, не позволяющей изображать общество времен сталинизма как «невинное» или «добродетельное» и в то же время толкающей авторов к утверждению героических мифов и ролевых моделей этой — ныне дискредитированной — эпохи. Именно эти противоречивые тенденции зачастую лежат в основе запутанных сюжетных линий и экстравагантных мизансцен киномелодрамы, в которой, по словам Кристины Гледхилл, «потребность идеологическая соседствует с потребностью психологической, и они не обязательно совпадают» (Gledhill, 1987, 29). Конфликт между нравственной апологетикой мелодрамы и стоящей перед ней политической задачей осуждения сталинистского прошлого как порочного периода советской истории зачастую приводит к тому, что в постсоветском кинематографе добродетель и грех рассматривают скорее в рамках половых, нежели политических различий. Это создает ощущение напряженности и исторической недоуверности.

Брукс пишет, что мелодрама персонализирует добро и зло. Многие постсоветские мелодраматические фильмы, посвященные сталинской теме, не только персонализируют моральные качества, они сексуализируют их в грандиозной попытке выстроить постсоветскую историю и постсоветский кинематограф, способные воплотить в себе величие сталинистского прошлого и одновременно осудить его политические злодеяния. Мелодрама, как писали многие кинокритики, привязана к прошлому «поиском утраченного, невыразимого, вытесненного» (Gledhill, 1987, 32). В случае пост-

советской исторической мелодрамы вытесненный плач по утраченному, некогда героическому прошлому находит выражение в сюжетах, оплакивающих утрату мужской чести, нравственного авторитета и — во многих случаях — половой потенции. Именно поэтому страдающая невинность в этих фильмах представлена мужчинами, причем добродетель их никогда не торжествует. Герой такого фильма, как правило, гибнет — его казнят или он кончает с собой.

Трансформация страдающей, а следовательно, добродетельной героини мелодрамы в страдающего, а следовательно, добродетельного героя является, по моему мнению, ответом на кризис идентичности, который переживает Россия с момента развала коммунистической системы. Кризис этот состоит в невозможности различить, что значит быть русским и что значит быть советским, то есть замешанным в преступные деяния советской власти. Если другим бывшим советским республикам и странам Восточной и Центральной Европы сегодня легче отмежеваться от коммунистического прошлого как от чего-то «привнесенного извне», то Россия, как заметил недавно один исследователь, «не может позволить себе такой роскоши» (Urban, 1994, 733). Именно поэтому критическое изображение постсоветского общества использует в последнее время метафору половых различий, которая отвлекает внимание от других, более трудно уловимых различий — между «русским» и «советским», «жертвой» и «палачом» — или прямо заступает на их место. Сегодня большинство жителей России, независимо от пола, социальной принадлежности или политической ориентации, считают, что половые различия детерминированы биологически, а потому «естественны» — идея, что они «неестественны», сконструированы, подвержены переменам, встречается здесь крайне редко. Поэтому в период политических и социальных катаклизмов кажущаяся стабильность половых различий превращает их в утешительный и весьма удобный суррогат других, менее очевидных, а потому и менее подходящих для мелодрамы различий⁵.

⁵ Важно отметить, что независимо от своей политической принадлежности критики эмансипации советской женщины считали ее «ответственной» за развал российской семьи и общества, подростковую преступность, самоубийства мужчин и общий «кризис духовности». О том, как российская критика делала из женщины «козла отпущения», о фундаментализме как основной методологической платформе позднесоветской и постсоветской дискуссии о половых различиях см.: Goscilo, 1996; Larsen, 1993; Murav, 1995.

Данное рассуждение может показаться неубедительным в силу того, что российским женщинам были, как правило, недоступны ключевые посты в сфере политики и культуры. Однако постсоветская мелодрама, действие которой относится к эпохе сталинизма, менее всего озабочена воссозданием исторически достоверной картины: она стремится сконструировать в первую очередь визуальный образ прошлого, отвечающий психологическим запросам настоящего времени⁶. Существенная часть этого визуального образа прошлого — кинематографический артефакт. Как показывает, например, проведенное в 1992 г. исследование зрительской реакции на телепоказ фильмов сталинского времени⁷, советские фильмы 40—50 гг. пользуются горячей симпатией постсоветской аудитории. Многие популярные фильмы этого периода предлагают идеализированный типаж женщины — образцовой гражданки, и современный кинематограф, разрабатывая исторический сюжет, зачастую обращается к этому образу уже как к историческому факту, а не как к плоду художественного воображения⁸.

Хорошо знакомая россиянам иконография и популярные песни сталинского периода также дают богатый материал для фильма-мелодрамы, которому законами жанра предписано опираться на музыку и яркую мизансцену, взывать к эмоциям и создавать суррогат того психологического материала, который по каким-то причинам не может быть выражен непосредственно в диалогах или поступках действующих лиц (см. Nowell-Smith, 1987, 73). Визуальные и музыкальные символы сталинской эпохи — средство надежное и сильнодействующее. Они все еще имеют власть над чувствами аудитории и так и просятся в мелодраму. Размах и масштабы, свойственные сталинскому времени, — вспомним мону-

⁶ Интересная дискуссия о конструировании женских социальных и половых ролей в советский период содержится в: Attwood, 1990; Buckley, 1989; Lapidus, 1978.

⁷ Анализ телефонных звонков и писем зрителей в ответ на демонстрацию фильмов 30-х и 40-х гг. дан в: Маматова, 1993.

⁸ Из знаменитых фильмов сталинского периода, в которых женщина представлена примерной работницей и гражданкой, можно назвать для примера следующие: «Член правительства» (Зархи и Хейфец, 1939), «Девушка с характером» (Юдин, 1939), «Она защищает Родину» (Эрмлер, 1943), «Светлый путь» (Александров, 1940), «Свинарка и пастух» (Пырьев, 1941), «Кубанские казаки» (Пырьев, 1949), «Заговор обреченных» (Калатозов, 1950). О женщине в советском кино см.: Attwood, 1993; Стишова, 1997; Stites, 1992, 114—116; и Туровская, 1997.

ментальную архитектуру, всенародные фестивали, феерические мюзиклы, показательные судебные процессы, массовые аресты — идеальный материал с точки зрения жанра, который зачастую определяют именно в терминах стилистической или эмоциональной чрезмерности (см. Williams, 1999, 703).

Попытки визуального воссоздания сталинской эпохи неизменно наталкиваются на одну и ту же проблему: трудно, практически невозможно развести героический культурный миф той поры и чудовищные преступления, совершенные властью против своего народа. Несмотря на все исторические «неточности», созданная постсоветским кинематографом мелодрама о сталинской эпохе дает удивительно точный психологический портрет сегодняшней глубоко амбивалентной ностальгии по утраченной славе прошлого. Ностальгия эта питается сильнейшей тревогой, вызванной снижением культурного и политического авторитета России. Напряжение между идеологической потребностью отказаться от идолов прошлого и психологической необходимостью удержать, даже восстановить их славу и влияние объясняет, по моему мнению, почему так много современных кинокартин, посвященных сталинской эпохе, решены в русле эротического — а не политического — сюжета, в категориях половой, а не политической идентичности. Фильмы, на которых я ниже остановлюсь, сняты в разной манере и используют разные стилистические приемы, однако их общая озабоченность проблемой искушений и испытаний, выпадающих на долю мужчины в эпоху сталинизма, говорит о том, что идущие в современной России дебаты по поводу национальной идентичности испытывают на себе поглощающее, хотя и глубоко вытесненное, влияние своего рода комплекса кастрации. Определяя эти фильмы как мелодраму, я не имею в виду, что они представляют собой эмоционально перегруженное, с ярко выраженной моралью изображение сталинского времени, грубые вариации на одну тему. Я полагаю, что все они — плод постсоветского мелодраматического воображения, явившийся своеобразным ответом на попытку решить исторические и социальные ребусы современной постсоветской культурной ситуации.

Ниже я проанализирую проблему национальной, половой и исторической идентичности на примере трех фильмов, снятых в 1990-е гг. в России. Каждый из них демонстрирует средствами мелодрамы, что основной жертвой пагубной сталинской эпохи стал мужчина, точнее — героическая, легендарная мужественность. Три фильма — *«Анкор, еще анкор!»* (1992) Петра Тодоров-

ского, «Прорва» (1992) Ивана Дыховичного и «Серп и молот» (1994) Сергея Ливнева — объединяет также общая для них трактовка женственности: женщина в них становится основным агентом и символической представительницей сталинской власти⁹.

«Анкор, еще анкор!»¹⁰

Тодоровский позаимствовал название для своего фильма у живописца Павла Федотова (1815—1952); одноименное полотно последнего изображает взъерошенного, неопрятного офицера, дрессирующего собачку, — ей и адресованы слова «анкор, еще анкор!». Советские критики сходились во мнении, что картина порицает «моральную деградацию российской военщины» (Лаврентьев, 1993, 20). С этой точки зрения название подобрано удачно, поскольку действие фильма происходит на затерянной в бескрайних снегах военной базе, вскоре после окончания Второй мировой войны. С другой стороны, фраза «анкор, еще анкор!» легко может быть отнесена к репетициям хора, открывающим и завершающим фильм, а также к постельным сценам, пронизывающим все его действие.

В названии содержится и намек на сюжетные повторы, поскольку действие фильма разворачивается вокруг одной темы — «моральной деградации», наступающей, однако, не в силу армейской жизни как таковой, а вследствие половой невоздержанности героев. При этом половая невоздержанность становится возможной благодаря буквально *мело*-драматическим обстоятельствам, а именно в результате доукомплектования местного военного хора женским контингентом. Для героев фильма данное новшество имеет поистине катастрофические последствия, и каждый из них

⁹ В отличие от «классической» голливудской мелодрамы 1950-х, эти постсоветские фильмы отталкиваются в основном от проблематики, связанной с конфликтами в общественной жизни, а не с доминантным женским характером или «напряжением в семье», как утверждает Лора Малви (Mulvey, 1987, 76). Фильмы, которые интересуют в данном случае меня, могут быть названы скорее «слезливыми» с мужской, а не с женской точки зрения.

¹⁰ Выдержки из доклада о фильмах «Анкор, еще анкор!» и «Прорва» были представлены на симпозиуме «Постсоветская культура в поисках новой идеологии», организованном Московским международным кинофестивалем 1995 г. и журналом *Искусство кино*. Отредактированная версия моего выступления была опубликована без моего ведома в журнале *Искусство кино* (1996, 2, 170—172). Настоящая статья является пересмотренным и значительно расширенным вариантом этого текста.

впадает в немилость у советской власти, преданный в процессе «невоздержанности» той или иной женщиной. Изображение мужской беспомощности и женской неверности в данном фильме далеко от традиционно мелодраматического, поскольку женские персонажи служат воплощением самых неприглядных свойств советской власти. Связь между женщиной и сталинизмом впервые открыто обозначается во время встречи командующего базой полковника Виноградова и аккомпаниатора, юного лейтенанта Полетаева. Лейтенант просит разрешения доукомплектовать хор женщинами, объясняя свою просьбу следующим образом: «Когда хор берет вот это (запевает сладким тенором): “Светит солнышко на небе ясное, цветут сады, шумят поля”, это еще туда-сюда. Но когда вот это: “О Сталине мудром, родном и любимом, прекрасные песни слагает народ”, понимаете, народ, это не только мужчины, но и женщины. Но у нас получается, что поет не весь народ, а только одна его половина».

В конце строфы о Сталине тенор Полетаева надламывается, будто показывая необходимость женского голоса, чтобы взять верхние ноты, которые не под силу мужскому, и убедить полковника Виноградова, что «хору нужны женщины», потому что, как он объясняет, «без них (женщин) песня о товарище Иосифе Виссарионовиче Сталине вообще не звучит». «Без них, — отвечает Виноградов, — ничего в жизни не звучит».

Однако в фильме есть еще что-то, что «не звучит». Имя Сталина упоминается только в этой сцене и в самом конце первой совместной спевки, когда дирижер по окончании репетиции восклицает в экстазе: «Слава великому Сталину!»¹¹. Хор в фильме не исполняет ту строфу, где поминается Вождь. Устанавливая многозначительную, хотя и неявную связь между Сталиным и женским контингентом хора, фильм как бы подталкивает аудиторию к определенной ассоциации: женское и сталинистское — одной природы.

«Анкор, еще анкор!» — фильм мелодраматический по самой сути, он предлагает радикальную поляризацию между добром и злом, между гиперсексуальной женщиной и принесенным в жертву мужчиной. Лишь два женских персонажа фильма не вполне обделены добродетелью — это обманутые жены, но обе они прежде всего матери, а следовательно, по определению лишены сексуальности. По логике фильма, материнство является альтернативой

¹¹ Слова и ноты этой песни (С. Алимов, «Россия») опубликованы в сборнике: Белов и др., 1950, 13.



Кадр из фильма *«Анкор, еще анкор!»* Репетиция оркестра.
На гармонии играет лейтенант Полетаев (Евгений Миронов).
За ним стоит слева Крюкова (Елена Яковлева),
а справа — Люба (Ирина Розанова)

сексуальности, а не ее результатом и следствием. Данное расщепление нагляднее всего продемонстрировано на примере метаний полковника Виноградова между двумя «женами» — сладострастным лейтенантом Любой Антиповой, живущей вместе с ним в казарме, которую вся база зовет его женой, и простоватой Тамарой, многострадальной законной супругой, проживающей инкогнито в полуразрушенном бараке с двумя их дочерьми. Второстепенный персонаж, майор Довгило, переходит из постели жены своего подчиненного, бесстыжей Крюковой, в объятия собственной милой и доверчивой, глубоко беременной супруги Веры, и обратно.

Вера и Тамара — исключения; все остальные выведенные в фильме женщины представляют угрозу для жизни, свободы и счастья своих мужей и возлюбленных. Данная закономерность проиллюстрирована сценаристом без лишних тонкостей: все мужчины в фильме находятся более или менее «на крюке» у главной злодейки, мадам Крюковой, в то время как самая «невинная» жертва, сержант Серебряный — фамилия эта говорит нам о характере героя раньше, чем мы узнаем, что он поет лирическим тенором, — является преданным сыном и исполнительным службистом. Как

отмечает Брукс, мелодрама как жанр стремится к «однозначной расстановке нравственных акцентов» (Brooks, 1985, 17), и в данном фильме мы наблюдаем, как при любом повороте сюжета снова и снова утверждается глубокая порочность женщины и беспомощная добродетель мужчины. Когда развратная машинистка из спецотдела армии, известного как СМЕРШ, приказывает сержанту Серебряному, «чтобы он к ней пришел на всю ночь, а то он больше не придет ни к кому, никогда», Серебряный не только игнорирует этот приказ, но совершает необдуманый поступок — пишет письмо, в котором называет ее «пожилой неприятной женщиной», и сообщает, что она его изнасиловала однажды ночью, застав в состоянии тяжелого опьянения. Разумеется, отталкивающая машинистка перехватывает письмо, читает его, рыдая крокодиловыми слезами, и в следующей сцене отряд СМЕРШа уводит молодого Серебряного, арестованного по обвинению в антисоветской деятельности. Полковник Виноградов пытается помочь, но Серебряного судят и приговаривают к восьми годам лагерей.

Гротескные домогательства похотливой машинистки и их чудовищные последствия для молодого Серебряного — одна из многочисленных иллюстраций хищной природы женской страсти — источника всех бед мужчины. Другой молодой военный, Полетаев, подвергается преследованиям «гражданской» жены полковника Виноградова Любы, которая выше его по званию и даже в постели обращается к нему: «лейтенант». В итоге Полетаев добровольно ищет перевода на службу в сибирский лагерь для немецких военнопленных, поскольку опасается, что назойливые домогательства Любы навлекут на него гнев полковника Виноградова.

Главной жертвой женской блудной природы является сам полковник, который к концу фильма оказывается в безвыходном положении: его любовница изменила ему с безалаберным Полетаевым, нелюбимая и непривлекательная жена приехала к нему жить; интриганка Крюкова шантажирует его и требует, чтобы он повысил ее никчемного мужа в звании; сам же он не смог отстоять Серебряного, и тому ни за что навесили лагерный срок. Виноградов — герой войны, принципиальный, заботливый и ответственный офицер, но на домашнем фронте он проигрывает сражение за сражением. Каждая сюжетная линия фильма развивает свою эротическую интригу, в конце все они сплетаются в узел, и полковник оказывается в положении, из которого не существует достойного выхода. Виноградов «приводит свои дела в порядок» единственным оставшимся ему способом: пьяный, в штатском, он сводит



Кадр из фильма «Анкор, еще анкор!»
Лейтенант Полетаев (Евгений Миронов)
и полковник Виноградов (Валентин Гафт)
наконец нашли общий — мужской — язык

счеты со своими недругами на базе, затем принимает душ, чистит ботинки, облачается в парадную форму, надевает боевые награды... и стреляется.

Эхо выстрела Виноградова еще звучит в пустом доме, а камера показывает нам крупным планом глобус — территория СССР на нем отмечена изображением серпа и молота. Камера отъезжает, мы видим военный хор, выстроившийся на фоне эмблемы советского государства, он выпевает строфу, с которой начинался фильм: «Где найдешь страну на свете краше Родины моей». Песня продолжается — «все края земли моей в рассвете, без конца простор полей», — кадры сменяют друг друга, мы видим всех героев и героинь: Люба, рыдая, покидает базу; пьяный Полетаев бьет кулаком в дверь пустого дома и выкликает Любино имя; машинистка, похотливо ухмыляясь, прищурилась и глядит на очередного молоденького сержанта; жена Виноградова плачет в темной комнате. Хор запеваёт: «Россия вольная, страна прекрасная, советский край, моя земля!» — обнаженная Вера любитесь перед зеркалом своим огромным беременным животом. При словах «советский край, моя земля» камера наезжает на Верин живот;

этот кадр повторяет изображение глобуса, обозначая тождество между беременной Верой и «прекрасной страной», о которой поет хор. С первой строкой следующего куплета — «нас враги не одолеют» — камера оставляет советскую мадонну и демонстрирует бытовую драку между капитаном Крюковым и его женой, они кричат и гоняются друг за другом по снегу в одном белье. Последовательность кадров усиливает контраст между горделивой риторикой песни о военном могуществе и унижениями домашней жизни и мирного времени. Музыка нарастает и крепнет; визуальные образы создают ощущение безысходности и тоски.

Музыкальное сопровождение фильма, так же как и его название, усиливает ощущение цикличности, возвратности его основных тем, одна из которых — тождество всего женского и всего обманчивого и губительного. Подобное представление о женской «природе» позволяет нам видеть в сержантах серебряных и полковниках виноградных невинных жертв таких женщин, как смершевская машинистка или беспринципная Крюкова. Фильм заставляет поверить, что, предоставленные сами себе, герои-мужчины повели бы себя достойно. Все беды начинаются, когда они вступают в общение с женщиной, которая играет в фильме Тодоровского ту же роль, что Ева в библейской истории. Армия теряет мужчин вследствие половой невоздержанности женщин: Виноградов кончает с собой, Серебряный отбывает срок, Полетаев уволен в запас.

Таким образом, логика фильма приписывает ответственность за преступления сталинистского прошлого, от которых страдали беспомощные отцы и беззащитные сыновья, плохим матерям и неверным женам. Герои Тодоровского очищены — на них не падает больше тень близости к советской власти и ее злодеяниям, к преступлениям сталинизма, поскольку во всем утверждается призмат сексуального, а не политического начала.

«Прорва»

Стилистически кинокартина «Прорва» представляет собой полную противоположность фильму «Анкор, еще анкор!» — трудно представить себе два более непохожих фильма, но и в ней суть сталинизма уравнивается с женским началом. Разумеется, в фильме «Анкор...» изображение женщины как проводницы и агента жестокой государственной власти дается весьма прямолинейными средствами. По выражению самого Тодоровского, фильм снят «в моей манере, без

изысков, традиционно», с четко проработанными причинно-следственными, временными, пространственными аспектами взаимоотношений (Смирнова, 1993, 14). Кинокритик Майя Туровская назвала его, и небезосновательно, «социалистическим реализмом с половыми органами» (Туровская, 1993). «Прорва», напротив, характеризуется резкими сменами сюжетных линий, а виртуозная работа оператора Вадима Юсова позволяет аудитории насладиться архитектурными и зрелищными эксцессами сталинского времени¹².

Считается, что фильм «Прорва» стал новым словом в постсоветском изображении сталинистского прошлого. В 1995 г. известный кинокритик и новатор в области кино Олег Ковалов назвал его «лучшим и талантливейшим фильмом о сталинизме» (Ковалов, 1995, 86). Такого же мнения придерживаются и множество других критиков¹³. Эти почтенные авторы вряд ли одобряют попытку определить эту картину как мелодраму: для них, как и для самого Дыховичного, она слишком «масштабна» — и по эстетическому, и по историческому замыслу, — а потому не вмещается в определение жанрового кино. Но я и не пытаюсь дать фильму такое определение. Моя точка зрения состоит в том, что конфликты, на которых выстроен сюжет, рождаются из по сути мелодраматического стремления к «однозначному осмыслению» нравственных проблем — как в речи, так и (когда речь оказывается бессильна) в том, что Брукс называет «немым жестом, взятым в качестве метафоры» (Brooks, 1985, 56, 75).

Брукс писал о мелодраме в театре и литературе, однако его анализ невербального способа выражения в мелодраме более чем пригоден и для исследования мелодрамы в кино, где «музыка и мизансцена не только повышают эмоциональное воздействие происходящего, но в некотором смысле и заменяют само действие» (Nowell-Smith, 1987, 73). В данном случае напряжение между «называнием» и «демонстрацией» психологического воздействия сталинистской мифологии рождает фильм, совмещающий вербальное осуждение нравственного и полового бессилия эпохи со зрительными образами, позволяющими лакомиться соблазнительными образцами иконографии того периода. Приглашая зрителя любоваться знаменитыми артефактами «высокого сталинского стиля» — богато

¹² Обсуждение анахронизмов — использования послевоенных сталинистских построек в фильме о 1939 г. — см. в: Трофименков, 1994; и Дыховичный, 1992а.

¹³ См., например: Любарская, 1994; Плахов, 1992; Трофименков, 1994; Зоркая, 1992; Тимофеевский, 1994.

декорированными станциями метро, грандиозным парадом физкультурников, искрящимся фонтаном Дружбы народов, — фильм фетишизирует сталинистский культурный пейзаж. Камера наслаждается его великолепиями с тем же сладострастием, с каким любовно и подробно демонстрирует красоту женского лица. Великолепные кадры Москвы, готовящейся к майскому параду 1939 г., создают зрительное впечатление могущества и дееспособности эпохи — впечатление, которое, в свою очередь, опровергают диалоги и сюжет. Некоторые критики усмотрели в «Прорве» то, что Светлана Бойм называет «ностальгией по тоталитаризму» (Boym, 1994, 247)¹⁴, однако точнее было бы сказать, что здесь «ностальгия» по великолепию сталинистского прошлого призвана замаскировать острый приступ посттоталитарной кастрационной тревоги.

В ряде интервью Дыховичный заявил, что основной проблемой в «Прорве» является «имперское сознание» (Дыховичный, 1992а, 19; 1992b, 13). Однако в сердцевину этого имперского сознания он неизменно помещает проблемы пола, их влияние на формирование современного положения вещей.

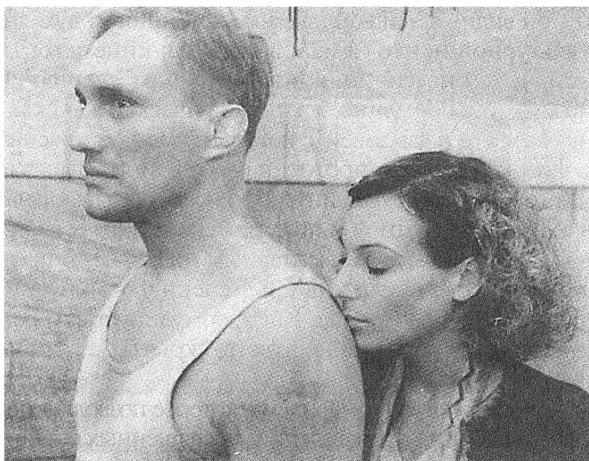
Для меня катастрофа этой [сталинской] эпохи и все, что с нами происходит сегодня, никакие не социальные проблемы. Как ни странно, это проблема пола. Первое, что ОНИ разрушают, — это мужчину, его превращают в раба, в полуничтожество, которое на глазах женщины попадает в самые унижительные положения. Затем ОНИ меняют женщину, уничтожая в ней определенные признаки. ОНИ — это такая мусть, серость, сначала их мало, потом они множатся и превращают все в ад. (Дыховичный, 1992b, 13—15)

В другом, более подробном интервью Дыховичный усматривает связь между исторической катастрофой и кастрацией:

Когда вы теряете достоинство, провидение наказывает вас — отнимает пол. Наша страна в этом смысле — типичный пример воздаяния за грехи — у нас бесполое общество. Это прежде всего касается мужчин [...].

Большевистская идея началась с уничтожения пола. Оруэлл понял это теоретически, а мы ощутили все это практически. Удивительно, что поколение наших отцов сохранило мужское достоинство, несмотря ни на что. Количество унижений, оскорблений, издевательств, лишений и трагедий, которое выпало на их долю, трудно себе представить [...]. Впервые свою героиню я увидел на фотографии 1938 года, дома у мое-

¹⁴ Ср.: Плахов, 1992, 11; Тимофеевский и др., 1994, 53; Трофименков, 1994, 50.



Кадр из фильма «Прорва».
Встреча Гоши (Евгений Сидихин) с Анной (Ута Лемпер)

го приятеля. На ней была изображена его бабушка в молодости — очень красивая, в декольтированном платье. В ее взгляде был вызов. Героини моих картин — женщины. Моим кумиром никогда не был Павел Корчагин. Кумиром была Женщина. (Дыховичный, 1992а, 18—19)

Эти высказывания примечательны во многих отношениях, однако особенно привлекает внимание утверждение, что «наше общество бесполое» и, несмотря на это, поколение «наших отцов» смогло сохранить «мужское достоинство». Отец Дыховичного (1911 г.р.) был, по сути, ровесником Павла Корчагина, героя культового романа Николая Островского «Как закалялась сталь» (1932—1934) — персонажа, который, по словам Дыховичного, не являлся его кумиром. Убеждение, будто «все мужчины были лишены пола коммунистами — все, но ней мой отец», предполагает нравственную дилемму, не чуждую многим современным российским фильмам на историческую тему, а именно: как можно сохранить чувство социальной, половой и культурной дееспособности, когда поголовно все герои эпохи — политические руководители, военные вожди, отцы поколения — в нравственном и историческом смысле подобны внухам?

Что значит в данном контексте противопоставить в качестве своего кумира Женщину (с большой буквы) Павлу Корчагину? Когда Дыховичный говорит, что предпочитает Павлу Корчагину

Женщину, он видит в ней воплощение потенции — духовной, половой, культурной и, что немаловажно для кинематографиста, визуальной, — той потенции, которую по определению утратили советские мужчины. Именно эта специфическая женская потенция привлекает его в «вызове», с которым смотрит красивая женщина на фотокарточке — прототип его героини. Высказывания Дыховичного в этих и других интервью ясно указывают на то, что представление о личностной и политической формах кастрационной тревоги — каким бы фрагментарным ни было это представление само по себе — в значительной степени формирует его профессиональное мировоззрение. Как формулирует сам режиссер, «фильм — это всегда отражение чувств, скрытых от самого себя» (Дыховичный, 1992а, 18).

Специфическим качеством фильма, которое позволяет поместить его абсолютно вне ряда произведений, посвященных сталинистскому прошлому, является неприкрытая озабоченность проблемой отсутствующих мужских членов и утраченной мужественности. В то время как рядовой фетишистский ритуал стремится вытеснить знание об имевшей место кастрации, фильм Дыховичного обращает внимание непосредственно на отсутствующее — обнажая и сам фетиш, и его скрытый смысл. Самым ярким проявлением подобной кинематографической метафетишизации является эпизод, посвященный сколь отчаянным, столь и бесплодным попыткам группы офицеров НКВД выучить жеребца по имени Рабфак ходить под маршевую музыку легкой рысью, дабы обеспечить маршалу эффектный, но безопасный выезд на майском параде 1939 г. После многочисленных неудач офицеры решают замаскировать под жеребца смирную кобылу Марсельезу, на которой командующий выезжал во время прошлогоднего парада. Когда адъютант выражает справедливое сомнение: «Вы что, думаете, командующий не отличит кобылу от жеребца?», у офицеров уже готов на него ответ. В бутафорской Большого театра они нашли — целых два — лошадиных члена и берутся приделать один из них кобыле, удлинив и увеличив его при необходимости для создания более мужественного эффекта¹⁵.

Следует заметить, однако, что «Прорва» не привлекла бы такого внимания критики только за счет насмешки над бутафорской му-

¹⁵ Согласно сообщению Дыховичного, все события в фильме, «даже история о жеребце», являются «самой настоящей правдой» и взяты из жизни — иногда из жизни членов его собственной семьи (Дыховичный, 1992б, 12).



Кадр из фильма «Прорва».
Замкомиссарша по культуре (Алена Антонова-Риваль),
как ее видел на суде Писатель

жественностью сталинских приспешников и приравнивания политического ритуала к театральному эффекту. Одно из самых сильных впечатлений от фильма — женские образы, причем каждая героиня представляет собой совершенно особый тип роковой женщины сталинского времени. Внутреннее напряжение фильма держится на сюжетных линиях, связанных с его четырьмя героинями и с теми специфически сталинистскими «действиями», в которых они играют главные роли. Главная героиня фильма — бывшая аристократка, чувственная певичка Анна, жена офицера НКВД, ответственного за выучку жеребца Рабфака. Мужу не удастся помешать своему коллеге по НКВД — садисту с детским личиком и шансонье-любителю Василию — изнасиловать жену, и Анна находит утешение в объятиях сильного, немногословного железнодорожного носильщика Гоши, пролетария до мозга костей, происхождение которого она то идеализирует, то высмеивает¹⁶. Первая встреча Анны и Гоши на вокзале — бессловесный момент взаимного узнавания, и это помещает их внезапно возникшую

¹⁶ Роль Анны играет немецкая певица Ута Лемпер, ее исполнительская манера напоминает манеру Марлен Дитрих в таких фильмах, как, например, «Марокко». Сходство особенно бросается в глаза в сцене, когда Анна завершает номер с пением и танцами перед группой пьяных офицеров НКВД шутилым поцелуем, данным беременной заместителю наркома культуры. Евгений Сидихин исполняет роль Гоши в слегка деревянной манере советского Гари Купера.

страсть друг к другу в совершенно мелодраматическую «сферу истинного чувства и истинных ценностей [...], неартикулированно-го, а потому и непосредственного выражения» (Brooks, 1985, 75).

В фильме присутствуют также три второстепенные героини, каждая из которых имеет некоторое сходство с Анной: эфемерная балерина, чье исполнение партии умирающего лебедя приводит в одинаковый восторг и невинного юного писателя, и садиста Василия; тяжело беременная, похотливая и мстительная заместитель наркома культуры, жена Василия; и серийная убийца Горбачевская, получившая помилование после того, как она забеременела в тюрьме. Мы редко видим этих дам на экране, однако в титрах Дыховичный отводит им первое место, помещая сразу после Анны, как бы подчеркивая их значение в деле создания коллективного портрета Женщины с большой буквы — его героини и кумира.

Все женщины в фильме, кроме балерины, смертоносны в полном смысле этого слова. Страсть, которую Анна испытывает к Гоше, приводит к заключению и чуть ли не смертной казни последнего; открытое политическое осуждение, которому подвергает писателя беременная комиссарша, доводит его до самоубийства; Горбачевская же, по словам ее адвоката, «заманила, убила и расчленила шесть мужчин, предварительно их ограбив». Мери Энн Дон охарактеризовала «роковую женщину» как существо, «которому свойственна некая трудноопределимая непростота... потенциальная эпистемологическая травма... которое таит угрозу, не вполне уловимую, предсказуемую, управляемую», как «амбивалентное существо, которое является не субъектом силы и власти, но его носителем» (Doane, 1991, 1—2).

По словам исследовательницы, роковая женщина «совмещает власть, субъектность и дееспособность с полным отсутствием этих свойств» (Doane, 1991, 3). Данный анализ понятия «роковая женщина» позволяет лучше разглядеть парадоксальную роль всех женских персонажей фильма, не исключая и кобылы Марсельезы. В качестве парадного средства передвижения главнокомандующего советскими вооруженными силами она в буквальном смысле слова является «носителем» и фаллического знака, и физического представителя сталинской власти. Замена Рабфака на Марсельезу символична: все женские персонажи фильма становятся, по замыслу Дыховичного, «носительницами» имперского сознания.

Женщины здесь воплощают как раз ту самую «трудноопределимую непростоту» и «эпистемологическую угрозу», которая и заставляет молодого писателя на протяжении всего фильма в муках

отыскивать синоним к загадочному русскому слову «прорва». Писатель ищет слова «совсем ясного», однако отвергает такие варианты, как «пропасть» и «бездна» — это «не то, неточно». «Прорва» — название его последнего произведения, посвященного тому, «чего в России боятся все». И хотя все боятся того, что зовется «прорвой», как объясняет писатель Анне, «на самом деле его нет, потому что это условно, это не человек, не понятие, а просто ничто, но ничто, которое втягивает и уничтожает... как прорва».

Перевести слово «прорва» оказалось так нелегко, что на западные экраны фильм вышел под названием «*Московский парад*». Понятие это относится и к «непомерно большому количеству чего-нибудь», и к «кому-нибудь или чему-нибудь, что-нибудь поглощающим», к «поедающему много чего-нибудь». Слово это означает то, что в фильме выведено как движущая сила сталинизма — живая, сама в себя затягивающая бездонная яма, непомерный голод. Непомерность видна в фильме всюду — в огромных памятниках, массовых манифестациях, запутанности сюжета, в замысловатых проявлениях женственности его героинь¹⁷. Неспособность писателя найти синоним к слову «прорва» намекает, что единственный возможный «синоним» к этому ключевому понятию — это сам фильм целиком.

Говоря о деталях, в первую очередь следует сказать, что фильм Дыховичного отождествляет женскую сексуальность — Женщину с большой буквы — с сущностью того, что «втягивает и уничтожает». Этот эффект достигается, в частности, тщательным расположением реплик относительно убийцы Горбачевской, о которой часто говорят мужчины в фильме, но которая сама почти невидима и появляется только в двух коротких сценах. Горбачевская не имеет активной роли ни в одной из сюжетных линий фильма, и зритель остается в недоумении относительно ее мотивов или личности ее жертв. Ее роль в фильме — чисто символическая, просто повод к тому, чтобы говорить о ней, и эти разговоры имеют непосредственное отношение к другим женщинам в фильме, либо явное, выраженное словами, либо неявное — посредством сопоставления или противопоставления. Например, сюжет в середине фильма переходит от первой встречи писателя с Анной к обеду, который был назначен у адвоката с Горбачевской — свиданию, чуть было не закончившемуся для него фатально. Смысловая связь между смертонос-

¹⁷ Пониманием «чрезмерности» данного фильма я обязана глубокой книге Владимира Падунова «*Поэтика чрезмерности*» (Падунов, 1995).

ным очарованием Горбачевской и губительным свойством эпохи, которое силится выразить в слове писатель, иллюстрируется в фильме резкой переменной кадра — сначала бегство адвоката из квартиры Горбачевской, затем попытка писателя объяснить свою настойчивую необходимость отыскать синонимы к слову «прорва».

И Анна, и Горбачевская одинаково соблазнительны, хотя каждая на свой лад. Адвокат говорит Анне, что у нее «опасная» красота, может быть, даже неотразимая, но что, однако, он «страстно, порочно» влюблен в убийцу Горбачевскую, которую тут же восторженно описывает как «монстра», чьим «поэтом» он себя теперь числит. В другой сцене адвокат представляет Анну писателю как «самую красивую женщину Москвы», провоцируя его на вопрос (в то время как образ запятнанной кровью, облаченной в кружевное белье убийцы лениво и безмолвно движется на экране): «лучше Горбачевской?». Писатель сообщает Анне, что она выглядит как «мечта», адвокат называет Горбачевскую «единственная субстанция в мире», однако и Анна с ее хрупкой красотой, и Горбачевская с ее плотским шармом обладают одинаковой смертоносной привлекательностью для мужчин, с которыми их сводит судьба. Адвокат собирается рисковать жизнью ради ночи с Горбачевской, которую он сравнивает с Клеопатрой, Анна же провоцирует окружающих ее мужчин на акты насилия.

И все же Горбачевская — не Клеопатра. Когда мы наконец знакомимся с нею «во плоти», она оказывается не экзотической, не величественной, но являет собой банально бабское, грубое, сексуальное воплощение того, что «засасывает внутрь, разрушает, внушает ужас, уродует». К большому огорчению адвоката, Горбачевская не слыхала о Клеопатре, не читала *«Египетские ночи»* и даже не вполне знает, кто такой Пушкин. Адвокат предвкушает, что станет ее седьмой жертвой, но она, слишком усталая, чтобы перерезать ему горло, засыпает с открытой бритвой в руке. В процессе бегства от Горбачевской адвокат три раза едва ускользает от смерти: кирпич падает, едва не задев его голову; уголовник угрожает ему ножом; наконец, офицер НКВД, усталый оттого, что работает «день и ночь», чуть не сбивает его машиной, потому что засыпает за рулем (почти как Горбачевская в постели). Быстрая смена угрожающих жизни адвоката эпизодов несколько девальвирует роль Горбачевской как воплощения злой силы, населяющей советскую столицу.

В отличие от Анны и балерины, Горбачевская — не красавица; она похожа, по словам адвоката, на «похудевшую матрешку», ко-

торая «олицетворяет собой специфический вид вожделения», определяемый им как «советский». На самом же деле четыре героини фильма вместе составляют такую матрешку — вариации на одну и ту же тему, и каждая повторяет в себе свойства другой.

Упоминание о матрешке важно еще и с точки зрения того, какую роль в фильме играет беременность. И Горбачевская, и заместитель комиссара обе используют беременность, чтобы им «сошло с рук» убийство. Обвинения против Горбачевской теряют силу, потому что она беременеет, по совету и с помощью адвоката; заместитель комиссара использует свою беременность, чтобы придать особую силу своему публичному обвинению против писателя перед судом его коллег. Она заявляет, что, даже будучи «трижды женщиной, трижды беременной», она бы настаивала на высшей мере наказания. Пока она повторяет эти слова — «Будь я трижды женщина, будь я трижды беременна», — камера раздевает ее. Друг друга сменяют лицо писателя крупным планом и изображение голой беременной женщины-комиссара, продолжающей настаивать, чтобы писателя расстреляли. Эта смена кадров иллюстрирует изумление писателя при осознании факта, что самый безжалостный его обвинитель — женщина и мать¹⁸.

Комиссарша — такая же убийца, как Горбачевская, поскольку ее обвинительная речь заставляет писателя броситься из окна своей квартиры на последнем этаже в пространство — еще одну форму прорыва, найдя смерть на мостовой. Беременность этих двух поистине роковых женщин только усиливает ассоциативную связь между женственностью и таинственной силой, которая все затягивает в себя и уничтожает. Недвусмысленные заигрывания комиссарши с адвокатом также делают ее похожей на Горбачевскую: покуда адвокат рассказывает свой план обеспечения помилования для Горбачевской на основании ее беременности, а муж комиссарши и его коллеги по НКВД внимательно его слушают, сама она держит руку под столом, деловито двигая ею у него между ног. Мужчины за столом шутят, что не могут, подобно Горбачевской, освободиться от ответственности за убийство, поскольку им-то «не забеременеть». Сцена эта горька и иронична: в 1939 г. сотрудники НКВД повседневно совершали убийства и не несли за это никакой ответственности.

¹⁸ Два друга-мужчины также предают писателя, однако самый болезненный, смертоносный удар наносит именно заместитель наркома по культуре: она публично признается, что ей он посвятил свое первое стихотворение.

В отличие от женских персонажей фильма, герои-мужчины в нем слабы и бесцветны. Анна говорит, что все офицеры НКВД — бесполое, а также обвиняет своего мужа Саню в том, что он «ничего не может» в половом отношении — во время этого объяснения она сидит на нем, распростертом, верхом и бьет его по ушам. Даже самая «невинная» жертва фильма — писатель — в основе своей существо пассивное. Испытывая на себе силу женского обаяния, писатель, по словам адвоката, «не пристает к красивым женщинам». Вместо этого он «от них, ах, радуется». Можно объяснить разнообразные формы мужской асексуальности, представленные в фильме, воздействием гнетущего сталинского режима — так, по крайней мере, полагает Дыховичный (см. интервью). Однако когда балерина рассказывает историю своего соседа дяди Коли, который начал говорить о себе в женском роде после того, как был ограблен двумя тетками на железнодорожном вокзале, становится понятно, что «дядя Коля» стал «тетей Колей» в результате его/ее столкновения с повседневной женской жестокостью, а не вследствие каких-либо политических причин.

Единственные «настоящие мужчины» в фильме — жеребец Рабфак и вокзальный носильщик Гоша, которого муж Анны называет «обыкновенный самец»: оба отличаются крутым нравом, мужественностью, нежеланием сотрудничать с властью, а также «пролетарским происхождением». Версия фильма, показанная в Европе и США, открывалась врезкой, гласившей: «в 1939 г. только женщины и лошади отказывались повиноваться НКВД, этому инструменту абсолютной власти Сталина»¹⁹. На самом деле, это не совсем так: Рабфак и Гоша отказываются плясать под музыку НКВД, однако Анна танцует чечетку с офицерами, а балерина принимает их восторженное одобрение.

Несмотря на постоянные заявления Дыховичного, что его героиней является Женщина, женские персонажи фильма являют собой всего лишь соблазнительные выпуклости сталинистского культурного ландшафта, обладающего гибельным, фатальным очарованием в глазах мужчины. Российская критика признает и поддерживает подобную точку зрения. Так, Нея Зоркая хвалит актрису, исполняющую роль комиссарши, за то, что она создала «обобщающий, емкий и узнаваемый портрет партдамы от искусства, из тех, кто руководили нами сверху донизу — от секретарши ЦК по культуре до профессор-

¹⁹ Российские копии фильма не содержат этого текста; видимо, он был введен исключительно в интересах западной аудитории.

ши из университета марксизма-ленинизма: смесь апломба, невежества, фальши, лицедейства и женственности» (Зоркая, 1992, 8).

Психиатр Немцов вторит ей, одобряя психосоциальную достоверность фильма: «Тоталитаризм вообще творение чисто мужское. Он чужд женственности и женщине, хотя приспособиться к этому противоестественному порядку вещей она способна лучше мужчин» (Немцов, 1992, 15). Далее Немцов заявляет, что в «Прорва» «разработаны основные сюжеты женских сексуальных фантазий» (Немцов, 1992, 13). Здесь я позволю себе не согласиться с психиатром: фильм говорит не о *женских* сексуальных, но о *мужских* исторических фантазиях, согласно которым корни трагедии сталинизма нужно искать в триумфе «специфической советской жадности» власти, представленной, по существу, женским, губительно сексуальным началом.

«Серп и молот»

Как и в «Прорва», действие фильма Сергея Ливнева «*Серп и молот*» происходит в Москве конца 30-х гг., и основной объяснительной метафорой сталинской поры становится понятие половых различий, или, точнее, смазывания этих различий. Все начинается с того, что простой деревенской девушке Евдокии Кузнецовой делают операцию по перемене пола, в результате которой она превращается в образцового рабочего и партийного активиста Едокима Кузнецова. Операция по перемене пола — первая из серии операций, призванных изменить всю жизнь, а не только плоть Евдокима. Несмотря на то что Евдокия — показанная лишь мельком — противится операции, явившийся из-под бинтов и повязок Евдоким с детским энтузиазмом исполняет все предписанные ему физические, умственные и сексуальные упражнения, в результате которых всего за одну ночь обращается в архетипического советского героя. В середине фильма Евдоким снимается в киноленте, посвященной ему самому — легендарному работнику Метростроя, образцовому мужу, умелому трактористу, приемному отцу испанской сиротки и прежде всего мужчине, послужившему, вместе со своей женой, натурой для знаменитой скульптуры Веры Мухиной «*Рабочий и колхозница*». В отличие от фильма «Прорва», здесь утверждается, что вся сталинистская культура — от мужественного образцового героя Евдокима до скульптуры Мухиной — была исключительно фальшивкой.

Череди нелепых, невероятных событий, с которых начинается фильм, показывает, насколько игриво авторы *«Серпа и молота»* воспринимают гендерные перипетии. В отличие от *«Прорвья»*, которой, по мнению критика Андрея Шемакина, свойственно «катастрофическое» отсутствие чувства дистанции по отношению к героям (Аркус и др., 1997, 98), *«Серп и молот»* предлагает нам ироническую стилизацию сталинистских культурных клише. Казалось бы, термин «мелодрама» просто неприменим к кинокартине, столь безжалостно демонстрирующей искусственность изображаемого в ней мира. Фильм показывает высокие чувства и переживания, чтобы сразу же их осмеять и опровергнуть, но и в этом он последователен не до конца. Когда Евдоким совершает попытку — вполне безуспешную — оставить привилегированную жизнь сталинского героя и окунуться в «истинную» любовь своей бывшей няни, кинокартина все же обретает черты мелодрамы с характерной для этого жанра тоской по состоянию «утраченной невинности». Уже само имя няни, Вера Раевская, немедленно сообщает зрителю об ее истинном значении для героя — она и поколебленная вера, и утраченный рай, в который Евдоким тщетно мечтает вернуться, несмотря на многочисленные признаки того, что его доверие необоснованно и что рай, о котором он мечтает, не более «естественный» или «истинный», чем его собственная, выкроенная хирургом идентичность.

Я думаю, что в фильме мужественность Евдокима создается не единожды, а дважды — в первый раз, когда нам показывают действие а-ля Франкенштейн, акт монструозного создания нового существа, и второй раз, когда Евдоким совершает внутреннюю мелодраматическую попытку вернуться к своим «истокам» и восстановить эмоциональную самоидентичность. *«Серп и молот»* действительно являет собой квинтэссенцию пародии и подражания, картину того, что непосредственное чувство и простое переживание невозможны ни в частной, ни в общественной жизни, за одним лишь исключением — когда герой страдает. Именно в этот момент и происходит сдвиг к мелодраме. Кризис идентичности Евдокима показан с истинно кинематографическим пафосом, который не имеет ничего общего с потерей героем его изначальной женственности, но подчеркивает символическую атаку на его мужскую автономию, на его право, как он сам говорит, «жить так, как я хочу».

Чем дальше сюжет *«Серпа и молота»* заводит нас в романтическую мелодраму, тем более шизоидной становится изображаемая в



Кадр из фильма «Серп и молот».
Евдоким Кузнецов (Алексей Серебряков),
новый — во всех отношениях — советский герой
дома, за письменным столом

нем сексуальная политика. С одной стороны, как объяснил в интервью Ливнев, операция по перемене пола служит метафорой противоестественного действия сталинистских идей и политики на рядовых мужчин и женщин в России 1936 г. С другой стороны, хотя мужественность Евдокиму приделали насильно, он стал «настоящим» мужчиной — особенно по контрасту с множеством «нестественно» мужественных женщин, сыгравших центральную роль в его перевоплощении. По мере развития сюжета мужеподобные женщины и девушки все больше отождествляются с насильственным и контролирующим — т.е. наиболее зловещим — аспектом сталинизма, избирающего своей жертвой Евдокима, единственную женщину в фильме, которой мужеподобие навязано силой.

Женщины — основные агенты власти, присваивающей тело Евдокима в качестве своего символа и мешающей ему жить «так, как он хочет». Женщина-ученый зловещей мужеподобной наружности разрабатывает план операции по перемене пола и берет на себя, подобно Франкенштейну, ответственность за перевоплощение. Ее заклинание «Ты будешь жить, Евдоким Кузнецов» заставляет героя в первый раз открыть глаза после операции, тем самым символически вызывая его к жизни. Обстановка в больнице напоминает типичные сцены из фильмов ужасов, однако чрезмерность

атрибутов не позволяет воспринимать их всерьез. Больница представляет собой монастырь, превращенный в свое время в лагерь для заключенных, оснащенный колючей проволокой, сторожевыми вышками и собаками. Женщина-врач — сама заключенная, но похожая скорее на сумасшедшую фанатичку, нежели на страдальцу, особенно когда объявляет приходящему в сознание Евдокиму, что он — «труд и оправдание всей [ее] жизни». Кадры, снятые сквозь решетку, постоянно напоминают зрителю, что действие происходит в тюрьме, а медицинский персонал в длинных серых балахонах с закрытым воротом походит на служителей какого-то дьявольского культа. Жуткая атмосфера усугубляется страшной музыкой, обилием фантастических приспособлений, загадочных сосудов и реторт с бурлящими жидкостями.

«Фильм ужаса, — пишет Линда Уильямс, — жанр, призванный бесконечно воспроизводить травму кастрации, как бы объясняя при помощи возвратов и повторений исходную проблему половых различий» (Williams, 1991, 712). В данном фильме «проблема половых различий» сведена до размеров небольшого, хотя и эрегированного члена, небрежно брошенного на лоток среди хирургических приспособлений. Несоответствие между сенсационностью мизансцены и явно небрежным отношением к этому откровенно искусственному органу сообщает всей сцене операции иронию и отвлекает внимание от тела человека, вокруг которого разворачивается ужасное действие.

Как только женщина-доктор закончила работу над новым телом Евдокима, две другие женщины — кроткий режиссер и величественный скульптор — приступают к созданию его публичного образа. Фильм демонстрирует рукотворность сталинистских культурных символов в последовательности сцен, изображающих Евдокима, танцующего со своей женой Елизаветой в черно-белых кадрах кинохроники, а затем — скульптора Веру Мухину, которая вместе с режиссером просматривает на монтажном столе отснятую пленку. Когда Евдоким и Елизавета совершают прыжок вперед, отводя сомкнутые руки за спину, Мухина заставляет режиссера двигать послушное изображение, пока не получает искомую героическую позу, нужную ей для создания «жизнеутверждающего образа». Затем мы видим черно-белое изображение Евдокима и Елизаветы, позирующих в студии Мухиной с серпом и молотом в вытянутых руках. Торжественная музыка и приподнятый проникновенный голос сопровождают это вымышленное действие — Мухину за работой — в киножурнале, рассказывающем «истинную»



Кадр из фильма «Серп и молот».
Парализованный Евдоким Кузнецов (Алексей Серебряков) —
центральный экспонат в музее, посвященном его жизни,
с Елизаветой, его женой (Алла Клюка)

историю людей, ставших прообразом для знаменитой скульптуры. Наконец, окончательно смешивая правду и вымысел, киножурнал переходит от вымышленных Евдокима и Елизаветы к документальным кадрам, демонстрирующим монтаж знаменитой статуи на Всемирной выставке в Париже в 1937 г. и прибытие испанских детей в Советский Союз. Тут же нам показывают, как Евдоким, Елизавета и их приемная дочь Долорес смотрят в кинотеатре фильм о самих себе. Этот эпизод окончательно стирает границы между выдуманным киножурналом, где грань между исторической правдой и вымыслом также не просматривается, и остальным сюжетом фильма, демонстрирующим, как фабрикуют киноновости и как Евдоким, Елизавета и их приемная дочь постепенно превращаются в сторонних зрителей собственной жизни.

У этих персонажей уже нет собственной идентичности. При этом Евдоким восстает против системы, изуродовавшей его тело и жизнь, однако Елизавета принимает правила игры и идет до конца. В отличие от Евдокима, цепляющегося за иллюзию о том, что он — «хозяин собственной жизни», Елизавета проделывает путь от наивной трактористки до сознательной исполнительницы тоталитарной идеи. Ее активное соучастие в фабрикации мифических биографий — ее самой и Евдокима — сопровождается изменени

ем в стиле одежды (более маскулинном) и способе выразиться (более решительном), которое символизирует ее все более глубокое вхождение в систему государственной бюрократии. Мелодраматическое противопоставление жертвы-Евдокима и злодейки-Елизаветы усугубляется в последних сценах фильма, когда Евдокима, недвижимого и бессловесного, помещают в качестве центрального экспоната в посвященный ему музей. Парализованный вследствие ранения, полученного при попытке задушить Сталина, Евдоким против своей воли вновь возведен на пьедестал, поскольку музей призван увековечить его героическое деяние — «самопожертвование при защите Сталина от нападения». Музей — это очередная тюрьма, и содержащийся в ней Евдоким вынужден подчиниться как идеологическим требованиям государства, так и сексуальным домогательствам жены, которая — в качестве главного хранителя музея — является его главной тюремщицей. Драматизм нарастает к концу фильма, когда Елизавета получает полную власть над немым и недвижимым мужем. Она говорит «за него» и «от его имени» с группой немецких писателей, а когда писатели удаляются — садится на него верхом и доводит себя до оргазма, в то время как слезы катятся по его лицу.

Фильм заканчивается смертью Евдокима от руки его помешанной на огнестрельном оружии дочери Долорес, которая «играет в Евдокима». Проекция всех отрицательных качеств сталинских приспешников на женщину становится в этой сцене наиболее очевидной. Долорес, одетая и причесанная под мальчика, разыгрывает мифическую историю жизни Евдокима. При этом она берет на себя роль отца, а Евдокиму отдает роль «врага народа». Смерть Евдокима вдвойне мелодраматична: это и убийство, и самоубийство. Долорес стреляет в отца потому, что он подает ей знак взять его пистолет из музейной витрины, зная, что в нем есть еще одна отравленная пуля.

Только в момент смерти Евдоким соединяет — если не примиряет — противоречия, изначально присутствующие в его роли фальшивого героя и мелодраматической жертвы сталинистского культурного мифа. Его роль — воплощение парадокса, лежащего в основе современного российского кризиса национальной идентичности, и мелодрама идеально подходит для того, чтобы этот парадокс нашел решение. Подавая дочери сигнал взять боевое оружие, Евдоким превращает ее игру «понарошку» в игру с реальными последствиями, отвергая таким образом всю систему сталинских «симулякров». Как настоящий герой мелодрамы, он совершает выбор — страданием обозначить и доказать свою самоидентификацию

ность. Удивительный иронический эффект создается, хотя и ненамеренно, благодаря тому, что, несмотря на мастерское развенчание механизма производства подобных Евдокиму героев, фильм завершается явлением вполне убедительного героя-жертвы, причем несущего в себе все положительные черты мужского идеала сталинских времен.

Таким образом, «*Серп и молот*» предлагает две трактовки явления превращения женщины в мужчину. С одной стороны, операция по перемене пола — вполне сознательная карикатура на механизмы штамповки героев вроде Евдокима, но с другой — все признаки идеального героя остаются при нем вплоть до самого конца. Евдоким, сыгранный Алексеем Серебряковым, белокурым, голубоглазым с твердым подбородком и стройной фигурой, выглядит и ведет себя как типичный советский герой, чья безупречная внешность свидетельствует о безусловном моральном превосходстве над окружающими. Это — мужчина-герой в лучших советских традициях: красивый, трудолюбивый, политически грамотный, «культурный», примерный отец и — во всяком случае, поначалу — верный муж. По логике фильма, все эти свойства присущи Евдокиму именно вследствие операции — они передаются Евдокии вместе с искусственным членом, в результате устранения женственности.

Отказываясь от иронической дистанции, которая выдерживается по отношению к другим персонажам, «*Серп и молот*» наделяет Евдокима естественностью, особенно заметной при сравнении с неорганичной мужеподобностью его жены и дочери. Когда мелодрама вступает в свои права, Евдоким превращается в трагического героя — он перестает быть и франкенштейноподобным гибридом, и трагической героиней. Потеря Евдокией женственности уравнивается создателями фильма с другими «потерями», физическими и духовными, понесенными советскими гражданами в сталинскую эпоху. Однако маскулинизация дочери и жены Евдокима не рассматривается как потеря — это результат их активного сотрудничества в деле создания сталинской культурной мифологии, главной жертвой которой становится Евдоким. «*Серп и молот*» не размывает, не извращает и не разрушает гендерные различия, наоборот, почти в противоречии с изначальным замыслом, фильм заново утверждает эти различия, они становятся маяками, с помощью которых можно выплыть из туманного и непонятного советского прошлого. Как «*Анкор...*» и «*Прорва*», «*Серп и молот*» — современная сказка о прошлом, и она так же говорит нам о различии добра и зла в гендерных терминах.

Заключение

Замена политической интриги на сексуальную не является отличительной чертой только этих трех фильмов. Известная картина Никиты Михалкова «*Утомленные солнцем*» (1994) также смещает эмоциональное напряжение со стереотипного исторического конфликта — несправедливого ареста храброго и ни в чем не виноватого Котова трусливым предателем Митей — на романтическую коллизию — нравственный и эротический триумф Котова над Митей, который стремится отнять у него любовь жены и дочери. Как писали некоторые российские кинокритики, фильм меняет местами современные стереотипные представления о сталинистском прошлом, согласно которым артистичный и интеллектуальный Митя должен был стать жертвой, а советский комбриг Котов — злодеем в том любовном треугольнике, где и разыгрываются основные конфликты — нравственные, политические и романтические (см., например, Плахов, 1994, 21). В современном российском культурном контексте нравственные ценности, соответствующие социально-историческим ролям Котова и Мити, не укладываются в выстроенный здесь мелодраматический любовный треугольник. Мастерское владение условностями мелодраматического жанра позволяют Михалкову создать убедительный образ торжествующей мужественности и достойной национальной идентичности, не противоречащий иконографии сталинского времени. На первый взгляд, портрет «легендарного» героя Гражданской войны Котова лишен признаков ущемленной мужественности, присущей мужским образам обсуждавшихся выше фильмов, однако при более пристальном изучении видно, что герои выражают здесь те же тревоги и ту же ностальгию по достойному прошлому, что и персонажи Тодоровского, Дыховичного, Ливнева²⁰.

Проблема ущемленной сталинизмом мужественности продолжает занимать кинематографистов. Это подтверждает и фильм Павла Чухрая «*Вор*» (1997), выигравший премию «*Ника*» 1998 г. по всем номинациям: за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучшего исполнителя мужской роли, лучшую исполнительницу женской

²⁰ Мне жаль, что я не имею возможности остановиться здесь на анализе сюжета «*Утомленных солнцем*» как мелодрамы национального характера (а не эпической драмы национальной истории). Успех этого фильма во многом обязан умению Михалкова создавать то, что Брукс определяет как «основу основ мелодрамы и ее структуры... — восхищение добродетелью» (Brooks, 1985, 25).

роли, лучший сценарий. В 1998 г. этот фильм был также выставлен на «Оскара» как лучший фильм на иностранном языке. «Вор» примечателен трактовкой роли отцов сталинского времени в судьбе их сыновей, старающихся добиться достойной жизни в постсоветскую эпоху. Голос за кадром повествует о жизни человека, выросшего без отца: первые кадры фильма показывают рождение героя в 1946 г., через шесть месяцев после того, как его отец скончался от ран, полученных на полях сражений Великой Отечественной войны. «Все детство постоянно думал о нем и старался его себе представить», говорит рассказчик, и камера делает скачок в шесть лет длиной, с пустынной дороги, где герой появился на свет, в поезд, где мальчик Саня и его мать знакомятся с вором в законе по имени Толян. При всех его несовершенствах, Толян оказывается единственным мужчиной, которого Сане приходится звать отцом. Критики немедленно указали нам, что Толян — невсамделишный отец и фальшивый герой, который обманом присваивает привязанность мальчика точно так же, как, будучи вором, присваивает чужое имущество (Аннинский, 1998; Graffy, 1998). Поколенческая мелодрама достигает апогея, когда Толян сообщает Сане, что его собственный отец — сам Сталин, чей профиль вытатуирован у него на груди. Татуировка — такой же знак фальшивого героя, как и сама воровская профессия, но Толян тем не менее не является плохим отцом или недостойной ролевой моделью для будущего мужчины. На его спине мальчик видит другое изображение — прыгающего леопарда, и именно этот образ вдохновляет Саню, когда Толян приказывает ему драться с местными хулиганами возле их очередного временного жилища.

Фильм посвящен не политическому наследию, но завету мужества, полученному от отцов сталинского времени. Особенно ясно эта идея выражена в эпизоде, когда Толян ведет Саню в общественную баню. Камера расположена на уровне глаз маленького мальчика, и в поле зрения находятся в основном мужские гениталии. Саня робко взглядывает на свои недостаточно развитые органы и прикрывает их ладонью, Толян оглядывает себя с видимым удовольствием и, смеясь, утешает приемного сына: «Нормально, пацан, будешь смелым, и у тебя вырастет». Этот фильм, в отличие от «Утомленных солнцем», не возвеличивает отцовскую мужественность, но и не унижает ее.

Проблема отношений между отцами и сыновьями звучит на всем протяжении фильма. Санин родной отец время от времени появляется в кадре в виде привлекательного, хотя и не вполне ясно

воспринимаемого военного в форме — обычно Саня видит этот образ в моменты душевной муки. Саня отказывается называть Толяна «папа», как настаивают Толян и Санина мать, однако, когда Толяна арестовывают и увозят в тюрьму, Саня бежит за ним, рыдая, и кричит в первый раз за весь фильм: «Папка, папка роденький! Не покидай нас!»

Фильм учит, что жить без отца — пусть даже такого черствого и бесчестного, как Толян — невозможно. После ареста Толяна и смерти матери, последовавшей от подпольного аборта, герой попадает в детский дом, и голос за кадром повествует: «С тех пор никого ближе Толяна у меня на свете не осталось. И долгие годы я жил мечтой, что Толян освободится и навсегда заберет меня [из детского дома]». В двадцать лет Саня снова сталкивается с Толяном, который по-прежнему ворует, но с гораздо меньшим успехом. Толян едва помнит Саню и его мать и посылает его прочь, говоря: «Не сын ты мне, слава Богу, не сын». Оскорбленный тем, что Толян его отверг, Саня достает пистолет, который каким-то чудом сохранял все эти годы, и стреляет в Толяна, который со свертком награбленного барахла запрыгивает в очередной поезд. Товарный поезд увозит бездыханное тело Толяна в одном направлении, Саня бросает пистолет на землю и убегает в другом.

Версия фильма, распространяемая в Америке, на этом обрывается, но в российской версии имеется заключительный пятиминутный эпизод: рассказчик вспоминает, как часто думал о том, как в первый раз нажал на спусковой крючок, и сообщает, что «должен был это сделать». Здесь мы видим, что Саня, в отличие от Толяна, который только одевался офицером, чтобы ловчее обманывать своих жертв, вырос настоящим солдатом и находится в военной зоне вроде Чечни. Сорокавосемилетний, закаленный в боях полковник Саня замедляет шаг на платформе, заполненной беженцами, когда слышит нетвердый знакомый голос, просящий подать на опохмелку. Саня подбегает к оборванному грязному бродяге, когда тот опускается в изнеможении на землю, заглядывает ему в лицо и рвет у него на груди рубаху, обнаруживая знакомый сталинский профиль. Герой, до этого бесстрастный, обнимает нищего, крича: «Толян, Толян!», но старик уже мертв. Саня рывком переворачивает тело, рвет рубаху уже со спины и видит, что татуировки леопарда там нет. Солдаты торопят Саню садиться в поезд, возражая против его приказа поместить в его персональный вагон женщин и детей. Уже в поезде Саня снимает рубаху, и камера показывает нам прыгающего леопарда. Герой поворачивается к камере спи-

ной, и она возвращается к старой картине — маленький мальчик смотрит из окна поезда задумчивыми глазами, видит одиноко стоящего солдата на грузовой платформе проходящего состава. Солдат медленно машет мальчику, исчезает из поля зрения, и мальчик шепчет недоверчиво: «Папа?»

Заключительные сцены выделяют фильм «*Вор*» из общего ряда, поскольку здесь налицо попытка продемонстрировать — при помощи двух татуировок и двух образов отца — невозможность устранить сложное наследие сталинистского прошлого из постсоветского настоящего. Толян не был Сане «настоящим» отцом, однако Саня — его сын. Татуировка означает неизгладимое влияние Толяна на то, каким именно мужчиной стал Саня. Она означает также, что героическая мужественность занимает центральное место в современном российском представлении о национальной идентичности — в прошлом и настоящем.

Избранная библиография*

- Абдалиев А. М. (1991) — Абдалиев А. М. *Терапевтические ремиссии у больных алкоголизмом мужчин, рабочих, занятых в промышленном производстве*. Автореф. дис. ... канд. мед. наук / ВНЦ мед.-биол. пробл. наркологии. М., 1991.
- Абдулова К. (1981) — Абдулова К. *Полное социальное равенство полов и дальнейшее развитие социалистического образа жизни*: Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Азерб. гос. ун-т. Баку, 1981.
- Абрамов Н. (1858) — Абрамов Н. Город Тюмень // *Вестник ИРГО*. 1858. № 8.
- Абрамова З. А. (1966) — Абрамова З. А. *Изображение человека в палеолитическом искусстве Евразии*. М.; Л.: Наука, 1966.
- Абрамян Л. А. (1991) — Абрамян Л. А. Мир мужчин и мир женщин: расхождение и встреча // *Этнические стереотипы мужского и женского поведения*. СПб., 1991.
- Абубикирова Н. И. (1996) — Абубикирова Н. И. Что такое «гендер» // *ОНС: Общественные науки и современность*. 1996. № 6.
- Агеев В. С. (1990) — Агеев В. С. *Межгрупповое взаимодействие: Социально-психологические проблемы*. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990.
- Агеев В. С. (1987) — Агеев В. С. Психологические и социальные функции полоролевых стереотипов // *Вопросы психологии*. 1987. № 2.
- Ажгихина Н. (1997а) — Ажгихина Н. Финансист, титан, стоик // *Лица*. 1997. Ноябрь.
- Ажгихина Н. (1997б) — Ажгихина Н. Русский муж — это особая привилегия // *Вы и Мы: Диалог российских и американских женщин: Альманах*. 1997. № 3 (15).
- Ажгихина Н. (2000) — Ажгихина Н. Интервью // *Женщина и визуальные знаки*. Альчук А., ред. М.: Идея-пресс, 2000.
- Азаров А. И. (1985) — Азаров А. И. *Традиционные мужские союзы Меланезии конца XIX — середины XX в.: (К вопросу о роли мужских домов, ранговых и тайных союзов в меланез. о-вах периода формирования раннеклассовых отношений)*: Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Ин-т этнографии АН СССР. Л., 1985.
- Азарова Е. Г. (1989) — Азарова Е. Г. *Проблемы равноправия женщины и мужчины в социальном обеспечении в СССР*. М.: Наука, 1989.

* Составитель Сергей Кан

- Айванхов О. М. (1994) — Айванхов О. М. *Любовь и сексуальность* / Пер. с фр. СПб.: Изд-во Чернышева, 1994.
- Аксенов В. (1997) — Аксенов В. *Новый сладостный стиль*. М., 1997.
- Аксенов В. (1981) — Аксенов В. *Остров Крым*. Анн Арбор, 1981.
- Аксенов В. (1995) — Аксенов В. Матушка-Русь и игривые сыночки // *Playboy*. 1995. № 1.
- Акты (1867) — *Акты, Относящиеся к Истории Южной и Западной России*. СПб.: Типография П. А. Кулиша, 1867. Т. 5.
- Акты (1889) — *Акты, Относящиеся к Истории Южной и Западной России*. СПб.: Типография Ф. Елеовского и К°, 1889. Т. 14.
- Аледина К. (1997) — Аледина К. Пугачева обует всю страну // *ТВ-Парк*. 1997. 4—11 августа.
- Александрри А. Л. (1997) — Александрри А. Л. *Связь потребления алкоголя с уровнем артериального давления и ишемической болезнью сердца у мужчин 20—59 лет: (Эпидемиол. исслед.)*: Автореф. дис. ... канд. мед. наук / ГНИЦ профилакт. медицины. М., 1997.
- Александров М. (1990) — Александров М. Воздушный тарантас // *Записки иркутских жителей*. Иркутск, 1990.
- Алешина Ю. Е. (1991) — Алешина Ю. Е., Волович А. С. Проблемы усвоения ролей мужчины и женщины // *Вопросы психологии*. 1991. № 4.
- Алпатов М. В. (1956) — Алпатов М. В. *А. Ф. Иванов. Жизнь и творчество*: В 2 т. М.: Искусство, 1956.
- Альчук А. (2000) — Альчук А., ред. *Женщина и визуальные знаки*. М.: Идея-пресс, 2000. 280.
- Амелина С. С. (1998) — Амелина С. С. *Структура и распространенность врожденных пороков развития в потомстве мужчин — участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС*: Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Рост. НИИ акушерства и педиатрии. Ростов н/Д, 1998.
- Амирханян Ю. А. (1999) — Амирханян Ю. А. *Рискованное сексуальное поведение: социальная диагностика и профилактика*: Автореф. дис. ... канд. социол. наук / СПб. гос. ун-т. СПб., 1999.
- Ангелы стихов не пишут: Женское и мужское в жизни и в поэзии — об этом спорят Е. Елагина и А. Мелихов // *Литературная газета*. 1998. № 32/33.
- Анджелис Б. де (1994) — Анджелис Б. де. *Секреты о мужчинах, которые должна знать каждая женщина* / Пер. с англ. М.: Центр общечеловеч. ценностей, 1994.
- Андреев Ю. В. (1992) — Андреев Ю. В. «Минойский матриархат»: (Социальные роли мужчины и женщины в общественной жизни Крита) // *Вестник древней истории*. 1992. № 2.
- Анин А. (1995) — Анин А. (текст), Михалев И., Вяткин В., Котова А., Кондаков Е., Вейцлер А. (фото). Чечня: о чем молчат солдаты // *Андрей*. 1995. № 7.
- Аннинский Л. (1999) — Аннинский Л. Достояние обворованных // *Искусство кино*. 1998. № 1.
- Антинескул О. Л. (1998) — Антинескул О. Л., Двинянинова Г. С. *Статусные роли говорящих и их речь*: (На материале англ. яз.). Пермь, 1998.
- Антипина Н. Л. (1994) — Антипина Н. Л., Моор А. П., Моор С. М. Проблемы занятости населения Севера: гендерный аспект // *Социс: Социологические исследования*. 1994. № 7.
- Антонов А. Н., Сорокин С. А. (2000) — Антонов А. Н., Сорокин С. А. *Судьба семьи в России XXI века*. М., 2000.

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

- Антонян Ю. М. (2000) — Антонян Ю. М. Особенности сексуальной преступности // *Россия и современный мир*. 2000. № 2 (27).
- Антонян Ю. М. (1994) — Антонян Ю. М. *Преступная жестокость* / ВНИИ МВД РФ. М., 1994.
- Антонян Ю. М. и др. (1990) — Антонян Ю. М. и др. *Изнасилования: причины и предупреждение*. М.: ВНИИ МВД СССР, 1990.
- Антонян Ю. М. и др. (1991а) — Антонян Ю. М., Гульдан В. В. *Криминальная патопсихология*. М.: Наука, 1991.
- Антонян Ю. М. и др. (1991б) — Антонян Ю. М., Позднякова С. П. *Сексуальные преступления лиц с психическими аномалиями и их предупреждение*. М.: ВНИИ МВД РФ, 1991.
- Антонян Ю. М. и др. (1993а) — Антонян Ю. М., Ткаченко А. А. *Сексуальные преступления: Чикатило и др.*: (Науч.-попул. исслед.). М.: Амальтея, 1993.
- Антонян Ю. М. и др. (1993б) — Антонян Ю. М., Юстицкий В. В. *Несовершеннолетние преступники с акцентуациями характера*. М.: ВНИИ МВД РФ, 1993.
- Антонян Ю. М. и др. (1999) — Антонян Ю. М. и др. *Криминальная сексология*. М.: Спарк, 1999.
- Арендт Х. (2000) — Арендт Х. *Vita Activa, или О деятельной жизни*. СПб.: Алетейя, 2000.
- Аристархова И. (1999) — Аристархова И., ред. *Женщина не существует: Современные исследования полового различия*: Сб. ст. Сыктывкар: Сыктывк. ун-т, 1999.
- Аркус Л. и др. (1997) — Аркус Л. и др. Тема // *Сеанс*, 1997. № 14.
- Арнольд О. Р. (1998) — Арнольд О. Р. *Почему убегают мужчины*. М.: Яуза; ЭКСМО-Пресс, 1998.
- Артемьева О. В. (1992) — Артемьева О. В. Человек = мужчина + женщина // *Этическая мысль: Науч.-публицист. чтения*. М., 1992.
- Арутюнян М. (1987) — Арутюнян М. О распределении обязанностей в семье и отношениях между супругами // Мацковский М. С., отв. ред. *Семья и социальная структура*. М.: ИСИ АН СССР, 1987.
- Арутюнян М. Ю. (1998) — Арутюнян М. Ю. Мужчины и женщины: образы и модели успеха // *Народонаселение*. 1998. № 1.
- Архангельский В. Н. (1982) — Архангельский В. Н. Изменение половозрастной структуры городского и сельского населения под влиянием миграции между городом и селом // *Вопросы воспроизводства населения и демографической политики*. М., 1982.
- Ачильдиева Е. Ф. (1992) — Ачильдиева Е. Ф. Образ семьи в представлениях женщин и мужчин из различных регионов // *Тенденции развития современной семьи*. М., 1992.
- Ашвин С. (2000) — Ашвин С. Влияние советского гендерного порядка на современное поведение в сфере занятости // *Социс: Социологические исследования*. 2000. № 11.
- Баблюян З. (1999) — Баблюян З. Новый благородный дикарь: белый гетеросексуальный североамериканец из высшего среднего класса // *Гендерные исследования*. 1999. №2 (1/1999).
- Бадентэр Э. (1995) — Бадентэр Э. *Мужская сущность* / Пер. с фр. М.: Новости, 1995.
- Баженов А. (2000) — Баженов А. Между эскапизмом и эстетизмом // *Пчела*. № 26/27, май—август 2000. СПб, 2000.

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

- Байбурин А. К., Кон И. С. (1991) — Байбурин А. К., Кон И. С., ред. *Этнические стереотипы мужского и женского поведения*. Сб. ст. СПб.: Наука, 1991.
- Бакушева Е. М. (1995) — Бакушева Е. М. *Социолингвистический анализ речевого поведения мужчины и женщины: (На материале фр. яз.)*: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. МГПУ им. Ленина. М., 1995.
- Бальзак О. (1960а) — Бальзак О. *Утраченные иллюзии* // Бальзак О. Собр. соч.: В 24 т. М.: Правда, 1960. Т. 8.
- Бальзак О. (1960б) — Бальзак О. *Блеск и нищета куртизанок* // Бальзак О. Собр. соч.: В 24 т. М.: Правда, 1960. Т. 10.
- Бандурина Г. Ю. (1996) — Бандурина Г. Ю. О соотношении мужского и женского начал в мироздании // *Философия. Культура. Образование*. Нижневартовск, 1996.
- Баранова О. М. (1998) — Баранова О. М. *Социально-философский анализ феноменов любви и пола*: Автореф. дис. ... канд. филос. наук. Башк. гос. ун-т. Уфа, 1998.
- Баранская Н. (1969) — Баранская Н. Неделя как неделя // *Новый мир*. 1969. № 11.
- Бараулина Т. (1997) — Бараулина Т., Ханжин А. Конструирование мужской сексуальности через презентацию биографического опыта в интервью // Воронков В., Здравомыслова Е., ред. *Биографический метод в изучении постсоциалистических обществ: Материалы междунар. семина. С.-Петербург, 14–17 нояб. 1996 г.* СПб., 1997.
- Бардовская песня как элемент отечественной культуры 50- -90-х годов. URL: <http://www.samara.ru/history/referat4.asp>
- Бармина И. (1996) — Бармина И. Маленькие люди при больших деньгах // *Аргументы и факты*. 1996. № 43.
- Барт Р. (1957) — Барт Р. *Мифологии* / Пер. с фр. С. Зенкина. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2000.
- Барт Р. (1997) — Барт Р. *Camera lucida* / Пер. с фр., послесл. и коммент. М. Рыклина. М.: Ad Marginem, 1997.
- Баскакова М. Е. (1998) — Баскакова М. Е. *Равные возможности и гендерные стереотипы на рынке труда*. М.: МЦГИ, 1998.
- Батлер Д. (1999) — Батлер Д. Случайно сложившиеся основания: феминизм и вопрос о «постмодернизме» // *Гендерные исследования*. 1999. № 3.
- Бауман З. (1995) — Бауман З. От паломника к туристу // *Социологический журнал*. 1995. № 4.
- Белинский В. Г. (1953) — Белинский В. Г. Жертва. Литературный эскиз. Сочинение г-жи Монборн // Белинский В. Г.: Полн. собр. соч. М.: АН СССР. 1953. Т. 1.
- Белков П. Л. (1997) — Белков П. Л. Мужские союзы Меланезии // *Этнография, история, культура стран южных морей: Маклаевские чтения 1995–1997 гг.* СПб., 1997.
- Белов Л. и др. (1950) — Белов Л. и др. *Песни о Сталине*. Москва: Госиздат художественной литературы, 1950.
- Белоусов В. (1927) — Белоусов В. А. Случай гомосексуалиста — мужской проститутки // *Преступник и преступность*: Сб. II, 1927.
- Берсенев В. В. и Марков А. Р. (1998) — Берсенев В. В. и Марков А. Р. Политика и ген: Эпизод из эпохи Александра III // *Риск*. 1998. № 3.
- Бернштейн Е. (1999) — Бернштейн Е. Голубой Петербург // *Новое литературное обозрение*. 1999. № 1.

- Бессонова С. С. (1991) — Бессонова С. С. «Мужское» и «женское» в сакральной сфере у скифов // *Духовная культура древних обществ на территории Украины*. Киев, 1991.
- Бессонова Т. Л. (1992) — Бессонова Т. Л., Дьяченко И. С. Психологические особенности полоролевого самосознания и самоприятия личности // *Материалы науч. сессии по итогам науч.-исслед. работы МГПУ им. Ленина за 1991 г. М., 1992. Серия: Психолого-педагогические науки*. С. 6—8.
- Бехтерев В. (1927) — Бехтерев В. М. О половом извращении, как особой установке половых рефлексов // *Симонов И. С., ред. Половой вопрос в школе и в жизни*. Л.: Брокгауз-Эфрон, 1927.
- Билич Г. Л. (1999) — Билич Г. Л., Божедомов В. А. *Репродуктивная функция и сексуальность человека*. СПб.: Деан, 1999. 367 с.
- Битов А. (1990) — Битов А. *Пушкинский Дом*. М.: Известия, 1990.
- Блиснов М. В. (1997) — Блиснов М. В. *Средства и методы педагогического контроля при занятиях мужчин силовыми упражнениями с оздоровительной направленностью*: Автореф. дис. ... канд. пед. наук / СПб. НИИ физ. культуры. СПб., 1997. 16 с.
- Боборыкин П. Д. (1881) — Боборыкин П. Д. Письма о Москве // *Вестник Европы*. 1881. № 3.
- Бобылева И. Ю. (1992) — Бобылева И. Ю., Романов А. К., Степаненко М. В. *Характеристика мужчин, отбывающих наказание в ИТК: (По материалам спец. переписи 1989 г.)*. М.: ВНИИ МВД РФ, 1992. 73 с.
- Бовуар С. (1994) — Бовуар С. *Другая статья*. Киев: Основы, 1994.
- Боголюбова Т. (1996) — Боголюбова Т. Женщины — жертвы преступлений: проблемы и статистика // *Хоткина З., ред. Сексуальные домогательства на работе*. М., 1996.
- Богомоллов Н. (1995) — Богомоллов Н. А. *Михаил Кузмин: Статьи и материалы*. М.: НЛО, 1995.
- Бодалев А. А. (1981) — Бодалев А. А. др., ред. *Семья и личность*. М., 1981.
- Бойко В. А. (1995) — Бойко В. А. Мотив смещения полов в творчестве В. В. Розанова // *Гуманитарные науки в Сибири*. Серия: Филология. Новосибирск, 1995. № 4.
- Бойко В. П. (1996) — Бойко В. П. *Томское купечество в конце XVIII—XIX в.: Из истории формирования сибирской буржуазии*. Томск, 1996.
- Болдуин Д. (1995) — Болдуин Д. *Сексуальное здоровье мужчины* / Пер. с польск. М.: ФиС, 1995.
- Борискин В. М. (1993) — Борискин В. М. и др., сост. *Для вас, мужчины*: Сб. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1993.
- Борисов В. А. (1981) — Борисов В. А. О двух методах расчета средней продолжительности предстоящей жизни населения обоего пола // *Проблемы воспроизводства и миграции населения*. М., 1981. Разд. 1.
- Борохов А. Д. (1990) — Борохов А. Д., Исаев Д. Д., Столяров А. В. Социально-психологические факторы гомосексуального поведения у заключенных // *Социологические исследования*. 1990. № 6.
- Бортневский В. Г. (1996) — Бортневский В. Г. *Загадки смерти генерала Врангеля*. СПб.: Новый Часовой, 1996.
- Бостриков Е. Б. (1999) — Бостриков Е. Б. *Научное обоснование мероприятий по оптимизации системы охраны здоровья городских мужчин*: Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Иван. гос. мед. акад. Иваново, 1999.

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

- Ботуин К. (1995) — Ботуин К. *Не бойся Дон-Жуана, или Как относиться к мужской неверности* / Пер. с англ. М.: МИРТ, 1995.
- Брагинский Э. и Рязанов Э. (2000) — Брагинский Э., Рязанов Э. *Ирония судьбы, или С легким паром* // Брагинский Э. и Рязанов Э. *Тихие омуты*. М.: Вагриус, 2000.
- Бражник А. А. (1995) — Бражник А. А. *Как стать мужчиной, или «Агрессивная» практическая психология*. Краснодар: Сов. Кубань, 1995.
- Брандт Г. (1998) — Брандт Г. *Философия пола Георга Зиммеля* // *Преображение: Науч.-лит. альманах*. 1998. № 6.
- Братерский А. (1995) — Братерский А. *Последний девственник СССР. Макхаон*. 1995. № 4.
- Брянцев М. В. (1999) — Брянцев М. В. *Культура русского купечества: Воспитание и образование*. Брянск, 1999.
- Брежнев Л. И. (1982) — Брежнев Л. И. *Участникам и гостям всемирного научного конгресса «Спорт в современном обществе»* // Михалев В. М., ред. *КПСС о формировании нового человека: сборник документов и материалов: 1965—1981*. 2-е изд. М.: Политиздат, 1982.
- Бродки Э. Ш. (1997) — Бродки Э. Ш. *Достоин восхищения* // *Вы и Мы: Альманах*. 1997. № 3 (15).
- Брудный А. (1994) — Брудный А. *Генезис сознания и половой отбор в свете радикальной психологии* // *Проблема сознания в отечественной и зарубежной философии XX века*. Иваново, 1994.
- БСЭ (1955) — *Большая советская энциклопедия* / Гл. редактор Б. А. Введенский. М.: Гос. науч. изд-во «Большая советская энциклопедия». 1955. Т. 36
- Бурдые П. (1987) — Бурдые П. *Программа для социологии спорта* // Бурдые П. *Начала* / Пер. с фр. Н. Шматко. М.: Socio-Logos, 1994.
- Бурдые П. (1993) — Бурдые П. *Социальное пространство и символическая власть. Теория и история экономических и социальных институтов и систем*. М., 1993.
- Бурдые П. (1995) — Бурдые П. *Структуры, habitus, практики* // *Современная социальная теория: Бурдые, Гидденс, Хабермас*. Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та. С. 16—31.
- Бурышкин П. А. (1991) — Бурышкин П. А. *Москва купеческая: Мемуары*. М., 1991.
- Бутовская М. Л. (1998) — Бутовская М. Л., Артемова О. Ю., Арсенина О. И. *Полорольевые стереотипы у детей Центральной России в современных условиях* // *Этнографическое обозрение*. 1998. № 1.
- Бэрон Р., Ричардсон Д. (1997) — Бэрон Р., Ричардсон Д. *Агрессия*. СПб., 1997.
- Ваганов Н. Н. (1996) — Ваганов Н. Н. *Работа с мужским населением по планированию семьи: (Медико-социальный аспект)* // Ваганов Н. Н. и др. *Семья в России*. 1996. № 2.
- Вагин В. (1990) — Вагин В. *Сороковые года в Иркутске* // *Записки иркутских жителей*. Иркутск, 1990.
- Вайль П., Генис А. (1998) — Вайль П., Генис А. *60-е и мир советского человека*. М.: НЛЮ, 1998.
- Варзанова Т. И. (1998) — Варзанова Т. И. *Молодежь и религия: (Возрастные и гендерные аспекты религиозности)* // *Государство, религия, церковь в России и за рубежом*. 1998. № 1/2.

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

- Варфалви Л. В. (1987) — Варфалви Л. В. Проблема добрачного полового общения: (Соц.-этич. аспект) // *Вестник ЛГУ им. Жданова*. Серия: История КПСС, науч. коммунизм, философия, право. Л., 1987.
- Васютин А. М. (1997) — Васютин А. М. *Мы будем счастливы вместе!: Пособие для настоящих женщин, написанное настоящим мужчиной*. СПб.: Комплект, 1997.
- Вейнинггер О. (1992) — Вейнинггер О. *Пол и характер: Принципиальное исследование*. М.: Терра, 1992.
- Вейцлер А. (1992) — Вейцлер А. Конверсия: эту дорогу домой нужно пройти... // *Андрей*. 1992. № 3.
- Вейцлер А. (1994) — Вейцлер А. Броненосец Марина // *Андрей*. 1994. № 5.
- Вейцлер А. (1995) — Вейцлер А. Сто верблюдов за русскую барышню // *Андрей*. 1995. № 7.
- Величенко Е. А. (1997) — Величенко Е. А. Мужчина и женщина: проблема понимания на социокультурном фоне XX века // *Метафизические исследования*. СПб., 1997. Вып. 4.
- Веременко В. А. (1996) — Веременко В. А. *Высшее совместное образование мужчин и женщин в России в начале XX в.*: Автореф. дис. ... канд. ист. наук / РГПУ. СПб., 1996.
- Верма Р. Р. (1993) — Верма Р. Р. Отсутствующая личность // *Феминизм: Восток. Запад. Россия*. М., 1993.
- Весельницкая Е. (1993) — Весельницкая Е. *Женщина в мужском мире*. СПб.: Импакс, 1993.
- Вестник Галлиполицийцев (1924) — *Вестник Галлиполицийцев*. Белград, 1924. Ноябрь. № 11.
- Веэрманн Р. (1989) — Веэрманн Р. Проблемы взаимосвязи социальной структуры, полового состава населения и системы среднего образования // *Социальные процессы накануне перестройки*. Таллинн, 1989.
- Викторов Э. М. (1996) — Викторов Э. М. *Проблема отчуждения между мужским и женским началом*. Автореф. дис. ... канд. филос. наук / МГУ им. Ломоносова. — Воронеж, 1996.
- Виноградова Т. В. (1993) — Виноградова Т. В., Семенов В. В. Сравнительное исследование познавательных процессов у мужчин и женщин: роль биологических и социальных факторов // *Вопросы психологии*. 1993. № 2.
- Винокуров Б. Л. (1993) — Винокуров Б. Л., Эксюзян Ф. Ф. *Медицинская и социальная реабилитация сексуальной дисгармонии и расстройств мужской потенции при неврозах*. Сочи, 1993.
- Винокурова Н. А. (1999) — Винокурова Н. А. Женщины и мужчины в науке: двойной портрет // *Социс: Социологические исследования*. 1999. № 4.
- Виссон Л. (1997) — Виссон Л. Российско-американские браки: притяжение противоположностей // *Вы и Мы: Альманах*. 1997. № 3 (15).
- Виткин Д. (1996) — Виткин Д. *Мужчина и стресс* / Пер. с англ. СПб.: Питер, 1996.
- Виткин Д. (1996) — Виткин Д. *Правда о женщинах: (14 мифов о женщинах, сочиненных мужчинами)*. СПб.: Питер-пресс, 1996.
- Вишняков Н. П. (1911) — Вишняков Н. П. *Сведения о купеческом роде Вишняковых, собранные Н. Вишняковым*. М., 1911.
- Владиславский В. З. (1992) — Владиславский В. З. *Если ты мужчина*. Ташкент: Изд.-полигр. объединение, 1992.

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

- Войнович В. (1995) — Войнович В. Жизнь и переживания Вовы В. // *Андрей*. 1995. № 6.
- Волков В. (1999) — Волков В. Ценности и нормы нелегальных силовых структур // *Журнал социологии и социальной антропологии*. 1999. Т. 2. № 3.
- Волкова Т. А. (1996) — Волкова Т. А. Проблема пола в отечественной философии кон. — нач. вв. и современное социальное развитие // *Социальные процессы*. Кемерово, 1996.
- Волкова Т. А. (1998) — Волкова Т. А. *Социально-философский анализ полового диморфизма и гендерной самоидентификации*: Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Кемер. гос. ун-т. Томск, 1998.
- Волкова Т. А. (1996) — Волкова Т. А. «Философия пола» В. В. Розанова в контексте современных тенденций социального развития // *Духовная и светская культура как фактор социального развития региона*. Кемерово, 1996.
- Воронина О. (2000) — Воронина О. Социокультурные детерминанты развития гендерной теории в России и на Западе // *Общественные науки и современность*. 2000. № 4.
- Воронина О. А. (1998) — Воронина О. А. *Гендерная экспертиза законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации*. М.: МЦГИ, 1998.
- Воронина О. А. (1988) — Воронина О. А. Женщина в «мужском обществе» // *Социологические исследования*. 1988. № 2.
- Воронина О. А. (1988) — Воронина О. А. Новые формы брака и семьи в США: практические и теоретические аспекты // *В поисках альтернативного будущего общественного развития: Сб. тезисов сов. философов*. М.: Ин-т филос. АН СССР, 1988.
- Воронков В., Здравомыслова Е., ред. *Биографический метод в изучении постсоциалистических обществ: Материалы междунар. семин., С. -Петербург, 14—17 нояб. 1996 г.* СПб., 1997.
- Воронков В., Чикадзе Е. (1997) — Воронков В., Чикадзе Е. Ленинградские евреи: этничность и контекст // Воронков В., Здравомыслова Е., ред. *Биографический метод в изучении постсоветских обществ*. СПб: ЦНСИ.
- Воронцова М. Г. (2000) — Воронцова М. Г. Участвуют ли отцы в обеспечении детей? // *Социс: Социологические исследования*. 2000. № 11.
- Воскресенский А. Д. (1986) — Воскресенский А. Д. Этико-эстетический идеал и кодекс нравственности «ся» (удальцов) в китайском обществе древности и средневековья // *История и культура Восточной и Юго-Восточной Азии*. М., 1986. Ч. 2.
- Вохрышева Е. В. (1998) — Вохрышева Е. В. Гендерное моделирование субъектно-тезаурсного уровня коммуникации (на материале новоангл. яз.) // *Английская филология*. Самара, 1998.
- Врангель П. Н. (1920) — Врангель П. Н. «Приказ 3776» // *Общее Дело*, декабрь 1920. Париж, 1920.
- Врангель П. Н. (1928) — Врангель П. Н. Декларация «Белая борьба», февраль 1928 // Архив П. Н. Врангеля в Гуверовском институте, папка 44, лист 535.
- Гаджиева Р. Г. (2000) — Гаджиева Р. Г. *Динамика гендерных стереотипов и их влияние на профессиональную самореализацию личности*: Автореф. дис. ... канд. психол. наук / Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. М., 2000.
- Гайдош А. (1996) — Гайдош А. *Теоретические и научно-методические основы совершенствования содержания мужской спортивной гимнастики мирового*

- класс: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук / СПб. гос. акад. физкультуры. СПб., 1996.
- Галина М. С. (1998) — Галина М. С. Гендер в зеркале фантастики // *ОНС: Общественная наука и современность*. 1998. № 1.
- Ганьшина Е. А. (1996) — Ганьшина Е. А. *Гендерный аспект эколого-безопасного устойчивого развития: (Филос.-методол. пробл.)*: Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Рос. акад. гос. службы. М., 1996.
- Гапова Е., Усманова А. (2000) — Гапова Е., Усманова А., сост. Антология гендерной теории. Минск: ПроPILEI, 2000.
- Гапова Е. (1999) — Гапова Е. Гендерные политики в национальном дискурсе // *Гендерные исследования*. 1999. № 2 (1/1999).
- Гарбер И. Е. (1994) — Гарбер И. Е. Половые особенности и сходства психических образов соперников в конфликтных диадах (на материале шахмат) // *Психический образ: строение, механизмы, функционирование и развитие*. М., 1994. Т. 1.
- Гвоздева Е. С. (2000) — Гвоздева Е. С., Герчиков В. И. Штрихи к портрету женщин-менеджеров // *Социс: Социологические исследования*. 2000. №11.
- Гейли К. У. (1990) — Гейли К. У. Диалектика пола в процессе формирования государства / Пер. с англ. // *Советская этнография*. 1990. № 5.
- Гендерные тетради (1997) — *Гендерные тетради*. Тр. С. -Петербург. фил. Ин-та социологии РАН: Материалы текущих исследований. СПб., 1997. Вып.1—2.
- Гендерный фактор (1999) — *Гендерный фактор в языке и коммуникации* / Моск. гос. лингв. ун-т. М., 1999. 136 с. (Сб. науч. тр. / МГЛУ; Вып. 446).
- Герасимова Е. Ю. (1997) — Герасимова Е. Ю. Вербализация сексуальности: Разговоры о сексе с партнерами // Воронков В., Здравомыслова Е., ред. *Биографический метод в изучении постсоциалистических обществ: Материалы междунар. семин., С. -Петербург, 14—17 нояб. 1996 г.* СПб., 1997.
- Герберштейн С. (1988) — Герберштейн С. *Записки о Московии*. М.: МГУ, 1988.
- Герлинг-Грудзинский Г. (1993) — Герлинг-Грудзинский Г. Ми, депортированы // *Vsesvit*. 1993. № 2.
- Герои Крут. (1995) — *Герои Крут*. Дрогобыч, 1995.
- Гидденс Э. (1992) — Гидденс Э. Пол, патриархат и развитие капитализма // *Социс: Социологические исследования*. 1992. № 7.
- Гидденс Э. (1992) — Гидденс Э. Стратификация и классовая структура // *Социс: Социологические исследования*. 1992. № 11.
- Гидденс Э. (1999) — Гидденс Э. *Социология*. М.: Эдиториал УРСС, 1999.
- Гиллиан К. (1992) — Гиллиан К. Иным голосом / Сокр. пер. с англ. // *Этическая мысль: Науч.-публицист. чтения*. М., 1992.
- Гильдебранд Д. фон. (1998) — Гильдебранд Д. фон. *Новая Вавилонская башня* // Избр. филос. работы / Пер. с англ. и нем. СПб.: Ступени, 1998.
- Гиляровский В. (1967) — Гиляровский В. *Москва и москвичи*. // Гиляровский В. Сочинения: В 4 т. М.: Правда, 1967. Т. 4.
- Гинзбург М. М. (1999) — Гинзбург М. М. *Как победить избыточный вес*. Самара: Изд-во Самарского гос. медицинского ун-та, 1999.
- Гинзбург М. М., Козупица Г. С., Котельников Г. П. (1997) — Гинзбург М. М., Козупица Г. С., Котельников Г. П. *Ожирение как болезнь образа жизни. Современные аспекты профилактики и лечения*. Самара: Изд-во Самарского гос. медицинского ун-та, 1997.
- Гоголь Н. В. (1959) — Гоголь Н. В. *Тарас Бульба*. // Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений. М.: Худ. лит., 1959. Т. 2.

- Гоголь Н. В. (1992) — Гоголь Н. В. Авторская исповедь // Гоголь Н. В. *Духовная проза*. М.: Русская книга, 1992.
- Голик А. (1994) — Голик А. Клиническое рассмотрение проблем нарушения влечений и феноменология влечений по К. Ясперсу // *Логос*. 1994. Вып. 5.
- Голод С. И. (1986) — Голод С. И. Изучение половой морали в 20-е годы // *Социологические исследования*. 1986. № 2.
- Голод С. И. (1996) — Голод С. И. Российское население сквозь призму гендерных различий // *Качество населения Санкт-Петербурга*. СПб., 1996. № 2.
- Голод С. И. (1994) — Голод С. И. Сексуальное поведение и субкультурная дифференциация полов // *Социологический журнал*. 1994. № 4.
- Голомшток И. (1994) — Голомшток И. *Тоталитарное искусство*. М.: Галарт, 1994.
- Гончаров Ю. М. (1999) — Гончаров Ю. М. *Купеческая семья второй половины XIX — начала XX в.* М., 1999.
- Городникова М. Д. (1999) — Городникова М. Д. Гендерный фактор и распределение социальных ролей в современном обществе (на материале брачных объявлений) // *Гендерный фактор в языке и коммуникации*. М., 1999.
- Горошко Е. И. (1996) — Горошко Е. И. *Особенности мужского и женского вербального поведения: (Психолингвист. анализ)*: Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ин-т языкознания РАН. М., 1996.
- Горошко Е. И. (1999) — Горошко Е. И. Особенности мужского и женского стиля письма // *Гендерный фактор в языке и коммуникации*. М., 1999.
- Горошко Е., Кирилина А. (1999) — Горошко Е., Кирилина А. Гендерные исследования в лингвистике сегодня // *Гендерные исследования*. 1999. № 2 (1/1999).
- Госкомстат (1999). — Госкомстат. *Россия в цифрах*. URL: <http://www.gks.ru/>
- ГР(1922). Процессы гомосексуалистов // *Еженедельник советской юстиции*. 1922. № 33. С. 16—17.
- Грабович Г. (1992) — Грабович Г. *Шевченко як міфотворець*. Киев: Рад. письменник, 1992.
- Гримшоу Д. (1993) — Гримшоу Д. Идея «женской этики» // *Феминизм: Восток. Запад. Россия*. М., 1993.
- Громова Р. (1998) — Громова Р. Сравнительный анализ типичных форм социальной мобильности в российском обществе до и после 1985 года // *Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного мнения*. 1998. № 33 (1).
- Грязнова Л. (1992) — Грязнова Л. Мужчины и женщины в науке и преподавании в Белорусском государственном университете // *Высшее образование в Европе*. Бухарест, 1992. Т. 17. № 2.
- Гурко Т. А. (1990) — Гурко Т. А. Ролевые ожидания молодых супругов в различных типах семей // *Семья в представлениях современного человека*. М., 1990.
- Гурко Т. А. (1998) — Гурко Т. А. Социология пола и гендерных отношений // Ядов В., ред. *Социология в России*. М: ИС РАН, 1998.
- Гурко Т. А. (2000) — Гурко Т. А. Вариативность представлений в сфере родительства // *Социс: Социологические исследования*. 2000. № 11.
- Гусарова Н. (1993) — Гусарова Н., Литвинова С. Сексизм и этноцентризм как социальные стереотипы // *Вестник Московского университета*. Серия 14: Психология. 1993. № 1.
- Гусейнова И. А. (1999) — Гусейнова И. А. Технологии элиминирования гендерного фактора в дескриптивных рекламных текстах (на материале журналь-

- ной прессы России и ФРГ) // *Гендерный фактор в языке и коммуникации*. М., 1999.
- Гушина А. Э. (1990) — Гушина А. Э. Самореализация личности в семье // *Молодая семья и реализация активной социальной политики в регионе*. Свердловск, 1990.
- Давац В. Х., Львов, Н. Н. (1923) — Давац В. Х., Львов, Н. Н. *Русская армия на чужбине*. Белград, 1923.
- Давыдов Ю. Н. (1985) — Давыдов Ю. Н. Семья и страсть // *Социологические исследования*. 1985. № 3.
- Даников Н. И. (1995) — Даников Н. И. *Народная медицина женщинам и мужчинам*. Т. 2: *Народная медицина — мужчинам*. М., 1995.
- Дантес (1999) — Дантес. *Литературно-художественный журнал*. 1999. № 1. СПб: Митин журнал.
- Даль В. И. (1999а) — Даль В. И. *Толковый словарь живого великорусского языка*: В 4 т. М.: Русский язык, 1999. Т. 2.
- Даль В. И. (1999б) — Даль В. И. *Пословицы русского народа*. М., 1999.
- Дарвин М. Н. (1998) — Дарвин М. Н. Мужское и женское в «Повестях Белкина» А. С. Пушкина: (О некоторых особенностях построения цикла) // *Сюжет и мотив в контексте традиции*. Новосибирск, 1998.
- Дворкин Э. М. (1992) — Дворкин Э. М. *Методики психотерапии сексуальных расстройств у мужчин в амбулаторных условиях*. Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Психоневрол. ин-т им. Бехтерева. СПб., 1992.
- ван Дейк (1989) — ван Дейк Т. *Язык. Познание. Коммуникация*. М.: Прогресс, 1989.
- Делез Ж. (1998) — Делез Ж. *Логика смысла* / Пер. Я. Я. Свирского. М.; Екатеринбург: Раритет, 1998.
- Делис Д. К. (1994) — Делис Д. К. *Парадокс страсти: она его любит, а он ее нет* / Пер. с англ. М.: МИРТ, 1994.
- Демитриенко В. А., Шишлянников С. М. (1993) — Демитриенко В. А., Шишлянников С. М., сост. *Нашим мужчинам: Малая энциклопедия для мужчин*. Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1993.
- Дерябин А. (1998) — Дерябин А. Репрезентация гендерных отношений в русском музыкальном видео. Стратегии чтения популярного текста // Барчунова Т., ред. *Потолок пола*. Новосибирск: НГУ и Ресурсный Центр гуманитарного образования, 1998.
- Джексон Г. (1998) — Джексон Г. *Мужчина и мужчина: Психоанализ взаимоотношений* / Пер. с англ. М.: ЧеРо, 1998.
- Джонсон Р. А. (1996) — Джонсон Р. А. *Он: Глубинные аспекты мужской психологии* / Пер. с англ. Харьков; М.: Фолио; Б. и., 1996.
- Дзюньити Ватанабэ (1994) — Дзюньити Ватанабэ. Холодная война между мужчинами и женщинами окончена... Что дальше? // *Япония о себе и мире*. М., 1994. № 7.
- Дибиров М. А. (1987) — Дибиров М. А. Народные игры и состязания в дагестанских мужских союзах // *Вопросы общественного быта народов Дагестана в XIX — нач. XX в.* Махачкала, 1987.
- Д. Л. и В. С. (1994) — Д. Л. и В. С. Американский след // *Makhaon*. 1994. № 4.
- Дмитриенко Н. М. (1996) — Дмитриенко Н. М. Завещания томских купцов XIX — начала XX в. как источник // Горюшкин Л. М., ред. *К истории предпринимательства в Сибири*. Новосибирск, 1996.

- Доллемур Д. (1996) — Доллемур Д., Жилуччи М. *Если мужчины не хотят стареть: 100 быстрых и эффективных способов победить годы* / Пер. с англ. М.: Крон-пресс, 1996.
- Домострой (1992) — *Домострой: Книга, называемая домостроем, которая содержит в себе полезные сведения, поучение и наставление всякому христианину — и мужу, и жене, и детям, и слугам, и служанкам*. Омск: Кн. изд-во, 1992.
- Доннер Ф. (1994) — Доннер Ф. *Шабоно*. Киев: София, 1994.
- Древние путешествия иностранцев по России (1863) // *Чтения в Императорском Обществе Истории и Древностей Российских при Московском Университете*. М., 1863. Ч. 2.
- Дурова Н. (1988) — Дурова Н. *Избранные сочинения кавалерист-девицы Н. А. Дуровой*. М.: Моск. рабочий, 1988.
- Дымшиц Н. (1987) — Дымшиц Н. *Советская киномелодрама вчера и сегодня*. М.: Изд-во Знание, 1987.
- Дыховичный И. (1992а) — Дыховичный И. Большевицкая идея началась с уничтожения пола // *Искусство кино*. 1992. № 11.
- Дыховичный И. (1992б) — Дыховичный И. Прорва // *Экран*. 1992. № 10.
- Дыховичный И. (1994) — Дыховичный И. Некоторые режиссеры полагают, что им обязаны давать деньги // *Сеанс*. 1994. № 9.
- Еникеева Д. Д. (1998) — Еникеева Д. Д. *Сексуальная жизнь мужчины*. М.: Аст-пресс, 1998.
- Еникеева Д. Д. (1999) — Еникеева Д. Д. *Энциклопедия сексуальных тайн мужчины и женщины*. М.: Центрполиграф, 1999.
- Ерофеев В. В. (1997) — Ерофеев В. В. *Мужчины*. М.: Подкова, 1997. 169 с.
- Ефимов А. Н. (1996) — Ефимов А. Н., сост. *Психологические тесты для мужчин: Сам себе господин*. Киев: Довира; Таир, 1996.
- Ефремова В. П. (1996) — Ефремова В. П. *Морфофункциональные показатели физического развития мужского населения Красноярского края*. Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Краснояр. гос. мед. акад. Красноярск, 1996.
- Жельвис В. И. (1991) — Жельвис В. И. Инвектива: мужское и женское предпочтение // Байбурин А. К., Кон И. С., ред. *Этнические стереотипы мужского и женского поведения*. Сб. ст. СПб.: Наука, 1991.
- Жеребкин (1999) — Жеребкин С. Мужские и женские фантазии: политики сексуальности в постсоветской национальной литературе // *Гендерные исследования*. 1999. № 3.
- Жеребкина И. (1999) — Жеребкина И., ред. *Гендерные исследования*. М.: Человек & Карьера, 1999. Вып. 2 (1/1999).
- Жеребкина И. М. (1996) — Жеребкина И. М. Фуко: Политические технологии тела. История женского как история сексуальности // *Преображение*. 1996. № 4.
- Жолковский А. К., Ямпольский М. Б. (1994) — Жолковский А. К., Ямпольский М. Б. *Бабель / Babel*. М.: Carte Blanche, 1994.
- Жульев В. К. (1993) — Жульев В. К. *Бытие*: [Вопросы половой этики и морали]. М.: Лицей, 1993.
- Заикина Г. А. (1990) — Заикина Г. А. Возрастная и социокультурная гомогенность как критерий выбора брачного партнера // *Семья в представлениях современного человека*. М., 1990.
- Зарубинский В. А. (1999) — Зарубинский В. А. *Женщины: Как следует знакомиться, овладевать и обращаться с ними. Справочник для мужчин*. М., 1999.

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

- Заславская Т. И. (1988) — Заславская Т. Перестройка как социальная революция. Академик Татьяна отвечает на вопросы читателей // *Известия*. 1988. 24 декабря.
- Заславская Т. И. (1995) — Заславская Т. И. Бизнес-слой российского общества: сущность, структура, статус // *ОНС: Общественные науки и современность*. 1995. № 1.
- Засядь-Волк Ю. В. (1998) — Засядь-Волк Ю. В. Смысл жизни и пол человека // *Новые идеи в философии*. Пермь, 1998. Вып. 7.
- Здравомыслов А. (1969) — Здравомыслов А. *Методология и процедура социологических исследований*. М.: Мысль, 1969.
- Здравомыслова Е. (1996а) — Здравомыслова Е. Кафе «Сайгон» как общественное место // Здравомыслова Е., Хейкинен К., ред. *Гражданское общество на европейском Севере*. СПб: ЦНСИ. 1996. Вып. 3.
- Здравомыслова Е. (1996б) — Здравомыслова Е. Коллективная биография современных российских феминисток // Здравомыслова Е., Темкина А., ред. *Гендерное измерение социальной и политической активности в переходный период*. СПб: ЦНСИ, 1996. Вып. 4.
- Здравомыслова Е., Герасимова Е., Троян Н. (1998) — Здравомыслова Е., Герасимова Е., Троян Н. Гендерные стереотипы в дошкольной детской литературе: Русские сказки // *Преображение*. 1998. № 6.
- Здравомыслова, Темкина (1996) — Здравомыслова Е., Темкина А. Введение. Социальная конструкция гендера и гендерная система в России // Здравомыслова Е., Темкина А., ред. *Гендерное измерение социальной и политической активности в переходный период*. СПб: ЦНСИ, 1996. Вып. 4.
- Здравомыслова Е. А., Темкина А. А. (2000) — Здравомыслова Е. А., Темкина А. А. Социология гендерных отношений и гендерный подход в социологии // *Социс: Социологические исследования*. 2000. № 11.
- Здравомыслова Е., Хейкинен К. (1996) — Здравомыслова Е., Хейкинен К., ред. (1996) *Гражданское общество на европейском Севере*. СПб: ЦНСИ. 1996. Вып. 3.
- Здравомыслова О., Арутюнян М. (1998) — Здравомыслова О., Арутюнян М. *Российская семья на европейском фоне: (по материалам международного социологического исследования)*. М.: Эдиториал УРСС, 1998.
- Золотоносов М. (1999а) — Золотоносов М. *Глиптократос. Исследование немого дискурса. Аннотированный каталог садово-парковой скульптуры сталинского времени*. СПб.: ИНАПРЕСС, 1999.
- Золотоносов М. (1999б) — Золотоносов М. *Слово и Тело: Сексуальные аспекты, универсалии, интерпретации русского культурного текста XIX—XX веков*. М.: ЛАДОМИР, 1999.
- Зоркая Н. (1992) — Зоркая Н. От Клятвы — к Прорве // *Искусство кино*. 1992. № 11.
- Иванов В. (1995) — Иванов В., сост. *Здоровье и успех мужчины*. М.: Крон-пресс, 1995.
- Иванов Ю. М. (1995) — Иванов Ю. М. *Мужчина и женщина, или Как стать счастливым партнером*. М.: Маги и К, 1995.
- Иванчик А. И. (1988) — Иванчик А. И. Воины-псы: Мужские союзы и скифские вторжения в Переднюю Азию // *Советская этнография*. 1988. № 5.
- Ильин И. (1991) — Ильин И. Без любви // Шестаков В. П., сост. *Русский эрос, или Философия любви в России*. М.: Прогресс, 1991.
- Интермедия (1994) — Интермедия // *Андрей*. 1994. № 5.
- Интермедия (1995) — Интермедия // *Андрей*. 1995. № 7.

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

- Ионин Л. (1997) — Ионин Л. *Свобода в СССР*. СПб: Фонд Университетская книга, 1997.
- Ионин Л. (2000) — Ионин Л. *Социология культуры: путь в новое тысячелетие*. М.: Логос, 2000.
- Исаев Д. (1995) — Исаев Д. Предпочтение новым женщинам // *Аргументы и факты — Петербург*. 1995. № 1 (74).
- Исаев Д., Каган В. (1979) — Исаев Д., Каган В. *Половое воспитание и психогигиена пола у детей*. Л.: Медицина, 1979.
- Исаев Д. Н., Каган В. Е. (1988) — Исаев Д. Н., Каган В. Е. *Половое воспитание детей*. Л., 1988.
- Историческая записка (1995) — *Историческая записка Рязанской первой мужской гимназии. 1804—1904*. Репринт. изд. Рязань: РГПУ, 1995
- Источник (1993) — Может ли гомосексуалист состоять членом коммунистической партии? // *Источник*. 1993. № 5/6.
- Кабаков А. А. (1993) — Кабаков А. А. *Похождения настоящего мужчины в Москве и других невероятных местах*. М.: Вагриус, 1993.
- Кадастик Х. (1987) — Кадастик Х. Гомосексуализм с разных точек зрения // *Советское право*. Таллин, 1987. № 4.
- Калабихина И. Е. (1994) — Калабихина И. Е. *Гендерный анализ экономико-демографических проблем населения*. Автореф. дис. ... канд. экон. наук / МГУ им. Ломоносова. Экон. фак. М., 1994.
- Калабихина И. Е. (1998) — Калабихина И. Е. Гендерный фактор воспроизводства человеческого капитала // *Вестник Московского ун-та*. Серия Экономика. 1998. № 5.
- Каманин Е. И. (1997) — Каманин Е. И. *Сверхсмертность мужчин — феномен современной демографической ситуации: (По материалам Смоленской обл.)*. Смоленск, 1997.
- Камов Б. Н. (1995) — Камов Б. Н. *Как стать женщиной. Как остаться мужчиной: Книга для чтения о том, как мальчику и девочке, женщине и мужчине сохранить, укрепить и восстановить свое сексуальное здоровье*. М.: Прометей, 1995.
- Караджова В. М. (1990) — Караджова В. М. К проблеме разности политических потенциалов женского и мужского населения // *Информационный бюллетень Акад. обществ. наук. Центр социол. исслед.* 1990. № 8.
- Карелин А. (2000) — Карелин А. К сожалению, я всего лишь человек // *Известия*. 2000. 27 октября.
- Карлинский С. (1991) — Карлинский С. «Ввезен из-за границы...»: Гомосексуализм в русской культуре и литературе // *Литературное обозрение*. 1991. № 11.
- Карнеги Д. (1996) — Карнеги Д. *Как помочь мужу преуспеть в деле* / Пер. с англ. М.: Гранд; Фаир, 1996.
- Карпов Ю. Ю. (1996) — Карпов Ю. Ю. *Джигит и волк: Мужские союзы и социокультурные традиции горцев Кавказа* / Музей антропологии и этнографии РАН (Кунсткамера). СПб., 1996.
- Карпов Ю. Ю. (1993) — Карпов Ю. Ю. Мужские союзы в социокультурной традиции горских народов Кавказа // *Этносы и этнические процессы*. — М., 1993.
- Карьеры мужчин (1992) — Карьеры мужчин и женщин в области исследований и развития: условия и перспективы // *Высшее образование в Европе*. Бухарест, 1992. Т. 17. № 2.

- Касьянов Н. Р. (1985) — Касьянов Н. Р. Проблемы сельской молодой семьи // *Социальный облик сельской молодежи*. М., 1985.
- Категории тела (1996) — Категории тела и пола в Ветхом и Новом Завете // *Человек*. 1996. Вып. 5.
- Катков М. (1840) — Катков М. Сочинения в стихах и прозе графини С. Ф. Толстой // *Отечественные записки*. 1840. Т. XII, отд. V. С.
- Качанов В. Е. (1998) — Качанов В. Е., сост. *Секреты мужского здоровья: Советы канадских врачей*. М.: Вече; СТ, 1998.
- Качуровский И. (1966) — Качуровский И. *Дім над кручею*. Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1966.
- Кезберг А. (1988) — Кезберг А. Роль мужчин в выполнении хозяйственной функции семьи // *Проблемы семьи*. Тарту, 1988. № 7.
- Кей Д. (1994) — Кей Д. *Как завоевать мужчину: Астрологический ключ к сердцу мужчины: Практик. руководство для девушек и женщин* / Пер. с польск. М.: ФіС, 1994.
- Келли Г. Ф. (2000) — Келли Г. Ф. *Основы современной сексологии*. СПб. 2000.
- Кент М. (1991) — Кент М. *Как выйти замуж* / Пер. с англ. Рига: Атбалсс, 1991.
- Кетлинская В. (1960) — Кетлинская В. *Мужество*. М.; Л.: Госиздат худож. лит., 1960.
- Кибрик Н. Д. (1999) — Кибрик Н. Д. *Возрастные особенности развития сексуальных дисфункций у мужчин*: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук / Моск. НИИ психиатрии. М., 1999.
- Кинг Д. (1997) — Кинг Д. *Любовница, подруга и жена: Психология супружества* / Пер. с англ. М.: Фаир, 1997.
- Кирилина А. В. (1999а) — Кирилина А. В. *Гендер: лингвистические аспекты*. М.: Ин-т социологии РАН, 1999.
- Кирилина А. В. (1999б) — Кирилина А. В. Гендерные компоненты этнических представлений (по результатам пилотажного исследования) // *Гендерный фактор в языке и коммуникации*. М., 1999.
- Кирилина А. В. (1998) — Кирилина А. В. «Мужественность» и «женственность» с точки зрения лингвиста // *Женщина в российском обществе*. 1998. № 2.
- Кирюшкина Т. В. (1999) — Кирюшкина Т. В. Особенности речи мужчин и женщин на примере немецкоязычных и русскоязычных ток-шоу // *Гендерный фактор в языке и коммуникации*. М., 1999.
- Клейн Л. С. (2000) — Клейн Л. С. *Другая любовь: Природа человека и гомосексуальность*. СПб., 2000.
- Клецин А. А. (1994) — Клецин А. А. Внебрачные и альтернативные (немодальные) семьи: формы и содержание // *Рубеж*. Сыктывкар, 1994. № 5.
- Клецин А. А. (1996) — Клецин А. А. Семейно-брачные аспекты качества населения Санкт-Петербурга // *Качество населения Санкт-Петербурга*. СПб., 1996. Вып. 2.
- Клецин А. (1998) — Клецин А. Социология семьи // Ядов В. М., ред. *Социология в России*. М: ИС РАН, 1998.
- Клецина И. С. (1998) — Клецина И. С. *Гендерная социализация*. Учеб. пособие / Рос. гос. пед. ун-т. СПб., 1998.
- Клименкова Т. А. (1988) — Клименкова Т. А. Философско-мировоззренческие аспекты феминистских представлений о природе «женственности» и «мужественности» // *Философия и мировоззрение*. М., 1988.

- Ключко О. И. (1999) — Ключко О. И. *Гендерная асимметрия социализации*: Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Мордов. гос. пед. ин-т. Саранск, 1999.
- Козина И. М. (2000) — Козина И. М. Что определяет статус «кормильца» семьи? // *Социс: Социологические исследования*. 2000. № 11.
- Козловская О. В., Шабурова О. В. (1996) — Козловская О. В., Шабурова О. В. Социальное самочувствие и политическое сознание женщин // *Женщина в Российском обществе*. 1996. № 3.
- Козловский В. (1986) — Козловский В. *Арго русской гомосексуальной субкультуры: Материалы к изучению*. Venson, Vermont: Chalidze Publications, 1986.
- Коикэ К. (1993) — Коикэ К. Критический анализ общепризнанных взглядов на проблемы японской экономики: пожилые рабочие и работающие женщины // *Япония о себе и мире*. М., 1993. № 16.
- Комарова Г. А. (1987) — Комарова Г. А. Женщина и мужчина: отношение к традиционной культуре: (На материалах Чуваш. АССР) // *Расы и народы*. М., 1987. № 17.
- Комарова Г. А. (1985) — Комарова Г. А. Об особенностях этнокультурных ориентаций мужчин и женщин // *Статистико-этнографические исследования в Удмуртии: (Материалы к изуч. образа жизни сельского населения)*: Сб. ст. Устинов, 1985.
- Кон И. С. (1980) — Кон И. С. *Дружба: Этико-психологический очерк*. М.: Политиздат, 1980.
- Кон И. С. (1981a) — Кон И. С. На стыке наук: Интегративные тенденции в объяснении человеческой сексуальности // *Вопросы философии*. 1981. № 10.
- Кон И. С. (1981b) — Кон И. С. Психология половых различий // *Вопросы психологии*. 1981. № 2.
- Кон И. С. (1988) — Кон И. С. *Ребенок и общество*. М.: Наука, 1988.
- Кон И. (1991) — Кон И. Сексуальная революция в кавычках и без кавычек // *Аврора*. 1991. № 7.
- Кон И. С. (1997) — Кон И. С. *Сексуальная культура в России: Клубничка на безрезке*. М.: О. Г. И., 1997.
- Кон И. С. (1998) — Кон И. С. *Лунный свет на заре: Лики и маски однополой любви*. М.: Олимп; СТ, 1998.
- Кон И. С. (1999) — Кон И. С. Гомоэротический взгляд и поэтика мужского тела // *Митин журнал*. 1999. № 58.
- Кон И. С. (2001) — Кон И. С. *Меняющиеся мужчины в изменяющемся мире*. Глава для учебного пособия по гендерным исследованиям. Харьков, 2001 (в печати).
- Кондаков Е. (1995) — Кондаков Е. Американские куклы // *Андрей*. 1995. № 6.
- Кони А. Ф. (1912) — Кони А. Ф. *На жизненном пути: Из записок судебного деятеля. Житейские встречи*. СПб.: Труд, 1912. Т. 1.
- Кониский Г. (1846) — Кониский Г. *История Русов или Малой России*. М., 1846.
- Коновалов Л. (1997) — Коновалов Л. От редакции // *Макхаон*. 1997. № 8.
- Коноплева Н. А. (1999) — Коноплева Н. А. *Художественное творчество в гендерном контексте: (В свете становления творч. способностей в сфере изобраз. искусства)*: Автореф. дис. ... канд. культурол. наук / Дальневост. гос. техн. ун-т. Владивосток, 1999.
- Контексты современности (1998) — Гендерные исследования и социология пола // *Контексты современности: Хрестоматия*. Казань, 1998. Ч. 2.

- Конусов Ю. А. (1987) — Конусов Ю. А. Мужчина в семье: типы поведения // *Семья и социальная структура*. М., 1987.
- Копцева Т. В. (1997) — Копцева Т. В. Купец в представлениях русского народа. // Н. А. Миненко, ред. *Культурное наследие Азиатской России*. Тобольск, 1997.
- Коржаков А. (1997) — Коржаков А. *Борис Ельцин: от рассвета до заката*. М.: Интербук, 1997.
- Короленко Ц. П. (1994) — Короленко Ц. П. *Мифология пола*. [Б. м.], 1994.
- Коростылева Н. Н. (1998) — Коростылева Н. Н. *Гендерный конфликт как разновидность социальных конфликтов*: Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Воронеж. гос. архит.-строит. акад. Воронеж, 1998.
- Косевич Е. (1993) — Косевич Е. Проблематика тела, пола и любви в русской религиозной мысли начала века // *Русская культура и мир*. Н. Новгород, 1993.
- Косова Л. (1997) — Косова Л. Социальные реформы и динамика изменения статусов // *Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного мнения*. 1997. № 32 (6).
- Костомаров М. (1888) — Костомаров М. *Богдан Хмельницкий*. Тернополь, 1888. Т. 2.
- Котова Ю. Э. (1994) — Котова Ю. Э., Либин А. В. Социально-психологические особенности лиц, склонных к социальным отклонениям // *Психологический межвузовский вестник*. М., 1994. Вып. 1.
- Котовская М. (1997) — Котовская М., Шалыгина Н., Золотухина М. Сделает ли российская женщина счастливым своего мужа? // *Вы и Мы: Альманах*. 1997. № 3(15).
- Кочарян Г. С. (1995) — Кочарян Г. С. *Синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи у мужчин и его лечение*. Харьков: Основа, 1995.
- Кочетов А. И. (1994) — Кочетов А. И. *Как очаровать мужчину*. Минск: ПАВИР, 1994. 319 с.
- Кочкин Е. (1996) — Кочкин Е., Либоракина М. Кому нужна гендерная экспертиза? // *Кто защищает женщин*. М., 1996.
- Кравцова О. (2000) — Кравцова О. *Изнасилование как психологическая травма*: Автореф. дис. ... канд. псих. наук / МГУ. М., 2000.
- Кравченко В. (1975) — Кравченко В. *Дроздовцы от Ясс до Галлиполи*. Мунчен, 1975.
- Кравченко Е. И. (1993) — Кравченко Е. И. Мужчина и женщина: взгляд сквозь рекламу (социологические мозаики Эрвина Гоффмана) // *Социс: Социологические исследования*. 1993. № 2.
- Кравченко С. А. (1997) — Кравченко С. А. и др. Пол, секс, семейно-брачные отношения // Кравченко С. А., Мнацаканян М. О., Покровский Н. Е. *Социология: парадигмы и темы*. М.: МГИМО-Университет, 1997.
- Крайнович И. М. (1995) — Крайнович И. М., ред. *Покорить мужчину: Книга для пока еще одиноких женщин*. Ростов н/Д: Феникс, 1995.
- Красовский Б. П. (1994) — Красовский Б. П. Выбор брачного партнера // *Социс: Социологические исследования*. 1994. № 12.
- Кривцун О. А. (1992) — Кривцун О. А. Психологические корни эротического искусства // *Психологический журнал*. 1992. Т. 13. № 1.
- Криулина А. А. (1992) — Криулина А. А., сост. *Психология женщины*: Хрестоматия. Курск, 1992.

- Кришталь Е. В. (1991) — Кришталь Е. В. *Хронический алкоголизм у мужчин в генезе сексуальной дисгармонии супружеской пары и ее психотерапевтическая коррекция*. Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Укр. ин-т усоверш. врачей. Харьков, 1991.
- Кротов Я. (1990) — Кротов Я. [Рецензия] // *Новый мир*. 1990. № 3. С. 270—271. Рец. на кн.: Бердяев Н. А. *Эрос и личность. Философия пола и любви* (М., 1989).
- Кудрина С. А. (1997) — Кудрина С. А., Филькин А. Н. *Мужчина — женщина — любовь: печать греха или тайна вечности?* (Половая любовь в религиоз.-филос. мысли) / Ярослав. гос. ун-т. Ярославль, 1997.
- Кудрявцев И. А., Дозорцева Е. Г. (1993) — Кудрявцев И. А., Дозорцева Е. Г. Смысловая сфера у лиц с особенностями психосексуальной ориентации // *Психологический журнал*. 1993. Т. 14, № 4.
- Кузнецова И. А. (1980) — Кузнецова И. А., сост. *Красота человека в искусстве*. 2-е изд. М.: Искусство, 1980.
- Кузнецова Л. В. (1999) — Кузнецова Л. В. *Тенденции сексуального поведения городского населения России на рубеже XIX—XX вв.*: (Социол. анализ): Автореф. дис. ... канд. социол. наук / Ин-т социологии РАН. СПб., 1999.
- Кулаев И. В. (1938) — Кулаев И. В. *Под счастливой звездой. Воспоминания*. Тяньцзинь, 1938.
- Кулик С. (1994) — Кулик С. У истоков черного эроса // *Эхо планеты*. 1994. № 23.
- Кулиш П. (1856) — Кулиш П. *Записки о Южной Руси*. СПб., 1856. Т. 1.
- Кулиш П. (1857) — Кулиш П. *Записки о Южной Руси*. СПб., 1857. Т. 2.
- Куприянов А. (1997) — Куприянов А. И. «Пагубная страсть» московского купца // Бессмертный Ю. Л., Бойцов М. А., ред. *Казус: Индивидуальное и уникальное в истории*. М.: РГГУ РАН, 1997.
- Курило О. В. (1998) — Курило О. В. XXXI конгресс немецких этнологов: [Гендерные исследования и значение категории пола в культуре] // *Этнографическое обозрение*. 1998. № 3.
- Кусова И. Г. (1996) — Кусова И. Г. *Рязанское купечество: Очерки истории XVI — начала XX в.* Рязань, 1996.
- Кутепов А. П. (1934) — Кутепов А. П. *Сборник статей*. Париж, 1934.
- Кучмаева О. В. (1996) — Кучмаева О. В. Добрачное поведение школьников и учащихся ПТУ // *Семья в России*. 1996. № 1.
- Кушнирук Ю. И. (1985) — Кушнирук Ю. И., Щербаков А. П. *Популярно о сексологии*. Киев: Наук. думка, 1985.
- Лаврентьев С. (1993) — Лаврентьев С. Старый кинотеатр «Парадизо» // *Искусство кино*. 1993. № 5.
- Лакан Ж. (1955) — Лакан Ж. *Семинары. Книга 2: «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа (1954/1955)* / Пер. с фр. А. Черноглазова. М.: Гнозис, 1999.
- Ларсен С. (1993) — Ларсен С. Женщина в зеркале советской прессы: взгляд со стороны // Фрейд Г., ред. *Трансформация русской культуры: Избранные доклады Рабочей группы по изучению современной русской культуры, 1990—1991*. Стэнфорд, 1993.
- Лебедь О. Л. (1999) — Лебедь О. Л. Социальный портрет семьи в современном фольклоре // *Социс. Социологические исследования*. 1999. № 11.
- Левада Ю. (1993) — Левада Ю., ред. *Советский простой человек: Опыт социального портрета на рубеже 1990-х*. М.: Мировой океан, 1993.

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

- Левинас Э. (1961) — Левинас Э. *Избранное. Тотальность и Бесконечное* / Сост. С. Я. Левит. СПб.: Университетская книга, 2000.
- Левинтон Г. А. (1991) — Левинтон Г. А. Мужской и женский текст в свадебном обряде: (Свадьба как диалог) // Байбурин А. К., Кон И. С., ред. *Этнические стереотипы мужского и женского поведения*: Сб. ст. СПб.: Наука, 1991.
- Левитов М. Н. (1974) — Левитов М. Н. *Материалы для истории Корниловского ударного полка*. Париж, 1974.
- Левицкая А. Г. (1993) — Левицкая А. Г., Орлик Е. Н., Потапова Е. П. Насилие на свидании: преступление или момент сексуальной игры? // *Социс: Социологические исследования*. 1993. № 6.
- Леденева А. (1997) — Леденева А. Неформальная сфера и благодать: гражданское общество или (пост)советская корпоративность? // *Pro et Contra*. 1997. № 4.
- Леонов Б. В. (1991) — Леонов Б. В. *Одиночество вдвоем*. М.: Сов. Россия, 1991.
- Лесков Н. (1973) — Лесков Н. Левша (сказ о тульском косом левше и стальной блохе) // Лесков Н. С. Собр. соч.: В 6 т. М.: Огонек, 1973. Т. 4.
- Липатов В. (1984) — Липатов В. *И это все о нем*. Киев: Радянська школа, 1984.
- Липницкий А. (1995) — Липницкий А. Виктор Суходрев: *Playboy* в моем багаже // *Playboy*. 1995. № 1.
- Лисовский В. Т. (1985) — Лисовский В. Т. *Любовь и нравственность*. Л.: Лениздат, 1985.
- Лисовский В. Т. (1997) — Лисовский В. Т., ред. *Преемственность поколений: диалог культур*: Материалы междунар. науч.- практ. конф., С.-Петербург, 24—26 сент., 1996 г. СПб., 1997.
- Лонго Ю. (1995) — Лонго Ю. Не дышите нам в зад. // *Андрей*. 1995. № 7.
- Лопатин В. А. (1997) — Лопатин В. А., сост. *Новочеркасск и Платовская гимназия в воспоминаниях и документах*. М.: Наука, 1997.
- Лоренцен Й., Лекке П. А. (1997) — Лоренцен Й., Лекке П. А. Жестокое обращение с женщинами: мужчины должны взять на себя ответственность за это: Доклад на междунар. семинаре в Страсбурге: *Promoting Equality: a Common Issue for Men and Women*, 17—18 June 1997. Strasbourg: Council of Europe, Russian version, 6—13.
- Лотман Ю. (1992) — Лотман Ю. Декабрист в повседневной жизни // Лотман Ю. *Избранные статьи*: В 3 т. Таллинн: Александра, 1992. Т. 1.
- Лукаш И. (1922) — Лукаш И. *Голое поле: книга о Галлиполи*. София, 1922.
- Лукьянов А. В. (1998) — Лукьянов А. В., Баранова О. М. Пол как ценность существования: к вопросу о единстве душевного и телесного «я» // *Философия ценностей*. Курган, 1998.
- Лукьянов Б. (1995) — Лукьянов Б. Заметки о наготы в искусстве // *Художник*. 1995. № 1.
- Любарская И. (1994) — Любарская И. Pulp-fiction по-советски // *Сеанс*. 1994. № 10.
- Магнес Н. О. (1999) — Магнес Н. О. *Структура устного бытового повествования и специфика ее гендерной реализации*: (На материале англ. яз.): Автореф. дис. ... канд. филол. наук / СПб. гос. ун-т. СПб., 1999.
- Маккей С. (1997) — Маккей С. Уникальный супруг // *Вы и Мы: Альманах*. 1997. № 3 (15).
- Малахов Г. П. (1996) — Малахов Г. П. *Проблемы женщин, секреты мужчин*. Ростов н/Д: Проф-пресс, 1996.

- «Малорусские козаки между Россией и Польшей в 1659 году по взгляду на них серба Юрия Крижанича» // *Чтения в Императорском Обществе Истории и Древностей Российских при Московском Университете*. М., 1863. Ч. 2.
- Малышева М. (1992) — Малышева М. Гендерная политика и социальная ситуация в России: (На примере Тульской области) // *Молодежь России на рубеже 90-х годов*. М., 1992. Кн. 1.
- Малышева М. М. (1996) — Малышева М. М., ред. *Гендерные аспекты социальной трансформации: Демография и социология*. № 15. М.: ИСЭПН, 1996.
- Малышева М. (1999) — Малышева М. Политика финансирования науки в зеркале гендерной асимметрии // *Гендерные исследования*. 1999. № 2 (1/1999).
- Малышева М. М. (1999) — Малышева М. М. *Взаимосвязь социально-экономических процессов и гендерных отношений*: Автореф. дис. ... д-ра экон. наук / Ин-т социал.-экон. пробл. народонаселения. М., 1999.
- Малышкина А. И. (1998) — Малышкина А. И. *Состояние репродуктивного и соматического здоровья в супружеских парах при перинатальной гибели ребенка*: Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Иван. НИИ материнства и детства. Иваново, 1998.
- Маматова Л. (1993) — Маматова Л. Фрагменты // *Искусство кино*. 1993. № 8/9.
- Мантцов И. (1992) — Мантцов И. Слишком мало любви // *Искусство кино*. 1992. № 11.
- Маринина А. (1999) — Маринина А. *Стечение обстоятельств*. М.: Экспресс, 1999.
- Мартынова М. Д. (1997) — Мартынова М. Д. Метафизика пола в философии российского зарубежья: В. В. Зеньковский и Н. А. Бердяев // *Образование и педагогическая мысль российского зарубежья, 20—50-е гг. XX в.* Саранск, 1997.
- МАС (1981) — Малый академический словарь: Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Евгеньевой. М.: Русский язык, 1981.
- Матизен В. (2000) — Матизен В. Школа смерти // *Новые Известия*. 2000. 1 июля.
- Мафедзев С. Х. (1992) — Мафедзев С. Х. Статусы мальчиков и девочек, мужчин и женщин и их роль в нравственном воспитании // *Актуальные проблемы феодальной Кабарды и Балкарии*. Нальчик, 1992.
- Махрова О. Н. (1998) — Махрова О. Н. *Гендерная структура российской бизнес-элиты* / РАН. Ин-т соц.-экон. пробл. народонаселения. М., 1998.
- Мезенцева Е. Б. (1998) — Мезенцева Е. Б., Космарская Н. П. Бег по замкнутому кругу: уровень жизни, ментальные установки и социальная мобильность жителей России // *Мир России*. 1998. № 3.
- Мельникова Т. А. (1998) — Мельникова Т. А. Включение гендерной системы в теорию общих систем // *Проблемы общественного развития*. М., 1998. № 1/2.
- Менделл А. (1997) — Менделл А. Игры, в которые играют мужчины: Семь правил для выживания в мире мужчин / Пер. с англ. СПб.: Питер, 1997.
- Мендра А. (2000) — Мендра А. Мужчины и женщины // Мендра А. *Основы социологии*: Учеб. пособие. М.: Издат. дом «NOTA BENE», 2000.
- Менжулин В. (1993) — Менжулин В. К психоаналитическому толкованию мифа о Прометее // *Философская и социологическая мысль*. Киев, 1993. № 7/8.
- Мережко В. (2000) — Мережко В. Открытый чемпионат. Наталья Дюкова беседует с Виктором Мережко // *Огонек*. 2000. № 20, март.

- Мержеевский В. (1878) — Мержеевский В. *Судебная гинекология. Руководство для врачей и юристов*. СПб., 1878.
- Мессер М. (1989) — Мессер М. Маскулинность и профессиональный спорт. // Гапова Е., Усманова А., сост. *Антология гендерных исследований*. Минск: Профили, 2000.
- Мещеркина Е. (1996а) — Мещеркина Е. Введение в антологию мужской жизни // Семенова В., Фотева Е. М., ред. *Судьбы людей: Россия XX век. Биографии семей как объект социологического исследования*. М.: Ин-т социологии РАН, 1996.
- Мещеркина Е. (1996б) — Мещеркина Е. Институциональный сексизм и стереотипы маскулинности // Малышева М. М., ред. *Гендерные аспекты социальной трансформации. Демография и социология*, № 15. М.: ИСЭПН, 1996.
- Мещеркина Е. (1997) — Мещеркина Е. «Зазеркалье» гендерных стереотипов // *Вы и Мы: Альманах*. 1997. № 1(13).
- Мещеркина Е. (1999) — Мещеркина Е. Биографии «новых русских»: Гендерная легитимация предпринимательства в постсоветском пространстве // *Гендерные исследования*. 1999. № 2 (1/1999).
- Миллер Ф. (1775) — Миллер Ф. И. О неудобствах запорожских козаков // *Чтения в Императорском Обществе Истории и Древностей Российских при Московском Университете*. М., 1775. Ч. 1.
- Мирный С. (1999) — Мирный С. Нескучные чернобыльские рассказы // *Контрапункт*. 1999. № 2, март.
- Митина О. В. (2000) — Митина О. В. Гендерное поведение и стереотипы // *Женщина Плюс...* — 2000. № 2.
- Михельсон М. И. (1896) — Михельсон М. И. *Ходячие и меткие слова*. 2-е изд. СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1896.
- Мишле Ж. (1997) — Мишле Ж. *Ведьма, Женщина*. М.: Республика, 1997.
- Моберг Е. (1997) — Моберг Е. Равенство между мужчинами и женщинами: лучшая жизнь, лучшее общество? Мужчины лучше, чем мужское общество: Доклад на междунар. семинаре в Страсбурге: *Promoting Equality: a Common Issue for Men and Women*. 17–18 June 1997. Strasbourg: Council of Europe, Russian version.
- Моисеева А. М. (1996а) — Моисеева А. М. *Целостность человека как взаимодействие женского и мужского принципов и ее реализация в эстетико-педагогическом процессе*. Орск, 1996.
- Моисеева А. М. (1996б) — Моисеева А. М. *Шаг человека: от иллюзии к жизни*. В 2 кн. Орск, 1996.
- Мольтманн-Вендель Э. (1991) — Мольтманн-Вендель Э. И сотворил Бог мужчину и женщину: (Феминистская теология и человеческая идентичность) // *Вопросы философии*. 1991. № 3.
- Моргентау С. (1997) — Моргентау С. Мы по-прежнему любим друг друга // *Вы и Мы: Альманах*. 1997. № 3 (15).
- Москвина Т. (2000) — Москвина Т. Русский культурный бунт 90-х, безобидный и безобразный // *Искусство кино*. 2000. № 6.
- Мошкина Л. Д. (1998) — Мошкина Л. Д. *Пол в структуре интегральной индивидуальности в условиях женского и мужского коллективов*. Автореф. дис. ... канд. психол. наук / Перм. гос. пед. ун-т, Юж.-Урал. гос. ун-т. Пермь, 1998.
- Мужчина и женщина (1989) — *Мужчина и женщина: Их взаимные отношения и положение, занимаемое ими в современной культурной жизни*. В 3-х т. [Репринт. изд. 1896 г., пер. с нем.]. Тбилиси: Мещниереба, [1989]. Т. 1.

- Мужчина и женщина (1990) — *Мужчина и женщина*: Справочник. Кострома, 1990.
- Муравьева М. Г. (2000) — Муравьева М. Г., ред. *Гендерная история: Pro et Contra*. СПб.: Нестор, 2000.
- Мурина Е. Б. (1979) — Мурина Е. Б., сост. *Александр Матвеев*. М.: Сов. художник, 1979.
- Мухина Н. А. (1995) — Мухина Н. А. *Ишемическая болезнь сердца: факторы риска, распространенность, смертность среди мужчин 40—59 лет из разных социальных групп*: Автореф. дис. ... канд. мед. наук / СПб. гос. мед. ун-т. СПб., 1995.
- Мухлынина Н. Л. (1996) — Мухлынина Н. Л. *Дискурс и субъект: иллюзии самовыражения пола в феминистской и патриархатной антропологии*. Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Урал. гос. ун-т. Екатеринбург, 1996.
- Мытиль А. В. (1990) — Мытиль А. В. *Взаимосвязь полоролевых образов // Семья в представлениях современного человека*. М., 1990.
- Навайтис Г. (1995) — Навайтис Г. *Муж, жена и ... психолог..* М.; Воронеж: Изд-во ин-та практ. психологии; МОДЭК, 1995.
- Надхин Г. (1876) — Надхин Г. Память о Запорожье и о последних днях Запорожской Сечи // *Чтения в Императорском Обществе Истории и Древностей Российских при Московском Университете*. Июль—сентябрь, 1876. Кн. 3.
- Нартова Н. (1999) — Нартова Н. Молодежная гей-субкультура в Санкт-Петербурге // Костюшев В. В., ред. *Молодежные движения и субкультуры Санкт-Петербурга: (социологический и антропологический анализ)*. СПб.: Норма, 1999.
- «Национальная гордость» (1995) — Национальная гордость // *Андрей*. 1995. № 6.
- Негашева М. А. (1996) — Негашева М. А. *Морфологическая типология лица у мужчин и женщин в связи с конституциональной принадлежностью*: Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Моск. гос. ун-т. М., 1996.
- Некрасова Е. С. (1890) — Некрасова Е. С. Надежда Андреевна Дурова (псевдоним Девица-Кавалерист, Александров) // *Исторический вестник*. 1890. № 9.
- Немировский Д. Э. (1989) — Немировский Д. Э. Отношение учащейся молодежи к вопросам пола и половой жизни // *Философская и социологическая мысль*. Киев, 1989. № 7.
- Немцов А. (1992) — Немцов А. Рабфак и Марсельеза // *Искусство кино*. 1992. № 11.
- Нечаева Н. (1999) — Нечаева Н. Идеал женщины в структуре гендерных картин мира // *Гендерные тетради*. СПб: ИС РАН, 1999. Вып. 2.
- Никонорова Е. В. (1997) — Никонорова Е. В., ред. *Женщина и мужчина на пути к устойчивому развитию: (Опыт гендер. подхода)*. М.: РЭФИА, 1997.
- Никонорова Е. В. (1996) — Никонорова Е. В. *Экология и культура: Учеб. пособие [Гендерные отношения как индикатор экологической культуры]* / Рос. акад. гос. службы. М., 1996.
- Новиков А. (2000) — Новиков А. Военно-умышленный комплекс // *Общая газета*. № 20 (354). 2000. 18—24 мая.
- Оберемко О. А. (1997) — Оберемко О. А. Рецензия на книгу Баумана З. *Жизнь во фрагментах: эссе о постмодернистской морали* // *Социологический журнал*. 1997. № 4.
- Обозов Н. Н. (1995) — Обозов Н. Н. *Женщина + мужчина = ?* СПб., 1995.

- Овидий (1977) — Овидий. *Метаморфозы*. М.: Худож. лит., 1977.
- Озерова М., Морозов Д. (1997) — Озерова М., Морозов Д. И вторые станут первыми // *Профиль*. 1997. № 26. 14 июля.
- Окладникова Е. А. (1991) — Окладникова Е. А. Символы мужского и женского начал в космогонических представлениях индейцев Северной и Центральной Калифорнии // Байбурин А. К., Кон И. С. ред. *Этнические стереотипы мужского и женского поведения*: Сб. ст. СПб.: Наука, 1991.
- Омельченко Е. Л. (1999) — Омельченко Е. Л., ред. *Подростки и наркотики. Опыт исследования проблемы в школах Ульяновска: социологический очерк*. Ульяновск: УлГУ, 1999.
- Омельченко Е. Л. (2000) — Омельченко Е. Л. «Жертвы» и/или «насилыники»? Феномены подростковой сексуальности в фокусе западных академических дискурсов // Омельченко Е. Л., Перфильев С. А., ред. *Другое поле*. Ульяновск, 2000.
- Орлов Г. А. (б.д.) — Орлов Г. А. *Дневник*. // Архив Г. А. Орлова, Колумбийский университет.
- Оршанский Л. Г. (1927) — Оршанский Л. Г. Половые преступления: Анализ психологический и психопатологический // Жижиленко А. А., Оршанский Л. Г., ред. *Половые преступления*. М.; Л.: Рабочий суд, 1927.
- Оссовская М. (1987) — Оссовская М. *Рыцарь и буржуа*. М.: Прогресс, 1987.
- Падунов В. (1996) — Падунов В. Огромные неуклюжие чудовища: поэтика чрезмерности в современной русской культуре // *Русская литература XX века: направления и течения*. Екатеринбург: Уральский гос. пед. ун-т, 1996. Вып. 3.
- Пайпс Р. (1993) — Пайпс Р. *Россия при старом режиме*. М., 1993.
- Паперный В. (1996) — Паперный В. *Культура Два*. М.: НЛО, 1996.
- Папич Ж. (1999) — Папич Ж. Национализм, война, гендер. Экс-феминность и экс-маскулинность экс-граждан экс-Югославии // *Гендерные исследования*. 1999. № 2 (1/1999).
- Паскаль Б. (1974) — Паскаль Б. *Мысли* / Пер с фр. М., 1974.
- Перспективы (1991) — Мужчина и женщина в меняющемся мире // *Перспективы*. 1991. № 8.
- Пигров К. С. (1982) — Пигров К. С., Стукалова Г. Е. Научно-техническая революция и духовное развитие личности: (Две актуал. пробл.) // *Научно-техническая революция и личность*. Л., 1982.
- Платон (1994) — Платон. Тимей // Платон. Собр. соч.: В 4 т. / Общ. ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи. М.: Мысль, 1994. Т. 3.
- Плахов А. (1992) — Плахов А. Красивая пошлость // *Искусство кино*. 1992. № 11.
- Плахов А. (1994) — Плахов А. Михалков против Михалкова // *Сеанс*. 1994. № 9.
- Плахов А. (1997) — Плахов А. Мачизм как зеркало сексуальной революции // *Искусство кино*. 1997. № 5.
- Плюханова М. (1995) — Плюханова М. *Сюжеты и символы Московского царства*. СПб.: Акрополь, 1995.
- Позднева С. П. (1997) — Позднева С. П., Маслов Р. В. Розанов и Фрейд: метафизика пола // *Россия и Запад: взаимовлияние идей и исторических судеб*. Саратов, 1997.
- Покальчук Ю. (1998) — Покальчук Ю. *Те, что на споді*. Львів: Кальвария, 1998.

- Поленина С. В. (1995) — Поленина С. В. Социогендерный аспект в социологии права // *Социс: Социологические исследования*. 1995. № 7.
- Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2-е. Т. XXXVII.
- Поляков Ю. (1997) — Поляков Ю. *Козленок в молоке*. М.: Вагриус, 1997.
- Помазнев В. М. (1994) — Помазнев В. М., Смирнова Р. М. Трудящиеся с семейными обязанностями: Круглый стол журн. «Государство и право» // *Государство и право*. 1994. № 11.
- Пометкина О. Ф. (1993) — Пометкина О. Ф. *Психология сексуальности: История и методы исследования*. М., 1993.
- Попов А. (1998) — Попов А. Регистрируемая безработица в 1992—1997 годах: женщины на фоне мужчин // *Вопросы статистики*. 1998. № 11.
- Попов Е. (1997) — Попов Е. Из грязи в князи // *Советская газета*. 1997. 23 августа.
- Попова П. (1989) — Попова П. *Современный мужчина в зеркале семейной жизни*. М., 1989.
- Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР (1982) «О дальнейшем подъеме массовости физической культуры и спорта» от 11 сентября 1981 г.» // Михалев В. М., ред. *КПСС о формировании нового человека: сборник документов и материалов: 1965—1981*. 2-е изд. М.: Политиздат, 1982.
- Прибыткова И. М. (1989) — Прибыткова И. М. Ева и Адам в зеркале статистики // *Философская и социологическая мысль*. Киев, 1989. № 8.
- Прокопенко Ю. (1999) — Прокопенко Ю. *Полный сексологический словарь*. 3-е изд., перераб. и доп. М.: «РИПОЛ КЛАССИК», 1999.
- Пропп В. (1998) — Пропп В. *Морфология <волшебной> сказки: Исторические корни волшебной сказки. (Собрание трудов В. Я. Проппа)* / Сост. И. В. Пешков. М.: Лабиринт, 1998.
- Прохоренков В. И. (1992) — Прохоренков В. И., Гузей Т. Н., Бозров Р. М. *Мальчик — подросток — мужчина*. Красноярск, 1992.
- Прэгер Д. (1998) — Прэгер Д. Иудаизм, гомосексуализм и цивилизация // *Человек и пол: Гомосексуализм и пути его преодоления*. СПб., 1998.
- Пушкарева Н. Л. (1998) — Пушкарева Н. Л. Гендерные исследования: Рождение, становление, методы и перспективы // *Вопросы истории*. 1998. № 6.
- Пушкарева Н. Л. (1999) — Пушкарева Н. Л. Гендерный анализ и его применение к изучению истории культуры // *Отечественная история*. 1999. № 1.
- Пушкарева Н. Л. (1999а) — Пушкарева Н. Л., сост. «*А се грехи злые, смертные...*»: *Любовь, эротика и сексуал. этика в доиндустриал. России (X — перв. пол. XIX в.): Тексты. Исследования*. М.: Ладомир, 1999.
- Пушкарева Н. Л. (1999б) — Пушкарева Н. Л. «Гендер — сила, гендер — власть...!»: (III Рос. летняя школа по жен. и гендер. исследованиям «Азов-98») // *Этнографическое обозрение*. 1999. № 1.
- Пушкарева Н. Л. (1999в) — Пушкарева Н. Л. Русские лубочные картинки XVIII—XX вв.: начало порнографии или отражение народных эротических воззрений // Левитт М., Топорков А., ред. *Эрос и порнография в русской культуре*. М.: ЛАДОМИР, 1999
- Пушкин А. С. (1959) — Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 1: *Стихотворения 1814—1822*. М.: Худож. лит., 1959.
- Пфау-Эффингер Б. (2000) — Пфау-Эффингер Б. Опыт кросс-национального анализа гендерного уклада / Пер. // *Социс: Социологические исследования*. 2000. № 11.

- Пятов Г. В. (1997) — Пятов Г. В. *Маскулинизирующая маммопластика у транс-сексуалов при смене анатомического женского пола на мужской*: Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Науч. центр хирургии РАМН. М., 1997.
- Радина Н. К. (1999) — Радина Н. К. Об использовании гендерного анализа в психологических исследованиях // *Вопросы психологии*. 1999. № 2.
- Рапопорт С. (1988) — Рапопорт С., сост. *Отец в современной семье*. Вильнюс, 1988.
- Рассел П. (1996) — Рассел П. *100 кратких жизнеописаний геев и лесбиянок* / Пер. с англ. Дворянкина А. М.: Крон-пресс, 1996. 424 с.
- Рахимов Р. Р. (1990а) — Рахимов Р. Р. «*Мужские дома*» в традиционной культуре таджиков. Л.: Наука, 1990.
- Рахимов Р. Р. (1995) — Рахимов Р. Р. Очерк быта традиционных «мужских домов» у таджиков // *Этническая и этносоциальная история народов Кавказа, Средней Азии и Казахстана*. СПб., 1995.
- Рахимов Р. Р. (1990б) — Рахимов Р. Р. Социальная иерархия в традиционных «мужских домах» у таджиков // *Этнографические аспекты традиционных военных организаций народов Кавказа и Средней Азии*. М., 1990. Вып. 1.
- Рахманный (1837) — Рахманный (Веревкин Н. В.) Женщина-писательница // *Библиотека для чтения*. 1837. Т. 23, отд. I.
- Ревуненкова Е. В. (1991) — Ревуненкова Е. В. Мужские и женские роли в обряде охоты за головами у народов Индонезии // Байбурун А. К., Кон И. С., ред. *Этнические стереотипы мужского и женского поведения*: Сб. ст. СПб.: Наука, 1991.
- Репина Л. (2000) — Репина Л. П. Пол, власть и концепция «разделенных сфер»: от истории женщин к гендерной истории // *Общественные науки и современность*. 2000. № 4.
- Репина Л. П. (1997) — Репина Л. П. Гендерная история: проблемы и методы исследования // *Новая и новейшая история*. 1997. № 6.
- Репина Т. А. (1987) — Репина Т. А. Анализ теорий полоролевой социализации в современной западной психологии // *Вопросы психологии*. 1987. № 2.
- Рильке Р. М. (1903) — Рильке Р. М. Огюст Роден // *Роден О.: Сборник статей о творчестве*. М.: Иностранная литература, 1960.
- Римашевский А. А. (1993) — Римашевский А. А. Сравнительный анализ положения мужчин и женщин на рынке труда: (На примере бывшего СССР и Швеции) // *Моделирование рыночных отношений и социальная политика*. М., 1993.
- Рогачевский А. (1993) — Рогачевский А. Б. *Кавалерист-девица* Н. А. Дуровой и *Капитанская дочка* А. С. Пушкина: «право рассказчика» // *Филологические науки*. 1993. № 4.
- Роден О. (1960) — Роден О.: *Сборник статей о творчестве* / Пер. с нем. и фр. М.: Иностранная литература, 1960.
- Розанов В. (1990) — Розанов В. *Люди лунного света: Метафизика христианства*. 2-е изд. М.: Дружба народов, 1990.
- Розин В. М. (1999) — Розин В. М. *Любовь и сексуальность в культуре, семье и взглядах на половое воспитание*. М.: Высш. шк., 1999.
- Ролле А. (1896) — Ролле А. Жінки при Чигиринськiм Дворі в другiй половині XVII віку // *Зоря*. 1896. Ч. 15.
- Романов И. В. (1997) — Романов И. В. Особенности половой идентичности подростков // *Вопросы психологии*. 1997. № 4.

- Романов П. В., Ярская-Смирнова Е. Р. (1999) — Романов П. В., Ярская-Смирнова Е. Р. Три цвета в инсталляции плюрализма // *Кому принадлежит культура?: Общественные науки и перспективы исследований социокультурных перемен*. Казань: Терра-консалтинг, 1999.
- Росс Л., Р. Нисбетт Р. (1999) — Росс Л., Р. Нисбетт Р. *Человек и ситуация*. М., 1999.
- Ротиков К. (1997) — Ротиков Константин К. Эпизод из жизни голубого Петербурга // *Невский архив: историко-краеведческий сборник*. 1997. № 3.
- Ротиков К. (1998) — Ротиков Константин К. *Другой Петербург*. СПб.: Лига Плюс, 1998.
- Рошин С. (1995) — Рошин С. Дискриминация и равенство возможностей на рынке труда // *Человек и труд*. 1995. № 4.
- Рошин С. (1994) — Рошин С., Рошина Я. Мужчины, женщины и предпринимательство // *Человек и труд*. 1994. № 12.
- Руадзе В. П. (1908) — Руадзе В. П. *К суду!.. Гомосексуальный Петербург*. СПб., 1908.
- Русалов В. М. (1993) — Русалов В. М. Пол и темперамент // *Психологический журнал*. 1993. Т. 14. № 6.
- Русские в Галлиполи (1923) — *Русские в Галлиполи*: Сб. статей. (1923). Берлин, 1923.
- Рыклин М. (1994) — Рыклин М. Сексуальность и власть: антирепрессивная гипотеза Мишеля Фуко // *Логос*. 1994. Вып. 5.
- Рыклин М. (1997) — Рыклин М. *Искусство как препятствие*. М.: Ad Marginem, 1997.
- Рычка В. (1998) — Рычка В. «Аще муж от жены блядеть...»: Семейно-брачные отношения в Древней Руси // *Родина*. 1998. № 3.
- Рюриков Ю. Б. (1990) — Рюриков Ю. Б. Любовь: ее настоящее и будущее // *Философия любви*. М., 1990. Вып. 1.
- Рюриков Ю. Б. (1988) — Рюриков Ю. Б. *Три влечения: Любовь, ее вчера, сегодня и завтра*. Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1988.
- Рябов О. В. (1997) — Рябов О. В. *Женщина и женственность в философии Серебряного века*. — Иваново: Иванов. гос. ун-т, 1997.
- Сагдиев Р. (2000) — Сагдиев Р. Мужики-то не знают // *Известия*. 2000. 28 окт.
- Салецл Р. (1999) — Салецл Р. *Извращения любви и ненависти* / Пер. с англ. М.: Худож. журнал, 1999.
- Самарцева О. К. (2000) — Самарцева О. К., Фомина Т. А. Мужчина и женщина: менеджмент в сфере бизнеса // *Социс: Социологические исследования*. 2000. № 11.
- Самушиц Т. В. (1995) — Самушиц Т. В. Послесловие к статье Э. Фромма «Мужчина и женщина» // *Философский поиск*. Витебск, 1995. № 1.
- Сандлер С. (1993) — Сандлер С. Тело и слово: гендер в цветаевском прочтении Пушкина // *Русская литература XX века*. СПб., 1993.
- Сарфати Х. (1992) — Сарфати Х. Модели карьеры мужчин и женщин в исследованиях и развитии: взгляд из МОТ // *Высшее образование в Европе*. Бухарест, 1992. Т. 17. № 2.
- Саяпина И. Г. (1999) — Саяпина И. Г. *Конституционное и законодательное равноправие женщин и мужчин*. Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Рос. акад. гос. службы. М., 1999.

- Свадьбина Т. В. (1990) — Свадьбина Т. В. Культура личных отношений молодежи // *Молодежная культура: проблемы и перспективы развития*. Горький, 1990.
- Свод законов о состояниях. СПб., 1911.
- Свод законов Российской империи. СПб., 1832. Т. 10, ч. 1.
- Сейфулла Р. Д. (1995) — Сейфулла Р. Д., Анкудинова И. А., Ким Е. К. *Сексуальное поведение мужчин*. М.: Ягуар, 1995.
- Секацкий А. К. (1998) — Секацкий А. К. Постгенитальная сексуальность и европейская цивилизация // *Метафизические исследования*. СПб., 1998. Вып. 5.
- Семенова В., Фотева Е. М., ред. *Судьбы людей: Россия XX век: Биографии семей как объект социологического исследования*. М.: Ин-т социологии РАН, 1996.
- Силласте Г. Г. (2000) — Силласте Г. Г. Гендерная социология как частная социологическая теория // *Социс: Социологические исследования*. 2000. № 11.
- Силласте Г. Г. (1994) — Силласте Г. Г. Социогендерные отношения в период социальной трансформации России // *Социс: Социологические исследования*. 1994. № 3.
- Силласте Г. Г. (1997) — Силласте Г. Г. Социогендерные отношения в российском обществе // *Будущее России и новейшие социологические подходы: Материалы конф., Москва, 10—12 февр. 1997 г.* М., 1997. Ч. 2.
- Синельников А. (1997) — Синельников А. Поощрение и наказание: Мужчина и патриархатная власть // *Преображение*. 1997. № 5.
- Синельников А. (1999а) — Синельников А. В ожидании референта: маскулинность, феминность и политики гендерных репрезентаций // Хоткина З. А., Пушкарева Н. Л., Трофимова Е. И., ред. *Женщина. Гендер. Культура*. М.: МЦГИ, 1999.
- Синельников А. (1999б) — Синельников А. Мужское тело: взгляд и желание: Заметки к истории политических технологий тела в России // *Гендерные исследования*. 1999. № 2 (1/1999).
- Синявский А. (1989) — Синявский А. Основы советской цивилизации // *Осмыслить культ Сталина*. М.: Прогресс, 1989.
- Сиривля Н. (1998) — Сиривля Н. Мир, принадлежащий мужчинам // *Искусство кино*. 1998. № 6.
- Ситковский Г. (2000) — Ситковский Г. Военная тайна невидимого суслика // *Искусство кино*. 2000. № 7.
- Скальковский А. О. (1994) — Скальковский А. О. *Історія Нової Січі або Останнього Коша Запорозького*. Дніпропетровськ: Січ, 1994.
- Скоропанова И. (1998) — Скоропанова И. Фаллоцентризм как объект осмеяния в пьесе Людмилы Петрушевской «Мужская зона» // *Преображение*. 1998. № 6.
- Скосырев В. (1997) — Скосырев В. Новые русские превращаются в английских лордов // *Известия*. 1997. 5 авг.
- Скубневский В. А. (1995) — Скубневский В. А. Заметки о духовном мире барнаульского купечества // *Образование и социальное развитие региона*. 1995. № 2.
- Смелзер Н. Д. (1992) — Смелзер Н. Д. Социология: О распределении социальных благ между мужчинами и женщинами // *Социс: Социологические исследования*. 1992. № 10.
- Смирнова Д. (1993) — Смирнова Д. Секреты Петра Тодоровского // *Искусство кино*. 1993. № 5.

- Снесарева-Казакова Н. (б.д.) — Снесарева-Казакова Н. *Рыцарь белого ордена* (б.м.и).
- Сокаридзе Ч. В. (1998) — Сокаридзе Ч. В. Эрозия гетеросексуальности // *Человек и пол: Гомосексуализм и пути его преодоления*. СПб., 1998.
- Соловьев Н. (1985) — Соловьев Н. Человек в послеразводной ситуации как предмет социологического исследования: [Сравнение СССР и США] // *Человек после развода*. Вильнюс, 1985.
- Соловьев Э. (1998) — Соловьев Э. Имидж делового человека: Мужчина // *Психология в бизнесе*. М., 1998. №1/2 (янв.—июнь).
- Соссюр Ф. (1977) — де Соссюр Ф. *Труды по языкознанию* / Пер. с фр. М.: Прогресс, 1977.
- Социал. статистика (1999) — Руководство по составлению национальных статистических докладов о положении женщин и мужчин / ООН. Деп. по экон. и социал. вопросам. Статист. отд. Нью-Йорк: ООН, 1999. XVIII, 319 с. (Социал. статистика и показатели. Сер. К; № 14).
- Сташевская Г. (1997) — Сташевская Г. *12 слабостей сильных мужчин: Секреты мужчин, которые должна знать каждая женщина...* СПб.: Комплект, 1997.
- Стендаль (1959) — Стендаль. Салон 1824 года // Стендаль. Собрание сочинений: В 15 т. М., 1959. Т. 6.
- Стишова Е. (1997) — Стишова Е. Приключения Золушки в стране большевиков. // *Искусство кино*. 1997. № 5.
- Сытин Г. Н. (1991) — Сытин Г. Н. Реальное омоложение мужчины: Самонастрой всеилен: Самонастрой по методу Г. Н. Сытина / Рос. фонд милосердия и здоровья и др. М.: Животворящая сила, 1991. 96 с.
- Сэнгли Ф. (1997) — Сэнгли Ф. Заключительное слово основного докладчика на международном семинаре в Страсбурге: *Promoting Equality: a Common Issue for Men and Women*. 17—18 June 1997. Strasbourg: Council of Europe, Russian version.
- Сэтиновер Д. (1998) — Сэтиновер Д. Гомосексуализм и здоровье: Факты // *Человек и пол: Гомосексуализм и пути его преодоления*. СПб., 1998.
- Табурова С. К. (1999а) — Табурова С. К. Механизмы создания экспрессивности в репликах мужчин и женщин — депутатов бундестага // *Гендерный фактор в языке и коммуникации*. М., 1999.
- Табурова С. К. (1999б) — Табурова С. К. *Эмоциональный уровень мужской и женской языковой личности и средства его выражения: (На материале пленар. дебатов бундестага)*: Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Моск. гос. лингв. ун-т. М., 1999.
- Тамбиев А. Э. (1995) — Тамбиев А. Э., Кондрашов В. В., Мельников Е. В. Возрастные и половые особенности эффективности медитации // *Психол. журнал*. 1995. Т. 16. № 5.
- Таннен Д. (1996) — Таннен Д. *Ты меня не понимаешь!: Почему женщины и мужчины не понимают друг друга*. М.: Вече и др., 1996.
- Тарасов А. А. (1983) — Тарасов А. А. *Между нами, мужчинами...* М.: Моск. рабочий, 1983.
- Тарновский В. М. (1885) — Тарновский В. М. *Извращение полового чувства: Судебно-психиатрический очерк*. СПб., 1885.
- Тартаковская И. Н. (2000) — Тартаковская И. Н. Гендерные аспекты стратегии безработных // *Социс: Социологические исследования*. 2000. № 11.
- Таруашвили Л. И. (1991) — Таруашвили Л. И. *Бертель Торвальдсен и проблемы классицизма*. М., 1991.

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

- Тархова Л. П. (1992) — Тархова Л. П. *Воспитать мужчину*. М.: Педагогика-пресс, 1992. 288 с.
- Теліга О. (1977) — Теліга О. «Якими нас прагнете?» // *Теліга О. Збірник* / Ред. и примеч. О. Жданович. Вид. Укр. Золотого Хреста в США.
- Тендрякова М. В. (1992) — Тендрякова М. В. Мужские и женские возрастные инициации: (Вариант постановки пробл.) // *Этнографическое обозрение*. 1992. № 4.
- Тиллих П. (1990) — Тиллих П. Онтология любви // *Человек*. 1990. Вып. 2.
- Тимофеев М. Ю. (1999) — Тимофеев М. Ю. Военный как настоящий мужчина в советском анекдоте // *Гендер: язык, культура, коммуникация. Материалы 1-й международной конференции 25—26 ноября 1999*. М.: МГЛУ, 1999.
- Тимофеевский А. и др. (1994) — Тимофеевский А. и др. Прорва // *Сеанс*. 1994. № 9.
- Титова М. (1994) — Титова М. Читая Лакана: реальное субъекта // *Логос*. 1994. Вып. 5.
- Тихомирова М. А. (1997) — Тихомирова М. А. Дифференциация языка по полу говорящего // «*Благословенны первые шаги...*». Магнитогорск, 1997.
- Ткаченко Г. А. (1998) — Феномен Пола в культуре = Sex & gender in culture: Материалы междунар. науч. конф., Москва, 15—17 янв., 1998 г. / Редкол.: Ткаченко Г. А. (отв. ред.) и др. М., 1998.
- Токарев С. А. (1984) — Токарев С. А. Символика огня в истории культуры // *Природа*. 1984. № 9.
- Токарева Е. К. (1987) — Токарева Е. К. Узы брака и узы свободы // *Социологические исследования*. 1987. № 2.
- Толстая Т. (1998) — Толстая Т. Не бывает голубей // *Московские новости*. 1998. № 42. 25 октября — 1 ноября.
- Томсон Д. (1996) — Томсон Д. Мужское «Я» в творчестве Зинаиды Гиппиус: литературный прием или психологическая потребность? // *Преображение*. 1996. № 4.
- Троицкий А. (1995) — Троицкий А. К. Россия в плейбойском прищуре // *Playboy*. 1995. № 1.
- Трофименков М. (1994) — Трофименков М. Прорва-Прорва // *Сеанс*. 1994. № 9.
- Туровская М. (1993) — Туровская М. Неопубликованное выступление на 2-м симпозиуме по современному русскому кино «*Reviewing the Past, Constructing the Present*» 20 марта 1993 г. в Йельском университете.
- Туровская М. (1997) — Туровская М. Женщина-убийца в русском и советском немом кино // *Искусство кино*. 1997. № 5.
- Тхостов А. Ш. (1994) — Тхостов А. Ш. Топология субъекта: (Опыт феноменологического исследования) // *Вестник Московского университета*. Серия: Психология. 1994.
- Тынянов Ю. (1963) — Тынянов Ю. *Смерть Вазир-Мухтара*. Воронеж: Воронежское кн. изд-во, 1963.
- Тюрина И. О. (1998) — Тюрина И. О. Московский рынок труда: гендерные аспекты // *Социс: Социологические исследования*. 1998. № 8.
- Уайли Д. (1996) — Уайли Д. *В поисках фаллоса: Приап и инфляция мужского* / Пер. с англ. — СПб.: Б. С. К., 1996.
- Угринович Д. (1981) — Угринович Д. Метаморфозы протестантского модернизма // *Наука и религия*. 1981. № 2.

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

- Ударцева Л. В. (1994) — Ударцева Л. В., сост. *Энциклопедия для юношей и мужчин*. СПб.: Диамант, 1994.
- Ужегов Г. Н. (1998) — Ужегов Г. Н. *Здоровье мужчины: Народный лечебник*. Краснодар: Сов. Кубань, 1998.
- Уотс А. (1999) — Уотс А. *Природа, мужчина и женщина: Путь освобождения: Эссе и лекции о самосовершенствовании* / Пер. с англ. Киев: София, 1999.
- Управителива Л. М. (1997) — Управителива Л. М. *Личность и пол в философии* Н. А. Бердяева // *Метаморфозы сознания*. Барнаул, 1997.
- Урланис Б. (1969) — Урланис Б. О социальной гигиене мужчин // *Курьер ЮНЕСКО*. № 155.
- Урланис Б. (1970) — Урланис Б. Безотцовщина // *Литературная газета*. 1970. 7 января.
- Урланис Б. (1978) — Урланис Б. И снова: берегите мужчин! // *Литературная газета*. 1970. 7 июня.
- Урланис Б. Ц. (1985) — Урланис Б. Ц. *Избранное: Работы о социальных ролях мужчин и женщин*. М.: Мысль, 1985.
- Ушакин С. А. (1997а) — Ушакин С. А. Пол как идеологический продукт: о некоторых направлениях в российском феминизме // *Человек*. 1997.
- Ушакин С. А. Бледнова Л. Г. (1997б) — Ушакин С. А., Бледнова Л. Г. Джеймс Бонд как Павка Корчагин // *Социс: Социологические исследования*. 1997. № 12.
- Ушакин С. А. (1999а) — Ушакин С. А. Поле пола: в центре и по краям // *Вопросы философии*. 1999. № 5.
- Ушакин С. А. (1999б) — Ушакин С. А. Количественный стиль: потребление в условиях символического дефицита // *Социологический журнал*. 1999. № 3/4.
- Ушакин С. А. (2000) — Ушакин С. А. Политическая теория феминизма // *Вопросы философии*. 2000. № 11.
- Ушаковский П. В. (1908) — Ушаковский П. В. *Люди среднего рода*. СПб., 1908.
- Уэст К., Зиммерман Д. (2000) — Уэст К., Зиммерман Д. Создание гендера. // Здравомыслова Е., Темкина А., ред. *Хрестоматия феминистских текстов. Переводы*. СПб. С. 193—200.
- Федосеева Н. (1996) — Федосеева Н. Проблема гендерного неравенства (реферат) // *Преображение*. 1996. № 4.
- Федотова В. Г. (1988) — Федотова В. Г. Мужчины и женщины в философии // *Гуманистические ценности современной культуры*. М., 1988.
- Филькин А. Н. (1995) — Филькин А. Н. Новый андрогин // *Актуальные проблемы естественных и гуманитарных наук*. Ярославль, 1995.
- Флакер А. (1997) — Флакер А. Авангард и эротика // *Преображение*. 1997. № 5.
- Флекс Д. (1999) — Флекс Д. Конец невинности / Пер. с англ. // *Гендерные исследования*. 1999. № 2 (1/1999).
- Фомин С. (1999) — Фомин С. Успех безнадежного дела // *Искусство кино*. 1999. № 5.
- Фотева Е. В. (1990) — Фотева Е. В. Образы мужа и жены: стереотипы обыденного сознания // *Семья в представлениях современного человека*. М., 1990.
- Фрейд З. (1989) — Фрейд З. «Культурная» сексуальная мораль и современная нервозность // *Вестник Московского университета*. Серия: Философия. 1989. № 3.
- Фромм Э. (1998) — Фромм Э. *Мужчина и женщина*. М.: АСТ, 1998.

- Фуко М. (1975) — Фуко М. *Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы* / Пер. с фр. В. Наумова. М.: Ad Marginem, 1999.
- Фуко М. (1994) — Фуко М. *Слова и вещи: Археология гуманитарных наук*. СПб.: A-cad, 1994.
- Фуко М. (1996) — Фуко М. *Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности*. Работы разных лет. М.: Касталь, 1996.
- Фуко М. (1998) — Фуко М. *Истории сексуальности-3: Забота о себе* / Пер. Т. Н. Титовой и О. И. Хомы. Киев; М.: Дух и литера грунт, 1998.
- Халеева И. И. (1999) — Халеева И. И. Гендер как интрига познания // *Гендерный фактор в языке и коммуникации*. М., 1999.
- Хамитов Н. В. (1995) — Хамитов Н. В. *Философия одиночества: Опыт вживания в проблему: Одиночество женское и мужское*. Киев: Наук. думка, 1995.
- Харчев А. (1979) — Харчев А. *Брак и семья в СССР*. М.: Мысль, 1979.
- Хасан Б. И. (1997) — Хасан Б. И., Тюмсенева Ю. А. Особенности присвоения социальных норм детьми разного пола // *Вопросы психологии*. 1997. № 3.
- Хейзинга Й. (1997) — Хейзинга Й. *НОМО LUDENS: Статьи по истории культуры*. М.: Прогресс; Традиция, 1997.
- Хейфец М. (1984) — Хейфец М. *Українські силуети*. Мюнхен: Сучасність, 1984.
- Хигир Б. Ю. (1997) — Хигир Б. Ю. *Тайна мужского имени*. М.: Центрполиграф, 1997.
- Хмелевская И. (1998) — Хмелевская И. *Как выжить с мужчиной; Как выжить с современной женщиной* / Пер. с польск. Екатеринбург: У-Фактория, 1998.
- Ходырева Н. В. (1995) — Ходырева Н. В. *Учитесь безопасному поведению / Забелина Т., Израелян Е., ред. Как создать кризисный центр для женщин*. М., 1995.
- Холл З. (1992) — Холл З. Последствия сексуальных и психологических травм детства // *Психологический журнал*. 1992. Т. 13. № 5.
- Хорни К. (1993) — Хорни К. Недоверие между полами / Пер. с англ. // *Психологический журнал*. 1993. Т. 14. № 5.
- Хоткина З. (1996) — Хоткина З., сост. *Гендерные исследования в России: проблемы взаимодействия и перспективы развития: Материалы конф., 24–25 января 1996 г.* / МЦГИ, Ин-т соц.-экон. пробл. народонаселения РАН; Сост. З. Хоткина и др. М., 1996.
- Хофман Х. -К. (1998) — Хофман Х. -К. *Сексуальность — дар божий* // *Человек и пол: Гомосексуализм и пути его преодоления*. СПб., 1998.
- Хрущев Н. С. (1999) — Хрущев Н. С. *Время. Люди. Власть* // Н. С. Хрущев. *Воспоминания*. В 4 кн. М.: Моск. новости, 1999.
- Цивьян Т. В. (1991) — Цивьян Т. В. *Оппозиция мужской/женский и ее классифицирующая роль в модели мира* // Байбурин А. К., Кон И. С. ред. *Этнические стереотипы мужского и женского поведения*: Сб. ст. СПб.: Наука, 1991.
- Чайковский П. (1993) — Чайковский П. И. *Дневники 1873–1891*. М.; Петроград.: Гос. изд-во Музыкальный сектор (репринт 1923 г.), 1993.
- Чанышев А. Н. (1990) — Чанышев А. Н. *Любовь в античной Греции* // *Философия любви*. М., 1990. Вып. 1.
- Человек и пол (1998) — *Человек и пол: Гомосексуализм и пути его преодоления* / Пер. с англ. Н. А. Кирилленко. СПб.: Кайрос, 1998.
- Чельшьева Н. А. (1995) — Чельшьева Н. А. *К проблеме методологии исследования гендерных различий* // *Молодежь в условиях соц.-экон. реформ: Материалы междунар. науч.-практ. конф., 26–28 сент. 1995 г.* СПб., 1995. Вып. 1.

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

- Чередниченко Т. (1999) — Чередниченко Т. *Россия 90-х: в слоганах, рейтингах, имиджах. Актуальный лексикон культуры*. М.: НЛО, 1999.
- Черепухин Ю. М. (1995) — Черепухин Ю. М. *Социальные проблемы мужского одиночества в условиях крупного города*. Автореф. дис. ... канд. социол. наук / Ин-т социологии РАН. М., 1995.
- Чернова Ж. (1998) — Чернова Ж. *Социальное конструирование маскулинности в современных российских журналах: журнал «Медведь», 1995—1998 гг.* Магистерская диссертация. Европейский университет в С-Петербурге, 1998.
- Чеснов Я. В. (1991) — Чеснов Я. В. Мужское и женское начала в рождении ребенка по представлениям абхазо-адыгских народов // Байбурин А. К., Кон И. С., ред. *Этнические стереотипы мужского и женского поведения*. Сб. ст. СПб.: Наука, 1991.
- Чеснокова Н. (1997) — Чеснокова Н. Руководят, как всегда, мужчины // *Вы и Мы: Альманах*. 1997. № 2 (14).
- Четверикова Н. А. (1994) — Четверикова Н. А. Половой диморфизм и общение // *Личность и общество*. Калининград, 1994. Вып. 8.
- Чирикова А. Е. (1997) — Чирикова А. Е. Лидеры российского предпринимательства: менталитет, смыслы, ценности. М., 1997.
- Чирикова А. Е. (2000) — Чирикова А. Е., Кричевская О. Н. Женщина-руководитель: деловые стратегии и образ «Я» // *Социс: Социологические исследования*. 2000. № 11.
- Чиркова Л. Л. (1992) — Чиркова Л. Л. Дипластия пола: единство в многообразии // *Игровой мир*. Саратов, 1992.
- Чуйкина С. (1996) — Чуйкина С. Участие женщин в диссидентском движении (1956-1986) // Здравомыслова Е., Темкина А., ред. *Гендерное измерение социальной и политической активности в переходный период*. СПб.: ЦНСИ, 1996. Вып. 4.
- Чуйкина С. (1997) — Чуйкина С. Границы и повседневная жизнь диссидентской среды // Воронков В., Здравомыслова Е., ред. *Биографический метод в изучении постсоциалистических обществ*. СПб.: ЦНСИ, 1997. Вып. 5.
- Чучин-Русов А. Е. (1996) — Чучин-Русов А. Е. Гендерные аспекты культуры // *ОИС: Общественные науки и современность*. 1996. № 6.
- Шакиров М. Т. (1991) — Шакиров М. Т. *Заболевания, передаваемые половым путем, у мужчин — гомосексуалистов*: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук / ЦНИ кож.-венерол. ин-т МЗ СССР. М., 1991.
- Шапиро А. З. (1997) — Шапиро А. З., Кукаркин Б. А. Конференция Международной ассоциации «Системы в развитии» // *Вопросы психологии*. 1997. № 5.
- Шарафанов А. А. (1996) — Шарафанов А. А. *Второе сердце мужчины*. М., 1996.
- Шатин Ю. В. (1998) — Шатин Ю. В. Муж, жена и любовник: семантическое древо сюжета // *Сюжет и мотив в контексте традиции*. Новосибирск, 1998.
- Швальбе Б. (1993) — Швальбе Б., Швальбе Х. Личность, карьера, успех: Психология бизнеса / Пер. с нем. М.: Прогресс, 1993.
- Шевелев А. Н. (1998) — Шевелев А. Н. Система мужского дворянского воспитания в России XVII—XIX веков в педагогике кадетских корпусов // *История педагогики сегодня*. СПб., 1998.
- Шевелев Ю. (1978) — Шевелев (Шерех) Ю. *Друга Черна: Литература, Театр, Идеологии*. Мюнхен: Сучасність, 1978.

- Шейнов В. П. (1997) — Шейнов В. П. *Мужчина и женщина: Энциклопедия взаимоотношений*. СПб.: Курс, 1997.
- Шенкман С. (1998) — Шенкман С. *Мы — мужчины*. М.: Будь здоров, 1998.
- Шерер Ж. -Б. (1994) — Шерер Ж. -Б. *Літопис Малоросії, або Історія Козаків-Запорозжців*. Київ: Укр. письменник, 1994.
- Шестаков Д. А. (1996) — Шестаков Д. А. *Семейная криминология*. СПб., 1996.
- Шилова Л. С. (1987) — Шилова Л. С. Исследование самосохранительного поведения — новый подход в решении проблем здоровья населения: О росте разрыва средней продолжительности жизни мужчин и женщин // *Демографические процессы: вопросы изучения*. М., 1987.
- Шимин Н. Д. (1983) — Шимин Н. Д. Социальное равенство женщин и мужчин как фактор развития личности // *Науч. докл. высш. школы. Науч. коммунизм*. 1983. № 2.
- Шимин Н. Д. (1981) — Шимин Н. Д. Социальное равенство женщины и мужчины как условие гармонического развития личности // *Социально-этические проблемы семьи и семейного воспитания в условиях развитого социализма*. Горький, 1981.
- Шимин Н. Д. (1995) — Шимин Н. Д. Целостность как феномен бытия человека: (Аксиоматика единства мужского и женского начала в Человеке) / Нижегород. гос. архит.-строит. акад. Н. Новгород, 1995.
- Шкловский В. (1926) — Шкловский В. *Третья фабрика*. М.: Артель писателей «Круг», 1926.
- Шоре Э., Хайдер К., (1999) — Шоре Э., Хайдер К., ред. *Пол, гендер, культура: Нем. и рус. исслед.* / Пер. с нем. Носовой Н. М., 1999.
- Шталлер В. (1999) — Шталлер В. Особенности употребления лексических единиц «женщина», «мужчина», «человек» у В. В. Жириновского // *Гендерный фактор в языке и коммуникации*. М., 1999.
- Штраус О. Л. (1999) — Штраус О. Л. *Дороги. Пороги. Диалоги. Воспоминания о марафоне, не только воспоминания и не только о марафоне*. Пермь: Здравствуй, 1999.
- Шубина Е. В. (1997) — Шубина Е. В. *Жизнь среди мужчин, или Что ему надо*. СПб.: Комплект, 1997.
- Шурыгина И. И. (1996) — Шурыгина И. И. Различия в потреблении алкоголя мужчинами и женщинами // *Социологический журнал*. 1996. № 1/2.
- Щапова М. Ю. (1995) — Щапова М. Ю. К вопросу об отношении мужского и женского начал в традиционных культурах // *Культурные традиции народов Сибири и Америки: преемственность и экология*. Чита, 1995.
- Щеглов Л. М. (1991) — Щеглов Л. М. Любовь как психологический феномен // *Вопросы полового воспитания*. Саратов, 1991.
- Щекин Г. В. (1992) — Щекин Г. В. *Как читать людей по их внешнему облику*. Киев: Украина, 1992.
- Щеколдина С. Д. (2000) — Щеколдина С. Д. *Социокультурная обусловленность гендерных различий в межличностной коммуникации*. Автореф. дис. ... канд. социол. наук / Рос. ин-т культурологии. М., 2000.
- Щербаков М. (2000) — Щербаков М. Этот трудный вопрос: «Кто я?» / Беседу вела Ю. Качалова // *Женщина Плюс...* 2000. № 2.
- Эйзенштейн С. (1997) — Эйзенштейн С. *Мемуары. Том второй: Истинные пути изобретения. Профили*. М.: Редакция газеты «Труд», 1997.

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

- Элкайр У. Х. (1988) — Элкайр У. Х. Сиблинговые группы: Мужская и женская власть на Центральных и Западных Каролинах // *Советская этнография*. 1988. № 4.
- Энгельштейн Л. (1996) — Энгельштейн Л. *Ключи от счастья. Секс и поиски путей обновления России на рубеже XIX—XX веков*. М., 1996.
- Эпштейн М. (1990) — Эпштейн М. Блуд труда // *Родник*. 1990. № 6.
- Юрчак А. (2000) — Юрчак А. По следам женского образа. Символическая работа нового рекламного дискурса // Альчук А., ред. *Женщина и визуальные знаки*. М.: Идея-пресс.
- Юрчак А. (1998) — Юрчак А. Миф о настоящем мужчине и настоящей женщине. Идеологическая работа российской телевизионной рекламы // Тишков В., ред. *Семья, гендер, культура*. М.: Ин-т этнологии и антропологии РАН, 1998.
- Яворский Ю. (1898) — Яворский Ю. Галицко-Русские Поверия о Дикой Бабе // *Живая Старина*. Периодическое издание отделения этнографии русского географического общества. Вып. III—IV. Год 7. СПб., 1898.
- Ягубова М. А. (1998) — Ягубова М. А. Оценка в разговорной речи мужчин и женщин // *Языковая личность: социолингвистические и эмотивные аспекты*. Волгоград; Саратов, 1998.
- Яковлева А. М. (1997) — Яковлева А. М. Проблема пола в современной культуре // *Культурологические записки*. М., 1997. Вып. 3.
- Ярская-Смирнова Е. Р. (1997) — Ярская-Смирнова Е. Р. *Социокультурный анализ нетипичности*. Саратов: СГТУ, 1997.
- Ярская-Смирнова Е. Р. (1998) — Ярская-Смирнова Е. Р. Социокультурная репрезентация гендерных отношений // *Социокультурный анализ гендерных отношений*. Саратов: Изд-во Саратовского гос. ун-та, 1998.
- Ярская-Смирнова Е. (1999а) — Ярская-Смирнова Е. Мужчины и женщины в стране глухих: Анализ кинопрезентации // *Гендерные исследования*. 1999. № 2 (1/1999).
- Ярская-Смирнова Е. Р. (1999б) — Ярская-Смирнова Е. Р. Социальное конструирование инвалидности // *Социологические исследования*. 1999. № 4.
- Ясная Л. В. (1992) — Ясная Л. В. Соотношение семейных ролей мужчин и женщин: Влияние на социализацию детей // *Проблемы родительства и планирования семьи*. М., 1992.

Использованная литература на иностранных языках

- Adler K., Pointon M., (eds.) (1993) *The Body Imaged. The Human Form and Visual Culture Since the Renaissance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Allison A. (1994) *Nightwork: Sexuality, Pleasure, and Corporate Masculinity in a Tokyo Hostess Club*. Chicago: University of Chicago Press.
- Althusser L. (1971) *Lenin and Philosophy and Other Essays*. New York and London: Monthly Review Press.
- Anderson B. (1991) *Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.
- Arnold C. (1997) «How Rich Puff up Prestige With British Feudal Titles». *Moscow Times*, August 9, 1997.
- Arutyunan M (1996). «Gender Identities of Russian Parents: Does False Identity Help?» in U. Bjonberg, A.-K. Kollind, (eds.) *Men's Family Relations*. Stockholm, Almqvist and Wilksel International.
- Attwood L. (1990). *The New Soviet Man and Woman: Sex-Role Socialization in the USSR*. Bloomington: Indiana University Press.
- Attwood L. (ed.) (1993) *Red Women on the Silver Screen: Soviet women and cinema from the beginning to the end of the Communist era*. London: Pandora Press.
- Auge M. (1999) *An Anthropology for Contemporaneous Worlds*. Stanford: Stanford University Press.
- Auden W.H. (1968) *The Dyer's Hand and Other Essays*. New York: Vintage.
- Austin J. (1975) *How To Do Things With Words*. Harvard University Press.
- Azhgikhina N. (2000) «Russian Club Life.» *Russian Culture of the 1990s*, Special Issue of *Studies in 20th Century Literature* 24, 1 (Winter 2000): 169--190.
- Baer B. J. (2000) «The Other Russia: Re-Presenting the Gay Experience.» *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History* vol. 1, no. 1: 183--194.
- Baldauf I. (1988). *Die Knabenliebe in Mittelasien: Bacabozlik*. Berlin: Freie Universität.
- Barbey D'Aurevilly J.(1926--1927) *Du Dandysme et de G. Brummell*, vol. 6, Oeuvres Completes de Jules Barbey D'Aurevilly; edition etablie avec le concours de Melle Read par Joseph Quesnel. Paris: F. Barnouard.
- Barkey K., von Hagen M., (eds.) (1977) *After Empire: Multiethnic Societies and Nation-Building. The Soviet Union and the Russian, Ottoman, and Habsburg Empires*. Boulder.

- Barthel D. (1994) «A Gentleman and a Consumer», in S. Maasick, J. Solomon, (eds.) *Signs of Life in the USA: Readings in Popular Culture for Writers*. Boston: Bedford Books. Электронную версию см.: <http://wsrv.clas.virginia.edu/~tsawyer/DRBR/barthel.html>
- Bauman Z. (1994) *Intimiation of postmodernity*. London and New-York: Routlege.
- Beauvoir S. (1952) *The Second Sex*. Trans. H.M. Parshley. New York: Knopf.
- Beck U. (1993) *Die Erfindung des Politischen. Zu einer Theorie reflexiver Modernisierung*, Frankfurt/M.
- Beeston R. (1997) «Moscow File: Privilege is a Spanner in the Works». *The Times*, 31 May 1997.
- Bem S. (1974) «The measurement of psychological androgyny». *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, Vol. 42, 1974. 155--162.
- Bem S. (1981) «Gender Schema Theory: A Cognitive Account of Sex Typing», *Psychological Review*, no.4.
- Benjamin J. (1988) *The Bonds of Love: Psychoanalysis, Feminism, and the Domination*. New York.
- Benstock S. (1988) «Authorizing the Autobiographical», in: S. Benstock, ed. *The Private Self: Theory and Practice of Women's Autobiographical Writings*. London: Routledge, 10—33.
- Berger J. (1972) *Ways of Seeing*. London: BBC and Pelican.
- Berger M., Willis B., Watson S. (eds.) (1995) *Constructing Masculinity*. New York: Routledge.
- Berman P. G. (1993) «Body and Body Politic in Edward Munch's Bathing Men», in: Adler and Pointon, *The Body Imaged...*, 71— 83.
- Beurdeley C. (1977) *L'amour Bleu. Die Homosexuelle Liebe in Kunst und Literatur des Abendlandes*. Koln : Du Mont.
- Bhabha H. (1995) «Are You a Man or a Mouse?» in M. Berger, B. Willis, S. Watson (eds.) *Constructing Masculinity*. New York: Routledge.
- Bly R. (1991) *Eisenhans. Ein Buch ueber Maenner*, Muenchen.
- Bologne J.C. (1986) *Histoire de la Pudeur*. Paris: Olivier Orban.
- Boone J. A. (1998) *Libidinal Currents. Sexuality and the Shaping of Modernism*. Chicago: Chicago University Press.
- Borenstein E. (1999) «About That»: Deploying and Deploring Sex in Contemporary Russia, *Studies in Twentieth Century Literature*, 24 (1) (Winter 2000), 51—83.
- Bordeaux R. (1997) «Russians Sift Past to Find Selves». *Los Angeles Times*, 7 March 1997.
- Bordo S. (1993) «Reading the Male Body», in *The Male Body, Special Issue of the Michigan Quarterly Review*, vol. 32, № 4.
- Bordo S. (1997) «Reading the Male Body», in: Moore, *Building Bodies...* 31—73.
- Bordo S. (1999) *The Male Body: A New Look at Men in Public and in Private*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Bordo S. (1993) *Unbearable Weight: Feminism, Western Culture, and the Body*. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
- Bottomore T.B. (1964) *Elites and Society*. New York: Basic Books.
- Bourdieu P. (1977) *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bourdieu, P. (1979) *Entwurf einer Theorie der Praxis auf der ethnologischen Grundlage der kabyllischen Gesellschaft*. Frankfurt/M.

- Bourdieu P. (1987) *Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft*. Frankfurt/M.
- Bourdieu, P. (1992) *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. London: Routledge.
- Bourdieu P. (1993a) «How Can One Be a Sports Fan?» in S. Doring (ed.) *The Cultural Studies Reader*. London and New York: Routledge.
- Bourdieu P. (1993b) *Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft*. Frankfurt/M.
- Bourdieu P. (1997) Die maennliche Herrschaft, in: Doelling, I., Kraus, B.: *Ein alltaegliches Spiel. Geschlechterkonstruktion in der sozialen Praxis*, Frankfurt/M., 153—217.
- Boym S. (1993) «Stalin is With us: Soviet Documentary Mythologies of the 1980s», in Taylor and Spring *Stalinism and Soviet Cinema...*
- Boym S. (1994) *Common Places: Mythologies of Everyday Life in Russia*. Cambridge: Harvard University Press.
- Boym S. (1999) «From the Toilet to the Museum: Memory and Metamorphosis of Soviet Trash», in A. M. Barker, ed. *Consuming Culture: Popular Culture, Sex, and Society Since Gorbachev*. London: Routledge.
- Boym S. (2001) *The Future of Nostalgia*. New York.
- Braham P. (1986) «How the Media Report Race», in: M. Gurevitch, T. Bennett, J. Curran, J. Woollacott (eds.) *Culture, Society and the Media*. London and New York: Routledge.
- Braidotti R. (1994) *Nomadic Subjects: Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory*. New York: Columbia University Press.
- Brennan T., Jay M., (eds.) (1996) *Vision in Context. Historical and Contemporary Perspective on Sight*. London: Routledge.
- Brittan A. (1989) *Masculinity and Power*. Oxford, New York.
- Brodzki B., Schenck C. (1988) «Introduction», in: B. Brodzki, C. Schenck (eds.) *Life/Lines: Theorizing Women's Autobiography*, Ithaca: Cornell University Press, 1—18.
- Brooks P. (1985) *The Melodramatic Imagination: Balzac, Henry James, Melodrama, and the Mode of Excess*. New York: Columbia University Press.
- Brooks P. (1993) *Body Work. Objects of Desire in Modern Narrative*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Brown P. (1988) *The Body and Society. Men, Women, and Sexual Renunciation in Early Christianity*. New York: Columbia University Press.
- Brown S. (1999) *Understanding Youth and Crime: Listening to Youth?* London: Open University Press.
- Bryson N. (1983) *Vision and Painting: The Logic of the Gaze*. New Haven: Yale University Press.
- Buchbinder. D. (1994). *Masculinities and Identities*. Melbourne: Melbourne University Press.
- Buckley, M. (1989) *Women and Ideology in the Soviet Union*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Buerger J. (1992) *Mann hat es eben. Die Begrueudung des Maskulinismus*. Muenchen.
- Bulle H. (1912) *Der schoene Mensch im Altertum. Eine Geschichte des Koerperideals bei Aegyptern, Orientalen und Griechen. 2te Auflage*. Muenchen und Leipzig, G. Hirth's Verlag.
- Burds J., trans. & (ed.) (n.d.). *Dnevnik moskovskogo kuptsa Pavla Vasil'evicha Medvedeva, 1854—1864 gg.* (in progress).
- Burstow B. (1992) *Radical Feminist Therapy. Working in the Context of Violence*.

- Bushnell J. (1981) «The Tsarist Officer Corps, 1881—1914: Customs, Duties, Inefficiency», *American Historical Review*, vol 86, № 4.
- Butler J. (1990). *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. New York: Routledge.
- Butler J. (1993). *Bodies that Matter: On the Discursive Limits of «Sex»*. New York: Routledge.
- Butler J. (1999) 'Revisiting Bodies and Pleasures,' *Theory, Culture and Society*, 1999, Vol. 16 (2).
- Campling J., ed. (1981) *Images of Ourselves — Women with Disabilities Talking*. London: Routledge and Kegan Paul.
- Camille M. (1994) «The abject gaze and the homosexual body: Flandrin's *Figure d'Etudes*», *Journal of Homosexuality*, vol. 27, no. 1— 2, 161— 188.
- Cancian, F. M. (1985) «Gender Politics: Love and Power in the Private and Public Spheres», in: A. S. Rossi, ed. *Gender in the Life Course*. New York, .253-264.
- Cancian, F. M. (1986) «The Feminization of Love», *Signs*, 1986, Vol. 11, 692-709.
- Carrigan T, Connell B, Lee J. (1985). «Toward a New Sociology of Masculinity», *Theory and Society*. V.14, no.5, 551-604.
- Chapman R. (1988) «The Great Pretender: Variations on the New Man Theme», in R. Chapman, J. Rutherford, (eds.) *Male Order: Unwrapping Masculinity*. London: Lawrence & Wishart.
- Chauncey G. (1994). *Gay New York: Gender, Urban Culture, and The Making of The Gay Male World, 1890-1940*. New York: Basic Books.
- Chernin K. (1985) *The Hungry Self: Women, Eating, and Identity*. New York: Times Books.
- Cheng C. (1996). «Men and Masculinities Are not Necessarily Synonymous: Thoughts on Organizational Behavior and Occupational sociology», in: C. Cheng, (ed.) *Masculinities in Organizations*, xi-xxi. Thousand Oaks & London: Sage.
- Chodorow N. (1978) *The Reproduction of Mothering. Psychoanalysis and the Sociology of Gender*. Berkeley: University of California Press.
- Chow R. (1993) «Male Narcissism and National Culture: Subjectivity in Chen Kaige's *King of the Children*», in C. Penley, S. Willis, eds., *Male Trouble*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Clark K. (1960) *The Nude: A Study in Ideal Form*. London.
- Cockburn C. (1985) *Machinery of Dominance: Women, Men, and Technological Know-How*. London: Pluto Press.
- Cohan S., Hark, I.R. (eds.) (1993) *Screening the Male. Exploring Masculinities in Hollywood Cinema*. New York: Routledge.
- Cohen J. J. (n.d.) *Medieval Masculinities: Heroism, Sanctity, and Gender*. URL: <http://www.georgetown.edu/labyrinth/e-center/interscripta/mm.html>
- Collier R. (1998) *Masculinities, Crime and Criminology: Men, Heterosexuality and the Criminal(ised) Other*. London: Routledge.
- Connell R (1987) *Gender and Power. Society, the Person and Sexual Politics*. New York: Polity Press.
- Connell R.W. (1995) *Masculinities*. Berkeley & Los Angeles: University of California Press.
- Cooper E. (1994) *The Sexual Perspective: Homosexuality and Art in the Last 100 years in the West*. Second edition. NEW YORK: Routledge.

- Cornwall A., Lindisfarne, N. (1994) «Introduction», in A. Cornwall, N. Lindisfarne, eds., *Dislocating Masculinity: Comparative Ethnographies*. London and New York: Routledge.
- Courouve C. (1985). *Vocabulaire de l'homosexualité Masculine*. Paris: Payot.
- Creekmur C. K., Doty A., (eds.)(1995) *Out in Culture. Gay, Lesbian, and Queer Essays on Popular Culture*. Durham: Duke University Press.
- Craig S. (1992) «Considering Men and the Media», in S. Craig, (ed.) *Men, Masculinity and the Culture*. Newbury Park: Sage, 1992.
- Craig S., ed. (1992) *Men, Masculinity and the Culture*. Newbury Park: Sage.
- Cresson, W.P. (1919) *The Cossacks: Their History and Country*. New York: Brentano's.
- Cushman T. (1995). *Notes from the Underground. Rock Music Counter-culture in Russia*. New York: State University of New York Press.
- Davenport-Hines R. (1995) *Auden*. New York: Pantheon Books.
- Davis M.D. (1991) *The Male Nude in Contemporary Photography*. Philadelphia: Temple University Press.
- Derrida, J. (1986) *Margins of Philosophy*. Trans. by A. Bass Chicago: University of Chicago Press.
- Deleuze G., Guattari F. (1988) *A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia*. London: The Athlone Press.
- van Dijk T. (1995) «Ideological Discourse Analysis», in Ventola E., Solin A. (eds.) *The New Courant*. University of Helsinki, Department of English. No.4, (Autumn 1995).
- Dinnerstein D. (1976) *The Mermaid and the Minotaur: Sexual Arrangements and Human Malaise*. New York: Harper and Row.
- Doane M. (1991) *Femmes Fatales: Feminism, Film Theory, Psychoanalysis*. New York: Routledge
- Donner F. (1982) *Shabono: A True Adventure in the Remote and Magical Heart of the South American Jungle*. New York: Laurel Books.
- Dotson E.W. (1999) *Behold the Man. The Hype and Selling of Male Beauty in Media and Culture*. NEW YORK: Harrington Park Press.
- Doty W.G. (1996) «Baring the Flesh: Aspects of Contemporary Male Iconography», in B. Krondorfer, ed. *Men's Bodies, Men's Gods. Male Identities in a (Post) Christian Culture*. New York, 269– 308.
- Douglas M. (1982) *Natural Symbols*. New York: Pantheon.
- Douglas M. (1987) *How Institutions Think*. London: Routledge and Kegan Paul.
- Douglas M. (1994) *Purity and Danger: An Analysis of the Concepts of Pollution and Taboo*. London: Routledge.
- Dreger A. (1998) *Hermaphrodites and the Medical Invention of Sex*. Cambridge: Harvard University Press.
- Dreyfus H. L., Rabinow P., (eds.)(1982) *Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics*. Chicago: University of Chicago Press.
- Duberman M., Vicinus M., G. Chauncey Jr., (eds.) *Hidden From History: Reclaiming the Gay and Lesbian Past*, edited by New York: NAL.
- Durkheim E. (1995) [1912]. *The Elementary Forms of Religious Life*. New York: Free Press.
- Dutkina G. (1996) *Moscow Days. Life and Hard Times in the New Russia*. Trans. Catherine A. Fitzpatrick. New York, Tokyo, London: Kodansha International.
- Dutton K.R. (1995) *The Perfectible Body. The Western Ideal of Male Physical Development*. NEW YORK: Continuum.

- Dworkin A. (1974) *Woman-Hating*. New York: Dutton.
- Dyer R. (1993) *The Matter of Images: Essays on Representations*. London and New York: Routledge.
- Easthope A. (1986) *What a Man's Gotta Do: The Masculine Myth in Popular Culture*. London: Palladin.
- Eco U. (1966) «Narrative Structure in Flaming», in E. del Buono, U. Eco, eds. *The Bond Affair*. London: Macdonald.
- Edley N., Wetherell M. (1996) «Masculinity, Power and Identity», in M. Mac an Ghaill, ed. *Understanding Masculinities: Social Relations and Cultural Arenas*. Buckingham: Open University Press, 97-113.
- Elnett E. P. (1926) *Historic Origin and Social Development of Family Life in Russia*. New York.
- Encyclopedia of Visual Art* (1983). London: Encyclopedia Britannica International, Vol. 6.
- Engel, B. A (1986) *Mothers and Daughters: Women of the Intelligentsia in Nineteenth-Century Russia*. Cambridge.
- Fairclough N. (1992). *Discourse and Social Change*. Cambridge: Polity Press.
- Farmer K. (1992) *The Soviet Administrative Elite*. New York: Praeger.
- Farr, K.A. (1988) 'Dominance Bonding Through the Good Old Boys Sociability Group', *Sex Roles*: Vol. 18, 1988.
- Fejes F.J. (1992) «Masculinity as Fact», in S. Craig, ed. *Men, Masculinity and the Culture...*, 11-19.
- Fine M., Asch A. (1985) «Disabled Women: Sexism Without the Pedestal», in M. Deegan, M. Brook, eds., *Women and Disability: the Double Handicap*. New Brunswick: Transaction Books.
- Fitz-Gerald D., Fitz-Gerald M. (1985) «Deaf People Are Sexual, Too!» in M. Bloom, (ed.) *Life Span Development. Bases for Preventive and Interventive Helping*. London: Collier Macmillan Publishers.
- Foucault M. (1970) *The Order of Things: An Archeology of Human Sciences*. New York: Vintage Books.
- Foucault M. (1974) [1972]. *The Archeology of Knowledge*. London: Tavistock Publications.
- Foucault M. (1978). *The History of Sexuality*. New York: Pantheon Books.
- Foucault M. (1980) «The Eye of Power», in C. Gordon, (ed.) *Power/Knowledge*. New York: Pantheon, 146-166.
- Foucault, M. (1982). «Afterword: the Subject and Power», in H.L. Dreyfus, P. Rabinow, eds., *Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Foucault M. (1991) «Questions of Method», in: Burchell, G., Gordon C., Miller P. (eds.). *The Foucault Effect. Studies in Governmentality*. Chicago: University of Chicago Press.
- Foucault M. (1998) «Power and Sex», in L. D. Kritzman, (ed.) *Politics, Philosophy, Culture*. London: Routledge.
- Freud S. (1966) *Introductory Lectures on Psychoanalysis*. New York — London: W.W. Norton & Compa New York.
- Freud S. (1990) «Femininity», in E. Young-Bruchil (ed.) *Freud on Women: a Reader*. New York: W. W. Norton & Compa New York.
- Freud S. (1995) «The Neuroses of Defence»; «The Aetiology of Hysteria», in P. Gay, ed. *The Freud Reader*. Vintage: London, 1995.

- Frosh S. (1994) *Sexual Difference: Masculinity and Psychoanalysis*. London: Routledge.
- Fussell S. (1994) «Bodybuilder Americanus», in: Goldstein, (1994) *The Male Body...*, 43–60.
- Franchetti, M. (1997) «Russian Founds School for Tycoons.» *Sunday Times*, 14 December 1997.
- Fraser N. (1997) *Justice Interruptus: Critical Reflections on the Postsocialist Condition*. New York: Routledge.
- Friedman S. S. (1988) «Women's Autobiographical Selves: Theory and Practice», in: S. Benstock, ed. *The Private Self: Theory and Practice of Women's Autobiographical Writings*. London: Routledge.
- Gal S. (1991). «Between Speech and Silence: The Problematics of Research on Language and Gender», in M. Di Leonardo, ed. *Gender at the Crossroads of Knowledge: Feminist Anthropology in the Postmodern Era*. Berkeley: University of California Press.
- Garb T. (1998) *Bodies of Modernity. Figure and Flesh in Fin- de- Siecle France*. London: Thames and Hudson.
- Gergen M.M. (1993) «Narratives of the Gendered Body in Popular Autobiography», in R. Josselson, A. Lieblich, (eds.) *The Narrative Study of Lives*. Newbury Park, London, New Delhi: Sage.
- Gilbert R., Gilbert P. (1998) *Masculinity Goes to School*. London and New York: Routledge.
- Gildemeister R., Wetterer A. (1992) „Wie Geschlechter gemacht werden. Die soziale Konstruktion der Zweigeschlechtigkeit und ihre Reifizierung in der Frauenforschung,« in: G. Knapp, A. Wetterer, Hrsg., *Traditionenbrueche. Entwicklungen feministischer Theorie*. Freiburg.
- Gilman S.L. *Sexuality: An Illustrated History*. New York: John Wiley and Sons.
- Gledhill C., (ed.) (1987). *Home is Where the Heart Is: Studies in Melodrama and the Woman's Film*. London: British Film Institute.
- Goffman E. (1990) *The Presentation of Self in Everyday Life*. London: Penguin Books.
- Goffman E. (1976) *Gender Advertisements*. New York: Harper Colophon Books.
- Goggin M. (1993) «Gay and Lesbian Adolescence», in S. Moore, D. Rosenthal, (eds.) *Sexuality in Adolescence*. London: Routledge.
- Goldstein L. ed. (1994) *The Male Body. Features, Destinies, Exposures*. Ann Arbor, Michigan University Press.
- Goller M. (1996) «Nade da Andreevna Durova in ihrer autobiographischen Prosa. Einordnung eines Phänomens», in C. von Parnell, hrsg. *Frauenbilder und Weiblichkeitsentwürfe in der russischen Frauenprosa: Materialien des wissenschaftlichen Symposiums in Erfurt*. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Goscilo H. (1996) *Dehexing Sex: Russian Womanhood During and After Glasnost*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Graffy J. (1993) «Unshelving Stalin: After the Period of Stagnation», in Taylor R., Spring D. (eds.) *Stalinism and Soviet Cinema*. London: Routledge.
- Graffy J. (1998) «The Thief / Vor.» *Sight and Sound*. August 1998 (8).
- Gregory P. (1996) «Sketches of New Russians. The Mafia Monument, Commercial Structures, and the Unanswered Telephone.» *Problems of Post-Communism*, September-October 1996: 51-61.
- Griffin C. (1993) *Representation of Youth. The Study of Youth and Adolescence in Britain and America*. Cambridge; Polity Press.

- Grosz, E. (1989) *The Volatile Bodies*. Melbourne.
- Grosz E. (1990) *Jacques Lacan: A Feminist Introduction*. London: Routledge.
- Grois B. (1992) *The Total Art of Stalinism. Avant-Garde, Aesthetic Dictatorship, and Beyond*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Grunberger B. (1989) *New Essays on Narcissism*. London: Free Association Book.
- Gubsky A., Morris A. (1997) «The New Generation.» *Russia Review*, 14 July, 1997.
- Gurevitch, M. T. Bennett, J. Curran, J. Woollocott, (eds.) (1994) *Culture, Society and the Media*. London and New York: Routledge.
- Gutterman, D.S. (1994). «Postmodernism and the Interrogation of Masculinity», in H. Brod, M. Kaufman, (eds.) *Theorizing Masculinities*. London: Sage.
- Habermas J. (1984) *The Theory of Communicative Action*. Vol. 1-2. London: Heinemann.
- Halberstam J. (1998), *Female Masculinity*. Durham: Duke University Press.
- Hall C. (1990) «The Sweet Delights of Home» in M. Perrot, (ed.) A. Goldhammer, trans. *A History of Private Life. From the Fires of the Revolution to the Great War*. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Hall G. (1940) *Adolescence*. Vol. 2, New York: Macmillan.
- Hall S. (1994) «The Rediscovery of 'Ideology': Return of the Repressed in Media Studies», in M. Gurevitch, T. Bennet, J. Curran, J. Woollocott, (eds.) *Culture, Society and The Media*. New York: Routledge.
- Halperin D. (2000) «How to Do the History of Male Homosexuality» in *GLO: A Journal of Lesbian and Gay Studies* 6:1 (2000).
- Hargreaves J.A. (1987) *Sport, Power and Culture*. Cambridge: Polity Press.
- Hartmann H. (1981) «The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism: Towards a More Progressive Union», in L. Sargent, ed. *Women and Revolution: the Unhappy Marriage of Marxism and Feminism*. London: Pluto Press.
- Hausenstein, W. (1913) *Der nackte Mensch in der Kunst aller Zeiten und Voelker*. Munchen: Piper.
- Healey D. (1998) «*Homosexual Desire in Revolutionary Russia: Public and Hidden Transcripts, 1917-1941.*» PhD dissertation, University of Toronto.
- Healey D. (1999) «Moscow», in D. Higgs, ed. *Queer Sites: Gay Urban Histories Since 1600*. London: Routledge.
- Heretz L. (1997) «The Psychology of the White Movement», in V. Brovkin, (ed.) *The Bolsheviks in Russian Society: The Revolution and Civil Wars*. New Haven: Yale University Press.
- Hermes J. (1995) *Reading Women's Magazines: An Analysis of Everyday Media Use*. Cambridge: Polity Press.
- Hearn J. (1987) *The Gender of Oppression. Men, Masculinity and the Critique of Marxism*. Brighton.
- Hilkey J. (1997) *Character as Capital: Success Manuals and Manhood in Gilded Age America*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press.
- Hinsch B. (1990) *Passions of the Cut Sleeve. The Male Homosexual Tradition in China*. Los Angeles: Univ. of California Press.
- Hird M. (1995) «Toward a Feminist Theory of Female Violence.» Paper presented at *Desperately Seeking Sisterhood*, the Eighth Annual WSNA Conference. University of Stirling, 1995.
- Hoare A. (1998) «In Search of Russia's «Strong Sex» (Images of Russian Men in the Society)», *Russian Life*, vol. 41:5, 8-17.

- Hoerning E.M. (1996) *Life Course and Biographical Research: Conceptual Approaches and Methods*. University of Goteborg.
- Hoganson K. L. (1998) *Fighting for American Manhood: How Gender Politics Provoked the Spanish-American and Philippine-American Wars*. New Haven: Yale University Press.
- Hollander, A. (1978) *Seeing Through Clothes*. NEW YORK: Viking.
- Horrocks R. (1994) *Masculinity in Crisis: Myths, Fantasies and Realities*. London: St. Martin Press.
- Howard M. (1986) «Men Against Fire: The Doctrine of the Offensive», in P. Paret, (ed.) *Makers of Modern Strategy from Machiavelli to the Nuclear Age*. Princeton: Princeton University Press.
- Hubertus J. (1995) *Patriotic Culture in Russia during World War One*. Ithaca: Cornell University Press.
- Hughes G. (1998) «A Suitable Case for Treatment? Constructions of Disability», in E. Saraga, ed. *Embodying the Social: Constructions of Difference*. London: Sage and the Open University.
- Humphrey C. (1995) «Creating a Culture of Disillusionment: Consumption in Moscow, a Chronicle of Changing Times», in D. Miller, ed. *Worlds Apart: Modernity Through the Prism of the Local*. London: Routledge.
- Humphrey C. (1999) «Russian Protection Rackets and the Appropriation of Law and Order», in: Josiah McC. Heyman (ed.). *States and Illegal Practices*. Oxford: Berg.
- Hunt L. ed. (1996) *The Invention of Modern Pornography: Obscenity and the Origins of Modernity, 1500-1800*. New York: Zone Books.
- Hunt L. (1996a) «Introduction: Obscenity and the Origins of Modernity, 1500-1800», in: Hunt, *The Invention of Modern Pornography...*
- Hunt L. (1996b) «Pornography and the French Revolution», in: Hunt, *The Invention of Modern Pornography...*
- Iarskaia-Smirnova E. (1999) «Social Work in Russia: Professional Identity, Culture and the State», in B. Lesnik, ed. *International Perspectives of Social Work*, Pavilion Publishing, Brighton.
- Ingwerson, M. (1997) «Making a Million Isn't What It Used to Be.» *Christian Science Monitor* 26 February, 1997.
- Irigaray L. (1985) *This Sex Which Is Not One*. Ithaca: Cornell University Press.
- Jakubovicz A.,ed. (1994) *Racism, Ethnicity and the Media*. StLeonard: Allen and Unwin.
- Jameson F. (1992) *Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism*. Durham: Duke University Press.
- Jefferson T. (1994) «Theorising Masculine Subjectivity», in T. Newborn, E.A. Stancko (eds.) *Just Boys Doing Business? Men, Masculinities and Crime*. London: Routledge.
- Johnson P. (1991) *The Birth of the Modern. World Society 1815-1830* (London: George Weidenfeld and Nicolson Limited.
- Jokisch R. (1982) *Frauenbewegung, In: Mann-Sein. Identitaetskrise und Rollenfindung des Mannes in der heutigen Zeit*. Reinbeck.
- Jones E. (1953) *The Life and Work of Sigmund Freud*, 3 vols. (1953-1957). Vol. 2. London: The Hogarth Press.
- Karlinsky S. (1992) «Russia's Gay Literature and Culture: The Impact of the October Revolution», in W.R. Dynes, S. Donaldson, (eds.) *History of Homosexuality in Europe and America*, Vol.5. New York, London: Garland Publishing.

- Kasinec, E. Davis, R.H., Jr. (1999) «A Note on Konstantin Somov's Erotic Book Illustration», in : Левитт М., Топорков А., ред. и сост. (1999) *Эрос и порнография в русской культуре*. М.: ЛАДОМИР.
- Katz, J. N. (1995) *The Invention of Heterosexuality*. New York: Dutton.
- Kaufmann, M. (1994) Men, Feminism and Men's Contradictory Experiences of Power, in: H. Brod, M. Kaufmann, (eds.) *Theorizing Masculinities*, Thousand Oaks.
- Kelly C., Shepherd D., (eds.) (1998) *Russian Cultural Studies: An Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Kestner, J. (1995) *Masculinities in Victorian Paintings*. London: Scholar Press.
- Khodyreva N. (1998) (Re)presentation of Violence Against Women in Russian Mass Media, paper presented at the Fourth Regional Women's Workshop: *Gender, Media and Representation*, 13-15 February, 1998. Budapest, Central European University.
- Kimmel M. (1987) «Rethinking «Masculinity»: New Directions in Research», in M.S.Kimmel, ed. *Changing Men: New Directions in Research on Men and Masculinity*. Newbury Park, CA: Sage.
- Kipnis L. (1998) «Fat and Culture», in N. Dirks, ed. *In Near Ruins: Cultural Theory at the End of the Century*. Minneapolis, London: University of Minnesota Press.
- Klein A. (1993) *Little Big Men: Bodybuilding Subculture and Gender Construction*. Albany New York: State University of New York Press.
- Klein M. (1987) *The Selected*. London: Penguin Books.
- Klein R. (1996) *Eat Fat*. New York: Pantheon Books.
- Klein R. (1999) Conclusion by the General Rapporteur: Man and Violence Against Women, presented at the international seminar *Promoting Equality: a Common Issue for Men and Women*. Strasbourg, 17-18 June 1997.
- Kligman G., Gal S. (2000) *The Politics of Gender After Socialism. A Comparative-Historical Essay*. Princeton: Princeton University Press.
- Koritz, A. (1995) *Gendering Bodies / Performing Art, Dance and Literature in Early Twentieth-Century British Culture*. Ann-Arbor: Michigan University Press.
- Kracauer S. (1995) *The Mass Ornament*. Weimar Essays. Cambridge: Harvard University Press.
- Krantz P. (1997) «From Russia, with Love—and Rubles.» *Business Week*, November 10, 1997.
- Krondorfer B., ed. (1996) *Men's Bodies, Men's Gods. Male Identities in a (Post) Christian Culture*. NEW YORK: New York University press
- Kryshтанovskaya O. (1996a) «Wealthy Russians: Privilege and Power.» *Calendar of Kennan Institute/Woodrow Wilson Center*, XIII.
- Kryshтанovskaya, O. (1996b) «The New Russian Business Elites: The New Russians: Who Are They?» Kennan Institute *Meeting Report* (2 April 1996), reproduced on Johnson Russian List (2 November 1996).
- Kuhler W. (1951) *The Mentality of Apes*. London: Routledge.
- Kuhn, A. (1988) The Body and the Cinema: Some Problems for Feminism, in S. Sheridan (ed.) *Grafts: Feminist Cultural Criticism*. London: Verso.
- Kuritsyn V. (1997) «Transgressing the Boundaries of Tradition and Verbal Art. An Interview with Viacheslav Kuritsyn», *Russian Studies in Literature* 33, Summer 1997.
- Kuzmic J.J. (2000) «Textbooks, Knowledge, and Masculinity: Examining Patriarchy From Within», in N. Lesko, ed. *Masculinities at School*, London: Sage.

- Lacan J. (1958) «The Meaning of the Phallus», in: R. Minsky, ed. *Psychoanalysis and Gender. An Introductory Reader*. London: Routledge, 269– 279.
- Lacan J. (1977) *Œcrits. A Selection*. New York: W.W. Norton & Company. New York.
- Lacan J. (1997) *The Seminar of Jacques Lacan. Book III: The Psychoses (1955-1956)*. York: W. W. Norton & Company.
- Lamneck S. (1988) *Qualitative Sozialforschung, Band 1: Methodologie. Band 2: Methoden und Techniken*. Muenchen, Weinheim: Psychologische-Verlags-Union.
- Lapidus G. (1978) *Women in Soviet Society: Equality, Development, and Social Change*. Berkeley : University of California Press.
- Laqueur T. (1990) *Making Sex: Body and Gender From the Greeks to Freud*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Larsen, S. (1999) «In Search of an Audience: The New Russian Cinema of Reconciliation», in Barker A. (ed.) *Consuming Russia: Popular Culture, Sex, and Society Since Gorbachev*. Durham: Duke University Press.
- de Lauretis T. (1987) *Technologies of Gender: Theories of Representation and Difference*. Bloomington: Indiana University Press.
- Lawton A. (1993) «The Ghost That Does Return: Exorcising Stalin», in Taylor R., Spring D. (eds.) *Stalinism and Soviet Cinema*. London: Routledge.
- Lehman P. (1993) *Running Scared. Masculinity and the Representation of the Male Body*. Philadelphia : Temple University Press.
- Lemaire M. (1978) *Le Dandysme de Baudelaire a Mallarmé*. Montreal: Les Presses de L'Université de Montreal.
- Leuken V. (1997) Cindy Sherman and her «*Film Stills*» — Frozen Performance. *Cindy Sherman*. Rotterdam: Museum Boijmans.
- Lewis R., Cavanagh K. (1995) «Thinking and Doing Feminist Research with Violent Men: Challenge or Compromise?» Paper presented at *Desperately Seeking Sisterhood. The Eighth Annual WSNA Conference*. University of Stirling, Stirling, June 23-25 1995.
- Lincoln, B. (1989) *Red Victory: A History of the Russian Civil War*. London.
- Lipovetsky M. (1999) *Russian Postmodernist Fiction: Dialogue with Chaos*. Ed. by E. Borenstein. Armonk: M. E. Sharpe.
- Lissyutkina L. (1993) «Soviet Women at the Crossroads of Perestroika», in N. Funk, M. Mueller, (eds.) *Gender Politics and Post-Communism*. NEW YORK, London: Routledge.
- Lissjutkina L. (1999) «Mutter-Monster? Auseinandersetzung mit der Vergangenheit in Texten jungerer russischer Autorinnen.» *Feministische Studien*. 17, Nr 1., 35-48.
- Lorber, J. (1994) *Paradoxes of gender*. New Haven: Yale University Press.
- Lucie-Smith E. (1991) *Sexuality in Western Art*. Rev. ed. L.: Thames and Hudson.
- Lucie-Smith, E. (1998) *Adam: The Male Figure in Art*. London: Rizzoli.
- Maccoby E., Jacklin C. (1975). *The Psychology of Sex Differences*. London: OUP.
- Macherey P., Balibar E. (1981) «On Literature as an Ideological Form», in R. Young, (ed.) *Unifying the Text*, London.
- MacKinnon, K. (1997) *Uneasy Pleasures. The Male as Erotic Object*. London: Cygnus Art.
- Mairs N. (1996) *Waist-High in the World. A Life Among the Nondisabled*. Boston: Beacon Press.
- Makaryk I. ed. (1995) *Encyclopedia of Contemporary Literary Theory: Approaches, Scholars, Terms*. Toronto: University of Toronto.

- Mannheim K. (1970) *Wissenssoziologie*. Neuwied\Berlin.
- March G.P. (1990) *Cossacks of the Brotherhood: The Zaporog Kosh of the Dniepr River*. New York: Peter Lang.
- Martin D., Lyon P. (1972) *Lesbian Woman*. San Francisco: Glide.
- Mead M. (1928). *Coming of Age in Samoa*. New York: Blue Ribbon Books.
- Meikle, S., Peitchinis, J.A., Pearce, K. (1985) *Teenage Sexuality*. London: Taylor & Francis.
- Mellen J. (1977) *Big Bad Wolves: Masculinity in the American Film*. New York: Pantheon.
- Menning B. (1992) *Bayonets Before Bullets: The Imperial Russian Army, 1861-1914*. Bloomington: Indiana University Press.
- Messerschmidt J.W. (1993) *Masculinities and Crime: Critique and Reconceptualization of Theory*. Lanham, MY: Rowman and Littlefield.
- Messner M., Sabo D., (eds.)(1990) *Sport, Men and the Gender Order: Critical Feminist Perspectives*. Champaign, IL: Human Kinetics Books.
- Meuser M. (1998) *Geschlecht und Maennlichkeit. Soziologische Theorie und kulturelle Deutungsmuster*. Opladen: Leske u. Budrich.
- Millman, M. (1980) *Such a Pretty Face: Being Fat in America*. New York and London: Norton.
- Mirsky D.S. (1952) *Russia: A Social History*. London.
- Mitchell, J. (1987) «Introduction», in M. Klein. *The Selected*. London: Penguin Books.
- Mohr, R. D. (1992) *Gay Ideas. Outing and Other Controversies*. Boston: Beacon,
- Monsman, G. (1977) *Walter Pater*. Boston: Twayne.
- Moore, P. L., ed. (1997) *Building Bodies*. New Brunswick: Rutgers University Press.
- Moravia, A. (1971) *Io e lui*. Milano: Bompiano.
- Morris J. (1991) *Pride Against Prejudice*. London: The Women's Press.
- Morris J. (1993) «Gender and Disability», in J. Swain, ed. *Disabling Barriers, Enabling Environments*. London: Sage.
- Mosse, G. L. (1985) *Nationalism and Sexuality. Middle-Class Sexuality and Sexual Norms in Modern Europe*. Madison: Univ. of Wisconsin Press.
- Mosse, G. L. (1996) *The Image of Man. The Creation of Modern Masculinity*. NEW YORK: Oxford Univ. Press.
- Moss, K., ed. (1996). *Out of the Blue: Russia's Hidden Gay Literature*. San Francisco: Gay Sunshine Press.
- Mrozek D.J. (1987) «The Habit of Victory: The American Military and the Cult of Manliness», in J.a. Mangan, J. Walvin, (eds.) *Manliness and Morality: Middle Class Masculinity in Britain and America 1800-1940*. Manchester: Manchester University Press.
- Mulvey L. (1987) «Notes on Sirk and Melodrama», in Gledhill C., (ed.) (1987). *Home is Where the Heart Is: Studies in Melodrama and the Woman's Film*. London: British Film Institute.
- Mulvey L. (1989) *Visual and Other Pleasures*. Bloomington: Indiana University Press.
- Murav H. (1995) «Engendering the Russian Body Politic», *Genders 22: Postcommunism and the Body Politic*. New York: New York University Press.
- Murphy R. (1987) *The Body Silent*. London: Phoenix House.
- Nabokov, V. (1964) *Pushkin, Eugene Onegin*. Trans. with commentary by Vladimir Nabokov, vol. 3. New York: Bollingen Foundation.

- Nowell-Smith, G. (1987) «Minnelli and Melodrama», in Gledhill C., (ed.) *Home is Where the Heart Is: Studies in Melodrama and the Woman's Film*. London: British Film Institute.
- Oliver M. (1989) «Disability and Dependency: A Creation of Industrial Societies», L. Barton, ed. *Disability and Dependency*. London, New York, Philadelphia: The Falmer Press.
- Oliver M. (1990) *The Politics of Disability*. London: Macmillan.
- Omelchenko E. (1999) «New Dimensions of the Sexual Universe: Sexual Discourses in Russian Youth Magazines», in C. Corrin ed. *Gender and Identity in Central and Eastern Europe*. London: Frank Cass.
- Omelchenko E. (2000) «“My body, my friend?” Provincial Youth Between the Sexual and the Gender Revolutions», in S. Ashwin, ed. *Gender, State and Society in Soviet and Post-Soviet Russia*. London: Routledge.
- Orbach, S. (1978) *Fat is a Feminist Issue: The Anti-Diet Guide to Permanent Weight Loss*. New York: Berkley Books.
- Oushakine S. (2000a) The Quantity of Style: Imaginary Consumption in the New Russia. *Theory, Culture and Society*, vol. 70:5, 97-120.
- Oushakine S. (2000b) *The Fatal Splitting: Symbolizing Anxieties in Post/Soviet Russia* (unpublished manuscript).
- Paglia, C. (1990) *Sexual Personae. Art and Decadence from Nefertiti to Emily Dickinson*. New Haven: Yale University Press.
- Pajaczkowska C., Young L. (1992) «Racism, Representation, Psychoanalysis», in: J. Donald, A. Rattansi, (eds.) *'Race', Culture and Difference*. London, Thousand Oaks, New Delhi. Sage, Open University.
- Parker A. (1996) «Sporting Masculinities: Gender Relations and the Body», in M. Mac an Ghaill, ed. *Understanding Masculinities: Social Relations and Cultural Arenas*. Buckingham, UK and Bristol, PA: Open University Press.
- Pateman P. (1988) *The Sexual Contract*. Oxford: The Polity Press.
- Patico J. (2000). «'New Russian' Sightings and the Question of Social Difference in St. Petersburg» *Anthropology of East Europe Review*, vol. 18: 2.
- Peirce K. (1990) «A Feminist Theoretical Perspective on the Socialization of Teenage Girls through 'Seventeen' Magazine», *Sex Roles*, vol. 23, no. 9/1.
- Peristia New York J. G., ed. (1968) *Honour and Shame: The Values of a Mediterranean Society*. Chicago: Chicago University Press.
- Peristia New York J. G., Pitt-Rivers J., (eds.) (1992) *Honor and Grace in Anthropology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Perry G., Rossington M., (eds.) (1994) *Femininity and Masculinity in Eighteenth-Century Art and Culture*. Manchester: Manchester University Press.
- Peters S. (1999) «Transforming Disability Identity Through Critical Literacy and the Cultural Politics of Language», in M. Corker, S. French, (eds.) *Disability Discourse*, Open University Press, Buckingham.
- Petersen A. (1998) *Unmasking the Masculine: 'Men' and 'Identity' in a Skeptical Age*. London & Thousand Oaks: Sage.
- Philps A. (1997) «Bank's Dress Code Sounds Death Knell of Soviet Man.» *Electronic Telegraph*, 23 October 1997.
- Pilgrim V.E. (1979) *Manifest fuer den freien Mann*, 5. Aufl., Muenchen.
- Pilkington H (1994). *Russia's Youth and its Culture*. London: Routledge
- Pitt-Rivers J. (1968) «Honor», in *Encyclopedia of Social Sciences*. Vol. 6, New York.
- Plummer K. (1975) *Sexual Stigma: An Interactive Account*. London.

- Porter. R. (1994) *Russia's Alternative Prose*. Oxford: Berg.
- Poznansky A. (1996). *Tchaikovsky's Last Days: A Documentary Study*. Oxford: Clarendon Press.
- Pratt M.L. (1986) «Fieldwork in Common Places», in J. Clifford. G.Marcus, (eds.) *Writing Culture*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- Priestley M.(1999) «Discourse and Identity: Disabled Children in Mainstream High Schools», in M. Corker, S. French, (eds.) *Disability Discourse*. Open University Press, Buckingham.
- Prokhorov A. «'I Need Some Life-Assertive Character' or How to Die in the Most Inspiring Pose: Bodies in the Stalinist Museum of *Hammer and Sickie*.» [Unpublished paper].
- Ptacek J. (1990) «Why Do Men Batter their Wives?» In Feminist Perspective on Wife Abuse(eds by Yllo & Bograd), 133-157.
- Rancour-Laferriere D. (1998) »Nadezda Durova remembers her parents», *Russian Literature*, XLIV.
- Reyffman I. (1999) *Ritualized Violence Russian Style: The Duel in Russian Culture and Literature*. Stanford: Stanford University Press.
- Rey M. (1985) «Parisian Homosexuals Create a Lifestyle, 1700-1750: The Police Archives», in R. Maccubbin, ed. *'Tis Nature's Fault: Unauthorized Sexual Behavior During the Enlightenment*. New York: Cambridge University Press.
- Rich A. (1977) *Of Women Born: Motherhood as Experience and Institution*. New York: Bantam.
- Richards B. (1990) «Masculinity, Identification, and Political Culture», in J. Hearn, D. Morgan, (eds.) *Men, Masculinities, and Social Theory*. London: Unwin Hyman.
- Rieber A.J. (1982) *Merchants and Entrepreneurs in Imperial Russia*. Chapel Hill.
- Ries N. (1997) *Russian Talk*. Ithaca: Cornell University Press.
- Riessman C. K. (1993) *Narrative Analysis*. Thousand Oaks Ca.: Sage.
- Rosenberg W. (1961) *A. I. Denikin and the Anti-Bolshevik Movement in South Russia*. Amherst.
- Rotkirch A. (2000) *The Man's Question. Love and Lives in the Late XXth century Russia*. University of Helsinki.
- Rotkirch A. & Temkina A. (1997) «Soviet Gender Contracts and Their Shifts in Contemporary Russia», *Idantutkimus*, No4.
- Rotundo A.(1993) *American Manhood: Transformation of Masculinity From the Revolution to the Modern Era*. New York: Basic books.
- Rouche M. (1985) *Haut Moyen Age occidentale*. In : *Histoire de la vie privee*, t 1. Paris: Seuil
- Saslow J.M. (1987) *Ganimede in the Renaissance: Homosexuality in Art and Society*. New Haven: Yale University Press.
- de Saussure F. (1983) *Course in general linguistics*. London: Duckworth.
- Schatzki, T.,Natter, W. (1996) Sociocultural Bodies, Bodies Sociopolitical, in *The Social and Political Body*, ed. Schatzki, T., Natter W. New York: The Guilford Press.
- Schehr, L. R. (1997) *Parts of an Andrology. On Representations of Men's Bodies*. Stanford : Stanford University Press.
- Schwartz, H. (1986) *Never Satisfied: A Cultural History of Diets, Fantasies and Fat*. New York: The Free Press.

- Scott J. (1976). *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in South-east Asia*. New Haven: Yale University Press.
- Scott, J. (1991) The evidence of experience. // *Critical Inquiry*, 1991, 17 (4).
- Scott J. (1988) Gender: A Useful Category of Historical Analysis. // Scott, J. *Gender and the Politics of History*. New York: Columbia University Press.
- Scott, J. (2000) *Millennial Fantasies: The Future of Gender in the 21st Century*. Paper presented on May 6, 2000 at the seminar *Production of the Past*, Columbia University, New York.
- Sedgwick E. K. (1992) *Between Men : English Literature and Male Homosocial Desire*. New York: Columbia University Press.
- Seneca, T. (n.d.) *The History of Women's Magazines: Magazines as Virtual Communities*. URL: http://bliss.berkeley.edu/impact/students/tracy/tracy_hist.html
- Shakespeare T. (1996) «Power and Prejudice: Issues of Gender, Sexuality and Disability», L. Barton, ed. *Disability and Society: Emerging Issues and Insights*. Essex: Longman.
- Sheets-Johnstone M. (1990) *The Roots of Thinking*. Philadelphia: Temple University Press.
- Showalter E. (1990) *Sexual Anarchy. Gender and Culture at the Fin de Siecle*. New York: Penguin Books.
- Shulman C. (1977). «The Individual and the Collective», in D. Atkinson, A. Dallin, G. Lapidus, eds. *Women in Russia*. Stanford: Stanford University Press.
- Sibley D. (1995) *Geographies of Exclusion*, London, Routledge.
- Silverman K. (1992) *Male Subjectivity at the Margins*. London: Routledge.
- Simmel G. (1985) *Schriften zur Philosophie und Soziologie der Geschlechter*. Frankfurt/M.
- Slobin G. (1992) «Revolution Must Come First: Reading Island of Crimea» in A. Parker, M. Russo, D. Sommer, and P. Yaeger, (eds.) *Nationalisms and Sexualities*. New York: Routledge.
- Smelser N. (1963) *The Theory of Collective Behavior*. NEW YORK
- Smith S. (1998) «Performativity, Autobiographical Practice, Resistance», in: S. Smith, J. Watson, (eds.) *Women, Autobiography, Theory: a Reader*. Madison: University of Wisconsin Press.
- Snow D, Rochford E, Worden S, Benford R (1986). «Frame Alignment Processes, Micromobilization and Movement Participation.» *American Sociological Review*. Vol.51. N 4.
- Solomon—Godeau, A. (1997) *Male Trouble: A Crisis in Representation*. L.: Thames and Hudson.
- Stacey R. (1994) «The Age of Chivalry», in M. Howard, G. J. Andreopoulos, M. R. Shulman, (eds.) *The Laws of War: Constraints on Warfare in the Western World*. New Haven: Yale University Press.
- Stanley A (1997) «A Russian's Sprint from Car Dealer to Tycoon.» *New York Times*, 14 June, 1997.
- Stein E., ed. (1990) *Forms of Desire: Sexual Orientation and the Social Constructionist Controversy*. New York: Routledge.
- Steinberg L. (1983) *The Sexuality of Christ in Renaissance Art and in Modern Oblivion*. NEW YORK: Pantheon.
- Steiner R. (1993) *Egon Schiele. 1890-1918. The Midnight Soul of the Artist*. Koln: Benedict Taschen.
- Steinweiler A. (1989) *Die Lust der Gotter. Homosexualitat in der italienischen Kunst. Von Donatello zu Caravaggio*. Berlin: rosa Winkel

- Stewart A. (1997) *Art, Desire, and the Body in Ancient Greece*. Cambridge University Press.
- Stites R. (1992) *Russian Popular Culture: Entertainment and Society since 1900*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Strauss A., Corbin, J. (1990) *Basics of Qualitative Research. Grounded Theory Procedure and Techniques*, Newbury Park.
- Suny R. (1977) «The Russian Empire», in Barkey and von Hagen, *After Empire...*
- Taibbi M. (1997) «Baldfellas: an eXile Guide to Russia's Hot Autumn.» *The eXile* 16, September 1997.
- Taylor V., Whittier N. (1992). «Collective Identity in Social Movement Communities: Lesbian Feminist Mobilization», in A. Morris, C. Mueller, (eds.) *Frontiers in Social Movement Theory*. Yale University Press.
- Taylor, R., Spring, D. (eds.) (1993) *Stalinism and Soviet Cinema*. London: Routledge.
- Temkina A. (1997) *Russia in Transition: The Case of New Collective Actors and New Collective Actions*. Kikimora Publication.
- Terdiman R. (1985) *Discourse/Counter-Discourse. The Theory and Practice of Symbolic Resistance in Nineteenth-Century France*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Theweleit K. (1987) *Male Fantasies. Volume 1: Women, Floods, Bodies, History*, trans. Stephen Conway. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Thomas C. (1999) «Narrative Identity and the Disabled Self», in M. Corker, S. French, (eds.) *Disability Discourse*. Buckingham: Open University Press.
- Traynor I. (2000) «Tales of Torture Leak From Russian Camps: Escaped Chechen Victims Tell of Rape, Beating and Humiliation.» *The Guardian*, February 19, 17.
- Trotsky, A. (1987) *Back in the USSR*. Winchester, MA.
- Trotsky L. (1960) *Literature and Revolution*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Trumbach R. (1989) «The Birth of the Queen: Sodomy and the Emergence of Gender Equality in Modern Culture, 1660-1750», in Duberman, Vicinus, Chauncey, (eds.) *Hidden From History...*
- Turner R., Killian L. (1972) *Collective Behavior*. New York.
- Urban M. (1994) «The Politics of Identity in Russia's Postcommunist Transition: The Nation Against Itself.» *Slavic Review* 54, no. 3 (Fall 1994).
- Vainstein O. (1996) «Female Fashion, Soviet Style: Bodies of Ideology», in: H. Goscilo and B. Holmgren, (eds.) *Russia — Women — Culture*. Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press.
- Walkin J. (1962) *The Rise of Democracy in Pre-revolutionary Russia. Political and Social Institution under the Last Czars*. New York.
- Walters, M. (1978) *The Nude Male. A New Perspective*. New York and London: Paddington Press.
- Walvin J. ed. (1987) *Manliness and Morality: Middle class Masculinity in Britain and America 1800-1940*. Manchester: Manchester University Press.
- Weber S. (1992) *Return to Freud: Jacques Lacan's Dislocation of Psychoanalysis*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Weeks J. (1989) «Inverts, Perverts and Mary-Annes: Male Prostitution and the Regulation of Homosexuality in England in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries» in Duberman, Vicinus, Chauncey, (eds.) *Hidden From History...*
- Weeks J. (1991) *Against Nature: Essays on History, Sexuality and Identity*. London: Rivers Oram Press.

- Weiermair, P. (1987) *Das verborgene Bild. Geschichte des maennlichen Akts in der Fotografie des 19. und 20. Jahrhunderts*. Wien: Ariadne.
- Weigel S. (1988) «Der schielende Blick: Thesen zur Geschichte weiblicher Schreibpraxis», in: S. Ingrid, S. Weigel: *Die verborgene Frau: Sechs Beiträge zu einer feministischen Literaturwissenschaft*, Berlin, Argument-Sonderband AS.
- Weil R. (1996) «Sometimes a Scepter is only a Scepter: Pornography and Politics in Restoration England», in: Hunt (ed.) *The Invention of Modern Pornography...*, 125-153.
- Weinstein D. and Weinstein M. (1991) «Georg Simmel: Sociological Flaneur Bricoleur», *Theory, Culture and Society*, 1991, no 8.
- Weretelnky R. (1989) *Feminist Reading of Lesia Ukrainka's Dramas*. Doctoral Thesis. University of Ottawa.
- Wieck, W. (1993) *Wenn Maenner lieben lernen*. Frankfurt/M. Westdeutscher Verlag, Opladen
- William C. Fuller Jr., (1985) *Civil-Military Conflict in Imperial Russia, 1881-1914*. Princeton: Princeton University Press.
- William S. (1996) *Postmodern Sexualities*. London, Routledge.
- Williams C.L. (1995). «The Glass Escalator: Hidden Advantages for Men in the «Female» Professions», in M.S. Kimmel, M.A. Messner, eds., *Men's Lives*. Boston: Allyn and Bacon.
- Williams L. (1999) «Film Bodies: Gender, Genre, and Excess», in Braudy L. and Cohen M., (eds.) *Film Theory and Criticism: Introductory Readings*. New York: Oxford University Press.
- Wolff L. (1994) *Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment*. Stanford: Stanford University Press.
- Youngblood, D. (1995) »*Repentance: Stalinist Terror and the Realism of Surrealism*», in Rosenstone R. (ed.) *Revisioning History: Film and the Construction of a New Past*. Princeton: Princeton University Press.
- Yurchak A. (2001) «Entrepreneurial Governmentality in Post-Socialist Russia. A cultural investigation of business practices», in: Bonell V. and Gold T. (eds.). *The New Entrepreneurs of Europe and Asia*. Armonk, N.Y.: M. E. Sharpe.
- Zyrin M. Fleming (1988) «Nadezhda Durova, Russia's «Cavalry Maiden», in: *Durova, Nadezhda: The Cavalry Maiden*, Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press.
- Zdravomyslova O. (1996) «Reflections on the Transition of the Breadwinner Model in Russia», in U. Bjonberg, A.-K. Kollind, (eds.) *Men's Family Relations*. Stockholm, Almqvist and Wiksel International.

Сведения об авторах

- Ажгихина Надежда Ильинична** — кандидат филологических наук, работает в журналистике 20 лет — в газете *Комсомольская правда* в начале 80-х, журнале *Огонек* в период перестройки, сейчас — обозреватель *Независимой газеты*, автор семи сборников статей и книг, в основном по проблемам культуры, прав человека и положения женщин. Сопредседатель Ассоциации журналисток, вице-президент международной писательской организации *Женский мир* (Women's World), член Союза писателей и Союза журналистов России.
- Барабан Елена Викторовна** — кандидат филологических наук, преподаватель кафедры русского языка ун-та Британской Колумбии (Ванкувер, Канада); занимается изучением современной популярной культуры России и США. Электронная почта: <elenaba@unixg.ubc.ca>
- Боренштейн Элиот** (Borenstein, Eliot) — профессор славистики в Нью-Йоркском университете (США), является автором нескольких статей о русском модернизме и массовой культуре, а также книги *Men Without Women: Masculinity and Revolution in Soviet Fiction* (Duke University Press, 2000). В настоящее время работает над книгой, озаглавленной *Made in Russia ©: Popular Culture and National Identity After 1991*. Электронная почта: eliot.borenstein@nyu.edu.
- Бэр Брайан Джеймс** (Baer, Brian James) — окончил филологический факультет Йельского факультета в 1996 г. Является профессором русской литературы и перевода в Кентском государственном университете (Огайо, США). Его книга «*Культура перевода. Перевод как социальный феномен в советской России*» выйдет по-английски в 2001 г. В настоящее время работает над книгой о гомосексуальности в русской литературе в XX в.
- Гончаров Юрий Михайлович** — кандидат исторических наук, доцент, докторант кафедры отечественной истории Алтайского государственного университета (Барнаул), лауреат премии Европейской академии, лауреат медали РАН для молодых ученых. Научные интересы: история семьи в России, гендерная история, сословный строй Российской империи, история предпринимательства, информационные технологии в исторических исследованиях. Электронная почта: koi@hist.dcn-asu.ru.
- Гошилю Елена** (Goscilo, Helena) — профессор славистики в Питтсбургском университете (США). Является автором более десяти книг о русской культуре: *Balancing Acts* (1989, 1991), *Skirted Issues: the Discreteness and Indiscretions of Russian Women's Prose* (1992), *Fruits of Her Plume* (1993), *Lives in Transit:*

Recent Russian Women's Writing (1995), *Russia *Women *Culture*, (with Beth Holmgren, 1996), *Dehexing Sex: Russian Womanhood during and after Glasnost* (1996), *TNT: The Explosive World of T. Tolstaya's Fiction* (1996), and *Russian Culture in the 1990s* (2000). В настоящее время готовит к изданию исследования о «новых русских» (вместе с Надеждой Ажгихиной) и о книжных иллюстрациях в России (вместе с Бет Холмгрен/Beth Holmgren).

Жеребкин Сергей — кандидат философских наук, заведующий харьковским отделением кафедры философии Национальной академии наук Украины, директор издательской программы Харьковского центра гендерных исследований, редактор книги *«Введение в гендерные исследования. Хрестоматия»* («Алетейя», СПб., 2001). Автор книги *«Метафизика как жанр»* (Киев, 1996) (с Ириной Жеребкиной), статей по гендерным стереотипам в культуре.

Забужко Оксана — известная украинская писательница, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института философии им. Сковороды (Национальная академия наук Украины, Киев), вице-президент Украинского ПЕН-центра. Автор нескольких поэтических сборников и повестей, романа *«Полевые исследования украинского секса»*, переведенного на ряд европейских языков (русский перевод опубликован в *Дружбе народов*, 1998, № 3), а также ряда трудов по философии культуры и литературы.

Здравомыслова Елена Андреевна — кандидат социологических наук, доцент Европейского университета в Санкт-Петербурге. Координатор (совместно с Анной Темкиной) магистерской программы гендерных исследований факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге, координатор проектов Центра независимых социологических исследований. Автор многочисленных статей по проблемам гендерных отношений в России и теории гендерных отношений.

Кон Игорь Семенович — доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, академик РАО, социолог и психолог. Последние книги: *«Сексуальная культура в России. Клубничка на березке»* (М.: О.Г.И., 1997), *«Вкус запретного плода: Сексология для всех»* (М.: Семья и школа, 1997), *«Лунный свет на заре. Лики и маски однополой любви»* (М.: Олимп, 1998), *«Социологическая психология»* (М., 1999), *«Введение в сексологию»* (М.: Олимп и ИНФРА-М, 1999).

Ларсен Сюзан (Larsen, Susan) — преподаватель русской литературы и истории кино в университете Калифорнии в Сан-Диего. Большинство ее работ связано с проблемами гендера и национализма в современной российской культуре; в настоящее время она заканчивает книгу о девичьей культуре в России между 1795 и 1917 гг. (*Reading and Writing Girlhood in Late Imperial Russia*).

Мещеркина Елена Юрьевна — кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института социологии РАН, доцент государственного Гуманитарного университета и Российской академии образования (Москва), где наряду с чтением курса лекций ведет постоянный исследовательский проект *«Энциклопедия российского детства»*, стипендиат фонда Ф. Эберга по теме маскулинности, вице-декан департамента *«Труд»* Международного женского университета.

Новикова Ирина — кандидат филологических наук, доцент кафедры культуры и литературы Латвийского университета (Рига), директор Центра гендерных исследований ЛУ. Автор статей по проблемам женской литературы,

гендера, этничности и культуры. Редактор антологии современных феминистских теорий на латышском языке, редактор газеты «Женщины Балтии» на русском языке. В настоящее время время пишет книгу по проблемам гендера и жанра в автобиографии и Билдунгеромане.

Омельченко Елена — кандидат философских наук, доцент кафедры культурологии Ульяновского государственного университета. Директор научно-исследовательского центра «Регион» при Ульяновском госуниверситете. Занимается исследованием современных молодежных культур и субкультур. Сфера особых научных интересов — современные молодежные сцены провинциальной России, восприятие различными молодежными группами образов Запада, сексуально-гендерные измерения молодежных культурных практик, репрезентация сексуально-гендерных отношений в современных российских молодежных СМИ.

Робинсон Пол (Robinson, Paul) обучался в Оксфордском университете (Великобритания), университете г. Торонто (Канада), университетах и в институте иностранных языков в Минске (Белоруссия). Служил офицером в британской и канадской армиях, работал бизнесменом в Москве и преподавал в Королевском военном колледже Канады. В настоящее время преподает в Хулл университете (Англия). Главный интерес — военная история. Является автором некоторых статей о русской Гражданской войне и русской эмиграции 1920—1930-х гг. Его книга *The White Russian Army in Exile, 1920—1941* выйдет в издательстве Оксфордского университета.

Романов Павел Васильевич — доктор социологических наук, профессор кафедры социальной работы, руководитель Центра исследований социальной политики Саратовского государственного технического университета, сотрудник Института сравнительных исследований трудовых отношений. Научные интересы — социальная антропология организаций, организационная культура, трудовые отношения.

Савкина Ирина Леонардовна — кандидат филологических наук. Окончила филологический факультет Ленинградского университета. Преподавала в педуниверситетах Вологды и Петрозаводска. В настоящее время преподает русскую литературу на отделении Славянской филологии университета г. Тампере (Финляндия). Автор многочисленных статей по истории русской женской литературы и книги *Провинциалки русской литературы (женская проза 30—40-х годов XIX века)* (серия *FrauenLiteraturGeschichte: Texte und Materialien zur russischen Frauenliteratur*) Verlag F.K. Gopfert-Wilhelmshorst, 1998.

Слобин Грета (Slobin, Greta) — профессор русской литературы в университете штата Калифорния в Санта-Крузе. В настоящее время работает над книгой *Russian Literature in Counterpoint: USSR, Russia and First Wave Diaspora 1917—1999*. Ее исследовательские интересы включают проблемы модернизма в России и Польше, историю русского кино и литературы революционного периода, вопросы национализма и половой идентичности в посткоммунистической России и Восточной Европе. Электронная почта: <greta@cats.ucsc.edu>.

Суспицына Татьяна — магистр искусств (Центральный Европейский университет, Венгрия) и магистр образования (университет Толедо, США), в настоящее время является докторантом Мичиганского университета (Анн Арбор, США). Исследует организационные преобразования в высшем образовании и проблемы гендерной политики. Последние работы опубли-

кованы в *Perspectives in Higher Education* и в журнале ЮНЕСКО *Higher Education in Europe*.

Темкина Анна Андриановна, PhD (Университет Хельсинки), координатор (совместно с Еленой Здравомысловой) магистерской программы гендерных исследований факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Автор многочисленных статей по проблемам гендерных отношений в России и теории гендерных отношений.

Трубина Елена Германовна — доктор философских наук, профессор кафедры социальной философии Уральского государственного университета (Екатеринбург). Автор книг «*Рассказанное Я: проблема персональной идентичности в философии современности*» (Екатеринбург, 1995), «*Социальная антропология*» (Екатеринбург, 1999) и ряда статей по проблемам субъективности, повествований, постсоветской культуры в журналах «*Вопросы философии*», «*Топос*», «*Социемь*» и др. Электронная почта: <anl1@quonus.ru>.

Ушакин Сергей — кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры истории мировой и отечественной культуры (Алтайский государственный технический университет, Барнаул), докторант кафедры социокультурной антропологии Колумбийского университета (Нью-Йорк). Основные интересы — философия и антропология власти, проблемы идентификации. Публиковался в *Вопросах философии*, *Политических исследованиях*, *Общественных науках и современности*, *Europe-Asia Studies*, *Theory, Culture and Society* и др. Электронная почта: <saol15@columbia.edu>.

Хили Ден (Healey, Dan) является доцентом исторического факультета Уэльского университета (Сванси, Великобритания). Его книга *Homosexual Desire in Revolutionary Russia: The Regulation of Sexual and Gender Dissent*, посвященная истории гомосексуальности в русской и советской медицине, выходит в 2001 в издательстве университета г. Чикаго. Электронная почта: <d.healey@swansea.ac.uk>.

Ходырева Наталия Валериевна — кандидат психологических наук, доцент факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета, читает курсы по гендерным проблемам, автор публикаций по проблемам насилия и психологии женщин, основатель и содиректор *Кризисного Центра для женщин* (С.-Петербург).

Чернова Жанна — аспирантка факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Занимается изучением формирования и репрезентации образов мужественности в российском медиадискурсе. Участник европейского исследовательского проекта *The Social Problem and Societal Problematisation of Men and Masculinities*, организованного под эгидой ассоциации *Critical Research on Men in Europe* (Осло, Норвегия). Электронная почта: <nota@eu.spb.ru>.

Шабурова Ольга — кандидат философских наук, доцент кафедры социальной философии Уральского госуниверситета им. А.М. Горького (Екатеринбург). Области научных интересов — политическая философия, гендерные исследования, философия повседневности, эстетика власти, массовая культура. Электронная почта: <rosno-eburg@mail.ru>.

Шевченко Ольга — аспирантка факультета социологии Пенсильванского университета (Филадельфия, США). Работает над вопросами повседневной жизни и феноменологии адаптации к общественным переменам. Автор статьи «*Bread and circuses: Shifting frames and changing references in the ordinary Muscovites' political talk*» (*Communist and Post-Communist Studies*, v. 34:1, 2001), а также ряда работ по теоретической социологии. Электронная почта: <olgas@sas.upenn.edu>.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Юрчак Алексей — PhD (Дюкский университет, США), доцент кафедры антропологии Калифорнийского университета в Беркли. Основные интересы — социальная антропология социализма, проблемы власти и сопротивления, язык и идеология, идентификация. Публиковался в русских и американских сборниках и в журналах *Public Culture*, *Journal of Sociolinguistics*, *Кабинет*. Заканчивает книгу о динамике власти и культуры в позднем социализме. Электронная почта: <alexei@sscl.berkeley.edu>.

Ярская-Смирнова Елена Ростиславовна — доктор социологических наук, профессор, заведующая кафедрой социальной антропологии и социальной работы Саратовского государственного технического университета, руководитель Саратовского центра гендерных исследований. Научные интересы: социальное неравенство, гендер, социальная политика. Лауреат премии Президента России за заслуги в области образования. Автор книг «Социокультурный анализ нетипичности», «Семья нетипичного ребенка», «Профессиональная этика социальной работы», «Одежда для Адама и Евы». Электронная почта: <iarskaia@yahoo.com>.

О МУЖЕ(Н)СТВЕННОСТИ

Сборник статей

On Masculinity

Collected articles. Edited by S. Ushakin

The authors who contributed their articles for this volume strive to understand how such concepts as «male» and «masculinity», «gender» and «gender roles» become «unshakable» and «self-evident». This volume is an attempt to apply Western theories and methodologies to Russian reality and also to replace the often abstract and amorphous notions of «Russian patriarchy» with the case-specific studies of this «patriarchy». This study is based on a wealth of historical, sociological and anthropological data.

Редактор *О. Проскурин*

Корректор *Е. Мохова*

Компьютерная верстка *В. Дзядко*

Налоговая льгота — общероссийский
классификатор продукции ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры

ООО «НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»

Адрес издательства:

129626, Москва,

а/я 55

тел. (095) 976-47-88

факс (095) 977-08-28

e-mail: nlo.ltd@g23.relcom.ru

Интернет: <http://www.nlo.magazine.ru>

ЛР № 061083 от 6.05.1997

Формат 60x90 1/16. Бумага офсетная № 1.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 45. Тираж 2000. Зак. № 1020

Отпечатано с готовых диапозитивов

в ООО типографии «Полимаг»

127247, Москва, Дмитровское шоссе, 107

О МУЖЕ(N)СТВЕННОСТИ

Задача авторов работ, собранных в данной книге, – понять, каким образом достигается «самоочевидность» расхожих понятий «мужчина» и «мужественность», «пол» и «половая идентичность»; в силу чего и за счет чего они приобретают свою «устойчивость» и «незыблемость»; какую цену приходится платить тем, для кого они не являются столь самоочевидными. Анализ форм «мужественности», предпринятый в данном сборнике, во многом является как попыткой «адаптировать» к российским условиям западные теоретические концепции и схемы, так и коллективным усилием противопоставить зачастую абстрактным и безликим рассуждениям о наследии «отечественного патриархата» конкретный анализ специфических форм его проявления. В книге использован обширный историко-социологический и культурный материал.

ISBN 5-86793-170-6



9 795867 931703